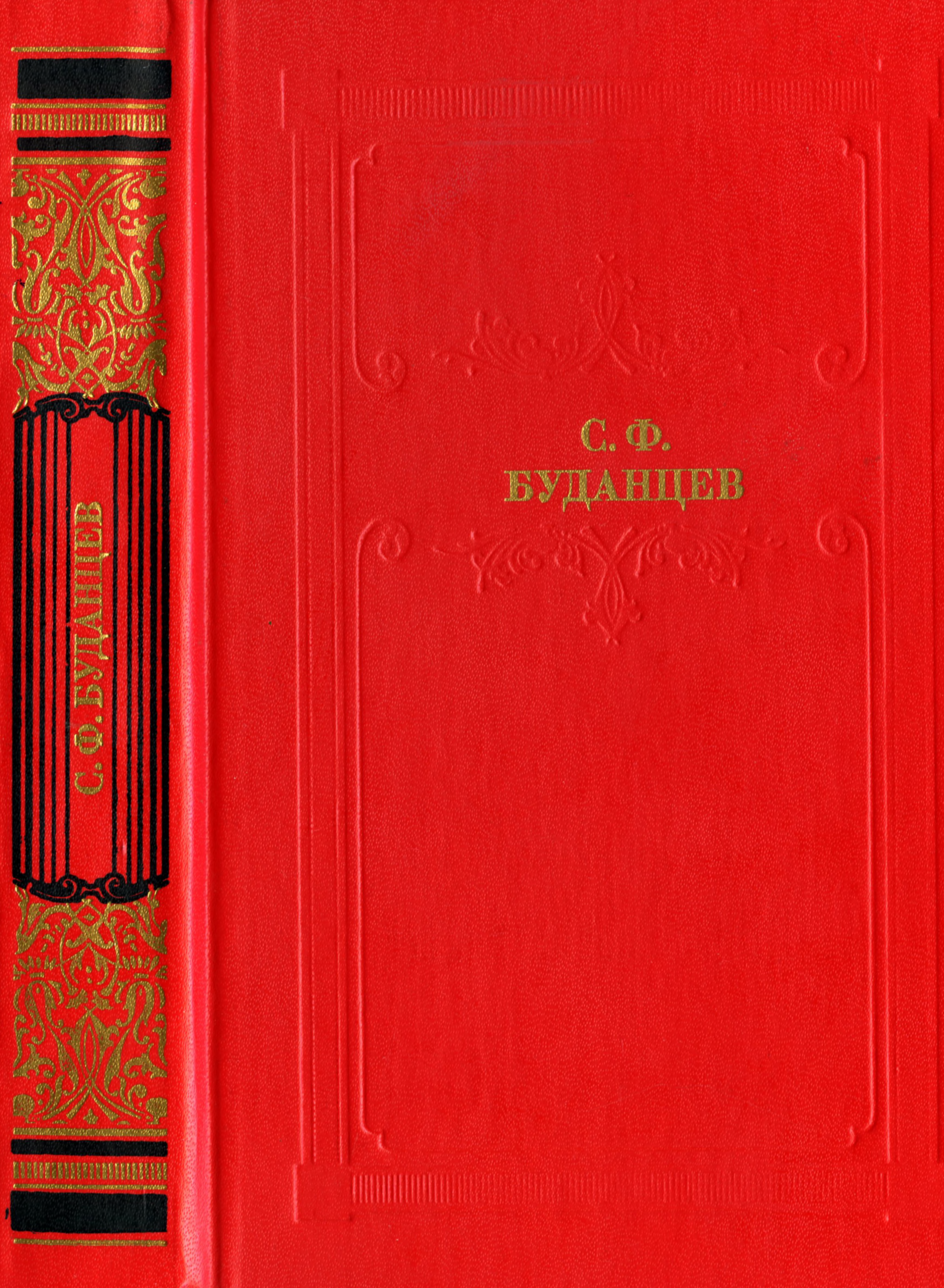

С. Ф.
БУДАНЦЕВ
С. Ф. БУДАНЦЕВ

Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
(Ленин В. И. О литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979. С. 699.)

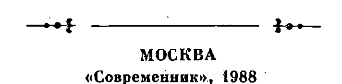


ИЗ НАСЛЕДИЯ

С. Ф. БУДАНЦЕВ

ПИСАТЕЛЬНИЦА

Романы, рассказы



МОСКВА
«Современник», 1988

ББК84Р2
Б

Общественная редакционная коллегия:

ЗАЛЫГИН С. П.— председатель

АСАНОВ Л. Н., БЕЛОВ В. И., ДЕМЕНТЬЕВ В. В.,
КУЗНЕЦОВ Ф. Ф., ЛИХАЧЕВ Д. С., ЛОМУНОВ К. Н.,
ПАЛИЕВСКИЙ П. В., РАСПУТИН В. Г., ФРОЛОВ Л. А.

Составление,
вступительная статья
Л. И. Полосиной

Буданцев С. Ф.

Б Писательница: Романы, рассказы/Вступ. статья Л. И. Полосиной.— М.: Современник, 1988.—511 с., портр.— (Из наследия).

Сергей Федорович Буданцев (1896—1940) — известный русский советский писатель, творчество которого высоко оценивал М. Горький. Участник революционных событий и гражданской войны, Буданцев стал известен благодаря роману «Мятеж» (позднее названному «Командарм»), посвященному эсеровскому мятежу в Астрахани. Вслед за этим выходит роман «Саранча» — о выборе пути агрономом-энтомологом, поставленным перед необходимостью определить: с кем ты? Со стяжателями, грабящими народное добро, а значит — с врагами Советской власти, или с большевиком Эффендиевым, разоблачившим шайку скрытых врагов, свивших гнездо на пограничном хлопкоочистительном пункте.

Произведения Буданцева написаны в реалистической манере, автор ярко живописует детали быта, крупным планом изображая события революции и гражданской войны, социалистического строительства.

ББК84Р2

Б $\frac{4702010200-273}{М106(03)-88}$ 126-88

ISBN 5-270-00124-1

© Составление, вступительная статья, Издательство «Современник», 1988

Литература сделалась профессией...

Произведения Сергея Федоровича Буданцева (1896—1940) долгое время были неизвестны широкому читателю, однако его творчество — одна из любопытных страниц истории русской советской литературы, заслуживающих внимания. Изданные до 1936 года, книги С. Буданцева стали библиографической редкостью. Небольшой сборник, вышедший в 1959 году, посмертно, после реабилитации автора, в издательстве «Советский писатель», имел малый тираж. А между тем С. Буданцев — автор нескольких романов, повестей, пьес, многих рассказов — писатель с негромким, но своеобразным голосом, и новое издание произведений позволит читателю оценить его творчество по достоинству.

О своей жизни, о том, как он пришел в литературу, С. Буданцев рассказал в «Автобиографии», включенной в настоящий сборник. Обозревая литературное наследие С. Буданцева, отмечаешь разнообразие его интересов, жанров, стремление всегда идти в ногу с современностью.

Сергей Буданцев принадлежал к поколению писателей, сформировавшихся в годы революции и вступивших в литературу в начале 20-х годов. Увлечение поэзией было для него преходящим, хотя он и издал несколько стихотворных сборников. Его перу принадлежит также множество очерков и статей, отражавших разные стороны жизни и широко публиковавшихся в газетах и журналах.

Выступал С. Буданцев и как критик. Ему принадлежит один из первых отзывов на поэму В. Маяковского «Облако в штанах». «Маяковский убеждает читателей в настоящей, неоспоримой талантливости и прекрасной, правдивой искренности...— писал Буданцев.— И надо сознаться, что редко можно встретить такие полные, выпуклые, огромные образы, которыми превосходно мыслит поэт»[1].

Известность пришла к Буданцеву с романом «Мятеж» (1925), позже названным «Командарм» (история этого переименования рассказана в «Автобиографии»). Роман был очень популярен, переиздавался несколько раз. Написанный модным тогда стилем «рубленой прозы», он

[1] Журн. Млечный путь. 1916. № 1. С. 20.

ярко высветил дарование молодого писателя, сумевшего выразить время и настроения, связанные с контрреволюционным мятежом в Астрахани в 1918 году. С. Буданцев приехал в Астрахань вскоре после подавления этого выступления, когда в городе хорошо помнили недавние события, и впечатления от того, что увидел и узнал писатель, легли в основу книги.

Критика 20-х годов видела близость этого романа к произведениям Пильняка, отмечая вместе с тем бо́льшую реалистичность образов у Буданцева.

Стоящие в центре повествования «командарм» левый эсер Калабухов, тщеславный позер, предатель интересов революции, его помощник наркоман Северов, полковник Преображенский показаны как люди духовно опустошенные, ненавидящие Советскую власть, которую они стремятся уничтожить. К сожалению, изображая противостоящих им большевиков — Болотова, Лысенко и других,— автор не нашел достаточно впечатляющих красок, и потому их образы носят несколько поверхностный, схематичный характер.

Роман «Командарм» и сборник рассказов «Японская дуэль» С. Буданцев послал А. М. Горькому. Горький в ответном письме от 26 сентября 1927 года отметил недостаточную самостоятельность романа, а о сборнике «Японская дуэль» писал: «...если устранить из памяти... погрешности против языка,— мы получаем «Яп[онскую] дуэль» как интересную серию рассказов, автор которых знает и цену, и требования темы, любит писать, хорошо видит и «не покорствует фактам». Дарование — своеобразное, и оно должно найти свой путь, свои средства для наиболее яркого и полного воплощения. «Яп[онская] дуэль» показывает, что Вы это и делаете не без успеха. Позвольте же советовать Вам продолжать Вашу работу обогащения себя *своим* языком, и позвольте мне, старику уже, сказать Вам, что «чем проще, тем лучше». Мы имеем перед собой читателя, который берет книгу в руки не «для разгулки времени», а для того, чтоб понять себя и окружающую его действительность.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов и не сомневаюсь, что Вы достигнете их, у Вас для этого вполне достаточные данные, у Вас богатый опыт, и — чувствуется — у Вас есть главнейшее: любовь к делу, избранному Вами»[1].

Урок Горького не прошел даром. С. Буданцев никогда больше не возвращался к «рубленой прозе». Все его произведения написаны в реалистической манере, отмечены глубоким психологизмом, умением передать детали быта.

Менее чем за пятнадцать лет было издано почти двадцать сборников

---

[1]Вопр. лит. 1962. № 9. С. 160.

рассказов, повестей и пьес С. Буданцева, в 1928—1929 годах вышло Собрание его сочинений в трех томах, включавшее романы «Командарм» и «Саранча», а также рассказы.

С. Буданцев прочно входит в литературу. Он сотрудничает во многих газетах, одно время работает заведующим отделом прозы Гослитиздата. В архиве, сохраненном его женой, поэтессой В. В. Ильиной-Буданцевой и хранящемся в ЦГАЛИ (ф. 2268), есть альбомы с фотографиями С. Буданцева, снятого вместе с писателями М. Зощенко, Л. Леоновым, И. Бабелем, Вс. Ивановым, К. Фединым и др. Тесная дружба связывала его с Б. Л. Пастернаком. Сохранился черновик письма Буданцева Пастернаку от 4 октября 1928 года. «Признаюсь, я несколько испугался ответственности, к которой Ваш отзыв меня призывает — но этот страх почти мгновенно смыла волна признательности судьбе, что меня слышит такой читатель, как Вы. Вы правы, наше знакомство и приятельство состоялось в давности более значительной, чем «школьная»... Я горжусь сказать — повторить то, что написал на книге,— что мое ученичество у Вас более, чем простая подражательность, предполагающая усвоение приемов учителя и «победу» над ним. Вашего влияния мне хватит на всю жизнь, и оно никогда, кроме разве первых вещей, не было и не будет внешним, явным для любого учителя словесности. Ваше письмо и похвалы, в нем расточенные, показали мне, что я стал «беллетристом», что «художественная проза» моя, пусть...» (на этом текст обрывается)[1].

К сожалению, жизнь С. Буданцева в 1940 году трагически оборвалась. В рукописи остались роман «Писательница» (в первом варианте «Учение о вечной молодости»). Не был завершен роман «Юноша».

С. Буданцев долго жил в Иране и Азербайджане, наблюдая обычаи, нравы, быт Востока, что позволило ему отразить эту тему в ряде произведений. Он неоднократно выступал в печати против колониальной политики англичан в Иране.

Рассказы С. Буданцева о Востоке — «Форпост Индии» (1922), «Лунный месяц рамазан» (1924—1925), «Жена» (1926) — относятся к лучшим в наследии писателя. В них он, не увлекаясь экзотикой, отображает реальную жизнь, классовые противоречия, которые ему приходилось видеть, жестокую политику британского империализма, превращавшего страну в свою колонию.

Миру англичан — Чарльза Эддингтона, ротмистра персидской казачьей бригады, его невесты Дженни, без раздумий посылающей на гибель персидского мальчика, негоцианта Эдвардса и других,— тех, кто может сказать о себе, как один из них: «Я очень люблю усмирять мятежи» — противопоставлен народ, забитый и угнетенный, но тянущийся к мятеж-

[1] ЦГАЛИ, ф. 2268, оп. 1, ед. хр. 63.

нику Сулейману, защитнику бедных («Лунный месяц рамазан»). В «Форпосте Индии» выведен большевик Изатулла Ахметов, который вместе с комитетчиками пытается поднять забитых, запуганных рабочих против хозяев. Выданный предателем, он гибнет в тюрьме, убитый изощренным способом по наущению «культурного» англичанина Мак-Дерри, «джентльмена», лицемерно презирающего предателя, который ему помогает.

В одном из лучших рассказов С. Буданцева «Жена» создана достоверная картина тяжелого, бесправного положения женщины, невольницы богатого мужа. В глухом узбекском кишлаке еще живы старые порядки. Сцены сватовства, уговоров невесты, картин нужды бедняка Гассана и жестокого довольства в доме богатого Ахмета — все это воссоздано художественно убедительно. Удачны образы трех жен Ахмета — Сакины, Гюльджамал, Вязифэ. Старшая жена — Вязифэ — предана своему господину, она умело управляет домом и лишена сочувствия младшим женам, одна из которых — беременная Гюльджамал — умирает, надорвавшись на непосильной работе. Сакина уже видела новых людей на строительстве железной дороги, где работает ее отец. Ее тянет к ним, она стремится вырваться из затхлого мира, где человеческая жизнь не ставится ни во что, где ей уготовлена судьба бессловесной рабыни. Смерть Гюльджамал помешала задуманному побегу, но ощущение того, что смелая Сакина добьется своего, уйдет к новой жизни, остается.

Образ Сакины перекликается с созданным уже в наше время Чингизом Айтматовым в «Первом учителе» образом Алтынай, также в первые годы Советской власти испытавшей гнет подневольной жизни в байском доме.

Знание психологии народов Востока, стремление вскрыть острые, жизненно важные проблемы отразились и в романе С. Буданцева «Саранча» (1927), изданном в 1929 году в Собрании сочинений. Здесь показаны трагические события 1922 года, когда южные районы Азербайджана подверглись нашествию саранчи.

В 1930 году, после поездки с группой писателей в Среднюю Азию, написал повесть о борьбе с саранчой в Туркмении Леонид Леонов. В ашхабадском журнале «Туркменоведение» (1930. № 8—9, 11) она была опубликована под названием «Саранча», но в этом же году в «Красной нови» появилась под названием «Саранчуки». Очевидно, эта перемена была продиктована тем, что роман «Саранча» уже был. Название «Саранча» Л. Леонов вернул своей повести лишь в 1946 году, когда имя Буданцева и его роман были основательно забыты. Но эти произведения сближают не только названия.

Отражая реальную действительность, оба писателя показывают не только сходные для равных регионов страны еще несовершенные методы

борьбы с саранчой, но главное — всенародный характер борьбы с этим стихийным бедствием.

В романе Буданцева в борьбе с невиданным нашествием, опустошавшим поля и сады, объединилось все население Степи — местные жители, украинцы, молокане-поселенцы, беженцы из голодных краев России. С подлинным мастерством описан трудовой энтузиазм народа, трагическая гибель Маракушева-младшего, ставшего жертвой дельцов, поставивших негодные сжигательные аппараты. В Карасунском районе, о котором идет речь в романе, борьбу с саранчой возглавляет заведующий хлопкоочистительным заводом агроном-энтомолог Крейслер.

Тема судьбы интеллигенции в революции была актуальна для многих писателей 20—30-х годов. О том, как, преодолевая груз привычек и предрассудков прошлого, представители интеллигенции приходят к сотрудничеству с Советской властью, писали Л. Леонов («Скутаревский»), Б. Лавренев («Гравюра на дереве»), К. Федин («Братья») и многие другие. Значительное место этой теме уделил в своем творчестве и С. Буданцев. Но если в раннем рассказе «Японская дуэль» (1926) чудак-библиограф Григорий Нилыч не находит пути приобщения к новой жизни и «мстит» ей тем, что сжигает труд всей своей жизни — Библиографический свод переводов западноевропейских поэтов на русский язык, то уже в «Доме с выходом в мир» (1930) известный инженер-строитель Глебов остается на народной стройке «Агромашстрой», в далеком от покинутой им Москвы краю. К такому решению он приходит, однако, не столько по убеждению — хотя его захватил масштаб стройки и люди, самозабвенно работавшие на ней,— сколько уходя от неурядиц собственной семьи.

Эта важная для С. Буданцева тема впоследствии найдет свое воплощение в романе «Писательница», но уже в «Саранче» она поставлена четко и определенно.

Крейслер — человек, преданный своему делу до самозабвения. Он бросил сравнительно обеспеченную жизнь за рубежом, вернулся в 1921 году из Персии в Советскую Россию, чтобы участвовать в строительстве новой жизни. И он стремится работать честно. Но обстановка, в которую попадает герой, чрезвычайно сложна. Советская власть в Закавказье еще только установилась. С. Буданцев описывает жизнь в глухой провинции в голодное, неустроенное время. Крейслера окружает мир провинциального мещанства, обывателей, занятых своими мелочными делами, ничтожные люди, приспособленцы и жулики вроде аптекаря Бухбиндера, бездельника механика пана Вильского, недалекого Онуфрия Ипатыча Веремиенко. Писатель показывает, как в этом мире стяжателей могут вырасти и процветать такие преступники, как Тер-Погосов, Муханов и другие. Шайка жуликов и проходимцев во главе с этими руководителями «Саранчовой организации», призванной возглавить борьбу со стихией, на самом деле

препятствует этой борьбе, греет руки на народной беде, присваивая деньги, которые должны быть истрачены на приобретение средств борьбы с саранчой. Крейслер организует работу, привлекая к ней окрестное население, служащих завода, беженцев.

История борьбы с саранчой является одновременно и историей становления характера ученого-энтомолога. Жена-мещанка не понимает его. Увлеченный своими заботами, он рискует потерять семью, но не может отказаться от дела, нужного людям. Характер его мужает и крепнет. Верным союзником Крейслера не только в борьбе с нашествием саранчи, но и против враждебных действий «Саранчовой организации» является единственный представитель Советской власти в обширном районе — большевик Эффендиев. Человек энергичный, справедливый и решительный, он разоблачает шайку спекулянтов и добивается их осуждения. Они несут заслуженную кару, но зло, содеянное ими, оставляет глубокий след.

Однако образ коммуниста Эффендиева в романе еще не получил должного развития, это, скорее, лишь подступы к изображению передового советского человека, более убедительно показанного в последнем романе С. Буданцева.

Изображению и обличению мещанства, обывательщины, этого наследия прошлого, представляющего значительную опасность для нового общественного строя, посвящены многие произведения Сергея Буданцева. В рассказах, вошедших в сборники «Японская дуэль», «Форпост Индии», «Половодье» и другие, он отразил быт московских «углов», мещанства, приспосабливающегося к новым порядкам, дельцов мира наживы. К таким рассказам относятся «Московские углы», «Таракан», «Весенняя песнь», «Капля» и др. Выразительные образы дельцов-нэпманов выписаны в рассказе «Углы падения» и повести «Отчий дом».

Мещанская среда превращает в ничтожество провинциального фотографа — брата главного героя рассказа «Половодье». Сам герой, от имени которого ведется повествование, уезжает в Москву учиться. С глубоким психологизмом воссозданы переживания мальчика, в половодье бегущего за гибнущим на реке братом. Брат спасся, а мальчик, переживший трагедию, после болезни начинает ощущать невозможность жизни в затхлом мире обывателей, лишенных каких бы то ни было интересов.

В этом рассказе юноша, уезжающий из дома и рассказывающий о себе случайному попутчику,— прототип героя незаконченного романа С. Буданцева «Юноша» — о жизни молодого человека, приехавшего в столицу учиться.

Грандиозные изменения, происходящие в стране в период социалистических преобразований, нашли свое отражение в литературе 30-х годов. Тема социалистического строительства становится ведущей.

С. Буданцев в это время много работает в газетах, ездит по стране, живо откликается на события — пишет очерки о Днепрострое и электрификации страны, о прокладке московского метрополитена, о передовых людях — творцах социализма.

Он создает цикл очерков о балахнинских бумагоделателях — результат поездки группы писателей на бумажную фабрику, одну из строек первой пятилетки, о которой М. Горький писал: «Я вышел с этой фабрики в настроении человека, заглянувшего в светлое будущее...»[1]

Картину вдохновенного творческого труда воссоздает С. Буданцев в «Рассказе о труде» (1932). Установка мачт электропередачи, строительство цехов Запорожстали — во всем автор видит трудовой героизм. Рассказ носит еще очерковый характер и интересен прежде всего тем, что отражает переход писателя к новым темам.

Несомненная удача автора — образ мастера Пикельмана. Пикельман — заведующий электромеханическими мастерскими, но трудовое начало в нем сильно, он не может равнодушно видеть плохо выполненную работу и сам берется переделать небрежно сваренный маслопровод, самоотверженно трудится более суток, чтобы не сорвать сроков сдачи.

Пикельман — старый кадровый рабочий, для которого интересы завода — дело его пролетарской чести. Павлушин в романе «Писательница» — человек новой формации, также преданный интересам общего дела. Он показан С. Буданцевым через свежее обостренное восприятие человека, далекого от заводской жизни,— писательницы, приехавшей на завод.

Роман «Писательница» вырос из написанного в 1933 году рассказа «Эпоха»[2], в котором уже определена судьба Павлушина, повествуется о гражданской войне, гибели жены и сына героя, расстрелянных белогвардейцами. Уже в этом рассказе намечен образ писательницы, стремившейся понять новых для нее людей.

Роман «Писательница» — это книга о современности, о жизни завода и города. Но вместе с тем — это произведение о творчестве.

Писательница приезжает на завод собирать материал для своего произведения. Последовательно прослеживается каждый шаг, фиксируется каждая ее мысль, и по мере того как вырисовываются образы будущих героев ее книги, меняется мировоззрение старой писательницы.

Ее заинтересовал Павлушин — начальник цеха использования отходов, он «всем своим обликом выделялся на заводе: особой выпуклостью, вескостью черт». Писательнице удается вызвать его на откровенность — и он рассказывает о своей прошлой жизни, о гражданской войне и пережитой им трагедии.

---

[1] Горький М. По Союзу Советов//Собр. соч.: В 30 т. Т. 17. С. 149.
[2] Октябрь, 1933. № 7.

Чтобы лучше понять своего героя, писательница расспрашивает о нем его сослуживцев. Этот прием позволяет расширить круг персонажей романа. В поле ее зрения попадает рассудительный и преданный другу Досекин, исполнительный, увлеченный машинами Сердюк, самовлюбленный Ященко. И в детях Павлушина — Насте и Пете — писательница стремится найти черты отца. Постепенно прямолинейный, «хрестоматийный» характер Павлушина, каким он видится вначале, заменяется в ее воображении живым, самобытным обликом человека, способного страдать и радоваться. Он вызывает в писательнице глубокий интерес и сочувствие. Она решает писать о нем: «Прежде, чем так отчетливо появилось желание писать, тяжестью и еле заметной щекоткой налились, как у курильщика перед желанием закурить, пальцы, а затем во всем существе наступила прохладная, ровная, как бы электрическая, сухость. Писательница... села за стол. Она, не вставая, писала до утра... Ее охватило блаженство тяжелой умственной работы».

Так выразить состояние, предшествующее работе, мог только человек, хорошо познавший муки творчества. О труде писателя на всех этапах — от сбора материала до создания произведения — говорится с таким знанием дела, что не сомневаешься: за этим стоит личный творческий опыт автора, и в этом смысле роман можно назвать автобиографическим.

Но ограничиться только описанием процесса творчества автор не может. В силу гражданственного характера труда — писательница не может только наблюдать жизнь, она начинает активно вмешиваться в нее. Ей удается убедить Настю вернуться в семью, правда, попытка повлиять на Петю остается безуспешной. Но она искренне радуется счастью своих героев.

Столкновение с новой, социалистической действительностью не прошло для писательницы даром. «Я зачерпнула молодости! — говорит она Павлушину.— Для меня это равносильно началу творческой жизни. И тут надо благодарить вас».

Павлушин — живое воплощение человеческих качеств, типичных для представителей новой социальной формации,— сыграл большую роль в творческом становлении старой писательницы, помог ей преодолеть пережитки, понять новый строй, новых людей, принять их мировоззрение.

В «Командарме» большевики представлены безлико, Эффендиев в «Саранче» показан уже более живо, полнокровнее, определена его роль в сюжете (участие в борьбе с саранчой, защита Крейслера от несправедливых обвинений).

Роман «Писательница» целиком построен на всестороннем раскрытии характера и судьбы коммуниста Павлушина. Молодой железнодорожник становится командиром Красной Армии, сражается на фронтах гражданской. «Военная служба в Красной Армии представилась ему самым

естественным и ясным состоянием человека». Он проливал кровь, чтобы после войны создать «мечту первых лет революции» - «чистое, светлое здание социализма, огромный дом со стеклянной крышей по всей суше планеты».

Система образов в романе построена так, что каждый персонаж оттеняет какую-либо черту характера главного героя. Если для раскрытия стержневого конфликта они не нужны, автор не привлекает к ним читательского внимания. Так, младшие дети Павлушина присутствуют как бы «за сценой», у них нет имен, мы даже не знаем, сколько их,— упоминание о них служит для того, чтобы передать переживания Раисы Степановны, связанные с воспитанием Пети и Насти.

Некоторая усложненность языка романа предопределена, очевидно, желанием С. Буданцева показать стиль героини, отличающийся от стилевой манеры самого писателя. Длинные периоды, развернутые рассуждения, обращение к мифологии, к именам русской и мировой литературы характерны именно для старой писательницы, получившей классическое образование. Этому противопоставлен язык Павлушина. Простой и ясный в рассказе о прошлом, в деловой его речи он становится сухим. Привыкший мыслить определенными категориями, Павлушин часто прибегает к формулировкам казенным и прямолинейным.

С созданием романа «Писательница» открывался новый этап творчества Сергея Буданцева. Он полон творческих замыслов, его писательский блокнот буквально переполнен впечатлениями о грандиозных трудовых свершениях, свидетелем которых ему пришлось быть.

Вот как он говорит об этом в своей «Автобиографии»: «Эти строки пишутся июньским вечером в поселке Запорожстали около Днепростроя. ⟨...⟩ Проходят люди. Они создали Днепровскую плотину, возвели коробки огромных цехов новейших заводов, между делом строят социалистический город⟨...⟩ — и я живу в таком городе. ⟨...⟩

Напишу, все думается, вещь, в которой жизнь найдет свой голос такой силы и свежести, каким она голосит только в действительности Любой художник мечтает об этом!»

...Писатель находился в той поре своей литературной жизни, о которой принято говорить «зрелость». Он мог бы сказать о своем творчестве, что оно «неопровержимо и живо, вместе со всем народом, участвует в построении нового, прекрасного мира». Однако имя и творчество Сергея Буданцева, репрессированного в трагические годы культа личности, надолго было вычеркнуто из жизни и литературы.

Пришло время вернуть из забвения его книги, являющиеся подлинными документами эпохи гражданской войны и построения социализма.

Л. Полосина

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 28 ноября 1896 года ст. ст. в многодетной семье (я был одиннадцатым сыном) управляющего имением «Глебково», Зарайского уезда, Рязанской губернии. Детство провел в этом небольшом поместье, где еще были живы воспоминания крепостного права, а хозяйство велось дедовскими способами, оранжереями и маленьким конным заводом, рядом с трехполкой да двумя жнейками «Мак-Кормик», с которыми легко конкурировали выписываемые из Тульской губернии бабы.

Учился я в Рязани, в частной гимназии Зелятрова, которую и окончил в 1915 году. В следующем году я поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но науками не занимался. Война четырнадцатого года застала нас в предпоследнем классе. Только теперь видно, какой угрозой висела она над поколениями. Нам, первокурсникам, грозила она досрочным призывом, прапорщицкими погонами, окопами и казалась нескончаемой. В первый же московский год я попал в кружки молодых. Хлебников, Асеев, Вера Ильина, Федор Богородский, Сергей Спасский, Надежда Павлович, художники Н. Чернышев, Эл. Лисицкий, скульптор Нис Гольдман — были первыми живыми связями с новым искусством. «Облако в штанах» обратило меня из эпигона символистов, каким я покинул Рязань, в яростного пропагандиста Маяковского. Ходить в университет было некогда, я писал по три стихотворения в день, да и все равно досрочный призыв вот-вот мог прервать студенческие занятия. В наших юношеских планах мы все серьезные дела откладывали на «после войны».

Мы жаждали печататься. Нам удалось завоевать любительский журнальчик «Млечный Путь», вытеснив из него замшелых любителей, называвших себя «народными поэтами». Впрочем, по издательским соображениям, среди подражаний Маяковскому и Хлебникову иногда появлялись там и скромные упражнения в стиле Дрожжина,— почтенные

эти авторы оплачивали часть издательских расходов.

Весной 1916 года я уехал на Урал, на стройку Казань-Екатеринбургской ж. д., где меня призвали. Однако, не желая хлопотать и возиться с единственным в уезде девятнадцатилетним студентом, красноуфимское воинское присутствие перевело меня, по слабости зрения, в ратники второго разряда. Таковых на командные должности не брали, оставляли учиться. Я был свободен на неизвестный срок.

В том же году, в сентябре, едва заглянув в Москву, я отправился в Персию, где и пробыл сотрудником хозяйственной части 25-го восточноперсидского отряда земского союза до середины июля 1918 года. Юношеская охота к перемене мест удовлетворялась вполне. Энзели, Решт, Имам-Заде-Гашим, Куин, Казвини, Хамадан, Сахнэ, Керманшах, караван-сараи, древние города, питательные пункты на горных перевалах, лазареты...— всего не пересчитать, материала хватило бы на книгу.

Война на западе казалась нескончаемой, но для нас она саморазоблачилась. Зимой 1917 года войска корпуса Баратова уходили из Персии, англичане ее занимали. Многому учила эта страшная зима. В Хамадане на улицах умирали костлявые старики, валялись детские трупики, скелеты лошадей,— англичане скупили фураж и хлеб и отправили в Месопотамию. Плохо приходилось и нам: английский банк спекулировал с начала войны русской валютой и во время Керенского убил ее на персидском рынке.

Радио Рейтера, редкие, разрозненные, месячной давности газеты из России, предметные уроки империалистической политики, даваемые англичанами, зрелище голодающей, изнуренной страны, которую из нейтральной давно превратили в завоеванную, и этот неповторимый воздух революции, которым мы дышали, которым начинала дышать Персия,— все это, да еще с марта 1918 года заведенные знакомства в революционном комитете Энзели заставили о многом подумать, кое-что почитать и определить себя. Среди военных и служащих бывшего корпуса Баратова вербовались какие-то отряды — там ведь и Шкуро начал карьеру,— эсеры, англичане, меньшевики, дашнаки составляли отряды «защит», «охран», платили тяжеловесным персидским серебром, формировали штабы, лазареты, склады, какие-то титулованные офицеры и сестры милосердия уезжали через Багдад в Индию, кто-то оставался в Ха-

мадане, в Тегеране, шла широкая игра в карты, кутежи.

Лично я в феврале 1918 года приехал из Хамадана в Энзели,— здесь был другой воздух. Я сблизился с руководящими работниками энзелийского ревкома, главным образом с тов. И. О. Коломийцевым, офицером из студентов, левым эсером, который, впрочем, очень скоро съездил в Баку и вернулся оттуда убежденным большевиком. Вместе с ним я защищал в спорах и Брестский мир, и Декрет о земле и начал работать в ревкоме. Будучи назначен первым советским полпредом в Тегеран, Коломийцев звал меня с собой. Но я рвался в Россию, и он дал мне письмо к тов. Осепяну, редактору «Известий Бакинского Совета».

В июле 1918 года Бакинская коммуна доживала последние недели. Турецкие войска с германскими инструкторами подступали к Грузии. Враждебные Советской власти партии развивали агитацию о призыве в город английских войск. Так был бы нарушен Брестский договор и началась бы война с Германией.

Я предложил редакции «Бакинских известий» писать статьи о Персии и англичанах, разоблачая их колониальную и нефтяную политику и доказывая полное бессмыслие ждать какого бы то ни было реального содействия от британских войск: от Багдада до Энзели больше тысячи верст персидского бездорожья, по стране, охваченной восстаниями против новой оккупации. Я писал эти статьи под псевдонимами: А. Придорогин, Б. Ворожбин, П. Владимиров.

Две книги об этой эпохе упоминают и мою скромную деятельность: Сурен-Шаумян, «Бакинская коммуна», Истпарт, Баку, 1927 (стр. 112—116, мой доклад члену реввоенсовета И. О. Коломийцеву от 26/VI—18 г.) и генерал Денстервиль, «Поход на Кавказ и Персию, мемуары». Генерал, начальник оккупационных войск, приводит в мемуарах свои донесения великобританскому военному министру и в одном из донесений цитирует полностью мою статью «Англичане в Персии» как образец советской антибританской пропаганды. (Кн. генерала Денстервиля «Британский империализм в Баку и Персии 1917—1918. Воспоминания». Изд-во «Советский Кавказ», Тифлис, 1925, стр. 169—171).

Во время эвакуации Советской власти и войск я, будучи выдан меньшевиками, раскрывшими мой литературный псевдоним, был арестован в числе еще десятка-двух ответственных работников. Всех нас лишь случайность спасла от

участи Двадцати шести. Мы были арестованы в числе первых по списку, задержанных на кораблях, уходивших из Баку в красную Астрахань. У нас сразу же отобрали документы, и только это спасло всех, кого бакинские контрреволюционеры не знали в лицо. Мы затерялись среди беженцев и добрались до Астрахани. Туда мы попали тоже после белогвардейского мятежа и, стоя на двенадцатифутовом рейде, не знали, примет нас город или нет. Астраханский мятеж я описал в первом своем романе.

В «Известиях Бакинского Совета» работал тов. Лазьян, на пароходе мы познакомились с тов. Л. Шкловским, все трое подружились. Вскоре по приезде Астраханский военный комиссариат поручил нам троим организовать красноармейскую газету. С сентября 1918 года стал выходить под нашей редакцией «Красный воин», орган Каспийско-Кавказского фронта. Там, в каждом номере, в среднем не менее полутора моих статей, но часто бывали дни, когда я давал и две, и три. Но одна помещалась непременно, по большей части передовица.

В Астрахани жил в это время с родными Хлебников. Мы пытались привлечь его к сотрудничеству. Но из гениального поэта не выходило газетчика, а выходили печальные курьезы, и за одну его заметку я едва не угодил под суд. Паек мы ему, помнится, выдавали. Мы напечатали несколько его стихотворений, и воспоминания его «Октябрь на Неве» (название, кажется, мое) украсили номер от 7/XI—18, первой годовщины Октября.

Однажды в редакцию прислали из Воронежа пышно изданный, в Чехонинской обложке, журнал «Сирена», поразительный по соединению таких имен, как, скажем, Федор Сологуб и Маяковский. Я послал туда стихи, их напечатали. Мне снова стало казаться, что я поэт, запросился в Москву и в начале февраля 1919 года, освобожденный от должности члена редколлегии «Красного воина», уехал из Астрахани.

Летом того же года я попал из Москвы на Западный фронт, в Смоленск, из Смоленска, осенью, в Челябинск, Курган, Омск, по пятам за Колчаком, с Опродкомом 5-й армии. А в начале 1920 года снова Москва, работа в Лито Наркомпроса, знакомство с Брюсовым, Маяковским, Есениным, стихи и выступления на литературных вечерах в Политехническом музее, в Консерватории, на маленьких эстрадах Дома печати, Лито, Всероссийского союза поэтов, Дворца ис-

кусств,— тогда ведь едва не возродилась устная словесность.

Печататься я начал очень рано. Чуть ли не в 1910 году мы, трое гимназистов, сочинили статейку о солнечном затмении и напечатали ее в «Рязанской жизни». В 1912 году в той же газете напечатан мой очерк-подвал о французских аэронавтах, которые, дабы выиграть кубок Гордон-Беннета, попали на аэростатах из Штутгарта к селу Рыбному. Тогдашняя культурная общественность выдвинула для их обслуживания меня и одного моего товарища-шестиклассника. После этого я печатал и плохие литературные статьи, и скверные стихи, даже вел стихотворный фельетон.

Взрослая моя литературная работа началась с 1922 года романом «Мятеж» (был впоследствии переименован в «Командарма», так как его название совпадало с названием книги Дмитрия Фурманова, и мы решили с ним тянуть жребий, кому переименовать книгу; жребий выпал на меня). С этого времени литература сделалась профессией, биография превращается в библиографию.

Эти строки пишутся июньским вечером в поселке Запорожстали, около Днепростроя. Свистят паровозы, слышны взрывы — рвут строительный камень, стихли зной, пыль и ветер, кричат дети. Проходят люди. Они создали Днепровскую плотину, возвели коробки огромных цехов новейших заводов, между делом строят социалистический город на полтораста тысяч жителей,— я и живу в таком городе. Их дело бесспорно.

И все кажется, что вот скоро, с осени, что ли, 1932 года, через двадцать лет после первой печатной вещи, начнется и самая серьезная работа в литературе. Напишу, все думается, вещь, в которой жизнь найдет свой голос такой силы и свежести, каким она голосит только в действительности. Любой художник мечтает об этом!

Истинное искусство завистливо лишь к неопровержимости живого практического дела. В росте грядущей культуры, когда ее требования почти физически ощутимы, когда читатель вплотную подступит к столу пишущего, как аудитория перед оратором,— искусство обретет неведомую ему веками уверенность в важности своего существования, уверенность, что оно, так же неопровержимо и живо, вместе со всем народом, участвует в построении нового, прекрасного мира.

Июнь 1932
Днепрострой

Саранча

Роман

В. В. Буданцевой

Глава первая

I

Михаил Крейслер вместе с женой и дочерью вернулся в Россию после пятилетнего прозябания в Персии — летом тысяча девятьсот двадцать первого года. Грузовой пароход, только что получивший имя одного из двадцати шести бакинских комиссаров, взял в Энзели рис и кишмиш, зашел в Астару за рыбой и икрой, в Ленкорань за пшеницей и кукурузой; погрузка производилась медленно, неряшливо, и «Осепян» поздней ночью вошел в гавань, опоздав на сутки с лишком, спасаясь к тому же от засвежевшего ветра. Михаил Михайлович стоял среди узлов и пакетов на носу и едва не заплакал: огромный город угадывался по россыпи электрических огней, фонари пристаней ровной гирляндой наметили очертания порта и были зажжены, казалось, с безудержной щедростью и тщеславием. Сзади рушился ветер. Грохот замыкал черную бездну моря и неба. Там словно заново начинали мироздание. Успело несколько раз качнуть по борту, но уже заиграла мелкая дегтярная рябь гавани, и Крейслер сказал:

— В большие забияки я не лезу. Но за себя постоим, Таня, и если здесь начинают новую жизнь...

Не окончил, его заглушил мощный голос сирены — музыкальный, сотрясший весь пароход. Эти свет и звуки, которыми перекликалась цивилизация, представились нашим провинциалам необыкновенно расточительны.

— И воздух другой. Смотри, как потянуло асфальтом, нефтью,— заметила Татьяна Александровна, наклоняясь к спавшей на хурджимах дочери поправить на ней платочек.— Как это у нас хватило терпения прожить столько в захолустье, совсем одичали.

Столб света, казалось, с шумом упал ей на лицо. Про-

жектор военного судна нащупал их. Они вздрогнули от этой бдительности. Михаил Михайлович сдернул пробковый шлем, помахал им. Высокий, широкоплечий, с красным от загара, теперь в неестественном освещении коричневым лицом, он словно смутил своей радостью ослепительный круг близкого прожектора, заставил погаснуть.

К ним подошел с портпледом в руках веселый спутник: приятель еще по Земсоюзу экспедиционного корпуса генерала Баратова Арташес Григорьянц — маленький в мелких завитках волос брюнет, похожий на престарелого пуделя. Он вынырнул из полутьмы палубы так же неожиданно, как неделю тому назад окликнул Крейслера в аптекарском магазине в Реште. Молодая женщина посмотрела на него со смутной завистью — у него был удобный, необременительный, элегантный багаж; ей подумалось, что только такие оборотистые, хитрые люди ловко устраиваются на новых местах, а им, с их узлами, придется трудно.

— Волнуетесь? — спросил Григорьянц, как бы угадывая ее мысли.— Только не ругайте меня, вашего проводника...

— Боюсь вашей бестолковщины,— вмешался Крейслер.— И голодать не сладко, если не удастся устроиться. А у меня больная жена, беременные дети,— неуклюже сострил он.— Кому я нужен, недоучившийся агроном, бывший смотритель участка на Энзели-Тегеранской шоссейной дороге?

— Ничего, помогу. Тряхнем связями.

Григорьянц покровительствовал с удовольствием. Когда-то в Земсоюзе Крейслер неизменно занимал лучшие должности, а при Керенском был даже прямым начальником Григорьянца. Немудрено, что появились нотки бахвальства в голосе Арташеса. Товаровед-текстильщик, он служил всю гражданскую войну в отделе здравоохранения и теперь ездил в Решт закупать хинин. И хоть, по его словам, он совершил удачную сделку, вся эта неразбериха пугала Михаила Михайловича. Мариночка проснулась от разговоров, от гудков, от беспорядочных поворотов парохода, заплакала, рассеяла размышления и втолкнула в суету несвоевременного прибытия.

Пристань грузовая, маленькая, полутемная; только издали представлялось освещение обильным,— к сходням добрались с трудом из-за трюмных пассажиров, персов,

ожесточенно ринувшихся, галдевших и надышавших перегаром чеснока. Кто-то требовал билеты и пропуска, потом погнали всех на таможенный досмотр в каменный сарай (Григорьянц махнул ручкой и был таков). Сонные дежурные чиновники рыли багаж целую ночь. К утру, смертельно усталые, путешественники очутились на выщербленных мостовых города, спавшего в сером тумане неулегшейся пыли. Сизое море неодобрительно косилось из-за облупленных построек, пахнувших испражнениями и смолеными канатами, на содранные вывески, грязные фасады, кучи мусора, не убиравшиеся месяцами, на развалины, окруженные остатками заборов, на груды щебня и кирпича, словно тут начинали строиться, да что-то помешало, и покинули в беспорядке.

— Какой был приличный, оживленный город,— сказал Михаил Михайлович.— А теперь... и ни одного фаэтона. Куда же мы денемся с барахлом?

Отпущенные из таможни персы расходились по трущобам, о которых их оповестили земляки. Крейслер нанял двоих нести вещи и двинулся искать гостиницу, адрес которой сообщил Григорьянц. Но это оказался не то дом советов, не то общежитие профсоюзов, приезжающих туда не пускали. Разбуженный швейцар долго ругался по-тюркски и по-русски; амбалы требовали прибавки к уговоренным четырем кранам; Мариночка кашляла, потела, пищала; жена побледнела, посерела. Радостное волнение, охватившее Крейслера вечером, переродилось и влилось в нервы зудом раздражения. От желания лечь в постель завыл бы, как воет бездомный пес. Подымались в богатые, когда-то торговые кварталы города. И здесь особенно отвратительно в свете утра поражало запустенье. Сквозь полусон, утомление Крейслер со вниманием наблюдал город революции, не похожий ни на то, каким он являлся воображению, ни на то, каким его описывали. В особенности его изумляло невероятное количество расклеенной по стенам, по заборам бумаги. Афиши, анонсы, приказы, распоряжения, объявления, плакаты, даже газеты и иллюстрированные приложения скрывали заборы, стены, целые фасады; их площадь измерялась десятинами; они сопровождались угрозами тому, кто попробует сорвать или заклеить их. Предутренний ветер мел, как хлопья, клочки бумажек с грозными словами новых установлений и законов. Удивляло и безлюдье

улиц,— в старое время такой город не затихал более, чем на два-три часа в сутки, да и то не так мертвенно. Огромные крысы бегали в окнах «продуктовых распределителей».

— Смотри, Миша, смотри! — в ужасе кривясь, вскрикивала жена почти у каждой витрины.

На подоконниках валялись пузырьки из-под уксусной эссенции, обрывки пакетов, осколки стекла. Неизвестно чего искали там крысы,— они, вероятно, нарочно красовались перед людьми, жирные, с отвислыми животами, острыми злыми мордочками.

— Где же мы будем жить? — спрашивала она, чуть не плача.

II

Немногие русские, с которыми Михаил Михайлович поддерживал знакомство, всячески отговаривали его от этой поездки. Если бы они знали, что он двинулся, имея в кармане пятьдесят туманов, то есть девяносто рублей золотом! Его ругали за глаза большевиком, впрочем, без всякого ожесточения, скорее, завидуя: каждый мечтал о том же, непрестанно колеблясь.

Крейслер не мог без дрожи отвращения видеть глухие ущелья Лаушана, где он жил, фиолетовые обрывы, по которым зигзагами,— «генеральским погоном», называли шоферы,— ломалось каменистое шоссе. Сухой, постоянный в этих горах ветер сдирал кожу с лица. Крейслер запоем пил араку — изюмную водку — в компании с дорожными техниками и путешественниками, приезжавшими на растрепанных «фордах» и в допотопных каретах. Мариночка с рождения хворала малярией, малярия трясла и жену его; лечились своими средствами. Ему пришлось быть даже акушеркой: он сам принимал свою дочь. Роды наступили неожиданно, в Казвин везти жену было поздно, Михаил Михайлович побежал в селение за повивальной бабкой. Таня страшно мучилась. Пришедшая старуха покачала головой и села верхом на родильницу, помогая схваткам. Крейслер ее немедленно выгнал и принял ребенка. После этого прошло три года, и — как вчера! Времени, не отмеченного событиями, никто не замечал. Не случалось никаких собы-

тий, без прошлого не предвиделось будущего, не тревожили надежды, все разнообразие жизни свелось к смене времен года, обвалам, требовавшим ремонта дороги, к капризам погоды, ураганам. И вот это мельтешение дней прекратилось.

Они, как в бреду пережив путешествие, упали в тесный номер с одной кроватью, голым овальным столиком, на котором коробилась фанера, с драными обоями и начисто выбитыми стеклами окна, выходившего на заваленный циклопическими скирдами нечистот двор. Грохочущее существование города сплошь состояло из происшествий, несчастных случаев, демонстраций, парадов, очередей. Отдыхали только за газетами.

Супруги почти перестали видеть друг друга, засуетившись в новой, трудной, искавшей быта жизни. Муж бегал с записками Григорьянца и еще одного приятеля — инженера нефтеперегонного завода — по разным учреждениям, многоразличные люди во френчах и гимнастерках читали записки, пожимали плечами, сообщали, что приступают к сокращению штатов.

— Трудно ухватиться,— говорил Крейслер.— Прямо целые подпуска закинул,— не клюет. И я заметил, как в разговоре появляется слово «продналог»,— сматывай удочки. Так напугало всех это слово, никто ничего не понимает. И вот я ношусь с ясно осознанной целью устроиться, получить место, работать до упаду и не могу протолкнуться сквозь эту мглу.

Жена ходила по делам регистраций, заявлений, прописок, карточек. Они встречались дома поздним вечером, валились спать. Деньги расходовались с необыкновенной быстротой. На исходе второй недели Крейслер сказал:

— Дело дрянь, Танюша. В пятнадцати канцеляриях был... В крайнем случае, пойду грузчиком или на промысла. Не голодать же. Я б убил себя, если бы вы с Маринкой стали голодать.

— Идти в грузчики и на промысла — это глупости,— твердо отрезала она, всегда поддерживая мужа, если он начинал колебаться.— Ты слишком разбрасываешься в поисках. Выбери что-нибудь одно. Долби в это место...

На другой день он встал рано с таким лицом, как будто не спал вовсе.

— Как, однако, расхлябала нас война... Забыли, что

есть прямые специалисты, то, чему мы учились. Странно сказать, а мне еще не пришло в голову зайти в местное энтомологическое учреждение какое-нибудь. Есть же такие... Сеют хлеб, возятся с виноградниками, борются с вредителями. Ходил же я за капустной мухой, ездил на борьбу с марокккской кобылкой и не забыл все это, надеюсь, за пять лет. Если и забыл, то не больше, чем другие. Коли надо, можно и опять взяться за книги.

Повеселел и быстро убрался.

Вечером влетел красный, в поту, оживленный.

— Не было ни гроша да вдруг алтын! — Он по дороге придумал начало радостного сообщения.— Сразу два назначения: заведующим хлопкоочистительным заводом и уполномоченным по борьбе с саранчой. Людей нет, за меня прямо схватились. Жалованье по обеим должностям, как здесь принято, тумана четыре в месяц, но пайки, отопление, освещение.

— Четыре тумана — это семь рублей. Как же мы будем существовать, одеваться? Да и куда ехать?

От последнего вопроса он померк, стал долго объяснять, что здесь больше не платят, выдают все натурой, она прервала его:

— Опять в захолустье?

— На границу с Персией, в Степь...

— Нет, я не поеду. Откажись. Поищем еще что-нибудь. Я ведь сестра милосердия, пойду хоть в сыпнотифозные бараки...

— Сыпнотифозные бараки с твоим сердцем и малярией — самоубийство. У нас осталось всего двенадцать туманов неразмененными. Выбирать нечего. Нам блажить нельзя, у нас Маринка.

Он показал во двор, где одиноко, отбившись от других детей, слишком шумных и здоровых, бродила их девочка, ковыряя хворостинкой насыпи мусора. Таня могла бы возразить, что не стоило менять привычную персидскую глушь, где платили к тому же сносное содержание, на совершенно неизвестную пустыню, работать за нищенское жалованье с огромной ответственностью, зная о новых законах только то, что они неимоверно строги и чрезвычайно запутаны. Но она только кивнула головой. Михаил Михайлович сообщил, что собираться надо с завтрашнего дня и ехать туда можно и на пароходе, и по железной дороге, а потом по степи

верст двадцать на лошадях. Железная дорога ее утешила.

Немедленно по приезде двадцать первого июля Крейслер принял хлопкоочистительный завод № 2 от временного заведующего Онуфрия Ипатыча Веремиенко.

III

Саранча налетела с юга, со стороны Персии.

Тот август был самым страшным месяцем страшного для Степи года. Казалось, Степь разорена была вконец. Ее разорили гражданская война, засухи, набеги шахсеванов. Пустынные, необерегаемые русла каналов и арыков разливали не вовремя драгоценную воду. Шайки кочевников ночами, в черных, как куски ночи, лохмотьях, начиненные голодной жадностью и бесстрашием, не брякая, не светясь оружием, на крадущихся, как кошки, конях, пробирались через Талшинские ущелья, угоняли наших лошадей и скот, резали молокан и хохлов и тростниками реки Карасуни скрывались бесследно. Край горел в бесплодном зное. Поля риса, кукурузы и гордости поселенцев — хлопка — зарастали бурьянами или их настигала губительная соль. Участок за участком дотла выедали ослепительные соляные блестки, как струпья выступавшие на теле почвы. Труд, врытый в эти земли, погибал навеки: так мстила вода, сочившаяся без присмотра, насыщаясь подземной солью. Громадные пустынные дни, развеваемые горячими ветрами, вставали и никли над Степью, разрушая останки человеческой жизни. Дикие травы и вечные пески обступали уцелевшие поселки. Солнце прокатывалось над Степью, чтобы осветить несколько оазисов, давно потерявших связь друг с другом, забывших о том, что существует государство, что они на границе двух стран. Талшинский хребет шел с востока на юго-запад, Карасунь текла на юго-восток в глухое озеро Бей, в Персии. Про него контрабандисты рассказывали, что это страшное место; там столбы насекомых и полчища змей, ящерицы, как крокодилы, леопарды и барсы. Там тростники четырех саженей вышины, и туда, разбиваясь на многие рукава в сыпучих песках, стремилась Карасунь. Горы и реки служили остовом границ, но землю в те годы не делили даже между государствами.

Когда же налетавшей мгновенно полой темнотой за-

хлестывало Степь, когда ночь, набившись во все щели мироздания, застывала над Степью,— тогда можно было с двухверстных Талшинских вершин, оглянув округу, увидеть в неизмеримой толще тьмы один, как звезда, мерцающий огонек. Он сторожит ночь всего пограничного Карасунского района, до него верст тридцать прямиком, до него — непроходимые топи, ползучие пески, до него — густые, как ворс бобрика, тростники, до него добираться,— слушай вой шакалов и гиен, бойся мягкого скольжения змей, легчайших подпрыгиваний тигра.

Огонь висит над окрестностью. Около него пыхтит динамо. Огонь возвышается на четырехногой башне. «Улла, улла!» — кричит он, как марсианин, над развалинами жизни. Вокруг вьется звериный плач. Так, обложенная воем и предосенней ночью, стоит водонапорная башня хлопкоочистительного завода № 2, увенчанная трехсотсвечовой лампочкой.

Вокруг динамо живут люди.

Саранча летела огромными, в полнеба, стаями. Ее полет приподнял не одну голову, не один встревоженный взгляд провожал ее страшное плаванье. Она черной тенью осенила землю, проволочилась по умам поселенцев ужасом и молитвами. Никто не знал, где она сядет, где будет плодиться на будущий год. Молокане из села Черноречья (Карасунь значит — Черная речка) читали, словно свод заклинаний, Евангелие, хохлы из Новой Диканьки подымали иконы, мусульмане гортанно призывали аллаха.

Саранча спускалась в карасунские тростники, где и принималась откладывать кубышки — приплод будущего лета.

Тростники сопровождали все среднее и нижнее течение Карасуни, росли по болотистым берегам, по грядам, лиманам, ерикам, подступая по оросительной системе к полям завода и к участкам чернореченских крестьян. И тогда над зарослями с диким плесканьем, воем, визгом, карканьем появлялись птицы. Тучи птиц, миллионы птиц, версты птиц вились над тростниками: стрижи, галки, вороны, грачи. Грачиные сытые погадки, отрыжки из твердых частиц насекомых украсили травы и почву. По ночам саранчу били уже забытые здесь фазаны. Кабанов развелось видимо-невидимо. Жители смотрели на это оживление с тоскливой надеждой. Ни птиц, даже самых ценных, ни кабанов никто не трогал.

Спаренная саранча стрекотала, самец сутками трепетал на самке, самки, загнув под себя брюшко, рыли в земле изогнутые норки, наполняли их яйцами и закупоривали клейкой, пенисто засыхавшей жидкостью. Рыча и чавкая, пахали лакомую почву дикие свиньи.

Так продолжалось несколько недель. Стремительная эта жизнь схлынула со зловещей быстротой, как бы открыв плотину осенних и зимних дождей.

IV

— Пиши им, бомбардируй их письмами, посылай нарочных, делай все возможное. Они погубят все твои труды своей тупой медленностью. Сидят в канцеляриях, в глазах блудливая поволока от лени, знать не хотят, что где-то есть люди в вымирающем крае и что люди эти от них зависят. Ведь мы последние с нашим заводом, с нашим хлопком уйдем — пустыня сомкнется над этим местом.

Она говорила это и покусывала бледные губы.

— Ты же отлично знаешь, Таня, что я аккуратно отправляю сводки, подсчитываю бесчисленные десятины, по которым саранча отложила кубышки. Гоняю семерых разведчиков, мы сами с Онуфрием Ипатычем не слезаем с лошадей. За день так натрешь себе... И замечательно: все, как ты, дают советы или предлагают положиться на волю божию. Вчера делал доклад у чернореченских мужиков,— один выступил и заявил: «Агрономы всегда нашего брата пугают, а саранча опоздала, матушка, хлеба скошены. А на копне да на жнивье пусть себе гадит». Я снова вдалбливаю, что на следующий год она отродится на этих же местах...

Михаил Михайлович замолчал и махнул рукой. Он не очень распространялся перед женой о тщете усилий и неудачах, которые ему приносил каждый день. Черная дрожь малярии посещала ее через ночь, содрала остатки румянца со щек, выпила кровь, поселила хрипы в легких, свист в голосе и, главное, наделила ее такой возбудимостью, что одно время Михаил Михайлович опасался даже серьезного нервного заболевания. Мариночка на другой день по приезде на завод заболела скарлатиной. Мать, несмотря на слабость и свою болезнь, сутками не отходила от ее постельки, выходила дочь, но у девочки началось осложнение на ушко,

она билась, завидев спринцовки для промыванья, кричала, что ей больно, у матери опускались руки. Немудрено, что в таком состоянии Таня проплакала всю ночь, затеряв в бане серьги с дешевыми изумрудами, которые она считала талисманом их брака. Серьги, правда, нашлись, но Михаил Михайлович насторожился. Он в особенности щадил часы вечернего чая, которые, хотя бы своим призрачным спокойствием, напоминали ему, что жизнь, может быть, очень оскудела, но не прервалась. Бывало, за чаем в отчем доме любили вспоминать старину. Отец, мрачный мужчина, с таким здоровьем, каким природа награждает только немцев-колонистов, размякал предельно и, переходя на немецкий язык, рассказывал о героических, по его мнению, временах, когда он со своим отцом завоевывал непокорную русскую землю, в которую они только что переселились. Чаще всего отец повествовал о какой-то поездке за триста верст верхом,— он гнал лошадь день и ночь, в кармане у него было две тысячи рублей, предназначенных за купленный скот. В конце пятидесятых годов новороссийские края уже не кишели разбойниками, но юный Миша не без волнения мечтал о привлекательных опасностях, которые расставляла тогда жизнь. В сытом, полусонном укладе так хотелось движения. А теперь он упорнее всего боролся с русской привычкой жены разговаривать за едой и в часы отдыха о беспокойных и тягостных предметах.

Онуфрий Ипатыч — человек среднего роста, от широкоплечести казавшийся горбатым — резко отодвинул недопитый стакан, достал плоский флакон, выплеснул остатки чая на блюдце и, кривясь в несмелой, неожиданной на изветренных губах усмешке, сипловато и тихо спросил:

— Разрешите, Татьяна Александровна?

То, что он собирался делать, делал, видимо, часто: в его движениях замечалась привычность. Не дожидаясь ответа, он налил полстакана желтоватой жидкости, весь содрогаясь, выпил. Татьяна Александровна посмотрела на него с жалостливой брезгливостью и сказала нарочито громко, чтобы преодолеть в самой окраске голоса даже легкую снисходительность или сочувствие:

— Какая гадость! Как вам не стыдно постоянно пить!

Он жмурился, корчился и морщился, как будто в горло еще лилась удушающая мерзостной изюмной вонью арака. Одутлое, в обвислых складках лицо, мешки под глазами —

покраснели, налились, припухли. Открыл глаза, они задернулись слезой. Жилы на висках надулись, по губам пробежала такая судорога, словно на них кипел смертельный яд. «Пасха проклятая!» — пробормотал он, думая о запахе, и через несколько мгновений, ободренный, освеженный мощным, ласковым жженьем, растекавшимся по всему нутру, произнес покорно:

— Ну, голову снимите — не могу... Даже при вас не могу удержаться. Уроженец местный, «клиника»,— как зовет меня Бухбиндер,— и «алкоглот». В здешних местах жить да не пить!

Ему не отозвались. В комнате дрожал за пульсированием слабосильной динамо-машины желтый из-под абажура свет, словно пыль, слетавшая с крыльев огромной бабочки. Чудовищно красный самовар, по семейному прозвищу «унтер», во все бока избитый скитаньями, уже заглох. Он был странен в уютной этой комнате своей древней громоздкостью,— полутруп прошлого. Уют был кажущийся. Уют был кажущийся потому, что заброшенность опустилась на все вещи, оставшиеся здесь от старых владельцев. Желтые абажуры над лампами, раздражающе мешавшими свет с голубым тоном штукатурки, чехлы на крепких, жестких, как чугун, креслицах, выцветшие плюшевые скатерти, дешевые ковры и паласы, захлестывавшие султанабадскими, хамаданскими, казвинскими узорами каждый шаг,— все это ветшало под пылью, непростительной для хозяйки и опасной для вещей, там, где две трети года тянется лето. Ладоши хлопали по хлопьям неуловимой многочисленной моли, ускользавшей от шлепков по законам какой-то молниеносной геометрии.

— Вот Миша не пьет же так! А у него больше оснований, чем у вас: болезнь Марины, моя, у нас ни кола ни двора, положение какое-то полулегальное. Всякий смотрит так,— вы, мол, всю гражданскую войну наслаждались покоем, а теперь на готовое явились! Я не хочу распространяться, вы сами отлично знаете,— мы считаем вас другом.

Онуфрий Ипатыч даже привскочил.

— И не зря, не зря! Я вас полюбил как родных. Да что там,— больше, потому что родных я не больно люблю. О болезни Мариночки убиваюсь, как вы сами. Веремиенко плакал. Я, Веремиенко, плакал. Веремиенко рыдал.

Он заметно хмелел. Хотел ударить себя в грудь и поймал

себя на этом движении. Верно, он полюбил девочку с непонятной горячностью с первого взгляда, может быть, потому, что опускал на нее глаза, боясь поднять их на мать. Он ездил в родное село Новую Диканьку, привозил оттуда фельдшера, прописывавшего длиннейшие рецепты, половину которых чернореченский аптекарь Бухбиндер возвращал невыполненными. Таня ругала фельдшера дураком и неучем, вспоминала какие-то лекции, которые она слушала на курсах сестер милосердия в Москве, все выходило не по ее, но фельдшер все же покуда помогал ребенку бороться с болезнью.

— Бухбиндер, этот бесстыжий арап, попробовал было смеяться надо мной: «Чувствительный, говорит, ты, кахетинским, говорит, плачешь! Весь проспиртовался...» Я ему такого пообещал, что он сразу язык прикусил.

В окно сильно постучали. Все вздрогнули.

— А, это пан Вильский.

Веремиенко открыл окно. В комнату, в поле света вместе с потоками невидимого ненастья просунулось необычайно худое, мокрое, с обтекающей бородой лицо, с острым носом, жидкими щеками,— душа дождя. И претенциозный голос произнес важно с польским акцентом:

— Здравствуйте, господа. А вы все предаетесь мечтаниям и мелянколии.

— Пан-то, пан,— прямо насморк!

Едва выдавив из себя это странное, оскорбительное сравнение, Веремиенко захохотал. Визгливый и картавый смех, как корчи бесноватого, бросился на него. Но эти бесшабашные до боли взвизги наблюдательному человеку могли показаться слишком самозабвенными и потому чреватыми, ну хотя бы переходом к плачу. На кухне, слышно было, загремела, заволновалась одноглазая Степанида. Супруги опасливо переглянулись. Вильский — старший механик завода — служил на нем уже двенадцать лет и, прикованный к нему семьей, сохранил заводское имущество. Правда, он давно стал бездельником, всю работу свалил на помощника, денно и нощно торчавшего у дизеля электромашины. Про него Вильский серьезно рассказывал, что это изобретатель, настоящий Эдиссон, но пропадает от грустного характера и нелюдимости. Действительно, электричество работало прекрасно. Крейслер видел этого мага не чаще раза в неделю, он совал маленькую в шрамах и масляной грязи

руку и беззвучно скрывался, словно проваливался на месте. Рабочие давно разбежались с завода. В скаредно построенных владельцем домишках и бараках просторно расселились три тюркских и одна русская семья, которым некуда было деться, они и охраняли госимущество, сеяли пшеницу, разводили кур и коз, спорили с молоканами из-за орошения и покорствовали перед паном Вильским. И такого человека оскорблял насмешками Онуфрий Ипатыч.

— Ну, к чему это все! — обиженно промямлил пан Вильский.

Веремиенко мгновенно, как будто в нем что-то оборвалось, прервал смех.

— Знаю, ты мнителен и горд, пан, хотя и без истинного самолюбия.

«Его бы надо просить войти, да сил нет», — прочитал Веремиенко на бледном лице хозяйки. Он исполнился готовностью услужить.

— Пойдем домой, пан, десятый час, спать пора. Хозяюшка заморилась.

В брезентовом плаще с поднятым капюшоном он показался Тане схожим с их фамильной фисгармонией в чехле, мучительно, смешно, и до слез напомнил московский дом. В самом деле, в Веремиенко, в душевном его строе жила какая-то грубоватая музыкальность. Его движения связывала неразрешимая виноватость. От этого даже внешняя невзрачность его смягчалась.

Они плюхнулись в ночь, как в омут. Дождь лил невероятно обильно, теплыми, зловеще ровными струями. В этой тьме нужно было дышать жабрами.

— Пан, ты любишь семью и счастлив в семейной жизни. Как подступиться к бабе, с чем? С услугой? С помощью? Вырвать благодарность?

— Хе, благодарность! Нужно бить на тело. А там пойдут дети и всякая ремузия.

Его слова хлюпали и тонули в шуме хлябей. Он не любил отвлеченных вопросов.

Дождь лишал их не только направления, но и чувства равновесия. Вильский поддерживал приятеля под локоток и настойчиво вопрошал:

— А вы слыхали, что болтают? Чи не балакали вам о том, что Михаил Михайлович укрывается от большевиков? Что он бывший белый офицер и должен быть на особом

учете? Ему будто бы стоило больших трудов устроиться в нашу глушь. И у него есть связи?

— Чепуху ты городишь, пан, и все это тебе наплел Бухбиндер.

— А не Бухбиндер пронюхает, то кто? Он мне нынче говорит: «Там Онуфрий около Крейслерихи вьется. И сам того не разумеет, что она готова для своего Мишеньки не только дочь, но и себя уморить. Куда уж алкоголику нашему!»

Веремиенко остановился, вырвал локоть, отступил на шаг и проклинал пьяным злобным шепотом откуда-то из мокрой бездны:

— А, сволочи, чтобы вы сдохли! Уже сплетничаете?! Ты передай, чтобы он молчал в тряпочку. Пусть себе воняет около касторки, не то я разобью его жирную морду. И тебе советую не впутываться.

Матеря лужи, любовь, белых офицеров, он заковылял к своему флигелю.

Вошел, щелкнул выключателем. Желтый свет метнулся на пятнистые стены, хозяин прикрыл лампочку газетой. Жил он скудно, голо. Деревянный стол, продранное плюшевое кресло, табурет у железной кровати с сенным матрацем и шинельного сукна одеялом,— вот и вся обстановка. Была еще вторая комната, для приезжих, в ней стояла только складная койка. В комнатах удушливо, как в театральной курилке, пахло застарелым табачным дымом, табачным пеплом.

Онуфрий Ипатыч посидел несколько минут не раздеваясь, на пол натекла лужа, закурил, снова вышел на дождь, в тьму, ворча: «Дьявол с ним, извинюсь»,— спотыкался о загадочные препятствия, пробирался ощупью, словно двор был заставлен капканами, стараясь держать прямиком на маячившие три окошка. Попыхивание дизеля приближалось. Хмель, еще в комнате обнимавший в теплых объятиях, теперь, на дожде, отпустил. Онуфрий Ипатыч ощутил тоску, похожую на ломоту в плечах. Добрался наконец к окну, заглянул в светлое и теплое нутро жилища пана. Вчуже стало душно от четырех кроваток по стенам; в двух спало по двое детей: потомства пана Вильского насчитывалось шесть душ. Их секли ежедневно, исключая воскресенья. Счастливый отец, сидя спиной к окну, деятельно жевал — шевелились уши — и, размахивая руками, внимал жене, коротконогой толстухе с грудями, выделявшимися из-под кофты, как две тыквы,

первой сводница и сплетнице по округе, любительнице участвовать в чужих страстях, с наблюдательностью, в этом деле прямо-таки пугающей.

— Пусть соткнутся, не тебе им мешать!

Онуфрий Ипатыч услыхал это, воровски открыв дверь из темных сеней в прихожую. Марья Ивановна осеклась. Понял,— речь шла о нем. Нарочито тяжело ступая, ежась в своем немыслимом плаще, он криво сунул руку хозяйке и не садился.

— Ты, прости, пан, погорячился. Знаешь, мотня какая собачья. Тебе хорошо, наблюдай за машинами, которые не работают, а на динамке — помощник. Вы — механики! И вы, Марья Ивановна, не сетуйте, что долго не заходил. Опасался скарлатину занести, как по обязанности бываю в том доме.

Он попробовал улыбнуться, разглагольствовал явно зря, избегая взглядывать на Марью Ивановну, так и впившуюся черными загоревшимися глазками в длинные зачесы из толстого волоса на его затылке. Она недоверчиво усмехалась. Взгляд ее ползал по нем, ее ухо, казалось, висело где-то у его плеча,— от такой не скроешься. И она насмешливо подтвердила его опасения, запела тонко и лживо-нежно:

— Все, может быть, и боялись. Ай скарлатины, ай чего другого. Что это помягчели вы сердцем, подобрели? Ну, дай вам бог, пусть и к вам снизойдут.

Ему стало тошно от этой проницательной сладости.

V

Персючонок Багир, подросток лет пятнадцати, обычно дремавший на кухне около Степаниды, прибежал запыхавшись, с глазами, круглыми от изумления, что в жизни случилось происшествие, которое потребовало его вмешательства, кричал еще в передней:

— Михал! Михал! Контор пришел два армян. Заведучки просиль. Я туда ходил, он сказал: «Беги к заведучки».

В конторе Крейслер застал двух просителей. Один из них, молодой и, видимо, скучливый, одет был с претензией на дорожную элегантность, поглядывал невинно и вообще старался произвести впечатление туриста, походя больше на коммивояжера. Другой, постарше, много толще и плотнее, изумлял прежде всего такой черноволосой растительностью на лице,

которой, казалось, если ее растворить, хватило бы окрасить целый пруд. Злокачественные волосы лезли из ушей, из ноздрей, из глаз, только около переносицы поблескивала чистая, смуглая кожа. Он встал и протянул волосатую, пухлую руку.

— Товарищ Крейслер?

Михаил Михайлович кивнул головой. Брюнет осклабился, обнажил зубы ровной чистоты. Крейслер невольно подумал: «Хороший материал пошел на этого мужика!» Посетитель вынул из портфеля бумагу.

«Областной хлопковый комитет предлагает вам выдать подателю сего, тов. Тер-Погосову, три имеющихся в вашем распоряжении конных аппарата-опрыскивателя типа «Вермореля», предназначающихся Уездному коммунальному хозяйству...»

— Для чего это?

Тут вмешался франт:

— Это для нас. Коммунальное хозяйство, не имея канализации, очень нуждается в пополнении ассенизационного обоза. Опыт показал, что из аппаратов «Вермореля» выходят прекрасные...

— Бочки для обоза? — прервал Крейслер.— Позвольте, что же это делается? У нас саранча. Мы же с весны должны начать бороться с ней. Ведь это идиотизм отбирать оружие борьбы. Да где же Саранчовая организация? Им же голову оторвать надо!

— То-ва-рищ! — строго и раздельно произнес Тер-Погосов, повернув голову так, словно позировал медальеру.— Вы немножко забываетесь, товарищ. Выполняйте распоряжение вашего начальства, а что касается борьбы,— Саранчовая организация имеет свой план. Ввиду недостатка ядов на рынке опрыскиванье невозможно. Но мы можем залиться керосином, и туда обращено все внимание. Я, как член коллегии от Хлопкома... Я говорю это официально: саранчу будем сжигать особыми аппаратами. Ставится мастерская, целый завод. Привлечена частная инициатива.

— Почему же я, уполномоченный, узнаю обо всем этом из какой-то беседы?

Крейслер подошел к окну. Все как всегда. Ландшафт, истерзанный зимними дождями, как тронутое тлением мертвое лицо, глядел страшно и скучно. Толстая глинобитная стена окружала заводскую усадьбу; здесь строились,

опасаясь нападения, дикого набега кочевников. Но в стене за время революции образовался пролом как раз под окном конторы, и теперь, когда налета можно было ждать каждый день, зачинить повреждение не хватало средств. Завод расположился на возвышенности. С холма открывался широкий вид на овальную долину, прорезанную шоссированной дорогой к станции Карасунь, через молоканское село Черноречье, красневшее крышами справа. Слева от шоссе начинались распаханные заводские поля, за ними стояли,— из окна,— словно мелкий перелесок,— чащи зараженного тростника, забившего реку, полного угрозы. Крейслер обернул к посетителям лицо, налитое злобой.

— Я подумаю. Вам придется обождать.

Тер-Погосов закашлялся. Франт поглядывал на Крейслера, поигрывая бровями с таким выражением: нам-де известно, чем вы разразитесь. Будете разоряться о преступности, бюрократизме, несвоевременности,— мы и не таких обламывали. Мало ли что, власть на местах кончается!

Но Крейслер неожиданно двумя-тремя шагами рванулся к Тер-Погосову, тот попытался встать и остался сидеть. Крейслер помедлил над ним одно мгновенье и вышел. Его лицо, огромное, рыжее, веснушчатое, еще висело в комнате. Небольшие зеленые глаза подернуло лиловым, толстый нос припух, губы искривились, на лбу выступил пот, на висках обозначились жилы, голова тряслась. Посетители избегали смотреть друг на друга. Тер-Погосов изучал собственный мандат, словно ища на бумаге только что капнувшую каплю крови. Тишина сгустилась до комариного писка, в ее пасмурной неподвижности трудно было пошевелиться. Неприязненное молчание незнакомого места предвещало засаду. Но эта неловкость непомерно затягивалась. Они постепенно смелели, начиная видеть неистребимые подробности учреждения: письменный стол, обитый клеенкой, два шкафа, за стеклами которых выстроились добротные, частновладельческие скоросшиватели, счеты, пресс-папье. И запах, запах конторы, пыльное воспоминание о написанных и истлевших бумагах, обо всех, кто здесь когда-нибудь бывал, он ободрял.

В дверь просунулась голова Багира.

— Заведучки говориль, завтира, и еще завтира бумаги писаль. Сердиль!

— Ну, и черт с ним! — храбро огрызнулся Тер-Пого-

сов.— Передай, что дольше, чем до послезавтра, ждать не будем. Найдем управу на твоего заведующего.

Они шли по шоссе, кривлялись, плевали, передразнивали Крейслера. Мокрая, избитая, каменистая дорога словно наматывалась на них слоями отравного пластыря, ветер невидимыми каплями противно садился на лицо, слепил, забивал дыхание. До колен забрызганные белой грязью, добрались до села, пропитанного запахами скученной крестьянской жизни, гудевшего ревом скота, шумевшего возней по дворам. Подошли к пятнисто-зеленому дому с вывеской: «Аптека Г. Б. Бухбинде» — «ра» проржавело. Здесь они почувствовали себя под защитой плотноживущего деревенского здравомыслия, непохожего на ожесточения, бушующие на разоренном заводе,— тогда лишь Тер-Погосов решился выразить то, что жгло ему гортань:

— Я посчитаюсь с этим рыжим бугаем! Хоть бы разговаривал как с людьми, чаю бы выслал. Экзарх Грузии какой!

— Я говорил, что надо действовать через Григория Борисовича,— заметил коммунальник.

— Ах, что тут Григорий Борисович! Лишний неофициальный человек в таком деле. Неужели вы не видите, что советская действительность не обломала этого тевтона. Ничего, будет битый — будет шелковый.

В тот же день к раннему по-деревенски обеду к Крейслеру заявился Веремиенко, приехав с разведки. Пока кривая Степанида гремела на кухне посудой так, как будто готовилась угощать фаворита русской царицы, Михаил Михайлович коротко рассказал об утреннем посещении. Веремиенко неопределенно похмыкивал, Михаил Михайлович раздраженно обратился к жене:

— Ты понимаешь, у меня даже браунинг отяжелел в заднем кармане?! Ну, думаю, сейчас амба армяшке! Когда же у них будет хоть подобие порядка? Перед самой опасностью вырывать у себя же оружие! Взяли власть, называется!

— Миша! — предостерегающе остановила она. И вдруг спросила: — Почему же ты все-таки отдал аппараты?

Ее раздражение показалось мужу чуть-чуть оскорбительным. Веремиенко примиряюще рассмеялся.

— Не стрелял,— вы хотите спросить? Эх, Татьяна Александровна, неужели вы обольщаетесь надеждами, что те люди, которые отбирают у нас аппараты, дадут яды, а без ядов на что аппараты?

Таня испуганно посмотрела на мужа и с осторожностью опытной, страдавшей женщины повела разговор в сторону:

— Я все-таки не могу поверить, что кто-то с бухты-барахты дает такие распоряжения. Здесь злая воля и интерес.

— Какой там интерес! Так, неряшливость, безрассудство. Плохо платят,— плохо работают. Никто не хочет напрячь мысли. Насмотрелся я на канцелярии... А ты думаешь, трудно убить? В этой стране жестокий дух, он действует. Я был и на войне. Конечно, не крошил людей, как Чурило Пленкович, но ведь участвовать в войне можно не только физически. Я помогал войне и, поверь мне, успел подумать об этом: в конце концов разница между организованной бойней и убийством, так сказать, личным не велика. Ее, пожалуй, нет.

Он философствовал со сложным чувством, ожидая противоречий. Их не последовало. Суп показался ему с привкусом металла.

— Я еще посторонний в этой стране, а знаешь, иностранцу часто приходится смиряться. У меня именно такое ощущение... Мне указали множество обязанностей и ни одного права.

— Ты так говоришь, словно я тебя подталкиваю на убийство.

— Ты тоже ляпнешь! Вот на что это похоже... Было это со мной в молодости, парня одного,— еврея, моего приятеля,— нужно было вытащить за взятку из полиции. У него с правом жительства приключились какие-то непорядки. Мне поручили передать пятьдесят рублей приставу. По дороге я прекрасно придумал, что надо говорить, как себя вести. А дошло до дела — покраснел, слова с языка не ползут, хочу деньги передать — липнут, ну буквально бумажки не отделяются от ладоней. Пристав щетинится, я соображаю,— надо вылетать, а то будет скандал. И парня едва не подвел под большую неприятность. Так вот и давеча: смущение, гадливость, и я скис.

Разговор становился душным. С большим блюдом, над которым возвышались его веселые, розово-смуглые щеки, вошел Багир.

— Опять плов! Я, кажись, чихать скоро буду пловом.

Таня посмотрела на мужа утомленно, лизнула белые губы. Веремиенко жалко улыбнулся кроличьими глазами.

— По советскому обычаю надо все решать коллективно,— сказал Крейслер.— Я предлагаю назначить сегодня вечером общее собрание рабочих и служащих.

Их собралось в конторе человек десять. Крейслер рассказал, в чем дело. Страшно возмутился помощник пана Вильского, заикаясь и шепелявя, он бормотал минут десять нечто устрашающее. Рабочие, в особенности тюрки, слушали, ничего не понимая. От них усыпляюще пахло чесноком. Им не платили семь месяцев, Крейслер привез им часть задолженности, за это они его признали головой, но с истинной верой смотрели только на пана Вильского. Тот важничал, развалясь на стуле, и наконец заявил, что полагает неудобным ослушаться начальства.

— Мы есть маленькая единица. Центр требует от нас повиновения. Я разумею задачу так: покуда у нас из центра не было начальства в лице товарища Крейслера, я считал долгом хранить каждую пядь...

Он завел что-то двусмысленное и язвительное, долго перечислял какие-то свои заслуги, можно было догадаться, что он чем-то обижен, и кончил тем, что «Верморели» нужно отдать. Один из саранчовых разведчиков, Чепурнов, предлагал перервать горло тем, кто отбирает аппараты. Но большинство согласилось с паном.

— Ты ведь назюзюкался, сукин сын,— сказал ему Веремиенко, когда они выходили с собрания.— И злобишься на Крейслера. Обижаешься, что тебя не назначили заведующим заводом? Должно быть, насосался у Бухбиндера...

В тот же вечер, пользуясь отсутствием мужей, к Тане зашла Марья Ивановна.

— Вы как в карантине живете,— сетовала она,— и нам нельзя было познакомиться. Уж извините, я из-за детишек не заходила. Но очень интересовалась повидаться.

На взгляд Тани, в толстухе было что-то овощное: какой-то брюквенный цвет лица, волосы, гладко приглаженные, лежали луковой шелухой, она была рыхла, уши краснели от любопытства, прозрачные, как ломтики свеклы. Речь она сводила на Онуфрия Ипатыча.

— Не наговорится он о вас, уж какая вы заботливая мать, и жена любящая... Вчера весь вечер протолковал, все вас мне в пример ставил. И глаза горят. А уж я его знаю: у него чувств немного, но сильные.

Она тараторила непрестанно, ухитрилась даже чуть не

прямо задать вопрос: будет ли она изменять мужу. Таня не находила слов для отпора и невежливо прервала визит, воспользовавшись тем, что ее из спальни позвала Мариночка. «Да, тут ставят каждое лыко в строку,— сказала она себе.— И если Онуфрий Ипатыч действительно избрал ее своей поверенной, его не следует пускать на порог».

— Зла, худа и холодна,— определила ее Марья Ивановна мужу.— Щука какая-то. И чего это наш патлатый в ней нашел? Фантазия!

Глава вторая

I

Мариночка умерла в конце октября, по мнению седоусого фельдшера, от воспаления легких. Покашляла два дня, пожаловалась на боль в правом боку, затихла, лежала с открытыми глазами, и никто не заметил, как она их закрыла, как остановилось ее дыхание. Мать взглянула на нее и отчаянно закричала. Лик трупика испугал ее страшным сходством с лицом мужа; перед ней лежала уменьшенная алебастровая маска Михаила Михайловича. Это ударило в сердце как дурное предчувствие. Но тут же все мысли о живом вытеснила скорбь. Девочку похоронили на песчаном кладбище молокан. Мать занавесила окна в спальне и почти не выходила оттуда из серого сумрака, плача и отдыхая от рыданий, раздражаясь от каждого резкого звука, от луча, пробивавшегося из соседней освещенной комнаты сквозь дверную щель. Крейслер казнил себя поздним сожаленьем, что мало обращал внимания на дочь, болезненную и тихую, и теперь, когда вынесли гроб, он подумал, что вынули душу из их брака. После Мариночки у них не было детей. Раньше огорчение Крейслера смягчалось размышлениями о трудности воспитывать детей, да еще в такое время; теперь эти размышления казались пошлыми пустяками, и тоска не покидала его. Стали чаще мучить мысли о смерти, он сделался мнительным, терзался из-за каждого самого легкого заболевания. Из этого состояния его, к счастью, выводили тревоги дела.

Все новые донесения шли о зараженности района саранчой из Михайловки и Термигоя, Беюк-Шора и Асад-Абада,

Карамакчи и Чертанкуля, Абгерма и Каша. Крейслер понимал, что его округ непомерно огромен,— не объехать, участковый агроном сбежал еще при муссаватистах, как вообще отсюда бежали все, кто мог мало-мальски устроиться в другом месте. Но его даже утешала самая безмерность забот. Разведчик Плесков писал: «Полчища саранчи следовали непрерывной волной со стороны озера Бея. И когда опускались на землю отдельные стаи, то занимали площадь в несколько квадратных верст и представляли собой толщу, достигающую до колен лошади».

Неожиданно на чердаке дома Крейслер нашел два ящика книг, половина из них оказалась ценным собранием комплектов агрономических журналов, разных известий энтомологических обществ. Крейслер углубился в изучение саранчи. Его доклады превратились в маленькие исследования. Сводки по зараженности Карасунского района кубышками саранчи, составленные им на основании сообщений с мест, показывали: около сорока квадратных верст тростниковых зарослей, тысяч восемь десятин пустошей и лугов, десятин полтораста земель возделываемых. Все это он послал в областной ОЗРА (Отдел защиты растений от вредителей), в республиканский Наркомзем, в Саранчовую организацию при Наркомвнуделе. В ответ прибыла огромная пачка циркуляров, постановлений, несколько книг по сусликам и борьбе с ними, сотни две листовок и брошюр. Печатный материал убеждал крестьян и скотоводов помогать Саранчовой организации. Поминались какие-то аэропланы, опрыскиванья, отравленные приманки. В особенности почему-то напирали на самолеты, «которые играют неоценимую роль при обследовании зараженных участков и при опрыскиванье огромных площадей». Эти речи были явным запросом у будущего.

Протоколы сообщали, что тов. Тер-Погосов командируется в Москву, «для вербовки тамошних научных энтомологических сил». Нескольким агентам «предлагалось обследовать рынки Ростова, Харькова, Феодосии для обнаружения запасов локустисидов как мышьяковистых соединений, так и парижской зелени». Там же утверждался проект особенного типа керосинового аппарата для сжигания саранчи с давлением в шесть — восемь атмосфер. Для сего выдавался большой аванс частной мастерской Гуриевского. Отмечалось, что Тер-Погосов успешно вел переговоры в Москве

и вернулся. Постановления, напечатанные на прекрасной бумаге, гласили, что вновь реорганизованной Саранчовой организации под председательством члена коллегии Наркомзема тов. Величко предоставляются права наркомата. Так же законодательным порядком Тер-Погосов назначался начальником снабжения Саранчовой организации.

— Кажись, я важную шишку обидел,— сказал Крейслер жене.

Та промолчала, отвела взгляд. Ее безразличье показалось ему злобным, он не выдержал и сказал об этом.

Глухие предрождественские дни были замешены на черных тучах, которые скоплялись в воронке Каспийского моря, клубясь над волнами, над низменными песками берега, бывшего когда-то дном,— дном моря была и Степь,— тучи не выходили из пределов хребтов, у которых некогда билась отступившая теперь вода. Невысокие вершины, проступая из тумана, оказывались белыми, тронутыми снегом.

Красный домик заведующего осаждали некоторое время окрестные жители, сагитированные снова сеять хлопок.

— Аванец бы, товарищ заведующий, задаточек! — доносилось до Тани.

У нее опять разыгралась малярия. Она чувствовала ухудшение здоровья, как-то вчуже, умом, следя за увеличивавшейся слабостью и замечая, что приступы доставляют странное бредовое удовольствие,— от истощения она легко впадала в беспамятство.

— Праздник близко, товарищ заведующий!

Михаил Михайлович отвечал:

— Не могу, граждане. Мне прекратили высылку денег. Опасность саранчи... Как же можно авансировать, когда такое положение...

Хлопкоробы, топоча в передней, уходили. Таня слышала горячие, взбудораженные голоса за окнами. Наконец они и вовсем схлынули. Тишина высилась кругом. Деревья лиловели за окнами, окутанные изморосью,— как бы в чехлах. Иногда в неурочные, наиболее уединенные часы окна затенялись припадавшими к ним головами, слышались постукиванье, певучее клянченье милостыни или просьба работы. Это бродили беженцы из Поволжья по пять, по шесть человек, может быть, семьями, может быть, связанные соседством, или старым приятельством, или воровскими умыс-

лами. Но стоило Степаниде вынести им несколько корок,— начинался злой галдеж, они вырывали друг у друга подаяние, чуть не дрались, и конца этому не было. Выбегал Багир, бросал в них звонкие, гортанные наподобие русских ругательства, и они, ворча, отступали перед румяным мальчишкой, удалялись, укрощенные юношеской сытостью и здоровьем.

Внешние впечатления, особенно приятные и легкие, не оставляли следа в ее темных мыслях. Она сосредоточенно, в тихом отчаянье, твердила про себя, что жизнь не задалась, что ей нет прощения, ей, допустившей смерть дочери. Надо было сделать последнее усилие души («Не надорвалась бы!» — казнила себя Таня), быть, если возможно было, внимательнее, проникнуть в самую глубь желаний и помыслов больной, вовсе не спать, бодрствованием помогая борьбе со смертью,— выжила бы Мариночка. Бесплодные сожаления душили ее. Стоны беженцев доходили как напоминание о горе. Подчас она удерживалась от порыва закричать, разбить окно, выкинуть все жалкое имущество, которое нищим казалось, верно, роскошью.

Михаил Михайлович спрашивал:

— Что с тобой? Ты какая-то темная.

Она усмехалась жалобно и презрительно и молчала. Молчаливость стала естественным ее состоянием. Он обрадовался, когда однажды она полюбопытствовала про беженцев:

— Где они живут, Миша?

— Как звери, где попало. В разрушенных деревнях, в камышовых шалашах, строят из лохмотьев юрты, вся Степь кишит ими. На деревьях гнездятся...

— Как страшно в России потерять кров!..

Она думала о своем. Красный домик нырял в дождях как доска потонувшего корабля, с которым пошли на дно десятки тысяч тонн богатств, могущества и слишком роскошного, удушливого уюта. Красным домиком несло странное существование обитателей. Они решили, что за границей штиля, окружившего их кораблекрушение, все вертится в урагане, не сулит добра. Таня получала от сестер письма из Москвы с воплями о разорении, нищете, сокращении штатов. Крейслер пытался подсмеиваться над «старыми девами». В грубых и жестких границах житейских несчастий одиночество освободило весь их внутренний душев-

ный стон, заставило слушать дальнее грохотанье с опасением. Никогда еще Михаил Михайлович не видел так ясно себя, как в ту дождливую, захолустную зиму. На Таню накатывали припадки страха, но этот страх находил выражение и оправдание.

— Саранча сгонит нас отсюда. Ты новый, чужой в России человек. Продремал в Имам-Заде-Гашиме, в Казвине, в Лаушане... Иные, может быть, прохрапели, вот как наши, всю революцию в Москве, в Петербурге, но они были на глазах. И сами приспособились. А мы... Безработица...

Она часто повторяла это, твердила как заклинание, добивалась того, что слова получали новую весомость, образ слов расширялся,— ей это казалось предвидением. Она преувеличивала все в навязчивой тревоге.

— Ты вспомни, как мы ютились в трущобе, голодали, когда ты искал должности.

— Зато сразу нашел две.

— Но в гиблое место. И жалованья хватает только на табак. А Марина?..

Умерла дочь, малярия изводила жену, но Крейслер не имел возможности двинуться отсюда.

— Если тебя посадят, я умру.

Он спрашивал себя, не без самодовольства, откуда у нее такой голос, у дочери московского попа,— голос, звенящий любовью, о которой только пишут в книгах, которая наполняет ямбы трагедией? Крейслер взял ее из лазарета кавказского кавалерийского корпуса розовощеким собранием наслаждений. Васильковые глаза сияли на мир с почти угрожающей наивностью, но зато в них был влюблен сам мистер Смит, английский офицер при штабе дивизии, и они так темнели... На худощавых, чуть скуластых щеках горел румянец, который порождают лишь московские просфоры, усваиваемые великолепным желудком. Чудесная ее русская чистопородность размягчила его обрусевшее сердце желанием нераздельно слиться с новой расой. И она так привлекала его тонкими руками, так покорно подставляла чуть дрожащие груди, так беззаветно падала на постель, что и теперь, когда болезнь обтянула ее череп желтой кожей, поредила косы арбатской Гретхен, обводнила взгляд, заглушила ароматное дыхание, сделала бесплодной, теперь, когда он часто думал с подавленным стоном о других, неизмеримо худших, но новых женщинах,— даже теперь он на коленях ис-

ступленно целовал ее пахнущее болезненной испариной тело. Благодарность переполняла его. За время персидских передряг она столько вынесла, столько раз спасала его, спасала дочь, спасала остатки имущества, на себе вывозила телегу супружеского существования, ободряла его, обладая даром вдувать силы. Все эти воспоминания, все эти чувства сливались в тяжкий поток накипающих где-то около горла слез, он безудержно приникал к ее ногам, худым, посиневшим, мальчишеским. Кровь густела, затмевалась, гонимая взбесившимся, расширенным сердцем, он принимал каждое движение жены за содрогание поднимающегося желания. Жалость хватала его сухими, горячими руками, он не замечал ее больной, усталой улыбки. В наступившей тишине он слышал тихий, воркующий шепот и струение их, как бы неразъединимой, крови,— всю полноту сливающихся жизней. Это было нездорово и заманчиво, как бред. Занятый, усталый здоровой усталостью, мужчина принуждал себя не замечать в жене неровностей настроения, утомления, требовательности. Если он и замечал их, то считал признаками выздоровления от тяжелой апатии горя.

Однажды она пересмотрела все его книги и заявила:

— Учись больше и лучше. По-настоящему, для себя. Сделайся специалистом. Ты знаешь языки, работай.

Онуфрию Ипатычу она безоговорочно сказала, что ненавидит пьяных, и так как на его глазах отвадила от посещений Марью Ивановну, назвав ее сплетницей и мещанкой, а мужу запретила ходить к Бухбиндеру (и тот подчинился), то и он покорно бросил пить, дневал и ночевал у Крейслеров и, трезвый, оказался склонен к длинным философствованиям. Встряхивал толстыми прядями художественных патл, заведенными еще тогда, когда собирался перейти из среднего земледельческого училища в школу живописи, и произносил положительные тирады нудным баском. Он все порывался продолжать образование, но не мог одолеть ни одной книжки. Скулил о погубленной жестокими, неразумными родителями молодости, но обижался, если ему намекали на его леность. От коренастой его фигуры в мятой парусиновой одежде веяло недовольством и меланхолией, которые он быстро усвоил от Крейслеров. Каждый его взгляд на Таню был равен объяснению в любви. Она целомудренно сторонилась. Крейслер находил, что с ним трудно подружиться. Они утомляли друг друга не меньше, чем

всех их однообразная ориентальная стряпня, которой злоупотребляла кухарка Степанида, пользуясь отсутствием на кухне хозяйки: нынче шашлык, завтра кебаб, послезавтра плов и опять сначала.

II

Веремиенко уехал в Новую Диканьку к брату и с той же подводой утром прислал записку:

«Под самым нашим селом нынче утром прорвало Карасунь. Попал в мобилизацию, назначили десятником,— вот тебе и гостины! Если хотите посмотреть,— Татьяна Александровна никогда такого не видела,— приезжайте. Полно народу кругом. Заночуете у нас».

— Он и тут о тебе заботится. Тоже, нашел развлечение. Однако, если хочешь, съездим.

Михаил Михайлович улыбнулся не без лукавства, глаза чуть-чуть подернуло зеленью. Именно поэтому Таня немедленно согласилась.

После малярийных припадков, тусклых зимних дождей, тянувшихся неделями, тишины и скуки супруги первый раз выехали из дому. Завод угнетал неустроенностью, заброшенностью, пустыми складами, где вместо хлопка-сырца вилась темная липучая пыль пятилетней давности. Жизни не к чему было придраться, чтобы начать все сызнова: чтобы завод работал, хлопкоробы сеяли, Крейслер распоряжался и распределял обильные пайки.

Гнедой мерин Пахарь, виляя круглым крупом, выбрасывая задние ноги, хорошо нес легкий шарабан. День сиял спокойствием, дышал прохладой, напоминая подмосковную осень с покидаемыми дачами, сельскими ярмарками, началом школьных занятий. Окрестности блестели, как начищенные, что-то медное было в этой кратковременной ясности, и только у горизонта, как по краям холодного блюда, внесенного в комнату, чуть-чуть туманилось, подергивалось пóтом, курилось,— это быстро просыхала земля под мощным солнцем южного полудня. Легкие возвышенности и косогоры были уже тронуты желтоватым пухом: сквозь пески пробивалась трава. Крейслер поглядывал на жену. В пальто, перешитом из его травянистого цвета английской шинели, в ситцевом платочке горошками она помолодела. Ее прохватывало ветерком, насылая краски на худое, чуть скуластое лицо. Особенно трогательно розовели краешки ноз-

дрей. Шаловливый и добрый, как котенок, ветер нагонял на глаза влагу, а в голову жалобные мысли о том, как мало радостей перепадает этой любимой и преданной женщине, и Михаил Михайлович, отогнув платок, поцеловал ее в щеку, сказал:

— Прости, женка.

До Новой Диканьки считалось верст пятнадцать, добрались за полдень. Село рассыпалось белыми хатами, садочками, палисадниками на едва приметном взгорье перед широкой низиной, по которой теперь разлилась прорвавшаяся река. Карасунь, бросаясь с пограничных гор быстрым потоком, по равнине течет широко и спокойно. Как и все реки этого края, она обильна илом, ил отлагается на дне и по берегам, получается естественное обвалование, всегда, кроме того, подкрепляемое жителями, оберегающими реку в ее границах. Под Новой Диканькой поверхность реки поднялась выше окружающей суши и таила опасность прорыва. Быть может, полевая мышь или крот пробили норку к воде, и вот безудержная струя хлынула, быстро размывая отверстие, чтобы через несколько минут в широкую брешь рвануться в низину.

Из-за поворота сразу необъятным мерцанием водовертей выглянуло новое озеро, мутное, желто-серое под ясным небом. По воде шла рябь от окрепшего здесь ветра. Сердце Михаила Михайловича захолонуло воспоминанием о весенних русских разливах. «Всю пыль из души выдуло»,— хотел сказать он, но только во весь рот улыбнулся. Нахватавшись сырости, мощно и вольно дул ветер, трепля крыши, калитки, перебирая ветви деревьев, гоня белое облако, тенью помрачившее озеро, прибивая подолы молодух, спешивших из села и оглядывавшихся на догонявший их шарабан.

— Где тут живет Веремиенко?

Молодухи дружно покрикивали, поводя очами, взмахивая руками, объясняя, что «близенько, хата пид бляхой, коло самой воды...». Их уже не слушали, лошадь, пугая кур, понесла по пустому селу вскачь, быстро перемахнули улицу и выехали к другому краю. Тут веяла настоящая тревога. Как прибой доносился шум работ. Отдаленно бушевал гул голосов, вырывались отдельные вскрики, и, как на пожаре, раза два резануло бабьим голошеньем.

Ветхая, молчаливая старуха приняла их у ворот. Низко

поклонившись, шевелила впавшими губами, словно молилась. Таня уловила в морщинистых, высохших чертах сходство с Онуфрием Ипатычем. То же родство было заметно в какой-то безразличности и медленной отрывистости движений. Ни во дворе, ни в хате никого не было,— все ушли на воду.

На задах села вода подступала прямо к плетням огородов. Там шла беспорядочная надрывная возня. Никто ничего не понимал, все кричали. Мужики отстаивали каждый свой двор, и только необходимость заставляла, наметывая вал у своего плетня, делать соединение с соседями. Михаил Михайлович сердился.

— Стоит завтра пойти дождю или сильно потеплеть, тронуть слабые горные снега, река подымется и все снесет к черту. Разве так работают.

За последней хатой, у часовни на шоссе мялась небольшая кучка властей,— человек восемь,— спиной к селу. Патлы плясали из-под потертой кубанки приземистого Онуфрия Ипатыча. Он повернулся, увидел Крейслеров, и неуместная радость засияла у него на лице, заиграла в слишком размашистых движениях.

— Татьяна Александровна! Михаил Михайлович! — кричал он и тряс ее руку с такой счастливой тоской, словно не видел месяц, словно их приезд осушит залитые поля и вообще принес всяческое благополучие.

Подвел к высокому человеку с заветренным лицом, с толстыми усами. Человек этот несколько наклонился, едва пошевелил усами, подал тяжелые негнущиеся, деревянные пальцы. Лик его хранил выражение такой напряженной силы, широко расставленные ноги так глубоко врылись в рыхлую обочину, все в нем было исполнено такой ответственной важности, словно он невидимо поддерживал небесный свод.

— Наш сельский председатель Афанасий Ипатыч Веремиенко и мой брат!

Онуфрий Ипатыч горел подобострастной готовностью услужить, показать, суетился, толкался. Сивобородые старички из председателевой свиты переглядывались с усмешкой.

— Затоплено пустяки: всего десятин пятнадцать, да из них половина пару.

Веремиенко клокотал незнакомой Тане веселостью

(странно меняются люди от обстановки), скакал сущим школьником.

— Часа за два до вас приехал председатель рика товарищ Эффендиев. С ним инженер Траянов, два гидротехника. Было совещание, они сейчас окончательно вырабатывают план.

Повернулся, потянуло спиртным духом: значит, разрешил!

— Та воны и идуть,— прошамкал один из старичков не оглядываясь, как будто сама земля подавала ему знаки о приближении великих мира.

Впереди всех шагал тонкий, слегка сутулый молодой человек в ладной черкеске. Еще издали он поблескивал желтоватыми белками с высокомерной живостью. За ним поспевали два рослых парня в кожаных куртках и технических фуражках, и сзади всех ковылял щуплый, среднего роста старик с седой длинноволосой бородой.

— Инженер Траянов. Он самый главный и есть,— голова. Он и выработал план,— многозначительно шептал Веремиенко.

Широкое, с крючковатым носом лицо старичка поражало лимонной бледностью и сплошной сеткой мелких морщин, нажитых за книгами. Выпуклые глаза его слезились в красных, опухлых веках. На нем было старомодное пальто с пелериной и фуражка с плоским козырьком. Он кого-то мучительно напоминал Тане.

— По плану инженера Траянова,— а мы его обсосали и утвердили,— реку надо брать в старое русло, то есть в то, которым она текла десять лет тому назад. Теперь его надо привести в порядок и укрепить.

Эффендиев говорил по-русски неожиданно хорошо, уверенно, будто ему вставили горло и голосовые связки московского мастерового. Худоба придавала необыкновенную легкость всему, что он делал: взмахивал рукой, поводил великолепными зрачками на приезжих, на женщину.

— А технически все изложит наш инженер.

Прикашливая, щурясь, заслоняясь ладошкой, Траянов долго объяснял о валах и каналах выше прорыва. Мужики являли нечеловеческую, жуткую внимательность, исказившую их старческое благообразие. Дослушали, вздохнули.

Через четверть часа огромная толпа работавших перекочевывала на новое место. Таня бежала, запыхавшись, дер-

жась за руку мужа. Они отстали от мужчин и втерлись среди баб, необычно сосредоточенных, неговорливых, нелюбопытствующих, сжимавших лопаты. В тесной толпе, напоминавшей овечье стадо, пахло рабочими запахами: испариной, горячим дыханьем и особым, не неприятным, ароматом сырой земли. Эта вескость и однообразие запахов связывала идущих больше, чем все речи или даже разумное сознание цели. Если они начинали шмыгать носом,— шмыгали дружно, сморкались почти враз. Даже детишек заражала эта истовая строгость. Они не разевали рта, не глазели на затесавшихся чужаков. Забота и испуг прижимали их к матерям.

На месте работ, у неуклюжего низкого каменного моста, Крейслер порывисто огляделся, минутная задумчивость проложила складки на лбу, стянула и замкнула губы, и вдруг он весь озарился.

— Вот и здорово! Хорошо и просто. Но нужны настоящие знания и сметка. Котелок у дедуси варит хоть куда!

Карасунь текла в странно высоком ложе. Влево, если смотреть по течению, и по другую сторону от села отчетливо обозначался большой сухой ров, старое, перемененное своенравной рекой русло. Траянов поставил задачу укрепить его и перевести туда коротким соединительным каналом воды Карасуни. Техники, старики и Веремиенко разбивали работавших на партии, старичок в пелерине и Эффендиев беседовали на мосту. Почтительно нависая над инженеровым плечом, отгибая объемистой ладонью ухо навстречу рассуждениям, спасающим поля его села, переминался Веремиенко-старший. Крейслер подошел к нему.

— Я тоже хочу работать.

— Потрудитесь, будьте любезны.

Михаилу Михайловичу дали лопату и под начало человек пятнадцать селян, отправили проверять укрепление правого берега старого русла. Они быстро спустились под мост, на котором остались только Таня и ребята. Она видела, что он что-то горячо объяснял своей партии, махал рукой, потом все рассыпались по низине, удалялись, роя и утрамбовывая землю. Михаил Михайлович возил тачку с глиной, Таня знала, что он работал самозабвенно. Темная ревность шевельнулась в ней: никогда ей, лично ей, он не посвящал столько трудов, не делал ради нее столько усилий. Вот он потерялся в гуще работающих. Там, верно, очень сыро. Это

похоже на то, как копают торф. Она боялась, что он простудится, и сердилась, что он не прибежит ее навестить. По мере того как вся масса крестьян начинала видеть результаты работы и понимать ее смысл, дело шло спорей, низина полнилась криками, веселыми и бодрыми, чаще слышался женский смех,— Таня скучала и досадовала на свое отщепенство.

День переломился, потерял ясность. Солнце садилось в тучу. Оно, как капля расплавленной бронзы, стремительно, заметно для глаз опускалось за мрачные сооружения из темно-сизых клубов с кровавыми щелями, у пустынного, ровного горизонта. Парная сырость дня перевоплотилась в холодное предвестье ненастной ночи. В зеленой воздушности неба проступил ущербный месяц. Его язвительная бледность, знакомая с детства, ровесница сознанию, подняла в Тане волну опасений перед нерусскостью, чуждостью этой своенравной природы с бродячими реками, с болезнями. Подбежал Веремиенко.

— Татьяна Александровна, вы устали. Параска, Олька! (От перил отделились две белокурые девочки.) Проводите тетю домой. Это мои племянницы. Не скучайте там, поговорите с матерью. Она ведь у меня не хохлушка, балакает и по-вашему.

— Спасибо, Онуфрий Ипатыч. Передайте Мише, что я сержусь. Мог бы подойти... И промокнет...

По дороге встретился Траянов. Вежливо снял фуражку, поглядел брюзгливо. Таня едва не вскрикнула: «Фет! На Фета же он похож!» И мгновенно успокоилась от своих тревог.

В хате удушала чинная праздничная скука. На столе топорщилась свежая суровая скатерть. На стенах обильно висели рушники, бумажные розы, картинки, килимы, на одной лавке лежал палас. Здесь довольство выставляли на вид, подчеркивали. Все это сплывалось,— не вздували огня. Старуха ввела гостью, встала у двери на страже, взялась выспрашивать, с неожиданным упорством наступая,— кто они такие да откуда муж, где поженились, есть ли дети.

— Слыхала я об вас от сына, от Онуши. Все уши прожужжал. Да ведь он у меня шалый, не то что Афоня. Его вскружить легко.

Вздыхала с неприязненной старческой проницатель-

ностью, длинно рассказывала о том, как портится народ, как холостые жеребцы льнут к чужим женам.

— Я баб виню: легко поддаются, как щепка под каблуком. А мужикам что?

Нравоучительно посапливала, покряхтывала и ровным, неизменным говорком, от которого становилось сухо в горле и шумело в ушах, читала книгу своей памяти. И все в этой книге повествовалось о грехе, завлеканьях, лжи, преступных любовях и о том, как нужно этого опасаться, чтобы вот всю жизнь прожить и ничего про себя дурного не вспомнить.

Поздно, часам к одиннадцати, Таня задремала, старуха вышла,— темнота за окнами загудела приближением людей. Таня ослепла от света пылающей лампы-молнии. Возвратились с работы братья Веремиенко и Михаил Михайлович. От кашля, трудных сморканий, махорочного дыма стало тесно. Афанасий Ипатыч распорядился накрыть стол: обещали быть к ужину Эффендиев и техники; повел всех умываться. Первым обратно явился Онуфрий Ипатыч, раскрасневшись, с мокрыми, приглаженными волосами, сел на лавку, гордо одобрял суету с закусками. Старуха звенела посудой у шкафа, девочки таскали холодцы и окорока, сгибаясь под тяжестью блюд, выпячивая животенки. Веремиенко, со счастливой улыбкой, придвинулся к Тане.

— Брат вдовеет два года. Мать ведет все. А сейчас ни у кого в округе нет такого хозяйства. Жениться не дозволяет. Первая — говорит — не сахар была. Бог за грехи вторую еще хуже пошлет. Гоголь старуха! А какие бабы на брата засматриваются! Да он матери не перечит.

Таня подивилась сухой силе этой старухи,— ее не сбить с твердых, скрипучих мыслей, которые она считает благонесущими, въевшихся как морщины в кожу. Таня ненавидела с детства таких упрямых старух, не удержалась и тут:

— А я бы на месте вашего брата так легко не сдалась.

К ужину пришел Эффендиев с одним из гидротехников. Извинившись, хозяин достал из-под лавки две бутылки виноградного спирта, налил стакан, произнес: «Дай, боже! — Поправился: Будьте здравы, товарищи!» — выпил, подал Эффендиеву. Чара дошла до Онуфрия Ипатыча. Тот отклонил: «Не обессудь, брат, воздержусь!» — и горделиво и преданно взглянул на Таню.

— Налейте мне, Афанасий Ипатыч,— нарочно громко попросила она.

Старуха, стоя угощавшая гостей, даже зашипела и Тане уже не предложила ни одного блюда.

Михаил Михайлович повеселел, побагровел, мигая устало и беззаботно зелеными глазками, и все восклицал:

— Три четверти работы сделано, слышишь, Таня!

Эффендиев пил и ел, не отставая от председателя сельсовета, сиял белыми зубами, жмурился, со страстью обгладывая кости.

— Запарился я тут,— вдруг сказал он,— беженцы, наводнение, пятое-десятое. А как дела с саранчой, товарищ Крейслер? Чудеса: я имею известия о саранче из центра по твоим же донесениям, товарищ Крейслер. (Он легко переходил на «ты».) Здорово у нас бумажки летают. Теперь уж ты мне тоже пиши, осведомляй. Глядишь, пригожусь.

Также неожиданно он повернулся к Веремиенко-младшему:

— Я и тебя вспомнил. Ты во время войны служил конторщиком у Шамси Асадулаева на промыслах. Я тартальщиком был, даром что мальчишка.

И в почтительной тишине рассказал, как его хотели арестовать и пришлось удрать в Степь, пастухом к молоканам — до самой революции. В чабанских скитаниях он забредал далеко, даже за персидскую границу, в страшные места, к берегам глухого озера Бей. Там, собственно, несколько озер и много речек, огромные пространства земли и песков заросли тростниками, в которых можно пасти скот только зимой, потому что летом из-за слепней и комаров скот бесится и люди заболевают. Только крайние бедняки остаются там, кое-где сея рис. Это немеренные места, неведомые воды, и туда течет Карасунь. Там по озерам встречаются плавучие острова, покрытые тростником, там есть участки, где почва состоит из отмерших корней тростника толщиною в пять и более аршин. И там постоянно водится саранча, иногда отрождаясь в несметных количествах. Все эти сведения Крейслер определил как драгоценные и записал.

Разошлись поздно. Оказалось, что о ночлеге Крейслеров никто не подумал.

— Старая ведьма нарочно это устроила,— шепнула Таня мужу.

— Не важно,— ответил тот вполпьяна.— Главное, три четверти работы сделано. Завтра спустят воду. И насчет саранчи начальство шевелится.

За стеной, слышно было, братья спорили с матерью, затем принялись таскать тюфяки в холодную горницу.

— Ну и матушка у Онуфрия Ипатыча! Я понимаю, почему он убежал из дому. И как нас приняли. Ну, чему ты радуешься! Сапоги рваные, ноги мокрые. Простудишься. И все улыбается. Чему?

— Людям и примирению с ними.

— Да ты с ними и не ссорился,— тупо возразила она.— Ты весь, целиком им предан. Ты только меня не видишь, смотришь как на пустое место.

За дверью прошелестели и притихли легкие старческие шаги.

— Что с тобой, Танюша? Нас же слушают.

— Ну и пусть слушают, пусть знают все, как ты несправедлив ко мне.

И она расплакалась слезами женщины, которую не понимают.

Глава третья

I

— А, здоров! — закричал Бухбиндер, высунувшись из задней комнатушки на звонок открываемой в аптеку двери.— Малахольный пришел! — оповестил он.— Товарищ Онуфрий Ипатыч!

Из комнатенки поползло урчание, обозначавшее удовлетворение и приветствие.

— Пьете? — хмуро спросил Веремиенко.— Кто?

— А что еще будут делать у меня в пещере такие волкодавы, как пан и ветеринар Агафонов? Не выдержал?

Пузырьки и банки отзывались на восклицания жалким, неживым дребезжанием. Хозяин никак не соответствовал изнурительной аптечной полутьме и грозной аптечной вони. Он всю округу удивлял прекрасно выбритыми щеками. желеобразно-пухлыми и легкими, не старившимися вот уже сколько лет. Меж выпуклостями щек, подбородка, лба с пре-

восходным изяществом плавали толстый носик и улыбающиеся губы. Все это иллюминовалось живыми, светло-карими глазками. Бухбиндер славился пристрастием к девчонкам, которых брал в наложницы, чаще из заморенных мусульманских семей, откармливал, держал взаперти. Этой зимой ему посчастливилось соблазнить сироту-молоканку лет пятнадцати.

Веремиенко перешагнул порог пещеры, и вот он снова в продымленных кущах Бухбиндера. В полутемной каморке, с выходом в аптеку и дверкой в сортир, за утлым столом, на котором стояли две старинные, темные бутыли, пировали пан Вильский и статный великан Агафонов, внушительную крепость которого не успели еще съесть ни алкоголь, ни скука, ни тропический зной, ни малярия,— все то, за что зовут Закавказье погибельным. Веремиенко оторопел от затхлого чада, от запаха уборной, винного перегара, скверного табака, от решетчатого пыльного окошка под самым потолком.

И пошло: «Ипатыч, алкоглот, патлатый, да он сердцеед, сердцеед! Друзей ради бабы покинул, выпей, старик, налью, отец, закури, а то, смотри, бросил, Онуша, друг, за милых женщин налей ему еще, пан, догонять, догонять, догонять нужно, не могу, братцы,— толстое рыло хозяина летало над столом, как футбольный мяч у сыгравшейся команды,— одну кончили, трахнем за нее, Онуша, за милую твою, дай-ка завернуть, возьми у меня рештского,— уже прекрасные губы Агафоновы тянулись к нему,— дай, друг, поцелую, люблю тебя, Онуша, за любовь твою к женщине, за уважение»,— дно второй бутылки подымалось все выше. В магазине зазвенел дверной звонок, благовестник Бухбиндеровых барышей.

Он выбежал и вернулся, потрясая пачкой дензнаков.

— На бутылку араки есть, ребята! А вы лакать стесняетесь. Я вот сейчас татарину за банку ртутной мази хлопнул цену: тридцать лимонов, говорю. У него даже морду своротило. А сам: «Чох якши». Не поверите, до чего мне они надоели. Давеча фасую доверовы порошки, а так и ноет думка: хорошо бы в них стрихнину подсыпать. Очертела грязная татарва, холеры на них нет! Ну, кому переть за аракой?

Метнули жребий, вышло — пану.

— Ребята, сдавайте револьверы! За третьей посылаем!

Бухбиндер построжал. Напиваясь, гости не раз пытались предаться кукушке. Аптекарь никогда не терял памяти,— до стрельбы друг по другу не доходило. И слава богу, на двадцати квадратных аршинах трудно промахнуться даже в полной темноте. Палили в стены, в узор на ковре, однажды расстреляли целую корзину гранатов и персиков. Агафонов лениво полез в задний карман.

— На, черт с тобой. Пойду коня расседлаю. Засядем.

— Я тебя давно не видал, Онуфрий,— сказал Бухбиндер.— Худеешь очень.— И заметил совершенно безразлично, как будто мысли рождались не в мозгу, а ползали, что ли, по лицу и он их едва замечал.— Мне Тер-Погосов жаловался на твоего немца.

— Какой Тер-Погосов? — удивился Веремиенко.

— Какой, какой! — сварливо передразнил Бухбиндер.— Не знаешь, что у тебя под носом делается. Тот самый, который у вас опрыскиватели отобрал.

— А, волосатый... Как же его иначе встретить? Саранча,— а он «Верморели» отбирает на бочки переделывать дерьмо возить. Так уж его пожалели, отпустили, да пан уговорил и аппараты отдать без скандала.

— И очень хорошо сделали. Это мой родственник. Я бы за него с твоего Крейслера голову снял, жену вдовой оставил.

— Ну.

— Что «ну»? Что такое за «ну»? Его брат женат на сестре моей покойницы жены. Как это,— свояки? Ну да — свояки, конечно. О чем это я?.. Тебе правда нужны деньги? Помнишь, ты осенью говорил о двух тысячах...

Веремиенко молчал. Жалкая и злобная усмешка, сползая с губ, исказила лицо и, как шрам, застыла, стянула левую щеку, заволокла левый глаз.

— Смотри,— пробормотал он,— ты не смейся! Я голову заложу.

— Какой смех? Что за смех? Ты тоже хорош! Нет чтобы спросить у Бухбиндера, в чем дело. А дело же в том, что затеваются очень большие дела!

Бухбиндер суетился около стола, как бы вздымая пыль, пол дрожал от каждого его движения. Веремиенко испытывал потяготу, желание расстегнуть ворот.

— Этот самый Тер-Погосов теперь в Саранчовой организации большой шишкой: начснаб. Так на ваши опрыскива-

тели, которые не пригодились комхозу, уже нашлись покупатели — Иванов и Бухбиндер.

— Кто такое Иванов?

— А я знаю? Человек, которому нужны деньги. Он любит женщину, прямо с ума сходит. И готов ей бросить деньги под ноги, даже невзирая на мужа: вот вам! Делайте что хотите, поезжайте куда хотите! Это моя любовь. Ну, так Иванов — мой компаньон, который подписывает счета. А у Иванова есть свой покупатель — Саранчовая организация.

Веремиенко захохотал. Он хохотал, раздельно выдыхая каждый звук, невесело, не заразительно и безудержно, обеими руками вцепился в косматые волосы, раскачивал голову. Бухбиндер уставился на него угрюмо, почти с испугом, выжидал.

— Кто так смеется, тому нельзя доверять.

Веремиенко мгновенно замолк.

— Понял вас. Ах, дьяволы, до чего додумались!

— Ну да,— двести процентов прибыли. Саранча — это форс-мажор. Я тебя люблю, Онушка. Ты на меня там злился, а ведь я понимал, что не серьезно: выпьешь, все пройдет. Ты же знаешь всю округу, понимаешь в этих прысканиях. Нам сейчас такой человек — золото. Дела такие начинаются, что мы с тобой к осени в Москву удерем. Подумай,— Москва.

— Москва, Москва,— повторял Веремиенко, облизывая пересохшие губы.

— Входи в дело,— прошептал Бухбиндер, услыхав звонок.

Веремиенко сухо выдохнул: «Хорошо». Багровое самозабвение ударило в глаза, в сердце, наполнило шумом уши. Миг,— и он очнулся, но уже пьяный, утешененный особым опьянением алкоголика, который прервал зарок. Голова казалась необыкновенно легкой и совершенно прозрачной, лишь омраченной неуловимой грустью, что на этом прекрасном празднике, на торжестве его мужественной жизни, пире удач не присутствует женщина, которую он любит. С таким ощущением счастья, полновесного, всеобъемлющего наслаждения, сладостно пронзающей дрожи летит на санках с крутой горы отчаянный мальчишка. Снег порошит заслезившиеся веки, и в глаза, в волосы, в ноздри, в рот, в рукава, под полы шубенки — набивается, рвется, лезет сияющий,

звонкий, ароматный ветер и несет на своем упругом крыле к неведомым границам неописуемого ужаса, и жаль,— санки замедляют ход. Вошел Агафонов.

— Я остановился на тебе, потому что ты не такой несерьезный и не болтун, как пан Вильский,— успел ввернуть Бухбиндер, унося оружие к молодой наложнице.

Веремиенко пил и не пьянел больше, только, как ему казалось, становился одухотвореннее и умнее.

Началось опять: «Двинем еще по одной, не передергивай, я френч сниму, чего стесняться, вали, крепкая, черт, пасхой воняет, на то арака, из кишмиша гонят, так что ж она должна тебе абрикотином пахнуть, попили абрикотину, будет, попили нашей кровушки...»

— Берегите закуску! — кричал хозяин, хотя два помидора беспрепятственно расползались на тарелке нетронутые, а больше ничего не было.— Ставлю двести грамм ректификату.

К вечеру Агафонов уехал. Пан уснул, ощерив рот с тремя почерневшими зубами. В пещере клубилась копоть располыхавшейся лампы, Бухбиндер ожесточенно гремел:

— Грабь их, они нас дотла ограбили! Заметано. Четыре сбоку, ваших нет. Эх, пить будем, гулять будем! Не забывай, Онуша, у нас уговор.

Забивался в угол, наклонял голову, надувался, распухал, где-то в носоглотке у него фальшиво клокотал напев наурской, он топал ногами, трясся всем телом, изображая танцы и разгул: и у нас-де была молодость, и мы знали лучшие времена, не этим чета, ну да еще поживем, фортуна-то у нас в руках,— так Веремиенко должен был бы читать иероглифические телодвижения. И читал, будучи как раз в том состоянии, когда понимаешь этот древний язык.

Хозяин провожал его по селу. Теплая, туманно-черная, с сырым духом мыльни ночь плотно навалилась на село,— тихо, лишь откуда-то из Степи подкатывалось звериное всхлипывание, должно быть шакалье.

— Ты помни, Ипатыч, предприятие наше большое. Сейчас все, что ни найдем против саранчи в округе, все можно загнать через посредников. Нас грабили,— теперь довольно. Наша очередь: грабь награбленное. Я не за себя говорю. Я как был провизор, имел аптеку, так и остался.

— А за кого же?

— За Россию. Всю страну разорили.

— За Россию не таранти. С этого вечера Россия без нас обходится. Надо так понимать: открыли закрома, я сую руку. Прищемят руку, не кричи. («Ну,ну»,— проворчал Бухбиндер.) Я хотел с хлопком работать.

— С каким хлопком?

— Эх, все мы человеки... Хотел на сырости заработать. Хлопок вещь темная: принял сухой, сдал чуть посырее. Разница в весе — разницу в карман. Да с этой саранчой ни лешего теперь не будет. Я давно решился, это ты правильно подметил. Один жил за большевистское жалованье. Пала в сердце любовь,— разорваться — деньги нужны. Ее лечить надо, погибает. Жизнь повеселее показать. К кому пойдешь, кому скажешь! А она, может, с детства мне снилась.

Село обрывалось слитным мраком: поле и небо.

— Говорить с тобой интересно, но дальше я не пойду. Страшно бедному еврею одному возвращаться.

— Ты не такой трус, каким прикидываешься.

II

Крейслер давно миновал безымянный аул, очнулся от задумчивости: заехал слишком далеко. Слегка волнистая долина, по которой, мощно и упруго извиваясь, влачит воды и тростники Карасунь, сменилась ровным, выпуклым, как море, плато. Жесткая трава как будто скрежетала, поредев, обнажала тусклые, белесые пятна — солончаки, к которым жадно прилипают солнечные лучи.

В алмазном прозрачном воздухе шахсевана можно узнать по неповторимому очертанию. Всадник. Остроконечная шапка (баранья шапка мехом внутрь). Винтовка с вилкой со знаменитым приспособлением, на которое, спешившись, он кладет, как на упор, верный ствол, и тогда бьет без промаха: патроны дороги, русские сами воюют между собой. Шахсевана увидать трудно: норовит пробраться камышами,— у него слишком много врагов.

Крейслер во все глаза вперился в подозрительную даль. Всадники, двое. Остроконечные шапки. Винтовки. Черт их разберет, есть ли на них вилки или нет! Человеку, который заблудился в Степи, простительно, в предчувствии подобной встречи, ощутить такой холодок, как ветер с гиблого болота. Далеко не ускачешь, лошадь утомлена. Под гривой, под подпругами влажно. Она тоже иногда поводит ноздря-

ми, воздух пустыни сух. Извинительно, если всадник произносит вслух:

— Говорят, они не трогают, коли к ним с мирными намерениями...

И, понукнувши прядающую ушами кобылу, он нерешительно,— чтобы скрыть опасение на рысях,— направляется к... о, милые красные пограничники! Это их шлем принял он за страшные бараньи шапки. А еще хвастался зрением.

— Как отсюда, товарищи, пробраться до Черноречья?

— До чего?

— До Черноречья, молоканское село.

— Да ты знаешь, что ты чуть не на самую персицкую тилиторию заскакал! — И в говоре такая несомненная Кострома.— Эва, где Советская Россия! Вон видишь энти камыши, речку Юзбаш-Чай? А от нее канава. По канаве и поезжай. Верст десять протрусишь, так тут будет хутор пожженный. Ты от него влево поверни, круто влево, по стежке, да так и не сворачивай. Правильно возьмешь курс, попадешь к анжинеру, контора там его по орошению, у него выпытаешь, как тебе добраться до места. Только это не ближний свет.

— Вы-то зачем сюда попали? Контрабанду ловите?

В ответ взгляд белесых недоверчивых глаз.

— А, баранту тут угнали,— неохотно выцедил тот, что поразговорчивей.— Татары у татар воруют. Перебили несколько душ и голов сто овец угнали. Ну, теперь ищем.

— Вдвоем?

— Нет, по округе еще хватит наших. Да ты что больно пытаешь? — И тут же замял упрек.— Нельзя такой беспорядок допускать, мирным жителям спокою нет. До чего дошли эти шахсеванцы.

Разговорчивый опустил поводья, крутя толстую вертушку. Попросил спичек и, в благодарность, рассказал, как разбойники, подкравшись неслышно к стаду, хватают барана-вожака и, надрезав ему уши, ставят головой прямо по тому направлению, куда нужно гнать бестолковых животных. Обезумевший вожак срывается с места, стадо за ним,— летят так, что на карьере лошади отстают.

— Мы в этом краю — главная культурная нация, мы и должны порядок производить,— важно заметил другой парень посуше, потемнее, постарше.— Без нашей силы во-

все все в упадок придет. А здесь такое богатство,— не фыркай, что, мол, неприглядно,— неужто ему даром пропадать! Пускай пролетариат попользуется,— и сам рассмеялся своей мудреной речи.— Ну, трогай! — сказал и деловито подобрался.

Солнце напекало по-весеннему, это, значит, градусов на тридцать с лишком, согнало десяток потов с Михаила Михайловича, и, куда ни глянь,— везде его сверкание, везде его победительный жар. Жар ползет сверху, жар таится в прозелени трав, шелестит в камышах, зеркалится с надутой жилы канала, раздражает почесотой спину,— а туда нет возможности дотянуться,— мозжит, размаривает,— ну, вот, как твою же понурую лошадь, которая начинает звенеть заплетающимися подковами. И нет конца этому пышному свету, этому слишком щедрому зною, льющемуся на звонкую пустынную жизнь. Крейслер размышлял о государстве, отороченном, с одной стороны, льдистой тундрой, с другой — вечнозелеными деревьями, песками, звенящими в шестидесятиградусной жаре. И везде эти белесые глаза!..

Наконец-то развалины! Он даже вскрикнул, даже привстал в седле. Тут, очевидно, когда-то благоденствовал богатый хутор. Добрые две десятины пушились ярко-зеленой, сочной травкой, которая селится около жилых мест. Как зубья разрушенного молотилочного барабана, как ржавые якоря по берегу торчали черные останки пожарища. Еще намечались следы стены, окружавшей поместье: главные постройки и сад. Сад оставил пни, подобье дорожек, столбики беседок. И розы. Розы растрогали Крейслера. Крепкие, от всяких посягательств защищенные кусты сияли листвой, жесткой и чистой, стеблями в колючках, и уже пошли в цветок. Мощная, благоуханная сила наливала сизоватые бутоны в сердитых усиках, и путник, хмурый и изнеможенный, вдруг ощутил, как спирит, дуновение потустороннего, обещание запаха. Этот аромат должен был оправдать все его тревоги и мучения, усталь; хорошо бы наткнуться на эти кусты и тем двум пограничникам. Тронул шенкелями лошадь, дружелюбно взглянул на солнце, поощрил: «Ну старайся, старайся, светило!»

Лошадь тревожно всхрапнула, прянула от остатков стены, едва не сбросив всадника. Послышалось легкое шипенье, знакомое всему живому. Он вгляделся в странную кучу чего-то отливавшего сизым, розовым, багрово-синим,

зеленоватым. Семьи, племена змей, встревоженные, в злобе поднимали головы. Целая поросль вставала по стене. Безжалостно острые глаза смотрели отовсюду. Кобыла вынесла вскачь.

Сумерки наступили быстро, словно пролились, словно лавина полутьмы сползла на землю.

Крейслер распустил поводья, распустил колени, не чувствовал седла, кожа в растертом паху горела, тревога и досада, как жар, растекались по телу.

— Ну и попал,— говорил он вслух, чтобы ободриться человеческим голосом,— ты — сам, балда, видел, как Карасунь меняла русло. И не мог догадаться, что нельзя руководствоваться старыми руслами.

Так, борясь с дремотой, держа путь на низко сидящую Большую Медведицу, соблюдая совет,— повернув круто влево, ехать прямо,— пробивался он в ночи. Тьма кружила голову резким дыханием распускающейся растительности, тьма жалила укусами комаров, тьма подвывала шакалами, тьма таила пропасти; пустыни неба и земли сомкнулись, чтобы поглотить Михаила Крейслера. Слева, с северо-запада, затирая узкую полоску отблесков зари, всплывала туча, ее начинали прошивать, словно притачивая к земле, иглы молний. Туча вполголоса порыкивала громом.

Он бросил, как спасательный круг, в бездну: «Таня!» Если бы она откликнулась! Он съежился, полегчал, изумился древней легкости детства, в которое неожиданно завела темнота. И вдруг под ним раздался дико-жалобный, многоголосый рев. За ревом последовало сотрясение. Ставший взрослым тяжелый Крейслер едва не слетел с седла и только через несколько мгновений непонимания, ужаса уразумел, что ржет его кобыла, что он сам заснул. Близко жилье.

Жилье! Вон, вон оно сверкнуло огоньком.

Жилье! Внезапно напрягшееся воображение охватило все радости, какие даст ночлег. Он не усомнился в том, что это именно та контора, куда направляли давешние, канувшие во тьму красноармейцы.

Тогда огонь пропал. Так несколько раз он то появлялся, то гас, издеваясь над заблудившимся замысловатой игрой, изнурительной, вроде щекотки, пока в конце концов не затлелся где-то вовсе близко. Лошадь уперлась как вкопанная. Перед ней струилась вода. Темные массы строений

висели почти вплотную перед глазами, границы их очерчивались точками многочисленных огней в окнах, довольно высоко поднятых над землей. Культура! Лошадь пошла вдоль загадочного рва, шириною, поскольку можно было определить, сажени две. Крейслер добрался до впадения канавы в реку, которая различалась лишь до середины, серея туманом. Огни пропали. Повернул обратно. Снова засветились. И опять стали заходить за выступы каких-то массивов. Скрылись. Река. Моста и в помине нет.

— Эй! Кто-нибудь!

Ни звука.

— Эй, отзовитесь!

Молчание.

— О-го-го! О-о! А-а!

Кричал что-то нечленораздельное, постыдное в бессмысленности, вопя, напрягал все тело, горло саднило, орал, простирал руки. Огни жилья удалялись. Нет, не удалялись,— превращались в насмешливые блестки светляков, бесполезных, обманчивых. Или хуже: свет, близкий и желанный, отделялся плотной толщей мрака, неодолимой звуком. Крейслер выхватил браунинг и, обеспамятев, выстрелил четыре раза,— четыре драгоценных патрона. На несколько мигов сомкнулась тишина и, вдруг,— бах! бах! бах! — справа, слева, в лоб громыхнули выстрелы по ту сторону канавы, вдали, вблизи, кричали что-то горловые голоса по-тюркски, открытый грудной голос возник почти под шеей лошади:

— Кто там?

— Свой, свой! — радостно отозвался Крейслер.

Русских разбойников в Степи нет.

III

Траянов приветливо угощал:

— Ешьте пожалуйста, баранина чудесная, у нас такую готовят тогда, когда прибывают гости.

Его лицо походило на пруд, заросший ряской. Длинные, жидкие космы волос спускались на лоб до густейших бровей, из-под которых насмешливо-сухо, отшельничьи глядели в воспаленных веках глаза. Рот прятался в запущенной седой бороде.

Крейслер, тычась носом в тарелку, жевал до боли, до

онемения в скулах напитанное чесноком мясо, отхватывал кусок за куском, безразлично взирая, как обнажается кость. Завеса блаженной, клейкой теплоты подымалась, заливала его. Почему-то, по вкусу, что ли, по наперченности, по сдобренности пряностями баранины, было очевидно, что в доме нет женщины. Но стол сиял чистотой, вино в хрустальном графине рдело с каким-то даже вызывающим изяществом. Причудливо, слишком по-мальчишески облаченного юношу (короткие панталоны, рубаха с открытым воротом), с тонким, смуглым иранским личиком, на котором мерцали «слишком красивые для мужчины» пресыщенные глаза, он не замечал. Тот раза два переменил совершенно бесшумно тарелки,— хозяин не касался прибора, и потом, когда приезжий самозабвенно погрузился в компот, легко, как тень, распластался в кресле с четко выверенной миловидностью. Старик брюзгливо приказал постелить в кабинете постель гостю. Он учтиво улыбался, но взгляд его казался выпуклым, как жила. Крейслера позывало отмахнуться.

— Я одурел от этих разведок и разъездов. Заблудился, как-то сразу потерялся. А у вас как будто средневековый замок, я также с детства помню на гравюрах,— неприступные рвы с водой, подъемные мосты, зарешеченные окна.

— Вы вспоминаете свои затруднения и досадуете. За стенами, как видите, гостеприимнее.

Крейслеру даже сквозь усталость не понравилось, что в разговоре с ним следуют по пятам. В этом было что-то неуловимо бабье. Но набежало теплое облако истомы, и сквозь него журчала далекая стариковская болтовня.

— Проживите в Степи всю гражданскую войну. Она выгнала отсюда три четверти обитателей, и туземцев, и колонистов. Армяне резали турок, турки армян, и те и другие вместе — русских: поработители! Я старый поселенец, первый мелиоратор Степи. Меня знал каждый крестьянин,— все пользовались водой для орошения,— каждый был мне чем-нибудь обязан. Однако мой хутор «Гюлистан» (истинно страна роз!) разорен до основания, даже прислугу вырезали. Я спасся случайно,— теперь там змеиное гнездо,— скрылся сюда, в контору, укрепил, придал ей вальтер-скоттовский вид. На это пришлось положить не мало сил.

Беззвучно, как будто не вошел, а впорхнул Али.

— Пожалуйте, постель готова.

Кабинет голубел как ледяная гора. Его прохлада ощущалась в этой стране постоянного пота как настоящая роскошь. Уставленный книжными полками, столами для чертежных работ с натянутой бумагой и калькой, он хранил табачный запах, след мужского труда. Кожаный диван, убранный для сна, высился обещанием немыслимого покоя. Лампа под голубым абажуром слегка накоптила, но это не раздражало. Али поправил подушки, но не уходил. Крейслер встал у письменного стола, ему не хотелось раздеваться, показывать бязевое белье незнакомому человеку. Взглянул на книжки, только что, видимо, читанные, это были: «Самосожжение» Рюрика Ивнева и «Сети» Кузмина. Со шкафа на стол белесо глядел мраморными выпуклостями Платон.

— Как вам нравится у нас? — чванно спросил Али.— Завтра вы увидите великолепный сад, цветники и виноградники, в которых есть даже сицилийские сорта. Вы пили наше вино, но не заметили, вероятно, его букет?

Крейслер удивленно продрал веки. Юноша снисходительно осклабился. С губ потекли еще более изысканные речи:

— Извините, мы постелили вам на диване. Это не так комфортабельно, спать на скользкой коже. Но у нас вчера приключилась потешная история.

И он медленно, словно перекатывая каждое слово за щеку, рассказал о том, как к ним, тоже заплутавшись, заехали киносъемщики, двое молодых людей с дамой, женой одного из них. Крейслер уже имел случай убедиться, насколько добрейший Всеволод Адрианович обходительный человек. Мужчин положили в этой комнате, свою постель он предоставил даме. Сегодня утром они засняли («по их техническому выражению»,— заметил Али) контору и работы по очистке Гагаринского канала. Их специально интересуют съемки саранчи, и они поехали дальше.

— Сегодня же Всеволод Адрианович распорядился сжечь одеяло, подушки, простыни, даже матрац, на котором спала мадам Бродина. Это пробило настоящую брешь в нашем хозяйстве.

— Да, ваш хозяин, видать, принципиальный мужчина. И не нуждался как следует.

Юноша фыркнул и, волоча ноги, удалился.

Проснувшись утром, Михаил Михайлович испугался ло-

моты в суставах, но вспомнил,— это от езды, стал быстро одеваться, прислушиваясь к выкрикам из неведомых глубин дома. Очевидно, где-то громко разговаривали по телефону. Постучали. Он крикнул: «Войдите!» — и в дверях показался Траянов в халате, в расшитой шапочке. Он приятно удивился, что Михаил Михайлович уже встает, пушистые фразки о хорошей погоде, от которых хотелось чихнуть, летали по комнате. И, несомненно, он также мягко и любезно сообщал бы и о плохой погоде, расталкивая заспавшегося гостя. Завтракали в столовой вдвоем, Крейслер обстоятельно отвечал на вопросы о саранче, о борьбе с ней. Траянов похвалил разведчиков, которые к нему заезжали, и неожиданно спросил:

— Кто такой Тер-Погосов?

Крейслер изложил, что знал из протоколов, и, конечно, упомянул об отобранных «Верморелях». Он много раз повествовал об этом, и сказание приобрело даже некоторую отделку. Траянов кивал головой, лицо его потеряло неестественно благостное выражение, потемнело, подсохло.

— Все это очень странно. Он посетил и меня. Вооруженный всякими бумажками, мандатами... Кое-что увез тогда же, кое-что взял на учет и отобрал совсем недавно.

— Как, сам?

— Нет, через Наркомзем. Формально все правильно. Но около него терся молодой человек... «Преувеличенно корректная внешность, наверное, шулер»... как это у Тургенева? (Крейслер давно позабыл о том, что когда-то существовал Тургенев.) Молодой поглупей, поболтливей. А что представляет из себя Веремиенко? Не председатель сельсовета, а ваш?..

— Моего помощника, Онуфрия Ипатыча, я как будто знаю хорошо. В делах совершенный вахлак, но верный, горячий человек.

Старик помолчал. Крейслера раздражало это недоверие.

— Ну, спасибо. Мне пора ехать, пойду седлать лошадь.

— Нет, нет,— живо возразил Траянов.— Лошадь приготовят, а я еще хочу вам показать мое ранчо. Побудьте хоть полчасика.

Вышли во двор, дышавший добротным порядком и чем-то действительно напоминавший описания техасских ферм. Кирпичные дома и службы вкусно алели в густой зелени

деревьев, на которой еще поблескивали капли пронесшегося ночью дождя. Ни морщинки запустения, и даже тишина казалась озабоченной,— все ушли на работу. Во двор въехал на вороном коньке Али. На нем был серый люстриновый пиджачок и краги. Он снял кепку, вежливо поклонился Крейслеру, а тому даже собственная кровь от отвращения показалась нечистой. Али подбежал к Всеволоду Адриановичу, сообщая о какой-то кубатуре и о том, что воду завтра спустят. Старик потрепал его по лицу, и строгое лицо его замутилось как бы рябью женственной нежности.

— Ну, ступай домой. Надо еще перевести на кальку тот головной участок. А мы пройдем в сад.

Сад, расположенный за главным домом, изумил Крейслера необыкновенным, каким-то курортным щегольством. У замысловатых цветников возился, вгоняя по бортам клумб фигурную черепицу, старый садовник. Траянов весь ушел в сосредоточенное созерцание, лицо его, редко менявшееся, застыло в благообразной задумчивости.

— Вы, вероятно, спрашиваете себя,— для чего старик Траянов со всем этим суетится? Я вижу по вашим глазам... Этот пафос хозяйствования был бы действительно смешон, особенно на казенной земле, с которой меня могут согнать, если бы я не прожил тяжелой, столько раз меня обманывавшей жизни.

И, косясь на вершины деревьев, Всеволод Адрианович выспренне исповедовался в глубоких огорчениях юности, в язвах и позоре души. Крейслер подумал, что и здесь так же, как на берегах Карасуни, много размышляют и охотно говорят о самом сокровенном.

— Я нашел в себе силу оставить Петербург. Сермяжное простодушие народничества не увлекло меня. И потом, куда же в русской деревне девать диплом инженера! Я приехал в Степь, когда она была еще пустыней, песком и глиной, а за мной росла трава, росли злаки. У меня не могло быть детей, я оплодотворял мозгом дикие поля. Они только и жаждут, что приложения труда и ума. Здесь умеют ценить доброе в человеке и снисходительно относятся к его порокам: воздух напитан древнейшими культурами.

— Я вчера сравнил все это,— Крейслер широко повел рукой,— с феодальным замком. Нет, это больше похоже на монастырь с собственными ликерами, с древними пергаментами...

— Да, да. И обожествленный Платон, и воскресшие античные страсти, и философия... Все это было плодотворно в эпоху Возрождения, не потеряло ценности и теперь, повернувшись к нам какой-то другой ипостасью. Надо возделывать сад, а для того чтобы возделывать его хорошо,— отрекись от жизни, или, еще лучше, пусть жизнь отречется от тебя. Это не аскетизм, а стремление к уединению. Я сказал это как-то Эффендиеву. Он мне ответил что-то о коллективе и его мощи, бесспорное и банальное. Впрочем, у него слишком художественное воображение и недостаточный словарь для отвлеченного спора. Посмотрите, вот это апельсиновое дерево. Их здесь несколько.

Невысокие, стройные деревца с яркими, словно окунутыми в воск, зелеными листьями выделялись среди желтоватой, только еще распустившейся зелени других растений.

— Я вожусь с ними уже несколько лет, и был бы счастлив, если бы удалось их приспособить к здешнему климату. Процветают и плодонесут же они в Энзели и в Батуме. Я также счастлив,— задумчиво продолжал он,— когда вижу, как на моих глазах растет и приспособляется Али.

Крейслер вздохнул. Эти странные сочетания удручали его. И по правде говоря, он не мог уразуметь, как воплощаются в живое дело такие неестественные мысли.

— Вы видели местные солончаки? — спросил Траянов.

— Еще бы не видел!

— Но, должно быть, не успели полюбить. Странная земля. Никто добром не отзовется о ней: малярия, зной, безобразный лик пустыни. Все это мучит каждого из нас и странно привязывает. Дайте воды этой земле,— она будет родить все. И эта щедрость, отзывчивость на тяжелый труд покоряет, затягивает. Я вот много лет порываюсь уйти отсюда и каждый раз откладываю на будущий год ради дикой тишины. А вот теперь прилепился к этому саду. Стар я, чтобы менять привязанности. Но пусть не мешают этой моей ревнивой любви.

Крейслер уезжал с ощущением душевной сытости, какую дает расширяющийся опыт.

IV

В то время как Михаил Михайлович, падая в необозримую пропасть сна, тщился, как тонущий, вспомнить протек-

ший день, пережив и утренние поиски саранчовых месторождений, и страхи, и спасительную встречу, и корявый перст, который указал путь с персидской границы до странного управления мелиорацией,— в то именно время Таня, забившись в угол, как бы загораживаясь обеденным столом от собеседника, искала в себе силы произнести то, что каждой женщине произнести трудно, но ей — необходимо.

— Я жалею, Онуфрий Ипатыч, что вы сегодня трезвы, как вы хвастались, и нельзя отнести за счет опьянения... Вы сейчас объяснились в любви. Мне это неприятно и зазорно.

Она вдруг зарыдала.

— Вот... как... мучит судьба... Я не переживу, если с Мишей что случится. Вдруг ему угрожает опасность. И вы,— тоже друг! Пользуетесь его отсутствием. Я места себе не нахожу, без ума, а вы высылаете пана Вильского,— я ведь слыхала ваш разговор в передней,— чтобы остаться вдвоем. Я не испугалась, бывала в переплетах пострашнее. Мне противно и жалко себя,— меня пытаются опутать. И тяжело разочаровываться в человеке. И так страшно за Мишу.

Отповедь звучала высокомерно, как будто горе возвеличивало женщину в собственном мнении. Веремиенко вскочил со стула, метнулся словно обожженный, вскипел негодованием самым благородным, тем, что клокочет ключом бессвязных и трескучих речей, долженствующих заглушить голос женской догадки, что ловят, что надо держать ухо востро,— ну тот самый голос, которым только что говорила Таня.

— Татьяна Александровна, неужто же вы меня понимаете таким низким человеком? Господи, да я сам скорблю об отсутствии Михаила Михайловича! Но я не предаюсь панике, уверен, что он где-нибудь преспокойно заночевал. Лежит теперь, похрапывает, покуда вы тут слезы по нем льете. Вы попрекаете,— я объясняюсь вам в любви. Да что же это такое? Что же, разве это преступление? Разве можно совладать с сердцем? Ведь мы каждый день видим друг друга. Я, я каждый день вижу вас. Так что же, вы не замечали ничего? Я сам чувствовал, что от меня жар идет, а глаза наливаются блеском. Если вы слепы, так другие видят. Я, конечно,— вы сами должны понимать,— с такой радости, что чужую жену без всякой взаимности люблю, по

округе не бегал, не благовестил. Однако догадываются. Догадываются, потому что я на себя стал не похож, потому что я как одержимый, как бесноватый какой. Когда у тебя вместо сердца моток с иголками, вся твоя внутренность исколота, каждый вздох причиняет боль,— нет уж дайте мне договорить! — так что же с этим жить можно, не кричать? А если от других утаить нельзя, так от вас прятаться, намека вам не сказать и хоть небольшого себе облегчения не сделать? Безжалостны вы очень с вашей честностью и горды. Отказываете с гордостью, с тщеславием, отвергаете со злорадством. Довольно с меня и того, что мне нет никакой надежды... А ведь в одной капле той любви, которой вы любите мужа, я захлебнуться бы мог!

Его губы темнели, как створаживающаяся кровь, рот зиял. Он опирался руками на стол, сдвигал его, зажимая Таню в угол. В ушах с шумом отдавалось каждое биение сердца, как будто он слишком резко переменил положение, и каждое колыханье этого шума несло к городу волны тоски и страстной досады. Руки липли к клеенке, отдирая присосанные пальцы, он готов был закричать от унижения и стыда. И вместе с тем он никогда не ведал такой чистой ясности ума. Так же отчетливо трелит соловей, обреченный песне,— что за беда, что любовные излияния скатывались с языка Веремиенко как по жернову! Таня, не переставая, плакала, не в силах разомкнуть губ, они сплоились: молчание было единственной, самой крепкой защитой. Она не стыдилась своего многосложного горя, которое возносило ее недоступной, недосягаемой для вожделения.

— Где же он? Где же он? — спросила она наконец.

Повернула тронутый сумасшествием взгляд на Веремиенко и медленно, почти сухо произнесла:

— Тот человек, который спасет Мишу и меня отсюда, из этого проклятого края, где нельзя быть ни на одну минуту спокойной за бесценную для тебя жизнь, тот, кто нам поможет устроиться спокойно, в довольстве,— да я ему отдам душу. Пусть будет у нас спокойная зрелость, дети! — воскликнула она со страданием.— Их надо воспитывать, учить, а где здесь? Нищете конца-краю не видно, безлюдье, разор. Жить посулами я не могу. Да, я на все пойду, чтобы отблагодарить... Когда вспомню дочь в гробу и то, что с ней оторвалось,— а она так похожа на него...— последнее она выдохнула шепотом.

Он отшатнулся, упал на стул, как будто его взметнуло вихрем этого страстного желания.

— Послезавтра я еду...— Он облизнул губы.— Послезавтра...— Рот его зиял.— Кроме командировки, у меня там есть разные делишки.— Он дрожал.— Я отказывался. Опасался. Осторожничал. Теперь посмотрю. Теперь другое дело. Теперь... Любовь,— мне ее страшно, Татьяна Александровна. Такой, как ваша... Я пойду. Я подумаю.

— Да, да, идите,— подхватила она.— Надо отдохнуть вам. У вас такой вид... нехороший... (Она ни разу не посмотрела на него). И мне будет легче одной. Степанида спит со мной в спальне. Идите.

Он завладел ее пальцами, целовал, повторяя:

— Руки... руки... залог... обещание...

— Идите! Идите! Идите!

Загрохотал щеколдой, дверью, со ступенек прогремел в ночь, побежал, оступился, кто-то поддержал его. Он закричал, узнавая: «Пан! Марья Ивановна!» Пан забормотал растерянно, словно приняв в объятия это стремительное тело, он от соприкосновения получил разряд его тревог. А она, позевывая, как будто всю жизнь жила в том времени, в том племени, где, кроме покоя, ничего не видали, лениво, с обдуманной степенностью, мямлила:

— Что это вы опять редко заходите? Скарлатиной-то ведь не отговоришься. Да и после нее вы не раз зимою захаживали.

Веремиенко молчал. Пан вмешался.

— Совсем отбился. Когда же это он у нас бывал, я что-то не припомню.

— Он и меня иногда навещал.— Она усмехнулась.— Сейчас начнется гроза. Я, знаете, люблю южные грозы, перед ними не то чувствуешь любовное томление, не то выпить хочется. Ну, мы со стариком ни того ни другого не можем,— вышли погулять.

Пан хихикнул.

Глотая звезды и сея молнии по ближней округе, туча, бродившая по горизонту весь вечер, теперь надвигалась с необыкновенной быстротой. Подымаясь сама, она подымала шум. Предшествовавший ей ветерок нес какую-то пыльную свежесть и больше всего напоминал о дальней поездке. Двор завода как будто узился, ежился. И, готовый ринуться под сернистые вспыхи молний, в рычании грома, под

детские всхлипы дождя, сближал зашумевшие деревья.

— Что творится в тополевой аллее! — свежо и тревожно сказала Марья Ивановна. И, уже не в состоянии обезвредить накипевший в ней яд, торопливо, до дождя выбалтывала:

— Для каждого мужчины каждая баба свой секрет носит. Иная откровенностью, иная тайной завлекает, большими чувствами, непомерными требованиями. А иная прижмет к белу телу,— все забудешь. А на поверку,— один узор для всех.

«Да, она подслушивала. Она подсматривала»,— терзался Онуфрий Ипатыч, расстегивая толстовку, подставляя грудь сыроватому веянью. «И с этой женщиной я спал!.. Если она сейчас не уймется, я все скажу пану».

По глазам ударило воспламенившейся сиреневой кистью, короткий резкий дребезжащий удар разразился вслед. И с тех пор не переставал, подымаясь до неимоверной силы, бил в небе как бы огромный бубен. Широкое шуршанье впопыхах надвигалось на них.

— Дождь! Дождь! — вскрикивала Марья Ивановна как-то в нос, словно стеная.

Она потащила за собой мужа, оставившего руку Веремиенко. Тьма заколыхала, зазвенела, зажурчала, молнии путались в нитях дождя, но и ливень не мог вымыть из ушей Онуфрия Ипатыча повизгивающего стенания.

Глава четвертая

I

Бывает, проснешься среди ночи или в бурый рассвет цвета волчьих взглядов, с изжогой, подымающимся сердцебиением, пугающим до холодного пота, с таким вкусом во рту, словно питаешься отравой, подсовываемой недоброжелателями,— и вот уже изжога, космическое бедствие, обрекает на вечные муки,— стоит ли жить? Нет, так жить нельзя!

— Так немудрено и сдохнуть!

Онуфрий Ипатыч переводил безнадежный взор с одного пятна на обоях на другое. Неутешительное убожество скверного номера грозило испакостить все воспоминания

о прекрасных утрах, закатах, добраться до белоснежных шапок горных вершин, до моря, на которое он не мог смотреть без благодарной дрожи. Даже облик Тани Крейслер потухнул. Вот бы облегченье должно получиться: ну, чего в самом деле? Ну, дама, костлявая, нервная, без кровинки в лице! Ан не тут-то было, облегченья нет, похожая на ужас жалость к ней и любовь подступают, как икота. Кожа, кровь, кости, все отравлено похмельем. Поднимешь руку, дрожит.

Гостиница просыпалась. Коридоры зажили язвящим слух шумом: шлепали туфли, хлопали двери, звенела посуда, шипела вода в уборных. Заезжие персы-купцы, трое в одном номере, наперерыв звонили, вызывая номерного. Он скользящими прыжками летал по коридору. Сосед-грузин, весельчак и бабник, запиликал на кяманче,— мудреном туземном инструменте, пронзительном и мелодическом, ощупью ловил мотив, пока не набрел на «Чайку», и целый час терзал ее. Это было так же смешно, как слушать псалтырь по-французски.

Воспоминания приходили в голову только стыдные, о таких происшествиях, где ему пришлось играть жалкую или унизительную роль. Татьяна Александровна издевалась над ним, что он влюблен в Марью Ивановну, не догадываясь, что ее насмешки жалили больнее, чем обычные дружеские колкости. Неудачи преследовали его и в городе. Им прикрываются для своих махинаций, и никто, кроме него, не исполняет своих обязательств.

В дверь стукнули, шелестя, просунулось письмо.

Письмо было от Крейслера.

«Как идут дела, дорогой Онуфрий Ипатыч, и в Хлопкоме, и в Саранчовой организации? Мне кажется отсюда, что неважно. Но, как бы они ни шли, ваше долгое молчание тоже непростительно. Во всяком случае, вы должны нас держать в курсе дела, положение слишком серьезно. За месяц, как вы в командировке, я получил только одно письмо, в самом начале. Теперь вполне выяснилось, что хлопковая посевная кампания на три четверти проиграна. То, что мы под угрозой саранчи не авансировали хлопкоробов, сказалось. Я боюсь, что и осенью нам не удастся расконсервировать завод. Но этого вы не говорите, потому что нас вовсе лишат тогда денег. Впрочем, денег нет ни копейки, и как

я управляюсь — сам не знаю. Рабочие живут посулами. Настаивайте на присылке хотя бы небольшой суммы,— ну пятисот миллиардов. Этим мы покрыли бы часть самой катастрофической задолженности, главным образом по жалованью.

Но самое важное, конечно, саранча. Здесь действительно все обстоит ужасающе: нет ничего, никакого движения, как будто никакой Степи и никакой саранчи не существует. Что же делается в Саранчовой организации? Там сидят просто преступники. Мне удалось привлечь через Советы довольно много добровольцев, но без питания, без орудий, мало лошадей. Кроме того, вы не хуже меня знаете, что с таким количеством саранчи бороться одними механическими мерами это то же, что черпать море ковшом. До нас дошла по газетам беседа с чрезвычайным уполномоченным. Он хвалится, что заготовлено довольно большое количество ядов, аппаратов для сжигания саранчи, которые якобы одобрены специалистами, огромное количество керосина, продуктов питания,— где же все это? Что же, хваленые специалисты не знают, что их за такое промедление,— за одно это,— можно отдать под суд и расстрелять. Ваше дело,— где возможно двигать, напоминать. Вы — посол угрожаемого района.

Вся округа, верст пятнадцать по Карасуни, превратилась в военный лагерь. Меня лично беспокоят беженцы: покуда их кормят, покуда они окружены местным населением, перемешаны с ним, их можно держать в узде. Но они на наш полуторафунтовый паек прут сотнями, хлеба осталось на неделю. А что потом?

Эффендиев выходит из себя. Пан Вильский прекрасно ведет раздачу, привык кормить детей. Но что будет, если мы не будем кормить? Голодные беженцы разнесут все, потому что это отчаявшиеся озверелые люди. Выезжайте как можно скорей. Телеграфируйте, когда выедете. Иначе никто не может нести ответственность за последствия. Писать больше не могу, перо вываливается от усталости.

Ваш М. Крейслер.

15 мая 1922 года.

Татьяна Александровна вам кланяется. Она поправилась. Приступы значительно реже. Но худа, жалка. И подумайте, что я ей дал? Эх, иногда вам позавидуешь,— свободный человек, ни перед кем не несете ответственности, одна голова не бедна».

II

Наивность, как и хорошее обоняние,— черты первобытные. Природа отпустила их Онуфрию Ипатычу в той мере, которая помогла ему не потеряться в шумном, суматошном городе, изнывавшем от зноя, от ветров, от близости моря, от падения нефтедобычи. От Тер-Погосова пахло вспотевшей лошадью, он был туповат, безжалостен, проницателен и мстителен. От Муханова — зубным эликсиром и аммиаком. Он легко утомлялся, отличался малодушием и похотными мечтами и удивлял неизвестно когда приобретенными знаниями по энтомологии. За них-то его и привезли из Москвы и поставили техническим руководителем всего противосаранчового дела в республике. От председателя Саранчовой организации несло запахом свежей типографской краски. Если с ним долго говорить, на языке оставался вкус сливочного масла. Его звали Александр Филиппович Величко, подчиненные за глаза именовали его Александром Македонским. Он сам про себя сообщал, что только на полтора вершка ниже Петра Великого. Его белокурой бородкой и выдающимся ростом любовался весь город, из встречных молодых армянок — каждая третья вожделела. (Этим он тоже хвастнул перед Евгенией Валериановной, женой Муханова.) Тер-Погосов заметил в нем необыкновенную любовь к благообразию служебного уклада, и совместными усилиями Величко и Муханова пленумы Саранчовой организации приобрели особую значительность, походили на заседания правительства. У Веремиенко звенело в ушах от блестящих ложечек в чайных стаканах, от тихого шелеста бумаг, от красного сукна, мягких чувяков курьера, от пятиминутных выступлений по докладу, сделанному Мухановым. Он задыхался и потел, только что оборвали его реплику, в которой он попытался отдельно поторопить отправку химприпасов, хлеба, фуража и аппаратуры в Карасунский район.

— Позвольте, товарищ, это частный вопрос,— сказал председатель, не повысив тона и в нос.

— Я дам ответ в заключительном слове,— поддержал Муханов.

Это уже было прямым предательством и вызовом не Онуфрию Ипатычу, которого он считал сообщником, а обстоятельствам, ропоту мест, который пробивался в письме

Крейслера. Ученый энтомолог давеча побледнел, читая его, закусил нижнюю губу фасетками вставных зубов. А вот теперь, чуть отступив от стола, он, часто запинаясь и мыча, картавым деланным фальцетом отводил упреки возражавших. У каждого из заседавших возникало впечатление о твердости, равномерности работы, медлительность возмещалась четкостью, и только один из них, худой и зловеще кашлявший юноша, представитель незначительного хлебозаготовительного учреждения, скалил насмешливые и злые клыки. Муханов закончил непререкаемым утверждением, что противосаранчовая экспедиция через три дня двинется морем в угрожаемые местности. Председатель объявил заседание закрытым. Загремели стульями. Чахоточный юноша подбежал к Онуфрию Ипатычу.

— С удивительным удовольствием я выкатываюсь из этого миллионерского особняка! Вы здорово было начали. Раз местный представитель, нужно было крепче крыть этих заседателей, а вы что-то замямлили...

Веремиенко мучительно покраснел, почувствовал, что некуда девать глаза, и ничего не нашелся ответить. Собеседник презрительно усмехнулся. Муханов позвал Онуфрия Ипатыча.

— Сейчас мы ликвидируем историю с Крейслером. Я почти уломал Тер-Погосова. Он ведь приготовил приказ о снятии его с работы.

— Хорошо сделал, что сдался,— я бы пошел на все.

— Ого вы какой! Что ж, может быть, это и лучше. В трудный час не выдадите.

Муханов пожал плечами и отвернулся. Мимо, благосклонно раскланиваясь, шествовал Величко.

— Очень, очень рад,— бормотал он,— я доложу Совнаркому. В республиканском масштабе мы сделали все. Наши достижения могут быть образцом для всей Федерации.

Сутулясь, покусывая губы, желтый от раздражения,— с некоторых пор у него стали дрожать белки,— подошел Тер-Погосов.

— Болван! Доложит Совнаркому! Сам висит на ниточке. Его не сняли только потому, что я от лица спецов заявил: уход Величко сорвет работу. Сейчас важнее всего не теребить нас, спокойствие, выдержка.

Рукав у него был замазан мелом. Веремиенко стало не

по себе. Тер-Погосов всегда так тщательно чистился, причесывался, сверкал ботинками.

— Вот и Крейслера нужно оставить на месте.

Тер-Погосов вскинул брови, широко открыл несвежие, как будто закопченные белки, грубо огрызнулся:

— Ты думаешь! Смотри, этот немец выйдет нам боком. Якши, делаю вам с Анатолием уступку. Да мне сейчас не до этого рыжего бугая. Едем на склад, Анатолий, у меня машина. В самом деле надо торопиться.

— А я в мастерские,— зачем-то сообщил Веремиенко.

— Хорошо. Скажи Гуриевскому, чтобы гнал. Пусть завтра же сдает все готовые сжигатели. Взял моду задерживать да орать до хрипоты.

Город слепнул от света, город готов был расползтись от зноя, начиная с тротуаров, с размягченного асфальта. Тяжелый воздух, словно накоптила огромная лампа, лип ко рту, к носу, как будто не пробиваясь в легкие. Веремиенко взял фаэтон и около часа качался на тошнотворных рессорах, подымаясь в гору. Он одолевал подъем с каждым поворотом, и уже давно показалось поверх домов море, вплотную подступившее к частоколу нефтяных вышек на грязных песках промыслов. И вышки, и пески, и даже грузный дым, и нижние кварталы города удалялись от Веремиенко и опускались, а море возвышалось и росло, завоевывая у горизонта новые пяди белого неба, и готовилось залить берег, чтобы зеленоватой массой подступить к самым глазам растроганного Онуфрия Ипатыча. Оттуда иногда настигала свежесть, он жадно ловил ее прокуренным дыханием, надеясь обмануть сосущую тоску по опохмелению. Туземные предместья, где он ехал, строились как аулы: узкие улицы, террасы, глинобитные стены. Древняя жизнь Востока, вытесненная на эти косогоры, курилась многообразными, душными, нездоровыми испарениями. «Я люблю эту воньцу»,— говаривал Гуриевский. Гуриевский считался владельцем мастерской, где изготовлялись аппараты-сжигатели, недавно усовершенствованные, вернее, упрощенные для выделки Мухановым. Во всяком случае, Гуриевский был фактическим директором предприятия. У него в конторе совершались все секретные сделки и происходили самые потаенные совещания. Астраханский еврей, он больше походил на краснощекого калмыка, с широким плоским лицом, ражий как грузчик. Лет пятнадцать назад, потеряв в драке глаз, он,

когда его стыдили, отводил здоровый и хитрый в сторону, искусственным же вяло упирался в обличителя. С той же потери превратился в задиру, сквернослова, болтуна. О самых темных делах разглагольствовал во всеуслышание, веря в неизменно благоприятную судьбу, от которой,— полагал он,— откупился несчастием в юности. «А, хозяева пришли! — кричал он, когда к нему наведывались Тер-Погосов и Муханов.— Красные купцы! Ну, когда сядем в Чеку?» На него шикали, он наглел. Тер-Погосов матерно ругался. Рабочих Гуриевский спаивал, считал верными друзьями. Водил подозрительных девочек, широко предлагал приятелям. Сторож Степан, услужливый, как банщик, сладко вздыхающий старикашка, зудел: «Все пьяны,— чисто немецкие солдаты на окопы прут, как в газетках сообщалось. Или чисто пасха...»

Мастерская помещалась в большом, плохо приспособленном сарае,— там когда-то был Нобелевский гараж,— окруженный стеной из дикого камня. Веремиенко прошел в двухкомнатный флигелек у самых ворот с надписью: «Контора». Гуриевский пил красное вино с поставщиками-персами в длинных сюртуках, в манишках без воротничков и в черных шапочках.

— А, Ипатыч! Ну, брат, считай убытки! Сейчас приезжала Муханова за деньгами. Прощальный вечер, говорит, хочет всех удивить. Я дал, но сказал: «Сорить деньгами нечего. Помните, дело общее». Она сказала, что все за счет Тер-Погосова. Вот жмот. За копейку душу вымотает, а вечером с тобой же пропьет на Абраше.

Веремиенко покосился на купцов.

— Ни хрена не понимают по-русски. Да и не из Коминтерна, свои.

Онуфрий Ипатыч выпил вина, повеселел. Ему уже не казалась вера Гуриевского в свою звезду бессмысленным и шумливым бахвальством.

— Должно быть, с похмелья, я нынче раскис чего-то.

Хотелось пожаловаться этому толстому, добродушному, себе на уме, крикуну, что устал от кутежей, что по ночам подбрасывают толчки тревоги, но поглядел в фарфоровый неподвижный глаз и только кашлянул. Персы встали, подали одинаково холодные, потные руки и удалились.

— Бухбиндер-то землю роет! Телеграфировал, что нашел, представь себе, парижскую зелень в нашем уездном

городе, как его... Обдурил упродкома, купил за бесценок. Это же чудо! Надо мужикам хоть для отвода глаз показать, что привезли какую-то отраву. Ну, зарвались и Муханов и армянин. Нельзя же пароход грузить бочками с песком.

Онуфрий Ипатыч порывался остановить его: могут зайти! — но сияла красная рожа, голая толстая шея безмятежно потела,— смешно в самом деле трусить! Подогреть бы эту уверенность, и Веремиенко попросил послать за коньяком.

— Коньяк ша! Нынче обедаем все вместе, деловой разговор. Ты мне нужен, у нас интерес один.— Гуриевский наклонился через стол, здоровый глаз вертелся с необыкновенной живостью и поблескивал злобой.— Напьешься, будешь мычать, а тут надо брать за горло, иначе получишь плешь. Нет уж, мычи на мухановской вечеринке. Остались дни и часы. Пора рассчитываться. Смотреть, как Тер-Погосов на туманах и на долларах играет нашими деньгами, ша! Хватит!

Он корчил кислую гримасу, румяные щеки зыбились складками, но бодро и сухо теплилось невозмутимое фарфоровое око. Распаляясь, он долго еще грозил, матерился, обещал не валять больше дурака, тараторил до сумерек. Окно, посерев, бросало на его лицо мертвенно-успокоительный, жидкий свет, и хотя все еще он продолжал бушевать, выражение глаз его как-то уравнивалось, они стали отличаться друг от друга только подвижностью. Он раза два уходил, Веремиенко усомнился — не менять ли горло, так свежо, так неутомимо звучал его голос.

— Отвечать первому мне. «Ты владелец мастерской?» — Я. «Счета Иванова подписывал?» — Подписывал.

Онуфрий Ипатыч внимал и не верил, что когда-то кто-нибудь будет допрашивать. Утренние тревоги Тер-Погосова и разговоры Гуриевского он считал торгом, где каждый набивал себе цену.

Уж пришла вторая смена. Мастер-армянин, битый час коверкая слова, скучно настаивал перед Гуриевским:

— Это так де́лить нелизя. Рабочие горло рвут. Так мы тольки товар портим. Это какое дело? Меди не покупаем, так жесть — олово заменит.

— Заткнись, Хачатурьянц. Что твои рабочие понимают. Вот мы сейчас спросим инженера. Онуфрий Ипатыч, как вы полагаете?

Веремиенко подмигивал и вполпьяна мычал, что аппараты свое давление выдержат. Хачатурьянц выпил вина, плюнул и ушел. На улицах, пробивая фиолетовую муть, вспыхнули огни. В распахнутые ворота виделся внизу берег моря, очерченный пунктиром портовых фонарей. Бесконечная выпуклая гладь, светло отделившаяся от темной земли, словно по проколу, снова взглянула на Онуфрия Ипатыча.

III

Тогда-то Тер-Погосов... В полуоткрытое окно было слышно, как Гуриевский переругивался, мешая языки, с Хачатурьянцем. Веремиенко несколько мгновений прислушивался к автомобильному шуму. Неистово рычала сирена, разгоняя ребятишек на узких мостовых, мотор трещал на первой скорости, откуда-то снизу два светлых меча прошлись по створкам ворот, и машина въехала во двор.

— Повернешь, поедем обратно,— приказал Тер-Погосов шоферу,— Федор Арнольдович! — крикнул он Гуриевскому, входя в контору.— Вино лакаете? — спросил брюзгливо.

Веремиенко не успел ответить. Ворвался Гуриевский.

— С опозданием к обеду-то!

— Какой тут обед, мы на минуту. Анатолий Борисович даже не вылез. Некогда, Федор Арнольдович, некогда, дорогой.

Гуриевский побагровел, как будто все красное вино, смешанное с бешенством,— чем он потчевал Онуфрия Ипатыча,— хлынуло теперь к щекам.

— Рассчитываться пора, Георгий Романович!

Тер-Погосов передернул плечами, его непромокаемое пальто зашуршало, как змеиная кожа.

— Что? Что за спешка? Рабочим платите, за материалы платите.

— Чем плачу! — Гуриевский как-то взвизгнул, сорвал, видно, голос на подготовке.— Чем плачу? — И с плачевной сиплотой ответил: — Своими кровными.

С этого мгновения Веремиенко понял: Тер-Погосова боятся все. До него не доберешься, он защищен, как корой, своими непроходимыми волосами. Гуриевский, мечась по комнате, походил на таракана в тазу,— вот-вот выберется, но стенки круты, скользки, и, сорвавшись, валится на дно.

Он тяжело сопел. Тер-Погосов, не садясь, следил за тараканьим исступлением,— непроницаем.

— Я кругом должен. Сколько доложил своих! Разорен. Вот и Онуфрий подтвердит,— при нем тут два персюка грозили мне горло перервать.

Здесь бы Онуфрию Ипатычу и вмешаться. Но вязкая тина облепила его: это было безразличье к участи крикуна, отвращение к его слабости, и Веремиенко молчал. Мгновения тишины густели, как сумерки. Тер-Погосов бегло повернулся к нему, прищурился, чуть-чуть наклонил голову. Покорная усмешка замкнула рот Онуфрия Ипатыча. Гуриевский заметил это.

— Подмахиваешь, тварь купленная,— прошипел он.

Он опирался на стол руками, как будто невидимая тяжесть придавила его.

— Бросьте бесноваться! — приказал, торжествуя, Тер-Погосов.— Петрушку играете, а тут все на острие ножа. Может быть, вам придется оправдываться тем, что я задерживал деньги,— все валите на меня!

Гуриевский побледнел, мешковато сползая на стул. Веремиенко никак не подозревал, чтобы этот мужчина так скоро сдал и пришибленно скулил:

— Что это значит, что за туман напускаете?..

— А то значит, что вокруг нас вьются и добираются. И я, только я, еще в силах спасти всех. Я нынче отвел удар от Величко. Вы думаете, это ничего не стоит, даром делают нужные люди... Не путайтесь в ногах. Ну, едем, Онуфрий Ипатыч,— коротко бросил он и вышел, уверенный, что Веремиенко последует.

Проходя под открытым окном, не заботясь, что Гуриевский слышит, балагурил:

— Евгения Валерьяновна за вами прямо скучает.

Муханов дремал или делал вид, что дремал, полулежа в каретке. Дверца открылась,— вздрогнул, улыбнулся Онуфрию Ипатычу (он всегда помнил, что улыбаться надо нежно), промолвил расслабленно:

— Заснул и видел во сне что-то тягостное. Как мило, что вы разбудили меня. По Фрейду, всякий сон похож на загадочную картинку с вопросом: где смерть?

Тер-Погосов крепко сел на зазвеневшую пружинами подушку.

— Зачем пессимизм! Надо о жизни заботиться.— И про-

изнес как будто для себя: — Всегда даже самого храброго еврея можно напугать. А тогда из него веревки вей.— И также для себя, уединенно и оскорбительно рассмеялся.

Это должно было обозначать, что Георгий Романович доверяет тем, кто имеет удовольствие сидеть с ним в карете «Бенца» и спускаться на подвывающих тормозах узкими вонючими улицами к главным кварталам города и покупать Абрау-Дюрсо.

IV

Худое, бритое, в складках лицо Муханова преследовало Веремиенко, как обожравшегося — воспоминание о пище. Куда ни отведешь взгляд,— всюду порочные морщины, бледность, спокойная неподвижность среди искаженных опьянением и возбуждением багровых ликов. Длинный, в полувоенном френче из грубого сукна, он чем-то напоминал пилу. Угощал витиевато и старомодно. После голодной, тесной Москвы, видно, никак не мог привыкнуть к квартире в три комнаты, к просторной столовой, к обилию вина. Он уже два раза успел сообщить своей соседке, розовой блондинке со слишком влажными губами, что его прадед был приятель Пушкина. Оба раза он вспомнил об этом, передавая кому-то пятифунтовую банку знаменитой астаринской икры.

Евгения Валериановна, рослая, очень плотная, темноволосая женщина в смуглом загаре, прельстила его круглотою, хорошим аппетитом и почти мужской физической силой. Она была под стать соседу справа, Величко, который благосклонно попивал белое вино, и слушатели внимали — разговаривал многозначительно.

— Перед истинным коммунистом, не по одному партбилету, развертываются сложнейшие личные проблемы. Я, например, задумываюсь, и задумываюсь до боли, как сочетать вежливость и тонкость с пролетарской простотой? И, сжигая корабли, оставлять ли эстетику?

— Оставлять, оставлять,— щебетнула Евгения Валерьяновна вовсе ей не свойственным тоном.— Любовь к красоте у революционера,— чудно!

Величко приосанился и выводил тенорком:

— Как это мне близко. Я тоскую на работе, которую

веду теперь. Земорганы — это такая проза. Я никого не обижаю, товарищи? Здесь агрономы...

— Пожалуйста,— скучливо проворчал Тер-Погосов.

— Я бы с удовольствием, конечно, пошел по издательству, по просвещению, на культработу какую-нибудь... Но для меня это мелко, партия не отпустит меня.

Евгения Валерьяновна попыталась ввернуть: «Вас так ценят...» Он поднял взор к потолку, не зная, на ком его остановить. Его всегда удивляла компания у Муханова: какие-то бесцветные молодые люди из бухгалтерии Саранчовой организации, из приемочно-оценочной комиссии, машинисточки,— спецы решительно опускались. Он даже не помнил фамилии этих своих подчиненных, по небрежности и неразборчивости хозяев ставших его собутыльниками. Он достал часы, взглянул, поднялся, пошатываясь.

— Товарищи, неотложные государственные дела призывают меня к работе. Зубы письменного стола держат меня непрерывно. Но, с другой стороны, я не имею права роптать. Я на гребне нового, я связал свою судьбу с революцией, и чем бы я был без нее? — спрашиваю себя. В лучшем случае был бы учителем. Впрочем, так и весь пролетариат, разбивший свои цепи... И вот от имени пролетариата, взирающего с надеждой на противосаранчовую экспедицию, организованную нами, я желаю вам, товарищи, успеха, победы, стройными колоннами вы идите и убейте опасность.

Он медленно сел. Все глаза следили за тем, как он опускался. Мгновенное замешательство,— надо кому-нибудь отвечать. Муханов под столом искал ногу Тер-Погосова. Евгения Валерьяновна подала голос, сквозь томность пробивалась тревога:

— Георгий Романович, прошу вас!

— В самом деле,— поддержал Муханов.— Георгий, тебе и карты в руки, ты адвокат.

— Позвольте, надо же выпить Абраши! — закричал Веремиенко.

Хозяйка поблагодарила его взглядом.

— Милый, вы молодец! Шампанское под краном на кухне.

Покуда он бегал, пускал пробки в потолок (блондинка повизгивала), разливал,— взглядами и шепотом успели уломать Тер-Погосова. Величко ничего не замечал. Оратор встал и поднял бокал.

— Александр Филиппович говорил коротко, директивно, дал военный приказ. Что мы должны ответить? Клянемся, исполним. Мы ответим, как Наполеону: «Старая гвардия умирает, но не сдается».

Веремиенко привык спасать положение.

— Ура! — закричал он.

Блондинка несмело поддержала его. Муханов кашлянул в тон, два незаметных молодых человека опоздали, скромно опустили глаза в тарелку.

— Я не бонапартист,— сухо заметил Величко и стал прощаться.

Хозяева вышли провожать. В комнате, как будто от сквозняка, посвежело, посветлело. Веремиенко выплеснул остатки шампанского, налил полстакана коньяку, выпил, предложил другим. В передней весело щебетали две самые миленькие машинисточки Саранчовой организации, Ната и Ася: «Да у вас даже не заперто, господа! — Осеклись: Вы уже уезжаете, Александр Филиппович? Ах, как жалко!» Гулко хлопнула дверь парадного.

Через четверть часа комнату шатало, несло в дыму кутежа, не выходившем в открытые окна, за которыми млел город. Комнату раздавало тяжко шлепающими взрывами веселья, стол походил на разбитый снарядами продуктовый склад. Молодые люди оказались мастера кричать: «Алла-верды к вам! Якши-ол!» Отдавало духаном. Тер-Погосов слал вслед Величко тягучие, жалящие слова:

— До чего они медленно учатся, даже удивительно. Неужели можно эту саманную кучу, поднятую вихрем, назначать на какой-нибудь пост! Видно же, что он из соломы. Он же протыкается палкой насквозь. Все гибнет, государство разваливается, промышленность, спасти ничего нельзя, себя надо вывозить, а он головой у потолка и, словно там другой воздух, несет хвастливую околесицу. Нет, придет хозяин и спросит: «Вот этим вы и служили?»

Веремиенко с пьяной ловкостью подпаивал дам, мешал портвейн с коньяком, те не жеманились. Едва поворачивая язык, Евгения Валерьяновна звала его, крича, что ей надоели все, что она жаждет такой же любви, какая произрастает только на берегах Карасуни. Веремиенко хохотал, посматривая на кусавшего губы Муханова. Анатолий Борисович обнаружил слежку и откровенно занялся блондинкой. Тер-Погосов вышел с Натой и одним из молодых людей

в спальню. Евгения Валерьяновна болтала не совсем понятные вещи о путанице полов, что она со всеми перехахалилась назло мужу. Распущенность эта, привезенная из Москвы, из нэповских бесчинств, спиртовым пламенем освещавщих лихорадочную остановку между только что покинутым Крымом и будущим Нарымом, жаргон расползающихся браков, страстишки, похоть, затемнившая существование,— все это перепугало Онуфрия Ипатыча до того, что он уверовал в Мухановых как в последнюю утонченность. Как далеки Бухбиндеровы попойки,— с пьяной отзывчивостью, со слезами,— никак не окрашивавшие жизнь, лишь прерывавшие ее на несколько часов. Бухбиндеровы опьянения проходили, оставляя ломоту в голове, их никто не мечтал повторить, они устраивались сами собой. Здесь же все делалось для бесстыдных вечеров, все подгонялось, чтобы свести блондинку с Мухановым, Асю — с Тер-Погосовым, по возможности помешать создать легкодоступную муку и победы, а самое главное — уничтожить всякое сходство с тем, что обычно случается днем, за стенами этих комнат.

— Ухаживайте за мной, Веремиенко! Учитесь, как другие это делают. И имейте в виду, муж мне не может изменить, а я могу.

Веремиенко чуть не через день уступал Анатолию Борисовичу номер для свиданий то с блондинкой, то с Асей, то с Натой. Но он удержался сообщить об этом: показалось бессмысленным и унизительным разоблачать заблуждения этих четырех с лишком пудов самодовольного женского мяса, и он неожиданно для себя провозгласил:

— Евгения Валерьяновна предлагает кататься на лодке.

Через несколько минут их мягко мотало в кожаных скорлупках фаэтонов. Город источал ароматы исступленной южной весны. Что-то болезненное веяло в этой смеси запахов цветов, асфальта, соли. Женщины смеялись счастливо, словно нашли самое важное,— то, что раньше ускользало от понимания.

Из переднего фаэтона выкрикивались бессвязные восклицания: «Эй, лёдка-чи!.. Якши!.. Бале!..» Споры: «Здесь прекрасные шлюпки! — Нет, там! — Я постоянно езжу с той пристани!»

Набережная всеми своими огнями бросалась в черное зеркало моря. Рейд был тих и бездыханен. Моторная лодка вступала в беззвучное царство тьмы и воды, оставляя позади

себя гулкий треск мотора, волоча за собой, как бесконечный шлейф, огни города. Пламя стеариновой свечи, колебавшееся на корме, сносило туда же, к пристани. Величественный покой укротил катающихся, одна из девушек все пыталась запеть: «По морям, морям...», никто не подтягивал. Сидели на просторных скамейках, как незнакомые. Евгения Валерьяновна взяла за руку Веремиенко.

— Вы очень не любите моего мужа?

Сорвала с головы шелковый кавказский шарф, бросила за борт.

— Стойте! — закричала мотористу.

Лодка поплыла тихо. Никто ничего не понимал. Белое пятно на воде, как сгусток пены, расплывалось, темнело, удаляясь.

— Внимание, граждане! — восклицала Евгения Валерьяновна, встав на скамейку.— Шарф чуть видно, мы отплыли саженей на пятьдесят. Онуфрий Ипатыч поплывет за ним, чтобы показать мужское благородство, силу, неиспорченность. Смотри, Анатолий!

Онуфрий Ипатыч как был, в сапогах, в парусиновых доспехах, тяжко рухнул в воду, пропал, словно в баклаге с дегтем. Девицы визжали. Лодка накренилась в ту сторону, куда только что прыгнул Веремиенко. Муханов спросил встревоженно-гневно:

— Да плавать-то он умеет?

Никто не отвечал. Никто не отвечал, минуты наполнялись непроглядным и, как казалось, совершенно беспомощным барахтаньем пловца, то удалявшегося, то приближавшегося.

— Бери, Мамед весла,— сухо приказал моторист помощнику,— а то накормим гражданином рыбу.

Лодка неуклюже поворачивалась. Молодые люди зажигали спички сразу по нескольку штук. Толстое пламя вспыхивало, слепило, деготь подступал к самым уключинам.

— Почему так низко сидим на воде? — хрипло спросил кто-то.

Спички, падая, шипели. Деготь подступал к горлу.

— Онуфрий Ипатыч! — в отчаянии неузнаваемым голосом завопил Муханов.

— Я здесь! — ответила черная вода баском Веремиенко.

Кто-то подавал руку, лодка качалась, кто-то отфыркивался, кто-то радостно сравнивал влезавшего с моржом,

морж отзывался, держа в высоко поднятой лапе мокрую тряпку: «Едва настиг, уже тонула». С него текло на белые платья дам. Муханов ничего этого не видал, не слышал, отдаваясь блаженной, одинокой радости: пронесло!

Всасывая силу от завертевшегося диска, захлопал мотор. Совершенно пьяный Веремиенко хвастался женщинам, что он-де на Каспии вырос, если захочет, так на себе вытащит из воды кого угодно. И, так бахвалясь, обнял за талию жену Муханова.

— Он здорово плавает! — сказал Тер-Погосов.— Это может пригодиться.

Глава пятая

I

— Крепка?

— Развалина.

— Эй, капитан! Вы хорошо знаете фарватер?

— Не раз ходил туда в мирное время. Тогда знал и море, и устье.

— А теперь?

— По старым картам, еще «Ропита».

— У вас нет никаких сомнений? С нами очень серьезный груз. Неужели не было баржи покрепче?

— Да что вы, товарищ Муханов, все каркаете! Словно из Америки приехали. У нас тут красные хозяйничали, Центрокаспий хозяйничал, мусаватисты хозяйничали, англичане воевали на наших кораблях,— так вы хотите иметь какие-то новинки прямо из доков! С четырнадцатого года суда не имели приличного ремонта, а вы все ладите свое.

— Онуфрий Ипатыч, вы посмотрели баржу? Как ваше мнение?

— Развалина. А капитан с нами разговаривать не хочет, ушел.

— Черт с ним! Сегодня же переговорю с Величко. Надо оградить себя от неожиданностей. У большевиков за все можно попасть... Я ученый-энтомолог, а при несчастье все равно могут спросить: «Почему вы на баржу не обратили внимания?»

— Анатолий Борисович, я, конечно, понимаю, что задержки избежать было нельзя, но если даже будем задерживать и перегружаться, нас за одну эту промашку под суд отдать мало.

— Вы мне письма Крейслера не цитируйте! Я их читал и все угрозы знаю из первоисточника. Вам пить вредно: забываете все на свете. Вчера вон какую глупость удрали! Вы бы потонули и нас всех на дно потянули.

— А я что же лажу? Пора сматываться поскорей, да без шума.

— Вот, вот. Пойдемте-ка с пристани. Мне все кажется, что даже простые амбалы и те осведомители Чеки. Наши разговоры давно утеряли прелесть легальности. Как все изменилось. Давно ли вы приехали к нам наивным хохлом?

Они вышли на площадь, окруженную складами, пакгаузами, кипевшую деловой суетой порта. Амбалы с коричневыми толстыми ногами легкой походкой таскали тяжелые мешки с рисом, покрикивали: «Хабардар!» — и устало скалили зубы. Солнце, не стеля теней, растапливало самые тайные соки живого и вещей: крепко и душно powанивало кожами, потом, рогожей, мочой, нефтью, солью.

— Да, втянулись вы в наше дело, запутались. А ведь как вольно пахнет трудом.

Веремиенко ухмыльнулся со злостью. Муханов продолжал, неестественно горячась:

— Какое это ужасное чувство — ощущать себя в подполье. Бр... Никогда не занялся бы политикой. Но жизнь, реальная, простая жизнь, быток, человеческая страсть, как это все над нами хозяйничает. Женщина, крикливая, жадная, похотливая,— нельзя верить ни одному слову,— возьмет тебя и поведет куда хочет, предаст за малейшую выгоду. Да какое там — выгоду, за тень наслаждения, за то, чтоб иметь возможность купить какую-нибудь тряпку. Изглумится, если увидит, что тебе это больно,— как, знаете, кошка, которая мучит мышь, чтобы скисшая от страха кровь была вкуснее.

На набережной, сплошь асфальтированной, грелись пыльные чахлые деревца из вечнозеленых. Широкий вид на гавань открывался отсюда. В ней было что-то жестяное: от неподвижности водной глади, залитой радужными разводами масел и нефти, от отражений немногочисленных пароходов, пришвартованных к пристаням,— раскраска судов каза-

лась резкой и тяжелой. Муханов предложил сесть и говорил безостановочно, не в состоянии пресечь рвущиеся признания. Веремиенко, слушая, отшатывался, как будто слишком наклонялся над темным, заросшим колодцем, который притягивает,— кружится голова.

— Она засосет, втянет в гнусность, при случае этим же попрекнет. Но вот она совершенно, как говорится, разлюбила, предварительно целые недели ругая, оплевывая, стирая малейшие следы, оставшиеся после тебя у нее на душе. Ну, кажется, хоть и не своей волей, а стал свободен. Новая мила хоть тем, что не так распоясывается, помягче, посдержанней. Так не тут-то было. Возможность насладиться и этим убогим удовольствием отнята: опять вмешивается природа, она вспоминает твою обиду, жжет оскорбленным самолюбием, и ты еще сильнее сквозь ленивые содрогания с другой начинаешь желать ту, от которой только что освободился. Старые прелести кажутся по-новому приманчивыми. Знакомая влажность, запах, телодвижения, все это становится снова необходимым. И идешь, как пес по следу... И снова слезами, мольбами, унижениями, которыми, в сущности, наслаждаешься, клеишь общую жизнь. Через некоторое время она разбивается, давая ложную уверенность, что вот именно это — «последний раз». Но ты как приводным ремнем навсегда втянут в верченье супружества, с тошнотой, с зеленью в лице видишь, как тебя унизили, сломили. А тут уж недалеко окунуться в подлость, в преступление, потому что «надо же жить! Не могу же я ходить голой! Не зарабатываешь, не женись!». В злобе на весь свет за свою слабохарактерность готов отыграться на чем попало...

Некоторые слова, в подражанье слышанному, он произносил с брезгливой кривизной в лице, с деланными жестами. Ему, видно, не сиделось.

— Знаете что, пойдемте в духан,— тут недалеко брат Тер-Погосова содержит. Бездарный брат гения.

В кабачке сыроватая темнота полуподвала смешивалась с тонкими, отдающими ребяческой пеленкой испарениями кислого молока, вина, душистых травок. Угрюмый, неразговорчивый духанщик цвета шепталы действительно походил на Георгия Романовича. Муханов едва с ним поздоровался, выпил вина и, по-прежнему отрывисто, не смягчаясь, коротким дыханием выбрасывал:

— После революции, после пайкового хлеба, женщины

как-то особенно возжелали всего этого. (Он показал на прилавок, где разлегалась белесая, в зеленых травянистых усах поросячья голова.) Изо дня в день хлебая в московских столовках суп из «карих глазок», мы думали, что поросенок — пища богов. Но при военном коммунизме было одно, что заставляло видеть мир по-другому и после чего новая экономическая политика всякому порядочному человеку должна казаться отвратной: это бесплатность, святая даровщина. Женщины плохо осваивались с этим принципом и теперь словно наверстывают потерянное. Никогда не было среди них такой глубокой продажности, корыстного расчета: на время, на ночь, ни одного лишнего раза,— платите.

Онуфрий Ипатыч стыдился взглянуть в лицо собеседнику. Мертвый гнет давил плечи. И хотя знал, что Муханов всегда осмотрителен с вином, все же перебил его тягостную исповедь напоминанием, что пить много не следует, и к уполномоченному надо, и расчеты кончать.

— В деле столько народа, что и запутаться можно. Тут одного обидишь, к стенке встанешь. Да и не согласен я с вами, со всей вашей философией. Не все они такие, как вы рассказываете. Есть и чистые, и преданные, и в беде не выдадут, и товарищи есть.

— Есть, да не про нашу честь. Вы не обижайтесь, Онуфрий Ипатыч, а вы наш человек, помятый, с гнильцой. В вас я вижу самый жалкий, самый смешной пример того самообмана, который приводит к наиболее пошлым и озлобляющим разочарованиям. Вы пошли на сумасброднейшее предприятие, чтобы завоевать «ее». А после того как она станет ваша, вы с ужасом увидите, что в чужих руках кусок кажется больше. Женщину уважаешь до того, как она изменяет предшественнику, уйдя с вами. Неизбежно начинаешь ревновать. А ревность... Ну, черт с ним, с духаном! Пошли. Только не говорите благоглупостей о любви. Они прямо накипают на ваших влюбленных устах. Вперед, в советский Техас, на борьбу с бичом трудового крестьянства!

— Если нынче Тер-Погосов обменяет советские на фунты, ведь я спасен! Все спасены. И ваши речи мимо. А там — Москва...

— Про Москву я тоже мог бы поговорить. Уж если драть, так драть за границу. Вещи и идеи приятно иметь в чистом виде. Решительно вы заражаете простосердечием. Мне уже доставляет удовольствие, что я являюсь к Крейсле-

ру как снег на голову. Гимназическому товарищу сюрприз, утешение прошлого в несчастьях настоящего. В те времена он был первый голубятник в городе, страшный драчун и классный футболист. Небось ничего не осталось?

— Да, мало. Хотя забияка такой же. Тер-Погосов от него едва ноги унес. Его здорово персидская передряга скрутила, да и Татьяна Александровна болеет...

— Ну, что ж вы замолчали, лирик? Да, сюрприз, сюрприз...

II

Пароход «Измаил Тагиев» мерно дошлепывал милю за милей одинокого скучного моря. Он все время слегка заваливался налево, откуда постоянное полосканье ветра нагоняло пологую тупую волну. Смотреть в открытое море,— светло-зеленая гладь чуть морщилась, в подвижных складках купалось разъяренное солнце, и можно было бы ослепнуть, если бы не так мягко дымилась голубоватая, емкая даль. Справа дрянное судно сопровождалось ровной желтой грядой берега, пустынной, наводившей мысли об изгнании, о голодовке. Суша тянулась, как нескончаемое сновидение. Онуфрий Ипатыч знал эти места с детства. Их песчаная безотрадность жгла теперь напоминанием о неудачах, о том, что вот он приближается к Карасуни, к заводу, к Тане, и приближается обманутый. Еще вчера он торжествовал, надеясь, что дележ совершится и он исполнит обещанное ей, но Тер-Погосов умело уклонился от разговора в суете отплытия. Нынче с утра прячется в каюте, что-то он теперь замышляет? Борьба с ним изнуряет, подымая со дна души такие отвратительные, жгучие яды, такие гнусные мысли о человеке! А между тем только этим зловонным оружием и можно сразить волосатого врага.

Пароход попыхивал, иногда, неизвестно почему, сипло оглашал палубу гудком, поворачивался. Нечистота и дряхлость судна, будничное спокойствие предвещали, казалось Онуфрию Ипатычу, поражение. Миновали маленький каменистый островок Малый Дуван. На берегу у мыса, торчавшего из песка, как полуистлевший бивень, раньше ютился рыбачий поселок. Веремиенко загадал,— если навстречу выйдет лодка, как это делалось всегда до революции, взять почту, посадить пассажиров, значит, желание исполнится.

Но пароход даже не загудел, от поселка не осталось и признаков,— видно, во время войны его сожгли. Так опустело все побережье. Стало скучно стоять на носу. Чем можно развлечься на безлюдном буксире? Перешел на корму. За кормой струилась и завивалась легкой пеной жидкая зеленая волна, отмечая путь. Тень от дыма бежала рядом, его относило к берегу. Длинный, туго натянутый канат, как бы вздыхая, волок большую неуклюжую баржу, она словно утюг стирала морщину, прорезанную пароходом, за ней смыкалась рябая водная пустыня. Черная баржа двигалась неуклонно, как укор совести, как статья закона — за преступлением, и Веремиенко посматривал на нее со смутным чувством опасения и дружелюбия. В единственной приличной пассажирской каюте сейчас валяются Муханов и Тер-Погосов, с напускной беззаботностью дымя папиросками. А и они видят тяжеловесное сооружение, ползущее за пароходом, груженное вместо ядов, выведенных в оправдательных документах и бухгалтерских книгах Саранчовой организации, бочками с песком, разным ломом и хламом — вместо технического оборудования. Покуда не развязались с этим, пусть Тер-Погосов не празднует. И Онуфрий Ипатыч попирал ногой массивные завитки каната, мощно и равномерно тершегося о дерево палубы.

Подошел капитан, приземистый большеголовый старик, часто привстававший на цыпочки и тогда бахвалившийся: послушать его, так он и «Лузитанией» командовал. Его нынче утром безжалостно срезал Тер-Погосов: старик поздоровался для шика по-английски, Георгий Романович загнул длинное матросское ругательство, гордость британского флота, капитан не понял, подвергся насмешкам и поджал по-бабьи губы. Теперь Веремиенко привлек его удрученным видом, и он шепеляво забормотал об апельсинном ветре из Энзели. По Онуфрию Ипатычу, ветер хоть бы и не благоухал, а скуку не разгонишь никакими апельсинами.

— Вот то-то я и говорю,— сглуху обрадовался капитан.— К вечеру будет сильнее, барометр падает. Не дай бог разведет волну. Ме дье ну гард! — и, довольный французским языком, отправился на мостик.

К закату в самом деле посвежело, пахнуло уже не Энзели, а Волжским устьем. Месяц поднялся за облака. Ужинали все вместе. Онуфрий Ипатыч выпил араки с капитаном и заявил задорно, что ему нужно побалакать с Георгием

Романовичем. Тот мутно поглядел и так лизнул пересохшие губы, словно готов был сорвать с них кожу. Плицы шлепали за переборками кают-компании, ночь перемалывалась скрежещущими машинами, у нее был тошнотворный вкус, пресекавший Тер-Погосову всякую возможность наслаждаться веселой стряпней судового кока: пароход начало поматывать килевой качкой, а Тер-Погосов был в сильной степени подвержен морской болезни.

— О чем мы с тобой будем разговаривать?

— У меня есть что спросить.

Тер-Погосов откинулся от стола, прижал салфетку к губам, позеленел, ему невмоготу было оставаться в каюте, полной запахами еды, он выбежал на палубу. Высокие рваные облака, предводимые бежавшими за пароходом звездами, темно плыли в небе, их земным отражением казалась большая, неясная баржа с печальным огоньком на носу. Тер-Погосов прислонился к борту, блуждающий свет из кают-компании колебался на его измученном лице. Он едва собрал силы выдавить:

— Ну, говори, если не терпится!

Веремиенко начал издалека,— трудно нападать на потерявшего самообладание человека,— он дал понять, что раскусил способ обмишуливанья (так мудрено и выразился: «Разделяй и властвуй»). Его, Онуфрия Ипатыча, постоянно старались поставить один на один с Георгием Романовичем.

— Только вы меня своей лавочкой не удивите, я на весь банк пойду.

— Раскудахтался,— вяло сказал Тер-Погосов.

Муханов вперился в неизмеримую мглу, в которой барахтался пароход. Муханов не проронил ни слова, зная, что это молчание — помощь Онуфрию Ипатычу, что молчать разумно, что пора накапливать союзников, иначе ему достанется последнее единоборство с Тер-Погосовым, который подминал людей, как кабан кукурузу.

— Да что там языком колотить! — закричал Веремиенко.— Бочки с песком везем...

Тер-Погосов пожал плечами, отвернулся. Незащищенная волосом белизна шеи вдруг открылась Онуфрию Ипатычу.

— Огласки боишься... Судно маленькое, в пассажирской каюте захрапят, на мостике слышно. Деньги!

— Тише, дьявол!

— Деньги, деньги на бочку!

— Сколько?

— Все мои три тысячи, как хочешь,— золотыми, долларами, фунтами.

— Бандит, еще валюты перебирает!

Странная перебранка, сражение издевками завязалось между ними. Это отдавало сумасшедшим домом. Муханов давно примечал в своих сообщниках мрачноватую рассеянность. Выцветали и блекли душевные оттенки, зато сгущались основные цвета. Муханов знал цену наслаждениям, и ни у одного из них не видел влажных счастливых глаз. Зато резче и жестче определились складки губ. Муханов давно наблюдал опасный признак: непроницаемую душевную уединенность, позволявшую забывать об окружающих обстоятельствах. Веремиенко и Тер-Погосов кричали друг на друга, не слыша голосов, не чувствуя оскорблений, квитались за все прошлое, за постоянную вражду, их злоба росла и теперь, но независимо от ругани. Они позабыли, где находились.

— Погодите,— тихо остановил Муханов,— надо еще избавиться от баржи.

Они сразу подчинились. Тер-Погосов побрел в сторону, из полосы света в темноту, и там его начала мучить морская болезнь.

— Ну, черт с тобой, мужик,— проговорил он ослабевшим голосом.— Получишь деньги, две с половиной тысячи. Баржевой старшина — сволочь... нельзя положиться... связался с ним...

Его побеждала плоть, переваливала через борт, выворачивала душу. Он стонал, кряхтел и между жалобами ругался, раскаиваясь, что поехал. Он не мог никому доверить ликвидировать баржу, а с нею все улики. Нет людей, не на кого опереться. Истощенный и потрясенный, он раскрывал карты. У Онуфрия Ипатыча закружилась голова. Зыбкий ход парохода, эта качка, губившая врага, его, Веремиенко, возносили, ему помогали. Он торжествовал.

— Еще пятьсот рублей! Я перейду на баржу, пущу на дно у самого устья. Там желтая вода. За горло возьму баржевого. Деньги сейчас!

— Да нет у меня таких денег!

— Займешь у Муханова, потом сочтетесь.

— Ну, с ним считаться...— проворчал Муханов.

Веремиенко рванулся к нему, схватил за руку, беспо-

мощно длинные пальцы слабо пошевелились,— и, теребя ее, потянул Муханова к корме.

— Слушай,— хрипел он в бешенстве, слюна забивала рот.— Смотри! — И он показал туда, где темнела в чуть светившейся воде, не отставая, подымаясь с горизонта, баржа.— Заору! Разбужу команду! Пусть вскроет любую бочку.

У Муханова остановилось сердце, обдало холодом из туманной бездны, откуда надвигался этот черный призрак, готовый раздавить. «Молчи, молчи»,— хотел он вымолвить и только странно откашлянулся. Веремиенко терзал его пальцы.

В ту же ночь Онуфрий Ипатыч получил от Тер-Погосова сто пятьдесят фунтов стерлингов и пятьсот долларов.

III

Часа полтора «Измаил Тагиев» стоял на якоре перед устьем реки и хрипло взывал о лоцманской помощи. Уже вечерело. Волнам предшествовали темно-багровые тени. Но и в смягченном свете вечера легко различалась желтизна пресной воды, наносимой мощной и мутной рекой в соленую зелень Каспия. Здесь образовались из речных наносов опасные отмели: при глубине в полторы-две сажени хорошая волна, разбежавшись с морского простора, почти обнажает дно, и горе судну, которому придется скакать по песчаным, тупым гребням. В замысловатую дельту вход сложен, изменчив, пароход взывал к лоцманской помощи.

Веремиенко перебрался на баржу. Сухое раздражение, напоминавшее волнения карточной игры, мучило его с прошлой ночи, томило, словно бессонница, и ничего так не хотелось, как опуститься в дремоту. Баржевой старшина Петряков, который держал в своих безмерных, тяжких лапах их спасенье, опасливо помалкивал, отворачивал безбровое носатое лицо и кривил тонкий, как бритвенная ранка, рот. Он словно сам боялся показывать несоответствия своего лица.

— Как вымерли все,— сказал Веремиенко, поглядывая на дальний плоский берег с признаками поселка, очевидно опустелого.— А ветер свежеет. Капитан дрейфит: в волну — с буксиром, да фарватер с капризами...

Три рукава реки уходили от моря в камышовые заросли. С баржи было видно, как бурлила вода у полускрытых камней при входе в средний рукав. На пароходе суетились,

верно решили: не ждать лоцмана и войти в устье до наступления темноты.

Давеча Веремиенко посмеивался, Тер-Погосов рвал и метал, кричал на капитана, отказываясь разрешить держаться с грузом в открытом море. Он быстро понял положение. Провожая Веремиенко, сказал тихо, побледнев, с прерывающимся дыханием: «Сажай на камни, и концы в воду».

Но, попав на баржу, Онуфрий Ипатыч вполне оценил, насколько его одурачили, поставив наблюдать за Петряковым. Прожженный плут глазел по сторонам, держался так, словно ничего особенного и не предполагалось. Может быть, он действительно замышляет свое: благополучно провести баржу, а там и предать всех. С чем приступиться к человеку, который несет такое:

— Все развалилось к чертовой матери. Вот теперь и собирай. Я в девятнадцатом году в Астрахани в Особом отделе флота служил. Клуб у нас открывали, в здании биржи. Артистов, певцов пригласили из бывших императорских театров. Выкатился какой-то очень знаменитый певец во фраке, становится перед роялем, а у меня приятель был Саша Овсянников, малый боевой, как крикнет на весь зал: «Яблочко!» Песня матросская, любимая. Братва присоединяется. А, видим, певец не знает. Саша надрывается: «Яблочко!» — весь зал ногами топает: «Яблочко!» Певец публику останавливает. «Извиняюсь,— говорит,— «Яблочко» я не знаю, а могу спеть «Рябину», русскую песню». Саша ему: «Ладно, пой, хрен с тобой!» А в зале шумят, шаркают. Подсолнухи, конечно, и дынные семечки. Саша встает и громко говорит: «Голос вполне паршивый, хоть и императорский певец. Пойдем, Петряков».

Петряков засмеялся отрывистым барабанным хохотком.

— Сашу в то же лето расстреляли.— Он продолжал улыбаться.— Да и меня с той службы поперли. Что там говорить, насилу ноги унес.

Он взглянул на Онуфрия Ипатыча, сморщился, как будто готовый чихнуть,— он все еще веселился. Парень, видно, привык хитрить и наслаждался растерянностью посланного к нему соглядатая. Веремиенко вспомнил о кислой крови мыши, которой забавляется кошка.

— А очень много я мог разрушенья в жизни сделать. Только теперь я у ученого человека в руках, у того самого,

который вас сюда послал. Напрасно сомневаются, я ему уважу.

Он встал к рулевому колесу. Пароход неистово гудел и бурлил воду. Канат натягивался. Команда баржи, четверо заморенных татар в лохмотьях, сбилась на палубе, встревоженно переговариваясь. Петряков крикнул им по-тюркски, чтобы они берегли штаны, они засмеялись, видно доверяли.

— Господи благослови,— тихо сказал баржевой.

Веремиенко встал в сторонку. «Посадит или нет? Посадит или нет?» — гадал он.

— Зажги огня! — крикнул Петряков, хотя солнце еще не село, крохотная доля ярко-красного диска еще дрожала на волнах и, как розовый пух, висели лучи.

«Посадит!» — решил Онуфрий Ипатыч. Через несколько минут пароход вошел в загадочные желтые воды. И Веремиенко мог бы поклясться, что видел, как Петряков закусил губу, наводя баржу на камень. Веремиенко слышал легкий толчок и, может быть, короткое скрежетанье, но выдержал время и не первый закричал, что произошло несчастье. Закричал татарин рулевой. Вся команда подхватила вопль. Они бестолково бегали по палубе, Петряков нарочно увеличивал суету, бросив руль. Веремиенко не испугался, но почувствовал, как липкое утомление сгустило всю кровь. И желание утонуть, умереть охватило, как тоска по сну.

Глава шестая

I

С последних чисел апреля Карасунский район начал готовиться к борьбе с саранчой. Крейслер и Эффендиев объехали наиболее крупные селения района, Крейслер обычно делал доклад, опрашивал жителей о прошлых нашествиях, выбирал наиболее опытных, толковых крестьян, инструктировал их в самых основах защиты полей от возможного нашествия. Ядов не было, борьба предполагалась механическая: канавами, сжиганием, волокушами. Во всех книжках, которые читал Крейслер, способы эти были отвергнуты, как дорогие и мало достигающие цели, рекомендовались яды, опрыскиванья, приманки. А их-то и не слали

из Саранчовой организации. Эффендиев действовал по административной линии, он лично делал каждому председателю сельсовета особое внушение о серьезной опасности, о необходимости бороться всеми мерами. В тюркских аулах он, кроме того, переводил речи Крейслера. И всюду, где они проезжали, оставались встревоженные лица, гудели голоса им вслед. Против фронта зараженных тростников обучались отряды защиты. Крейслер понимал, что огромная малонаселенная округа с несколькими речками, озерами, болотами, пустошами почти совершенно не обследована, требовались для этого сотни разведчиков, а их было всего семеро. Поступали все новые сведения о местах, где находились кубышки. Высокая вода в Карасуни и поздняя весна задержали отрожденье личинок, это давало, казалось бы, отсрочку, но зато затягивало борьбу и таило возможность появления неожиданных масс новых личинок. Подготовка развертывалась. Эффендиев все чаще бывал у Крейслеров, ночевал. Они сблизились, и даже Таня, туго сходившаяся с людьми, привыкла к председателю рика. Эффендиев позаботился об охране завода и прислал двух милиционеров.

Однажды он приехал из Асад-Абада. Из шарабана за ним вылез хилый человечек в мешковатой, добротной чесуче, с карманами пиджака, оттянутыми книжками, пачками газет, с огромным портфелем, тоже сверх меры набитым бумагой. Человечек, помаргивая розовыми глазами, безуспешно стирал бисер пота с бледного личика, с Крейслером поздоровался озабоченно и высокомерно, как будто его отрывали от важного дела этим обрядом знакомства. Эффендиев представил товарища Чихотина как специалиста по истреблению саранчи.

— У меня новые идеи, имейте в виду,— сказал приезжий, отворачиваясь, и зажмурился, словно боялся увидеть непочтительность в собеседнике.— Вы читали мою статью в «Закавказском пролетарии»? Нет? Жаль. Вот!

Он тут же у шарабана вытащил из портфеля пачку авторских номеров.

— Прочтите. Она была еще в прошлом году напечатана по поводу лётной саранчи. Тогда только проникли сведения в печать...

Крейслер горячо ответил, что у него гора с плеч свалится, если товарищ Чихотин, труды которого он, к стыду своему, не знает, окажет помощь. Эффендиев улыбался, доволь-

ный спорым началом. И сразу же потребовал, чтобы не позже чем через два дня Крейслер созвал совещание всех местных руководителей борьбы, инструкторов, разведчиков, сельских председателей, персонал завода. Он любил заседания, сидел и слушал до тех пор, пока не уяснял вопрос, и тогда начинал действовать. Крейслер находил, что это — дорогой и медленный способ учиться, но другого придумать не мог. А Эффендиев с тех пор, как стал ездить к нему, здраво рассуждал о кубышках, о гнездилищах, о разведке, и не только рассуждал, но и разбирал карты местностей с точно отмеченными залежами, изучал подъездные пути, колодцы, заботился о продовольствии, о бочках для воды, искал катки, он применял военные навыки.

Крейслер пригласил гостей завтракать, но специалист потребовал уединения. Пришлось отвезти его в контору, где складывали нехитрый и бедный инвентарь разведок: компасы, гербарные сетки с образцами растений, палатки, переметные сумки, фляги, войлок. Михаил Михайлович принялся было с гордостью показывать образцы кубышек, разведочные ведомости, но Чихотин, бегло взглянув на заваленный стол, спросил:

— Как вы думаете, я не продешевил, назначив за истребление саранчи пятьсот рублей золотом! Мне, разумеется, как изобретателю. Я не бескорыстный маньяк, идеи стоят денег. Мы машины, дорогие машины для выработки мысли.

Розовые глаза его мелькали в странном дрожании, может быть, в тревоге, но голос тек ровно. Крейслер ответил, что не может помочь решить вопроса о плате, это не его дело. Чихотин наставительно говорил:

— Немедленно же прочтите статью, это займет у вас несколько минут, она отчеркнута красным карандашом. Она обогатит вас. Все большое — просто и коротко. Она проста и коротка. Нужно бросить старый хлам, эти кубышки и их изучение. Одна идея способна перевернуть всю эту ученую рутину и двинуть вперед человечество. Не надо бояться свежего воздуха. Ведь здесь есть река, озеро?

Крейслеру все это переставало нравиться, и он ответил так, чтобы специалист обиделся:

— Азиатская саранча, Locusta migratoria, гнездится, как известно, преимущественно и главным образом в тростниках и в растительности около больших водоемов.

Чихотин обрадовался, пробежался, потирая руки, по комнате и сел за стол.

— Вот видите, как хорошо. Значит, река есть. Это входило в мои планы. Оставьте меня одного, идите читать статью. Прочитав, подумайте. Я буду размышлять. Пришлите поесть.

Эффендиев пил чай с Таней, деловито беседуя о семье и браке. Он не терпел пустых разговоров: агронома расспрашивал о земледелии, врача о санитарии, с коммунистом говорил о партработе, от Тани он надеялся получить своеобразное освещение вопросов пола. Так всегда он,— или учился, или учил, или отдавал распоряжения.

— Найти новую семью нелегко. Гораздо легче разрушить старую,— говорила Таня.— Как вы сами живете с женой?

Таня знала, что он женат на тридцатипятилетней фельдшерице станции Асад-Абад, и, по рассказам Михаила Михайловича, давно составила представление о ней. В тридцать пять лет они все, как одна, эти фельдшерицы, малокровные и трудолюбивые, Таня проработала с ними на фронте несколько лет.

— Она у меня самостоятельная, старая, все сама. Одна живет, зарабатывает. Я редко у нее бываю, некогда. Она понимает, не сердится.

Таня перебила его, раздражаясь:

— Жену вы свою не любите или почти не любите. Она вас или мало любит, или очень горда. Но это не брак и не семейная жизнь. Я бы так не могла. Для меня любовь и брак — безграничное владение друг другом.

Эффендиев промолчал, как будто не расслышал.

Крейслер с трудом нашел напечатанную мелким шрифтом на четвертой странице заметку, старательно обведенную красной чертой. «Неиспробованная мера» называлась она. Автор предлагал протянуть длинную проволоку с горящими тряпками по полю, на котором сидит крылатая саранча, и наступать на нее. Саранча, испугавшись огня, должна подыматься и улетать. Крейслер прочитал эту заметку два-три раза, подумал, еще раз прочитал. Поискал объяснений, не нашел. На второй странице был напечатан фельетон знаменитого туркестанского энтомолога С., который доказывал, что борьба с лётной саранчой дело безнадежное и все силы надо сосредоточить на истребле-

нии пешей — личинок, ликвидируя постоянные гнездилища.

— Твой Чихотин,— сказал Крейслер все время молчавшему Эффендиеву,— или шарлатан, или сумасшедший. То, что он пишет тут,— бред.

— Ты слишком скор осуждать и порочить.— Эффендиев даже закусил губу.— Зря печатать всякое вранье не будут в наших коммунистических газетах. Надо послушать, что он скажет. Вы, интеллигенты, любите замыкаться в своем высокомерии, идей боитесь, свежего воздуха. А он, самоучка, пролетарий, который выдвинулся, кипит.

Он расстроился. Попросил верховую лошадь, предложил немедленно поехать в тростники. По дороге попрекнул с сердцем:

— Работа у тебя стоит.

Крейслер обиделся в свою очередь. Личинки могли начать отрождаться только в непроходимых чащах. У него нет возможности пробиться туда, нет средств, людей, ядов, можно только отстаивать культурные земли.

Весь день Крейслер, Эффендиев и разведчик Чепурнов, рабочий с завода, молоканин, карлик, похожий на жокея, ездили по берегам Карасуни. Десятиаршинные тростники шумели, как заросли бамбука, буйные и непроходимые, они частым лесом населили пески, выбивались прямо из воды, мощные и первобытные. Их гущина пугала. Их корни образовывали кочки по брюхо лошади. До реки было трудно добраться из-за топей. Там, где редели тростники, густо плодилась осока с темными метелками неприветливого своего цветения и куга с бархатными банниками.

Чепурнов показал им первые отрождения на высоком, сухом, песчаном бугре, к которому пришлось пробираться в страшной глуши. Крейслер бросился наблюдать. Начиненная яйцами почва порождала личинок. Маленькие, длиной с овсяное зерно, цвета старой слоновой кости, они выползали на песок и вскоре чернели, природа заботилась о них: личинки, облепившие осоку и питавшиеся ею, не отличались по цвету от метелок. Белое солнце любовно грело белую воду, белый песок, тростники, осоку, личинок, слепней, вившихся над лошадьми. Крейслер смерил температуру песка, потом на высоте аршина от земли, посмотрел на часы, записал. Эффендиев любовался им, Чепурнов сказал, таинственно щурясь:

— Я вам один островок покажу, никогда его водой не заливает. Там что делается!

Они проехали вброд. Крейслер закричал. Все пространство острова представляло черную живую кашу, осоки не было видно, она была сплошь покрыта, примята, прибита к земле насекомыми. Лошади опасливо ступали в сплошной живой массе, доходившей им иногда до колен. «А-а!» — кричал Крейслер, и двое других поддержали его. С этим воплем отвращения и опасения, бессмысленным и понятным, они проехали поперек острова и там увидали, как личинки переправлялись на другой берег. Карасунь по узкому месту текла довольно быстро, сносило течением миллионы личинок, но живой мост лежал до самого противоположного берега, от него отхватывались и уплывали целые острова,— саранча не останавливалась. Она шла по нижнему плывущему слою, как по понтону, как по суше.

— Вот так же она и на нас попрет,— сказал Чепурнов.— Дичает наш край, множатся тростники, а в них и она начинает вольно плодиться.

Крейслер рассматривал личинок, искал паразитов на них, собрал в мешочек, ругался, что нет микроскопа.

Они возвращались потрясенные, усталые, голодные. Чепурнов уехал далеко вперед. По зеленому небу растекся закат. По берегу задымились костры, дым, как башни, подымался к небу в безветренном воздухе. Это беженцы с Поволжья расселились по берегу Карасуни. Выехав на шоссе, всадники встретили целую толпу их. Они искали работы и спрашивали про саранчу. Эффендиев сказал, чтобы приходили на завод. Крейслер досадливо отмахнулся. Они побрели дальше, пыльные, взметая пыль, с проступающими из лохмотьев костями. Эффендиев посмотрел им вслед, лицо у него покривилось.

— Отмахиваешься, беспокоют? Вот ты вырос в довольстве, на папашиных хлебах. А я корки из помоек и кости добывал, обгладывал. Да, я, я — Эффендиев. А ведь я и тогда человеком был, своего будущего ждал и хотел. Знаешь, какая злоба растет: только помани, от такой жизни куда хочешь кинешься. Я бы в разбойники ушел, в бандиты, а мне показали свет,— коммунизм. И теперь мне другого не надо, над другим думать некогда,— я весь в одной мысли. И тот, кто мне помогает,— друг, а тот, кто мешает,— враг. Я уж не сдам, не сверну и вверх полезу, сверху

виднее, как жизнь строится. А я видеть и строить хочу.

Крейслер рассмеялся.

— Честолюбив ты очень, быть тебе наркомом.

— Ты не шути, я не люблю. И буду! Чему завидую у тебя,— здоровью твоему: книжки читать умеешь, сидеть за столом умеешь, ты немец,— упорный! Я на немцев нагляделся. А у меня от бумаг голова кружится.

— Что ты утром брякнул об интеллигенции? Свежего воздуха боимся? Нет, врешь, брат, мы книжки не зря читаем, и вы наши книжки читаете. В скороспелые идеи не верим. А этот Чихотин — сукин сын, я твердо убежден. Слыхал, что буржуазия хорошо интеллигенцию оплачивала, и решил, что весь секрет в рвачестве.

Эффендиев вдруг насторожился, даже коня попридержал.

— Что? Что такое? Я ему дал пятьдесят миллиардов авансом, без этого он и рта раскрыть не хотел. Но все-таки его надо послушать,— успокаивал он сам себя.

Эффендиев был скуповат. Крейслер подмигивал, похмыкивал, прыгал в седле. Он не взлюбил этого Чихотина — чванного самоучку, вытирающего очки.

На другой день состоялось заседание. Черные загорелые мужики густо навалили в тесное помещение конторы, принесли запах полей, навоза, крепкой еды. Чихотин говорил, закидывая голову назад, выпячивая чахлую грудку, не глядя на слушателей,— напоминал бесноватого.

— Моя идея, как все большое, проста. Великое бесспорно. Замечено, что саранча переплывает реки и большие водоемы. Я предлагаю поперек местной реки Карасуни поставить цепь из бочек с керосином. В каждой бочке просверлим маленькое отверстие. Керосин, выливаясь постепенно в воду, покроет реку тонким слоем. Достигнув этой полосы, саранча замажет себе дыхальца и погибнет.

Первым из уголка тонко захихикал Чепурнов,— остальные молчали, вникая,— вышел к столу, презрительно отстранил Чихотина.

— Сорок лет живу на свете, двадцать лет вожусь с этой саранчой, с кобылками разными, человек я не ученый, но опыт приобрел и видел много научных способов,— иные помогали, иные нет. Но никогда ничего похожего не видывал, не слыхивал. А вдруг она через реку-то не поплывет? — Он бросился на Чихотина, аж руки вскинул.— Вдруг не по-

плывет? Тогда что? А вдруг она на нашем берегу отродилась и незачем ей в реку плыть, в ваш керосин? Может, она прямо на нашу пшеницу метнется. Вы в ее капризах сидели? Да так и попрет. А может, керосин-то ее и травить вовсе не будет, не будет дыхальца забивать.

Он прервал речь, опять тонко, язвительно рассмеялся, трясясь всем своим ладным тельцем. Широко задвигались мужичьи бороды. Михаил Михайлович встал и подтвердил:

— Товарищ Чепурнов прав.

После заседания Эффендиев посадил в бричку Чихотина, замкнувшегося в обиженной брезгливости, поманил Крейслера в сторону:

— Отвезу его в Асад-Абад, там арестую.

Михаил Михайлович изумился:

— За что? Что он тебе дался, сумасшедший же.

— А черт с ним, пусть не отсвечивает. Саранча по всей Степи, не только в нашем районе. Переберется в другой уезд, будет головы морочить. Для его же пользы посажу, в другом месте за такие советы убьют самосудом. Я видел сам, как она по воде идет,— много тут керосин поможет! А так он отсюда пятки намажет до самой Москвы, когда я его выпущу.

Таня целый день супилась, сделала свои выводы:

— Наш край обречен. Нет культурных сил, руки не доходят до окраин. Ты совсем одинок. Под руку лезет какая-то мразь,— это же не случайно.

II

— Вот, товарищ Эффендиев,— рассеянно говорил Михаил Михайлович, осыпая обрывок газеты закорючками цифр,— вот, товарищ,— саранче, каждому насекомому нужно семьдесят два золотника, то есть три четверти фунта зеленого корма,— пропитание на всю жизнь. Так в этот год она истребит в нашем округе четыре с половиной миллиона пудов, то есть почти все тростники на русской стороне Карасуни, иначе говоря, лишит окрестных жителей и топлива, и строительного материала, которым пользуются при нашей бедности во всем районе. О посевах говорить и не приходится, если она на них двинется.

— Посевы надо отстаивать.

— Легко сказать! — голос Эффендиева прозвучал как

будто издалека. Крейслер поднял на него рыжий воспаленный взгляд. Таня посмотрела на них. Они были рядом как два угля: Крейслер, в веснушках, в диких оплеухах загара, в поросли красной бороды,— как бы догорал; лицо Эффендиева, в блеске желтой иранской кожи, в жесткой курчавости волос, казалось куском антрацита, только что зажегшегося в хорошо раззуженном поддувалами жерле заводской печи. Эффендиев никогда не записывал того, что сообщал Крейслер, и все прекрасно повторял в докладах. «Саранчу мы сгоним,— говорил он,— «а потом за настоящие дела примемся».

Весеннее солнце нагревало Степь, как щеку яблока. Почва, начиненная мириадами и мириадами яиц, выделяла свой клад в дебрях тростников. Эффендиев сам не так давно жил, как живут и множатся в этом неисследованном мире рыбы, дичь, звери. И он находил для описания бедствий, несомых саранчой, неожиданные слова. В шарабане или верхом на гнедом иноходце он переезжал из селения в селение и, когда ехал один, распевал сочиненную им песню: «Камыш зорок, как хоросанский жеребец. Он чуток, как джейран, как горный поток, он шумит при ночном ветре. Страшное множество плодится у его корней».

Он любил произносить речи. Чаще всего вспоминал, как, почти выпадая из гнезда балкона, зажигал кровь «революционной демократии» расстрелянный Алеша Джапаридзе. Эффендиев даже огорчался, что революционная демократия сдана в архив вместе с его ранней молодостью, Гумметом, борьбою за Кюрдамир под начальством левого эсера Петрова, одного из двадцати шести. Боевые крещения не забываются. Призывы к борьбе с саранчой, возбуждение добровольчества,— это напоминало суматоху восемнадцатого года, когда он, братаясь с армянами, бил наступавших мусульман.

И теперь наступили тяжелые дни. Крейслер приходил в отчаяние.

— Что же это делается? От Веремиенко, от Саранчовой организации ни слуху ни духу. Мы согнали людей, понанимали беженцев, зря кормим.

Пан Вильский вошел боком в дверь, прикрыл ее плотно, как заговорщик.

— Совершенно верно. Я сейчас отпустил вечернюю партию, совсем мало провизии остается. Разрешите сказать.

Он уселся, как усаживался в этой комнате вечерами,

под пульсирование знакомой динамо, полтора десятка лет, в позе, которая, казалось, была ему навязана невидимым футляром, и, поигрывая пугающе длинными пальцами, начал обычное:

— Вспоминаю, это было за Мейером, в тринадцатом году, на четвертом ро́ку моей службы в качестве помощника механика. Тогда тоже появилась страшная саранча. Господин Мейер был хотя и немец, но честный и порядочный человек (он безмятежно поглядел на Крейслера),— и надо сказать, тогда ведь все посевы страховались, однако он считал долгом бороться с саранчой и купил те аппараты «Вермореля». И я вспоминаю, что мы не нуждались в продуктах для рабочих. Если не было, мы их покупали в Черноречье у молокан, а потом подавали счета уездному агроному.

Трудно было понять, какой опыт вынес пан Вильский из нашествия тринадцатого года. Заметив недоумение, он с ужимками крайней доверительности закончил:

— Я только счел долгом сказать, как было за Мейером.

В открытое окно через сетку от москитов пробился заливистый лай тощей собаки Халхалки, ожесточенный, прерывистый, хриплый. Ее прервали руганью. Под осторожное отпрукиванье тяжело прошлепали копыта лошади. Таня вышла.

— А мне черт с ним, как было с Мейером,— без насмешки возразил Эффендиев, прислушиваясь.— Не хватит хлеба, завтра же отниму у кулаков. Пусть меня расстреливают. Надо от нее отбиваться. Не могу без дела сидеть, ждать, когда она меня жрать придет.

Он потому и был близок Крейслеру, что видел в саранче личное несчастье. Таня вернулась.

— Телеграмма. Привез нездешний, беженец, заблудился. Веремиенко? — спросила она.

Михаил Михайлович возился с бандеролью, руки дрожали, едва не порвал бумагу.

«Целая эк-спе-диция,— медленно разбирал он полустершийся карандаш,— срочно грузится пойдет морем точка Трюм парохода баржа полны инсектисидами с нами три грузовика аппаратура конная вьючная точка Все-все-мерно задерживайте движение саранчи Веремиенко».

— Дурак! — прошипел Крейслер, побагровев. Прилившая к голове кровь, казалось, шевельнула волосы. Он вы-

дохнул звук с такой силой, что затрепетал желтый абажур над лампой. Таня поняла, насколько муж отравлен волнением, затемнившим его ровную кровь.— Дурак! «Всемерно задерживайте»... Откуда у него слова такие! Что мы можем сделать в болотах? Мы не насекомые, чтобы скакать с кочки на кочку, не птицы. А она скачет, она сажень за саженью приближается, голодная, ненасытная, идет вразброд, черт ее знает куда повернет! Первобытные канавы, волокуши, трещотки,— нам только кажется, что мы ее задерживаем. Это первые отряды личинок. У нас нет средств содержать людей. Теперь самое время начинать борьбу ядами, она отродилась вся, даже в низменных местах... Не могу поверить, что он трезвый послал такую телеграмму.

— А пьян, так его расстрелять мало. Когда же они будут?

— Если завтра погрузятся,— через пять дней.

— Считай, неделю. На сколько у нас хватит хлеба, пан?

— Коли давать сполна, по полтора фунта,— на два дня, по три четверти — на четыре.

— Давать по полфунту. Послезавтра пятница, не работать вовсе.

Крейслер заметил, что эти меры раздражат голодных беженцев и расслабят трудовой подъем. И осекся. Злобный взгляд Эффендиева пепелил эту нерешительность и склонность искать несколько выходов, когда есть один, и лучший.

В комнату ввалились трое разведчиков во главе с Чепурновым. Председатель Чернореченского сельсовета, молоканин с толстой бородой-лопатой, протиснулся в дверь крадучись. Все они несли новые тревожные сообщения: саранча кое-где уже выступала из камышей на поля.

Совещаясь, они просидели до полночи, Эффендиев позеленел, едва разводил рот. Пан, сраженный, задремал на диване.

Почти бредя, последним усилием распадающихся членов помогая Тане стаскивать прилипший к ноге со скомканной портянкой сапог, Михаил Михайлович успел сказать:

— Говорят, кролики умирают, если им несколько суток не давать спать. У Эффендиева хватит упорства и ожесточения утомить самого себя до смерти.

— Да и ты такой же. Спи. Спи. Спи.

III

Кое-где по берегам Карасуни между Черноречьем и Новой Диканькой росли, чаще в одиночку, изредка купами, малолиственные, ветвистые, кривые деревья, которым никто из русских не знал имени. Очень крепкие,— мука для дровосека,— они считались ни к чему не годными. Около них редели тростники и сыздавна, еще со времен пионерских поселений духоборов, они служили первым жилищем. Люди селились в огромных гнездах, которые сплетали на вершинах, недосягаемых для зверей. Но никогда, конечно, этот зеленый город не был так полон обитателями, как в тот год нашествия саранчи. Полтора фунта хлебного пайка привлекали поволжских беженцев чуть ли не со всего Закавказья. С утра до ночи около каждого дерева, с подветренной стороны, дымились костры от комаров. Издали эти дымки казались прочнее деревьев, нанесенные на окрестность как картографические обозначения. «Чисто как птицы. Только что не летаем». И они смеялись, эти люди. Они существовали странным сообществом, безымянные, как деревья, сносясь с миром, с посторонними через выборных. Даже числа этих людей никто не ведал точно. Пан Вильский выдавал хлеб только на работавших, не спрашивая о женщинах, детях, больных. Чаще всего к нему на завод приходил во главе двух-трех молодых парней худой шишковатый старик, звавший себя Степаном Маракушевым. Грамотный и дотошный, он сварливо торговался из-за каждой четвертушки. Его всегда поддерживал молодой мужик в мешке и остатках домотканых штанов, с изъеденными, в расчесах от комаров ногами. Степана он звал папашей, но себе,— из озорства или от бездомной гордости,— расписываясь, присваивал новую фамилию: то Петров, то Ключников, то Лабашкин. Так и другие, сказываясь неграмотными, вдруг писали заявления, записки, видно, им к отчаянной жизни все хотелось прибавить загадочность, не то замести следы.

В тот день Крейслер сам присутствовал при раздаче пайка в темном кирпичном сарае с запахом прелой муки и мышей. Пан Вильский и двое заводских рабочих вешали хлеб, на каждой буханке ставили мелом цифру, беженцы делили сами. На этот раз делегатов пришло больше, с ними увязались долговязые изможденные ребятишки, все они мялись у дверей, беспокойно озираясь и принюхиваясь

к раздражающему хлебному духу. Старик суетливо бегал вокруг весов, приговаривая: «Нашей партии за два́ дни должны, за два́ дни. По три четверки должны,— два пуда семнадцать фунтов, да два пуда осьмнадцать с половиной». Михаил Михайлович слушал и все никак не мог собраться с силой сказать, что с завтрашнего дня будут выдавать по полфунту, а в пятницу — мусульманское воскресенье, на работу вовсе не выходить.

Маракушев оторопел, спросил как спросонья: «Чевой-то?» — потом внезапно закричал:

— Как же это так? Нешто это по закону по пролетарскому, сбавлять плату? Братцы, договорились ведь!

От крика Крейслер пожесточел, почувствовал твердую сухость в теле.

— Делать нечего, дед, это временно. У нас как военное положение.

— Да мы нешто временно выживем! Отощали.

Мужики враз засмеялись безнадежно и враждебно, вышли кучей из амбара посовещаться, старик потрусил за ними и там, у огромной трубы, висевшей через весь двор (по ней пневматически шел хлопок в очистку), загалдели. Мужики кричали, что это — «хуже быть не может, заставлять работать да не кормить!». Пятница перемежалась с матюками. По двору пробежали белоголовые ребята пана Вильского, в его окне зашевелилась занавеска, высунулось круглое лицо Марьи Ивановны. Крейслер покусывал губы, примешивая боль к соединению мучительной жалости и раздражения против бестолковых и надоедливых, но голодных и измученных оборванцев. Хлестнул чей-то выкрик: «Вон он, заведующий-то, наел рыло!» Он подскочил к дверям и с порога (голос у него со злобы оказался глухой и короткий) закричал в свою очередь:

— Вы там поменьше насчет моего рыла!

Те притихли сразу, отворачивались, урчали:

— Мы про себя. Тоже имеем право говорить!

— Ну, молчать! — самозабвенно завопил Крейслер, и сердце забилось у него где-то под левым углом челюсти.

Багровая мгла клубилась, застилала весь двор, весь мир. Неразрешимая натуга налила жилы и мускулы. Пальцы распухли, затяжелели. Еще одна волна этого томления, и он бросился бы на жалкого старика.

Озорник, сын Маракушева, прислонившись к стене, как

будто прятался от заката в тень, одиноко покуривал и глядел на Михаила Михайловича с брезгливым недоумением.

— Вася,— негромко позвал он.

Молодой мужик, безбровый и подслеповатый, проворно повернулся, сощурился, привычно ждал словно приказания.

— Ты нынче-к с женой чуть гнездо не провалил. Смотри-ка, она у тебя яйца нести будет!

Ляпнул Маракушев это ни к селу ни к городу, и сам не усмехнулся. Мужики растерянно примолкли. Но Вася так смешно зажмурился и съежился и так покорно ждал хохота, что все действительно захохотали, а насмешник, язвительно плюнув через губу, повел глазами на Крейслера. Тому же щекотал усами ухо всполошенный Вильский, нашептывая:

— Скажите что-нибудь, Михаил Михайлович. Ведь это же порох. Их одним словом можно повернуть куда угодно. От того не будет доброго, связались мы с ними.

Михаил Михайлович послушно, уже стыдясь давешнего приступа ненависти к жалким этим людям, сказал, что, много через три дня, приедет целая экспедиция с ядами, аппаратами, с продовольствием, что мобилизация населения пойдет бодрее и что он сможет выдать тогда все, что задолжал теперь, хоть хлебом, хоть — по расчету — сахаром. Детский свет пробежал по серым пыльным лицам с черными углами у губ и у глаз. Маракушев-старик подхихикнул и отозвался:

— За хлеб-то спасибо, а за сахарок-то втрое!

И все они, и мужики, и долговязые тонкокостные ребята неопределенного возраста, принялись нагружаться отвешенным хлебом, опять унылые, но уже безответные. Маракушев-младший взял оставшуюся буханку и сказал, глядя прямо перед собой, в открытую дверь, где в вечерних сумерках, за стеной и домами заводской усадьбы, зеленела растревоженная Степь:

— Мы-то маемся. Смотри, заведующий! Коли какая явная неправда будет, нас тут в вашей округе, беженцев, триста человек одних мужиков.

Они поплелись гуськом. Нетяжелый груз сгибал хилые спины. Крейслер вышел вслед за ними. Чуть похолодевший воздух кишел мошкарой, бодро вившейся над людьми, забиваясь в уши, в ноздри, в рот. Закат играл на проломе ворот, и в них, как будто из другой жизни, появился всадник на гнедом иноходце, сияя кубанкой и черкеской. Но бока

лошади чернели в поту, грива сбилась в беспорядке, и у Эффендиева был беспокойный взгляд.

— Новое дело! — сказал он тихо.— Получил сведения, что перегружаются наши центровики с парохода в вагоны. Да, говорят, не то груз подмочили, не то еще того хуже. Я запросил телеграфом.

Крейслер ответил:

— Зверею я. Самому противно.

IV

«Я действительно не знаю, как жить там, в городах, истощенных революцией. Таня права. Но я не чувствую вражды к тому, что там делается. Я везде не ко двору. Белогвардейские власти Энзели-Тегеранской дороги шпыняли меня как красного, здесь я бесцветен. В Евангелии ни холодным, ни горячим обещают геенну. Но ведь это же неправда! Я горячий, а не теплый! Но кажется, что меня заставляют работать на отработанном паре: я еще не успел понять, почему мне было плохо в Персии. Вот оно, тевтонское тяжкодумие!

Я знаю одно: вместе с войной кончилось и то распутство, в котором я участвовал с четырнадцатого года. Я едва не заглушил всего себя соучастием в убийствах, пьянством, развратом, картежной игрой. Я пошел на войну, в русский Земсоюз, потому что действительно не чувствовал себя немцем и хотел спасти отца от репрессий царского правительства. Но почел себя вправе вести молодецкий земгусарский образ жизни. Он меня ассимилировал в среде драгунских прапорщиков и казачьих хорунжих, куда я попал,— это стоило жизни моему отцу. Он умер потому, что не мог понять своим колонистским воображением, куда, в какую пропасть я спустил все, что мне дала семья: характер, волю к работе, спокойную выдержку, наконец, деньги. Я разорял не меньше, чем закрытие хлебных портов. И,— полувоин, русак, рубаха-парень,— с упорством идиота вживался в мертвую жизнь, в безделье и пошлость.

И какие потрясения, и личные и народные, понадобились, чтобы отрезвить меня».

Ну другом листке:

«Самым своим бытием во многом меня убеждает и многому учит Эффендиев. Он не глуп, но некультурен, просто малограмотен. И вместе с тем не делает глупостей, гнет правильно свою линию, так мало совершает ошибок, что его можно назвать безошибочным. Он — сила, как силой является и рука человека. Но он не сам по себе сила, он — орудие силы.

Кто же настоящая сила? Она есть. Я хотел бы быть на ее стороне. В самом деле, раз нет Деникина, его заменяет... Бухбиндер! Он хочет сделать себе новое богатство и готов вести настоящую войну (скрыто, конечно)...

А я его ненавижу. Куда же мне деваться?

Но у меня есть только отрицательные ответы на все. Немного можно вычитать в татарине-коммунисте!»

Листки были загадочны; не то дневник, не то письмо. Их довольно бестолковые вопрошания предполагали отвечающего. Таня не понимала откровенности с бумагой и обрадовалась, что вопли эти, случайно найденные в книге, оборвались. Ей приходилось слышать их, но в жидком разведении разговоров, которые вели они с мужем зимними вечерами. Обычно она смиряла себя:

— Сиди здесь ради него. Пусть он судит себя сам.

Ей казалось, что его не за что наказывать: и без того несправедливо сослали в захолустье его, дельного человека, способного в несколько месяцев одолеть целую библиотеку книг по одному вопросу, овладеть им вполне.

О, если бы уехать куда-нибудь! В Южную Африку... Там говорят по-немецки, там крепкий быт. Там не жарче, чем здесь, в Азербайджане. Буры. Буйволы. Копи царя Соломона. Огляделась. В комнате было скаредно и пыльно. От казенной мебели не пахло ни копями, ни даже бурским довольством. За окнами бедность Крейслеров прерывалась. Таня вышла.

Яркая, как взгляд в упор, ожесточенная действительность южного утра блеснула перед ней. С крыльца из-под шелкового шелеста платана, покрывшего весь их домик зеленым взмахом, наблюдала она,— впрочем, довольно безучастно,— сияние дворовой травки, уводящее глаза в прекрасную тополевую аллею. Ширококронные тополя выстроились вдоль заводского фасада. Тепло уже мощно висело

в воздухе, как обещание зноя. До Тани донесся кухонный чад и спросил голосом Степаниды:

— Чего нынче на обед-то заказывать станете на второе,— кебаб, что ли, или плов?

Распаренный лик вращался в окне.

— Делай что хочешь! Все равно ничего не придумаешь. Плов, что ли...

Лик скрылся. Кухонная темнота ворчала:

— Ну, скажи, совсем запускает хозяйство, на меня бросила. А я разве одна могу! Я и куплю нерасчетливо... я и украду... С саранчой этой совсем голову потеряли. И куда пошла? К заводу. Веселье какое, там ни души нет. Багирка! Сбегай, посмотри, куда она поперлась? В чем душа держится от лихорадки. Лежала бы лучше, каки таки прогулки.

Двухэтажное, широкоразбросанное, запущенное здание завода зияло разбитыми окнами на краснокирпичном теле. К мрачному корпусу примыкала стена, включавшая в свой круг дома с палисадниками, конюшню, сараи, амбары, бараки, все это своим расположением напоминало барскую усадьбу, все это разваливалось. Среди двора высилась водокачка, через весь двор висела труба пневматической передачи. Перед домиком Вильского играли дети. Среди черной россыпи южных головенок потомки механика,— белоголосая поросль славянского племени,— выделялись бледностью, васильковыми глазами, тонким станом, угловатостью движений. Ребята надрывались в страстном споре на тюркском языке,— игра была сложная и военная. Таня поманила старшего:

— Где мама, Сташек?

— На саранче. Туда все, и милиция ушла. На заводе никого, только мы, дети. Я даже пожара боюсь,— закончил он серьезно, повторяя чьи-то слова.

Таня улыбнулась, пошла к тополям, за которыми белел флигелек Веремиенко. В зеленом гроте оказалось тихо и влажно от распаренного древесного дыхания. Багир видел, как она опустилась на скамью, что-то шепча, и сторонкой, сторонкой убрался восвояси. Огненная тишина пылала кругом: белизной блеска на окаменевших листьях, глубокой желтизной песчаной дорожки, крыши и кирпич тлели, словно уголья. В топке знойного дня сгорели все звуки и движения, все скучно выпрямилось и уплощилось на смотру

у зноя. Худая, в клокастой шерсти собака, тощий приемыш жалости заводских детей, валялась в тени.

— Халхалка, Халхалка!

Собака не пошевельнулась.

Бывает, человека, уже истощенного болезнями, неудачами, одиночеством, вдруг хватит окончательное сознание ужаса совершающегося, хотя все, что совершается, не страшнее того, что пережито, подчас неизмеримо мельче, но... но оно настолько дополняет,— это мелкое, неприятное происшествие,— совокупность зол, что пораженный человек готов кричать на крик.

— Когда же, когда мы уедем отсюда! — простонала она во весь голос.

И весь мир, весь его блеск и сияние, смесь окрасок и температур,— сплылись и обвалились наискось, как-то в сторону, во всеобъемлющем наплыве слез.

Крейслер застал жену уже тогда, когда они лились спокойно, без всхлипываний. Подойдя сзади, он, однако, по опавшим узким плечам и по тому, как дрожали в ушах длинные из дешевых изумрудов серьги, увидал, в чем дело. Гримаса боли, вспыхнув со дна души, где мятутся заряды самых злых судорог, озарила все его дремучее, толстое лицо. Таня дико вскрикнула: «Кто это?» — и, обернувшись, улыбнулась жалким ртом.

Он держал в руках обыкновенное конское ведро, обычно наполняемое холодной колодезной водой, но теперь оно шипело каким-то загадочным шуршанием, было наполнено кишением множества живых существ. На чистую желтизну аллейки беспрерывно сыпались небольшие насекомые, похожие на кузнечиков, цвета черного пива и оливков. Они отблескивали хитиновыми частями, освещавшими борьбу оттенков бурой светотени, которой природа защищает эту отвратительно копошащуюся жизнь. Падавшие на землю маленькие насекомые резво скакали.

— Это личинки, Миша?

— Да. Поменьше второго, побольше третьего возраста.

Таня с трудом поймала хрупкое, рвущееся с неожиданной силой насекомое. Ощутила медный вкус тошноты от отвращения, что их так много, до того много, что можно для забавы таскать ведрами.

— Они тут, чего доброго, все объедят,— сказала наивно и смутилась.— Ну, нет, я знаю, что нет. Я же все твои

книжки прочитала.— И смущалась все больше, хваталась за концы разбегающихся ощущений.— Как они неприятны, юрки, и кажется, готовы есть песок, скамейку, меня...

— Это ты зря. Они достаточно прихотливы к пище. Цып-цып-цып! Цып-цып-цып! — пронзительным, все повышая до Степанидиных нот, призывом он скликал кур и лил, лил как грязь, сыпал как зерно саранчу.

Куча насекомых лежала, сдавленная собственной тяжестью, но стремительные дуги скачков, коротких, в несколько вершков, уже начинали разрежать скопление насекомых. Набежал петух, вспыхнул рыже, схватил что попало, оглушительно загорланил. Катились куры, припадая к земле, распушив хвосты, гикали, бросались на жирных насекомых, не приближаясь, однако, к почти не таявшей куче, которая их пугала.

— А там что делается! — Крейслер показал в сторону Карасуни.— Сотни людей, лошади, ямы, огонь, зной, ад кромешный. И все бессильно. Она прет. Она прет и уже близко подошла к полям. Не сворачивала, не уклонялась, как мы ее ни сбивали. Отдельную кулижку, конечно, можно повернуть куда угодно, но мы пытались гнать целую колонну. Куда там! Она вышла у излучины реки, где в прошлом году убили молоканина. Эта была передовая колонна, не из больших. Ее загоняли в воду, но она никого не послушалась и пошла по берегу. Мы и сами не заметили, как подвели ее к голове другой колонны, значительно большей. Они соединились, а мы со своими ямами, трещотками, воплями отступаем.

Он объяснил, откуда и куда идет саранча. Таня плохо знала течение Карасуни, усвоила только одно, что люди со всеми приспособлениями не властны побороть насекомых или просто уменьшить, частично обезвредить, отклонить прожорливое шествие.

— Где-то в городах думают,— человек победит, все победит, природу, смерть,— сказал он, раскрывая ее мысли.— А на поверку выходит — мы с личинками какими-то не можем сладить. Да и как выходить на борьбу,— все из рук валится, как вспомнишь расхлябанность, разгильдяйство там, в центре. У меня с войны остался нюх,— не победим мы, нельзя побеждать спустя рукава, как надеются там, в тылу.

Багир подвел оседланного Пахаря. Михаил Михайлович устало принял повод.

— Куда ты едешь?

— В Асад-Абад,— ответил он, дивясь своей забычивости.— Разве я тебе не сказал? Экспедиция-то наконец прибыла...

— Ну, слава богу! Почему ж ты едешь в Асад-Абад?

— Поезд не дошел до станции Карасунь. Как раз посередине перегона через полотно со вчерашнего вечера переправляется неожиданная саранча. К счастью, там дичь, нет возделанных полей. И поезд,— понимаешь, поезд,— не может взять препятствия. Он врезается в живое тесто, обдает паром, состав некоторое время движется по инерции, колеса скользят и буксуют в раздавленной жирной саранче. Так и не одолели, вернулись,— поезд может сойти с рельсов.

Михаил Михайлович произносил это порывисто и безразлично, делая рукой такое движение, словно снимал со лба неуловимый волосок. Таня невольно следила за этим тревожным движением. Муж привалился грудью к лошади, высокий, с широкими крыльями лопаток, к которым прилипла синяя выцветшая рубаха. Горел оплеухами солнца, укусами комаров, медью небритой бороды. Жесты тяжело отставали от речи.

— Тебе не жарко, Мишка? Смотри!

Опасливое ее замечание едва дошло. Встряхнувшись, он сказал безучастно:

— Как все из памяти вылетает. Самое ужасное чуть не забыл... Погибла баржа. Неизвестно как... Пошла ко дну при входе в устье. А на ней было три четверти всех ядов, керосина, бензина, аппаратуры.

Сел в седло, подобрал поводья.

— Миша, я боюсь, у тебя плохой вид. Останься, отдохни.

— Не могу, Танюша, не проси. Посмотрела бы ты, как работают Эффендиев, пан, Чепурнов, мужики, и наши, и тюрки, и симбирские за три четвертки хлеба! Не могу, не хочу от них отставать. И мне все кажется, что я брошу когда-нибудь кому-то в морду эту свою усталость и этот труд! Я вот беглый, но захотел вернуться и могу смотреть им прямо в глаза. Я исцелен от неуверенности, от опасений, от всей кислоты. Я уже не боюсь, когда, по привычке попугать, грозит наганом Эффендиев. Теперь мне противно

подумать, что еще не так давно у меня были бесчестные мысли и намерения: уклониться от всего, удрать, сидеть и не рыпаться в глуши.

Наклонился, поднял ее с земли, поцеловал. И уехал, оставив жене смятение и обиду, что один, без ее ведома и помощи меняет всю свою жизнь, весь строй мыслей. Она чувствовала боль и неудобство под мышками от резкого его объятия. Ей показалось, что она никогда терпеть не могла этой грубой силы, невнимания к ее слабости. Эта бесцеремонная замкнутость оскорбляла ее. Раньше, когда была жива дочь, хлопоты с маленьким живым человеком, завоевание его сердца и привязанности наполняли душу молодой женщины, ей было часто не до мужа. Но теперь она хотела остаться наедине с его любовью, единственным, что осталось. Неистовый птичий хор прервал ее огорчения, заставил оглянуться: куры, целая орда кур щипала растекавшуюся по песку саранчовую кучу.

Проходя мимо дома пана Вильского, Таня услыхала детский плач и крикливую ругань Марии Ивановны. Там происходила очередная расправа. Ругань пресеклась, осталось заглушенное хныканье, и сладкий голос окликнул Таню:

— Доброе здоровье, Татьяна Александровна. Смотрю я на вас,— чистая, непорочная, и каждый ваш шаг других осуждает. Вот, мол, она детей сечет. А они мне сколько лет покою не давали? Чуть что, нате, лезет! И все в пана,— белые, худущие. Вот... только третий годок отдыхаю. Как это вы устраиваетесь?

— Я бы детей своих не била,— сухо ответила Таня.

Глава седьмая

I

— Мишка! Колбасник!

Крейслер едва успел отозваться: «Анатолий!» — вихрь восклицаний, смерч перехватываемых объятий, поцелуи вбок, мимо щеки (Муханов все норовил попасть влажным ртом в губы),— все это налетело вмиг, и, не ведая, как отбиться, Михаил Михайлович подчинился.

— Ну, как дела, Миша? Как дела, друг? Дела, как

у Саввы Морозова, только труба пониже да дым пожиже. Так, что ль? Так, что ли, колбасник?

Крейслеру горло перехватило тоской. И это Толя Муханов. Кому он подражает, ярославскому мужичку? Или без этого он боится, что встреча покажется недостаточно демократичной и слишком холодной? Никто никогда в гимназии не звал Крейслера колбасником. И что за пошлая развязность — разливаться неестественными выкриками, не заботясь о слушателе этого натянутого балагурства! Этого Толю воспитывали с гувернантками,— правда, они всегда жили только напоказ, еле прикрывая бедность нанимавшей их семьи... И тут как бы тень набежала на глаза, глядя на смутно знакомое лицо, выступившее, так сказать, из мглы былого, возмужавшее очень и очень потертое, похожее на обитое яблоко, хранящее памятные с юности фамильные мухановские черты, тупо обрубленный короткий нос, слабоцветные серые глаза под крутым бараньим лбом, крепко собранный рот,— глядя на него, и Крейслер поджал губы.

— Какие же у нас дела! Положение ужасное... с вашей помощью...

Муханов слабо вспыхнул, зарделись большие уши,— э, да ты вон какой стал, колбасник! И он резко, с неприятной поспешностью, подобрался, отступил.

— Ты, верно, Миша, знаешь о нашем... На той злосчастной барже было почти на сотню тысяч рублей груза, а теперь ему и вовсе цены нет, не достанешь... Причина гибели более или менее ясна: баржа была очень ветха, с четырнадцатого года не ремонтировалась, а ведь у нас тут на судах хозяйничали и белые, и красные, и мусаватисты, и англичане. Карты у капитана оказались допотопные, ропитовские... В туманный ветреный вечер мы остановились у самого устья. Вызываем лоцманов, никто не едет, ни души. Ветер расходится, разводит волну. Оставаться, имея на буксире баржу, на мелком месте безрассудно. Капитан решил продолжать путь. На этом настаивал и глава экспедиции, Тер-Погосов. Тронулись, пошли. И вдруг нам кричат: «Тонем!» В чем дело — установит следствие. Там были такие яды, которые мы шарили по всему югу России, от Феодосии до Астрахани. Местный Совнарком ассигновал нам на закупку щедро, хотя и запаздывал...

— А я здесь задыхаюсь без денег.

— У них всегда так. Я достал изумительный локусти-

сид, меласса и мышьяковистый натр — такой состав, что пальчики оближешь.

Он сбился на прежний тон. Крейслер безучастно глядел перед собой на жалкий пейзаж захолустной станции. Разбитый по всем швам, во все дыры шипевший паром паровоз толкал по путям состав, очевидно, тот, с которым прибыл саранчовый отряд. Растериваемый пар досягал мокрым жаром до платформы. За полотном, окаймленным чахлыми,— впору тундре,— деревьями... Михаил Михайлович вздохнул и в мгновение перестал все видеть.

— Сгружать! Сгружать! — крикнул кто-то.

Из-за пакгаузов, прыгая по шпалам, приближался коренастый, как сноп, Веремиенко, в суровой парусине, в высоких сапогах, улыбался, помахивал рукой. Наперерез ему из дверей вокзала выбежал неслышной поступью Эффендиев, пепельный, словно заверть дорожной пыли, волочил нагайку, за которой, словно привязанный, едва поспевал начальник станции.

— Единственное его оправдание, что в ваших водах лет пять не было ни одного судна. Впрочем, я его арестовал.

— Кого?

— Капитана, разумеется.

— Сгружать, сгружать! — кричал Веремиенко.

Эффендиев остановился круто, начальник станции едва не толкнул его в спину, хриплый шепот прошипел по всей длине платформы:

— Что сгружать, сука, когда вы не сумели сберечь груза?

Муханов словно не слышал, но еще ровнее и неуловимо громче (несомненно, громче) продолжал сообщать Крейслеру:

— Парижская зелень. Мы скупали ее, будь она проклята, по немыслимой цене. Мышьяка под конец уже не было на рынке. Отруби для приманки, патока, каустическая сода, серое мыло... По нынешним-то временам! Есть от чего голову потерять! Если капитана не расстреляют, я буду удивлен, хотя и рад,— я не люблю крови.

Он содрогнулся, закашлялся, стал закуривать папиросу — руки его дрожали — и, как в забвении, повторил:

— Я арестовал капитана.

— А все-таки что-нибудь привезли? — резко спросил Эффендиев, ни с кем не здороваясь.

Муханов не повернулся к нему, но почти по-военному четко начал рапортовать Крейслеру об аппаратах-сжигателях, выполненных по его проекту, об остатках ядов и горючего, уцелевших на пароходе.

— Сделаем, что в наших силах, мы — не боги. Механическая борьба не обещает большого успеха, но нельзя опускать руки. И, как насмешку, мы привезли штук семьдесят ранцевых опрыскивателей «Аутомакс»,— превосходные,— одиннадцать конных «Верморелей» да два «Платца».

— Ядов-то, неужели ничего не осталось?

Муханов — Крейслеру:

— Сущие пустяки. Попрыскаем, сколько хватит. Думаю, это капля в море. Тер-Погосов с тем же пароходом отправился обратно. Может, дошлет что-нибудь.

В тот же день Муханов объехал места, где началась борьба. Осматривал довольно лениво, хотя и тянул инструкторов. Вечером в конторе завода он в присутствии Эффендиева, Веремиенко, пана и разведчиков сухо заметил Крейслеру:

— Жидковато организовано. В особенности на периферии, у завода и у Черноречья вы сделали все, что могли. Я читал твои доклады,— это ученые сочинения и свод соображений. А нам нужны меры.

— Меры? — ехидно переспросил Эффендиев.— Меры под водой. А теперь командуйте, главнокомандующий. Рядовые сделали все.

II

«Фордик» гремел на весь двор на холостом ходу. Приехавшие ждали встречи. Нетерпеливо рявкал гудок. Никто не отзывался. Трое в автомобиле переглядывались. Таня поспешно кончала одеваться, наблюдая сквозь тюлевую занавеску. У руля сидел инженер Траянов. За белесой оградой плетенья казались необыкновенно смешными изумленные лица прибывших. И она перестала спешить, с удовольствием слушая рев гудка. Секунда за секундой он становился резче, пока наконец не заполнил всю окрестность. Связывая в пучок волосы, Таня вперилась в женщину, сидевшую в автомобиле. Это была смуглая брюнетка, с чертами лица румына-скрипача. Она неподвижно уставилась на ступеньки

крыльца; в ее тяжелом взгляде было желание чуда: сжечь, испепелить невнимательного хозяина, когда он появится из двери. Рядом с дамой юлил толстый коротенький мужчина в котелке. В котелке! При температуре тридцать пять в тени! Котелок и лицо толстяка посерели от пыли. По серому лицу шли разводы, черные и багрово-красные: черные прокладывались потоками пота, красные — это был настоящий цвет кожи, грунт ожирелой городской образины.

Таня вышла. С рук приехавшей соскочила собачка, взметая песок, встала на дыбы, залилась сиплым лаем. Хозяйка спокойно развязывала синий шарф: приехали. Траянов вышел из машины, представил спутников:

— Мальвина Моисеевна и Осип Александрович Бродины. Я встретил их по дороге и подвез. Мы имеем удовольствие быть знакомыми несколько раньше. Осип Александрович прибыл из Облкино для съемок саранчи.

Бродин распахнул дорожное пальто, широко обнажив серый жилет, под которым катался круглый живот, и вытащил удостоверение. Потом смутился, спрятал. Супруга, не выходя из автомобиля, сунула руку в сторону Тани, ожидая, когда подойдут для пожатия. Траянов заглушил мотор. Во дворе осталось только рычание и бешеный лай собачки, забившейся под колеса. Осип Александрович робко предложил:

— Можно высаживаться, Мальвиночка.

Она двинула бровями, приказала подать Лильку, которая заскулила, удрученная всем происходящим.

К вечеру во дворе появились два ишака, нагруженные багажом киносоглядатаев, и помощник Бродина, долговязый восемнадцатилетний парень, которого все звали Славкой.

Весь день Таня устраивала приезжих. Муханов жил у Веремиенко. Траянов поселился в кабинете у Крейслера. Бродиных направили к Вильским. Славка заявил, что будет ночевать в автомобиле.

Вечером пришлось поить всех чаем. Мужчины пришли веселые, бодрые, с разговорами об отравленных отрубях, которые превосходно действуют. Сжигательные аппараты тоже пригодились. Эффендиев согнал всю округу, рабочих рук оказалось так много, что даже канавы и волокуши производили некоторое действие. «Унтер» криво отражал видимое, от него было жарко, как на солнцепеке, но из окон, затянутых сетками, сочились прохлада и дальний шум.

Славка выпил семь стаканов чая и съел три фунта хлеба. Сало достал из кармана, гремевшего ключами и инструментами. Юноша удивил необыкновенным аппетитом и самоуверенностью. К тому же он успел сообщить, что, подработав на этой киноэкспедиции и вернувшись, женится.

— Вам восемнадцать лет. Мы в ваше время...— начал вяло и насмешливо Муханов.

— Знаю, что вы затрубите, слышали! — прервал его Славка.— В наше время для мальчишек легкомысленных замужних дамочек не припасено. Нам и вкус адюльтера не известен.

Все оторопели. Славка победоносно заявил Бродину:

— Потопали, хозяева, спать! У нас нервы городские.

Крейслер удержал Мальвину Моисеевну:

— Посидите, я вас провожу.

Та прижала заворчавшую Лильку и кокетливо обнажила маслянистое плечо. Муханов лениво острил, вспоминая названия селений:

— Все какие-то Рустемы и Зорабы кругом, словно Жуковского проходишь.

Таня громко смеялась. Веремиенко сидел черный. Траянов беседовал с Эффендиевым, никто не заметил, как в их углу разгорелся спор.

— Да, широко, исторически она вас, как нацию, и угнетала. Но вы-то лично должны быть этой культуре благодарны. Жертвами военного коммунизма средняя, центральная Россия, та самая, которая угнетала, а теперь ведет к социализму,— она расплатилась со всеми. Да и может ли культура угнетать? Придется сузить вопрос, свести к государственности.

Но тут Эффендиев встал и, совершенно неучтиво сославшись на благоразумие предшествовавших товарищей, заявил, что уходит спать. Старик, растерянно улыбаясь, придвинулся к столу. Крейслер поймал его смущенный взгляд.

— Вам трудно освоиться с растущими новыми отношениями,— шутливо сказал он.— Простота,— не желают выслушивать до конца то, что кажется несущественным. Мы же с вами тревожимся другими мыслями, и то, что вы сказали, мне очень близко. Что привело меня в Россию и что удерживает теперь здесь, в удручающей нищете, в дьявольской работе без отдыха и срока, ответственной, неблагодарной? До границы тридцать верст, скарба у нас — в охапке

унести можно, так что же привязывает? То, у чего нет ни веса, ни меры,— желание участвовать.

— Это твое участвование дорого стоит. Не люблю, когда оправдывают то, что навязано, что фактически переносишь с трудом.

Михаил Михайлович удивленно поднял брови. Жена сердито гремела посудой, струя кипятка била в полоскательницу тоже как будто с гневом. Мальвина Моисеевна понимающе скалила зубы.

— Правильно, Татьяна Александровна! Что тут голову морочить,— вмешался Веремиенко.— Денег нет, а то мы и в Мешеде каком-нибудь жили бы веселее, чем здесь. А уж спокойнее-то во всяком случае.

Эта странная заинтересованность, сгустившая туманную фразу Траянова до призыва высказаться о личной судьбе, разогнала дремоту даже в полуприкрытых веках Муханова. Он заговорил, слушая себя:

— Количество и качество общих, так сказать, кардинальных идей о жизни и человечестве, обращающихся сейчас в России, поразительно огромно. Они углублены и заострены, они ранят и убивают. Интеллигент, обыватель, рабочий, любой советский гражданин мыслит, можно сказать, парит мыслями, готов за идею на костер, становится к стенке, идет в изгнание. Мы с этой стороны превосходим Запад с его практицизмом и мелкими делами. Но, думая о будущем устройстве человечества, мы никогда, даже в нашей грубой стране, не доходили до такого презрения к человеку, невнимания к его нуждам. И в конце концов, чего мы хотим? Мы хотим только того, что убийственно медленно, хотя и органично делается в Америке, в Европе. Мы хотим освободить плоть человека. Две тысячи лет понадобилось, чтобы одолеть вражду христианства к цивилизации Рима, к столь человечной, заботливой о бедном человеческом теле. Там, на Западе, начинают с внедрения автомобиля и ванны, а мы — с освобождения брака...

Тане было непонятно, где в его полысевшей голове гнездятся такие мысли, откуда появилась живость. Он поигрывал обрывком веревки, делая петлю и затягивая запястье, словно казнил кулак. Заметив, что Таня смотрит, сразу бросил забаву, как будто испугавшись.

— Но какое душевное напряжение, сколько труда, сколько крови требуется, чтобы дать возможность сносно

жить этой человеческой массе,— сказал Крейслер.— И я жить хочу, и работать хочу. И могу. Я заблуждался, может быть, блудил. Но теперь, показав верный путь, дайте мне пойти по нему...

— Что ты нас просишь, когда ушел единственный коммунист из комнаты, пусть он и дает, это по его адресу...

Горячность Крейслера нагнала на Муханова прежнюю скуку. Все стали прощаться. Траянов задержался, сказал вслед Муханову:

— Облезлый он какой-то. Человек может жить или патетической верой, или ненавистью. Некоторые пробуют жить наигранной иронией. Нет, я предпочитаю татарскую грубость этому наигрышу и сплину. Он очень малодушен и труслив, не умеет отнестись к себе как к постороннему, объективно: мысленно поставить себя в среду и посмотреть, как это выглядит. Такие люди легко зарываются. И страстишки его разъели, источили.

Михаил Михайлович пошел с Мальвиной Моисеевной, пропадал около часа, вернувшись, щурился на свет полупьяными подслеповатыми глазами. Губы его припухли, покраснели. Таня почувствовала свое тело пугающе легким, томным мыслям не было ни имени, ни определения: она только спрашивала себя, как она еще жива? Но обратиться к мужу хоть с каким-нибудь упреком у нее не хватило сил. Он ответил бы чем-нибудь насмешливым. Да и в самом деле, что могло быть в тополевой аллее с едва знакомой женщиной?

Наехали люди, нашумели, затолкали и, как в толпе, окончательно оттерли, оттеснили ее от мужа. Словно сговорившись, наперебой произносят интересные речи, он спорит с ними, а не с ней, хотя она его прямо вызывает. Конечно, она больна, слаба, нервна, она выговорилась, он ее знает вдоль и поперек. А та налита чувственностью, жиром, мужчины это любят. А краски у нее на лице, а брови, а усики! Недаром они говорят о плоти и о свободном браке. Таня взяла обожженную спичку, подвела глаза и искусала почти в кровь губы. Из зеркала на нее поглядел бледный призрак, злой и некрасивый, с кровавым ртом.

III

Утром Таня проснулась позже мужа, с горлом, как бы раздраженным длинными разговорами,— это, по всей вероятности, накипали слова, которые она не могла сказать вчера. Теперь тревоги, при свете голубого неба за зеленым платаном, показались нездоровыми. Но ведь это же правда, что ее болезнь отягчает и без того нелегкую жизнь мужа. Разве такая жена помощница, она — обуза. Дай она детей, семью, навали на него новых обязанностей, вот и стала бы дорогой, неотрывной. Ей захотелось плакать, но эти размышления были все же выносимее вчерашних тревог по пустякам. Так и принуждала себя подумать: по пустякам. И когда пришел Михаил Михайлович, позвал посмотреть на работы, Таня застыдилась и подозрений, и своей мелочности.

— Ты как в ад за грехи попадешь,— сказал он, смеясь принужденно.

— Может быть, пригласим мадам Бродину?

Он помедлил какую-то йоту времени.

— Да она отказывается. Говорит, что от солнца веснушки...

Уже два дня ад, слышно было, приближался к заводу, погромыхивая, как дальняя невидимая туча, гулом борьбы. Три грузовика, подводы с бочками для керосина тарахтели по шоссе к станции. Ржали испуганные лошади, щелкали кнуты. Подростки со всей округи рвали трещотками и колотушками жгучую тишину, обычно кисшую над болотистыми берегами Карасуни. Женщины цепами били по земле ползущую саранчу. Именно этот глухой мертвенный звук молотьбы торжествовал над всеми оживленными, веселыми шумами сражения. Уступив бабам легкую работу, ругались и командовали ими мужики, копая канавы. Скрипели катки и конные аппараты-опрыскиватели, гремели ведра, однообразно рвались понуканья,— изнемогшие лошади шли плохо. Все это, слитое в мощное бормотание грома, ползло вместе с саранчой к заводу, до которого оставалось версты две. Михаил Михайлович бережно поддерживал жену под локоть.

— Через два-три дня будет у нас в гостях. Сейчас «она» (здесь врага по-военному называли местоимением) приостанавливается отдыхать: жарко.

Таня оглянулась назад. Красные крыши завода приветливо и отдаленно сияли ей, мирные, как Голландия. Оттуда прямо полем спешили кинооператоры и Муханов.

— Анатолий показывает товар лицом, увековечивает. Только на это его и хватает. Я даже удивляюсь, когда он успел стать знающим энтомологом. Он и в агрономы-то пошел из дворянской блажи.

Она промолчала. Михаил Михайлович обвинял:

— Фактически борьба ведется только у нас. Он прекратил объезды района. Не был ни на Чертанкуле, ни в Михайловке. Показался кое-где,— требуют ядов, снаряженья. Отказывает,— грозят. Он прямо сознался, что боится.

— Ты хочешь его опорочить в моем мнении.

Крейслер проглотил сухое замечание. Они уже входили в полосу сражения. Повсюду, куда ни попадал взгляд, десятки, сотни людей копошились, защищаясь. Откуда только из пустынных окрестностей набралось столько народа? Хохлы белели рубахами, широкими шляпами, молокане походили на мастеровых, голые туземцы, как суслики, копались в земле, бабы, в ситце и лохмотьях, зажиточные и нищие, одинаково изможденные и загорелые, работали, не глядя на мимо идущих, не отирая даже пота. В этом труде мрело отчаяние. Они пять суток травят «ее», роют могилы, она мрет и плотно наполняет ямы, и — не уменьшается, прибывает. Справа и слева от дороги тянулось, подступая к самым обочинам, пшеничное поле. Слева нетронутые колосья, поседев, начинали золотиться. А справа, там, куда наступала саранча, лежала смятая, побитая солома. По ней катались бочки аппаратов, разбрызгивая отраву, по ней рыли канавы, по ней передвигалось бесчисленное количество людей и животных.

— Шестьсот десятин! — сказал, горестно покашливая, Михаил Михайлович.— Представь себе, она не трогает хлопка.

Сообщения проникали в сознание Тани как сквозь дым. Томная усталь от жары поднималась в ней как туман, все обесцвечивая. По рассказам представлялось величественнее и ужаснее. Действительность явилась тяжелее и скучнее. Тяжкая сонливость висела над головой. Так человек, заблудившись в знойном болотистом перелеске, отравленный испарениями, устрашенный зыбкостью почвы, готовой рассту-

питься зловонной пропастью, испытывает отвращение к жизни, бесславно гибнущей среди трясин. Крейслер говорил о тех временах, когда саранча несметными количествами на неоглядных пространствах отрождалась в безлюдной природе, об инстинктах, которые она вынесла из седой древности.

— Земледелие ее убивает, но иногда она убивает земледелие,— сказал Михаил Михайлович.

Таня прижалась к его руке сухой грудью. Они углублялись во владения саранчи. Белая пыль шоссе была запорошена раздавленными и живыми личинками. Живые отпрыгивали: в одиночку саранча пуглива. То, что Таня принимала за бурые, мятые останки пшеницы, и было тем, что все называли «она». Она шелестела. Воздух наполнялся шумом копошенья, как будто вся земля оползала медленно и беспрерывно сухим прахом. Так шипят барханы и дюны. Слух Тани открылся нестерпимому звуку, победившему страх перед словами. Таня чутко различала звучания,— такого она никогда не слыхивала. Звон тонких прикосновений, еле различимой суеты, быть может, прожорливых челюстей надвигался на грохот позади. Саранчовый шум приземлялся, полз, как змея.

Они свернули с дороги на поле. Таня остановилась в сероватом живом тесте выше щиколотки.

— Я не могу ступать, это отвратительно.

Бесчисленные касанья, щекотанье скачков куда-то под подол, легкое поцарапыванье по коже, душу мутящее ощущение раздавливания, все это ошеломило Таню до столбняка. Михаил Михайлович взял жену за талию, повлек в глубь живого сухого потока. С каждым шагом он становился как будто глубже.

— Не надо, пусти меня,— лепетала Таня, содрогаясь.

Он упорно повторял:

— Я хочу показать, как ее истребляют. Мне будет приятно показать, как она гибнет, проклятая.

Поборов себя, она зашагала, высоко поднимая ноги. Михаил Михайлович вел ее к ловчим ямам. Пришлось пройти сажен сто поперек всего расположения.

— В эту колонну сбита саранча из сотен мелких отрядов и кулиг. Она выходила от реки, фронтом версты на четыре. Канавы мы ведем от самой Карасуни, вбили в них тысяч тридцать пудов саранчи.

О, эти количества! Он показывал небольшие, свеженасыпанные бугры.

— Это засыпанные колодцы, наполненные саранчой. Ее сгребают, утрамбовывают, жгут. Сейчас увидишь.

Мимо проехал каток, вроде тех, которыми уравнивают площадки для подвижных игр. Верхом на одной из пары понурых лошадей сидел невеселый мальчуган. Давя, он прокладывал широкий след, зеленую дорожку аршина в полтора шириной из копашащейся слизи, но полосу тотчас же затягивало живыми личинками, как будто ее и не было.

— Идем за ним.

В то время, когда она была уверена, что ничего более противного и отвратительного не увидит, не услышит, не почувствует,— ослепительный воздух колыхнулся, ударил таким зловонием, что она отшатнулась, закрыла глаза. Муж не заметил, тянул за руку прямо к источнику запаха, зеленые и, как ей казалось, смертные волны которого катились навстречу. Они катились от небольшой толпы, в которой Таня заметила старика инженера и пробковый шлем Муханова. Там были конечные ямы, там жгли саранчу. Изнурительный труд истреблять неистощимое количество насекомых канавами раздражал людей своей явной бесплодностью. Таня только что миновала тыл, там нависало отчаяние. Но здесь властвовало ожесточение. Оно вело стойких и выносливых к самому сгущению саранчовой колонны — с ямами, с огнем, хоть с голыми руками, но удержать, истребить это чудовищное множество. Ожесточение захватывало даже тех, кто не принимал в борьбе участия. Таня на себе ощутила это горячее веянье. Над головами возвышался треног киносъемочного аппарата, под ним висело красное, как кусок солонины, лицо Бродина. Он не переставая вертел ручку. Бледный Муханов вышел навстречу Крейслерам. Кроличьи глаза Веремиенко горели за его спиной. Яму только что наполнили четверо парней в лохмотьях,— у двоих плечи были в волдырях,— лопатами уравнивали копошащуюся поверхность, на которой тускло играло зеленоватое солнце. Высокий пожилой беженец,— Крейслер узнал Маракушева,— приставал к Муханову:

— Где же, товарищи, ваши еропланы? Где отрава, чтобы ее сничтожить? Печатать листки вы горазды, а на деле видать мало.

— Дед, ты гляди, как жгут, а под руку не талдычь! —

Муханов любил простонародные словечки.— Всегда найдутся такие, что каркают над всяким делом.

Инженер Траянов шептал что-то Михаилу Михайловичу. Тот с беспокойством поглядывал по сторонам.

— Я забраковал бы три четверти сжигателей. Некоторые сделаны настолько небрежно, что начинали протекать, как только в них наливали керосин,— шептал Траянов.

Рослый молодой мужик в мешке, крепко ставя жестоко расчесанные ноги, вышел с аппаратом к яме. Худое, жесткое лицо его кривилось веселой злобой. Керосиновый бак висел у него за спиной, сбоку змеилась трубка, из распылителя било сдерживаемое пламя. Мужик знал, что его снимают для живых картин, входил в ярость. Направив струю огня на саранчу, он оставлял после своих губительных движений пенящуюся и тлеющую массу, под которой надлежало погибнуть всей яме. Эта пена полусожженного жира разлагалась в два-три часа, душила вонью даже сквозь толстый слой земляной насыпи. Выпуклое око объектива медленно повертывалось за сжигателем. Бродин кричал:

— Раздайте круг, граждане! Мне нужна каждая крошка света!

Мужики любопытствовали и веселились, к редкому зрелищу толпа прибывала.

— Покажи работу, Иван Степаныч!

Старик Маракушев чуть не обжигался, подставляясь так, чтобы попасть на картину вместе с сыном. Вдруг — Таня ясно видела это,— огонь судорожно метнулся, померк, раздался негромкий, похожий на вздох омута взрыв. Все отшатнулись, не сделав ни шагу. Молодой Маракушев мгновенно превратился в столб пламени. Он закричал, шумное пламя заглушило его. Попытался сорвать с себя огненное одеяние, голые руки вырвались в сторону. Бросился вперед, лицо как будто проступило из огня. Столб осел, качнулся: мужик упал в яму. Пылающий керосин лился с него, растекаясь, как лужа. Стоял мертвый стук снимавшего аппарата, Бродин вертел ручку.

Таня успела увидать, как муж бросился к брезенту, схватил за край и, сбрасывая отруби, потянул к пылающей яме. Траянов, Славка кинулись на помощь. Таня услыхала чье-то голошенье, истошный вопль. Резкая темнота обморока обрушилась на нее.

IV

Она ощутила холод компресса над бровями и сразу погрузилась в такие же холодные отзвуки глухого спора за стеной. В спальне, в полумраке от спущенных занавесок, неслышно метался из угла в угол огромный, встревоженный Михаил Михайлович и каждый раз, равняясь с изголовьем, вглядывался в помертвелое лицо жены.

— Очнулась, да? Ничего? Испугалась, бедная...

Муж шепотом произносил торопливые, беспокойные слова, теплые губы поползли по ее щеке.

— Он погиб?

Ее вынесло из другого существования, отягченного немыслимыми ужасами, через пропасть бесформенного мрака, в который ввергают сознание искупать преступление, не искупимое ничем. Этот мрак равен смерти. Самое исцеление от него не дает радости. В уютной полутемной прохладе она не имеет права забывать о том страшном прошлом.

Михаил Михайлович кивнул головой.

Спор за стеной рос, как бы приближался, словно шуршание бора, охватываемого дождем и бурей. Кто-то кричал тонким напряженным голосом:

— Одного этого достаточно, чтобы назначить строжайшее расследование! Я, как инженер, заявляю («Траянов»,— думает Таня), что ваши аппараты не выдержат и двух атмосфер. Их никто не испытывал и так пустили в работу.

В гуле передвигаемых стульев, поспешных шагов слышно: «Не будьте голословны!» Крейслер хрипит: «Мерзавцы!» Хрип рвется в другую комнату. Таня понимает, что ее обморок и слабость по сравнению с происшествием на поле незначительны. Она обижается, но обида ее легка. Все легко после тех ужасов. Вырывается крик Муханова:

— Вы почитайте сводки о борьбе с саранчой в Туркестане! Там такие же взрывы бывали с аппаратами немецких фирм.

Лихорадочные, нерусские, страстные, как клятва, восклицания Эффендиева прерывают тягучие вопли Муханова:

— Ва-змутил всех! Что вы сделали с рабочими? Побьют нас лопатами, будут правы! Привозят такое, жгут живых людей. Расстреляю! Найду и расстреляю! Малчать! — кричит он на кого-то, начавшего возражать,— на Веремиенко, вероятно.

— При такой постановке вопроса, при полном недоверии и запугиванье я прекращаю разговор,— заявляет Муханов.

Лилька скатилась на пол, залилась сопливым лаем. Таня изнеможенно посмотрела на мужа.

— И мадам Бродина там... Дом полон чужими людьми...— Она что-то вспомнила.— Неужели Бродин снял все до конца... как горел человек...

— Ему чуть не пришлось плохо. Но я даже уважаю характер этого дурака, он исполнял свою обязанность...

Осторожно постучавшись, вошел Муханов, красный, со слипшимися волосами, уши как в крови.

— Пришли в себя, милая Татьяна Александровна? Я услыхал ваши голоса.

Явно он сбежал от собеседников. Таня судорожно дернулась, погружаясь в приторную сладость этой неестественной, как все, что исходило от Муханова, вежливости. Сладость подступала к горлу, склеивала пальцы, но сам Анатолий Борисович легко выплывал из нее. Тревожно и зло он говорил Крейслеру:

— Трагический узел. Все против меня. Пошли людей готовить из конского навоза приманку. Там есть остатки парижской зелени, которую доставил толстый Бухбиндер. Ах, зачем утонула эта баржа! Я готов пустить себе пулю в лоб.

Он отяжелял жалобами самый воздух. Он потягивался. Он извивался. Он заводил глаза к потолку. Он расселся на единственном стуле у постели, уверенный, что сюда не зайдут.

Он блаженствовал в тишине и полумраке. Он надеялся, что никто не посмеет побеспокоить больную, не явится приставать к нему. И, подчиненный страстному желанию передать свою тревогу другому, Анатолий Борисович подсунул пальцы под бессильную ладонь Тани, лежавшую на одеяле.

— Посмотрите, какие у меня ледяные руки.

— Уходи вон отсюда!

Веремиенко захохотал в дверях:

— Правильно, Михаил Михайлович!

Глава восьмая

I

Крейслер и Траянов стояли у стены завода. Лагерь защиты расположился во дворе, это были остатки, беженцы. Крестьяне-туземцы, утомленные бесплодным трудом, дезертировали по селениям. Саранча подступила к стене, перемахивала через нее, как солдаты по телам павших товарищей. Огромные вороха трупов и живых личинок сбились у стены, медленный поток неуклонно шел через нее.

— Горят люди, дохнут отравленные куры и бараны. Она объедает шерсть даже на мертвых овцах.

Михаила Михайловича ела тоска усталости. Закат растекался по плоскому горизонту, как помидор на тарелке. Лень и ломота похмелья. Двор шумел, шумел за спиною, отзываясь болью в голове.

— Белье-то сымай, Багирка, белье! Сожрала, проклятая, мокрую простыню да полотенце.

Траянов мигал воспаленными, как закат, веками.

— Михаил Михайлович, здесь преступление... Здесь тучи преступлений. Я приехал специально проверить один факт. У Саранчовой экспедиции, я узнал, есть аппараты «Платца». «Платцы» эти — мои, то есть моей конторы. Их отняли два месяца назад, помните, когда вы у меня были, я расспрашивал про Тер-Погосова?

— Помню, конечно помню.

— По моим сведениям, аппараты попали в частные руки, проданы с аукциона. Я был сегодня на станции. «Платцы» — мои. Здесь темные комбинации.

Волнение не передавалось Крейслеру. Он наблюдал, как лениво ползла саранча, ему начинало казаться, что она продвигается сквозь него, лезет в уши, в ноздри, в глаза, почесывает и раздражает каждый участок кожи, каждую жилку. Нестерпимо зудели ногти. Жалили комары, слепни, приведенные с болота лошадьми.

— Земля истребляет нас. Наслала личинок, мы обессилели. Начинаешь верить в разгневанного еврейского бога, кажется,— это он пошел против тебя.

Крейслер наклонился, поднял крупную, в полпальца, личинку, вялую и сонную.

— Это пятый возраст. Скоро она будет окрыляться.

В два-три дня она подымется и улетит. Она погубила нас, в будущем году погубит других.

Саранча лилась во двор. Неистребимая и неуклонная, искала пищи и влаги для своей неначерпаемой утробы. Слитная, как одно тело, и упругая всепроницающая масса растекалась повсюду, заполнила двор, дом, служебные постройки.

— Что, что вы сказали? — Крейслер прикусил губу, выводя себя из тягучей сонливости и возвращаясь к Траянову.— Преступления? Какие преступления? Я подозревал и все время гнал от себя... Ведь это и против меня лично. Что я буду делать здесь, без хлеба, без хлопка, не справился с саранчой...

Таня бродила по дому. Происходившее напоминало оспу. Все тело покрыто маленькими разрядами чесотки и липким жаром. Саранча скакала, прыгала по мебели. Ее ждали несколько недель,— вот она. День был так длинен, что его, как жизнь, не заметили. Зной, которым докипала вселенная, не давал закрывать окна. Саранча проела кисею сеток от москитов и комаров. Ей было мало окон, дверей, она валилась в неожиданные отверстия сверху, как будто само небо разражается ею, выползала из щелей, словно ею начинены камни строения, произрастала из земли, вылезая через пол, заводилась в утвари. Не заметили, как завечерело. И когда завечерело, саранча успокоилась, развалившись по-хозяйски.

Ужинали молча, Крейслеры, Траянов, киносемейство. Длинноногий, голенастый Славка за два дня превратился в истощенного, худого мужчину. Он не балагурил, помалкивал, не сводя янтарных глаз с электрической лампочки. Муханов отказался, посидел в столовой, ушел домой, во флигель Веремиенко. На кухне ругалась Степанида:

— Да что же это такое за сатана! Не продыхнешь от нее.

Подавала и кебаб с саранчой, и кашу, и тарелки, жгла ее в топке плиты, обваривала кипятком,— безуспешно.

II

Вечер истлел, погас, запорошенный остановившейся саранчой, как пеплом вулканического извержения. Четвертый возраст остановился линять. Колонна, середина которой

покрывала завод, головой уже достигала садов Черноречья. Село волновалось борьбой. Беспокойно шуршали метлы, били цепы, вальки,— удары походили на вздохи,— в наивной надежде спасти свой двор. Из усадьбы в усадьбу кочевали тени и утомленные восклицания. Девки таскали в курятник кур, обожравшихся насекомыми и лежавшими без движения.

Под полотняным навесом на крыше дома Бухбиндерова мерещились люди. Лампа, облепленная мошкарой, едва освещала сама себя, едва наполняла желтизной пузырь. На утлом столе белели тарелки и руки. Внизу расстилался пустынный внутренний дворик, глотая свет. В освещенных окнах аптеки мельтешился вдохновенный Бухбиндер.

— Дрянь какую-нибудь продает, будто бы для отравы! До чего жадный еврей. У нас, поляков, есть про то пословица...

Где-то тонко выла собака. Тревожно задремывало село. Склянки дребезжали в аптеке, и глухо взлетали снизу заклинания хозяина. Лампа таяла, как кусок коровьего масла, облепленная тяжелым вечером, обложенная густой темнотой навеса, под которым застыл воздух. Пан почувствовал, что скуку этого вечера не проломить никакими изречениями бледной его родины, и сдался молчанию. Веремиенко сопел так же угрюмо, как до и во время речи. И вдруг встал. Привскочил. Серая фигура показалась готовой к прыжку. Шарил бутылку, как в бреду, не находил и, видно, испугался. Наконец, горлышко заляскало о край стакана. Булькало в стакан, булькало в глотку.

— Скучаю по ней, пан, скучаю,— места не нахожу. Пью, а она перехватывает горло, как веревка вокруг шеи. Ее уносили третьего дня с поля, испугалась, как сгорел этот... лежит на руках, бледная как смерть, и сквозь веки — синие глаза... У меня по сердцу полоснуло, не умерла ли? И веришь, пан,— светло... день такой, что взглянуть от солнца некуда, кажется, оно тебе даже в уши лезет, а я ничего не вижу! Ослеп, понимаешь ты! Очнулся, смотрю им вслед, вижу, как Муханов за ногу ее поддерживает, тут я понял, что жива она, выживет. Разве до мертвой этот похабник пальцем коснется! А потом в комнату к ней вперся... Выгнали. Ухаживает, гад, смердит около.

Он встал, тяжело уронил табурет, задребезжали рюмки,

зашаталась бутылка, подошел к краю крыши и, наклонясь над двором, закричал:

— Бухбиндер! Так-то ты, стерва, принимаешь гостей! Брось сквалыжничать! Денег куры не клюют, а ты по мелочам жулишь, граждан обижаешь.

На желтом экране окна выступила переполошенная рожа, всеми припухлостями и овалами выражая неудовольствие и требование не орать. Он грозил кулаком, шевелил губами, мимически изображал, что поднимется немедленно.

— А я тебе говорю, сейчас иди! Иди! Волоки весь ректификат! Веремиенко тебя обогатил, угощай Веремиенко!

Пан захохотал, как будто закатился долгим кашлем.

— Чи не обогатил?.. Скажет тоже.

Онуфрий Ипатыч остановился на полкрике, деланно икнув, вернулся к табуретке.

— Душа горит, пан, хоть ты и ничего не понимаешь. Синие глаза сквозь веки... Пойду. Пойду.

— Куда?

— Пойду.

Он готов был повторять это слово до бесконечности. Оно стягивало ему губы, как лихорадочная сыпь. И бормоча: «Пойду, пойду»,— он медленно скрылся в люке. Пану было все равно. Он так устал, что стакан араки сражал его и делал, как он сам сознавался, совершенным идиотом: только бы не видеть ни саранчи, ни беженцев, ни жены, ни крикливых потомков, никого, кто может обеспокоить, заставить ходить, двигаться, когда болят мускулы и кости. Только бы лилась эта теплота по жилам, которая мягчит хрящи, греет, погружает в дремоту, похожую на детский полусон.

— И что же это за человек такой! Это же сумасшедший! Он же алкоголик, ему надо лечиться. Он прямо начинает людей кусать. Я стою, смотрю, дрожу,— упадет с крыши. Хорошенькое дело! Разобьется у меня во дворе,— тоже удовольствие. Ему пьяными глазами не видать, а мне видать, что крыша — это же второй этаж. Стоит, качается, кричит что-то несуразное, у меня душа упала.

Бухбиндер надрывался, захлебывался, достиг высоких, визгливых верхов, звенел полуведерной бутылью, на дне которой плескался спирт. Бухбиндер был укрощен и зол, как змея. Он не знал, что делать с бутылью, с драгоценным спиртом, раз никто не отзывается и не рвет ее из рук. Пан Вильский не удивился его унизительной покорности пьяным

воплям Веремиенко. Может быть, в другое время это его навело бы на размышления. Но пан Вильский дремал. Он старательно не слушал визга аптекаря. Длинный его ус рос из стола в губы, как борода Фридриха Барбароссы. Бухбиндер поставил бутыль на пол и толкнул гостя в плечо.

— Шел бы ты домой, старик. Что это еще за развлечение, спать на чужой крыше!

Пан Вильский настойчиво изображал глубокий сон.

И вдруг Бухбиндер оставил его, загремел по лестнице вниз. Пан Вильский услыхал крик со двора. Девчонка-затворница звала Григория Борисовича. Пан превосходно знал о пристрастиях аптекаря и о том, как тщательно он их скрывает. Случилось что-нибудь поразительное, если эта зажиревшая в ласках пятнадцатилетняя фря решилась подать голос.

— Приехали какие-та-а! — неслось еще снизу.

От Бухбиндера осталась только бутыль.

Пан стер с ресниц многопудовое забытье и, пошатываясь, сполз во двор. Подкрался к сетке окна, с пьяной хитростью вгляделся в освещенное нутро комнаты. Плясали белые склянки с черными буквами. Резвились плакаты Келлера и Феррейна. Зеленели, розовели, золотились флаконы и банки. Жадно глотали воздух пустые коричневые витрины. Лампа-молния нагло раздулась, шевеля бумажной юбкой абажура. Под ливнем света стояли двое. Женщина сияла неописуемым изяществом. Пан перевел взгляд на банки. Но и банки окрасились изображением полной и стройной фигуры в серо-зеленом коверкоте. Пан вгляделся в мощный и нежный облик, освежаемый серыми глазами и ярчайшим оскалом прожорливого рта. Она часто обнажала клыки. Рядом с ней тяжело пыхтел широкоплечий армянин. У него от самых глазных впадин начиналась густая чернота невероятной поросли бороды. Пан узнал Тер-Погосова. Аптекарь прятался за конторку, но его нещадно обстреливали словами, начиненными волнениями, словами, похожими на разрывные пули. Бухбиндер ахал, как будто они вонзались в него.

— Гуриевский арестован. Он начинает выдавать.

— Мы получили достоверные сведения... В Чека обратили внимание на широкий образ жизни... есть ордер на арест Анатолия.

Круглолицая девка в канареечном каляном платье

и скрипучих ботинках вошла на цыпочках. Но Бухбиндер зашипел, замахал на нее руками, Тер-Погосов глянул с угрюмой ненавистью, она мгновенно смылась.

— Я видел главного уполномоченного вчера утром. Он боится неожиданностей. По правде сказать, мы не предупреждали его об отъезде. Теперь каждый отвечает за себя.

— Надо немедленно вызвать Анатолия. Если есть возможность перебраться через границу, бежим нынче ночью.

Бухбиндер лег на прилавок.

— Нынче ночью? А я? Уже же ночь!

— Собирайся! Сейчас же! Бери только деньги. Пахнет знаешь чем?

Тер-Погосов смачно выругался. Дама не повела и бровью. Вильский остолбенел.

— Собирайся! — повторил Тер-Погосов.— У тебя же есть связи на границе, сам хвалился. Да и какая там граница! Персия! А кто пойдет за Анатолием Борисовичем?

Бухбиндер рванулся к витринам, словно готов был залезть за стекло.

— Не я!

— А я не знаю дорогу. Кто же?

Женщина опустилась на стул, закатилась долгим смехом. Колючее чудовище истерики щекотало ей горло, грудь, пробивалось в носоглотку, едкой слюной плевало в глаза, и она всем усилием дыхания и крика хотела отпихнуть его. Она запрокидывала голову, смех становился глуше, тогда можно было разобрать:

— Трусы! Ах, мерзавцы, трусы! С такими непременно влипнешь!

Но зверек вцеплялся в нее, и она почти беззвучно всхлипывала, раза два-три; и снова на пана Вильского бил сухой, как песок, хохот. Бухбиндер наливал аква дистиллята в мензурку, капал валерианку. Пан продавил носом сетку, и лицо хлопчатобумажного дьявола, седым барельефом вдавившееся в комнату, произнесло влюбленно:

— Если пани угодно, я за сто рублей золотом приведу ее супруга.

III

Таня готовилась ко сну. Автомат привычек, посаженный в кости с детства, заставлял расчесывать жидкие волосы,

собирать в косицы, даже накручивать на папильотки. Другой кто-то,— бесшумный, заведовал мыслями и в темноту перемежающейся дремоты выкидывал картины только что миновавших дней. Третий поддерживал двух первых шепотом улыбающихся бледных губ.

— Бедная Таня, тебя нужно разобрать и положить в керосин. Ты устала, ты отдохнешь.

Легко умереть, как умирают волосы во время тифа. Тиф... Война... Гибельно действует война на женские волосы. Загорелся человек, закричал, бросился в яму... Скучно ужинали с воспаленными веками Траянова... Высокая спина Муханова. Шея бритая. Скобка волос. Он открывает дверь, проваливается в темноту, идет ночевать к Онуфрию Ипатычу. Миша поводит рыжими бровями. Два черта дрожат у него на крыльях носа. Жена Бродина хохочет носоглоткой. Автомат, расчесывающий вoлосы, содрогается и холодеет.

— Какие они отвратительные! Даже самые лучшие из них млеют от любой юбки.

Навязался провожать. С ними Славка, правда. Но до дому пана Вильского далеко, Славка дрыхнет на ходу, удерет. Властный механик мыслей становится деятельным. Какая глушь и пустыня! Только здесь могла понравиться Мише Лилькина владелица, которая смотрит исподлобья, обнажает плечи и хохочет носом. А Онуфрий Ипатыч... Его дрожащие губы, блуждающие глаза... Он готов на все. Но сделал ли он то, что обещал? Эта саранча съела все человеческие отношения, все забыли то, что сулили друг другу. Едва ли Онуфрий Ипатыч забыл. Но он уклоняется от разговора. Одичал, почернел... Может быть, у него просто не было времени? Дни мелькают как кинокартина в последнем сеансе, пущенная вдвое быстрее, чем следует. Зрители стучат ногами, требуют, чтобы медленнее... Но герой спешит рассказать свою тайну. Зрители стучат ногами.

— В самом деле, стучат.

Таня идет открывать дверь, слышит брань на крыльце:

— Черт знает что такое! Степанида запирается и засыпает, теперь буди весь дом! Это ты, Таня? Мы с Онуфрием Ипатычем...

Она стоит перед ними, как осина в тумане. У них такие глаза, какие, вероятно, бывают у птиц перед отлетом.

Подчиняясь какой-то хитрой выдумке, она возвращается в комнату, накидывает платок и уходит во двор.

Ночь темна, так темна, как будто земля опрокинулась на небо. И по той, по опрокинутой земле бегают шакалы с зелеными глазами. Душно пахнет сыростью. Под ногами облака и легкий шелест. Двор полон саранчою и людьми. У амбаров слышны голоса. Таня ступает наугад, натыкаясь на препятствия, на телегу с злыми углами, на связки громких лопат.

— Жизнь набита горем, что улей пчелами. Так и жалит. До чего я с этого голода равнодушен стал. Давеча жена Ваньки Маракушева убивается, а у меня на уме одно: «Все равно никому жизни нет».

Хриплый ровный голос расстилался мучительно невозмутимо. Мужик говорил так холодно и спрохвала, как будто склад, из которого он брал слова, помещался где-то у него в бороде, на ветру. И слова слетали как мякина.

В безмолвии вспыхнула серная спичка, померцала сначала синим, потом желтым огоньком, осветила кружок из пяти-шести человек, полулежавших на траве. Потухнув, спичка успела зажечь старика. Он заговорил резко, через каждое слово матерясь, по его холодной злобе трудно было догадаться, что он отец погибшего.

— Передушил бы их всех! Отчего Ванятка...— Маракушев запнулся,— погиб? Отчего? От ихнего неумения. Учились, сволочи, недоучились. Потому что если керосиновые баки делаешь, то делай такие, чтобы не взрывало.

— Злобой делу не поможешь, Степан Матвеич.

Старик, верно, удивился, почему его останавливают, увидал Таню,— она стояла, словно белый призрак ненавистного ему мира,— он поднялся на колени, чтобы стать вровень с ней, забормотал сухо и поспешно:

— Ну, что... ну, вижу, женщина... кажись, жена заведующего. Они все заведующие... ежели их баб бояться,— на свете лучше не жить.— И он с ненавистью бросил в ее сторону: — Уноси-ка ты ноги поскорее...

Тревога получила воплощение: темные группы сговариваются по закоулкам. Степанида права, что стала запираться. Таня вернулась в умиротворяющий полумрак и уют спальни, но стоило ей закрыть глаза,— открывалось черное пространство двора, в котором бодрствовали, копили злобу раздраженные, мстительные люди. Она всматривалась в не-

проглядное видение напряженным исканием пророчества, в ледяном ветре предчувствий. Порошило глаза, застилало, залепляло внезапным ливнем искр. Голоса ночи звучали невнятно, как зловещие причитания старух. Они глухо катились тяжелыми шарами за стеной, но разобрать предупреждения этих подавленных раскатов было настолько необходимо, что она поднялась с постели, и вдруг ее слух открылся. Он открылся, как открывается действительность и ее шумы упорно работающему, или задумавшемуся, или страдающему человеку ночью. Оказывается, в то время, когда внимание блуждало по заманчивым мирам любви, изобретений, творчества, борьбы, или мучений ревности, или даже мелких умыслов,— здесь, где помещается твое тело, пошел дождь. Он успел разойтись и расшуметься и, должно быть, прибывал не раз, и затихал, и жил своим беззастенчивым бытом, быть может, несколько часов. За стеной в столовой разговаривали, и, по забывчивости, довольно громко. Таня прислушалась. Сонливости как не было. Подошла к двери, чуть-чуть приоткрыла, и часть комнаты столбом вздыбилась в узкой щели. Разговор походил на бурю. Буря неслась к своей неведомой цели,— вероятно, разрядить, рассеять какие-то неблагополучные скопления в атмосфере. Иногда в щель, отхватившую конец стола, облитого желтым абажуром, попадали то лицо, то отсек тела, руки Крейслера выползали, огромные и медленные, как две рассерженных черепахи,— он ими как бы придавливал ответы Веремиенко на тяжелые его вопросы. Онуфрий Ипатыч возникал в поле зрения лишь парусиновым плечом и географическим профилем, с носом, похожим на Апеннинский полуостров. Взволнованный до крайности, он сбивался на украинский акцент, которого обычно совестился. Голос, натруженный и сиплый, тлел, стлался, как дым, и лишь иногда со дна коптящего этого тембра вспыхивали влажные и грудные ноты.

IV

— Я выплыл с ее шарфом. Мне хотелось плюнуть в морду и Муханову, и ей, и всей честной компании. Тер-Погосов сказал: «А, ты умеешь плавать? Это пригодится». И пригодилось. Мы выехали к вечеру. Тер-Погосов с нами, начальником каравана. Почти сутки я промучился, набирался

духу... Я взял Тер-Погосова и Муханова, отвел на корму и...

Веремиенко вскочил со стула, заметался по комнате, ловя разрозненные остатки впечатлений, воспоминаний, в погоне за их страшной правдивостью, жженье которой не позволяет не только солгать, но и утаить что-нибудь. Коренастое, крепкое его тело как бы не вмещало всей отравы раскаяния, точнее будет — откровенности; он задыхался. Подглазники и отвисшие с угловатых скул щеки наливались какой-то вредной, прозрачной влагой: он побледнел.

— Я сказал, что дележ они творили неправильно, потому что считал, что я им помогал не только по делам мастерской, но и здесь, в Черноречье, через Бухбиндера, когда наводил на след аппаратов «Вермореля», про которые я знал, где они есть и у кого в округе. При дележе выходило, что мне можно было выдать на руки девяносто фунтов из тех денег, что были сообща получены за парижскую зелень, да тысячу рублей с мастерской, да четыреста мелочи; итого выходило две тысячи триста. Муханов мне задолжал фунтов четырнадцать,— он был должен больше, но вычитал мою долю в выпивке как хотел. Да что там языком колотить,— три тысячи рублей я требовал... У меня были свои виды на эти деньги...

На Крейслера падала тень абажура, но и в тени было видно, как прядала болезненная усмешка в небритой бороде. Руки бродили по скатерти. Они тоже как бы следовали за мечущимся, шелестящим парусиной Онуфрием Ипатычем.

— И Бухбиндер? — спросил он.— И Бухбиндер,— ответил он сам себе.— И вы... Я ничего не понимаю. Насколько надо оглушить себя, чтобы пойти на все это. Здесь на нас бросается с бессмысленной яростью природа. Скорлупки нашей жизни утлы и беспомощны. Всякий, кто видел это, должен задуматься. И вдруг такая мизерная, грязная суета!..

Веремиенко посмотрел на него с оторопью не в тот дом попавшего человека, но, приняв и это за необходимую подробность поисков справедливости, вытер тремя пальцами пот с носа и стремительно понесся дальше. Он уже рассказывал то, что ему чудилось, что примерещилось в борьбе с Тер-Погосовым, когда он придумывал угрожающие слова.

— Тер-Погосов рассмеялся мне в физиономию, а Муханов сказал, что я — век проживи в Черноречье — не увидал бы таких денег. «А если к стенке становиться, то не все ли равно — за полторы тысячи или за три»,— и ощерился тоже.

Морда бледная, мямлит, слова, как слюнявые куски, падают изо рта. «А самое важное,— говорит,— спасаться надо, концы прятать в воду». Показывает на баржу. Я ответил. «Концы пойдут в воду, если мне вернут мои концы».

Рассказчик поднялся над столом, смотря поверх плеча собеседника. Там вился бред прошлого, продираясь через который он вышел весь в колючках,— боль от них — ручательство, что все это было. Свет лампы не падал за спину Крейслера. Но море, разлившееся за ним, казалось светлее неба, и только к горизонту оно темнело настолько, что эта линия не улавливалась, лишь намечалась дрожащими отражениями звезд. На темной, без колебаний преследовавшей пароход барже горели два огня, стиснутые мглой. Она сглаживала следы, как утюг, и вдруг, оглядываясь на раскрывшего рот Онуфрия Ипатыча, нырнула в окно. Но видение не смешалось,— как не смешалось бы масло с водой,— с воспоминаниями, и он, паля папиросу, продолжал:

— Стою, жду, когда вылезет бумажник. И они стоят. Каждый друг друга понимает, а все трое мы застыли, как статуи. Такие в каждом из нас сильные желания и чувства, знаешь — и страх, и жадность, и расчет... но нет сил с места сдвинуться! В ином положении, может быть, спором изошли бы, а на грузовом судне не раскричишься, кругом тишина, могут услыхать. Только птицы по воде барахтаются, бурлят. И вдруг я как чихну! «Ап-чхи! — говорю.— Будь здоров, Капусткин!» Тер-Погосов даже скорчился, к Муханову: «Доставай свою долю!» Пошли в каюту, через пять минут принесли мои деньги.

Рассказывая так, он бахвалился, врал. Но как же иначе изобразить победу над хитрым и увертливым врагом? Каменные глаза собеседника не отразили жалкой улыбки, которой торжествовал Веремиенко. Он потер ладонь, похлопал по ней пальцами, изображая, как это делается: «Деньги на бочку!» Без словесного сопровождения движения эти его самого оскорбляли до слез, но в сухом рту не поворачивался язык, свинцовевший, как у паралитика. Тишина комнаты, сизый зверь из дыма и духоты, мохнатилась занавесками, подслеповато мигала окнами, тяжело дышала. Веремиенко поворачивал голову с ощущением телесной тоски человека, которому неудобно собственное тело: и шея коротка, и грудная клетка узка, кровь струится, прилипая к стенкам сосудов, как сироп, и едва справляется с этой вязкой тягучестью

сердца. Он слишком много выболтал, не хватало воздуха.

Крейслер безжалостно твердил свое — себе самому. Он слушал себя, и когда заговорил, то сам не ощутил перерыва в мыслях, того возврата к обдуманному, который необходим, чтобы начать речь. Тот внутренний Крейслер говорил ему, что ему неприятны все эти треволнения подлости, к которым хотят сделать его причастным. Место, на котором самое физическое существование его безопасно в рассерженной вселенной не больше булавочной головки. Кругом бушует вихрь неблагополучия и ущербов.

— Как все это мелко! Как все это мелко!

Ему мнилось, что он высказывает самое сокровенное и самое сложное, что измыслил во многомесячном уединении. Если это исповедь, то она брызжет грязью. Он не понимал, что Веремиенко ищет возмездия. И отшатнулся, когда услыхал хриплый вскрик:

— Что мелко-то, праведника твою мать?

Онуфрий Ипатыч отпрянул в угол, налился чернотой и, грозя кому-то кулаком, который досягал до середины комнаты, бессвязно проклинал:

— Высокие! Снеговые! Честны и сладки, ну соси их! А мы на низменное пошли... Как она вселится тебе в каждую жилу, и сама не знает угомона, и тебе не даст передыха. Слезы на глаза нагоняет, по губам сухой шерстью водит, под ногтями, как червь, грызет. Ты в жару, тебе водки не хватает его залить. Знаешь, что это такое?

Крейслер смотрел недоуменно.

— Не знаешь? А живешь. А вот я завтра встану к стенке, да знаю, что без этого жизнь не мила, а с этим и смерть не страшна. Ты на меня, праведник, не смотри такими глазами, как будто арестовать готов. Арестуй, гад! Я и тебя люблю.

Крейслер смотрел недоуменно. В окна лилось что-то мутно-синее, пахнувшее холодом, чирикнувшее раза два и донесшее лошадиное ржанье. Колебалась неживая, траурная ветка платана. Серость и мутность пересиливали безжизненное мерцание лампы над столом. Они врывались и, словно отдавая углам осадок, разжижались на глазах. В этом выцветании ночи приняло участие неожиданное лицо. Почти не расширяя щели, Таня выскользнула из двери и медленно направилась к Веремиенко. Он остолбенел. Папильотки в волосах, влажные ресницы, бледные, почти не разнящиеся

цветом от зубов, губы. Она приблизилась беззвучной поступью, взяла и подняла его темную, в рубцах и мозолях руку. Подняла его руку с твердыми, грязными ногтями, прижалась к ней и сухим и горячим, как слеза, поцелуем.

— Простите его, Онуфрий Ипатыч.

V

За окном разыгрывалось утро. И не только за окном: оно ввалилось в комнату, полновластно царило в доме, обнажило тягостную заношенность мебели, забралось в углы с серыми кругами паутины и пятнами пыли, словно плесень, прилипшая всюду. Комната оказалась полна саранчой, начавшей беспокоиться, прыгать. Крейслер не замечал ее, сидел изнеможенный, с таким ощущением, словно струя холодной ртути вымыла мозг из черепа, налилась и застыла в костях. Где-то стороной летела буря мыслей, чувств, страстей, и охвостья этой заверти иногда проносились сквозь него, распластанного на стуле. Заснуть? Но то, чем засыпают люди, те неведомые центры, которые насылают на нас блаженную темноту дремоты,— их тоже вымыло льдистым потоком. Он озирался, учась ненавидеть все, что видел, он воспитывал в себе обезьяну злости, которая будет в точности походить на Михаила Крейслера, но с длинными, до полу, руками, с волочащимся по земле задом, с тяжелой челюстью, с дюймовыми клыками, с языком, любящим лизать кровь. Утро добрело до кухни, разбудило Степаниду, она загрохотала посудой, раздувала самовар. Осматриваясь, Крейслер заметил на письменном столе лист бумаги, в который обычно заносил записи наблюдений за саранчой, и с вечера оставил незаполненным. Белизна бумаги вернула к жизни. «Ах, да... саранча...» Он встал и пошел в спальню.

Жена лежала одетая. Ее лицо, металлически-бледное, отличалось от залежанной наволочки только блеском и более глубокими тенями. Она открыла глаза — ему показалось — с шумом.

— Что же ты наделала, Таня? — спросил он таким разжалобленным тоном, словно готовился изойти жалобами.— Ну, что ты наделала? До сих пор я все понимал в нашей жизни и, как она ни страшна была, мы любили друг друга и все скрашивалось.

Едва размыкая губы, сплоенные отвращением, он шепотом спросил:

— Ты любишь его? Этого преступника, участника воровства, подлых хищений...

И вдруг услыхал в ушах какой-то шум, с которым все равно не жить, и, перебивая его, Михаил Михайлович сам начал кричать, махать руками, со стороны видя себя разгневанным и грозным. Он ругал Веремиенко площадными словами, позорил и через каждые пять минут твердил: «И ты любишь такого!» Она давно поднялась с постели, на лицо ее нанесены были искажения ужаса, брезгливости. И слез, чтобы смыть это, не было. Земля ускользала из-под ног, и, ловя ее, она кричала: «Замолчи!» Он не подчинялся. И ей, только что видевшей любовь, на которую она ничем не ответила, которую не вознаградила, стало унизительно слушать его.

— Замолчи, говорю. Ты ничего не понимаешь, ты — груб. Меня обвиняешь в измене, а сам... На себя погляди, с какой-то заезжей дурой проводишь по полночи. А Веремиенко... Он все, что у него есть: достояние, честь, жизнь,— принес в жертву. Он действительно любит. И как благородно... Он не пришел ко мне: «На вот,— поезжай куда хочешь. Покупаю тебя». Ведь я сама ему жаловалась...

«Сама»,— хотел сказать он. Это слово предназначалось уязвить, обидеть ее, отомстить за него, разрешить сомнения, наконец... Но в дверь постучали.

— Кто там?

Крейслер в бешенстве бросился к дверям. На пороге стоял Веремиенко. В темноте наплывающего беспамятства Крейслер почувствовал, как пальцы, готовые протянуться к горлу соперника, наливаются сухой силой. Тот вытянул жилистую шею, бормотал: «Меня обокрали, сволочи... Он убежал...» Крейслер очнулся.

— Кто?

И сразу вспомнил то, что не мог вспомнить вчера. Ему открыли преступление, а он, вместо того чтобы начать действовать, устраивает сцены жене. Не оборачиваясь на нее, он за руку вывел Веремиенко из спальни. Захлебываясь, бессвязно, Онуфрий Ипатыч сообщил, что держал деньги в матраце. Вернувшись домой, он застал свою постель перерытою, бросился к ней и увидал, что матрац взрезан.

— Я сначала думал, посторонние кто, бандиты или эти

беженцы,— тоже разбойники. Бросаюсь в комнату Муханова, там пусто, и видно, что быстро собирался... ау...

Он пытался сунуть Крейслеру какую-то бумажку.

— Вот десять фунтов, все, что осталось.

Глава девятая

I

Совершенно неожиданно из Асад-Абада утром приехали Траянов и Эффендиев. Эффендиев пылал. За последние дни он снова объехал весь район, распределял продовольствие, но все делал с ожесточением отчаяния, передавшимся ему от населения. Он очень тонко чувствовал колебания массы, а она отступала перед саранчой. Он боялся непонимания в работе — и ничего не понимал. До тех, впрочем, пор, пока Траянов ему не объяснил причину провала экспедиции, все ее неурядицы, бестолковщину, так застопорившую борьбу. И Эффендиев стонал во время рассказа. «Ай-ай-ай!» — крякал он, казалось, почти добродушно и непрестанно качал головой.

— Как же так? — спрашивал он.— Окрутили? На завод! — резко сказал он, и зубы его сверкнули с жестоким лукавством.

Крейслер вызвал его в контору, рассказал, что произошло. Радость загорелась на смуглом лице Эффендиева; преступники, аресты, погоня,— это просто и несомненно, он не любил сомневаться.

— Надо арестовать Веремиенко,— заявил он.

— Успеем, не уйдет,— ответил Михаил Михайлович.

— Нас побьют, народ лют.

Глаза его блестели.

— Ты чего торжествуешь? — с досадой спросил Крейслер.

— Я никогда не видел такого возбуждения, такой активности. Нас побьют, а активность останется. А, гады, до чего дошли. Догнать — догоним. У нас машина.

Утро блистало над степью такое, словно ее вплавили в голубой бриллиант и бриллиант этот непрестанно поворачивали перед рассиявшимся солнцем. Почти весело суетились у автомобиля, собирая винтовки, проверяя револьверы.

И только Веремиенко горбился серый, с дрожащими руками, бесформенный в этом четком мире. Едкая струйка пота скатилась с переносицы к губе, он не удосуживался ее вытереть и все слизывал.

— Тебе придется остаться здесь,— сказал Эффендиев.

Веремиенко с жалкой ненавистью поглядел на сидевших в машине.

— Я не выдам. Я злее всех.

Грохот мотора, оружие, минутное замешательство привлекли внимание. Вокруг машины толпились беженцы. Сегодня им не дали работы, они верхним чутьем догадались, в чем дело: прошел слух, что кто-то бежал с деньгами, предназначенными для покупки хлеба. Они глухо переговаривались, глядели упорно в землю и, подталкивая один другого, пробивались к крыльцу, загораживая путь к воротам. Их лохмотья, совершенно бесстыдные, сбившиеся волосы, выцветшие по концам на солнце, как лен, казались тоже изъеденными саранчой. Худые скулы, краснота ожогов, в глазах цвета незрелой ржи — лихорадочный блеск подхваченной на болотах малярии. Кто-то громко спросил сзади:

— Куда путь держите, граждане?

И все сразу кинулись к крыльям, колесам, облепили кузов привычным напором нищих, попрошаек, обесстыженных голодом и бездомностью, бегством с родных полей. Приволжские, заволжские холмы, царицынские балки, овраги, пески, бузулукские и бугурусланские черноземы, щедрые и суровые края, поля, поля... Каждая десятина подымала зыблющимися шейками стеблей десятки и сотни пудов золотой пшеницы, ячменя, овсов. Гибкое это богатство подступало к прекрасным станицам и селам в мальвах, в вишенье, в желтых ризах подсолнечников. Ребята и куры купаются в пыли, ребята и гуси купаются в прудах. Тишина и порядок, тяжелые, как плодородная пыль, властвуют в селе, богатство, кормящее его, требовательно и жестоко. Богатство оставляет на отдых из суток четыре часа, остальные двадцать приковывая к плугу, к жнейке. Богатство пытает, выворачивает кости и жилы на влажных от пота и гладких от ладоней деревянных и железных ручках орудий. Богатство привязывает к хвосту лошади и разметывает крестьянскую силу по полю. У него не забалуешь,— за непослушание, за невнимание оно вымотает душу, накажет позором,

удушит нищетой. Строгое и истовое повиновение полю растило и воспитывало этих людей. И все распалось. Все сгорело и высохло, поглотила растрескавшаяся земля. Жесткие объятия родного поля, мертво разомкнувшись, отпустили на окаянную свободу: бродяжничать и голодовать.

Они кричали, вопили, перегибались в кузов, махали руками, брызгали слюной. Не то пожар, не то базар, не то поймали конокрадов,— самосудные выкрики дрожали над суматохой.

— Нашу гибель сымали на картинках, пущай свою подлость сымут,— отчетливо услыхал Крейслер и мгновенно нашел старика Маракушева.

Волосатые руки, костлявые каменные кулаки мелькали перед глазами. Откинулся от насевших спереди, затылок попал в горячую пену дыханий. Толпа прибывала, плотнела, бежали бабы, старики, детишки. Все твердо понимали лишь одно, что в воплях у крыльца заведующего нет ничего хорошего, а проклятой жизни обещает ухудшение, хотя хуже, кажется, и некуда. Так и понимала дикий ропот упавшая на подоконник Таня. «Фордик» затерли спины, головы, люди забирались на изгородь палисада, на холмики клумб, на крыльцо, на перила. Что-то трещало,— вероятно, сучья деревьев. Ребята ругались матерно. Женщины кляли безлично и ужасающе всех и все.

Постепенно гул стал утихать. Из глубоких недр толпы пошли увещевательные восклицания. Толпа тишала. Так дружно принимается дождь над взбаламученным пыльным городом. Пыль укладывается черной рябью под отдельными каплями, рябь быстро сливается, и на сплошной корке грязи выясняются колеи, остатки мостовой, потоки. И город утихомирен.

Высоко над толпой поднялась черная голова Эффендиева. Он принимал гул плавными взмахами рук. Губы его шевелились, рот открывался, и эти неслышные усилья могущественно влияли на толпу.

— Товарищи! — каркал он.— Тише, товарищи, дайте говорить.

Крейслер слыхал это несколько минут. Тане казалось, что оратор произносит невесть что занятное. Заглушали задние, их останавливали: «Объяснит, объясню, пусть объяснят!»...

— Саранча сегодня и завтра будет окрыляться, в не-

сколько дней унесется отсюда. В лётном состоянии борьба с ней невозможна... Мы сделали все... организованные крестьяне, рабочие, служащие... не в наших силах... мы не могли задержать стихийное бедствие... как если бы разлив Куры... затапливает двести — триста тысяч десятин...

Таня никогда не могла понять, какое таинственное дополнение вселяется в этого человека, в обычной беседе посредственно вяжущего слова, в особенности если сравнить с беседой Михаила Михайловича. Стоит ему увидать перед собой толпу,— он легким усилием строит над их головами несложное и все же чудесное здание речи. Он понимал простые мысли и запросы объединений, множеств людей, отвечал только им. И он знал, что̀ отвечает правильно.

— Мы исчерпали все средства борьбы. Но в то время, пока мы боролись, некоторые прихвостни буржуазии совершали преступления. Они хотят улизнуть от пролетарского правосудья в Персию. Мы должны их догнать. Но прежде чем мы вас организованно рассчитаем,— паек будет выдаваться.

Количество сообщений поразило, оглушило слушателей. Автомобиль, неистово треща, на первой скорости, рыча гудком, бросавшимся на зевак, быстро вышел к воротам. Таня наблюдала движение по дымку, стлавшемуся за ним. Она не заметила, как кто-то кинул вслед камень.

II

Камень гулко ударился в обшивку.

— А,— крикнул Эффендиев,— предупреждают. Береги завод.

Содрогаясь от напряжения, автомобиль повернул за ворота и нырнул в сияние дали, разбежавшейся перед ним. Воздух был сух, прозрачен. Черноречье налезало на глаза, как шапка. На поворотах машину заносило, у Михаила Михайловича екало под сердцем, радость скорости, мелькание быстрого пути мгновенно освежили и высинили душу. Двор, засоренный саранчой и орущими ртами, остался позади. Спереди, от Траянова несло растрепанную бороду и какие-то восклицания.

— Не слыхать! — отозвался Крейслер.

Ветер рвал крик, забивал обратно в горло.

— ...аптеке Бухбиндера...

Эти минуты поездки были бы совсем прекрасны, если бы не спутники. Эффендиев истощался тонкой злобой, ветер раздувал угли его глаз, он жмурился, пальцы когтили винтовку, как будущую добычу. Особенно мучительно согнулась спина Онуфрия Ипатыча, привскакивавшего мешковато, безвольно, бессопротивленно на каждом толчке. «Вот она, будущая добыча!» Крейслеру сделалось стыдно, он оттолкнул винтовку. «Вот на такого ты и понадеялась»,— с ненавистью подумал он.

— Что? — хрипло каркнул Эффендиев, поглядев на шевелящиеся губы.

«Следишь!» — мысленно огрызнулся Михаил Михайлович.

Аптеку Бухбиндера можно было узнать издали по обморочно зеленым ставням, наглухо закрытым в неурочный час. Несколько мальчишек торчало у палисадника. На крыльце сидела канареечная девица. Она, не мигая, вперилась в остановившийся автомобиль, сказала, не вставая с приступки:

— Уехал Григорий Борисович.

Все утро повторяла, ей надоело бы хуже горькой редьки, но было приятно удивлять других свободой, канареечным платьем, сообщением.

Эффендиев выхватил из толпы мальчишек беловолосого подростка, который растерянно вертел пустой аптечный пузырек с желтым языком сигнатуры у горлышка.

— Позови милиционера.

Мальчуган преданно взвизгнул и ринулся в пыльную улицу. За ним понеслись другие. Эффендиев подошел к крыльцу и, не отводя глаз от девицыной переносицы, спросил,— с кем уехал?

— Один, совершенно один,— ответила она, расправляя юбки, текшие по ступенькам.

— Встань, когда разговариваешь!

Вдохновение осенило его. «Гроза!» — гордился он про себя. Девицыны глазки поехали вкось. Ее только и нужно было заставить сняться с нагретого задом камня.

— Врешь, они уехали втроем.

Захныкала, лицо исказилось на резком свете солнца, рот пополз, словно в него попал кусок соли.

— Он сказал, что один, не видала я, дяденька.

Причитала, как будто теперь только поняла зловещий

отъезд хозяина с чужими людьми. Крейслера подергивало от ее безобразных слез. На суматоху собирались добровольные понятые допроса, любопытствовали взрослые мужики.

— Черт вас знает, саранча у вас, разорение, а вы все бросили, торчите.

Кто-то брюзгливо возразил:

— Саранча-то и у тебя тоже разоряет. А ты сам тут, товарищ, торчишь. Кабы не полномоченный... Набуробили чевой-то, от людей скрываются...

«Ну, опять холерный бунт...» Михаил Михайлович не успел додумать, увидал пана Вильского. Тот, очевидно, привстал на цыпочки: усы его высоко шевелились над шляпами мужиков. Он мигал так выразительно, словно дергал за рукав. Михаил Михайлович повиновался, пошел за угол палисада, и пан, вовсе не таясь, вынул из кармана две золотых десятирублевки, давно не виданного, непривычного, красного блеска, показал и, шевеля усами, прошептал:

— Чи не надули, Михаил Михайлович? Вместо тех ста,— двадцать. А я помог им, как за сто,— теперь раскаиваюсь. Они поскакали по дороге к границе, через станцию мелиорации вон тéго инженера Траянова.

Крейслер отшатнулся: кругом преступления, пособничество, обман, предательство. В ресницах пана Вильского переливалась влага обиды, бесцветные зрачки студенились, подрагивали. Подбрасывая на ладони монеты, он проклинал:

— О-т, курва неверная, сволочь!

Как соглядатай, неожиданно из-за ограды вылез Веремиенко:

— Юпитер, ты сердишься, значит, ты виноват,— сказал он бессмысленно и улыбнулся так, точно ему сдирали губы тупым ножом.

Эффендиев из сельсовета созвонился по телефону с пограничными властями, вызвал дополнительно милицию, послал на завод. На место Онуфрия Ипатыча сел тоже милиционер, Веремиенко как будто забыли, не замечали. Он тихо побрел домой.

Древний дух преследования пригнул Траянова к рулю, напряг до боли глаза Крейслера, и даже милиционер озирал безмерный кругозор Степи с такой внимательностью, словно искал иголку. Воздух был алмазно чист, земля бездыханна. Слева, на востоке, чуть-чуть иззубривая горизонт, легкой сиреневой грядкой прилегли горы Талшинского хребта.

Два-три раза в году в особо ясное утро их видно с такой отчетливостью. Под колесами автомобиля стлалась широкая гладкая дорога, пробитая верблюдами, их медленным, печатающим ровный след шагом. Шлях сливался с равниной, разматывался незаметно.

— А вон и мой хутор! — крикнул Траянов.

Крейслер и без того узнавал места, знакомые по блужданиям несколько недель тому назад. Как все изменилось, однако. Изумрудная трава побурела, пожухла, покрылась пылью. Даже черный остов пожарища показался меньше, приземистей, как будто и он выветрился за это время. Траянов замедлил ход, машину раза два тряхнуло на заросших колеях. Обогнули остатки сада с незабываемыми розами, выбрались на открытую дорогу.

Эффендиев приподнялся, вцепился железными пальцами в плечо Михаила Михайловича. Чабанское зрение настигало беглецов.

Крейслер почему-то испугался этой зоркости. Но в ответ на веяние испуга в лицо бросилась жаркая волна крови.

— Где? Где?

— Влево смотри, влево.

И Эффендиев рвал его плечо.

— Вижу, я вижу! — закричал Траянов.

Эффендиев взмахнул ружьем.

— Молодец, старик. Прибавь газу.

Он смеялся, громко смеялся, широко и пьяно скалил длинные зубы, смех походил на клекот. Машина содрогалась. Ее подбрасывало переменой скорости. Они врезались в упругий воздух с грохотом, со свистом. Бороду Траянова давно снесло к ушам. Милиционеру приминало нос и щеки, и, чтобы расправить, он отворачивался назад. Пыль висела сзади. Упругие ее клубы, одинаковой величины, плотности и веса, толкали машину. Запах травы сгустился, как в сеннике. Ветер придирался к ресницам, к волосам, к малейшей слабости кожи: на этих местах почти накипала боль. Горизонт качался.

III

— Боже мой, как все это идиотски несуразно... Можно же было заранее приобрести хурджимы, а не везти вещи в неудобных фибровых чемоданах.

Евгения Валериановна чуть не плакала. Она была наделена тем внутренним зрением, которое позволяет видеть себя со стороны,— это по привычке смотреться в зеркало. Трясясь в высоком и скользком, подпирающем ягодицы казачьем седле, она теряла посадку, силу, уверенность, элегантность. Она знала, что посерела от пыли, пота, усталости. А губы... Их не покрасишь. Ей казалось, что лицо ее бросает уродливую тень на землю. Можно разрыдаться, укусить палец, когда видишь таких спутников. Конечно, и Тер-Погосов и Бухбиндер должны быть смешны на лошади. Но кто мог думать, что они будут так отвратительно смешны! Безобразны! У аптекаря сбились до колен брюки, из-под них глядели нечистые подштанники, уходившие в рваные носки. Он держался за луку обеими руками и, когда лошади переходили в вялую тряскую рысь, безнадежно шмыгал носом. Проводник, контрабандист Гуссейн, почтенный, как мулла, все время поторапливая, взглядывал на Бухбиндера и замолкал. Тер-Погосов невероятно потел, его черная борода в пыли походила на мышиную шкурку.

— Надо дать лошадям отдохнуть. Мне эти свертки отбили колени,— сказал он.

Бухбиндер выбросил ноги из стремян.

— Ох, пусть уж лучше нас поймают, чем такое мучение!

— Стенки захотелось,— заметил Тер-Погосов.

Муханов застонал и стал многословно ругать Бухбиндера, говоря, что он задерживает.

Пресек ругань и заблагодушествовал, похлопывая по шее лошадь, приговаривал: «Ну, только не сдай, конек». И хвалил свою лошадь, ее стати, рысь. Он говорил, чтобы не молчать. Он говорил, что механический транспорт убивает красоту преодоления пространства, подвижничество поездки, в который раз вспоминал Пушкина, в возке, в кибитке, в бричке преодолевавшего российские пространства. Восклицал: «А как знал страну поэт!» Гуссейн слушал, усмехался в серебряную бороду, плотно лежавшую на обветренных щеках.

— Лошадь — хароший (он произносил «ш» почти как «щ»). Поезд лучче. Поезд можино,— я контрабанду поездом повезу. Скорый.

Муханов обрадовался возражению, он говорил, лишь бы не молчать. Он доказывал, что до этих мест не скоро доберется машина.

— Не привередничай, довольствуйся конякой.

— Это же невозможный человек,— взмолился Бухбиндер.— У меня же голова разболелась от этих лошадей. Какая неделикатность.

Муханов обиделся, попросил не брюзжать. Евгения Валериановна поняла, что надежда спастись вытеснила в нем все страхи: в его неёмкой душе полновластно царила только одна эмоция, изгоняя другие. Он тронул своего горячего жеребчика, действительно лучшего в темном хозяйстве Гуссейна, и проехал мимо жены, улыбаясь. Та собрала приветливость улыбнуться в ответ, и он крупным галопом поскакал к возвышавшемуся справа холму.

— Помещик и дворянин. Он ездит верхом, как генерал от кавалерии. А я, бедный еврей, всю жизнь торчал с пробирками за прилавком. Но мне жалко и такой жизни.

Муханов сделал руку козырьком и долго всматривался в слегка помутневшую от зноя даль. Слоистый воздух стеклянно волновался и вдалеке неуловимо смазывал очертания предметов. Пыль, которую они подняли при проезде, долго не укладывалась, дымка тянулась далеко назад. И там, где она совершенно сливалась с краем неба, там вдруг появилось маленькое черное пятнышко, за которым струилась, как едва заметная черточка, полоска дыма.

— Что ты там рассматриваешь? — закричал Тер-Погосов.

Они давно миновали холм и ехали шагом. Пятнышко увеличивалось. Полоска получила цвет, она была серая, она была пылью. Муханов спустился к дороге, догнал спутников, лицо его мертвенно застыло, над нижней губой поблескивали золотые пломбы.

— Нас догоняют на автомобиле. Нас видят. Степь. Ровное место. Деваться некуда, и лошади утомлены.

Он бросил поводья, конь радостно отфыркивался, мотал головой.

— Мы будем отстреливаться?

В вопросе женщины звучала мука и надежда. Пусть эти люди защищают ее. Может быть, это она видит во сне. Но испытание людей должно быть явственным.

— Чем? Чемоданом? — отозвался Бухбиндер.

— Кто-то выдал,— глухо бормотал Тер-Погосов.— Поляк проклятый... Как они могли сразу догадаться... поехать по

этой дороге. Там же всего один «форд»... А вон синие горы, Персия, спасение...

Муханов швырнул чемодан на землю.

— Я не поеду дальше. Бессмысленно раздражать людей. Догонят, убьют,— скажут, при побеге. Да и куда удерешь на этих одрах! Машина приближается на глазах...

— Эх, что тут еще! — завопил Бухбиндер, обхватил лошадь за шею и, нахлестывая ее пятками, пустился вскачь.

Где-то сбоку и спереди ухнул, прокатился выстрел, другой, и сзади, часто, часто, но резко и отчетливо, поддержали.

— Пограничники,— сказал одними губами Гуссейн.

Тогда и Тер-Погосов бросил свой баульчик. Лошади тревожно прядали ушами, тяжело дышали, опасливо поджимались, но, привычные ко всему, стояли покорно. Гуссейн смотрел назад. Уже как дальняя барабанная дробь слышался победный треск машины. Выстрелы смолкли. «А Бухбиндер-то!» — хотела сказать Евгения Валерьяновна, подняла даже руку, чтобы показать, как быстро скрывают беглеца клубы пыли, но несколько таких же клубов появилось наперерез ему, они росли над ровным горизонтом, где лиловеющие горы казались чудесной пряжкой, которой прикалывали небо к земле. Машина грохотала все ближе, неуклонно набегающий прилив этих звуков шевелил волоски на затылке, но Евгения Валерьяновна, крепко сжав в мокрой руке поводья, не оборачивалась, смотрела вперед, и только вперед, где воздушный след Бухбиндера становился все легче,— аптекарь действительно как будто летел. И это после чуть ли не четырех часов езды! Женщине хотелось зарыдать. И вдруг пыль начала оседать. И близко, ближе, чем ей виделось все время, вырисовывалась лошадь, лошадь одна, без всадника, лошадь остановилась. И так же стали ясны трое карьером несшихся пограничников, весело кидавших винтовки.

— Пристрелили,— сказал Тер-Погосов.

Ей послышалось, как будто он сказал даже облегченно. Но эти мысли заглушил налетевший мотор. Евгения Валерьяновна повернулась к опасности. За грохотом двигателя, за ревом сирены мощно золотились толстые завитки пыли, и оттуда бил нестерпимый жар.

— Стой! — бессмысленно кричали из автомобиля, наводя дула.

Лошадь Евгении Валерьяновны резко шарахнулась, но всадница из всех сил сдержала ее.

Милиционер, путаясь в шашке, бежал к ней.

IV

У самых ворот Онуфрий Ипатыч встретил Марью Ивановну. На ней был ядовито-синий сатиновый капот, обтягивавший ее мощное тело, потевшее от огорчения и любопытства. Круглое, восковое лицо, на которое не садился даже загар,— так оно было масляничто,— сморщилось, когда она увидала медленный, какой-то липкий шаг Веремиенко.

— Онуфрий Ипатыч,— сказала она шепотом,— здравствуйте. Сто лет вас не видала, а дела-то какие...— Она шептала все тише, словно приманивая его, и не отпускала его вялой руки.— Кругом саранча, все жрет, все губит, завод в чужих руках...— Ей, видно, хотелось говорить не об этом, но она стеснялась дневного света.— И с вами что-то деется... и я одна.., хоть бы зашли, а если нужна, кликнули.

Влажное тепло пышело от колыхавшейся груди, пот, как слезы, накипал на щеках. Трое беженцев в лохмотьях, с лопатами вышли из-за тополей, прошли мимо, один громко захохотал:

— Нашли время!

Онуфрий Ипатыч почему-то думал о том, каким голосом говорить ему на допросах, и, передернув плечами, вырвав руки из ее крепких, мягких пальцев, решил молодцевато засмеяться, сказать что-нибудь вроде: «Последний нынешний денечек», в горле заклокотал сиплый кашель.

— Со мною кончено. И жизнь моя — не моя теперь. Заигрались мы с огнем, с казенными денежками.

Махнул рукой и направился к своему флигелю. Она помедлила, гадая, не с перепою ли? Но нет: он ступал твердо и как-то даже нарочно отчетливо. Женщина молча последовала сзади, часто и нервно дыша.

— Сгубила тебя бледная немочь.

Марья Ивановна мотнула головой в сторону, где за тополями сиял красный домик. Веремиенко остановился, но гнева в себе не обнаружил.

— А насчет ее — помолчи. Кто взрослого дурака может погубить? — И, подумав, что не за что обижать бабу, доба-

вил: — Прощай, Маша, не сердись. Плохое я тебе утешение был.

У нее сделались совсем старые щеки, она воровски оглянулась, вскинула было руки обнять, он как будто бы не заметил, быстро зашагал к дому. Она побрела к себе, мелькая за деревьями. Он выждал несколько минут на крыльце, ноги сами понесли к красному дому.

Вошел. Прохлада полутемных комнат пахла мятой, ароматом сырых камней. У него захолонуло сердце. «Кто там?» — раздалось из спальни. Онуфрий Ипатыч смело шагнул туда. Таня стояла посредине комнаты, с мужниной рубахой, которую чинила. Отступила, опустилась на кровать. Он подошел к стулу и не сел. От прилива душевных сил сам себе показался высоким, красивым.

— Онуфрий Ипатыч, что с вами, какой вы...— Таня не договорила — так Онуфрий Ипатыч был плох, сер.— Вы еще на свободе? Так бегите, скройтесь! Вы же знаете, чем это грозит.

Она советовала то, что он все время отгонял от себя, и почти испугала проницательностью. «Как читает»,— мелькнуло в голове. Ему захотелось верить, что эта проницательность происходит от любви, он помедлил, дал время надежде вырасти в убеждение, может быть, она должна была улыбнуться, или прослезиться, или жилка какая-нибудь дернулась бы у рта, вздохнула бы. Или просто со двора послышался бы бодрый, веселый звук,— тогда... Тогда бы все, что переполняло Онуфрия Ипатыча, что сжимало горло, увлажняло ладони, жгло подмышки и губы, хлынуло бы криком, дыханием, объятиями, а тонкая бледная женщина, всплеснув легкими руками, вдохнула бы его всего в себя. Но она не двигалась, лицо не шелохнулось, замер двор, застыл весь мир.

— Куда бежать? — возразил он, разрывая томление.

Она словно обрадовалась сопротивлению, бросала быстрые неуловимые, как воздух, слова.

— Вы местный житель, у вас брат... найдете контрабандистов...

«У меня нет денег»,— хотел он сказать, но вырвалось:

— Куда мне бежать одному!

Она, как ослепленная, откинулась, закрыла глаза. Он медленно повторил свое,— несколько слогов растянулось в бесконечность:

— Куда бежать одному? Зачем? Этого я добивался? (Она не открывала глаз). Да и денег нет. (Она открыла глаза.) Брат ведь не поможет, сам отправит в милицию. Видали же вы его... Топор, а не человек. (Опоздавшие слезы засияли в ресницах.) Нет уж, Татьяна Александровна, буду отвечать.

«Не упрекаю ли я ее?»

— Ах, зачем вы не сказались мне прежде, чем пошли к Михаилу!

Посмотрел на нее удивленно.

— Как же так я вам мог сказать... Так прийти и ляпнуть: «Вот я накрал, бежимте со мной!» Да вы бы меня как бродягу вытолкали. Я бы язык себе вырвал. А у вас муж, чистый, незапятнанный, он издали судил бы... вас... Я ведь не деньгами вас добивался, деньгами я только помочь вам хотел. И тут уж Михаил Михайлович должен был решить, как он на это смотрит. Он вам дорог, вы ему верите. Вас ли деньгами поганить!

Восторг осветил его, обсушил, сгладил ноздреватую кожу на его лице, разъял, расширил веки, блестящие шары вырывались из глазниц, в них могла бы Таня глядеться как в зеркало, так чисто и подробно они отразили ее. Длинные патлы распушились, словно сухое электричество пронизало их. «Мало я его люблю»,— подумала она.

— Господи, да неужели вы не видели, что за последние дни мы потеряли с Мишей общий язык, говорим как чужие. И это не просто семейные сцены. В такие дни — он ухаживает за Бродиной. Кто их знает, что они делают в тополях, когда он ее провожает. У нее муж дурак, пентюх, не видит или намеренно отворачивается, может, и покровительствует. А у Миши появился высокомерный взгляд, когда он смотрит на нее. Я не хочу сплетничать, но так мужчина смотрит на доступную женщину. Он воображает, что я ничего не вижу. Я вижу все, эти усмешки победителя...

Веремиенко, ежась, жалко улыбаясь, опустился на стул. В углах губ у него сбилась и засохла пена. Таня метнула взгляд на него и заморгала и заплакала, прижимая к лицу что попало,— мужнину рубаху. Онуфрий Ипатыч вскочил, несмело приблизился к ней, тронул волосы. Как бы ожидая ожога, отдернул руку. Она зарыдала.

— Не надо, Татьяна Александровна, не то... Я шел

к вам... помогите, поддержите. Сами видите, на какие страсти готовлюсь...

Наклонился неловко к ней, отдал неловко голову в ее тонкие руки, горячее влажное лицо прильнуло к его щеке,— губ он не нашел,— кровь шумела в ушах, как далекий прибой, и, казалось, точила жизнь, которую было не жалко. По животу пробежала щекотка. Этого он не хотел, почувствовал, что краснеет, выпрямился. Ее шея показалась сломленной, и сама она сидела как вдавленная в матрац. Вышел. Таня проследила за его гулкими, ровно прогремевшими по всему дому шагами, встала, рванулась к дверям. «А любит-то, а душа...» Мысли эти гудели в ней, словно их пропели. «Я тоже пойду... вот надо сообщить только Мише. Он поймет, должен понять».

V

— Придется тебя арестовать, Веремиенко. Одна печка-лавочка с теми.

Онуфрий Ипатыч сидел сгорбившись, в углу развороченной своей комнаты и с последними словами Эффендиева поднялся с ободранного кресла. В комнату набилось сразу много народа: Эффендиев, два вооруженных милиционера, Крейслер, пан Вильский, понятые из рабочих. В этом необычном молчаливом многолюдстве не казались странными даже те истинно русские речения, которые бодро произносил официальный председатель рика. Арестованный, видно, приготовился, взял подушку, закатанную заблаговременно в одеяло, твердо двинулся к выходу.

— Прощай, пан,— сказал он, поравнявшись с Вильским.— Прощайте, Михаил Михайлович, ничего вы не раскумекали,— сказал он, поравнявшись с Крейслером.— Вот она, мера человеческого счастья.

И прошествовал мимо, так выбрасывая ноги, словно переступал через невидимые распростертые тела. И каждое это неловкое и важное движение тупо отдавалось в сердце Крейслера, неровно забившемся после странного прощания, слова которого были не вполне понятны и самому произносившему.

Михаил Михайлович с опустошенной и темной головой постоял несколько минут на крыльце флигелька, следя за тем, как шествие во главе с Онуфрием Ипатычем сворачи-

вало к дороге на Черноречье. «Ну, кончилось, и к лучшему»,— прошептал Михаил Михайлович и вдруг схватился и почти побежал домой. Его толкала необъяснимая тревога, похожая на принудительное бодрствование, когда впечатления скользят по затвердевшему сознанию, не проникая в него, а лишь царапая поверхность, и беспокойство ничем не разрешается. «Мера человеческого счастья... мера человеческого счастья...» — повторял он про себя. Эта бессмыслица обозначала грядущее, необыкновенно сложное бедствие, неотвратимое, могущее отнять полжизни,— ну вот, как паралич разбивает половину тела, оставив биться мозг, исколотый ужасом.

Он бежал по двору, запорошенному остатками саранчи, которая лежала странно тихо и неподвижно. Должно быть, продолжалась линька, должно быть, среди этих остатков большая часть была заражена паразитами. «Надо бы исследовать»,— добросовестно отметил Крейслер. Несколько человек неизвестно для чего сметали омертвелых личинок в кучи. Это все были чужие заводу люди, даже подозрительные, кто их знает — откуда и зачем они здесь. Занимаются они, во всяком случае, мало стоящим делом. Михаил Михайлович порывисто остановился, потом, весь сорвавшись как для прыжка в холодную воду, повернул в тополевую аллею, к дому пана Вильского. Тот возился с обмершей от пресыщения курицей.

— Лишних людей надо ликвидировать с завода,— сказал Крейслер сухо и невыразительно.— Саранча окрыляется, им делать здесь нечего. Нельзя отвечать за имущество при таком сброде. Бухбиндер ранен в ногу, слыхали?

И, не продолжив разговора, размашисто зашагал обратно все с тем же грузом однообразных беспокойств. Но, подозревая самое худшее, не мог бы всей силой воображения представить тот мрак, который упал на него и оледенил, когда он увидал: жена сидела у комода и перегружала белье из среднего ящика в старый нескладный саквояж. Муж успел отметить в сознании ее заплаканные, почти счастливые скулы, чуть-чуть порозовевшие от напряжения. Она наклонила голову.

— Да что же это такое, Татьяна?

И услыхал далекий, мучительно спокойный голос:

— Я видела, как его уводили. Я поеду за ним. Я должна помочь ему в тюрьме. Я делаю то, что нужно.

Итак, вот она — мера человеческого счастья! Смешной, безобразный Веремиенко в последние часы предсмертной свободы (Крейслер был уверен, что расстреляют всех пойманных) отнял у него жену.

Он почувствовал, как тело, мягкое, теплое, орошаемое внутри такой нежной здоровой кровью, начинает деревенеть, твердеть, чтобы выделить одну жесткую мысль: «Ну и пусть его, гада, расстреляют». Онуфрий Ипатыч, с лицом опыленным чем-то мертвенно-белым, видным даже в полутьме, вяло переступает ватными ногами. Ему предлагают: «На-ка, закури, гражданин!» Он наклоняется взять папиросу... липкая мгла обливает Крейслера.

Татьяна Александровна возилась в восторженном смятении. Охваченная умилением перед собою и жаром самопожертвования, она не ощущала температуры окружающего. Эта странная чужая любовь, которую она презрела, теперь растеклась по всем жилам, теперь наплыла, как благоуханный ветер, теперь прояснила и высветила сгустившийся вокруг туман больных и противоречивых чувств, сделала драгоценным каждое движение, как первая беременность.

— Ты лезешь в грязную яму! Ты мне гадка! Правильно, убирайся отсюда!

Тот же нестерпимый рот, тот же язык, тот же голос через несколько минут отдавал какие-то приказания во дворе, — в другой вселенной. Таня простояла на коленях неподвижно, не чуя тела, больше часа. Его грубость утвердила ее правоту. Он бессилен изменить жизнь и кричит. Степанида позвала обедать, она отказалась. Она не могла оставаться здесь, чужая этому грубому, жестокому человеку. И, подавляя в себе глубокую боль от неустанно нывшей язвы вырванной любви к нему, она в тот же вечер уехала на станцию Карасунь.

VI

Михаил Михайлович записал последние наблюдения:

«10/VII 1922, 8 ч. 50 м. утра.

Температура на высоте аршина от земли 34° Ц, на поверхности земли на солнцем освещенном месте — 41,5° Ц. Вся саранча — в тени и на растениях. Происходит массовая линька личинок пятого возраста. Массового движения

в определенном направлении не заметно. Питания личинок, а также взрослой саранчи не наблюдается. Количество во дворе завода и прилегающей местности сильно уменьшилось. Надвигается гроза. Гром».

Багровая, как кровоподтек, туча с пухлыми свинцовыми боками, рассекаемая частыми вспышками молний, набирая скорость, плыла на Черноречье, на завод. Она надвигалась на небосвод, как чехол на вагонный фонарь, поглотила солнце, пропускала на землю рассеянный, мутный свет. Крейслер подошел занавесить окно.

— Зачем? — произнес он вслух и остановился.— Ведь это Таня боялась грозы!

Острая боль клюнула под левый сосок, он замычал, выбежал в столовую. Там завтракали муж и жена Бродины. Брови Мальвины Моисеевны взлетели любопытно и соболезнующе. Цветущий супруг ковырялся ложкой в пустой яичной скорлупе.

— Сегодня можно ждать массового отлета окрылившейся саранчи. Надо бы заснять, Осип Александрович.

Бродин с угодливостью счастливца согласился. Михаил Михайлович, чтобы заглушить внутренний шум, тарахтел о том, как редки и сильны в эту пору грозы в их краю, не замечая, что дама подергивается от каждого упоминания о молнии. Воздух чернел и чернел, как зараженная кровь. Мощный непрерывный гул полновластно вмешивался в разговор. Он усиливался. И вдруг под самым окном вырвалось острое пламя и грохот, оглушительный дребезжащий грохот, без эха, без смягчающего раската потряс дом, расщепил небо и землю, тенькнул стаканами и ложками, открыл поток ливня. В звон и грохотанье ворвался напоенный слезами крик: «Я боюсь!» Мальвина Моисеевна вцепилась холодными пальцами в ладонь Крейслера, больно царапаясь ногтями, лепетала что-то о темной комнате, о занавесках, о ставнях. Гром торжествовал над миром и над ее писком. Кольца кудряшек тряслись и как будто заглушенно звенели. Могучая трескотня грома победила все звуки. Можно было воображать, что бесшумно двигаются губы и скрипят суставы. Ее лицо исказилось истинным страхом, сочувственно поблекла и ясная краснота супруга, и он привскочил и, суетливо плюя Крейслеру в ухо, ввинчивал далекий вопль, что жену надо увести, спустить занавеси, наглухо закрыться... Она повисла у Михаила Михайловича на руке, дрожала,

горячо терлась о локоть. Ее теплота мягчила сочившуюся в дом сырость, ее теплота пробивалась сквозь его кожу, и все его тело, вибрируя отзывом на ее нервную дрожь, напитывалось, как влагой, жалостью, нежностью. Он взглянул на нее, она привиделась как в тумане, резкость черт сгладилась, он подумал, что ее можно отнести на руках. И вспомнил, как в коридоре керманшахского караван-сарая он поднял на руки и поцеловал сестрицу в белой косынке...

Гроза глохла в сером сумраке спальни. Гром убирался с зенита. Дождь успокоительно шумел по крыше, по листьям. Водосточная труба захлебывалась и шумела в углу. Мальвина Моисеевна зарылась головой в подушки семейной постели, но, каким-то чутьем угадывая вспышки молний, смутно золотившие парусину занавесей, ежила плечи. Михаил Михайлович сидел рядом, она не отпускала его руки. Кровать отзывалась каждому движению. Гром бушевал где-то вдалеке, мягко рокоча, тишал, оставив ровный плеск дождя и журчание вод. Вонь серы и сырость подползли к постели. Михаил Михайлович обнял успокоенное тело лежавшей ничком женщины. Знакомая невнятица желаний струилась в нем. Она сбросила подушку, открыла розовое ухо, розовую щеку, повернулась,— ему почудилось, преображенная,— прошептала:

— Что вы делаете?

— Пока ничего,— ответил он с неожиданной для себя наглостью.

Сера смешалась с чуть-чуть кислым вкусом распутных, широкорастворяемых губ. Ее тяжелое дыхание свистело в ушах, било в лицо. Михаил Михайлович ужаснулся тому, что делает на Таниной постели, но эту мыслишку снесло, как пушинку.

Поправляясь у зеркала, она огорчилась, что муж рядом. Ее крупная спина заслонила весь угол, где стояло подобие туалета. У нее распухла голова и развились кудряшки. Крейслер грубо рассмеялся.

— Нас ревновали без основания... ну вот...

По столовой он проскочил, прячась от Бродина, успев вполглаза увидать, что тот сидел как брошенный куль.

Туча отливала серебром, удаляясь. Седой подол дождя волочился за ней по голубым теням, которые издали казались ароматными. Сзади вставал жидкий белесый день. Михаилу Михайловичу захотелось побежать за грозой в ребяче-

ском раскаянии, в надежде выдохнуть все отвращение к себе свежему ветру и небесными каплями смыть с кожи следы чужого тела. Туча перевалила на юго-восток, к персидской границе.

Гроза не обеспокоила саранчи. Личинки млели в сонном ожидании преображения, и только взрослые особи, с еще необсохшими слипшимися крылышками, пытались скакать, питались остатками травы, почти на глазах увеличивались в количестве. Крейслер поймал взрослое насекомое, крепкое, страшное по сравнению с беспомощными личинками. Оно могло летать, глаза блестели, как зеленая фольга, оно потеряло свой личиночный защитно-травянистый цвет, у него появилось больше желтизны и блеска и сильно выделились жеребячьи задние ноги.

— В прежнее время боролись с саранчой и в этой стадии, с взрослой. Теперь считается это бесплодным, а если принять во внимание наши средства... Нет, уж теперь будем ждать, когда она улетит. Обычно саранча не остается на месте. У нас тут был один шарлатан, предлагал пугать ее горящими тряпками,— это все, что придумало в его лице обезумевшее человечество...

Михаил Михайлович принуждал себя разглагольствовать. Бродин молча возился у тренога, намереваясь снять приготовление саранчи к лёту. Она, еще неловкими, но уже длинными прыжками, взбиралась по сучьям и ветвям тополей все выше и выше. Солнце властно сушило землю, сушило звонкие крылья, насекомые приобретали янтарный оттенок. Личинки, сбившиеся в кулиги во время дождя, сидевшие под защитой, теперь не отставали от взрослых, только что облинявших, покинувших личиночную одежду, и бодро выползали на широкий свет разыгравшегося дня. На черной земле двора от травы оставались одни стебельки и огрызки, но он снова зазеленел и зажелтел, и тусклое солнце отразилось на живом покрове. Это уже не была та, плотно сбитая масса, которую жгли в полях, это были последние партии, раздробленные, разбитые отряды. Урон, который нанесла саранче двухнедельная борьба нескольких сот человек, был несомненен, хотя и трудно определим с точностью. Об этом и повествовал Крейслер обманутому мужу теплыми предупредительными словами, круглыми оборотами и все оглядывался: может быть, кто-нибудь из зевак набредет на них. Красное лицо Осипа Александро-

вича хранило скучное выражение внимания тому, что предстояло делать. Он вертел объектив, перетаскивал аппарат, искал какую-то точку.

— Снимать ее трудно: мимикрия, подражание среде,— говорил Крейслер.

— Надо, однако, позвать Славку. Мешают только,— проворчал Бродин, ушел, виляя задом. На круглой его спине пиджак морщился горестно.

К вечеру два огромных скопления, как два облака, лётной саранчи, выросшей в непроходимых карасунских трущобах, пронеслись над заводом, как в прошлом году осенью. Они направлялись на пустынную Персию, может быть, по следам прошедшего дождя в поисках влаги и пищи, может быть, в исконное гнездилище в зарослях озера Бей.

А ночью Крейслер не спал. В двенадцать часов, как всегда, прекратила работу динамо-машина, об эту пору обычно он видел бы второй сон, но спокойный сон увезла с собой жена. Он посидел в темноте, но и она никак не напомнила о засыпании. Михаил Михайлович зажег свечку и принялся за обработку записей. Он уже давно решил написать статью в энтомологический журнал. Но в попытки составлять слова и фразы врывались неплодные мысли об Онуфрии Ипатыче, жене, Муханове. На пламя свечи налетали неведомые ночные бабочки, мягко шлепались о бумагу, изувеченные огнем. Из темноты доносились редкие крики ночных птиц, вой шакалов, шорохи спящей земли. И вдруг, почти под самым окном, Михаил Михайлович услыхал встревоженную ругань мужских голосов. В освещенном поле у окна мелькнул бежавший откуда-то человек. За ним, бряцая оружием, протопал милиционер, успевший крикнуть: «Поджигает, товарищ заведующий!» Крейслер взял браунинг и вышел во двор. Голоса приближались из темноты. Речи перебивались тяжелым дыханием.

— Будешь поджигать! А еще борода до пупа.

Крейслер узнал голос помощника пана Вильского. Уже отовсюду бежали люди, пан Вильский в белом халате с фонарем колыхался, приближаясь, Степанида ахала за спиной. Милиционер, задыхаясь, рассказал, что заметил странную возню у двери одного из сараев, где были сложены бензиновые бидоны, аппараты «Вермореля» и всякая истребительная снасть. Он подошел и увидел, что кто-то разжигает костер у самого порога.

— О, курва несчастная! Это же Маракушев! — воскликнул пан Вильский, подымая фонарь к растрепанным седым волосам поджигателя.

— Как же так, старик? За сахарок-то благодарил, как дитя радовался, а теперь... — Крейслер замялся, он не умел чинить допросов.

Старик криво усмехнулся.

— Да ты же только посулил, а не дал. А сынка-то взял.

Вся ночь прошла в возне с расследованием преступления. Старик действительно едва не наделал больших бед. В сарае оставалось горючее.

На другой день поднялась вся саранча, линявшая на заводском поместье. Крейслер вышел утром и всполошился: прекрасная тополевая аллея стояла голая, в черных сучьях, — зеленые листья лежали у корней, черенки были аккуратно перекушены.

На стенах конторы нашли приклеенную хлебом безграмотную прокламацию, написанную химическим карандашом. Из нее с трудом можно было понять, что автор предлагает жечь всех заведующих и недобросовестное начальство.

— Старичок-то сбрендил, — сказал Михаил Михайлович пану Вильскому.

Глава десятая

I

Таня поселилась в облупленном каменном особнячке, сохшем за чахлыми пыльными деревьями на каменной улице, в которой все звуки отдавались шепеляво и протяжно. Прельстивший ее крепостью и изяществом домик внутри оказался мерзостно запущенным, с зыбкими трескучими полами, с гнилой вонью, с пыльно-радужными окнами, как пятна нефти на воде. Глядя на них, хотелось заранее чихнуть. Вещи в комнате, казалось, подмигивали. Истлевшие пуфики ползли по швам на глазах, стулья рассыпались. Владелицы, сестры Римма и Инна Ильиничны, слыли по дощечке над воротами под общей девичьей фамилией Блажко, хотя честно вдовствовали. Они были неопределенного,

вроде ресторанных пальм, возраста, целыми сутками лежали на двух кроватях рококо, в забитой мебелью спальне, всегда подрумяненные, в прическах цвета и вида банной люфы со старомодными валиками. Кружевные несвежие матине растекались по засаленному шелку голубых одеял. Их разорили, наступала старость с болезнями, и больше всего они любили говорить о нищете и недугах. Квартирантка заходила к ним и постоянно заставала их за едой, причем тарелки мгновенно прикрывались чем попало. Старшая, Римма Ильинична, пухлая, крупноносая, дряблокожая, совала страшные подагрические пальцы, хрустела суставами, голые руки ее были толсты, как ноги, и в сосудах, казалось, вместо крови струилась сметана. Младшая была полегче, потоньше, но и у нее локти с ямочками напоминали детские щеки. Жаловалась она на нервную экзему, но в таких местах, что и показать нельзя. Таня в те недели горела непрерывным желанием говорить и делать правду, что-то угловато юношеское укрепило даже ее походку, и однажды сердито брякнула:

— Вы ноете для того, чтобы разжалобить людей и заставлять работать на вас целыми днями Симочку, благо она бесправна и не пойдет кляузничать на мать.

Сестры зашипели, как гусыни, а Симочка, зеленоглазая девушка, похожая на кузнечика, которой трудно было дать девятнадцать лет,— на вид ей выходило от силы шестнадцать,— обняла Таню в полутемной кухне, заплакала.

— Дряни, дряни, и Римка, и Инка. (Так она звала мать и тетку.) Я убежала бы с Ростиславом, да куда денешься? Без средств, ни ложки, ни плошки...

Славка изо дня в день слонялся по противоположному тротуару, делая какие-то знаки в сторону дома Блажко и играя янтарными глазами. Денег на киноэкспедиции он заработал мало. В Симочке тлела осмотрительность Блажко, домовладельцев в пяти поколениях, побег и брак откладывались. Сестры опасались, что внезапно нагрянувший обольститель (Славка или кто другой) похитит даровую работницу, пугались даже мужского голоса в доме. Расправу со Славкой откладывали до свержения Советской власти. Иногда к ним заходил брат, Андрей Ильич. Его окликали еще у парадной настороженно и враждебно, всегда спрашивали, один ли он? Немногословный и медлительный, он

ссыхался, как старая дева, жил впроголодь, но бережно донашивал довоенные пиджаки и шляпы и приносил сестрам не меньше половины ежемесячного жалованья.

— Я пошла в дядю Андрюшу: у него мохнатые брови и овечье сердце. Вот только картошку он чистит в хирургических перчатках, а у меня посмотрите, какие руки, срам...

Он служил в верховном республиканском суде, оказал несколько услуг Татьяне Александровне и кое-что в пределах строго дозволенного службой сообщил о ходе саранчовского дела, с которым невероятно спешили.

Таня дивилась городу: за год он похорошел, защеголял, вывески блестели, как умытые. Улицами завладели маляры, правда, покуда только маляры. Она первое время подолгу не засыпала от вечернего шума и страха одиночества. Плохо и лениво ела. Но зато совершенно прекратилась малярия. День за день Таня стала находить вкус в заботах о себе. Михаил Михайлович, узнав адрес официальными путями, за четыре недели два раза прислал деньги и пять огромных писем. «Какие-то связи порвались между нами,— писал он,— иногда мне думается, что они порвались раньше катастрофы, которую принесла саранча. Зима, одинокая тоскливая зима, первая в пределах России и похожая на персидское прозябание, перетерла нити, которыми держался наш брак после смерти дочери. Ты мечтала о доме, я не дал его. Дом, семейный дом, это ведь не только квартира, в которой обитают муж и жена. Дом — это муж, жена и дети, и... довольство. А тут нищета и мрак безысходный. Я верю, будь жива Мариночка, мы не разошлись бы».

«Я — не Долли Облонская, измены не прощу даже ради детей»,— так начала она ответ и не дописала. Он прислал встревоженную телеграмму, она отозвалась: «Здорова, деньгами воспользовалась заимообразно. Благодарю». Денег все время не хватало, она питалась баранками и мацони. Больше всего поглощали передачи Онуфрию Ипатычу. От него получались нелегально письма, которые она стыдилась читать, так эти мятые серые клочки были исполнены любви, благодарности, грамматических ошибок, словно их писал ребенок, в котором подобные слова и чувства неестественны: «Я получил опять икру и конфекты, за что мне такие благодеяния. Если я заслужил их своей неудачной любовью, а если это только жалость... Милая, ненаглядная, я перед страшными часами нахожусь в жизни, вы мне и заступница

и отрада. Как мне благословлять вас, я томлюсь в беззвучной камере. Брат и мать фактически отказались от меня, как и надо было ожидать, до последнего издыхания молюсь на вас. И пусть, пусть мне не было дано даже ни одного поцелуя,— кровь моя — ваша, как душа и сердце». Как-то он написал ей: «Я устал, хоть бы скорее конец. Одиноко мне, нечего делать, и шуму кругом нет, чтобы заглушить мои думки. Отвечаю на все вопросы следователя, и он стал часто вызывать меня. И я отдыхаю, когда меня ведут по улицам, все же видишь вольных, а может быть, кажется, и вас встретишь». И она этой слабости и устали поверила больше, чем любовной тоске, и он стал ей ближе. Сухой восторг гнал ее в темные передние учреждений, в прокуренные комендатуры с запахом пропотевших сапог и истерическими выкриками. Позже, перед судом, член коллегии защитников Братцев, рябой и моложавый человек, с такими движениями, словно он собирался сейчас взлететь, спросил, кем она доводится его подзащитному. «Никем, он любит меня». Братцев побагровел, стал заикаться, и плачущий голосок его (ей вспомнилось, что в суде адвоката звали «Москву слезой не купишь») зазвучал обиженно... Стоило больших трудов уговорить его взяться за дело Веремиенко: адвокаты еще не знали, как вести себя в хозяйственных процессах, потрухивали,— и Таня начала придумывать правдоподобный рассказ об отношениях с Онуфрием Ипатычем. Признание в близости все рассеяло бы, но показалось немыслимым произнести эту ложь. В уголовном розыске ее для упрощения считали за сумасшедшую родственницу, только морщились на ее раздраженные крики о беспорядке.

Она преобразилась.

— Я связала свою участь с преступником, что с меня возьмешь,— заявила она однажды.

Сказано это было при особых обстоятельствах. В одно ветреное утро, обещавшее бешеный зной к полудню, Таня заняла место в длинной очереди с передачами. Человек на пять впереди суетилась коротконогая круглая женщина с двумя большими узлами, все совала один белоголовому мальчику и, когда тот хныкал, уставая, отбирала обратно.

— Сташек! — позвала Таня.

Мария Ивановна повернула на восклицание мокрое лицо шафранного оттенка, не удивилась, поклонилась сухо. Однако Таня подошла к ней.

— Мой-то пан тоже попал. Оговорили ваши-то! — злобно прокричала Мария Ивановна, чтобы другие слышали,— будто он им помогал через границу переправляться, мой-то, мухолов...

— Почему же у вас две передачи?

Толстуха спрятала глаза, отмахнулась.

— Да муж, когда брали, велел и о дружке позаботиться, об Онуфрии. Нет ведь у того никого. Брат-то, знаете...

— Про меня вы позабыли?..

— Словно позабыла.

Возвращались вместе. Мария Ивановна смякла, рассказывала, как убивается Михаил Михайлович, рвется сюда, да завод не пускает, приходится ожидать начала дела или вызова к следователю. Вот тогда-то, на прямой вопрос, Таня и заявила о своей участи.

— Мудрите вы очень,— проворчала Мария Ивановна опять неприветливо.— Либо сердце у вас холодное, либо дурная голова ему покою не дает. Прощайся, Сташек, с тетей.

И Таня не обиделась!

II

— Дело назначается слушанием в начале сентября. Следователь гонит, в Москве заинтересовались,— сообщил Андрей Ильич, зайдя к ней в комнату от сестер.— Очень способный молодой человек, но жесткий, из новых.

Каким-то своим шумом отозвались ее уши на эти слова. Руки утомленно опустились. В глазах позеленело. Зеленый медный привкус отравил слюну. Твердый язык едва повернулся пролепетать: «Ничего, это так... я всегда волнуюсь». Она и в самом деле подумала, что взволновалась об участи подсудимых. Всю ночь ей снились страшные сны, а один разбудил и уже не дал задремать, хотя она намоталась за день, едва добралась до постели. Кто-то усатый,— она знала, впрочем, что это прежний муж Михаил,— крепко целовал в грудь, в соски, отчего стало неприятно и горячо. Побежала умываться, вода тоже показалась теплой, не смывала ни жара, ни щекотки. Таня проснулась,— вот сейчас умрет,— с криком на губах. В окно сыпалось бледное известковое небо рассвета, пыльное уже и в этот ранний час. Принялась

соображать, какое число, выходило 21 августа, подсчитывала другие сроки и то обливалась потом, то леденела. Правда, за время болезни правильное течение ее женской жизни нарушалось не раз, но тут выпал что-то уж очень длинный перерыв...

Около полудня ей пришлось проходить по бульвару, у самого берега моря. Рейд жестяно поблескивал, зной, казалось, плавил яркие краски на бортах пароходов, из труб которых изредка выбивался жидкий пар. Таня вспомнила приезд из Персии: Миша, смотря в темноту на город с пароходного носа, сказал что-то вроде следующего: «В России уж мы помучимся, да не соскучимся. А Маринке жить будет, должно быть, вовсе хорошо. Там все в будущем. Я не лезу в большие забияки, однако за себя постою». Таня горько усмехнулась.

Легкая муть смягчила, сгладила короткие густые тени, которые зияли на горячей земле, как ямы. Словно бы редкое облако налетело на солнце. На миг стало душнее, суше,— если могло быть суше,— поднялась, завертелась песчаная пыль. Послышалось легкое завывание, как будто где-то вдалеке тронули мощную струну. С северных краев амфитеатра, в котором сидел город, рушился серый ветер. «Норд»,— подумала Таня. Солнце в ответ сделалось коричневым, словно запеклось и потемнело. Песок и камни кололи щеки, руки, больно секли по ногам. День merk с каждой секундой. Дома, трубы, мачты, деревья слились с непроглядной мглой. Как будто из подполья, завыло море. К нему рвался грохот города. Гремели железные листы, хлопали ставни, жалобно плескался флаг. Пустой бидон пронесся мимо носа Тани, за ним другой. Ураган рвал, ломал, гремел. Ослепшая, оглохшая Таня пробивалась, вытянув руки к воротам,— там обычно стояли фаэтоны. Пыль скрипела на зубах, забила дыхание, от нее разило аптекой.

Коляску метало, как скорлупку, извозчик, крашенный хной перс, прыгал, изгибался на сиденье, удерживая равновесие, лошади едва тянули экипаж по площади, пробираясь к улицам. В улицах было тише, ураган неистовствовал где-то поверху. Насилу добрались.

В комнате мглисто хозяйничала пыль. Песок набился сугробиками на подоконниках и в углах, у невидимых щелей, как копоть, покрыл стол, подушки.

Таня прошла в спальню к сестрам. Там все было наглухо

занавешено, горело электричество, пахло пудрой и сном,— Таня вдруг пожалела, что ее не унесло бурей, которая свежо и грозно громыхала крышами. У сестер в гостях торчала старая армянка, бывшая горничная, жившая теперь в убежище. Пепельное лицо ее ссохлось в сетку морщин, кожа словно собиралась расшелушиться на отдельные пластинки, черные глаза моргали просительно и недобро. Она чем-то напоминала Тане мать Онуфрия Ипатыча. Все давно выболтались, зевали, и Таня рассказала, какой странный сон ей приснился.

— Это к большой неприятности,— заметила с удовольствием Инна Ильинична,— к потере или смерти близкого человека...

Симочка прикрикнула на нее:

— Рады сказать гадость! — и истолковала сновидение как предчувствие перемены погоды.

— У нас по-старому сны объясняют,— вмешалась старуха, трудно подбирая выражения, но мысль ее и за этой беспомощностью казалась кичливой.— Много тысяч лет у нас объясняют сны, слыхала? Персы нас учили, а может, еще раньше. Ребеночка ты хочешь,— коротко вымолвила она,— груди жжет к ребенку, в воде купать — к ребенку. Вот что такой сон означает.

Таня, злясь на себя, покраснела, сестры замычали согласно и в тон что-то невразумительное и осуждающее, с постным видом. Одна Симочка захлопала радостно в ладоши, захохотала, на нее зашикала Римма Ильинична и язвительно пропела:

— Ты, матушка, молода, и твое дело молчать в тряпочку. Без мужа родить ах как невесело, далеко не удовольствие, да при такой-то власти...

— Я еще не собираюсь рожать, напрасно огорчаетесь. И Таня вышла.

III

Вероятно наказывая за строптивость, сестры за день перемазали гору посуды: поздно вечером,— Таня уже собиралась спать,— Симочка еще возилась с тарелками на кухне. Во всем дому только и был слышен скучный тупой дребезг фаянса и цинка да шум воды в раковине. Таня пред-

чувствовала, что не заснет. Она знала мучительное состояние этой бодрой истомы; бесконечная ночь парит и душит, впивается в тело каждая пружина матраца, кусает каждая складка, простыня липнет к коже, на всей постели нет ни одного прохладного бугорка. Пелена дремоты наплывает, долгожданная, измученное сознание зовет ее, но какая-то раззуженная жилочка отозвалась болезненно на легкий шорох, сердце замерло, и бурный страх сотряс все существо.

Таня пригласила Симочку зайти поболтать, когда кончит. В этом доме постоянно скулили. Таня предвидела, что и девушка будет ругать родственников и жаловаться, но лучше обречь себя покорно слушать, чем бороться со своими мыслями и бесплодно вызывать дремоту. Симочка явилась лихорадочно-добрая от переутомления, в синем платьишке с засученными рукавами. Запах кухонного жира исходил от нее, влажные руки припухли, покраснели.

— Господи, какие мы несчастные! Мужчина — одинок, ему только легче. Женщина — одинока, лезь хоть в петлю,— тут уж никто не поможет. Каждый с тебя готов что-нибудь сорвать. А теперь в особенности...

Она, видно, искала хода к тревогам и грусти Тани, та оценила это. Но девушка быстро перешла на свое и придушенным голоском, изредка срываясь на шепот, повествовала об огорчениях Золушки. Мать посылала ее к ювелиру с браслетом, а браслет этот оставлен бабушкой в приданое Симочке. Не первая ее вещь идет в общий котел, на строгую и дорогую диету, а от белого мяса и молока ее мутит. Таня сидела на кровати, не отрываясь смотрела на желтые нити электрической лампочки. Белая каменная комнатенка в чужом городе наполнялась до ощутимости образами прошлого, сквозь полубред прошли родители; их давно уже нет в живых,— старый, нравоучительно сварливый отец в сером, неприятно шуршащем подряснике и сухая болезненная мать, боявшаяся смерти и стяжательная в жизни. Мальчики не рождались в семье, девицы были на редкость несходны лицом, но с одинаково неудачной судьбой: не выходили замуж, недоучивались, хворали. Таня, младшая, никого не любила. Представила себе разоренный московский дом, сказала:

— Смотрю я на вас, Сима,— ведь и мне, будь я моложе и не замужем, пришлось бы корпеть на такой же домашней каторге. Только у меня деспотов было бы побольше и вкусы

их поразнообразнее, и требования, и истязания. Я и в старое время видела, как звереют от нищеты обедневшие семьи, бывшие эти люди. Спаси бог! Куском друг друга попрекают, дерутся, ссорятся и поодиночке, и союзы составляют. А попадает самым младшим, самым слабым, на них уже все наваливаются. И все-то нотации читают, все воспитывают. Я от такого воспитания сестрой милосердия на персидский фронт сбежала, хоть пугали малярией, и холерой, и чумой. Там только в первый раз свободно и вздохнула. Уж кто-кто, а свои родные послабления не дадут, не пощадят. И управы на них нет.

— Ну, найдется! Выход один, что у вас, что у меня,— давно додумалась: удрать и выйти замуж надо. Ах, если бы мой долговязый Славка не был таким увальнем!

Она как-то по-стариковски сморщилась, покачала головой. Таня усмехнулась.

— Тоже скажете,— увалень. Он горит весь, ведь ему и двадцати лет нет. Впрочем, я к нему пристрастна. Как он меня выручил, что устроил у вас. Его все любят. И вы его любите, он заслуживает.

Симочка даже пальцами хрустнула, даже взвизгнула:

— Люблю. Съела бы!

И, искупая «увальня», перечисляла все красоты и стати жениха. В забвении она не заметила бледности на лице Тани. Ее словно обдало меловой пылью, молодая женщина, помертвев, повалилась на подушку, закусила губу, почувствовав знакомое коснение языка, словно заливаемого каким-то вредным настоем.

— Вот, вот...— насилу ворочая языком, медленно выговорила она.— Я вас звала... некому сказать... помню, такие же ощущения были и в первый раз... только не так сильно... моложе была... ведь я беременна.

Девушка всплеснула руками, заахала, всполошилась, лепетала. Таня распласталась навзничь, желваки мускулов играли на щеках. Боролась с тошнотой, побеждала понемногу. Симочка тарахтела в темном коридоре, бежала за водой. Таня раскаялась, что призналась девчонке. Но было уже поздно, вода текла по губам на подушку, кипели вопросы:

— Да от кого же?.. С тем, который в тюрьме, вы же не жили... Как же это может быть?

— Какие вы глупые вопросы задаете, Симочка! — и Та-

ня защищалась слабой улыбкой от деятельного соболезнования, отстраняла стакан.— Ведь я все же замужем.— Она помолчала.— Но это никак не меняет дела. Я ушла от мужа... навсегда... и должна одна справляться с ребенком... или его не должно быть...

Она несколько раз повторила это «не должно быть», точно от слова вырастет решимость. Симочка назвала ее про себя бездушной: безжалостный огонь пробивался сквозь полусомкнутые ресницы.

— Ах, если бы мне его... этого ребенка...

Симочка промолвила это тихо, мечтательно, ревность кольнула Таню.

— Ребенка? Вам? Да разве вы... близки... со Славкой?

Симочка кивала головой, спокойно приговаривая что-то про себя. Перед Таней сидела не девочка, которой по телосложению и умственному развитию нельзя было дать больше шестнадцати лет, а взрослая, страдающая женщина с помыслами о материнстве.

— Да. И я ходила к врачу. Какая-то там инфантильность матки... и на весь век... и никогда не будет.

Таня уже жалела ее, как равную, отстранив собственные тревоги, в тени этого безысходного несчастья до могилы их можно было считать мелкими и временными. Но Симочка, не останавливаясь, говорила, что у матери кое-что припасено ей в приданое, но сломить старуху, принудить дать разрешение на брак со Славкой могла бы только беременность. Эти стенанья о «приданом» в другое время рассмешили бы, но Тане было не до смеха, по собственному опыту видела, какие мелочи могут менять судьбу, искажать намерения.

— Жизнь стала жесткая, все стрижет под гребенку, окорачивает и любовь, и страсть, не дает исполнить то, что считаешь необходимым для своего спокойствия. Мало у меня горя,— теперь новое осложнение.

И Таня откровенно рассказала о разрыве с мужем, о разговорах с Онуфрием Ипатычем (в ночь, когда муж был у Траянова, и перед арестом), о требовательной преданности человека, обреченного на смерть или на долголетнее заключение.

— А вы любите его?

Симочка задала тот вопрос, на который не раз наталкивалась Таня, и неизбежно вместо ответа видела перед собой

бледное лицо Онуфрия Ипатыча, когда он зашел к ней проститься, слышала голос, прерывавшийся от муки. Она стыдилась, вспоминая его дрожь, растрепанные движения, неметкие руки, он не сел, неловкий и униженный, по щеке пробежали его влажные губы,— нестираемый след. От его слов, от его глаз дуло расслабляющим жаром, увы,— она не нашла этому названия.

— Люблю ли я его? Я не могу убить человека, отдавшего мне жизнь, пошедшего ради меня на все, и я должна... А вот прочтите... это пишет мне муж, сюда, теперь...

Симочка долго шелестела листами. Таня лежала и грезила зеленым платаном над красной крышей. Город стрекотал дальним грохотом экипажей, мощно и бескрайне зыкали пароходные сирены, угасая за гранью мира, тонко и ободряюще куковали маневровые паровозы вовсе близко, чуть ли не во дворе. Все эти звуки твердили об одном: о поездке, о путешествии, о встречах. Крикливый мужской голос, несмотря на поздний час, все кликал какого-то Измаила, замолкая на несколько минут и снова принимаясь за безнадежный, скулящий зов. Тане хотелось высунуться в окошко и закричать глупому старику: «Не придет твой Измаил! Никогда не придет, не дозовешься!» Она боялась разрыдаться. Симочка аккуратно сложила письма, вздохнула.

— И вы могли бросить такого человека, как ваш муж? Он все прощает, пишет такие письма, заботится, жалеет.

— А я вот не отвечаю ему...

Тщеславие и слезы послышались в голосе Тани. Симочка неприязненно усмехнулась. Почувствовав себя старше и уравновешеннее этой странной болезненной женщины, требующей от жизни больше, чем можно мечтать.

— Вы как будто с луны свалились,— наставительно сказала Симочка.

Таня поднялась с постели, словно хотела перебить. Та ускользнула, повторив:

— Заботится, жалеет. И ради чего? Ради чужой любви!

— Замолчите, вы ничего не понимаете, девочка...

Но, должно быть, досада и намеренная сухость этих слов звучали ложно, Симочка не унялась.

— Вы же только что рассказали мне свою историю. Если вы считали меня девочкой...— она замялась, Таня не перебила.— Ну да, если считали... Но ведь не считали. Да мне и Славка, когда вас устраивал на квартиру, расска-

зал, я и тогда поняла много... Вы сами насилуете себя.

— Уйдите,— сказала Таня,— уйдите, уйдите,— глуше повторила она, вскочила, сама подошла к двери. И, вскинув руки к притолоке, как будто обнимая тень того, кто только что скрылся за этими створками, заплакала.

Симочке пришлось повозиться с ней почти до рассвета.

IV

Дня через два Таня встретилась с мужем.

Она только что вышла из полутемного и прохладного вестибюля суда, солнце бросилось на нее, со всей нещадной ласковостью вцепилось в лицо,— даже голова закружилась. Прислонилась к стене, закрыла глаза, два багровых горячих круга затрепетали под веками, большой палящий диск прикрыл лоб. Обвинительное заключение, как она узнала, не сегодня-завтра будет вручено обвиняемым, дело назначалось к слушанию через неделю-полторы. Смутное желание потерять сознание, полное боли, тревог, опасений, упасть на землю — и пусть пепелит солнце! — сгореть, не видеть ничего, не слышать, накатило на нее. И она в самом деле едва не грохнулась, припала к шершавой штукатурке, услыхав (голос как трубный грохот):

— Таня, ты?

Открыла глаза, кровавая муть застилала их, тот же голос оглашал и оглашал весь мир:

— Да что с тобой, детка? Тебе плохо?..

Крикнуть бы: «Да, плохо, очень!..», но он взял за руку.

— Нет, нет,— сказала она, вырывая руку.— Мне ничего, совсем ничего... Так задумалась, испугалась... от неожиданности это бывает, не узнала...

— «Бывает, не узнала». Редко так бывает. Ну, здравствуй.

Прошептала «здравствуй» и быстро, почти убегая, заторопилась по улице. Франтоватые зеваки, что, шаркая контрабандными ботинками, фланировали по тротуарам, с проницательной ухмылкой, долго наблюдая, как рослый рыжеватый гражданин преследовал худенькую, невзрачно одетую девушку в платочке, отмалчивающуюся на заигрывания.

Михаил Михайлович рассказывал, что приехал по вы-

зову следователя и что допрос вымотал душу. Ему хотелось, чтобы она отозвалась на жалобы ласковым словом. Таня шла с повисшими руками, опустив глаза. На скулах, на остром с горбинкой носике появился загар, она посмуглела, погрубела, посвежела. Михаил Михайлович запинался, едва удерживался от порыва схватить ее, крикнуть, что не такой недотрогой видел ее в одиноких мечтах, напрасно она прикидывается костистой и недоступной, все равно он знает ее всю, она никуда не уйдет из властной памяти живого мужа.

— Какие показания ты дал у следователя? И о ком он спрашивал?

— Главным образом,— Крейслер сглотнул слюну,— о Веремиенко. Я говорил все, что знаю, и правду. Я, собственно, дал характеристику, потому что о преступлениях что́ мне известно? Сказал, что он добросовестный, но неровный работник, неутомим и ленив одновременно, по-хохлацки.

— Его нужно спасать хотя бы даже ложью. Его расстреляют, и я не буду жить. Все ведь для меня сделано...

Крейслер едва различал слетавшие с ее губ слова, сухие, как шелуха. Приходилось каждое повторять про себя, чтобы понять, о чем идет речь. От этого напряжения стало ломить глаза.

— Ложь не поможет, Таня, может лишь повредить. Не с детьми же мы разговариваем. А следователь непримирим и умен. У него лицо расстриги-монаха из северного какого-нибудь монастыря. Это ведь он верно сказал про Онуфрия Ипатыча: «При всяком режиме ваш Веремиенко мог бы попасть в такую же историю от неустойчивости и страстей. Раньше только меньшим поплатился бы».

— Пусть он судит себя сам. Он ни в чем не запирается, не тебе отягчать его участь.

— Судит себя сам? Если бы ты побывала в наших степных поселках, некоторые из них разорены саранчой, к зиме опустеют. Там только и слышишь, что расстрелять мало...

— Ну, я не слышу. Я ничего не слышу, я живу своей душой.

Что за мертвенное уединение? Он готов был схватить ее за плечи, потрясти, заставить завизжать, нагнать улыбку, но вывести ее из этого холодного безразличия, пусть напускного, даже хуже — если напускного.

— Помнишь, как ты боялась уехать, переселиться в город со мною? А теперь одна...

— Потому так спокойно уехала, что одна, когда мы вернулись сюда из Персии, ободранный город напугал меня. Эта ужасная гостиница... Теперь не то... Да и я другая. Вы, мужчины, любите говорить, что вас связывает брак. А и нам он не дает развернуть все душевные силы.

«Откуда у нее такой разухабистый тон?» — спрашивал он себя. Она упрямо и зло твердила свое, словно кидалась к дверям, в которые хотел ворваться посторонний. Но в ней не чувствовалось настоящей убежденности, по крайней мере Михаилу Михайловичу не хотелось ее признать. Он довел жену до дому. Она открыла калитку у ворот и, глядя во двор, сказала:

— Не будем мучить друг друга. Не будем встречаться, ничего не вернешь.

Он еще долго простоял перед низеньким домиком с наглухо закрытыми непроглядными окнами в пыли и радужных пятнах. Возвращался в гостиницу с такими тяжкими думами и ощущениями, что они казались навеянными болезненной дремой: вскинешь голову,— рассеются. Он и вскидывал головой. И, не замечая расстояния, миновал квартал за кварталом, заблудился в тесных туземных закоулках, спрашивал дорогу, объясняли. И все это не разгоняло тяжелого бреда, побеждавшего шумную, непривычную действительность города, которая лишь изредка наплывала на его горе, как назойливое, неуместное напоминание.

Вечером в номер постучали. «Она!» Он метнулся к двери с шумящим сердцем. «Войдите!» — крикнул, и по тону этого приглашения понял, что влезет кто-то другой, успокоился, заскучал. И было от чего. Явилась Марья Ивановна, с одышкой (при каждом вздохе у нее внутри что-то влажно шлепало), наполнила маленькую комнату с безличными гостиничными запахами крепким веянием бабьего пота и деловитыми рассуждениями. Она прекрасно разбиралась в статьях закона, предсказывала, что кому грозит, бодро возвещала:

— На мелких, вроде моего, обращать внимания не будут. Хотят, чтобы наказание на главных обрушилось. Знаете, у большевиков — все агитация. И многих, как я слышала, вовсе без внимания поэтому оставили, свидетелями. А мне шепотком намекали,— можно было примазать... бездействие власти, вот что они допустили, халатность такую.

Толстуха помаргивала лениво и хитро, Крейслер решил, что она намекает на него, считает, что он тоже виноват.

Забавно. Стало как-то легче с этой женщиной, принесшей другие размышления. Она стала расспрашивать о детях, которые жили под призором Степаниды. Вздыхала:

— Осиротелые мы с вами.

— По правде говоря, я не ожидал от вашего мужа, что он впутается из-за пустяков в такое дело,— сказал Михаил Михайлович.— Семейный мужчина должен быть осмотрительней.

Никто не замечал, а Марья Ивановна заметила, что Крейслер любил проповедовать. Она смиренно опустила глаза, внимала. Сядет человек на любимого конька,— и выболтается.

— Не имеет права мужчина бросать женщину,— говорил Михаил Михайлович уже о своем,— если он прожил с ней несколько лет, взял ее молодость. Что она без молодости и свежести! Женщина другое дело. Нашла силы,— ушла. Что ей до того, люблю ли я ее, детей от нее хочу. Это самое главное. Не по принуждению, а по доброй воле...

Он замолчал. Глаза отсутствовали. Марья Ивановна кашлянула. Он молчал.

— Не любит Татьяна Александровна Онуфрия Ипатыча! Последовала за своей мечтой. Самоотверженность показать и истинную любовь. Ожгется! — жестко отрезала Марья Ивановна.— Жизнь ее обломает. Эх, Михаил Михайлович! Росту в вас — сажень, а сердце как у ребенка. Жалею я вас. Есть у меня за вас словечко...

Она рассказала о своей долгой связи с Онуфрием Ипатычем.

— Пан, может, знал, да не обижался. Никогда у нас про это разговору не было. А вот ваша Татьяна Александровна не простит. Ее как холодной водой окатить можно.

Михаил Михайлович вспомнил грозу под Карасунью, серные поцелуи и мощные объятья и крепкие ноги мадам Бродиной. «Не простит». Марья Ивановна прощалась. Ушла, опять напустив таинственности, обещалась наведаться. Оставшись один, Крейслер чуть не бросился за ней, остановить, умолить, чтобы она пощадила Таню. «Ведь как она расскажет, как подаст!» Но в него влилась медленная и злая мысль и как будто припаяла его к креслу: «А меня щадили?» Он шептал, жестикулировал, разыгрывал про себя целые сцены, где Таню разоблачали, ей раскрывали гнусности Веремиенко, и, как во сне, во всем изображенном нельзя

было заметить ни одной несообразности. Из бреда его вывел новый стук. Вошел посетитель вовсе удивительный — Славка. Этот завел было издалека, с каких-то своих разногласий с Бродиным, допустившим по отношению к нему большую подлость в расчетах, из-за чего он не может жениться. Михаил Михайлович приготовился к неприятным излияниям, но гость неожиданно вытащил из кармана завернутую в бумажку спичечную коробку, раскрыл ее, подал.

— Вам знакома эта вещь?

— Еще бы!

Михаил Михайлович узнал изумрудные серьги, которые пять лет тому назад купил в Тегеране и подарил Тане, тогда еще невесте. Изумруды были недорогие, с трещинками. Земсоюзский фармацевт Мышковский неделю бранил его за покупку, за то, что переплатил. Но деньги все равно были выиграны в карты, тегеранский рынок — не парижский, а самое главное, Таня полюбила сережки и прозвала их талисманом. И вот талисман у Славки... Крейслер сразу понял — продает. Значит, далеко зашло...

— Татьяна Александровна просила мою невесту, Серафиму Христофоровну, ликвидировать... У нее мать и тетка — мегеры, но живут тем, что распродают старье, так что есть связи, вот она и передала...

— А мне-то зачем вы все это сообщаете?

Славка поднял обиженные янтарные глаза.

— Дело касается не только продажи... Ваша жена просит за них пятьдесят рублей золотом. Ей необходимо, но это довольно трудно,— таких цен нет... Но и не в этом загвоздка...

Он путался, видимо, вилял, обходя какое-то затруднение, вынул платок, без нужды сморкнулся. Крейслер ждал какого-нибудь несуразного предложения, но в голове вертелось неотвязное: «Значит, далеко зашло»,— вытесняло все, что еще долго расписывал юноша. На лице Михаила Михайловича покоилась смущавшая гостя скука.

— Черт дернул меня взяться за это дело! Только уважение к Татьяне Александровне... так трудно сказать... если бы не любимая женщина, я не торчал бы у вас с этими глупостями... вот бабы...

Он привскочил и в черной своей рубашке с засученными рукавами напомнил флагшток, с которого ветер сорвал флаг. «Далеко зашло...»

— Жена ваша собирается сделать аборт, а моя невеста не хочет и считает, что вы имеете право и должны помешать: ребенок ваш...

Юнец выпалил трудное сообщение, откинулся на спинку кресла с видом полного облегчения. Крейслеру стало невмоготу от этой развязности.

— Послушайте, откуда ваша невеста осведомлена, что я должен делать и на что и какие имею права?

Славка побагровел, снова спрятался за носовой платок, на глазах как будто показались даже слезы.

— Я всегда говорил, что женщины напутают и посадят в калошу. Вы же должны понять мое дурацкое положение! Э, да что там распинаться, пускай сама все объясняет!

— Кто сама? — Крейслер осекся. «Неужто Таня?»

— Да Симочка... моя невеста... ведь она там внизу ждет. Разрешите, я сбегаю за ней?

Пахло чем-то загадочным, серьезным. Но навязшая в мозгу фраза, что все «так далеко зашло», не давала вполне вникнуть в сообщения юноши. Итак, Таня легко расставалась с талисманом, положившим основание их любви. Михаил Михайлович уже достаточно мог убедиться в том, что разрыв не шутка, но только теперь увидал, как безнадежны все разговоры о примирении. Славка убежал, в номере сделалось слишком просторно, глухо, душно, и в спертости этой — беззвучно. Михаил Михайлович растворил шире окно, шибануло распаренным асфальтом и не мякнущим зноем. На противоположной стороне длинноногий посетитель оживленно разговаривал с тоненькой девочкой в соломенной шляпке с лентой. «Тоже невеста!» — подумал Крейслер и повеселел. Славка почти насильно тянул девушку к подъезду гостиницы, она подняла глаза, заметила, что наблюдают, потемнела («Как она краснеет, однако».) Славка размашисто закивал ему головой, это решило дело,— она покорно последовала к дверям. В номер вошла совершенно спокойно, с деланной важностью, начала речь с того, что Ростислав Всеволодович (Славка пробормотал: «Эк, загнули для тюркского большинства!») успел рассказать самую суть. Крейслер усмехнулся, она метнула ресницами на обоих укоризненно, подчеркнула:

— Может быть, и легкомысленно вмешиваться в чужие дела, но мне показалось, что я обязана... Татьяна Александровна доверилась мне как подруге, целую ночь пропла-

кала. Я имела все основания заключить, что решается она не с легким сердцем, а... чтобы не отступить. Она вас попрежнему любит, Михаил Михайлович.

— В этом жена вам тоже сама призналась?

Крейслер спросил брюзгливо. Он привык к тайне душевных переживаний. Таня это когда-то тоже ценила, по крайней мере клялась. И вот, вольно или невольно,— это ничего не меняет,— сделала поверенными и посредниками между ними двух каких-то юнцов, нельзя сказать, чтобы очень умных и деликатных. Правда, они дышали такой искренностью, таким желанием помочь, что сам Михаил Михайлович все же продолжал беседу. Его даже не покоробило, что девушка читала его письма.

— Я сама мучаюсь в разлуке с любимым человеком, поэтому сочувствую.

Любимый человек блаженно хмурился.

Прощался Крейслер приветливо.

— Мне почти столько же лет, сколько вам обоим вместе. Я удивился и даже рассердился на ваше вмешательство. Человеку в моем возрасте трудно найти в себе столько душевной свежести и сострадания, чтобы пойти устраивать чужие супружеские отношения. Но, верьте, вам я искренне благодарен.

Он собрал пятьдесят рублей золотом по курсу, целый тючок дензнаков, отдал им и, не удержавшись, признался:

— Второй раз покупаю эти серьги. Первый раз они мне обещали счастье и... что там жаловаться, выполнили обещание.

V

В газетах появились пространные выборки из обвинительного заключения, грозные статьи закона пестрели против набранных жирным шрифтом фамилий обвиняемых. Крейслер со странным чувством держал слеповато напечатанные листы: все, что они гласили, случилось в действительности, но правда эта, изъятая из прошлого, никак не походила на то, что развертывалось на глазах у Михаила Михайловича в необъятном шуме тех дней. И люди, которым грозила смерть и которых он знал, казались более выдуманными, чем лица немецких сказок, читанных в детстве. И при одном только имени сжалось его сердце и кто-то невидимый

толкнул в плечо: Веремиенко поминался во многих абзацах после Муханова, Тер-Погосова и Бухбиндера. Он приготовил мешки с поддельной парижской зеленью, обманул приемочную комиссию, находил «Верморели», которые потом отбирались у владельцев, писал подложные счета, топил баржу. Крейслер подумал о жене и чуть не заревел от стыда: из-за нее ведь совершены все эти преступления, правда, по ее словам, она даже о них не подозревала. Ее тело снилось Веремиенко, когда он засыпал после попоек у Муханова, еще неведомое, но уже воображенное, приближавшееся с каждой наворованной сотней рублей. А вдруг здесь не только игра воображения? Вдруг дело зашло дальше, чем он думает? И в первый раз Михаил Михайлович усомнился в том, прав ли он, отрывая ее от того призрака долга, за которым она последовала, может быть, это и не призрак и она должна разделить наказание.

Вызвали к телефону. Славка сообщил, что Татьяна Александровна решила идти сегодня в шесть часов вечера в частную лечебницу. Крейслер прослушал так, как будто ему рассказывали это в десятый раз. Он был до крайности утомлен и, несмотря на то что день только еще начинался, лег и проспал часов пять. Проспал заседание в Хлопкоме, свидание в Саранчовой организации, визит к Григорьянцу...

Онуфрия Ипатыча перевели в другую тюрьму. Тане пришлось с передачей тащиться в другой конец города. Она принимала все эти неудобства и труды как оплату за неизвестную, но несомненную вину. И кроме того, можно было забыться, не размышлять. Вообще же она старалась думать обиняками, например: «Суд будет через восемь дней, успею ли?»

Ровно в шесть она прошла через сводчатый въезд большого каменного дома в звонкий асфальтовый двор, позвонила у свежевыкрашенной двери, удушающе вонявшей олифой. «Не выйду я отсюда»,— подумала она, стараясь дышать ртом. Но и во рту оставался ядовитый вкус олифной вони. Укололо палец пробившимся сквозь кнопку звонка током. Тане показалось, что она забыла переменить белье, что недостаточно чисто вымылась, что вообще нельзя переступить порог... рванулась с крыльца. Но дверь открылась. Немолодая сиделка в халате, с лицом как будто многократно виденным раньше, бледная, обесцвеченная больничным воздухом, удивленно высунулась в щель.

Закатный свет мглисто отражался от голубых стен приемной, и звуки, залетавшие со двора в эту неживую полумглу, вызывали дрожь. Концы пальцев саднило жгучим раздражением, мешая повернуть страницу затрепанного журнала. Минуты текли, и каждая из них нагнетала новые приступы дрожи, уже заледенели руки, ступни, и этот анестезирующий холод то вдруг ощущался на бедре, то прилипал к спине, то покрывал гусиной кожей грудь. Особенно трудно было справиться с челюстями. Зубы мертвели и ляскали. Глаза не отрывались от белой двери, и вдруг их резануло нестерпимым отблеском стекол шкафов там, куда бесшумно проваливались белые створки и откуда прошлепала туфлями маленькая тюрчанка в чадре.

Бесцветная сиделка пригласила Таню тихим шипением, обозначавшим: «Пожалуйте». Полуобеспамятев и еле волоча ноги, она вошла. Вероятно, где-то в темных глубинах воображений ей давным-давно представился образ изувера, который убьет ее ребенка. И поэтому, увидав красивого горбоносого смуглого старика с белой бородкой, с огромными руками, которых можно было не стыдиться и в которых таилось больше теплой силы и жизни, чем во всем теле дежурной сиделки,— она почувствовала себя прощенной. Доктор долго, как будто напоказ, тер щеткой руки и слегка в нос, однозвучно, точно читая книгу, говорил:

— Аборт — операция несложная и неопасная. И все-таки я не рекомендую ее делать. Она опустошает душевно, ее доступность губит самый смысл любви. Как часто женщины, становясь бесплодными, проклинают нас, врачей, которые якобы довели их до этого...

Он, должно быть, разглагольствовал перед всеми пациентками, но Таня понимала, что его слова, как молитва, имели для каждой женщины свою долю убедительности, потому что опыт этого человека был несомненен, как и старомодная добросовестность. Но именно эти речи разогнали леденящий страх, который едва не убил ее решимости в приемной. Она ожидала увидеть частно практикующего живодера (уж она ли не знала врачей и их повадок) и слушала наивного честного проповедника. И по мере того как он повышал голос и раздражался, ругая большевиков, как он говорил, «за пропаганду аборта» (вот вы же сознательная женщина, а ко мне заявляются неграмотные бабы, девчонки, изволили видеть, туземки), по мере того как он все

чаще смешно и неодобрительно чертыхался, призывая к деторождению,— она успокаивалась внутренне, крепла. Каждая минута промедления и каждый живой звук несли ей новые силы. Но когда в ужасном, постыдном положении в холодном, как будто мокром, кресле почувствовала его нащупывающие и тоже холодные пальцы и ей показалось, что он вскрывает тело каким-то чудовищным инструментом, безошибочно находящим самые больные, самые чувствительные места,— тогда вся кровь возмутилась в ней, хлынув к голове. Белый потолок позеленел, пожелтел и зыбился. Далекий голос доносился словно из-за стены:

— По всем признакам, вы действительно беременны. Но делать операцию можно будет недельки через две. Постарайтесь к тому времени прийти в лучшем состоянии в смысле нервов. Хорошенько питайтесь.

Встала шатаясь, дрожа, доктор наставлял, как важно беречь нервы, сохранять покой, ей казалось, что все это обращено к умывальнику. «Через две недели,— пело в Тане, пока она оправлялась.— Через две недели»,— примешалось к скрипу двери, которая открылась в веселый шумный двор, звеневший ребячьим визгом, стукотней ремесел, бабьими криками.

— Через две недели только! — радостно выдохнула она, не удивившись, что встретила мужа у ворот. И слезы застлали милый мир, в котором высоко сияли знакомые рыжеватые космы.

Он же истолковал ее радостный вид по-своему. «Наверное, сказали, что ошиблись. Вот и обалдела». Вчера он дал деньги, чтобы посторонние обстоятельства не связывали ее волю, и лениво удивлялся своему благородству. Но пришлось часа полтора дожидаться жены у вывески «Женская лечебница», от легковесных вчерашних мыслей осталась лишь труха: он скрипел зубами, воображая, что, может быть, сейчас выскабливают его ребенка и рвут последние его связи с женой. Она появилась перед ним, как показалось, веселая и вновь недосягаемая, неуловимая. Он скучливо выдавил лживый вопрос, зачем она заходила в лечебницу, не больна ли?

— Нет, я здорова, здорова,— словно прокатилось в ней, как теплая гроза.— Здорова.

— Ты как будто подчеркиваешь, что, живя со мной, постоянно хворала, и это правда, ничего не возразишь...

Она не слышала, не отозвалась.

С чего начать разговор? В мозгу тяжко переворачивались жалобные мысли, их невозможно выложить перед молодой, хвастающейся здоровьем и бодростью женщиной в летний вечер. На тротуарах теснилась толпа. Толклись нежные парочки, томный полумрак густел над городом, одуренным любовью. Крейслер привык к глухим ночам в Степи, когда так легко беседуется, и никто не подслушает, и слову человеческому цены нет, и он взял бы да закричал: «Таня, что ты со мной делаешь?»

— Ты читала сегодня газеты?

Она кивнула головой, словно прислушиваясь к непрерывному шипению и шарканью шагов. Вот и поворот. Михаил Михайлович издали заметил Симочку, мнущуюся на углу. Ему показалось непереносным разыгрывать сцену первого знакомства, и он почти обрадовался, когда Таня подала руку.

— Спасибо, что проводил, меня вон ждут...

На другой день Михаил Михайлович уехал на завод до суда.

Глава одиннадцатая

I

Первое заседание суда было назначено на четверг, под мусульманский день отдыха, в шесть часов вечера, в наиболее поместительном зале бывшего купеческого собрания, теперь центрального рабочего клуба. Уже с пяти часов вечера милиция запретила въезд на улицу Коммуны. Озабоченные судейские насилу протискивались сквозь толпу, всегда с удовольствием причиняющую начальству маленькие неприятности. Таня с пропуском, который достал Андрей Ильич, полезла за каким-то старичком, коротконогим и тучноватым, в выцветшем осеннем пальто,— по такой-то жаре! Милиционер все пытался подхватить его под руку. Следуя за сгорбленной спиной в рыжем драпе, Таня ума не могла приложить, зачем влекут эту развалину в суд.

— Ну, скоро начнется,— возвестил какой-то худой черноволосый гражданин,— председатель ковыляет. Строгий старичок.

Таня села в передних скамьях, не оглядываясь на публику. Любопытство толпы, шумное и постыдное, смущало ее, как соучастие. Огромная эстрада пусто темнела, но Славка уже возился с проводами юпитеров. Бродин устанавливал треножник вездесущего аппарата. Таня подумала: встреться она взглядом с его женой,— минуты не осталась бы в зале.

Рядом суетился маленький, плохо выбритый человечек, похожий почему-то на грушу, набрасывал в записную книжку план эстрады.

— Пригодится на мизансцены, знаете, в пьеске с пролетарским судом,— обязательно сообщил он, помахивая крохотной ручкой.

Зал гудел за спиной, как дальняя улица. Люстры дрожали, словно голоса.

Эстрада оживлялась. У заднего входа расположились привилегированные зрители из служащих суда. Бродин подталкивал фотографов. Вышел прокурор — невысокого роста, присадистый, в коротко остриженной седине, с особо плотной красноватой кожей на лице, словно для того чтобы скрывать движения мускулов. Небольшие безжалостные глаза отливали зеленью. У него и фамилия звучала непреклонно, жестко: Крутов. Он все это сознавал,— было видно по тому, как выступал он, слегка вобрав плечи, точно готовясь прыгнуть, смять кого-то. Общественный обвинитель старик Грацианский, высохший, легкий, шел за ним, как тень, озабоченно щурился и делал вид, что он строже всех. Адвокаты высыпали кучкой во главе с московской знаменитостью, защитником Мухановых, Белиным, и местной звездой первой величины Радзиевским. Москвич нес себя с изнеженным достоинством, ему нравилось в себе все: и выхоленное лицо, и кремовый пушок бонвивана, тщательно приглаженный на лысине, и даже то, что правое плечо слегка подергивалось и казалось выше и длиннее левого. Радзиевский с трудом подымал сонные параличные веки, закидывал голову так, что все время открывались низ подбородка и шея; обильные перхотью пряди волос спадали на широкую горбатую спину. Рябое лицо Братцева взмокло, словно залитое слезами, его обуженное вытянутое тело колебалось при каждом шаге.

Бравый юноша в непомерно длинном, но ладном френче из осетинского сукна, опасливо прижимая к бедру маузер,

словно это было одичавшее животное, крикнул что-то в массивный говор зала, добился краткой тишины. Гремя, как зверь в цепях, зал встал. Шипящим нестерпимым светом забили юпитеры, заливая фиолетовым мертвенным блеском. Знакомое страшное постукивание киноаппарата напомнило Тане гибель Маракушева. Серый от странного освещения, одутловатый старичок вырвался из-за частокола киноаппаратуры, связанного лианами электропроводов, пробежал к столу, прижимая к животу портфель. Двое заседателей, еще неразличимые, проследовали за ним. Мелкочертая миловидная дама разложила кипу бумаг на красном сукне стола. Фиолетовое пламя погасло, шипя, роняя желтые искры. Постукивание остановилось. Слабый распыленный свет снова посыпался с безжизненных гроздей люстр. Зал загремел, садясь. Тане почудилось, что этот грохот опрокидывает ее на стул и что мистерия возмездия разыгрывается быстро и смертоносно в этой торжественности. Председатель что-то приказал, беспомощный голосок не достигал и первых рядов. Славка рванулся к проводам. И не успевшие остынуть угли снова брызнули слепящим ливнем. Подсудимые шли, тесно сбившись, морщась, отводя лица от фотообъективов, от потоков разоблачающего света. Звякая винтовками, глядя прямо перед собой, топотали конвойные. Юпитеры погасли, и опять на эстраду хлынул из зала разреженный ненастный жалкий свет лампочек накаливания. Мертвую тишину шевелил слабый, как шелест, скрип передвигаемых стульев. Таня не отводила глаз от людей, возившихся за ограждением штыков, вбирала в память на всю жизнь их робкую суету, так непохожую на спокойное ротозейство толпы, наполнявшей зал. Тер-Погосов сел впереди и ближе к публике, как будто готовился именно от нее принять все удары. Истрепанная кожаная куртка, посеревшая, вытершаяся, потерявшая от времени покрой, едва держалась на плечах, как сброшенная кожа ужа. Красноармейские бумажные шаровары были заправлены в ветхие обмотки. Зато ботинки, огромные толстокожие топы, из трофейных английских, без сносу, подбитые железными подковами, можно было бы почесть обувью для вечности. Ноги, в них обутые, не хотели умирать. Он зарос бородой до глаз, белая прядь свисала среди черных над правой бровью. С тех пор как впервые услыхала его имя, Таня привыкла ненавидеть и бояться Тер-Погосова. Но эта белая прядь словно

хлестнула по ресницам и, как соринка в глазу, так и осталась. И в слезах плавал кусок огромного жестокого мира, и в этом туманном наплыве появился какой-то серый лоскут, он резко вырос и упал: это Веремиенко в отчаянии, что она его не видит, что постоянная преграда к удаче, Тер-Погосов заслоняет его, вскочил, обескровленный волнением, и поклонился Тане. Сердце зашумело у него, и мгновенно высветило глаза. «Милый, добрый»,— прошептала она. Он, должно быть, прочитал по губам, упал на стул как пришибленный.

— Это ваш муж? Я попал на места для родственников. Какая оплошность,— бормотал сосед с крохотными ручками.

— Нет, нет,— бессвязно успокаивала его Таня.— Я впервые слышу о таких местах.

Брезгливость перед этой трусостью показалась ей легким чувством в сравнении с тем, что она только что испытала. Сосед расспрашивал фамилии. Таня отвечала. Он записывал в книжечку. Она отогнала мысль, что делает что-то дурное, отягчающее без того несладкую участь этих людей. Назвала Бухбиндера, положившего на стул забинтованную толстую ногу, в которую как будто стек жир со всего его когда-то пухлого, теперь опавшего тела. Назвала Муханова, сгорбившегося так, словно у него перешибли хребет. Назвала по догадке жену его, даму с презрительно спокойным лицом. Назвала Вильского, растрепанного, дрожащего, словно на него била струя ледяного сквозняка. В свою очередь спросила, как зовут белокурого великана, который обиженно теребил вислую узкую бороду, совал в рот и длительно жевал.

— Вы не знаете бывшего товарища Величко? Самый высокий и глупый человек во всем городе. Раньше о нем шепотом говорили, теперь во всеуслышанье... А вон тот, морщинистый, должно быть, капитан. С ним рядом матрос с разбойничьей рожей, боцман, что потопил баржу. А сзади всех забился Гуриевский. Кто же его не знает,— покровитель искусств, меценат — первый по щедрости после Тер-Погосова. Вот кто объяснит, что этот хапуга, Тер-Погосов, почти содержал на свой счет небольшую театральную студию, и ни за кем там не ухаживал, так любит искусство,— поверьте мне, уж я знаю эти дела... Гуриевский, тот из подражанья и за балеринками бегал...

На него зашикали. На эстраде разгорелся спор. Там словно пробовали голоса и щупали слова. Братцев почти плакал, требуя, чтобы ему дали возможность ознакомиться со сводками результатов противосаранчовой борьбы. Белин, склоняя голову набок с таким видом, что ему невмоготу оставаться в этом зале, присоединился от имени всей защиты к просьбе коллегии. Волосатый Радзиевский вскидывал голову, соря перхотью на воротник, выпевал каждое слово, убеждая суд вызвать Эффендиева, могущего осветить картину борьбы в его районе. Двое других защитников, один гологоловый, как осенний одуванчик, другой — похожий на пожилого купидона, с наводящим тоску тусклым и гнусавым голосом и пунктуально точными выражениями, просили освободить от присутствия на суде их подзащитных Гуриевского и Бухбиндера. Тут бросился прокурор и, не возражая против первого ходатайства, отрицал необходимость вызывать занятого местного работника, тем более что другие свидетели дадут ясную картину. Для больных он требовал медицинского освидетельствования. Лицо у него играло оживлением,— видно, любил состязания. Судьи, посовещавшись, удовлетворили ходатайства защиты. Все успокоились. Поднялась мелкочертая дама и ровно, звонко и неутомимо начала читать обвинительное заключение. Таня боролась с тошнотой. Появившись как всегда внезапно, она не проходила, наоборот, казалось, все нагнетало ее: и духота, сгущавшаяся с каждой четвертью часа, и вой вентиляторов, мешавший слушать обстоятельный бесконечный текст. С потоками пота сползало напряжение и официальность с судей, защиты и подсудимых. Все различия черт сглаживала спокойная, почти благообразная скука, неизменно лежавшая на конвое и распространявшаяся как зараза. Вероятно, чтение рассчитано успокаивать. И если бы не тошнота, Таня слушала бы внимательно, не думала бы о своем, непреходящем, о том, что несут, что предвещают ее внутренние ощущения, какие муки и тяготы. Вспомнила стекла больничных шкафов с инструментами и задохлась, как будто их холод тяжко обрушился ей на грудь. Чтение закончилось лишь поздно вечером, заседание назначили на другой день.

II

Она пришла к зданию суда в тот час, когда в воздухе пахло еще сыростью ночи, нерастворившимися тенями. Пожилой швейцар в кителе купеческого клуба, ворча, трудился над урнами и половиками. А на ступеньках уютно устроилась Марья Ивановна, радуясь прохладе и синему небу.

— О ребятах скорблю, Татьяна Александровна, распустятся вовсе, голота. Некому наказать, на ум наставить. И вам дома не сидится... Михаил-то Михайлович — слышали? — прислал суду телеграмму, приедет в понедельник, просит его показания отложить...

— А вы откуда знаете? — с досадой спросила Таня.

— Сорока на хвосте принесла,— издевкой ответила толстуха и перекинулась на другое: — На утреннее-то заседание народу, надо думать, не набьется, как вчера, хоть и праздник. Духотищи не будет такой. Вы чего же на отлете сидите, садитесь к нам, к родственникам. Мы места захватили чудные, рядом с подсудимой скамьей. Прямо хоть шепчись. Я со всеми родными познакомилась. Многие симпатичные. У Григория Романовича брат на него страшно похож, такой же густопсовый, но только молчаливый, просто бука. А вот жена Гуриевского,— сразу видно, дочь миллионера. Полная, шикарная дама, может, заметили?

Она задавала вопросы, не нуждаясь в ответах, низала слова как дешевый бисер, сама любовалась своей работой.

— Мой-то прямо напустил со страху. Я ему записочку послала тайком: не позорься, мол, поляк гоноровый, не дрожи. Ну, пятнадцать лет с ним проживши, знаю я, какие они гоноровые. И Анатолий Борисович раскис. Как у нас на заводе гоголем разгуливал,— фу-ты ну-ты. Жена у него, видать, бой, молодец. За мужа не трепещется, все разные позы перед публикой принимает. Бездушная кокетка. Но наш-то, Онуфрий Ипатыч, не шелохнется, как будто один в своей комнате, не покривится... А уж я ли его не знаю... Он чувствительный, но все про себя. Как задумается, уж ничего не слышит. Такого блаженного если увлечь в преступление, не оглянется.

Тане захотелось подняться, уйти. Марья Ивановна

взглядывала на нее бегло исподлобья, сверкнет и потухнет, и только на щеке, как от крапивы, легкое жжение. Марья Ивановна важничала и язвила:

— У него и чувств немного. Но как уж одно пронзит, так он другого ничего не видит, не чует. Его, как во сне птицу, руками можно взять. И вот за это гибнет человек... Как подумаю, что им всем грозит,— поверите или нет, Татьяна Александровна,— холодею вся, сердце останавливается.

— Я стараюсь не думать о конце...

Это было верно. Тане стоило больших усилий вытеснять непрошеные мысли. Они врывались в сон, в ту хрупкую минуту, когда он только что наплывает на сознание. Они, как кусок льда, падали на размякшее тело, исторгая стон, и вырывали из липких объятий чего-то еще более страшного, может быть, надвигающегося кошмарного сновидения. Днем эти страхи и мысли глушишь болтовней, движением, а по ночам они хозяевами вступают в стеклянно холодную бодрость после прерванной дремоты. Пытаешься понять их бесформенные угрозы, а понять их нельзя: сам разум охраняет тебя. И Таня бессонничала с больной головой, притягивая неясную и неутешительную надежду, что оплачивает какой-то долг этими мучениями.

— То-то, не думаете! — Марья Ивановна жестковато усмехнулась.— А следовало бы подумать. Люди-то не чужие...

Таня не заметила намека.

— Хоть бы казнь какую-нибудь принять, не быть в неоплатном обязательстве. Заболеть, что ли... У меня с детства так... Когда кто-нибудь терпел несчастье, наказание, а мне думалось, что это из-за меня,— хотелось захворать, испытать боль, руку сломать или ногу... Потом я окрепла и тяжелые времена переносила бодро. А теперь иногда, как в детстве, такая слабость охватит, руки-ноги не слушаются.

Марья Ивановна кривила губы.

— На что она, ваша рука-то! Мужчине все тело нужно. За наше тело он жизнь отдаст. (Таня отрицательно покачала головой, прошептала: «Как это вы все в одну сторону...») — Та покрикивала: — А вы, конечно, все ручкой маните.— Как бы испугавшись, быстро поднялась.— Ах ты... Вон и «черный ворон» везет наших несчастных.

Тюремный автомобиль, похожий на вагон темно-оливко-

вого, почти черного цвета, жирно отражая солнце, свернул на улицу Коммуны. В узких решетчатых оконцах под крышей мелькнули переносицы и глаза. Таня залилась стыдом. Марья Ивановна побежала к воротам.

В темноватом, с невыветрившимися запахами вчерашней толпы зале гулко отзывалось каждое слово и каждый шаг. Подробности увеселительного заведения,— люстры, кронштейны, завитушки колонн, блеск паркета,— никак не вязались с представлениями утреннего судилища. То, что вчера не замечалось в сверкании нарочитой торжественности, с утра стало отвратительным. Все готовилось походить на репетицию спектакля.

Неразборчивое урчание затихало где-то под потолком, у хоров, откуда возвращалось густым отзвуком, мешавшим слушать речи. Опять произошло прение между защитой и прокурором о порядке допроса подсудимых и свидетелей. Опять судьи удалялись совещаться, и потом старичок сердито сообщил, что допрос начнется с подсудимого Веремиенко.

— Признаете ли вы себя виновным?

Онуфрий Ипатыч встал, уронил голову, еле слышно ответил:

— Признаю полностью.

Таня глядела на него и не узнавала. Он пошатывался, сквозь мятую парусину жалко проступали углы худого нескладного тела,— это, в сущности, была копия живого человека,— и еще раз Таня содрогнулась в стыде... Он начал показание, длинный, заранее обдуманный рассказ, заученный, верно, наизусть, лившийся ровно, без запинки. Много сил ушло на эту непоколебимость тона. Все порывались ближе к говорившему: судьи, стенографистка, журналисты в шершавых прическах (среди них суетился человечек с крохотными ручками), защита, обвинение. Крутов отогнул ухо, и выражение жесткой внимательности, как будто он во что-то всматривался, стянуло все выпуклости его лица. Убедившись, что допрашиваемого не собьешь,— он уж выскажется до конца,— один из заседателей попросил говорить громче. Веремиенко поднял удивленный отсутствующий взгляд, голос усилился. Он повествовал безразлично, как будто речь шла о постороннем человеке, и этот малоинтересный посторонний человек, по нужде в деньгах, пожелал так или иначе подработать. Саранчовая организация

искала опрыскиватели. И он решил, что получит вознаграждение, если укажет, где и у кого в округе находятся аппараты.

— Скажите, подсудимый, а не было ли у вас предварительного разговора с гражданином Бухбиндером об этих опрыскивателях после того, как обвиняемый Тер-Погосов явился на ваш хлопкоочистительный завод и отобрал аппараты «Вермореля», якобы для надобностей коммунального хозяйства!

Допрос начался. Бесконечные придаточные язвили слух. Тер-Погосов вскочил, выбежал вперед, положил руку на спинку стула защитника, на мгновение застыл. Но шагов его, тяжких и грубых на вид, не было слышно. Он так же бесшумно, на цыпочках, удалился, ступая укрощенными подметками, от судейского стола, достал грязный платок, торчавший из кармана куртки, утерся. Бухбиндер запрокинул голову. Прокурор бегло взглянул на них.

— Да, был. Я предложил познакомить меня с теми лицами, через которых можно было бы представлять опрыскиватели.

— Погодите. Вы говорите слишком отвлеченно. Ответьте мне на два вопроса. Во-первых, не говорили ли вы, что деньги вам нужны потому, что вы любите одну женщину, которая очень нуждается?

Второго вопроса Таня не слыхала, его заглушило шумом метнувшейся в голове крови. Итак, он разговаривал о ней с Бухбиндером. Да, да, он подтверждает.

— Суду безразлично имя этой дамы,— слышит Таня (прокурор как-то особенно произнес слово «дама», вкладывая свой смысл) и чувствует на щеках жгучий взгляд всего зала.— Но нам важно установить, что такой разговор действительно был. И не вы предложили услуги, а, как сам Бухбиндер показывает, он навел вас на эту мысль.

— Суду важно,— добавил председатель,— установить правильную меру вашей вины и вины других.

Веремиенко кивнул головой, как будто соглашаясь, что на самом деле важно, и продолжал рассказывать, как сообщил про аппараты «Платца» в конторе Траянова, как поехал с запиской Бухбиндера к Тер-Погосову, который познакомил его с Мухановым, а затем с Величко и Гуриевским. И тем же деревянным голосом, однообразно помахивая правой рукой, передавал описание обстановки, в которой

очутился, когда трудно было различить, что является беззаконием, совершаемым для пользы дела, а что — прямым преступлением. Он рассказал про мастерскую Гуриевского, где работали в три смены и так спешили, что проба и проверка сжигателей на давление была отменена. В Саранчовой же организации дело приемки поставлено было так, что проходили все аппараты. Он, видимо, не собирался скрывать ничего, не щадить ни себя, ни других, давал, словом, откровенные показания. Тер-Погосов ходил вокруг него, не сводя глаз, Муханов вздрагивал всякий раз, когда слышал из его уст свое имя, Бухбиндер в таких случаях весь всплескивался, закатывал глаза, и один лишь Величко позевывал безмятежно, как будто скучал на обыкновеннейшем заседании.

— Пошли, выпили. Вообще без выпивок, а иногда и кутежей, даже довольно часто, никто бы из нас не выдержал ни этой работы, ни своей совести.

— Насчет совести после. Где бывали кутежи?

— Везде. В ресторанах, но чаще у Муханова.

— Если с женщинами, то в ресторанах?

— Да. Иногда даже в конторе мастерской.

— Мы знаем, что вы и контору мастерской превратили в притон.

— Да.

Он произносил это вяло. Во всей его фигуре появилось что-то, напоминавшее повадки малоспособного ученика, отвечающего урок, который кое-как удалось вызубрить. Но Таня уже давно нашла свой ключ к показаниям Онуфрия Ипатыча: этот ключ было чувство, что она сама сидит на скамье подсудимых, и каждое его слово выдает ее, обнажает самые сокровенные мерзкие помыслы, топит в грязи. Его откровенность была оскорбительна. Он рассказывал, как по требованию подсудимой Мухановой бросился в воду за шарфом и как Тер-Погосов сказал, что умение хорошо плавать может пригодиться. Он излагал все подробности с утомительной точностью, как будто опасался, что иначе не поверят. Прошло много времени, в зале кашляли, выходили, он не переставал, не слабел, не унимался. Ровная речь стала казаться неотъемлемым признаком этой жары, духоты, полумрака. Он напустил целый рой слов, и теперь никто не был властен ни заглушить, ни укротить их. Они вились во всех закоулках зала, как столбы пыли, проникали всюду,

оставляя в мозгу странную сухость. Таню они раздражали ощутимо-телесно: казалось, набившись в череп, они рвутся обратно наружу где-то около надбровных дуг. Веремиенко все говорил. Описал обстоятельства погрузки, отплытия, дележа денег, борьбы с Тер-Погосовым, потопления баржи. Петряков встал и плюнул в его сторону:

— Подсучиваешься, гад ползучий!

Председатель неистово зазвонил в колокольчик. Чистый резкий звук освежил воздух. Таня вырвалась из душного оцепенения. Она уже слышала однажды этот рассказ. И теперь только дивилась, как могла наклониться поцеловать руку, все это совершавшую. Бледный обстоятельный перечень событий не походил на взволнованное кипение чувств, картин, которое склонило ее в ту ночь. И, кроме того, во всем, что она теперь слышала, всюду сопровождали деяния этих людей водка, женщины: Муханова, какие-то машинистки, безработные, которых никто полным именем не мог назвать. И она, Татьяна Крейслер, является негласной соучастницей распутства. Ее имя и образ таскали по кабакам, по девочкам. Посмотрела на Муханову, та брезгливо улыбалась и вдруг показалась автоматом, куклой, предназначенной для самых грязных забав. «Их отношения были нечисты»,— сказала Таня про себя. И эта книжная фраза как бы приоткрыла щель в чужую квартиру, где шло пьяное веселье. А Веремиенко все говорил. Раскрывал какие-то комбинации с подложными счетами, которые подписывал по поручению Тер-Погосова, сообщал, как покупал на базаре мешки (и опять написал счет вдвое больше, чем заплатил), как наполнял их песком во дворе пустого склада и вез под видом ядов на баржу. Не стыдился. Таня внутренним слухом слышала, как за гнусными признаниями звенит его молитвенная надежда: «Все во имя твое, и ты простишь!» Быть может, он бахвалился перед публикой с отчаяния,— чтобы знали, что он сделал для любимой. Таня едва удержалась крикнуть: «Замолчи». А он исповедовался в том, как пустили на некоторые части сжигательных аппаратов вместо меди — жесть и олово. «Ты же знал, что будут взрывы, будут гореть живые люди». Эта мысль ударила ее, как корча. Знакомая слабость разлилась по жилам. У слабости оказался вкус: вкус меди. Таня прижала платок к губам и пошла, толкая стулья. Вслед зашикали. В коридоре села изможденная,— нечто подобное бывало после малярийных

припадков. Вспомнила, что в ее положении доктора рекомендуют не волноваться. В коридоре толпились все те же праздные любопытствующие люди. До перерыва в зал не пускали. Тане они внушали омерзение. Молодой человек в коричневой гимнастерке оживленно передавал впечатления:

— Этот хитрый хохол прав. Он гробит всех, но выплывает сам. Во всяком, даже самом сплоченном предприятии, являются такие предатели. От них нужно беречься.

Это, надо думать, воры и расхитители казенного добра учились отвечать, когда попадутся. Скрюченная старушонка в черной накидке и кремовой косынке жалась к портьере, ждала разрешения войти.

— Да у тебя, бабушка, родственник, что ли, судится здесь? — спросил красноармеец.

— Нет, батюшка, какие родственники! Послушать интересно. Я во всех старых судах бывала и в новый хожу. Новый-то еще интереснее,— построже.

— Ну, а коли из любопытства, так ждите перерыва,— сказала Таня неожиданно для себя, даже голоса своего испугалась.

За портьерами загрохотало, зарычало, как будто в самом деле завозился раздраженный зверь,— и хлынула публика.

К Тане подошла Марья Ивановна, села рядом, жадно прикрыв стул, словно простояла весь день. Лицо у нее было расстроенное, мокрое от слез.

— Что же он с собою делает, наш Онуфрий Ипатыч? Так на каждый вопрос и режет, как на исповеди: «Виноват да грешен». Прокурор и то его остановил: «Нам,— говорит,— не надо, чтобы вы себя одного оговаривали да чужие преступления брали. Нам правда нужна, и только тогда за сознание мы даем снисхождение». А он отвечает: «Я снисхождения не ищу». И дерзок, и жалко его. И вам, видно, стало невтерпеж. Сердце от сочувствия разрывается. Горюшко нам.

Таня внимательно пригляделась к толстухе: давно ли она издевалась над собственным мужем. Никто от нее доброго слова не слыхал. Даже детей она секла со сладострастием. А тут она насилу справлялась с дрожащим голосом. Таня испытала удовольствие возразить резкостью:

— Мне стало трудно слушать, когда он заговорил об этой грязи, о кутежах, о женщинах.

— Что же это он особенного говорил о женщинах. Из его рассказа ничего такого заметить нельзя. А если что и случалось в пьяном виде, так вы-то и простить должны. Из-за кого он хлебнул экого горя? — Она выкладывала, не таясь, гремела, даже ухарски оглядывала мимо идущих, прислушивавшихся к ней.— Ревновать-то не к чему, не со счастьялюбви он кидался на посторонних женщин. Знаю ведь я. И то могу сказать,— когда он ушел от меня, я ни одной слезинки ему в упрек не уронила. А уж если зимой-то придет, бывало, от вас, утешения попросит, я морду не ворочу. Нечего гордиться перед чужой бедой.

Таня вдруг почувствовала себя сухой и легкой, как вихревая песчаная заверть, ей захотелось бесследно исчезнуть. Она поднялась. Марья Ивановна крикнула вслед:

— Изломались вы очень! Узлом желаете завязаться в гордячестве своем и ревности.

Таня не обиделась, оглянулась с улыбкой. Она покинула суд с таким непривычным спокойствием и тишиной во всем существе, точно оглохла среди грозы. И все, что попадало в поле зрения, сделалось таким маленьким, словно эти дома, тротуары, деревья, окна виднелись откуда-то издали и сверху. И по росту ее нет ни одной вещи в измельчавшем городе. Это странное уединение не пугало, разве только наводило грусть. И не ради же бесцветного от жары неба, тусклого скопления людей, не могущих устроить свое существование более или менее сносно, долго страдать. И она безразлично осклабилась писклявой Симочке, которая выбивала в палисаднике ковры и прокричала из-за облака пахучей пыли:

— Что-то вы рано? Или сегодня раньше кончилось ради мусульманского праздника?

Таня помедлила, поискала слово, каким надо ответить, и не ответила. Девушка заметила странное остолбенение жилицы, подбежала, смешно, по-детски вскидывая тонкие руки. Во всей ее наружности сверкала такая свежесть, наивность...

— Давно ли и я была спокойна и чиста,— сказала Таня.— Слепо, а потому и глупо, верила, что все могу принять, все искупить, принесши в жертву свою незапятнанность. Ан нет... Преступление, уголовщина связаны, непременно связаны с таким количеством мелких подлостей,

отвратительных падений, что принять это можно, только действительно фактически соучаствуя. А ведь я ничего не знала, кроме гордости своей, и знать не хотела. Жизнь мстит за это.

У Симочки сбились во рту целые комья сочувственных восклицаний, но не успели слететь с губ: собеседница медленно повернулась и взошла на крыльцо.

III

Весь этот день и весь следующий она просидела в своей комнате, никуда не выходя. И впервые после приезда из Карасуни почувствовала, что нечего делать. Да, нечего. «Впору ставить третью постель в спальне у Блажко». Газеты с обычным опозданием скучно повторяли действительность. И Таня еще раз, но уже отраженно, пережила боль душевных ран, как будто их снова раскрыли и разворочали.

Вспомнила, что с самого приезда не могла собраться и сходить в здравотдел, где работал курчавый Григорьянц,— через него она надеялась достать место сестры милосердия в красноармейском госпитале. Но при мысли о разговорах, расспросах, невероятная сонливость, как бы от опия, наплывала на нее. Вообще эти дни она спала много, проснувшись, не могла расклеить ресницы и закрыть из-за судорожной зевоты рот. Кожа омертвела, как будто обтянутая тонким засохшим слоем липкой мази. Тошнота редко мучила, но когда приступала,— хотелось умереть. Таня не могла не сравнивать эти тягостные ощущения с той телесной радостью, которую испытывала от тех же, в сущности, неприятных и назойливых признаков беременности, когда носила Мариночку. «Вероятно, из таких же мелких и неизбывных недугов состоит старость»,— думала Таня. Примерила эти извинения к сестрам Блажко, но добрее к ним не сделалась.

Симочка нарочно устроила свидание со Славкой.

— На все только слышишь: да, нет. Что с ней?

Славке было внове покровительствовать взрослой женщине. Попросил через невесту разрешения зайти, просидел долго, рассказывал, как помирился с Бродиным. Таня улыбалась (она охотно рассмеялась бы,— было бы над чем).

Славка похихикивал, из кухни слышались поддерживающие хохотки Симочки. Невинный сговор открылся сразу. Таня позевывала, Славка переносил и это унижение. Кисло осведомил о событиях на суде: с Мухановым приключилась истерика, кроме того, прокурор потребовал удалить Тер-Погосова на время допроса Муханова. Слабохарактерный энтомолог после каждого вопроса просит отсрочки на ответ, в перерыве они совещаются. И после перерывов допрашиваемый отвечает твердо, но выясняется, что он пьян. Оказалось, лимонадная бутылка, из которой пил сам Тер-Погосов и поил Анатолия Борисовича, пахнет спиртом.

— Вас это занимает... Я и завтра буду в суде,— сообщил Славка.

Таня попросила найти Марью Ивановну и через нее направить очередную передачу Онуфрию Ипатычу. Пошли в дежурный магазин. Улицы сияли, как умытые дождем, Славка вяло развивал мысль об удобствах ночных магазинов и хвалил новую экономическую политику. В магазине ему стало неловко за ее убогий небрежный костюм. Холщовая юбчонка и брезентовые туфли на босу ногу, непокрытая голова,— кто из расфранченной толпы новых богачей и их самок станет доискиваться трагической сущности в этой простоватой женщине, равной по душевным качествам Настасье Филипповне. Славка в то время читал Достоевского. Но ведь великий писатель не предусмотрел презрительных усмешек при виде нищенски одетой покупательницы, требующей икры, шоколаду, дорогих консервов. Она вынула знакомую пачку дензнаков. Славка сам получал их за талисман. Но кассирша могла думать о происхождении этих денег что угодно. Также и его положение сопровождающего казалось ему двусмысленным. Он не чаял выбраться на улицу.

На следующее утро Симочка передала Тане записку, Веремиенко спрашивал:

«Что с вами, милая, родная? Не заболели ли вы? Вот горе-то? Да, конечно, вы больны, иначе как же так вас нет? Я не вижу вас, вот мука. Я высказал свою душу и теперь спокойно жду, будь что будет. Не обращаю внимания на грязные упреки, даже угрозы моих бывших якобы товарищей. Тер-Погосов натравливает на меня Петрякова и опять Гуриевского взял в руки. Сила у человека, она и довела его до стены. Сердце мое навсегда с вами, бьется вами и для

вас. Никто не может отнять это от меня. Благодарю судьбу, что она заставила страдать за вас. Все во имя твое».

Ему что-то понравилось повторять это. Он не замечал всей тяжести упреков, содержавшихся в его хвалах, и намеков на коварство. Его укоризны продиктовала требовательность.

Вечером Славка пришел за ответом. (Таня написала, что действительно чувствует себя плохо, должно быть, малярия вернулась.) Янтарные глаза его подернуло оранжевым, на переносице рябился пот. Не успев поздороваться, он выпалил:

— Угадайте, кого я видел? Обалдеть! Михаила Михайловича! Он уже сидит в свидетельской комнате, но затянулся допрос Бухбиндера, который всем животики надорвал: испугался, акцент,— раньше вторника Михаила Михайловича не вызовут.

— Вот как?..— еле слышно отозвалась она.

У ней едва повернулся язык произнести и эти два слога. Где-то в самой потаенной глубине существа теплилась мысль, надежда, что муж услышит, почувствует веяние внутренней примиренности, овладевшей ею. Да, она сломлена, ее гордость унижена, она осталась задыхаться в сером облаке праха, поднятом обвалом чувств к Онуфрию Ипатычу. Но ведь ей удалось избежать того, что не может простить ни один мужчина своей близкой.

Однако муж должен был, приехав, зайти, он приехал и не зашел.

От этих сомнений все в ней смерзлось.

Холодом повеяло на Славку. Он ушел, волоча ноги, мстительно прошипев у дверей кухни:

— Ну, нет, возись с ней сама. Я не могу.

И ринулся с грохотом по коридору: на него высунулась изумленная Римма Ильинична. Она погрозила ему кулаком в окно.

Во вторник Таня проснулась с непонятной и почти радостной тревогой, с позывом двигаться, работать.

— Нет, это так оставить нельзя,— твердила она про себя, ничего, в сущности, под этим не подразумевая.

Заботы жизни, словно прорвавшись, бросились на нее: прачка, керосин для примуса, счет за электричество, ботинки к сапожнику,— существование ее и вещей вокруг начинается сначала. «Нет, так оставить нельзя»,— пряди пря-

мые, тусклые, как крысиные хвосты. «Надо завиваться, Танька!» — пробормотала она зеркалу, и тут же пронеслась мысль, что на улицах продают виноград и что волосы у товарища Григорьянца курчавятся мелко: круглые завитки и цвет их напоминают гроздья винограда-малаги. Почти побежала в здравотдел. Григорьянц, как всегда общительный и скользкий, помычал что-то обещающее, — ей и того стало довольно. Улицы сами проскользнули под ногами: она увидала себя перед входом в суд. Как бы из давнего забвения выступали вестибюль, коридоры, портьеры, словно все это видела она в далеком детстве, и тогда помещение представлялось неизмеримо громадным, хмурым, вечным, как те большие люди, из которых состоят добрые папы и мамы и страшные чужие дяди и тети. Теперь величие разоблачено. Оно преходяще и временно, как все несчастия. Беззубо улыбался швейцар, тетешкая у пустых вешалок пузырившегося веселой слюнкой внука. Видно, и клубные служители свыклись с пребыванием здесь суда: на лестницу и выше проник пеленочный дух, все — настежь. В полупустом зале толклись голоса, искаженные резонансом. Таня опять под шиканье прошла вперед, и — сердце захолонуло.

Глава двенадцатая

I

Михаила Михайловича допрашивали, должно быть, давно. Прокурор отирал пот, комкал и бросал под стол бумажки. Старик Грацианский выбегал вперед, словно обнюхивая свидетеля, отступал к столу и налетал снова, словно хотел сбить Крейслера с ног. Тонкие длиннопалые руки, все время наготове, как бы пригвождали. Придирчивые слова, слетая с язвительных губ, путались в бороде, получались шепелявыми и потому еще более грозными. Крутов что-то записывал, изредка взглядывая на допрашиваемого. Михаил Михайлович устал, отвечал тихо, часто сбиваясь. Жена впервые заметила, — он не всегда думает по-русски, волнение навело на древнее влечение к немецким фразам и обо-

ротам. Он непрестанно теребил ворот взмокшей синей рубахи, то расстегивал, то застегивал верхние пуговицы. Новый жест был так же жалок, как и весь этот большой костистый человек, и в иное время Таня стыдилась бы его слабости. Он покраснел, потоки пота струились к подбородку. Глаза бегали. Именно беспомощных глаз больше всего испугалась жена: значит, сбился, и его легко поймать на слове. Тер-Погосов стоял, очевидно ожидая вопроса. Остальные подсудимые сгрудились за ним, как за вожаком.

— Подсудимый Тер-Погосов сознается, что он ожидал сопротивления, и самое незначительное препятствие сбило бы его уверенность. Итак, почему же вы, получив показавшееся незаконным распоряжение, все же отдали аппараты «Вермореля», которые были так нужны для предстоящей борьбы?

То же самое спрашивала когда-то Таня, и вот как обертывается ее вопрос! Зубы блеснули среди черной бороды Тер-Погосова. «Оговаривает!» — мелькнуло у нее. Поискала, кто же, как она, боится, волнуется за Крейслера. Веремиенко сгорбился, глядел в пол и весь выражал только предельное утомление. Тер-Погосов торжествовал.

— Я должен заметить, что настаивал перед председателем на увольнении Крейслера, которого считал инертным и малодеятельным. Муханов удержал меня и товарища Величко, находя, что перемены ответственных работников на местах повредили бы ходу борьбы.

Дряблые складки лица Муханова выразили согласие. Величко шумно поднялся.

— Подтверждаю.

Крейслер находился в таком состоянии, когда любой вопрос представляется необыкновенно запутанным, таящим подвох из-за какой-то мутности и засоренности слов, — в каждое нужно вдумываться тем более, что вопрос этот вертели перед ним в разных видах в четвертый или пятый раз.

— Я затруднен объяснить... меня не хотят понимать...

Грацианский жестко и насмешливо перебил:

— «Затруднен объяснить...» Нечего объяснять. Вас давно поняли. Я не имею больше вопросов, — с победным кивком закончил он и бросился к своим папкам.

Таня метала на мужа взгляды, которые самой ей казались вещественно ощутимыми, назначенными уколоть, об-

жечь, чтобы он обратил внимание на нее. Но он переминался с ноги на ногу, незрячий, смятый тревогой. Таня переводила глаза на Братцева, но тот молчал.

При допросе свидетеля Крейслера непреложно установлено, что он не проявил достаточной энергии в защите незаконно отбираемых аппаратов-опрыскивателей, чем,— он не мог не знать,— наносится серьезный ущерб делу борьбы с саранчой. С другой стороны, он знал о некоторых злоупотреблениях Муханова и Тер-Погосова, но и к этому отнесся халатно, то есть имеются налицо все признаки преступления, предусмотренного второй частью 108 статьи и второй частью 116 статьи Уголовного кодекса, по каковым статьям гражданин Крейслер должен быть привлечен к ответственности. На основании целого ряда новых статей прокурор предлагал взять Крейслера под стражу.

— Ибо мы ничем не гарантированы, что этот человек, тщательно скрывающий свое прошлое и по указаниям, которые он не мог опровергнуть,— белый офицер...

— Это же сплетня! — громко раздалось в зале.

Крикнула Таня, вызвав мгновенный переполох и звонок председателя. Крейслер узнал ее голос. У него похолодели пальцы и сделались мокрыми подошвы. Ему захотелось, чтобы ее крик оглушил весь мир, как оглушил его. Но прокурор даже не оглянулся в публику. Председатель досадливо бросил колокольчик. И лишь парень из комендатуры ринулся в зал. Крейслер последил за ним. Но тот исключительно для порядка прогулялся по проходу между стульями и возвратился. Белин с обычной небрежной скукой возразил Крутову, Крутов возразил Белину, судьи ушли совещаться. И, старчески прикашливая, председатель возвестил, что гражданин Крейслер взят под стражу. Таня не уразумела, в чем дело. И только когда Михаил Михайлович шагнул в сторону подсудимых, она широко раскрыла глаза, напряглась всем телом, словно готовясь отразить удар. Мучительно ощутила ноги и руки чужими, хоть бы сломать. Михаил Михайлович в ослеплении сел на стул рядом с конвойным: ему очистили место в сторонке. Никто из новых соседей не проронил ни слова. Он подавил неожиданный судорожный смех, шевельнувшийся где-то под ребрами. Смутная слабость накатила на него. Тускло-желтый ряд физиономий проплывал перед ним. И вдруг совсем близко, почти у самых глаз возникло лицо жены, пахнуло жаром ее дыха-

ния. «Как она взволновалась, побледнела ужасно». И вновь усталости как не было. Таня видела,— лицо мужа менялось: несколько мгновений искажалось мукой, затем просветлело, успокоилось, приняло благообразные черты, всегдашние, такие прекрасные по сравнению с тем, во что они слагались только что в страхе, в стыде.

Речи, которые теперь произносились на эстраде, звучали отдаленным гулом, потерявшим даже способность утомлять, надоедать. Несправедливость, которую совершили по отношению к ее мужу, сделала ее безучастной ко всему происходящему.

Объявили перерыв до шести часов вечера. Таня, не глядя перед собой, быстро пошла к выходу, надеясь увидать Михаила Михайловича, если его повезут в тюрьму. Перед ней расступались, словно все догадывались о серьезности спешки. Она догнала у лестницы Марью Ивановну. Та сообщила, что увозят лишь вечером. Сейчас держат где-то за сценой, туда не пускают.

— Да вы с защитником поговорили бы. Хоть с тем, которого для Онуфрия Ипатыча подыскали.

«Как, с Братцевым?» — внутренне возмутилась Таня. Ее словно обдала дурным запахом мысль, что придется выкладывать рябому слезливому адвокату всю сложность отношений с мужем, с Онуфрием Ипатычем. Он не поймет, упростит по-своему, будет ухмыляться с понимающим видом.

Она подвигалась вперед в слепой забывчивости неровными шагами, слушая советы Марьи Ивановны. И вдруг все — широкая литая лестница, расписной плафон, запыленные окна — резко двинулось, наотмашь. Сама успела уловить неловкий поворот. Правая нога, как нарочно, подломилась. Легкая боль кольнула щиколотку. «Ой, падаю!» — прошептала весело и полетела, мягко перекатываясь на широких ступенях, уверенная, как это иногда бывает, что не разобьется. И впрямь не расшиблась, лежала на половичке. Набежало с десяток людей с криками, с вытянутыми лицами, а на них грудилась перепуганная толпа. Поднял молодой человек, дышал в лицо спиртным и все спрашивал: «Гражданка, не повредились?» Ступила правой ногой, вскрикнула, опять чуть не повалилась.

— Доктора, ногу сломала! — закричал спиртуозный молодой человек.

Марья Ивановна тащила франта из комендатуры, тот распорядился отнести упавшую в артистическую уборную.

— В какую уборную? Не хочу.

Кругом засмеялись. Франт пояснил:

— Да вы не беспокойтесь,— в артистическую, говорю, без унитаза.

Загоготали. Подошел врач, в золотых очках, в чесучовом пиджаке, пощупал ногу прямо в чулке, больно сжал щиколотку.

— Пустяки. Легкое растяжение сухожилий. Не ходить, полежать недельку.

— Как недельку? — капризно переспросила Таня,— тон этот так и не изменял ей, как продолжение мыслей во время падения. Хотелось, чтобы услыхали, поддержали хотя бы хохотом. Но лица зевак округлились, глаза потускли. Марья Ивановна схватила ее за талью, тащила к выходу, из приличия причитала:

— Ах, какое происшествие. Едем домой, чего ж тут панику наводить, давку устраивать у входа. Не посмотрят, что жилы растянуты, попросят. Да вы не беспокойтесь, вон у моего старика часто вывихи бывают, прямо врожденно слабые суставы. Ах, незадача.

Детская обида не рассеивалась. Толстуха лицемерно причитала и нелицемерно грубиянила.

— Если вам неохота со мной возиться, пожалуйста...

— Уж там охота или нет — дело пятое, а домой вас доставлю. Что случится,— Михаил Михайлович голову с меня за вас снимет.

На серо-бледных щеках пострадавшей скользнул, как тень заката, румянец, и хотя пропал мгновенно, толстуха успела заметить его, как завесу на ходе к сердцу Тани. И всю дорогу в фаэтоне болтала только о Михаиле Михайловиче.

— Господи, он душой вам предан. Давеча с вас взора не сводил. От меня ведь не скроешься: все замечу.

Таня улыбнулась, еле слышно ворчала:

— Уж вы скажете,— все замечаете...

И нельзя было понять, верит ли она или не верит, ясно одно: хочет верить.

— Как же это так, взяли его под стражу как преступника, а я тут лежать должна и помочь ничем не в силах. Милый, милый...

В слезах ткнулась в качавшееся рядом жирное плечо, пахнувшее потом и еще чем-то материнским, молоком, что ли. Фаэтон подрагивал, как зыбка; Марья Ивановна презрительно щурилась, поучала:

— То-то, милый! А что делала с ним все время? Человек извелся, поседел. Только не каждому видать: рыжий, а я углядела. Он и на суде слов не вязал, ясно-понятно почему. Не в себе человек. Тут за мужчиною нужен уход, ласка, а ему все неприятности.

Она любила сечь ребят. И теперь ей казалось,— розга взвивается над беспомощным ежащимся задком. Но секомый упорен, не раскаивается. И в голосе ее все чаще вплетался свист раздраженного дыхания.

— Как же можно ради блажи взять и бросить мужа, трепаться за чужим дядей? Хоть бы любила. Нет, так: мораль.

Липкая слюна забила ей рот, она обильно плюнула. Таня сказала:

— Вы правы, Марья Ивановна: блажь, упрямство, пустая погоня. А пришел час, я смирилась. Я смирилась! — почти крикнула. Извозчик беспокойно заерзал на сиденье.— Я ему напишу сегодня же. Но и вы пойдите к нему, вы сумеете, добьетесь, скажите,— чего скрываться,— я страдаю, мучусь за него, как никогда не страдала за того... Каждая его кровинка дорога мне. А я не могу прийти и быть с ним.

Все смешалось у нее на языке, как и в голове. Но самая эта путаница была яснее и желаннее, чем та сумасшедшая отчетливость решений, которая пригнала в этот город, бросила в одинокую бессмысленную возню с неестественными чувствами. Обессиленная голова прилипла к мягко колебавшемуся плечу, и Таня глухо твердила в пахучий ситец:

— Это так страшно. В суде могут быть случайности, неблагоприятное стечение обстоятельств. Ведь случилось же... И засудят ни за что... Вот его взяли невинного, а мне кажется, он и мою вину своей мукой оправдал...

— Так это прокурор набуробил. А конечно, все может быть,— ввернула Марья Ивановна, хищно обнажая солнцу желтые зубы.

Таня не вникала, ладила свое:

— Скажите ему, что я не покину его. Я ведь сама ума не приложу, как прожила эти несколько недель. У меня было два слоя мыслей, два этажа: поверху плавали разные за-

боты о себе, о службе, об Онуфрии Ипатыче, о передачах, деньгах, мало ли о чем... И все это так — пена, пыль. Где-то под спудом, в самой глубокой темноте, как неизлечимая боль — все о нем... ноет, не отпускает.

Марья Ивановна как бы заражалась бредом.

— «Неизлечимая болезнь»,— верно сказали. «Не отпускает...» Верно, не отпускает. На своей шкуре это испытала, знаю.

— Да, так и скажите, скажите...

II

Симочка завизжала, увидав, что Таню выводят из фаэтона под руки незнакомая женщина и извозчик. И сразу принялась ухаживать за ней, как за тяжело больной. В комнату вплывала Римма Ильинична, но не нашла ничего серьезного и удалилась. В белой благообразной комнатке с видимостью некоторого достатка Марья Ивановна притихла, беседовала вежливо тоненьким голоском, как когда-то на заводе. Таню официальность огорчила, словно в ней и в ее муже Марья Ивановна могла принимать участие только воркотней и грубостями. Толстуха каждые пять минут устремлялась уходить. Таня не отпускала ее целый час. Марья Ивановна отбоярилась, ссылаясь, что опоздает на вечернее заседание, на которое назначили показания Эффендиева. Таня нацарапала записку:

«Прости меня за все, милый, единственный, муж, друг, весь мой мир. Я натворила глупостей, ошибок, только ничего унижающего ни наше прошлое, ни мою любовь не сделала, поверь мне. Сердце разрывалось за тебя сегодня, как ты страдаешь невинный. И все мне казалось, что я довела тебя своими дурацкими поступками до этого. И должно быть, от волнения упала с лестницы, растянула себе сухожилья на ноге. Ты не беспокойся, видел доктор, совершенные пустяки. Но не могу ходить несколько дней, не буду тебя видеть. Верю и знаю, все кончится к лучшему с тобою, глупая случайность. Сердце мое и вся душа с тобою. Прости».

Славка заявился поздно вечером. Симочка грызлась весь день с матерью по случаю болезни жилицы, отказалась идти спать. И теперь сидела почти в обнимку с женихом. Славка рассказывал про Эффендиева:

— Вон нацбольшинство — молодец, так и садит: «Крейслер все делал, что от него зависело. Я сам участвовал в его работе и несу ответственность за нее». Прокурор только губы кусает: раз человек объявляет себя ответственным участником в делах преступника, то его надо арестовать. А как арестовать, когда у Эффендиева Красное Знамя и маузер от Троцкого за военные заслуги. А наш ЦИК к Трудовому уже его представил.

— Ах, какой верный человек оказался,— повторяла она.

Михаил Михайлович прислал коротенький ответ:

«Получил твою записку, счастлив, сижу, как за ограждением от всех обид. Новые соседи сторонятся меня. Это дает уверенность, что я им не попутчик. Верю, что на днях все кончится. Мы наговоримся; прости и ты меня. Я, может быть, больше виноват перед тобою. Люблю, целую».

— А Миша как? — спрашивала она в двадцатый раз.— Он в записке пишет, что совсем спокоен,— правда ли?

— Бойцовский вид, что надо. Я даже с ним перешепнуться успел. Он здорово сказал: «Как меня арестовали, так я словно маленьким стал или больным, на чужом попечении и ни о чем заботиться не надо...»

Славка не щадил красок, и краски густо ложились на ее щеки. Она в свою очередь сыпала всем набором приятного для молодых собеседников. Хвалила Симочкины глаза, фигуру и снова сбивалась на тревожные вопросы об участи Михаила Михайловича.

Нога опухла, лежала как бревно, приковала к кровати крепко. Врач сказал, чтобы больная не мечтала встать раньше, чем через пять-шесть дней. Но все огорчения проплывали мимо. Даже самая скука белой комнатенки, казалось, облегчала.

Со времени нашествия саранчи Таня с необыкновенной резкостью, с почти телесной убедительностью ощущала, что вовлечена в поток, в водоворот событий, слышала шум их приближения, как того поезда, который должен увезти куда-то,— ее несло за ними. Ни одного движения не удавалось сделать свободно, по своей воле. Увлекали чужие поступки, посторонние обстоятельства вынуждали или сопротивляться, или покоряться, но следовать, не отставать. Стихии разыгрались вокруг. Она ослепла, слышала только их, обоняла запахи бури. Теперь же лежала выкинутая на берег, на твердую землю. Под ней — еще сырой песок и слы-

шен шелест волн, — он может стать снова грозным, поднять на валы. Но сила и воля ее крепли на отдыхе.

Газеты неблагополучно пахли свежей печатью, шуршали раздражающе. Репортерские записи, безжизненное подражание действительности, передавали произнесенные признания, лживые увиливания с невыразительной полнотой и точностью.

Писал и Веремиенко. В записках чувствовался сухой испуг и вместе с тем безразличие к окружающему, он как будто даже и не замечал отсутствия Тани.

«Сегодня начались прения сторон, — писал он, — общественный обвинитель требует казни Тер-Погосова, Муханова, Гуриевского, Бухбиндера и моей. Что ж, заслужили, знали, на что шли».

Он выводил это, казалось ей, мертвеющими пальцами. Как выдавил он это слово «моей». Она искала дрожи в завитках букв, — нет, они, как обычно, ровно змеились по бумаге писарским почерком.

Другой клочок бумаги доставил тоже горькое чувство. Его принесла вечером Симочка, извиняясь, что не могла передать днем. «Береги себя, помни, что ты беременна», — писал Михаил Михайлович. Это ни тоном, ни содержанием не подходило к тому, что переживала Таня. Она боялась чисто мужского самолюбия, — его же в Крейслере наблюдалось предостаточно, — от него и бежала за Онуфрием Ипатычем. Этой заботой о беременности он как бы утверждал право собственности на жену... Ночь не удалось заснуть. Горечи и сил, накопленных в бездействии, некуда было девать. Утром постигло странное опьянение, похожее на полет во сне. Она валялась уже четвертый день.

Славка забежал бледный. Янтарные глаза дрожали. Сообщил о речи прокурора.

— Засыпался с Крейслером. Требовал только общественного порицания.

— А Онуфрию Ипатычу?

Имя едва сползло, как кусок ваты, налипший на язык. Славка замялся, отвернулся, она беззвучно шевельнула губами: «Расстрел?» Кивнул чуть заметно. Сердце бросилось ей к горлу, готовое задушить.

— Неужели нет надежды?

Славка не отвечал.

Два дня тянулись речи адвокатов. Таня вызвала Марью

Ивановну. Та пришла. Едва она раскрыла дверь, Таня набрала воздуху крикнуть: «Что с вами?» На пороге стояла старуха с дряблым желтым лицом, напоминавшим старческую женскую грудь. Ничего не рассказывала, не бранилась, сама попросила чаю и выпила только чашку. Прощаясь, сказала:

— Видно, не сносить нашему Онуфрию Ипатычу головы.

Помялась, тяжко дыша, ушла, не подобрав волос под платок.

Таня заметила вошедшей Симочке:

— Хорошо бы, для этой женщины хорошо было бы, если бы сейчас на улице била бы жестокая вьюга, снег, залепляло бы глаза, сносило... Чтобы идти, бороться с погодой и не думать...

Девушка посмотрела на ее пепельное лицо.

— И вам, видно, не легче.

— Я что ж... Я завтра встану. Завтра кончатся реплики сторон... Им остается жить несколько часов. Такое поперек всякому счастью встанет...

Симочка, выйдя в коридор, вздохнула легко, полной грудью, словно вырвалась из больничной палаты.

III

Таня поехала в суд. И как в самом начале, перед зданием клуба скопилась громадная толпа, извозчик ссадил ее у поворота на улицу Коммуны.

— Дальше милиция не пускает, барышня, сами уж как-нибудь доберетесь. Видишь, народ кровь почуял, стекся полюбопытствовать.

Таня побрела, опираясь на палку. У нее, должно быть, был отмеченный мукой особенный вид в скопище зевак. Кто-то заметил вслед, что это жена главного преступника. Самый воздух клуба отличался от городского. В нем носился тот же зловещий запах аптеки, как в ветре норда. В коридорах было странно просторно, очевидно, строже следили за пропусками.

Подняла портьеру. Вместе с духотой зала ударило металлическим окриком:

— Именно для Веремиенко я требую высшей меры наказания.

Память пресеклась, как дыхание. Через несколько мгновений она обрела себя прислонившейся к стене. Слабый старческий голос проникал в уши:

— Суд удаляется на совещание.

День потек невероятно медленно, тяжелый, как ртуть. Родственники почти свободно переговаривались с подсудимыми. Таня жалась в темные закоулки зала. Встретив Славку, пробиравшегося со своими проводами, попросила:

— Передайте, если сумеете, Мише, что я здесь. Но не могу показаться близко к Онуфрию Ипатычу. Понятно почему...

Забивалась за колонны, таилась, сама от себя скрывалась, пряталась от своих мыслей в этих поисках уединения. Взгляд Онуфрия Ипатыча, казалось, нащупывал ее. Раза два взглянула в ту страшную сторону. Подсудимые застыли неподвижно, словно притянутые к стульям невидимыми постромками, изредка отвлекались от оцепенения, отвечая нехотя. Эта каменность давила даже обычный шум толпы. Муханов горбился сломленный, сжимая голову руками. Тер-Погосов не сводил глаз с хрустальной люстры. Гуриевский устремлял одинокое око туда же, словно верил, что Тер-Погосов знает, как облегчить мучительное ожидание. Вся тайна в том, чтобы подражать его движениям. Веремиенко время от времени с непонятной в живом существе медлительностью оглядывал зал (тогда Таня прижималась к своей колонне) и снова вытягивался. Сидевший сзади всех Бухбиндер непрерывно покачивался из стороны в сторону, как будто затверживал про себя древнюю молитву. Слова, произнесенные о них, требование смерти отделили их от прочих людей, нанеся внешним знаком серую бесцветность на кожу лица. Остальные подсудимые,— ражий Петряков, Муханова, капитан, пан Вильский, Величко,— отделенные от пятерых той же чертой, неуловимой и естественной, переговаривались вялыми отрывочными фразами.

Публика, подчиняясь срокам еды, редела и вновь густо наполняла зал. Шарканье, кашель от скуки, придушенное жужжание разговоров давно отзывались в Тане нервным зудом. Окна начинали синеть. В сумерках она выскользнула к последним рядам, заняла единственный свободный стул. Рядом дремала та любознательная старуха, которая ходила во все суды прежде и теперь. Надвинув на брови кремовую

косынку, она даже похрапывала, изредка вскидываясь, ожидая одобряемых ею строгостей. Зажглись кронштейны. Их желтый свет смешался с пыльной синью вечера и словно высветил в Тане ее собственные ощущения: нестерпимо заныли виски.

Грохотали сотни ног, стулья, двери. Висела пыль. Спертый воздух портился с каждым вздохом каждого из этих людей. Шумели вентиляторы, но их упорное скрежетание не приносило облегчения легким. Таня ненавидела соседей, от которых тянуло влажной жарой, потом. В полусне воображала,— ее ловят, покуда удается скрываться, но каждую минуту могут настигнуть. В особенности когда вспыхивают огни люстр.

Опять с эстрады раздался крик:

— Суд идет!

Все встали. Таня очутилась в окружении высоких и широких спин и, напрягшись, едва улавливала пробивавшийся сквозь шелест людского множества, сквозь все эти дыхания, шевеления, вздрагивания, старчески слабый голос читавшего приговор председателя.

— Господи, ничего не слышу,— ворчала рядом старуха.— Чего это он читает?

Бородатый рабочий, массивными плечами загородивший от Тани весь зал, повернулся и сверкнул на старушонку маленькими гневными глазками. Председатель заканчивал чтение мотивировки. Голос его меркнул, прерывался. «Крейслера,— услыхала Таня, перестав дышать,— считать оправданным...» И снова ли голос старика окреп,— зал ли стишал, не дыша,— но стало слышнее.

Был оправдан капитан. Вильского осудили условно на год. Муханову — тоже (за попытку бежать за границу). Величко дали два года, с запрещением по отбытии наказания занимать ответственные должности три года. Петрякову — пять лет со строгой изоляцией. Гуриевский и Бухбиндер получили по десяти лет.

Читавший назвал Муханова, Анатолия Борисовича. Последовал длинный перечень статей. Высокий женский вопль огласил зал. В мертвенной тишине прозвучали имена Веремиенко и Тер-Погосова. Через миг, в странной поспешности, в испуге, публика ринулась к проходу, к дверям. Старуха теребила Таню за рукав, как будто только что проснулась, сердито спрашивала:

— Куда это бегут, как оглашенные? Еще кого судить будут?

— Уйдите! — и Таня зашлась воплем, рухнула на стул.

Бородач-рабочий протянул через стулья руку, взял старуху за плечо, проворчал:

— Катись, бабка. Троих съела,— все мало.

И двинулся. Старуха покорно заковыляла за ним.

Дикий раздирающий крик огласил спертый воздух и как бы еще более сгустил его. Едва начавшись, он показался бесконечным. В нем не было оттенков, он не изменялся. Публика оторопело сбилась в проходах. Таня телом почувствовала ужас, заключенный в этом вопле. Перед ней открылось смятение на эстраде. Муханов кричал, медленно озираясь кругом. Его высокий голос, неузнаваемо искаженный напряжением, потерял все признаки человеческого. Осужденных торопливо выводили. К Муханову подошел конвойный. Смертник, ощутив его прикосновение к плечу, рванулся и отбежал к задней стене в угол. Он вытянул руки вперед, он царапал блестящую штукатурку. Мощное дыхание, питавшее вопль, не прерывалось. Его схватили под руки и не могли сдвинуть с места, словно он прилип к стене, хотел проникнуть в камни. Его подняли на руки, понесли.

Не в силах видеть все это, Таня закрыла глаза. Уши раздирал непрекращающийся, не глохнущий и за стенами вопль:

— Я же не виноват! Вы же видите!

Этому ужасу не было препятствий. Если бы Таня слышала только эхо этого крика, то и его достало бы воображению дорисовать белое лицо, с которого судорога свела все, что роднило его с живым, бьющиеся длинные ноги, вскинутые руки. Схожесть всех звуков, пения, плача, просто громкой беседы, словом, всех звуков, которые предстояло услыхать после, во всю жизнь, с этим страшным воем лишила бы их красоты, напоминая о нем.

— Таня! — раздалось над ней.

Бесконечно знакомое ласковое восклицание вызволило ее. Она вырвалась, охваченная его теплотой, из страшного озноба, судорог. Она протянула руки в теплую беззвучную тишину, открыла глаза, свет поразил их, как зрелище божественной игры, прошептала:

— Да, да, возьми меня. Скорее.

IУ

Андрей Ильич сообщил, что республиканский ЦИК из троих приговоренных к расстрелу помиловал одного Веремиенко, и прибавил, что постановление будет опубликовано на следующий день. Но оно не появилось. Таня промучилась еще четверо суток. Она не могла есть: хлеб казался вымоченным в чем-то липком. Она потеряла меру дыхания, все время мнилось, что грудная клетка расширяется недостаточно. Она вздрагивала от малейшего шума, словно ее звали. Даже явственно слыхала свое имя.

Наконец однажды рано утром Михаил Михайлович принес газету и прочитал о помиловании.

— Защитники Муханова и Тер-Погосова направили ходатайства в Москву. Но едва ли...

Таня плакала и дышала полной грудью.

— Онуфрий Ипатыч,— повторяла она,— бедный. Десять лет.

Она легко поддалась утешениям, что бывают же амнистии, досрочные освобождения, что сколько народу так освобождают.

Успокоив жену, Михаил Михайлович сказал:

— Хочешь поехать со мной? Завтра я еду на завод сдавать дела.

— Как сдавать дела? Разве мы не вернемся в Степь?

— Нет, нет. Не поедем. Мне предложили работать в Отделе защиты растений. Правда, больше по административной части, чем по научной, но я завоюю и лабораторию. Ведь завоюю, да? — Он усмехался, морщил лоб, обнимал жену.— Мы еще повоюем! Она основана...

Осекся, жена не расслышала, не потребовала окончания фразы. Краска удовлетворения играла на его загорелых веснушчатых щеках. Он отвернулся, устыдившись своего торжества.

Таня, оставшись одна в городе, принялась искать жилище: две комнаты. Странное ощущение испытывала она, бегая по тем же улицам, по которым ходила до процесса. Строения, мостовые, вывески, витрины, все существо города с его шумами, запахами, мерещились ей порождениями бреда, не имеющими влияния на действительную жизнь, состоящую из забот об Онуфрии Ипатыче и негодования на мужа. Теперь дома и тротуары получали воплощение.

Они взяли власть над помыслами. Существование наполнялось реальностью. Она узнала, что в городе очень тесно, «как в Москве», достать комнату почти невозможно, что растет нефтедобыча и жители полны надежд. Появилось словцо нэп, привилось, как обретенное из родников народного словотворчества.

Вернулся Михаил Михайлович, привез вещи. Таня рассказала о безуспешных поисках. Он примирился с первого слова:

— Придется остаться у Блажко. Не век же Симочка будет тянуть волынку со Славкой, а они здесь не останутся, у него чудная комната.

Позвали Симочку, сообщили решение. Оказалось, и в спальне пришли к необходимости просить Крейслеров остаться: боялись уплотнения.

Михаил Михайлович бросился распаковывать вещи, «бебехи», как он называл. Остановился перед избитым чемоданом и, согнувшись, стал тайком рыться в бумажнике.

— Видала, жена?

И он подал на ладони изумрудные серьги — талисман. Симочка покраснела, повисла на шее у Тани, когда та спросила:

— Это вы все сделали?

Крейслер радовался и острил об этих серьгах трое суток.

Через две недели Таня добилась свидания с Онуфрием Ипатычем в исправдоме.

Был сентябрь, и навернул холодный, сырой, с печальными ароматами северного ненастья, ветер. Маленький трамвайный вагон, дребезжа и скрежеща, полчаса брал петлистый подъем. Давно миновали шумные вонючие улочки с черномазыми ребятами, роющимися в пыли. Путь шел пустырями, каменистыми обрывами, где гудел ветер, серый, как море внизу. Тюремный замок вырос неожиданно из-за поворота. Крепостные русские стены, шатровые башни, бессмысленные в местной суши, бойницы,— унылое воплощение империалистских фантазий, которыми грезили губернские завоеватели,— все это как будто наворотило бурей откуда-то с севера. За тюрьмой раскинулся железнодорожный поселок,— и домики казенной стройки тоже не походили на сакли туземных предместий. На площади, на самом юру в столбах пыли расположился базар, торговали русские бабы дынными семечками, сушеными фруктами, барахлом.

Покупателей было мало, меньше, чем палаток с холщовыми крышами, которые трепались, как подолы. На одной палатке трепетала вывеска: «Сдезь все дли передач». Таня вспомнила, купила мыла, положила в сверток.

У самых ворот ее нагнал долговязый белокурый мальчуган, забытый, как сновидение.

— Татьяна Александровна!

— Сташек! Ты откуда?

— С базара. Насилу улизнул. Мама увидала вас после меня, я показал, хотел было крикнуть, да она запретила.

— Почему запретила? Что вы здесь делаете с мамой?

— Вы не знаете, она разошлась с папой? Из-за Онуфрия Ипатыча,— пояснил он и густо порозовел пятнами.— Какая буча была. Папа уезжает в Польшу, а мама и я торгуем здесь. Надо же кормиться. Мы теперь живем у дяди, ма́миного брата, на железной дороге. Он — машинист.

— Так она запретила окликнуть меня,— задумчиво проговорила Таня.

— Ну, прощайте,— резко прервал мальчик.— Увидит, поколотит, у нас недолго. Она вас змеей зовет. «Вон опять поползла»,— сказала.

Неверная злая улыбка сверкнула на вытянутом худеньком личике. Он, верно, искал ключа к тому, что происходило с семьей. Но, кроме новых слов, ничего не узнавал и за звуками не видел содержания. И если понял, что значит, что папа и мама разошлись, то понял, как начало бедности и безраздельного главенства бабьей скуки в их существовании. Но что надо подразумевать под обозначением «Онуфрий Ипатыч», он не представлял. Лицезрение Татьяны Александровны, которая в речах взрослых часто выступала в связи с Онуфрием Ипатычем, ничего не объяснило. Он убежал, не оглядываясь.

Таня снова прошла длинную очередь, комендатуру, разговоры в ожидании пропуска. Ее с целой партией других посетителей впустили в длинную сводчатую комнату, перегороженную вдоль деревянной решеткой. Горела неизменная неугасимая электрическая лампочка без абажура, жалкая и ненужная, гудели заглушенные голоса.

— Вот я! Сюда, пожалуйста.

Она искала его глазами и не находила. И вздрогнула, увидав остриженного под машинку, сгорбленного коротыша,

в гимнастерке, слишком для него объемистой. Он улыбался сквозь слезы.

— Пришли, как хорошо! — повторял он почти шепотом, как говорили, впрочем, и соседи.— Хорошо, что пришли.

Не выпускал ее пальцев из холодной влажной руки. Таня леденела от прикосновения из-за деревянной изгороди. словно сообщавшего ее с казематной сыростью. Молчала,— что спросить? Как поживает? Да, он не поживает! Но Онуфрий Ипатыч и не ждал, верно, слов, любовался жадно, радуясь, что может внести поправки — краешек ноздри, цвет бровей, уголок рта,— в тот образ, который иногда, как милость, дарила умственному взору память.

— Как вы похорошели, посвежели. Не стыдно вам? — спрашивал он.

Должно быть, ему казались признаками посвежения пятна беременности под глазами. Речь наконец вернулась к ней.

— Я вам кое-что передала там...

Он не изумился нелепому вступлению в разговор, сухому и безразличному после всего, что они совместно пережили. Ее голос, как и температуру кожи, считал он избыточным даром к тому, что дарила судьба: воочию видеть ее,— новым неоспоримым подтверждением счастья.

— Да, да, очень вам благодарен. Вы ведь добрые. Я как вспомню, как вы обо мне заботились, как изводились во время суда, так мне и становится смешно, что я сейчас иногда мучусь. Или скучно мне станет, вспомню, что вы недалеко, в этом же городе...

Остальные пятнадцать минут он больше вздыхал. Темные клубы каких-то так и не нашедших пути к выражению мыслей подымались в них. Порываясь что-нибудь сказать, Таня сталкивалась с чем-то значительным, что неясно бродило в душе и сковывало язык. Она, разумеется, могла бы назвать эти властные позывы к молчанию угрызениями совести, жалостью, стыдом за свое благополучие, мало ли какие наименования нашла бы в беседе с другими по этому поводу. Но тут она только безмолвствовала. Однако, когда надзиратель подошел к ним и прервал свидание, оба они удивились, что, произнеся такое множество слов, никак, в сущности, не поговорили. И Онуфрий Ипатыч заспешил, снова благодаря и восхищаясь добротой, схватился спрашивать, как устроились, и напоминал передать привет Михаи-

лу Михайловичу, и опять заметил, что она пополнела и похорошела. На этом его почти оторвали от решетки.

Таня вышла в жидкую синеву непогожего вечера, дивясь, что может существовать такая свежесть. Гудел ветер, гремел вдали город, уже обозначившийся огнями, выступавшими как первые звезды. И бескрайне, торжествуя над всеми звуками земли, шумело мутно-серое пространство, слитое с небом,— море.

Михаил Михайлович целыми днями не приходил со службы. Запущенное хозяйство ОЗРА поправлялось с трудом. Он принял от Саранчовой организации энтомологический кабинет и вечерами приводил его в порядок. Теперь, имея микроскоп, он усиленно работал над своим материалом и собирался писать исследование о паразитах азиатской саранчи в постоянных гнездилищах Закавказья. Таня не доверяла поспешности и упорству, с коими муж ушел в занятия, иногда приходила в голову мысль, что, напуганный тревогами жизни, он скрывается в кабинете. Она не понимала науки.

Таня прошла звонким двориком, который едва освещался светом из окон флигеля, любовно обрызгивающим листву белых акаций. За кокетливыми зелеными занавесками в окнах виднелись белые стены и потолки налитых сиянием комнат. Своеобразная драгоценная тишина охватила вошедшую еще в передней с пустыми вешалками. Воздух был напоен тонким разложением препаратов и испарениями масел и спиртов. Ящики и корзины, тщательно упакованные, стояли по стенам. Таня проследовала две или три комнаты, строгие, как музей, с вертушками фотографий, гербарными ящиками, образцами поврежденных растений. Мужа она нашла в последней комнате, похожей на врачебный кабинет. Горьким дымом табака густо ударял застоявшийся воздух, словно несколько поколений курильщиков старалось здесь. Михаил Михайлович углубился в микроскоп. И удовольствие видеть жену медленно размягчило его сосредоточенные черты, как будто не сразу нашло ход к коже и мускулам лица. Он взглянул на нее рассеянными и утомленными глазами, спросил кратко:

— Была?

На сухой вопрос она ответила пылким описанием встречи:

— Была. Милый и жалкий. Я как-то очень остро поняла,

что он безволен, как ребенок. Не живет, а грезит. И раз десять повторил, что я похорошела и пополнела. И не заметил...

— Пузико? — перебил муж.— Да, славная наблюдательность.

Самодовольство мерещилось ей и там, где, возможно, оно и не ночевало. И всегда позывало съежиться от проявления мужской гордости.

— Он не безгрешен: у него чувства не ребенка, а взрослого человека, их отпущено больше, чем нужно человеку такой воли и ума... Я кончил работу, мы можем идти домой.

Спокойными широкими движениями он снимал белый халат, прятал микроскоп в футляр, сложил аккуратно бумаги, достал ключи, которые надо было передать сторожу. Она сравнивала обилие и целесообразность уверенных жестов с той смятенной неподвижностью Онуфрия Ипатыча, за которой прозревала душевные ураганы. Часто внутренне противясь самоуверенной силе мужа, она с первой встречи с ним не нашла того телесного противоречия, которое единственно родит антипатию к мужчине.

Супруги вышли. Холодный мертвый лист, начало осени,— упал ей на лицо, скользнул, как капля.

Путь лежал по набережной. Они присели на бульварной скамейке. Справа и слева по берегу бухты мерцал ровный ряд фонарей. Мгла как бы затвердила их и выносила куда-то вдаль, за выход в открытое море, где нельзя определить, насколько они удалены от глаз,— может быть, вырвавшись за пределы атмосферы, они назывались звездами. Непроглядные массивы гор намечались беспорядочной россыпью ярких точек, окон жилищ. С моря шел свежий ветер, глухой гул, словно там, во тьме, что-то непрерывно рушилось.

— Как это напоминает тот вечер, когда мы вернулись в Россию. Немногим больше года прошло, а каким я теленком был тогда, теперь только вижу. Сурово, сурово...

Он вздохнул, прислушиваясь к хриплым трубам прибоя.

— Мы выплыли. А пожалуй, для Онуфрия Ипатыча было бы лучше, если бы он не выплыл с шарфом Мухановой.

— Нет, нет, что ты. Он все-таки бодрее, чем мне казалось до нынешней встречи. С ним только немного трудно говорить... Но ведь эта тяжесть всегда была... А для меня она в особенности заметна...

Она взяла мужа за локоть, прижалась. Волна нежности нахлынула на нее, хотелось защитить его мужественные замыслы от мелких тревог. Недавних огорчений по поводу самодовольства и мужского чванства как не было. Он размышлял вслух:

— Жизнь, должно быть, завоевывается страданием и трудом. Я думаю это, когда хожу по лаборатории, которая перешла к нам от Саранчовской организации. Эту лабораторию создал покойный Муханов и хорошо, любовно обставлял, говорят, даже тратил на нее свои средства. В нем все-таки жил ученый. Я тебе не рассказывал об этом, всячески даже скрывал. (Она теснее прижалась к нему.) Да и сам толком не осмыслил. Мне как-то странно и жутко было принимать дело из его мертвых рук. Из каждой мелочи я убеждался, что тут он был щепетильно честен и вообще старался не прикасаться к хозяйству. Сегодня незадолго до тебя заходил Эффендиев. Я ему посетовал, зачем он меня сюда устроил. «Брось,— сказал он,— все о мертвецах думаешь. А у тебя жена беременна».

Вечный припев. Она улыбалась в темноту преданно и любовно. Пусть приходится иногда досадовать на него. В этой борьбе сердца, в этой смене чувств, игре настроений, при условии, что все удерживается в каком-то равновесии, и заключается та душевная жизнь, та обитаемость сердца, которую она искала и не нашла, уйдя за Онуфрием Ипатычем.

— Откуда Эффендиев узнал? — Таня рассмеялась.— Мне все кажется, что наша вестовщица Марья Ивановна выболтала. Да ей не до нас...

Она рассказала о встрече со Сташеком. Михаил Михайлович слушал рассказ, как беседу вагонных соседей о ком-то отсутствующем. Таня очень тонко закончила рассказ, как будто догадавшись о настроении мужа:

— Я чувствую время. Я ощущаю, как зреет во мне другая жизнь, существование в будущей половине века... И глохну к окружающему. И это счастье, я не слышу и воспоминаний, как будто все, что случилось несколько недель тому назад, так далеко, далеко...

1925—1927 гг.

Писательница



Роман

I

Едва писательница проходила заводские ворота и вступала на эту ни на что в живой природе не похожую землю, растерянность и смятение сменяли обычную для нее задумчивость. Она стремилась уследить за каждым шагом, искала сигналов и предупреждений и почти утрачивала ту инстинктивную, бессознательную бдительность, которая, освобождая от заботы, куда ступить, как повернуться, оставляет в душе так много места для волнений и радости воспринимать и перерабатывать бытие. Писательница на мгновение останавливалась у контрольной будки, прощалась с ощущением солнца и степного зноя на лице. На коже еще держалась ароматная прилипчивая пыль — та самая, что подымется с дороги, посидит на чертополохе, потом еще на каких-то безымянных желтых цветах и, вновь вспугнутая, почти злым касаньем пройдется по векам, по лбу, по щекам.

Горожанка, жительница столицы, писательница пугалась завода больше, чем темного леса или дачной дороги в тот роковой час, когда возвращается домой предводимое тяжелым быком стадо. Ей и вообще порой казалось, что вся жизнь состоит из крупных и мелких страхов: ее пугали и прохожие оборванцы, и пьяные, и грызущиеся собаки, и сердитые гуси, и скорпионы и фаланги на юге. И все это — на фоне какого-то огромного, темного опасения захворать, потерять работоспособность. Она словно бы расплачивалась житейской тревогой и мнительностью за то, что обладала бесстрашием ума и воображения, а все эти противоречия и составляли в ней способность творчества и способность совершать поступки, которые ее близкие называли героическими и самоотверженными. А ведь иной раз, идя совершать свой героический поступок, она при переходе через

трамвайную линию вдруг коченела от мысли, что на нее оборвется трамвайный провод, обвалится кусок карниза семиэтажного дома, потеряет управление и врежется в толпу на тротуаре автомобиль. И тогда весь поход превращался в такую муку, что она даже не замечала, как совершила свой героический поступок, узнавая об этом только по радостности и беззаботности, с какой возвращалась домой. Она по-детски ненавидела неосвещенные комнаты. Еле заметный порез, царапину, булавочный укол заливала йодом. Не верила аптекам и каждый раз, принимая новое лекарство, готовилась умереть жертвой чьей-то рассеянности и недосмотра. Зато в той вселенной, которую она выдумывала в своих книгах, действовали люди нечеловеческого мужества, а если уж и появлялся там человек нервный и утонченный, то такой нервной утонченности, с какой жить можно только в воображенном мире.

Заводская территория предъявляла к писательнице непосильные требования: не спотыкаться на кучах шлака, перелезать через груды железного лома, обходить телеги под мордами страшных лошадей в наглазниках, с похожими на громадные печати копытами,— такое животное, слыхала она, может с одного укуса раздробить ключицу.

Заводская территория поражала и страшила напряжением жизни в совершенно не приспособленной для жизни обстановке. Черная, упитанная маслами и выжженная кислотами земля, дыхание огня, зловонный дым, вопли гудков, котлы, которые еле сдерживают давление пара, грозная сила электричества, о которой предупреждают черепа в молниях, ремни трансмиссий, маховики... И под ремнями, под маховиками, между валками, у топок, у трансформаторов и масленников, среди рек расплавленного металла, в сдавленных пространствах, где больше опасностей, чем при штурме крепости в прошлые века,— как бы нехотя, но во всю мочь работают люди, без тени мысли об опасности покалечиться и погибнуть. Они улыбаются черными губами, ругаются, болтают, думают о своем.

Больше и прямее всего возбуждали в ней опасения подъемные краны, автокары, грузовики, паровозы — все, что возит и переносит, что ведет себя здесь как взбесившееся зверье, как глыбы камней при землетрясении. С каждым посещением завода ее мнительность возрастала. Любознательность и внимание, с какими она вникала в устройство

предприятия, приносили ей новые страхи, но их преодолевала мысль о том, что не стоит жить без познания жизни. А как легко привыкала бы она к заводу в молодости! Вот еще одна черта старости.

При всем том писательница позволяла себе пугаться лишь безотчетно. Ведь если допустить до себя сознательный помысел об индустриальных опасностях, он может разрастись в протест, в возмущение ума. А тогда логика поведет дальше, тогда надо вступать во внутреннюю борьбу со всем движением страны, которую писательница горячо любила, с властью, которую она искренне и глубоко уважала, с господствующим мировоззрением, которое она от всей души хотела понять и принять. К тому же ей так хотелось постичь всегда ускользающую тайну: как это мужчины делают свое дело? И пусть работающие здесь люди пока еще странны ей и чужды, гораздо более чужды, чем, скажем, средневековые рыцари, которых много лет назад описывала она в ранних своих рассказах,— но есть же ход к этим людям, они ведь не в другом измерении, ведь это не муравьи, не пчелиный улей, а трудовое человеческое объединение, общество, коллектив. Тут она начинала восхищаться и гордиться собой: сколькие из ее пишущих приятелей довольствуются, с допущениями и прикидками, малым знакомством с этой средой, оболванивают работающего у машины человека в существо, рассудок которого теплится ровно настолько, чтобы обслуживать машину и рождать некоторое количество жалких мыслишек.

«Нужно полюбить,— говорила она себе.— Только любовь просовывает в толщу живого щупальца, которыми можно вобрать и вкус и запах этих теплых глубин. Надо полюбить и сутолоку, и тесноту, и их усталость, и насмешливость, и грубость, и то, что они не всегда умеют высказать себя... помочь им высказать...»

Среди всего этого торчком выбивалось слово *солидарность*, а в него-то ведь и вложена та мысль, которая ей нужна. Солидарность — тоже форма любви.

С этой ношей мыслей следовала писательница вдоль бесконечной стены сборочного цеха комбайнов, где за сплошными пыльными окнами — стекла в железных рамах — мерцали, казавшиеся ненужными, желтые огни электрических ламп. Оттуда сочился ровный гул. Ноша найденных мыслей не давала скучать, пока писательница продвига-

лась вдоль длинной стены. Ровность гула ее успокаивала.

По шоссе проносились грузовики. Навстречу им тянулись толкаемые невидимой силой платформы, груженные несвежим, в серых пятнах от цемента тесом — снятой опалубкой. Писательница шествовала, не глядя по сторонам.

Так она очутилась в путанице старых, еще капиталистической стройки заготовительных цехов. Здания тесно прижимались углами друг к другу, словно их поставили ненадолго и собирались как-нибудь при случае переставить красивее и удобней. Их возводили по архитектуре складов и амбаров: крыши скатом, узкие ворота, толстые стены белого кирпича в потоках размытой дождями копоти. Все это походило на то, как если бы сдвинули вместе несколько деревенских кузниц,— глаз уже искал продолжения в виде соломенных кровель и лужи перед трактиром, в которой месят грязь пузатые лошаденки. Может быть, именно хозяин питейного заведения и принялся когда-то лепить промышленность на свой салтык,— откуда же могли ему пригрезиться железобетонные и стальные каркасы зданий, цеха, в которых простор отдает океаном, хотя бы от зеленого армированного стекла, которым иллюминованы потолки? Шоссе, как видно, тоже потеряло здесь дыхание и ровный размах прямизны. Оно сгибалось в дугу, ломалось в зигзаги, не меньше шести раз под разными углами пересекало железнодорожную колею.

Писательница очнулась в путанице корпусов и поворотов,— каждый раз, очнувшись в этих местах, не знала, куда повернуть. Она приостановилась у глухого угла длинного, низкого здания, в узкой вилке, образованной скрещением шоссейного и железнодорожного путей, и дальше пошла озираясь. Где-то совсем рядом дышали и повизгивали маневровые паровозы, как бы усиливая своей невидимой суетой сухой зной дня и провозглашая безграничность заводской территории. Безлюдье и неподвижность были обманчивы, писательница им не доверяла. И в самом деле — позади, сначала не выделяясь из общего отдаленного шума завода, возникло заглушенное расстоянием, но могучее громыханье. Оно нарастало, приближалось и, как оказалось, состояло из высоких нот, короткого металлического звона и дребезга, прорезаемого икающими автомобильными гудками. Писательница оглянулась. С поворота, из тучи белой пыли, неслись на нее три грузовика. Звонкие прутья тяжелой

строительной арматуры, свисая с платформ как хвосты, гремели так, будто толкали вперед машины. Писательница ускорила шаги. Но из-за стены горячо зашипел и тонко взвизгнул паровоз, высунулось черное, как его собственная тень, могучее тело. Треск заполнил все сужавшееся пространство. Мощная, сравнительно негромкая работа старых моторов, сотрясение тяжелых кузовов, мелкие и частые удары друг о друга железных прутьев, лязг цепей и передач, скрежет о мостовую пневматических шин — все это и создавало грозный, нарастающий треск.

Писательница оглянулась, и прямо ей в лицо полетели, как комья, гудки. Она бросилась к паровозу. В силу того, что шел непременно по рельсам, он пугал ее не больше, чем наведенное дуло ружья, тогда как автомашины казались динамитным зарядом с уже запаленным фитилем. Спастись было легко, стоило лишь двинуться назад, так как линии скрещения естественно расходились. Но, вместо простого пути к спасению, инстинкт погрузил ее в предсмертный вихрь, о котором она столько начиталась, наслушалась, навоображала. Сила дневного света сгустилась до тяжелой алмазной ощутимости, в которой действительно можно спутать паровоз с его тенью, как и краткое ощущение конца жизни — со всем ее протяжением. Писательнице, как по писаному, надлежало вспомнить детство, отрочество, юность, зрелость, начало старости, первую любовь, дорогие лица и какие-то случайные, сказанные кем-то давно забытым слова, но вместо этого весь ее внутренний состав напрягся в значительно более важном, все существо заполнившем ощущением красоты и бесценности опыта, накопленного и отдельными мгновениями, и этапами возраста.

«Как,— взывало это ощущение,— погибнуть сейчас?»

И подобно тому, как можно вопль о помощи разъять и разложить на составные части: признание бессилия, ужас, досаду на непредусмотрительность, ожидание спасения, мольбу о нем, так и в ее вопросе слилось воедино и непредставляемо яркое видение залитых маслом медных и стальных частей паровоза, серого радиатора, серых досок грузового кузова, непомерно толстых покрышек, направленного на нее колеса, и, самое важное, чудо, что все это дано ей видеть, понимать, что нет меры и цены этому зрению и пониманию.

Визг паровоза раздался, казалось, над головой. Плечи

сдавил железный трепет автомобиля. Еще хватило сил сделать шаг... и ноги потеряли землю. Она восприняла этот миг,— когда все видимое вдруг качнулось, рухнуло, ринулось в сторону,— став без веса, без сил, став одной мыслью, и плавно, всем ничего не чувствующим телом легла к самым шпалам.

Под ней мягко и сыро нежился песочек. Над ней проплывали черные округлости металла, качались, ломаясь в сочленениях, блестящие палки, и колеса, колеса, колеса,— огромного диаметра и веса, давили отполированными ободами рельсы, готовясь раздавить ей голову. В короткий, как молния, и, как молния, насыщенный движением и светом миг, пока над головой неслись коленчатые части, поршни и колеса,— она закрыла глаза, но видела ушами, и свет был внутренний, ничем не тусклее яркого полдня,— лежавшая собрала все силы, чтобы не шевелиться, ждала низко свисающей подножки, которая, стоит чуть приподняться, снесет крышку черепа. Мысли состояли из немногих, но отчетливых соображений. Все члены держало оцепенение, не давая двинуть пальцем. Так некоторые насекомые притворяются мертвыми и тем обманывают врага.

А жизнь кипела в ней. Пыль раскаленного шоссе пахла дегтем и лошадиным пометом, в шпалах что-то скрипело, на стыках металл с чавкающим звуком ударялся о металл, взревывали гудки, разогретая масса паровоза обливала жаром и сыростью, откуда-то снизу вырывался суховейный, казавшийся прохладным ветерок. Жизнь заставляла писательницу ловить и запоминать все, ставшие бесценными, подробности этого мгновения, которые должны были сохраниться в ней для будущего и сохранить ее этому будущему.

В потоке ощущений и предчувствий возникло очень недавнее, но по силе не уступавшее всему происходящему с нею впечатление о человеке по имени Павлушин. К нему она и направлялась. И смерть не должна была прервать ее путь.

Капля горячего масла упала на висок, как из самовара обдало паром, и она почувствовала, что спаслась. Проплыли ступеньки, колеса тендера, и открылось, обрушилось, хлынуло в глаза небо. Она снова зажмурилась и снова взглянула, втянула воздух, лизнула губы. Все ее чувства заявляли о себе с необыкновенной радостью и силой. Медленно подымаясь с земли, писательница размышляла о том стран-

ном обстоятельстве, что, пережив такую катастрофу, больше всего испугалась самого падения и теперь опасается, не сломала ли чего-нибудь. И когда подымалась,— удивленная, что ничего не повредила в своих старых суставах,— машинист с испуганным лицом крикнул что-то вроде «чертовой бабушки», а шофер последнего грузовика погрозил кулаком, на что она ответила широкой, долго не сходившей с губ улыбкой.

Машины ушли, оставив ей нестерпимый простор: скрещение путей, стену, шоссе, небо, пыль. Только тут задрожала она от всего пережитого.

Машины ушли, гудя, шипя, громыхая, пыля. Они едва не унесли ее жизнь, ее чудесную способность видеть свет, вдыхать воздух, размышлять, сочетать слова в интересные истории, ее наблюдательность, отзывчивость, биение сердца, шум в ушах, заботы о склерозе, страх теперь уже столь далекой, что она и невозможна, смерти — всё, всё.

— Как яичную скорлупу...— бормотала писательница, отряхиваясь от пыли.

— Ну, слава богу! А я как увидел, так и побежал. Думаю: несчастье!— произнес мужской голос совсем рядом и слабо, как все стало слабо и тускло в растянутой, разжиженной действительности.

Писательница обернулась. Перед ней, громко и часто дыша, стоял высокий, рыжий, в багровых веснушках человек. Она взирала на него с чувством, похожим на опозоренность. Ей было стыдно явиться в мир без единой царапины, но с таким грузом испытаний, словно она в самом деле посетила небытие.

— Ах, это вы!— сказала она, не узнавая этого вполне знакомого мужчину.

Но едва только он спросил: «Вы к нам в цех?» — она сразу вспомнила, что это техноргук, который третью неделю дает ей различные объяснения, и что зовут его товарищ Сердюк.

Сердюк начал о чем-то расспрашивать, но у нее не находилось сколько-нибудь подходящих слов, чтобы донести до него всю переполнявшую ее тяжесть. Она вяло отделалась несколькими фразами и жмурилась, как будто он слепил ее своими веснушками.

Появление Сердюка сразу отодвигало всякую мысль о катастрофах и несчастных случаях, потому что в его лице

представала размеренная суета работы, ее прекрасная повторность, ритм, которому, необыкновенно исполнительный и аккуратный, он отдавался с самозабвением, служа примером для всего персонала цеха. Портила его только излишняя кропотливость и мелочность, с какой он во все вникал. Этого длинного человека,— создавая его, природа размахнулась создать гиганта, но в последний момент обузила в плечах, груди и тазу, и он чем-то напоминал сильно вытянутого кролика,— редко видели в цеховой конторе. Зато в производственных помещениях он всегда появлялся как раз в ту минуту, когда кто-либо, будучи в затруднении, особенно при поломке станка, произносил: «Тут бы товарища Сердюка!» И Сердюк был налицо, во всеоружии своего почти невероятного чутья к болезням машин. Он сразу бросался к повреждению, не отходил, пока не исправлял. А оборудование в цехе хворало часто. Пот лил с веснушчатого лица техпорука, он кашлял, задыхался, кричал, напрягая больные легкие, и ревниво оберегал изношенные машины от небрежных и злых рук. И все это словно для того, чтобы не допускать лишних мыслей о чем-либо постороннем производству, как будто с ними могло прийти то, что он давил в себе: боязнь за изменившееся здоровье. Ища простых объяснений, писательница натолкнулась на предположение, что именно здоровье заставило Сердюка оставаться в границах вверенного ему дела, потому что это вынуждало его бороться с худшим их врагом — с собственной, останавливающейся на слабых местах организма мнительностью. Зачем человек сжигает здоровье, борясь с мнительностью,— это противоречие, встав перед нею, отступало, потому что нужно было найти какое-то всеобъемлющее объяснение всей ожесточенной работе завода, и всех заводов, и всех полей.

— Пойдемте, я вас провожу до цеха,— предложил техпорук.— А ты подожди здесь, на этом месте. Не уходи смотри, стой тут. Довольно шутковать, иначе плохо будет. Папаша шуток не любит.

Только тут сосредоточилась писательница в такой мере на действительности, что обратила внимание на странного молодого человека, которого автоматически разглядывала во все продолжение разговора с техноруком как скучный фасад, как серые комья на дороге. Такие подробности вливаются в широкие воронки внешнего зрения и не могут протесниться на узкое поле внутреннего.

Юноша внушал потребность отряхнуться, проверить, все ли на тебе в порядке,— настолько сам он являл картину злостной и преднамеренной заброшенности. Он будто гримировал грязью еще детскую округлость лица, которому, впрочем, придавали несколько отталкивающее выражение убегающие от прямого взгляда глаза. Невысокий рост и коренастое сложение обещали в нем раннюю мускульную силу. Его толстые короткие ноги были обтянуты черными ластиковыми, явно с чужих ляжек, штанами. Пиджак добротного, какого-то лазорево-жандармского цвета сукна был безнадежно испорчен жирными пятнами и свежими прорехами. Торс и лицо малого были красивы. Лицо поражало какой-то знакомой выпуклостью черт. Он смущенно усмехнулся и тогда всеми своими чертами и статью приблизился к самому требовательному представлению о юношеской миловидности и обаятельности. По мере того как писательница изучала внешность юнца, это представление все усиливалось. К тому же он был ей чем-то знаком, почти мучительно знаком,— как воспоминание, которое никак не можешь приурочить к тому, с чем оно несомненно связано. Он казался с кем-то схожим; юношеская недоразвитость в слишком мягком и широком овале лица, тупой нос, полуоткрытые губы как бы искажали чей-то гораздо более привлекательный образ.

— Ладно,— ответил он техноруку хрипловатым, ломающимся голосом.— Не пугай меня папашей, Алексей Филиппович, не запугаешь.

И остался стоять.

— Кто это?— спросила писательница.— Будто из асфальтового котла.

Техноруκ ответил не сразу, как бы опасался, что его услышат.

— Верное ваше слово, из асфальтового котла. Прямо понять нельзя, что делается с молодежью. Вот пожалуйте... Только что узнали, что парнишка попал в беспризорники, или, как по-старому, в золотую роту. Да сам, добровольно. А ведь хоть и недавний, все ж таки рабочий! Работал он, правда, в паршивой ремонтной мастерской, кругом рвачи. И вот выяснилось: давно, недели две, не ходит на работу. Позавчера отец случайно проследил. Идут вместе с парнем на завод, отец — в ворота к нам, сынок — к своим воротам, да оттуда и свертывает куда-то в сторону. Отец за ним, парень от него. А нынче я его встретил в этаком виде на

улице, ну и повел отцу показать. Хочу домой направить, под надзор... Или в мастерскую...

— Так он уже наверняка сбежал,— с тревогой сказала писательница.

Они выбрались на тихие задворки, где жесткие стебли сорных трав, окружив кучи щебня и шлака, подступали к серому, отороченному гвоздями забору, где наглухо запертые пакгаузы тихо млели с прошлого века. За забором что-то строилось. На бетонолитной башне, умиляя писательницу, возились в струнах растяжек человечки в синицу ростом, возводившие какие-то гороподобные бастионы. Здесь, среди заброшенных зданий и пустырей, писательница уже спокойно поглядывала вперед.

— Убежит, пожалуй, и впрямь убежит,— вяло отозвался техноpук.— Что ж, ноги ему отвинчивать?.. А вас товарищ Павлушин дожидает...

— Так это сын Павлушина, товарищ Сердюк!— почти крикнула писательница, внезапно уточнив сходство молодого человека с близко ей знакомым человеком.

— Павлушина.

Сердюк покраснел, веснушки слились со всем тоном кожи.

— Несчастье Павлушина...

— Идите к мальчику,— властно сказала писательница.— Может, он еще не убежал.

Техноpук вдруг возбужденно заговорил о том, что молодежь отбилась от рук, что отцу с матерью с таким мальчишкой не сладить, что тут надо организованно. Но махнул рукой и поспешно удалился.

Внутренне уважая Сердюка, писательница вообще-то избегала его. Он при всякой беседе забивал ей память цифрами, количествами без характеристик, сушью подробностей, жаловался на расхлябанные станки и прочее, и все в таких словах, из которых не выудишь в блокнот ни одной детали для «всесильного бога деталей» — искусства. И вдруг именно такой человек предался общим, хотя и неясным рассуждениям о молодежи. И тут помог Павлушин! Техноpука, видимо, можно разговорить.

«Прежде всего,— положила себе писательница,— его нужно вовлечь в поставку материала для моих очерков. Надо разговорить...»

Но по залившей ее при этом намерении скуке она по-

чувствовала, что вряд ли его выполнит. Только Павлушин умел вводить ее в мир производства — незнакомый, чуждый, сложный, весь, как ей думалось, из расчетов и подвохов. Павлушин давал то, чего жаждало ее перо: крупинки быта, знаки борьбы, завязи подвигов. И осуществление финансово-промышленного плана представало тем, чем оно было на самом деле: драматическим развитием воплощаемой безмерно смелой идеи. До сих пор писательница вникала в Павлушина, отталкиваясь от противоположностей, вроде Сердюка, который был лишь тощей вводной главой в павлушинский облик. Юный оборванец-сын пробивал сюда уже широкую брешь, в которую хоть въезжай всеми обостренными способностями наблюдения и понимания.

II

Писательница обратила внимание на Павлушина не только потому, что он был начальником цеха использования отходов, который ей надлежало отобразить в художественных очерках по договору с трестом сельскохозяйственных машин. В гораздо большей степени заинтересовал он ее еще и тем, что всем своим обликом выделялся на заводе: особой выпуклостью, вескостью черт, что с первого взгляда заметила она и в сыне. У Павлушина была крепкая — чуть блестящая на скулах и матовая на висках,— приятная, чистоплотная кожа, широкое в овале, правильное почти до каноничности и в то же время подвижное лицо, причем глаза часто становились медлительными, как бы прицеливающимися, и всегда крепко сжат рот. Наклонял ли он голову, протягивал ли руку что-нибудь взять, повертывался ли на стуле — все выходило в тот идеальный срок времени, который потребен на данное движение, а потому красиво и носило бы простое название «военная выправка», если бы не сужало разнообразие человеческих движений до нескольких десятков выученных. Ходил он коротким шагом, легко и твердо. Умело и свободно, как какой-нибудь вязаный свитер, носил столь неудобную одежду, как кожаная куртка. Особенно привлекательны были его волосы: черные литые крупные пряди словно показывали, что и мозг под ними лежит такой же плотный, литой, в обильных и красивых извилинах. В волосах не было седины, однако она сильно пробивалась в ще-

тине на подбородке и на тяжеловатых челюстях. Такие ловкие, сильные, спокойные люди, как не раз замечала писательница, заряжены хорошим умом, волей править, неутомимым трудолюбием, терпением, крутым характером, душевностью, завидным сном. Но если ими не владеет крупная идея, они обычно закосневают в личных делишках, в толково обставленных радостях. Павлушин являлся типичным выражением отборного ряда. Ему недоставало честолюбия, а ранняя его молодость, протекшая при строе, который обрекал рабочего Павлушина на прозябание, не освещалась той с младых ногтей осознанной жадностью, которая зовется жизненной целью или задачей и, последовательно осуществляемая, творит хрестоматийные характеры. Однако, невзирая на свои годы и опыт, писательница все же готова была навязать ему эту хрестоматийность, потому что так соблазнительно упростить характер, сгущая и усиливая главные черты и забывая о целом хоре мелочей. Вот и получалось, что даже несомненная его мужественность казалась ей почти отвлеченной, словно в повести, в скульптуре, в фильме. А ведь это была жизнь.

Последний год писательница претерпевала разные неприятности за неудачный роман. Критики двух столиц грызли ее из номера в номер в литературных журналах и газетах. В стенограммах почти ответственных выступлений по вопросам искусства имя ее поминалось с вежливыми, многозначительными намеками, а в прениях — с бранью. Такой случай предоставил ей возможность проверить окружение, знакомых, приятелей. И проверила. И осталась одинока.

Итак, старость и одиночество. Однако у нее хватило расчетливости не изумиться итогу. Она храбрилась, хотя всеми нервами поняла, что человек — животное общественное, искала и, разумеется, находила вкус в горечи, всю зиму читала Марка Аврелия, Шопенгауэра, персидских лириков, книгу Иова, даже притащила огромный, в окаменелом вишневом переплете, том Монтеня на французском языке. Но, если говорить правду, закладки так и остались в середине глав этих путеводителей по человеческой печали: начинала главу и не заканчивала. Книга, как нищенка, лежала в лохмотьях заложенных в нее тряпочек, обрывков бумаги, веревочек, шнурков. В ратоборстве с горестями писательница — от лежачего образа жизни — потолстела, цвет лица стал очень нехорош: щеки прозрачно-восковые, а подглазья жел-

товато-розовые. Бабье царство — сестра, вдова-невестка, старая экономка отца, с которыми писательница делила уплотненную квартиру на Арбате,— бабье царство без конца придумывало ей какую-нибудь длинную развлекательную поездку. И все очень обрадовались, когда общество писателей-краеведов предложило ей месячную командировку на большой южный завод сельскохозяйственных орудий изучать работу утильцеха, которая якобы очень занимала одного из членов правления треста, большого любителя словесности.

По существу,— в том положении, в котором они оба находились, то есть в житейски ложном положении наблюдателя и наблюдаемого, причем никто не очертил границ наблюдений,— эта встреча, как бывает в любом практическом сближении, поначалу не обещала быть для писательницы ни поучительной, ни даже занимательной. Павлушин мог послужить лишь «материалом для очерка», для чего она насильно привлекала его иногда в круг своих общих размышлений, мысленно любуясь его распорядительностью, хладнокровием, умением ладить с людьми — от чернорабочего до главного инженера завода. Но куда было девать и как изобразить на плоскости производственного портрета черты душевного крепыша и ту ровную, сдержанную хитрость, которою он ограждал себя и даже, если угодно, свой цех от слишком настойчивого подглядывания?

Прошло несколько дней. Мнение писательницы переменилось, и Павлушин стал служить ей макетом неких возвышенных построений, драгоценных для юности, но едва ли не смехотворных в ее возрасте. Так, у древних, у Плутарха или Светония, проходят перед читателем архонты, военачальники, цезари, сенаторы, граждане, произносят величественные изречения, проявляют нечеловеческую волю, одержимые любовью к отечеству, бьются в ущельях до последнего, покоряют царства, сносят с лица земли города и народы, но трудно себе представить, что они пили и ели, сморкались, храпели во сне. Раньше, до опыта революции, мрачная красота «Саламбо» Флобера казалась писательнице неоспоримой правдой, с какой не может сравниться и целый свод показаний современников. А теперь... Мрачно, красиво. Но не то, не то... Не та температура этих ледяных катаклизмов, не те взаимоотношения действующих лиц.

«История не повторяется,— думала писательница,— но

учит сходствами. И не для всех такой,— каким он был в свое время: прозаический, обросший бедным и жестоким бытом,— мир древности вернулся к нам. Но вот Павлушин мог бы, пожалуй, скромно лечь в Фермопиллах...»

А ей от этого не становилось ни теплей, ни веселей: пусть себе погибает доблестно и скромно.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Но оттого что она явилась сюда не то слишком рано, не то слишком поздно, но именно в роковые минуты, ей не раз и не два хотелось зарыдать.

К признакам своего несвоевременного появления в роковые, «тацитовские» времена писательница относила свою деликатность, любовь к людям, слезы от самой крохотной обиды, гордость, знание французского языка, страх написать слово «бог» с маленькой буквы, терпимость к чужим мнениям и самостоятельность своих, манеру извиняться, когда толкает другой, «почти адекватное» понимание Тютчева, уважение к чужому труду и честность в обращении с чужими вещами. Весь этот ворох — в нем смешалось то, что еще годилось, с давно истлевшим и, может, при самом появлении своем на свет уже предназначенным только для сундука,— весь этот ворох она располагала так, что из всего этого получалось некое благообразное чучело, напоминающее идеал довоенного интеллигента, каким его себе рисовали развитые воспитанники старших классов средних учебных заведений. Чучело могло даже казаться прекрасным, но уже никто на него не походил, а если вдруг и намечалось хотя бы легкое сходство, оно возбуждало лишь чиханье, как вынутая из нафталина шуба.

Вылепив собственное подобие идеала, писательница разбиралась в том, что делается сейчас, куда меньше, площе и односторонне, чем могла бы это делать при своей врожденной и воспитанной душевной зрелости и вдумчивости. Она совершала добросовестные усилья, чтобы видеть и одновременно осмысливать виденное,— по законам другой перспективы,— берегла свою изысканность до того срока, когда ее вдруг «возжаждет общество», понимая исторический процесс таким образом: «Если пролетарию нравится, скажем, бефстроганов, то должен же он уважать и те социальные отношения, которые помогли человечеству изобрести это

блюдо, и даже того представителя человечества, который дал кушанью свое имя».

Мы знаем эти интеллигентские умы, отвлеченные, схематические и неподвижные, представляющие себе революцию и всякое общественное движение только «лично», то есть в постоянной примерке к собственному, сложившемуся в годы вхождения в зрелость вкусу. В конечном счете именно сами они остаются внакладе, будучи не в состоянии согласовать поступь событий со своими желаниями, страстями, стремлениями, всем укладом личного быта. А так как поступь революции сильнее их частных порываний, то им ничего не остается, как считать доказанным, что жизнь непременно должна терзать всякого несогласованностью между личным и общественным. И, лелея такую мыслишку, они преждевременно дряхлеют, ибо что такое старость в общественном смысле, как не отставание от общего течения жизни?

Рабочие посмеивались над усатой, одутловатой старухой в шляпке и с записной книжкой: во все суется, обо всем расспрашивает, испугана, рассеяна, чуть не падает от автомобильного гудка, прижимается к стене, если рядом проходит по маневровым путям паровоз. Посмеивались и все же старались попадаться на глаза, дать толковый ответ, бросить лихое словечко,— авось опишет. Посмеивались, и никому не было дела до того, что творилось в этом старом, неловком, пугливом и потому самим собой тяготящемся теле. А ей-то дело было до всех! На всех поглядывали острые глазки, чуть грустно улыбались сухие, тонкие губы, а басовитый, придававший ей неожиданное самодовольство голос изрыгал острые суждения и заковыристые вопросы...

Писательница пересекла длинный, примыкавший к стене пустырь, разорвав при этом о моток толстой проволоки-катанки юбку, и приблизилась к длинному же, переломленному глаголем низкому строению, похожему на обветшалые таинственные здания внутри старых гостиных дворов или старинных таможен, где истлевали тюки вест-индских пряностей, юфти, китайских шелков, сушеных плодов — неприглядные драгоценности с запахом брожения и рогожи.

Писательница почему-то решила зайти с короткой стороны глаголя, где была расположена контора. Для этого надо было сделать крюк по засоренным закоулкам. Она медленно пробиралась вперед и остановилась у раскрытого окна, отку-

да в знойный воздух тянуло спертой прохладой и человеческим дыханием. Солнце жарило прямо в комнату, превращая покрытый белой, в фиолетовых пятнах бумагой стол в сияющую мраморную плиту. За столом в глубокой задумчивости сидел Павлушин, обернув лицо к свету от тех, кто был в комнате. Он как бы отпустил на волю руки — темные кулаки и ослепительно белые запястья. За его головой клубился пыльный мрак учреждения, в котором невидимый для писательницы счетовод звуками щелкающих костяшек тесал в щепу густую, спертую мглу.

Писательница стояла, всматриваясь. Лицо Павлушина озадачило ее. Большое, широкое, как всегда небритое, оно по-необычному потеряло свои твердые линии и выпуклости. Углы губ в щетине, которой солнечный блеск придавал рыжеватый оттенок, опустились. Глаза застыли в неопределенном поиске какой-то устойчивой точки,— причем для каждого глаза точка находилась в своем направлении,— и оба слегка косили, что еще горестнее подчеркивало их неподвижность. По щекам, возле крыльев носа, оставляя металлически блестящий след, ползли две слезы — уже скудные, но несомненные. Павлушин плакал. Неподвижный, невидящий, плакал.

III

В тот же вечер писательница на отдельных листках, заменявших ей дневник, сделала длинную запись. Работа памяти оставляет такие записи без всякого наполнения; в сущности, у каждого из людей их, написанных и ненаписанных, целые закрома. Но только переработка воображением художника дает им подлинную жизнь, и тогда вымысел, выдумка, выросшая из толчка воображения, содержит больше правды, то есть приближения к реальному переживанию, нежели правдиво-краткий протокол факта. Едва записав, писательница уже не знала, что случилось на самом деле и что она придумала.

Вот ее запись:

«Я почувствовала такую волну жалости, что чуть не закричала. А что я могла крикнуть? Что-нибудь вроде материнского стона сочувствия. Это было бы больше чем ужасно, это было бы смешно. Я удержалась, пришибленная неуместным порывом.

Когда я вошла в конторку, меня встретило уже привычно спокойное, красноармейское лицо, как всегда приветливые и настороженные глаза,— на работе Павлушин бдителен, как в патруле. У него свежие, со смуглым, чудом до его лет сохранившимся румянцем щеки и умные, много страдавшие в работе, жесткие грязные руки. При моем входе он встал — и, когда встал, оказался ниже, чем представляешь его сидящим.

Павлушин приземист, как говорят — «на низком ходу», такого легко с земли не спихнешь. Сдержанно со мной поздоровавшись, он поспешно, будто пресекая излишние расспросы, сказал:

— Я подобрал вам все материалы. В этой вот копии моего доклада дирекции вся история нашего многострадального цеха. Но у меня тут главным образом организационный период. Что до производства, там — живая история и, можно сказать, вся цифирь Сердюк и Досекин.

У Досекина русая генеральская борода на два расклада, до такой степени старорежимная, что уже не выполняет назначения быть частью наружности, а годится только для исторического музея, для отдела, где показывают военные наряды скобелевских времен. Она кажется даже несколько неприятной, словно неживая. Но глаза Досекина сияют младенчески свежо и чисто, улыбается он широко и кротко, и тогда вся обильная растительность вокруг рта колышется, как от ветра. Восхищение бородой на два расклада он, видимо, вынес из отроческих мечтаний, взирая на какого-нибудь туркестанского героя в отставке, как вынес из той же дали отрочества и юности храбрость, незлобивость, веру в товарищество.

Совсем в углу, почти спиной ко всем, жмется третий персонаж конторы, странный человек на странной должности — калькулятор. Зовут его, кажется, Ященко. Это что-то глубоко манерное, вязкое... Впрочем, я с ним не каждый день и здороваюсь.

Павлушин и Досекин провели вместе гражданскую войну, которая была в этих местах особенно кровавой, в городе сменилось больше десятка властей. Обоих связывало молчаливое товарищество во много раз тверже, чем многословная, истерическая дружба в кругах моей полубогемы.

У Павлушина неестественно блестели глаза. Я спросила, не болен ли он, и получила довольно сердитый ответ, что

ему сделали прививку против брюшного тифа. Не этим ли обстоятельством объясняется его подсмотренная мной слабость и то, что позднее, спустя каких-нибудь полчаса, он как-то лихорадочно разговорился.

Но папку с бумагами он вручил мне спокойно, деловито, и я вспомнила пролетарское словцо «переключение», которое значительно точнее, чем слово «самообладание», передает то состояние души, когда человек отрывает все силы от личного горя и переводит их на что-нибудь общее. Например, на беседу с журналисткой, когда самая интенсивность выключенного переживания идет на потребу и пользу, давая огонь самым сухим объяснениям.

И Павлушин развивал соображения о политической важности предметов широкого потребления, которыми надо расширять и углублять рынок; как в газетах, все полемизировал с «некоторыми»: «Не только некоторые рабочие, но даже инженеры, даже старые мастера-коммунисты — есть такие! — считают, что комбайн и дверная задвижка находятся в противоречии. На деле эти предметы, если только не исказить дело, исходя из узко понятых интересов нашего производства, вступают в противоречие тогда, когда дверную задвижку не купишь на базаре. Вне колхоза — задвижка замыкает амбар кулака и единоличника, она союзник собственника. В колхозе — задвижка сторожит социалистическое достояние. Используя отходы нашего завода на выделку предметов широкого потребления, мы значительно скорее возвращаем народному хозяйству его затраты, и вдобавок нужнейшими, хотя и мелкими изделиями».

Так записанное, все это звучит цитатно. Я даже наивно удивлялась выдержке Павлушина. Но вот сейчас мне как открылось, я вдруг почувствовала, а поразмыслив, еще и убедилась, что мой Павлушин был просто-напросто увлечен темой. Так в молодости я тоже от самых жестоких огорчений самолюбия и любви убегала писать новое стихотворение, и паливший меня жар шел на согревание ритмических ходов. Может быть, я произвольно сближаю то, далеко не непосредственное, восприятие жизни, которое дает искусство, и павлушинское делание жизни, то есть участие в многолюдном жестоком, упорном движении, которое мы называем революцией. Кто-то сказал, что есть два великих искусства: торговать и воевать. Это два наиболее яркие проявления практики. Наше поколение такие афоризмы от-

носило к дурной игре словами, мы презирали хозяйственную деятельность. Она представала нам колупаевщиной, безыдейным скопидомством. «Как можно бескрылое копошенье в практическом наполнять борьбою за идеальное, за осуществление неясных чаяний?» А ведь теперь практическое поднято до высот идеального, практическое все оправдывает и, больше того, освещает вся тяготы и труды. Кропотливое, черновое наполняет содержанием каждый шаг такого Павлушина.

Но все же он плакал у меня на глазах! Если бы он беспрерывно являл лучезарный лик борца и строителя, я прошла бы мимо него. Разумеется, холодным рассудком можно понять, что такой строитель — в сущности великолепный экземпляр человека, его следует описать в восторженном фельетоне. А теперь у меня нет слов для газетных восторгов, я чувствую к нему простое человеческое тепло, даже когда слушаю его рассуждения о ширпотребе или жалобы на недостаток квалифицированных столяров.

У меня хватило напускной развязности напроситься к нему в гости, хотя вышло неуклюже. Я всегда в таких случаях удивляюсь, откуда у бывшего рабочего появляется стиль подражания «моей среде». Ведь обычно он приглашает и принимает приглашение иначе, стало быть, лоск этот только для нас, для таких, как я. И сквозь вежливость просвечивало, что к моему посещению он относится как к «нагрузке», вроде представительства.

В конторку незаметно набился народ, и, как ни странно, именно в присутствии посторонних он откровеннее говорил о себе, о личной жизни. Этот разговор я запишу впоследствии...»

IV

Разговор остался незаписанным. Помешали очень потрясшие автора обстоятельства. Но и в самой форме принятой записи были препятствия: нельзя писать мемуары каждого дня, здесь поневоле приходится ограничиваться значками, иероглифами, часть которых обрекается на забвение и утрату, а возобновление остальных нуждается в громадной работе памяти и снова воображения. При всей видимой широте охвата дневник брал героя в одном ракурсе, в одном-

двух цветах, в одной плоскости — омертвелым для жизни и не оживленным для искусства. Таким, как он изображен в дневнике, понял бы себя только сам Павлушин, прочитай он эти строки и сумей наполнить собой сухую кожуру ограниченного чужого восприятия. Павлушин предстает в записи «цельной личностью»; цельность понимается как главным образом служебная добросовестность, которая в свою очередь предполагается недоступной сомнениям или возражениям. Такое представление о человеческом характере напоминает учение древних о стихиях, представлявших себе воду, воздух, огонь и землю неразложимыми первозданными элементами. При первом знакомстве с Павлушиным писательница страдала предвзятой мыслью, что душевная цельность столь же несложна, как и стихия воздуха. Поэтому, когда она увидела его в окне, сухой линейный образ его распался и уступил место потоку сочувствия, понимания, жалости, что по сути явилось для нее совершенно новым содержанием и образом Павлушина.

Подобно малой ошибке о сущности павлушинской цельности, ее мнение о рабочей среде содержало ошибку значительно большую и даже кардинальную. Механически объединенное стенами, расположением машин и лентой конвейера собрание людей — вот как она рисовала себе предприятие. И каждый день после гудка завод распадается на отдельных рабочих, они расходятся по домам и там наконец ведут свою подлинную умственную и духовную жизнь.

Писательница успела возненавидеть внешнюю обстановку своих встреч с Павлушиным. Жалкая пристройка, которую занимала контора цеха, была полна запахом сырой извести, махорки, потной одежды. Мухи. Плакаты: агрикультурные наставления, изможденный узник капитала за решеткой, правила уличного движения (человек на костылях на фоне красного солнца). Столы под бумагой в чернильных пятнах и растушевке от грязных ладоней, пыль, сор в углах, кривые стулья и зыбкие табуреты в гвоздях... О, сколько она посетила таких неряшливых комнат общественного пользования, от домоуправлений до редакций, от захолустных вокзалов до клубных закоулков с эстрадой, где приходится ждать своего выхода, от сберкасс до изб-читален. Но конторка имела еще и свой отвратительный недостаток: пробираться к ней надо было через весь завод.

До сегодняшней встречи и беседы писательница удивля-

лась, как могут хозяева, от которых зависит благоустройство собственного существования, мириться с этим запустением и неряшливостью. Люди «ее круга» делали два вывода: или новые хозяева не хозяева, или они вечно будут жить в грязи и бедности. Но теперь, слушая Павлушина, она сделала уже свой вывод: эти люди еще увлечены недавней победой и не обращают внимания на то, что их окружает сор в углах. Больше того, так как сор был и во время боя, он кажется им действительным подтверждением, что сражение произошло и они победили. Если бы она разобрала свои хитросплетения с помощью здравого смысла, то увидела бы, что сор не призван быть вечным и что она подчиняет действительность себялюбию обретенных ею чувств.

Писательница сидела у стола Павлушина боком, стараясь не глядеть ему в лицо. Против нее Досекин тихо шелестел бумажными простынями, на которых предсказывал квартальное будущее цеху в виде колонок, заключенных, как за решетку, в графы цифр, где, закончив произвольное блуждание по мозгам и книгам, они должны были служить делу процветания цеха. Но и Досекин больше слушал заведующего и предавался вместе с ним воспоминаниям, нежели вникал в свой плановый гороскоп.

Раза два приходил сменный мастер, показывал заказ деревообделочного цеха, настолько трудный, что был подтвержден визой директора завода, просил разъяснений. Павлушин коротко и подробно, как он один здесь умел отвечать на деловой вопрос, давал ответ. Мастер пришел в третий раз и остался.

Незаметно появился Сердюк, примостился около самой двери — на случай, если вызовут. Приходили другие. Павлушин отвлекался и тотчас возвращался ровно к тому месту рассуждений, на котором был прерван, причем с такой бессознательной обстоятельностью, что писательница, не без внутренней неловкости, вспомнила Достоевского, забывавшего после припадков все, кроме течения мысли в романе.

Все слушали Павлушина, как не слушали бы на собрании, где он развивал бы те же «установки» своей работы и работы цеха. Частность и случайность высказывания как бы делали для его сотрудников весомее его официальные выступления, словно приближали их из такой дали, как газета например, в комнату.

Для писательницы же стало ясно, что на бесплодном пути

ознакомления с установками ей не будет никакой поживы. И тогда, точно рассчитав возможное действие, она в первую же паузу задала бесцеремонный, нелепо простой, но всегда безошибочно выводящий из делового шаблона вопрос:

— Сколько вам лет, товарищ Павлушин?

— Сорок три,— поспешно отозвался он, желая замять возникшую неловкость.

Но писательница усмехнулась и настояла на ней:

— Совсем юноша. Нет, для мужчины это в самом деле немного.

И по сложному, смутному велению такта Павлушин повернул тему в ее сторону, но не в слишком уж интимную доверчивость,— ведомый соображением, что, раз его принудили болтать о своих летах, можно связать вопрос о зрелости со школой, куда его поместила история. Если уж разговор зашел о времени, о быстротекущих годах, о прошлом, Павлушин заговорил о гражданской войне, потому что жизнь до революции относил к туманам тоскливой недостоверности, вроде тех дурных болезней предков, которые могут повлиять и на нас.

Повествование развертывалось и текло под скрежетание и гул цеха, что доносились из-за стены. Кроме того, за забором на стройке рвали небольшие скалы, и взрывы, как особенно уместные знаки препинания, подобно пушечной пальбе, украшали и обогащали его речь.

V

Германские войска заняли город. Мышиного цвета шинели, стальные каски, заранее расписанные под постой квартиры, порядок как на кладбище,— обыватели принимали «спасителей», все еще морщась, ощущая неестественность того, что привитая во время войны массовая антипатия должна уступить место уважению и даже благодарности. Все же благодарность пересиливала военную прививку. Уже через несколько часов уличные мальчишки научились грозно поднимать руку, выкрикивая «хальт» и «ферботен», на базаре заторговали вязаным шелковым бельем, мёрковским кокаином, перочинными ножами — фабричная марка «два человечка» — со множеством лезвий и приспособлений. Гражданская

власть, предоставленная «созидательным классам общества», тут же начала бороться с большевизмом... «для которого,— писала местная «Заря»,— в нашем городе нет настоящей почвы, как, впрочем, и во всей России это лишь наносное явление». Тут автор передовицы явно прерывал привычное течение мысли, ведущее к намекам о немецких деньгах и запломбированных вагонах со шпионами кайзера. Сейчас эти песни были не к сезону.

Павлушин на только что полученном паровозе — до этого он ездил помощником машиниста — вел отступавший к северу эшелон Красной Армии, ядро будущей знаменитой дивизии Николадзе, и задержался на станции С. Гражданская война в те времена еще жила понятиями империалистического фронта, главной условностью которого была неприкосновенность невоюющей части населения, и Павлушин обеспокоился о судьбе жены и детей лишь тогда, когда встретил на станции Досекина, который сообщил, что эвакуировал своих на бронированном поезде и только что посадил в составленный на С. пассажирский поезд, направляющийся через Курск в Москву. Грозная эпидемия может валить по всей стране десятки тысяч жертв, но именно потому, что жертв много, она кажется столь же далекой, как землетрясение или ураган под тропиками. Но если зараза коснется знакомого дома, все опасности ее становятся ощутимо близки. Как только Павлушин узнал, что его друг и приятель Досекин вывез семью из занятого немцами города, он понял, что эта новая война не знает неприкосновенных частей населения и не только может надолго разлучить его с женой и детьми, но и грозит им насилием и самой смертью, как близким большевика. Было еще неясно, как развернутся военные действия в районе,— это была опять новая особенность настоящей войны, в противоположность только что оконченной, где фронт никогда не прерывался и был ломаной линией, разделяющей враждебные силы, а не плоскостью, рассекавшей их теперь горизонтально по всей территории охваченной революцией страны,— и Павлушин выхлопотал разрешение комитета отряда, после чего поехал на паровозе по пустынной, как заброшенный проселок, дороге. Он остановил машину у замершего депо. Рабочие бастовали, бросили все и ушли, некому даже было удивиться его прибытию мимо закрытого семафора, а на станцию он решил не заходить и быстро переулками и проходными дворами побежал домой.

Улицы были пустынны. Павлушин больше инстинктом, чем умом, рассудил, что так, без встреч, оно, пожалуй, и лучше. Но от необычности безлюдья и потому, что оно ему желательно, он начинал различать опасную странность своего здесь появления, все ускорял шаг и задыхался. По мере возрастания этой чисто телесной тревоги крепло что-то одновременно похожее и на злобу (и выражалось: «Ну, черт с ними!») и на неловкость оттого, что он не умеет держать себя в новой эпохе (и выражалось: «Эх, нет с собой пары гранат!»), потому что именно в этот момент он ощутительно для себя перешагнул рубеж времен.

Их небольшой, похожий на будку, еще в эту субботу выбеленный домик стоял на отлете. Да и в море домов, в самой гуще их Павлушин узнал бы свой, потому что он был на вершок меньше самого маленького из них, потому что все были крыты черепицей, а он железом, потому что за долговременную аренду еще родителями он приобрел какие-то черты, свойственные бревенчатым избам на севере, а не здешним глинобитным хатам. Жена еще находилась позади мужа во времени, а потому удивилась, когда он вошел запыхавшись и сказал, встревоженный, что нужно немедленно, «если хотим сохранить шкуру», уезжать из города, бежать, отступать, теперь не до чая. Но она была молода и готова к переменам. Все вышло так без сучка и задоринки, что Павлушин в конце концов перестал торопить жену и согрел на керосинке чайник. Связанные узлы на полу напоминали мирных овец.

— Думал — жалко стен будет, Саня,— сказал он.— А ничего не жалко.

— Наживем,— отозвалась жена словом из другой эпохи.

Старший сын Колька ворчал, что ему не дают собрать его деревянные ружья и сабли,— он вступил в воинственную пору. Двое младших, Настя и Петя, возились в обрывках бумаги, в тряпках, веревках, среди ящиков и лукошек. Почти все было уложено, когда вспомнили, что две наволочки и простыня сохнут на огороде. Павлушин вышел за ними. Кухонный аромат зеленого лука обвеял его. Белье висело на плетне, за которым раскинулось поместье богатой вдовы Кулешовой, жившей на пенсию после мужа, инспектора духовных училищ. Плетень был крепкий, свежий. Павлушин сам весною вязал его с таким душевным чувством, словно ему нужно было поставить не плетень, а стену, чтобы отделить себя от богачки.

Павлушин довольно долго путался с гофрированной солнцем и ветром простыней и вдруг совершенно отчетливо — и все же как будто в воображении — услыхал чей-то визгливый голос из-за плетня:

— За отродьем своим прикатил!

Он не сразу понял, о ком это, а когда понял, сразу, топча лук, увязая в рыхлых грядках, путаясь в тыквенной ботве (давил и рвал ногами посаженное и не жалел), побежал домой.

— Поторапливайся, Саня,— говорил он и мешал ей одевать детей, хватал вещи и снова клал на пол, на лавки,— никогда, ни до ни после этого дня, он не был так суетлив.

— Ну, ты уж нынче косорукий какой-то,— сказала жена.

Павлушин почувствовал, что напряжение, в котором он находился, легко может перейти в гнев на жену. И уже переходило, он готов был выругаться, а она бы ответила. Но дверь с улицы — она была не заперта — открылась, и, слегка теснясь в дверях, вошли трое прилично одетых граждан в слишком новых, словно со склада, костюмах. В руках у них сияли новенькие маузеры. Один из них, с пушистыми рыжими усами, увидав мирную картину переселения, выдвинулся к столу и присел на табурет. Двое встали у двери.

— Как фамилия?— спросил усатый и, получив ответ, вынул продолговатую бумажку, химический карандаш, написал что-то, сказал:— Ордер на арест.

И снова, как на огороде из-за плетня, Павлушин услыхал нечто столь неправдоподобное, что оно не могло относиться ни к нему, ни к создавшемуся положению:

— Вы арестованы по распоряжению охранного отделения.

С плеч Павлушина сняли тяжелый мешок и, заметив на полу веревки, по старому обычаю связали ему за спиной руки. Все это произошло так быстро, что Павлушин не успел прогнать мгновенного оцепенения от неожиданности — до такой степени он не был подготовлен к возможности ареста или, по беспечности, все относил его — когда воображал, что его могут захватить,— в более эффектную обстановку, вроде массового пленения или по крайней мере на паровозе, с обстрелом. А тут ввалились какие-то любители-добровольцы охранки, даже обыск не производят, а просто предлагают идти на вокзал к коменданту, где будут допрашивать о расположении красных войск.

Молча и спокойно выбрались на улицу. На перекрестке к ним присоединился офицер в шнурах и ремнях, сияющий погонами со слишком звонкими шпорами на начищенных, как зеркало, в обтяжку по тонким ногам сапогах.

Павлушин поглядел на его худое, узкое, горбоносое лицо, как будто тоже начищенное до блеска, и снова обрел в себе гибкость, и твердость, и желание, чтобы его спокойствие в этот момент видел весь отряд, комитет которого дал ему разрешение на поездку. Павлушин шел по улице без шапки, со стянутыми за спину локтями, с расстегнутой грудью гимнастерки и сам себе казался от этого моложе. Если бы не бежала сзади жена, а за нею Колька, который, несмотря на свои семь лет, спотыкался о камни, как четырехлетний, он больше всего заботился бы о том, чтобы пройти на глазах у всех браво, размашисто, чтобы все видели, как идут на смерть большевики. В этой внешней бодрости он правильно искал путей к внутренней непоколебимости.

— Больше всего думал, как бы пройти молодцеватее! — рассказывал Павлушин и улыбался, любуясь молодостью, которая не только молодцевато вела его по тихим улицам испуганного предместья, но и подсказывала правильные способы сопротивления, к какому у него еще не было навыка.

Его практический ум превосходно приспособлялся к повседневным переменам, но несколько лениво рисовал себе в будущем такие обстоятельства, в которых придется проявиться во всей своей изворотливости. Его ум не привык к той обособленной работе, что свойственна так называемым кабинетным умам,— над книгой, над четвертушкой бумаги, к белому полю которой надо созвать все голоса души и значками изобразить их прерывистое, невнятное бормотанье, которое иной раз может научить тебя, как держаться на белогвардейском допросе под дулом нагана. Такому, уединенному по привычке, уму не надо рыться в узлах мускульных тканей, чтобы обрести силу с улыбкой принять первый взгляд допросчика. Уму же Павлушина, как и сотням тысяч других умов той эпохи, еще предстояли эти упражнения, еще предстояло упражнять на отвлеченностях воображение, причем первой отвлеченностью мог предстать обещанный охранником расстрел.

По мере того как Павлушин обретал ритм красивой походки, он креп в вере, что не сдастся, что будет бесстрашно смот-

реть на врагов и в проплеванном закоулке вокзала, бывшей парикмахерской третьего класса, где, как ему было известно, помещался комендант. Это превращение мирной заплеванной комнаты в застенок требовало своего утверждения от истории, и Павлушин, а еще больше его жена инстинктом начали догадываться, как зарабатывает свою новую грозную репутацию бывшая парикмахерская.

— Не голоси, Саня,— попросил Павлушин, когда его вывели на главную, ведущую к вокзалу улицу, где, вместо смущенных редких фигур рабочих и плохо одетых женщин с кошелками, показались солидные обыватели, еще озабоченные, но уже самоуверенные военные в погонах, извозчики на сытых лошадях, которые уже, угодливо чмокая, подавали сытым седокам, торговцы, выглядывавшие из ларьков и лавок с несколько вороватым, но тоже с оттенком самоуверенности видом. Эту самоуверенность встречных Колька истолковал посвоему.

— Помогите! Папу уводят!— закричал он.

Он кричал, закрыв глаза, чтобы не видеть своего, отпущенного ему природой поля зрения, и сквозь темноту обращался ко всей мировой справедливости, которая должна быть стихией этих богатых, с бархатными воротниками на пальто людей. Они должны сбежаться в несметном количестве, гоня извозчиков на его крик, и заступиться.

— Отбивайте!— кричал Колька.

Один из конвойных, высокий и нескладный, с чрезмерно маленькой головой под крохотной кепкой, из-под которой выбивались жидкие, длинные, белесые волосы, остановился. Самозабвенно крича, мальчик набежал на него и в тот же миг покатился в пыль. Здоровый костлявый кулак сбил его с ног. Колька остался лежать без звука.

Павлушину залило глаза багровой шумной волной, он рванулся назад, наклонился над сыном и почувствовал жгучую боль в локтях и тут же телесную радость свободно взмахнуть руками: он разорвал веревку. Что-то холодное и острое царапнуло ему висок.

— А ну, держись прямо, приятель!— произнес внятный, словно его прослушивали, чтобы записать, голос.

Павлушин поднял голову и увидал против левого глаза черный зрачок маузера и холодное, узкое лицо офицера в шнурах. Колька застонал и вскочил на ноги.

— Шлепнуть бы всех вас тут на месте... Да вот допросят

в разведке, потом...— сказал тонким голосом ударивший мальчика конвойный.

— Па-прашу не разговаривать. Лучше отведите женщину и этого щенка домой.

Вокруг собралось несколько зевак — народ не столько любопытствующий, сколько нахмуренно всматривающийся. Офицер, так же вежливо и холодно, предложил им разойтись. Зеваки рассыпались, словно под угрозой, что будут стрелять. По этой черте Павлушин еще раз понял, как ненадежно его положение, увидал, с какой холодной и внушающей обывателям почтение силой придется иметь ему дело. А поняв, почувствовал, как что-то отделяется от холодности этого офицера и вселяется в его, павлушинскую, теплую сущность, но что это, на первый взгляд постороннее, охлаждение таилось в нем всегда где-то в глубине ледяной каплей и что это — ненависть. Он ощутил также, что ледяное чувство ненависти сосредоточено на щеголеватом офицере в шнурах несравненно больше, чем на том грубияне, который ударил Кольку, а теперь издевается, быть может, над Саней и детишками.

Арестованного провели по путям к какой-то теплушке в тупике, где шпалы приобрели цвет начинающего подпревать дерева и, обнажившись от балласта, показывали круглые бока и тем самым — свое происхождение от самого обыкновенного бревна. Тут же стояли несколько покалеченных классных вагонов, раздетые остовы товарных и, прямо против дверей теплушки, салон-вагон — зеркальные окна, белые занавески с бахромой, белая крыша.

Было тихо, безлюдно, как, пожалуй, редко бывает даже на полустанке и никогда на узловой станции с огромным вокзалом, мастерскими, десятками верст запасных путей. Офицер не провожал Павлушина по путям, штатские довели и сунули его в непроглядную с первого взгляда темноту теплушки, в которой, как в пекарне, пахло хлебом, и сказали кому-то, чтобы хорошенько стерег, пока не пришлют.

— А скоро? — спросил ленивый голос, но ему не ответили. Дверь теплушки была задвинута, окна забиты досками, и все же через несколько секунд вошедший начал различать, что во множество щелей брызжет свет. Он лег на пол и заметил, что с полу почему-то виднее.

Молодой по выправке, а еще больше по той легкости, с какой давеча спросил, долго ли будут его томить караулом, сырой парень стоял на часах у двери. В углу рядом с часовым

возвышался целый штабель хлебных буханок, который и напоил всю теплушку пекарным духом. Но Павлушину, хотя он не ел с утра, так была противна мысль о еде, что от хлебных испарений выделялась скудная, липкая слюна.

В другом углу, ближе к Павлушину, справа, ворохом валялись сабли, пустые пулеметные ленты, охотничьи патронташи, карабины, даже детские монтекристо — как видно, отобранное оружие, бесполезное для войска и вредное в руках граждан.

По левую руку от Павлушина, от угла к центру вагона, точно по диагонали лежал человек в высоких болотных сапогах, с бородой на два расклада.

«Досекин!» — едва не вскрикнул Павлушин, но сдержался, издав только легкий стон, который, впрочем, никого не обеспокоил. Он стал мысленно делать различные предположения, и одно, самое страшное, превратило его участь в безнадежную. Очевидно, красные войска на станции С. разгромлены. Досекин попал в плен и тоже ждет допроса и расправы. Ведь главной надеждой Павлушина на спасение было ожидание, что партизанские части и тот же бронепоезд Досекина нападут на город или, по крайней мере, на узловую станцию, дабы навести панику, остановить движение германцев и, главное, спасти его, Павлушина, в чем он сейчас полагал самую важную задачу красного командования.

В состоянии лихорадочного досматривания своей обреченности Павлушин изучал Досекина, его новый для себя, бездейственно-приговоренный вид, его странное, никогда ему не свойственное безучастие к внешнему — черта неожиданная, но в своей неожиданности особенно правдоподобная для человека, попавшего в такой переплет. Досекина, видимо, постигла та мучительная замкнутость, которую дает сильное потрясение и ожидание неминуемой смерти. Сам же Павлушин еще не дошел до этой степени томления. Наоборот, он был в состоянии внутренней бури и совсем не собирался, подобно соседу, сделать себя способным дремать в полутьме, в жаре, в окружении свинцовой тишины замершего железнодорожного узла.

Но вот сосед угловатым, запинающимся движением переложил ноги одна на другую — и образ Досекина, казалось, так прочно вошедший в теплушку, внезапно рассеялся. Рядом лежал совсем, совсем незнакомый человек, без единой свойственной Досекину черты. Было даже удивительно, как

этот образ мог возникнуть, до такой степени не было никаких сходственных черт у арестованного с Досекиным. У него и борода была черная, окладистая, а не русая на два расклада. Так созданный болезнью или нервным утомлением призрак в темноте комнаты предстает при свете свечи тем, что он есть на самом деле: простыней, забытым плащом, тенью в углу от уличного освещения, и уже невозможно, хотя бы ради забавы, возобновить эту ошибку воображения, только что напугавшую до полусмерти. И Павлушин мог теперь находить в соседе только черты различия от Досекина: болотные сапоги, которых тот никогда не имел, слишком длинные ноги, вялость, которая ни при каких обстоятельствах не могла одолеть его друга. В освобожденной от ушедшего из нее призрака Досекина голове осталась обостренная ясность, возникали короткие, как удары, мысли: план защиты, много говорить, но в сущности «знать не знаю, ведать не ведаю», разбор и учет обстановки, в которую его бросили. Давешняя холодная злоба отступила, но не далеко. Не давали ни на секунду успокоиться горечь от несвободы, испуг за семью и все время порождали мысль о побеге.

«Вот бы стену проломить...»

Но тут же, как несообразный, пролом стены уступал место желанию подползти и сбить с ног солдата.

Однако и в этих внутренних порывах Павлушин лежал тихо, неподвижно, ничем не отличаясь от смятенного соседа.

Молодой парень, что их сторожил, видимо, бесконечно скучал от этой скудной тишины, томился духотой в закупоренной теплушке и всего более от непривычки выполнять длительные, серьезные, монотонные обязанности стража. Он позевывал, брякал прикладом о пол — хоть бы кто вздрогнул от резкого звука!— осматривал замок винтовки, раза два попробовал запеть вполголоса. Наконец не выдержал и обратился к Павлушину:

— Цельный день все обещают на допрос вызвать, а не идут. Тот усатый, что тебя привел, приказал тебя связать, а потом стало, видишь, некогда, ушли. Надо бы тебя связать, да уж, так и быть, лежи вольно. Меня только не выдавай. Лежи как связанный. Не то свистать буду, вызову связать. Тогда уж не взыскивай. Не выдавай...

— Спасибо, друг,— сказал Павлушин как умел ласковей.

Но, должно быть, на эту кротость и израсходовал все притворство. Подумал: «Некрепок парень»,— и не мог боль-

ше выдавить ни слова. Солдат, которому не терпелось побалакать, обнаружил, что это неуместно, и сердито отвернулся к двери, в щель которой дышало предвечерней, смягченной, чуть подсыревшей жарой, смешанной с вонью спиртового лака, масляной краски, нефти. Парень тоскливо приложился к щели, посапывая, вдыхая запах воли. Павлушин мысленно ругнул себя, что не сумел его разговорить.

Именно в этот момент Павлушин разглядел, что рядом, совсем под рукой лежит старинная кривая сабля в истертых ножнах. Она мгновенно в мельчайших подробностях, что всегда отличает жизненное намерение от пустой выдумки или химерического замысла, вызвала план освобождения.

«Придвигаю к себе, неслышно вынимаю из ножен... И как хорошо, что он сопит, все нюхает дверь, заскучал, бедняга... Надо подняться как можно незаметней и ударить...»

Павлушин придвинул к себе древнее оружие и, прикрываясь от часового, беззвучно вытянул тусклый, в следах ржавчины и в узорах клинок из ножен.

— Не оборачивайся, не оборачивайся,— шептал он, еле шевеля губами.

Теперь все зависело от того, как поведет себя сосед. Крикни он — и купит себе освобождение. Павлушин покосился в его сторону и замер. Тот слегка приподнялся в своем углу, уставился черными впадинами глаз на саблю. Чувствовалось, как недобро и внимательно они блистали и всё понимали — даже подозрение в предательстве и выгоды предательства.

Часовой посапывал, приникнув к щели. Арестованные смотрели друг на друга.

Павлушин понимал, что надо оторваться от грозных черных впадин, вперившихся на него из угла, надо следить за часовым, что бесконечно широкое, расплывчатое время в этот миг истончилось и слилось во встречу их взглядов, которые держат его жизнь.

Бородач еле заметно кивнул головой. У Павлушина перехватило сердце, поток времени мгновенно принял в себя вагон, часового, весь театр, на котором должна разыграться сцена спасения.

Бородач слегка подвигался. Он лежал теперь не по диагонали, а перпендикулярно длинной стене, как и Павлушин. Он лежал на спине, смотрел вверх и постепенно выводил свое могучее туловище на середину вагона, как можно ближе к

Павлушину. Клинок лежал у Павлушина под локтем и больно вдавился в сустав.

Бородатый полз. Солдат посапывал, мотал головой и все высматривал в щель хоть воробья. Бородатый подполз к Павлушину, повернулся спиной, показывая связанные кисти.

Подавляя сомнения — а не повредит ли вместо помощи этот связанный, Павлушин сунул ему в руки саблю. Тот тяжело плюхнулся на спину.

— А, черт! — пробормотал Павлушин и задохнулся, словно всю грудь туго обмотали бинтом.

Часовой перестал мычать и ворчливо, словно и его заразила досада на неловкость арестантов, спросил:

— Ну, что там еще?

«Только не оборачивайся»,— думал Павлушин и, едва справляясь с сиплыми пленками в горле, желая сказать беззаботно, по-свойски весело, произнес тоскливо и встревоженно:

— Друг, отодвинь-ка трошечки дверь, может, кто из знакомых пройдет, из машинистов или из бригады, пусть детям передадут, что я жив.

— Еще чего!— сказал солдат.— Под суд за тебя угодишь, в штаб Духонина. Нынче расправляются не подумавши. У нас в Курской губернии деревню сожгли так...

И вдруг сердито крикнул:

— Какие тут тебе к черту знакомые! Немцы вороне пролетать запрещают!

— Ну, хоть на белый свет взглянуть...

Павлушин уже овладел голосом. Желание видеть белый свет владело и парнем, и павлушинский умильный голос вкрадывался в него через это желание.

Павлушин смотрел на его круглый, покоившийся на толстоватой шее затылок (и в то же время каким-то образом почти не выпускал из виду неслышную возню соседа, который, согнувшись мостом, перерезал веревки) — и видел, что сейчас творится в этой мужицкой башке. Парня только что мобилизовали, перехватили на полдороге домой; он еще не отдохнул от тягот большой войны с тем самым немцем, который стал теперь начальством, а его втягивали, как ему казалось, в малую бестолковую свалку, где он — так как не добрался до родной деревни — еще не мог определить, на какую сторону встать. Свалка к тому же только начиналась, и не было известно, когда и чем она кончится,— вроде нынешнего караула в теплуш-

ке. А там, лишь шаг шагни — сразу за границей города, рельсов, полосы отчуждения,— шел дележ земли и теперь готовились сопротивляться помещикам, что тянутся за немцами, длинным, безликим мирским сопротивлением. Там, в полях, нет за спиной арестованных, на которых неохота глядеть,— их жалко, надоели,— нет золотопогонников, стальных касок, а как их увидишь, рука сама по привычке рвется к спуску. Там царит веселая неразбериха уборки хлеба на чужой, жирной барской земле.

Бородатый перерезал веревки, освободил огромные руки, показал, как сжимаются пальцы в кулаки размером с дыню, кивнул головой: «Готов».

— Хоть на белый свет в последний раз взглянуть,— проговорил Павлушин никогда не вырывавшейся из его рта нищенской скороговоркой, удивившей его самого не менее, чем если бы у него обнаружился протодьяконский бас, и вместе с тем отвратительной, потому что она показывала чисто внешнюю, телесную способность лгать и унижаться. И он снова, как при мысли о конвоировавшем его офицере, заледенел от ненависти.

Парень двинул плечом дверь. Высокое небо, обрезанное белой крышей салон-вагона, хлынуло в расщелину. Солдат отставил винтовку, как грабли, и высунулся наружу, высматривая, не следит ли кто за его беззаконием. Арестованные смотрели на его круглую спину маменькиного сынка и по той беззаботности, с какой она застряла в узком пространстве скупо отодвинутой двери, поняли, что все в порядке.

Кивнув головой, Павлушин выхватил из рук бородача кривую саблю. Солдат услыхал шум, выпрямился. Павлушин вскочил на ноги. Солдат окончательно высвободил тело из тесного просвета отодвинутой двери, словно нарочно, чтобы нападающему было удобней его ударить.

Павлушин изо всех сил шмякнул саблей по фуражке на круглой макушке и потянул внутрь вагона гимнастерку, которую наполняло обессилевшее тело. Парень булькнул собравшейся в горле густой влагой, таким же булькающим шлепком сел наземь и повалился ничком. Он застонал.

Бородатый уже держал какой-то широкий, как пила-ножовка, штык, наклонился над лежавшим, прислушивался, как недавно к самому ему прислушивался Павлушин. И они обменялись мыслями, столь напряженными и необходимыми в этот момент, что они прозвучали, казалось, как слова и таки-

ми остались в памяти обоих участников,— не менее четко, нежели письменный договор.

«Прикалывать?» — спросила мысль бородатого.

«Жалко, конечно, да себя жалчее»,— ответила мысль Павлушина, и он прикрыл тяжелую на ходу, с заржавленным роликом дверь.

Это сопротивление тяжелой двери он навсегда запомнил, как и ту багровую тьму, которая, как бы от его усилия замкнуть вагон, образовалась в голове, в переполненном кровью мозгу, чтобы залить все пространство теплушки.

В багровой непроглядности слышалась возня, тяжелое дыхание, раздался тупой удар, словно на пол упал завернутый в мягкое камень.

— Готово,— сказал бородатый.

И Павлушин, хоть и не видел, знал, что часовой приколот в горло широким штыком, что багровая жидкость течет сейчас под ноги. Он выскочил из вагона так поспешно, будто эта жидкость могла залить его.

Солнечный свет стегнул по глазам, но Павлушин был рад этому болезненному ощущению: оно не давало осмотреться, хотя смотреть надо было в оба.

Зрение вернулось к нему, когда они уже пробирались в конце служебных путей, среди ржавых, загнутых салазками и заставленных козлами рельсов, среди травки, балластных карьеров, а теплушка все еще была в нескольких шагах, и в нескольких шагах лаково сиял салон-вагон с белой крышей, и все происшедшее еще тянулось за ними, как невидимый ручей.

Павлушину казалось, что можно заглушить течение этого ручья, ускорив шаг, что стоит только миновать семафор, который он привык проезжать быстро и который теперь с каждым шагом отступал вдаль,— и все случившееся просто растворится в этом вечереющем дне с запахом полыни, с трелью жаворонка в странной тишине. Шаг почти переходил в рысь, а ему все представлялось, что он шагает медленно и тяжело, как бы волоча на себе весь пейзаж станции, от последней хилой былинки до шпиля над четырехугольным куполом вокзала.

Медленно, медленно, но миновали семафор. Подошли к круто возвышавшейся над глубокой балкой насыпи, под которой находилась знаменитая для железнодорожного строительства необыкновенного диаметра труба для отвода из бал-

ки вешних вод. Отсюда открывался широкий вид на степь, изборожденную оврагами вблизи и ровную, без малейшей шероховатости, вдали, залитую до фарфорового блеска склоненным солнцем. И как раз на границе, где зритель переставал улавливать изъяны фарфоровой глади и что-то чуть-чуть курилось,— словно глазурь в мастерской природы тоже не достигается без обжига,— стояло, как бы нарисованное с милой условностью посудных живописцев продолговатыми желтыми и черными мазками, стадо. А за ним, тоже условно, круглыми зелеными мазками изображались деревья, розовым с белым — хаты под черепицей, и сиял серебряный блик запруженной речки. Но Павлушин не доверял сейчас живописной патриархальности пейзажа. Он знал, что село называется Пороховня, там недели за две до прихода немцев происходило кулацкое восстание, перевешали большевиков и совдеповских работников.

За насыпью путь круто поворачивал. Вокзал представал отсюда глухой бастионной стеной торца, в которую еще в 1904 году, когда их станция была тупиковой, однажды во вьюжную морозную ночь, полную слухов и телеграмм о Порт-Артуре, врезался по обледенелому полотну прямо в буфет первого класса и появился перед едоками, как огромная чугунная гусятница, паровоз московского скорого, которого и ожидали едоки.

Хотя с торцового вокзального бастиона никто уже не мог наблюдать за беглецами, Павлушин с преувеличенной осторожностью сполз с полотна, шел и радовался трудности шагать по почти отвесному дерну откоса. Трудностью похода он заглушал свое внутреннее, принуждал себя забывать то, что произошло в багровой тьме.

Он обернулся и взглянул назад. Отставший бородач спускался бегом с насыпи, что было ему не по возрасту и не по корпусу, странно коротко выкидывая ноги под укороченным, как оно представлялось сверху, туловищем. Он удалялся в глазурованные окрестности Пороховни, и на его безвестную совесть, на его широкую спину Павлушин валил все — и ландшафт, и расправу.

Павлушин шел час или полтора, на всякий случай обходя будки железнодорожных сторожей, пережидая в укромном месте редких прохожих и подводы, подчас углубляясь в нехоженые бурьяны, которые били его тяжелыми пыльными кистями по ногам, затрудняли каждый шаг. Он как

бы погружался в степь — она уже была ему по грудь, по шейку. Тут бы и успокоиться, но внезапно его словно подхватила волна чем-то потревоженной степной стихии, и он побежал. Страх отрывал его от земли; он всегда бегал неумело и теперь мчался, неуклюже перебирая короткими ногами, то делал несколько рывков, то задерживался и все же из последних сил ускорял бег. Под ним скакали кочки, пучки травы, коровьи следы, тропинки, камни, мелькали насыпи, канавы, кусты. Перед глазами, на горизонте, стоял недосягаемо далекий курган с водруженным на нем столбом.

Павлушин задыхался, воздух комками забивал глотку. Всей потной кожей он чувствовал ужас — что какая-то могучая ладонь так и схватит его сзади.

Павлушин споткнулся, рухнул лицом в жесткую траву, ушиб колено. И в ощущении боли, в живой тяжести своего тела обрел спасение.

— Так вы его убили, этого парня из колеблющихся? Ведь он же колебался, вы это видели? — спросила писательница.

Она готова была сказать вместо «парня» «паренька», если бы это уменьшительное не звучало сочувствием контрреволюции. А она к таким оттенкам была чутка.

Павлушин ответил на ее вопрос, но так, что сразу было трудно понять, что ответ предназначался именно ей. Пока он рассказывал, в конторку подошли еще слушатели: остались монтер с помощником, проверявшие электропроводку, завернул сюда и присел заведующий складом, и Павлушин обращался как бы к ним. Он сказал, что «мы не готовые вышли в свет», что «наша Красная Армия училась на своих и чужих ошибках,— она росла, и мы росли». Писательница не ожидала этого возражения, сразу переводившего вопрос в иное, не личное измерение, и слова Павлушина показались ей банальностью. Прочие же слушатели, хотя слыхали эти слова тысячу раз, отнеслись к ним как к живой истине, подобно тому как люди, любящие природу, живущие ею, не устают любоваться сменами года, произрастанием трав, бегом облаков, игрой светотени.

— На чужих учиться куда приятней, да наука не прочна,— сказал Досекин.— Если бы наши вроде беляков пленных охраняли, как в твоем случае, да такая же дисциплина наблюдалась, как у того часового,— не далеко бы мы уехали.

VI

Павлушин двое суток добирался до большевиков. Из всех тогдашних опасностей и мыслей запомнил только внутренний переворот. К своим он дошел уже не просто молодым, сочувствующим коммунизму машинистом, готовым вести со всей добросовестностью поезд, кто бы в нем ни ехал, но человеком, который разделил мир на две части: в одной были товарищи и друзья, а в другой враги. Деление это выросло из тягостного ощущения убийства часового. Конечно, это деление существовало в его уме и раньше, но теперь оно пролегло действительным рубежом, подчинило себе его поступки и действия. Заглушенный мягким стук камня об пол повторялся для него и в бессонные часы ходьбы, и в часы тревожных отдыхов. Пронесется вдали пущенная вскачь лихим мужиком телега, стукнет нога о комок ссохшейся грязи, ухнет на дальнем болоте филин — все это напоминало ему темноту и тот звук. На исходе второго дня бегства он задремал в дубняке. Когда с точно таким же тупым стуком около него неожиданно упал желудь, он сорвался с места и помчался вперед, обретая в себе желание драться, физически отомстить за этот преследующий звук тем, кто запер его в теплушку, вынудил обманывать сиплым, нищенским голосом солдата, чтобы тот отодвинул дверь, тем, кто заставил кричать Кольку, взывать ко всему миру богатых.

К ночи Павлушин дошел до своих. Несколько недель тревожился он о семье, но потом получил сведения, что они живы, что их не преследуют. Но все тревоги, все лишения, покуда он искал свою часть, тоску по семье, весь свой душевный переворот из мирного человека в солдата — позднее и нелегкое превращение — все это он слил в тупой стук мягкого и тяжелого.

Павлушина снова посадили на паровоз, но уже на паровоз бронепоезда, похожий на снегоочиститель, и он правил им с тем же удовлетворенным чувством, какое давала в детстве победа в драке. Скоро его сделали комиссаром — сначала пехотного «железного» отряда, а потом кавалерийского полка. Он комиссарил также в артиллерии, и прошел ряд командных должностей, и забыл постепенно то странное состояние, когда, начитавшись брошюр и газет, он полагал, что можно в Гааге решать вопросы политики, а разговорами

в Государственной думе — несправедливость классового господства. Военная служба в Красной Армии представлялась ему самым естественным и ясным состоянием человека, когда все существование не только понятно и определенно, но попросту разграфлено, как географическая карта, с указательными стрелками, куда стрелять. Полтора года не мог он добраться до родного города, где менялись власти. И если бы у него не было того сознания, что меткий выстрел умнее самой умной книги, раз она не содержит прямого указания, куда и как стрелять,— неизвестность и тоска по семье измучили бы его. А чувства эти, наоборот, неуклонно укрепляли в то время комиссара и командира Павлушина в уверенности, что он воюет правильно — не только за общие интересы, но и за благополучие своей семьи, за то, чтобы с ней соединиться. Он чувствовал себя в осажденной крепости, где люди жуют от голода ремни, но ремни эти связывают всех в одном убеждении, что стоит сделать две-три удачные вылазки, отбить штурм, дождаться наконец помощи со стороны и снять осаду — и откроется мир, текущий молоком и медом. Но так как сытость молоком и медом была в те дни делом недоступным, то мир Павлушина тек лишь идеей молока и меда, и, однако, этой идее было суждено победить старые миры, утопавшие в молоке и меду, и самому новому, завоеванному миру — зацвести медовыми цветами, тучными полями и пастбищами. А нужно было только прорваться, взять эту просторную землю, политую кровью, и в полгода запахать окопы, воронки от снарядов, заклепать мосты, подвинтить гайки расхлябавшихся машин — и все будут есть веселую, какую-то немыслимо легкую пищу, какой не едал и генерал из солдатских сказок, любить молодых, полных здоровья женщин, а самое главное — созидать чистое, светлое здание социализма, огромный дом со стеклянной крышей по всей суше планеты. Еще наивная мечта первых лет революции боролась, устраняя из своих владений грязь, голод, вшей, скуку войны, тяжелую, изматывающую работу восстановления того, что через день или через минуту будет снова разрушено одним попаданием трехдюймовки. Может быть, помечтать так подробно и систематически не выдавалось времени ни Павлушину, ни кому другому. Нет, раненый мечтал лишь о прекращении боли в раздробленной кости, сыпнотифозный бредил о прохладе, об утоляющем жажду питье, усталый — о чистой постели ря-

дом с женой, о тишине, и все — о белом хлебе, о том, чтобы быть сытыми, встретиться с близкими. Но мечта легко перепархивала в веселые долины будущего, под солнце будущего, в братство будущего,— а оно вот близко, там, за обложенной беляками стеной. Мечта стала достоянием масс и стала силой.

Павлушину тоже мерещилось: ласковая жена, послушные, отмытые, душистые нежным запахом бархатной кожицы дети, его дети — Коля, Настя, Петя, и какой-то незаходящий праздничный день встречи, который начнется и никогда не кончится.

И когда уже в вагоне, а не на паровозе, командиром батальона, а не машинистом, в темное, сырое зимнее утро подъезжал он с эшелоном к знакомому вокзалу, читая, каковы прошли здесь деньки боев, по ранам вокзального фасада,— радость, лихорадка ожидания, ужас, не произошло ли с семьей несчастья, сложились в такую полноту ощущений, которую едва можно терпеть. Но эта полнота суровой яви уже ни одной извилиной не напоминала розовых предвидений грез.

Павлушин шел по знакомой улице, и, как полтора года назад возле семафора, который все оказывался впереди, шел и досадовал, как мало пространства отмеривает каждый шаг, а предместье — дома, заборы, похожая на просфору церковь — лежало перед ним непреодолимо огромное для его коротких ног, незнакомо сумрачное. Кругом высились сугробы, едва лишь тронутые санями, словно на улице захолустной деревни. Никогда, кажется, не случалось раньше в их аккуратном, чистеньком городке таких снежных зим. Белые, под красной черепицей домики с выложенными по кровле фамилиями владельцев были будто подернуты копотью. Даже от снега тянуло чем-то отвратительно сладковатым,— у одной подворотни Павлушин увидал труп собаки, лежавший здесь, видимо, давно, и по этому трупу было видно, как далеко зашло запустение города.

— Похозяйничали белогвардейцы,— бормотал Павлушин.

Город падал постепенно. Жители привыкли и к дрожавшему, меркнувшему электричеству, и к сору на тротуарах, и к выбитым камням мостовой. А затем под тележками и санками получавших пайки, торговавших, переезжавших с квартиры на квартиру жителей тротуары и мостовая сли-

лись в общий желоб, по которому текла общая нужда. Город заметало снегом, голодные животные падали на улицах, и никто их не убирал.

Павлушин шел по совсем пустынным улицам, где раньше хозяйки в эти часы выходили с кошелками на базар, рабочие спешили в мастерские. Ни один гудок не прозвучал густым, как из кратера исходящим, воем, сложным и многоголосым, похожим на мягко взятый и слишком затянутый финальный аккорд симфонического оркестра, гудок, возникающий как музыкальный каприз каждого утра и лишь в силу своей настойчивой продолжительности превращающийся в призыв к труду. Все вымерло, и только вороны сидели на коньках крыш со скучающим и сытым видом. Дома побогаче подались больше, чем хижины. В их еще недавно широкие, светлые окна пробились коленчатые суставы черных железных труб.

Павлушин все ускорял шаг, стараясь не вникать в изменения, которые он наблюдал в других городах, но которые, по несправедливым законам эгоистического воображения, должны были миновать родной город. Он все ускорял шаги, в ушах шумело, как от залившейся туда воды, от напора впечатлений тяжко толклось сердце.

Горожане проделывали свой опыт исподволь, целых восемнадцать месяцев, привыкая и вживаясь изо дня в день. Но в Павлушина этот опыт вступал, нагнетаемый в секунды. Он шел будто под густым артиллерийским огнем, каждый снаряд разрывал устоявшиеся с детства виды стен, заборов, тумб, перекрестков. Эта беззвучная канонада разрушала и его самого, превращая в обломки инстинктивное уважение к двухэтажному дому купца и церковного старосты Врономенко, уважение, которое подозрительно соседствовало в душе с желанием, чтобы все не очень менялось, оставалось поближе к старому, к мирному, сытому, незыблемому. Весь ужас заключался в том, что именно в сытости, незыблемости, в преступной близости к «мирному времени» заключены были безопасность и здоровье его семьи. Только для того и окружало воображение этот город валом безопасности, только для того и сохранялся он в душе словно награвированный тончайшей иглой — помещай его хоть на конфетную коробку,— чтобы не менялись здесь власти, чтобы белые не искали семей, чьи родственники сражались на стороне большевиков. Но ведь тогда не было бы здесь

революции! И как примирить с ней, с революцией, мечту о покое и безопасном житье!

Вот и дом.

Он стоял в том месте, где улица поворачивала и делала первый крутой подъем в крутую гору. Павлушин радовался неизменности горы и тому, что дом все так же виден и попрежнему один из последних в их порядке. Но обычно он сиял побелкой — жена подновляла ее почти каждую субботу,— алел редкой здесь из листового железа крышей, а теперь побелка отставала огромными кусками и рыжие пятна обвалившейся глины казались брешами. Крыша проржавела, он заметил это сразу, как заметил бы царапину на своей ладони. В створке крайнего окна, в которой поблескивала, бывало, масленая поверхность стекла, теперь темнел ничем не защищенный комнатный сумрак.

Павлушин приближался к дому, и сердце у него сжималось, словно он то и дело оступается и падает. Подошел к крыльцу.

— Увели,— вслух подумал он, выбирая меньшее из того, что могло с ними случиться, и толкнул дверь.

Она открылась с бесхозяйственной податливостью. На вошедшего пахнуло слежавшимся комнатным холодом, более сырым и промозглым, чем на улице, плесневелой затхлостью, в которой чуть улавливались следы давнего дыма от когда-то топившейся печки, керосиновой копоти и тонкой пыли обветшалой побелки. Павлушина дух царившего здесь прежде жилого, грубо умерщвленный теперь стылым холодом, сразу обрушил в бездну, которую он так тщательно обходил во всех предположениях о судьбе семьи. Он хотел крикнуть, но издал лишь сдавленный звук, бессильное порыванье к воплю, как призыв на помощь во сне, хотел шагнуть — ноги не повиновались.

В углу около печки послышался шорох. Из-за ее выступа вылезло существо в лохмотьях,— он только впоследствии узнал в них короткое, сделанное за год до германской войны пальто жены. Пальто это на приближавшемся ребенке представлялось помятым футляром, в который заключено иссохшее тело. Из широкого круга ворота выдавалась косматая голова, бледное лицо карлика со страдальческими глазами и ртом старика.

Павлушин находился в состоянии спутанности, напоминающей момент просыпания от давящего кошмара. Он раз-

бил мглу этой спутанности ревом, который вырвался у него даже раньше, чем он догадался, что карлик — это его дочь.

— Настя! — кричал он, схватив легкую, как каркас из прутьев, девочку, и тут же обрел себя уже в памяти, даже более обостренной, чем обычно.— А мама? А Коля? — спрашивал он, прижимая к себе девочку, удивляясь ее неестественной легкости, ощущая ее тонкие кости даже под грубой и твердой от засаленности тканью драпа.

Белое, широкое лицо дочери, как бы освещенное изнутри синеватым светом, большая, колеблющаяся на тонкой шее голова, широко раскрытые, уставившиеся на него глаза... Настя, видимо, узнавала и не узнавала обросшего бородой человека, который крепко сдавливал и прижимал ее к себе,— до того крепко, что какие-то перекрещивающиеся на его груди ремни делали ей больно. И она позвала единственное близкое ей существо.

— Петя! — запищала она.

Из-за той же печи выполз — а ему уже миновал пятый год! — завернутый в мешок мальчик.

Прежде чем дети смогли что-нибудь сказать, отец понял, что они — все, что осталось от его семьи. Он опустился перед мальчиком на корточки, но тот поглядел на него и стал отползать назад.

— Мама! Мама где? — кричал Павлушин.

Петя придвинулся к печке, начал судорожно чесать под мышкой.

— Болит,— захныкала и Настя.

Но отец, не спрашивая, что болит, кинулся на огород. Почему он выбежал именно туда? — часто задавал себе впоследствии вопрос Павлушин и не мог объяснить. Может, потому, что Настя бросила еле замеченный им взгляд в окно, который инстинктивно толкнул бежать,куда он указывал, или были какие-то еще более невесомые признаки, только он выбежал на огород и невдалеке от дома, возле заброшенного колодца, нашел трупы жены и старшего сына.

Их запорошил снег, они походили на две высокие грядки, одна рядом с другой.

По стремлению всякого живого сделать сначала более простое и легкое дело, Павлушин отгреб прежде всего меньшее тело, Коли. Мальчик лежал навзничь, навытяжку, в черной сатиновой рубашке без пояса, в серых штанишках, босой — и детские сапоги кому-то понадобились! — странно

длинный. Отец сначала подумал, что мальчик так вытянулся от неведомых пыток, но тут же понял, что в его отсутствие просто вырос, и мысль об этом оказалась горестней всяких предположений о пытках, сжала душу тоской о прерванном росте этой бесценной жизни. То же повзросление, что и в вытянутом теле, было в бледном, отвердевшем, искаженном в неестественном изумлении лице. На голове, под светлыми, смерзшимися от почти не почерневшей крови волосами, пролегала длинная, во всю макушку, рубленая рана. Мальчик умер с одного удара,— Павлушин знал кавалерийское франтовство рубки «чтобы жертва не мучилась».

Отрыв сына, он начал освобождать от снежного покрова тело жены. На ней было ситцевое, короткое, незнакомое ему платье в старушечьих горошинах. По этому бедному, выцветшему от стирок узору Павлушин читал ее тоску, ее отрешенность от радостей, которые были целиком заключены для нее в его присутствии, ее борьбу с несчастиями в дни, когда пяток подгнивших картофелин из иссякавшего запаса овощей означал, что голод наступит для детишек на сутки раньше, а срок, отделявший ее от мужа, еще, наверно, очень длинен. Она томилась в неизвестности, и это томление достигло страшной дрожи, когда ее вывели на огород. Стыла от холода кровь, кожу стягивали стужа и ожидание боли,— она так и умерла съежившись. Лежала на боку, прижав плотно руки, подтянув к подбородку колени, будто стараясь уменьшиться, чтобы не быть такой крупной — при ее среднем росте и умеренной плотности — мишенью для ударов. У нее был разрублен затылок, так что пучок прически еле держался на коже. Она как бы беззвучно вопила раскрытым ртом. В складках, бедных ситцевых складках платья смерзся снег,— вероятно, он падал и таял на ее остывающем теле. Потом его плотные куски покрылись пушистым налетом позднейших снегопадов. Никто, кроме снега, не трогал ее после смерти. Убитая держала в кулаке ременный поясок с Кольки, и это больше поразило Павлушина, нежели ее рана.

Он что-то бормотал, в горле у него пересохло. Чувство утраты, которое он впоследствии называл жалостью, сложно складывалось в нем из отцовской гордости смышленым не по летам сыном, из представлений об их предсмертных стонах, из все нараставшей злобы к врагам. Злоба была пока не более отчетлива, чем в те двое суток, когда он бежал из теп-

лушки, но она с тех пор неизмеримо выросла, присоединившись к отточенной и осмысленной вражде красного бойца. Ему еще не была известна мера разобщенности среди жителей их окраины, где не было семьи, в которой не произошло бы убийства, грабежа, насилия, увода, ареста. Жители еще не верили, что пришло советское войско, что на главной площади гремит медная музыка — гимн, за который всего несколько часов назад расстреливали, что не все сидят пришибленными, что на главной площади собралась толпа, слушающая хриплую, усталую, но полную надежд речь комиссара дивизии.

Павлушин в эти часы тоже был прикован к дому и одной тяжело и медлительно ворочавшейся в нем думе, томясь сложностью того, что в нем творилось под безжизненным и однообразным гнетом боли.

Трупы теперь лежали: матери — на лавке, сына — на столе. Павлушин сидел в ногах жены, почти вплотную к стоптанным подошвам ее жалких черных ботинок. Изредка он сходил с места, но тут же снова садился.

Детишки затихли в углу за печкой, готовые принять все, что им назначено испытать в этот неподвижный день, отличный от других только тем, что не идет толстая старуха соседка и не несет поесть. У них уже был опыт: ни зовом, ни криком, ни нытьем нельзя ускорить ее приход, и они молчали. И замкнутый в своих собственных муках отец словно забыл о них.

Павлушин сидел у добросовестно оттопавших свое ног жены в остановившемся, как ему казалось, времени. Ведь движение времени он привык видеть в проявлениях существования других людей: вот они встают на утреннюю поверку, вот обедают, ждут спектакля заезжей труппы, идут в разведку, читают газеты. Во всем этом он участвовал, а теперь не то что забыл, что все это творится за его стенами, но просто всякие проявления жизни стали ему чужды, неприятны и странны. Ничто не смогло бы его сейчас удивить. Ударь в дом снаряд или мгновенно, без сумерек, опустись ночь — он едва шевельнулся бы.

Павлушин лишь чуть повернул голову, когда скрипнула, прошипев по полу рваной рогожной обивкой, дверь и с таким же рогожным шелестом мелкими шажками в комнату вошла маленькая, толстая, вся закутанная в платки и шали женщина. Безмятежно-злое личико ее тщилось выразить

сладко-добрую и одновременно плаксивую гримасу сочувствия. Двигалась она старчески неровной, но бодрой походкой, в руках у нее были какие-то белые судки. Павлушин посмотрел на нее с равнодушным, она на него — с наигранным удивлением.

Старуха прошла в угол к печке.

— Цып-цып-цып, деточки мои, я вам покушать принесла,— позвала она голосом, каким рассказывают сказку.— Только ведьма поганая, старшая-то моя сестра, нам объедки одни оставляет. Я все собираюсь жалобу на нее написать, да не знаю, куда подавать,— какие теперь чиновники, разве они дело мое с сестрицей разберут! Она им рот пирогами заткнет, наливкой употчует, ну и решат по ее. Ведь она инспекторша Кулешова, и дом не мой, а ее. Перед Кулешовыми-то, бывало, весь город шляпу снимал.

Слушая эти бабьи причитания и жадное чмоканье детей, глядя, как старуха совала им в рот какие-то похожие на обгрызки куски, Павлушин все порывался припомнить, кто эта в сущности очень знакомая женщина, но тут же снова забывался в своем тяжком отупении.

Такой и застал семью друга Досекин.

— Прихожу, а Павлушин сидит, смотрит на дурочку, сестру Кулешовой, и ничего не понимает,— рассказывал он впоследствии.

Войдя с воли и щурясь от темноты, Досекин поглядел на Павлушина, на тела убитых, вздохнул, расправил свою генеральскую бороду и, горько убеждаясь в бедности человеческой речи, приготовился выразить сочувствие. И вдруг увидал в углу старуху и ребят.

— Чем это ты их кормишь?— накинулся он на Кулешову.

Старуха быстро схватилась, собрала пустые судки и, мелко, споро шагая, выкатилась из дому. Дети снова забились за печь. Досекин подошел, вытащил их на свет, начал подробно, как заботливая хозяйка новорожденных ягнят, разглядывать и ощупывать.

— Ты тут с мертвыми сидишь,— ворчливо обратился он к Павлушину, с расчетом выбрав самый житейский тон, чтобы разорвать пелену великой скорби, которая была сейчас

самым главным врагом живого его друга.— А они-то каковы! Смотри, в каком они состоянии!

Странная окаменелость чувств сразу покинула Павлушина. Он упал ничком на лавку и сдавленно застонал. Дети заныли ему в тон. Досекин дал ему немного выплакаться, причем заметил, что его собственные усы стали мокрыми от слез.

— Довольно!— наконец крикнул он.— Хватит! Погляди на детей, они же сгнили совсем!

Павлушин покорно выпрямился.

— Их вымыть нужно, накормить как следует. Черт знает чем кормила их эта дура! Няньку им нужно. Дом согреть, печку надо затопить.

Павлушин кивал: «Да, да, да». Голос Досекина звучал для него как голос нужды — хлопотливый, настойчивый, без подачки горю, суровый к слабости. Такой встала перед ним жизнь. В то мгновение он еще даже не узнал ее в лицо, не увидел в полный рост, но она взяла его и повела.

Замученных беляками хоронили с военными почестями и музыкой, провожали в могилу залпами. Но все это, казалось, не в силах было примирить Павлушина с безобразием их смерти. Он не спрашивал себя: «За что?» Такой вопрос показался бы ему не только риторическим, но и просто ненужным,— ему ли не было известно, за что сейчас убивают. В сознании царила полная ясность.

Павлушин безвыходно сидел в опустелом доме, питался, да и то мало и неохотно, тем, что приносил Досекин. Детей отправили в детский дом.

Досекин расследовал обстоятельства, при каких были убиты Павлушины. Их зарубили чеченцы генерала Шкуро, когда было решено оставить город. Расправу с окраинами белые проводили по каким-то таинственным спискам. От придурковатой сестры инспекторши Кулешовой Досекин дознался, что инспекторша написала в белый штаб письмо с указанием на семью соседа-большевика. Павлушин выслушивал все это как-то неестественно спокойно и вяло, говорить с ним было невыносимо трудно, приходилось повторять одно и то же по нескольку раз. Он худел, зарастал бородой, лицо покрылось налетом, напоминавшим мышиную шерстку.

— Ишь как ты сохнешь, источило тебя совсем,— говорил Досекин.— Чего молчишь? Рот открывать зарекся?

Павлушин молчал. Глядя на эту странную бесчувственность и какое-то терпеливо-углубленное внимание к чему-то переживаемому им внутри, делавшее нечеловечески неподвижным его серое лицо, Досекин наконец сообразил, что с приятелем творится неладное, и позвал доктора. Старик военный врач нашел у больного давным-давно наукой отмененную «меланхолическую манию», и Павлушин больше месяца пролежал в нервной палате дивизионного госпиталя, где за ним день и ночь следили дежурные санитары. Павлушин говорил впоследствии, что от всего этого времени осталась только тоска и почувствуй он сейчас приближение испытанного им тогда душевного состояния, он без минуты раздумья лег бы под поезд, сунул голову в петлю.

Но Павлушин выздоровел. Тот же военный врач рекомендовал начальству подержать его некоторое время в тылу, и его прикомандировали к мобилизационному отделу военного комиссариата. Затем заставили переменить квартиру. Ему отвели две большие комнаты в богатом доме инженера, владельца технической конторы,— с ванной, дубовой мебелью, с болотного цвета коврами. Квартира находилась в таком порядке, как будто инженер не бежал из одной эпохи истории в другую, а попросту выехал из местности, занятой красными войсками, в местность, занятую белыми, и через несколько дней вернется.

Выздоровев окончательно, Павлушин ощутил выздоровление как новую жизнь: новая кровь, новые соки струились по жилам, и кожа обновилась, и весну он встретил тихим, но все существо проникающим восхищением, в каком призналось бы нам любое раскрывающее почки дерево, будь оно способно рассказать об этом наслаждении человеческим языком. И, родившись второй раз, Павлушин ходил на Врангеля, командовал полком. Но перед этим походом он сошелся с соседкой по квартире, молодой женой пожилого пьяницы-слесаря с завода конных молотилок: детям нужна была новая мать.

VII

Повесть сразу ворвалась в современность. Продолжение ее разыгрывалось уже на сцене, которую писательница видела воочию, и действительность эта остро разрывала призрач-

ную ткань образов прошлого, воспринимаемых из рассказа, являясь перед писательницей со своими голосами, запахами, со всей бесцеремонностью вочеловечивания, в намерении без всякой жалости разрушить призраки воображения и нагрузить память новыми картинами, которым в свою очередь суждено превратиться в ее сознании в мысль.

Вторая жена Павлушина жила и здравствовала в уплотненной квартире где-то на одной из главных улиц города, за пыльными тополями. Дом их был наполнен детскими криками, юношеской болтовней, беспричинным хохотом и необоснованными рыданиями молодости. Мачеха выходила пасынка и падчерицу, старалась поставить себя так, чтобы стать им подругой и тем очистить место для детей, прижитых ею с Павлушиным...

Но, дойдя до второй женитьбы, рассказчик оборвал повествование, притом гораздо резче, чем следовало бы при дыхании и разбеге, который взял спервоначала его рассказ. Очевидно, Павлушин натолкнулся на что-то в настоящем, что забылось за воспоминаниями. Он устало обвел окружающих воспаленными глазами и поморщился. Слушатели держались несколько потупленно, с двусмысленной деликатностью, которая, подобно некой фигуре умолчания, выражает больше, нежели откровенность.

— Ну что ж... Поговорили — и будет,— сказал сменный мастер Головня и ушел.

Вслед за ним поднялся и скрылся технорук.

— Мало времени и внимания приходится уделять семье,— разбито и книжно сказал Павлушин.

После такой интонации естественно приступить к более откровенному разговору, тем более что они остались с писательницей с глазу на глаз,— испарились даже калькулятор и Досекин. Возможно, что и разошлись-то все из соображения, что Павлушин может с разгона вступить в откровенности с писательницей и лишние уши будут ему неприятны. Разумеется, семейные огорчения, постигшие начальника цеха, были всем известны.

Павлушин действительно оказался не в состоянии удержаться.

— Трудно сейчас с семьей,— сказал он, потупившись, не глядя на слушательницу, с непривычно потерянным видом.— Я, знаете, люблю во всем порядок, строгость. Квартира у меня в чистоте... Жена и дети трусятся, чуть я брови

сдвину... Да вот в последний год промфинплан напряженный, редко дома...

Зазвонил телефон. Писательница вздрогнула, Павлушин радостно схватил трубку.

— Заводоуправление? К директору? Когда, сейчас? — закричал он. — Да, да, конечно, свободен. Какой может быть разговор! Сию минуту!

И он поспешно, угловато, чего с ним никогда не бывало, сунул писательнице руку.

— Да, вот какие дела... — бормотал он. — Директор зовет... — И не скрывал, что доволен обстоятельствами, прервавшими беседу.

Писательница слегка задержала его руку.

— Мне очень хочется побывать у вас, — вырвалось у нее приветливо и естественно, — в гостях... Завтра, под выходной?.. Если разрешите, я зайду.

Остаток дня она провела в расспросах о Павлушине, толкаемая неожиданным и бескорыстным интересом, который возбудила в ней личность Павлушина, невольно делая невыгодные для себя сравнения.

Из чего, собственно, составлялась биография такого человека, как она?.. Несколько воспоминаний о чисто телесной беззаботности детства, о все ускоряющемся росте, который, вместо радостей, приносил тяжелые тревоги юности, об отце, который был столь преисполнен давящей самоуверенностью, что, казалось, каждый шаг его должен оставлять вмятины на тротуаре. А между тем он всего лишь издавал недолговечные, по большей части убыточные юмористические еженедельники, скучноватые в день выхода, а теперь, через тридцать лет, постыдно пошлые. Сейчас трудно себе даже представить, что к их составлению прилагали ум и способности люди в пиджаках, галстуках и бобровых шапках, которые как-никак управлялись хоть с бытовой сложностью жизни, хоть со счетами типографии. Впрямь, некая неестественная легкость присутствовала во всех делах так называемого «мирного времени», начиная от беззаботных кутежей тогдашних аферистов и кончая самоубийствами «по причине неизлечимой болезни». В глазах писательницы из-за этой легкости все «мирное время» представало страшно обесцененным, но даже и для него занятия ее отца были подозрительно легки.

Потом она училась в гимназии, влюблялась, писала сти-

хи. Вышла замуж. Развелась. Вышла во второй раз. Второй муж верхом человеческой мудрости считал английское изречение: «Мой дом — моя крепость» — и придавал ему такую глубину, что она становилась бездонным содержанием целой эгоистической жизненной программы. Узловые воспоминания для писательницы — это болезни, выздоровления, поездки на курорт. Сравнивая все свое прошлое житие с жизнью Павлушина, она заметила, что для ее жизненных событий приходится брать слова из другого набора, чем для Павлушина. Ее слова: здоровье, любовь, родственники, погода, книги, творчество, квартира — всё из одного и того же личного круга. Его слова: винтовка, цех, молодежь, женорганизатор, товарищ, постановление, табель, работница и еще многое множество — это о роевом, об общественном, о таком, что требует участия других людей, говорит о соучастии, сотрудничестве. Многие слова произносились обоими, например — болезнь, семья, книга; в сознании как ее, так и его самые понятия эти играли значительную роль, но все это звучало у них в разных ключах.

Сердце писательницы болезненно билось от жары и усталости, но старуха уже не могла заставить себя не ходить и не расспрашивать весь день о заинтересовавшем ее человеке. Ей приходилось быть многословной, подталкивать наводящими вопросами, ловить на недомолвках, увязать в околичностях, выискивать истину в противоречиях. Главное препятствие заключалось в том, что никто не мог взять в толк: зачем, собственно, газетной сотруднице копаться в чужих семейных делах и могут ли чьи бы то ни было семейные дела идти в сравнение с выполнением плана по заводу, со строительством утильцеха? Так, обычно, беседуя с ней, Досекин улыбался, и борода его весело раздувалась. Но когда речь зашла о второй жене Павлушина, о его детях, он цедил в усы слог за слогом и все сводил на то, что надо личную жизнь согласовать с основными устремлениями пролетариата.

Поймала писательница и технорука. Но этот привык отвечать на все так строго и по существу, что даже после утренней встречи странно было бы обратиться к нему с такой неопределенностью: «А скажите, товарищ Сердюк: что происходит в семье вашего начальника цеха?»

Если ему когда и доводилось сообщать что-нибудь о людях, это были очевидные, бесспорные, безусловные сведе-

ния — скажем: работает в орготделе горкома... женился... умер... посадили. Ему как бы претили психологические подробности житейщины: расходятся, влюблены, тяготится службой, интриган и т. п. Такое самоограничение можно было принять за тупость, но писательница давно догадалась, что техноручк попросту отвлек свои интересы из области отношений в область вещей. Однако эта догадка не облегчала ей задачу — хоть издали, хоть с чужой помощью сблизиться по-человечески с Павлушиным, духовно пересечь его существование и заглянуть ему в лицо.

— Четкий работник, вполне на своем месте,— выразился Сердюк про начальника; а это было известно и без него.

Неожиданно писательница обнаружила, что за ее суетой следит калькулятор, странный, малоприятный молодой человек, всегда безмолвно углубленный не то в вычисления, не то в какие-то раздражающие его додумывания. В конце служебного дня, собрав бумаги и заперев в шкаф счеты, калькулятор приблизился к писательнице и, тесня ее в угол, не спуская с нее глаз, вкрадчиво спросил:

— Осмелюсь вам предложить один вопрос... Не думаете ли вы, что жена гражданина Павлушина ему изменяет? И грубо захохотал.

— С чего вы взяли?— невольно вырвалось у писательницы, буквально ошеломленной как самим вопросом, так и диким несоответствием сладкого тона речи и грубого хохота.

— «Что красавица мне неверна!..»? Вас это интересует? Знаю, интересует. Писатели всегда пишут про измены и неверную любовь, потому что всякому поучительно и любопытно читать... не то что про машины. А вы, конечно, изображаете, что вам важны машины! Хотя, между прочим, слушая, как он рассказывает, вы мучились тем, что он убил. Вам неизвестно, имеет ли право человек убивать...

Писательница собрала всю твердость, прибавила к ней кое-что из прочитанного за годы революции и ответила:

— Если у человека есть руководящая идея о благе общества, искреннее и большое убеждение,— он это право в определенных случаях...

— Ах идея! Но если убивать, то это уже не идея, а чувство. Убивают не умом, а чувством. И, если уж на то пошло, человек, который любит и ревнует, имеет больше права...

— Что вы хотите сказать? Почему такая странная тема?

— Не бойтесь, гражданин Павлушин имеет верную жену. Раиса Степановна наседка, про такую стихотворения не напишешь. Ни про нее, ни про него. И потому довольно напрасно теряете время. Оно же деньги.

— Я стихотворений не пишу.

— Ну ро́ман.

— И рома́на пока не собираюсь.

— Рома́н...— Он задумался.— Так неправильно, нужно — ро́ман. Ро́ман,— упрямо повторил калькулятор.— А вы вот образованная, но позволяете себе говорить неправильно. Рома́н — это так зовут, имя. А все должно иметь отлички.

— Вы, должно быть, любите фотографироваться?— вдруг неожиданно для себя, глядя на выспреннюю физиономию и манерную позу калькулятора, спросила писательница.

— Нет. Я некрасив и невиден. А сам люблю красоту. Когда слышу вдалеке музыку, готов заплакать. Злюсь на себя, но слезы катятся. Знаю — в городском сквере просто ходят люди, а военный оркестр играет. Но издали... Издали все другое, один звук. И, конечно, мне завидно великим людям. Я и вам завидую... Напишете в газете, и ваша подпись...

«Сейчас он вытащит рукопись или попросит разрешения зайти вечером, прочитать поэму»,— подумала писательница, сразу же начав искать в уме отговорки.

Но он опять удивил ее.

— Пробовал я писать... Не выходит, нет никаких к этому способностей.— Калькулятор даже покраснел, как ей показалось, от ярости.— Всякий должен искать свой большой поступок.

— И вы полагаете, что человек вроде Павлушина на большой поступок не способен?

— А у меня о нем и мыслей нет. Думаю, впрочем, не способен. Таких, как он, много. Но те, которых много, не умеют держать линию своей жизни. Их несет, как пух по ветру.

— Ну, знаете... Сказать про вашего начальника цеха, что он пушинка!..

— И пушинка вес имеет. А самой-то ей небось кажется, что она и вовсе тяжелая. Только ветер может и дерево сломить. Ну вот он! Столько лет в партии, подвиги в граждан-

ской войне... А тут утильцех! Незавидно. Работы же — до поздней ночи. Ответственность. Большой поступок одним ударом делается — вот как, по-моему.

Больше ничего от него добиться было нельзя. А все касающееся Павлушина приобрело для нее необыкновенный интерес. Прежде такие «низменные» вопросы, как прохождение службы, могли занять ее воображение лишь в великих жизнеописаниях, но карьера рядового человека — что может быть скучнее! Медленное накапливание стажа, помощь всяких случайностей, вроде перевода на другое место, а ныне — переброски... Нет, все это было не для нее! А в приложении к Павлушину, вопреки мнению калькулятора, важно все — и партстаж, и военное прошлое, и происхождение. Ее теплое любопытство, видимо, не только просто тронуло Досекина, но как бы открыло для него новые стороны человеческих отношений, и он откровенно, как мог живописно, рассказал о «падении» Павлушина. Красный партизан, боевой коммунист, кадровый рабочий, Павлушин был однажды по заслугам исключен из партии.

VIII

Да, однажды старый мир схватил его, да так, что едва не сломал ему хребет.

Павлушин не любил вспоминать свою ошибку, и тот, кто без нужды напомнил бы ее, мог нарваться на большие для себя огорчения.

Иная тщеславная, суетная душа, неуверенная и слабая, балует себя смолоду мелким успехом, который дают и хорошо сшитый пиджак, и умение бренчать на мандолине, и еще не развившееся художественное дарование, в силу своей незрелости кажущееся широкодоступным. Такой душе, если она хочет выжить, а не истлеть заживо, нужно страдание, вызывающее потребность оглядеться, определить свое место; оно пробуждает гордость, вытесняющую самолюбование. Такие души сами рвутся к очистительному страданию. Но есть натуры подлинно могучие, которые не умеют страдать умеренно, их боль нередко во много раз превосходит вызвавший ее повод. И Павлушин был из этого ряда. Ошибка была для него позорным несчастьем. Он не желал оставлять ее необъясненной для себя, он сознавал, что ее породила слабость, результат болезни.

Со второй своей женой Павлушин венчался в церкви. За это его исключили из партии. Сколько ошибок прощают себе люди, если они сделаны в узком кругу личного,— а иные ведь, пожалуй, и всякое свое деяние расценивают как личное. Но Павлушин очень резко делил поступки на личные и общественные. В церковь он пошел как человек с ослабленной болезнью, потерявшей способность к сопротивлению волей, но когда ему напомнили, что он, член партии, не имел права этого делать, его охватило такое огромное чувство стыда, будто он занимался чем-то в высшей степени непристойным на глазах у несметной толпы. Ведь совершая многое множество своих дел, он всегда окружал себя людьми, примерял свое поведение к той всеобъемлющей общественной норме, которая называется партийностью, подобно тому, как настоящий одаренный писатель, работая, все время видит перед собой огромный, требовательный, проницательный мозг читателя, тот безграничный ум, который и на самом деле оценивает книгу на всем протяжении ее исторической жизни.

Как писатель должен иметь в себе столько вкуса, таланта и идейного самосознания, чтобы ответить за каждое свое слово перед своим главным судьей, состоящим из критического чувства самого писателя плюс критическое чувство его читателей,— а сумма этих слагаемых и есть мыслимый идеальный читатель; как любой конструктор, рассчитывая машину, должен предвидеть не только все случайности производственного режима, то есть выясненные и невыясненные законы механики, физики, химии, но и законы социальной жизни, знать и хранить в сознании все — от формулы силы рычага до расчета сопротивления материалов, от воздействия внешних влияний на металл до учета культуры внимания у рабочего; как гимнаст, проделывающий упражнения даже в одиночку, должен подчиняться ритму, целесообразности, точности, не им установленной, а переданной ему учителями и соучастниками упражнений,— так Павлушин был в полной мере наделен чувством критики, чувством расчета, чувством конструкции, чувством ответственности, соучастия и общественного ритма, словом — социальным чувством.

Графоман всегда доволен написанным, безумец, сочинивший машину вечного движения, не отказывается от нее, если даже ему докажут очевидную нелепость его промахов.

Такие не знают срама, но они не чувствуют и общества. Им не страшен суд, который наше воображение составляет из самых строгих, нелицеприятных судей, привлекая иной раз в их число даже стены нашей комнаты, потому что они сделаны людьми, не способными на осуждаемые деяния! В состав суда включены воспоминания о великих произведениях искусства, о высоких, благородных поступках, о героях и богатырях, включены все строгие призраки культуры, и, кроме того и прежде всего, мысленный приговор над ними произносит непременно человек близкий — друг, отец, любимый или любимая, вернее даже не они сами, а то лучшее, что мы о них думаем.

В какой-то мере Павлушин оказался туповат и странно узок. Он не мог,— не для оправдания себя, нет, а чтобы развязать себя, выделить и поставить вовне несчастную случайность болезни, которая исказила его настоящий облик, предельно изнурила его волю,— не мог простить себе и случайную слабость. Он желал отвечать и за случайность.

Квартира, куда вселился Павлушин, встретила его не одними болотного цвета коврами. Здесь проживала все еще считавшая себя хозяйкой квартиры инженерная экономка, которую все называли Пашетой. Перепуганная бегством хозяина и вселением новых жильцов, совершенно сбитая с толку тем, что, оторванная от своей среды, она только что бочком и ползком влезла в другую, но в этой неудобной позиции была сразу остановлена,— Пашета встретила Павлушина угодливой предупредительностью, принятой им спервоначала за доброту. Но когда он увидел Раису Степановну, жену сварливого пьяницы-слесаря, одновременно суровую и кроткую от переполнявшего ее сознания, что, раз уж ей выпало неудачное замужество, она должна безропотно переносить его,— Пашета, с ее судьбой и смятением, с ее угодливой сладостью, показалась ему до такой степени олицетворением человеческого, душевного уродства, что он перестал верить в ее реальность,— не приснилась ли она ему в самом деле в каком-то дурном сне?

Зато жена слесаря так быстро и так прочно водворилась в его душевном мире — вероятно, и ей самой Павлушин предстал как непременная и неустранимая часть новой жизни,— что все препятствия к сближению с ней он преодолевал легко и естественно, как легко и естественно, хотя мед-

ленно, но неуклонно, входили в него сила, здоровье, умиротворение.

Однако он был, в сущности, еще очень слаб, когда Раиса Степановна пришла и стала жить в его комнатах. Эти его слабость и беспомощность и укрепили ее жалость к нему, к детям. Она ощущала себя как бы сестрой милосердия, идущей на помощь больным, и, в восторге доброты и жалости, с неведомой ей доселе властной силой отстранила слесаря.

Старик муж примирился с уходом жены. Он жил в пьяном бреду и до и после ее ухода, мог говорить и думать лишь об ощущениях, которые ему давал алкоголь. После первого же глотка обжигающей жидкости разливающаяся по телу теплота мгновенно вызывала бесшабашный подъем, желание петь. Он мог часами выкрикивать во все горло одну и ту же песню: «Бывали дни веселые...» — а затем следовали потеря сознания, сон, похмелье, ужас нового утра. Он тщился оправдать все это, давая своему падению в некотором роде историческое определение, и называл себя «жертвой старого режима». Странность заключалась в том, что так безудержно он запил после запрещения водки, с появлением всяческих суррогатов: опивался самогоном, денатуратом, валерьяновой настойкой, словно его подзадоривал риск, внесенный в вековое дело опьянения.

Всю войну старик прекрасно зарабатывал, и то, что он называл себя жертвой старого режима, показывало, что его отношение к революции насыщено какими-то непроявленными классовыми ощущениями.

Не меньше, чем алкоголь, портил, мешал ему в отношениях с женой раз навсегда принятый им тон упорной насмешки. Тон этот сохранился и после ухода жены, только в нем появились еще какие-то мрачные черты.

Вся квартира очень удивилась, когда слесарь однажды заявил, что переезжает со своей трехлетней дочкой Лелей к вдовой сестре, проживавшей на далекой Чечетовской улице. Взяв небольшой узел с вещами, он запер комнату со всем остальным своим имуществом и увел девочку.

Дочку Раисы Степановны звали Лелей. Это было пухлое трехлетнее создание, в том милом возрасте, когда ребенок уже не животное и радуется стать человеком. Всех восхищали ее веселость и бессознательная ребячья грация. Девочка беспрестанно радостно щебетала — с матерью и женщинами просто и бесхитростно, с мужчинами с некоторой

долей лукавого детского кокетства, непобедимого и первозданного, как сама жизнь.

Павлушин изредка встречался со слесарем то на улице, то у себя в коридоре,— тот иногда заходил в свою прежнюю комнату. Слесарь бросал на него хмурый взгляд красноватых, в подушечках глаз, усмехался, спрашивал: «Живешь?» И нельзя было понять, какой смысл таит этот вопрос.

По рассказам Пашеты, слесарь уже дважды подрался где-то в шинке, чего за ним раньше не водилось. Раису Степановну это обеспокоило. Молчаливо и сосредоточенно она пыталась решить неразрешимую задачу — как с помощью старых правил согласовать противоречия новой жизни? Она скрывала от Павлушина все мысли и тревоги, связанные с поведением и поступками первого мужа, думала, что у нее хватит сил отказаться и от Лели.

Павлушин был занят мелкими, но хлопотливыми делами выздоровления, кроме того, требовалось в голодном городе прокормить большую семью, и, наконец, он так привык к переменам и необычностям, что, экономя силы ума, вживался в них, не вглядываясь. Его очень удивило, когда жена заговорила о слесаре, об учиненных им скандалах, заявила:

— Упрямый он, черт...

Будто открыв для себя возможность безнаказанно рассуждать о старом муже, Раиса Степановна целый вечер вспоминала примеры его феноменального упрямства, и видно было, что оно неотступно занимает все ее мысли.

— Разве разберешь, о чем он думает! Трезвый насупится, а пьяный несет всякую ерунду. И уж только его разозлить — он навредит, обязательно навредит.

Все это плохо вязалось с образом нетрезвого болтуна, любящего выпить на даровщинку, мгновенно отвлекающегося от любой мысли к воспоминаниям о выпивках, причем столь похожих друг на друга, что неизвестно, почему застряли они у него в памяти. Но ведь и мрачная злая усмешка, которая все чаще мелькала на его лице, тоже совершенно не вязалась с этим образом, а ее-то Павлушин сам не раз наблюдал.

Разговор о покинутом муже кончился тем, что Раиса Степановна расплакалась и после долгих расспросов созналась, что сильно тоскует по дочери.

— Душит меня тоска,— говорила она, и слезы расплыва-

лись по щекам, старя ее строгое лицо.— Твоих-то вон выходила, растут, наливаются, на Петю интересно полюбоваться. А за Лелей и присмотреть некому, тетке она только обуза. А я без нее... Не имеет он права задерживать ее, мучить мать...

Павлушин был тогда у предела своих сил и новую заботу принял с чувством, похожим на подозрительность, что жена берет над ним слишком много прав. Конечно, дети его одеты, вымыты, причесаны, в квартире царит почти нежилая чистота и вещи уже образовали железный порядок; стол, стулья как бы продавливали углубления в полу, оттого что всегда аккуратнейшим образом возвращались на свои места... Но...

Раиса Степановна, пока ею владел слесарь, представлялась Павлушину воплощением здравого смысла, гибкости, женской приспособляемости, которые дает постоянное пребывание в сфере практики, в круге, по существу, узких, крошечных, но, если их связываешь издали с привлекательностью женщины, таинственных и мудрых домашних и бабьих дел. А теперь ее аккуратность уже оборачивалась ему сухостью, и он смутно подозревал — сколько на свете таких примеров! — что своей внешней упорядоченностью она укрощает хаос души, мир беспорядочный, полный темных и смутных желаний. Самое темное из них — желание борьбы и победы над ним, над ее новым мужем.

— Да нет, он старик пустой,— сказал Павлушин о слесаре.— Был бы упрямый, не отпустил бы тебя без единого слова.

— Так вот как ты обо мне думаешь... По-твоему, значит, он мной бросается...

И Раиса Степановна разрыдалась с такой силой, что Павлушин весь вечер утешал ее и настоял, чтобы пригласить слесаря для переговоров.

На другой день, в субботу, Пашета сбегала к воротам завода конных молотилок и в обеденный перерыв передала старику, что его просят зайти. Слесарь согласился. Явился он утром в воскресенье, часов в десять, но, по случаю праздничного дня, в полутрезвом состоянии, невыгодном для его противников. Он испытывал прилив сил, оттого что выпил, и досаду, потому что недопил.

Бегло оглядев комнату, гость сел на стул в углу, то ли изображая бедного родственника, то ли ограждая спину от

нападения, то ли с намерением наблюдать, как на сцене, все, что будет перед ним разыгрываться.

Как только он вошел, Раиса Степановна выскользнула из комнаты. Павлушин был убежден, что она подслушивает у двери, и не сердился, отлично понимая ее волнение. Впрочем, ей не терпелось; несколько раз во время незначащих вступлений к беседе проходила она из коридора в спальню детей, но долго там не задерживалась, возвращалась снова, искоса, таясь оглядывала слесаря. Побледневшее круглое лицо ее покрылось красными пятнами, как в экземе.

— Чего ты снуешь,— заметил ей на старых правах слесарь.— Хоть бы чаю, что ли, дала.

— Может, водочки?— незнакомым самой себе, хриплым от волнения голосом отозвалась она.

— Ну, где выпить я найду и без вас,— грубо сказал слесарь.— Выкладывайте лучше — зачем побеспокоили? Что так-то в молчанку играть, из угла в угол метаться!

Приготовившись к долгой борьбе, Павлушин начал издали, обиняками говорить о том, как сейчас, пока не окрепла республика трудящихся, трудно одному налаживать жизнь, особенно когда на руках ребенок.

— Одному, верно, трудно. Так ты что же? Жить к себе приглашаешь? В общежительство?— резко захохотал слесарь.— Вот была бы потеха добрым людям: молодой, мол, не справился, так старого зовут.

Павлушин с ненавистью вспоминал потом этот разговор — до такой степени не соответствовал он его правилам, требующим уважения к жене со стороны даже самых близких приятелей и родственников. Если он все-таки стерпел речь слесаря, то лишь потому, что само положение второго мужа при живом первом было в то время странно и непривычно, а главное — все его объятое неприязнью к слесарю существо держалось настороже, как бы не испортить основную задачу — вырвать Лелю. Эта сложность поглотила всю сообразительность и, пожалуй, обидчивость далеко еще не окрепшего Павлушина. Он, правда, сразу оборвал двусмысленности собеседника, но не так резко, как следовало бы, а несколько смущенно, будто непозволительный поворот беседы просто уводит в сторону.

— Вот что, Филипп Алексеевич, давай-ка Лелю нам,— сказал Павлушин.— Девочка у тебя в забросе, тетке не до нее, старухе абы самой прокормиться. Тут же она будет при

матери, при других детях. Я ее от своих отличать не буду, воспитаем как надо...

И он принялся обстоятельно развивать этот свой план, приготовленный им в качестве главного козыря ко встрече со слесарем, до которого долго не допускал его собеседник.

Слесарь слушал, забившись, как в нору, в свой угол, громко и тяжело дыша. Не слыша возражений, на которые в свою очередь приготовил собственные, Павлушин замолчал. Молчал и слесарь. Вошедшая с чайником Раиса Степановна замерла у стола, так и не поставив его на поднос. Не разрешаемая ожидаемым словом тишина тяготила Павлушина каким-то отдаленным сходством с теми самыми страшными положениями, в которые он попадал. Так же вот молчали они втроем в теплушке, когда бородач освобождался от веревок. Так томительно было, когда он сидел у ног мертвой жены, ожидая каких-то слов от странной старухи, принесшей гнусные объедки его детям. Ему и теперь словно не стало хватать воздуха, тишина приобретала власть над ним, над всеми троими,— каждый чувствовал себя совершенно одиноким, углубившимся в самые сокровенные свои мысли. Павлушину хотелось еще что-то сказать слесарю. Но что?..

За окном затихал и стыл ненастный мартовский южный день, которому так и не было дано разогреться. Он походил на длинные серые сумерки осени.

Старик внимательно, как бы вчитываясь, поднял на Павлушина глаза. В одутловатых складках его лица проступили подлинные молодые черты, требовательные и суровые. Он откашлялся и медленно проговорил:

— Нет уж, товарищ Павлушин, к невенчанным дочь моя не пойдет. Ты правильно рассудил, что при матери девочке будет лучше, чем при больной тетке, а за то, что ты не станешь требовать на ее прокормление, спасибо. Оно, может, тут следовало бы погордиться, да я свою слабость сознаю: пообещаю платить, ан пропью. Голодной она у меня, конечно, не останется, а все ж, как не понять,— у вас, при матери, будет намного лучше.

— Правильно, вполне правильно рассуждаешь...

— Только вот, говорю, к невенчанным дочь не отпущу. Не пойдет мое рождение к невенчанным.

— То есть как это так? Ты что, в самом-то деле...

— А вот так. Не по-вашему, не по расписке должно

быть, а по-христиански, в церкви. Ты у меня жену отбил — это дело твое и ее, да и какой я муж, нешто я не понимаю. И живите как хотите, в законе или так... вольно. Но для дочки тут другой разговор. У меня, брат, все хорошее позади осталось, но все, как тогда было, желаю я, сколько могу, дочери передать. Пусть сама потом выбирает — старое или новое.— Он приостановился.— Одним словом, развод я дам, не воспрепятствую. Однако венчайтесь в церкви. Только при этом условии предоставлю вам дочь.

— Да я же большевик, коммунист, не верю в твоих богов!

— Я не для себя. Я для своей дочери законной семьи требую.

— Знаешь что, дядя, катись-ка ты отсюда...

Но они еще с полчаса кричали друг на друга, и по этому крику, по своему бессилию его убедить Павлушин понимал, что старик затянет вокруг этого вопроса узел. Раиса Степановна, которая краснела все больше, будто наливаясь невысказанными словами,— а сказать ей хотелось, конечно, то же, чего добивался бывший муж,— по тонкому, бессознательному расчету не изменила поведения, не вмешивалась. Постоит, постоит у двери и выйдет. И слесарю и Павлушину — обоим было известно, что, перейдя в новую семью, она перенесла с собой и икону, которой ее благословили родители на первый брак. Павлушин не позволил повесить икону в передний угол, как полагалось по-старому, и она установила ее в углу шкафа с бельем. Когда открывали шкаф, оттуда, как из кукольного домика, рассеянно, строго и болезненно — в противоположность осмысленному выражению, каким обладает взгляд всякого, особенно работающего простую работу, человека,— смотрели из-под дугообразных бровей неестественно большие, хмурые глаза на коричневом женском лице. Глаза были с голову младенца, которого держали непомерно длинные пальцы. Этими несоответствиями живописец наивно и последовательно проводил мысль о неравенстве человеческих органов: те, что он считал благородными — глаза, лоб, брови, руки,— он преувеличивал, а низменные — рот матери, животик и ноги младенца — уменьшал. И Павлушин и слесарь знали также, что Раису Степановну тайком, хотя в этом не было никакой нужды, навещала мать, иссохшая черная женщина, мучимая глубоко запрятанным страхом смерти, что она вечно плачется,

зачем дочь нарушила веру, пошла от живого мужа к детному вдовцу, да еще к партийному, в беззаконное сожительство. Мать и дочь ссорились, проливая слезы, причем разногласия показывали обеим, что они не сходятся лишь в частностях.

— Вернись к старому, неси свой крест,— шепотом убеждала мать.— Не будет тебе здесь счастья.

И дочь начинала верить ей, что счастье возможно лишь в виде прежнего прозябания всего существа, что ею сделан неверный жизненный шаг. На новом месте жизнь молодой женщины складывалась так, что прошлое могло иной раз показаться ей лучше, чем оно было на самом деле. Слесарь промышлял частными заказами, за продовольствие ремонтировал в немецких колониях сельскохозяйственные орудия, а Павлушин жил на урезанный военный паек. Но боязнь, что материальное благополучие при муже-пьянице непрочно, заставляла ее ненавидеть слесаря за одно даже ожидание ответственности, которая выпадет на ее долю с крушением этого благосостояния. Раиса Степановна была лишена аппетита на большие дела, а у Павлушина ей выпали почти непосильные: пришлось ухаживать за чужими, одичалыми, забитыми и, под этой коркой, слишком рано сложившимися детьми. Как быстро воспользовались они недостатком в ней твердости, неопытностью и неуверенностью, сделались упрямыми, научились «выматывать душу» непрестанным нытьем. Отказывая себе, больному, тоже нуждавшемуся в усиленном питании мужу, она кормила их хлебом, картошкой, кашами, понимая, что им необходимо не это, а те масло, яйца, молоко, которые возили когда-то колонисты слесарю в баснословных, казалось теперь, количествах. Труд, который она расходовала на детей Павлушина, заставлял ее порой забывать о дочери, и она начинала горько корить себя за слабость своей к ней любви.

— Моя-то беленькая, чистенькая, а эти такие неряхи,— говорила она матери.— Скоблю их, скоблю, а они все такие же расшарашки. Привыкли жить в грязи. Или уж мне это с досады кажется?

Мать уходила, а она, с перехваченным слезами и раскаяньем горлом, целовала Настю и Петю, после чего сразу обретала в себе силы требовать от Павлушина — венчаться.

Гадал ли когда-нибудь Павлушин, что ему выпадет унизительная доля стать инвалидом от неизвестной болезни, да еще не тела, а чего-то такого, что, как он полагал, наука отрицает,— души, которую старики путали с дыханием!.. Что ему суждено страдать от недуга, считавшегося барской причудой,— нервов! Потеряй он на войне ногу,— эта была бы честная инвалидность. А тут вот, неведомо отчего, он ослабел хуже, чем после лихорадки или тифа: ноги-руки дрожат, в глазах прыгают черные точки, малейшее умственное усилие — письмо, чтение, спор, назидания детям — даже теперь, после выписки из госпиталя,— вызывает ни с чем не сравнимую истому. Больше всего пугало его одиночество, а человек, отказывающий в просьбах, как приходится ему отказывать Раисе Степановне, должен быть готов к нему.

«Нет, это не я, это другой человек»,— говорил он себе, и его охватывал ужас утраты каких-то невесомых, но самых существенных черт, еще недавно составлявших внутреннее состояние его личности.

У того Павлушина не было постоянного шума в ушах, дрожи в коленях, а главное — не было неуверенности. Да полно, Павлушин ли это? Поговорить об этом было не с кем, да и трудно себе представить более постыдный предмет разговора, нежели сомнение в собственной цельности.

И он боролся с подтачивающей его работой сомнения, заглушал в себе гул, казавшийся гулом разрушения глубин,— смутный, грозный, непрестанный, то и дело дававший знать о себе головокружением, усиленной пульсацией сердца, мгновенной чернотой в глазах, после которой очертания знакомых предметов как бы стремились ускользнуть из поля зрения. Больной боялся сообщить кому бы то ни было о том, что он испытывает, и всего более — врачу, чтобы тот не изрек вторично загадочного решения, приведшего Павлушина в госпиталь, где он пережил несказанную смертную тоску.

Павлушин полюбил беззаботные минуты, когда он мог болтать с детьми. Особенно привязался он к Пете. Но с некоторого времени в эти игры-беседы стали проникать те же струи, которые разводили его с новой женой. Они почти не разговаривали между собой, потому что Раиса Степановна все сводила к одному:

— Я Лелечку свою хочу, несчастье мое.

А однажды, подойдя к отцу, и Петя протянул плачущим голосом:

— Мы сестрицу себе хотим!

К нему присоединилась Настя.

Отец раскричался, дети расхныкались, Раиса Степановна плакала навзрыд. Павлушину казалось, что это никогда не кончится. Усталый, у предела сил, он ушел из дому, долго бродил по разоренному, пустому городу, чужой в знакомых и нечужих стенах.

Досекин, Головня, Милькин, Вахета, Коротнев, Мальянц, Лященко, Никитин, все его друзья, товарищи, соседи по улице, соратники детских игр, свидетели и соучастники первых мечтаний о революции, те, с которыми читались книжки вроде «Хитрой механики», «Конька-скакунка», «Политической экономии» Богданова и Степанова, те, что устраивали массовки в овраге за огородом,— дрались теперь на всех фронтах, многие из них уже гнили в степных могилах. Как подступиться к их благородным теням с мелкими, низменными, терзающими его личными вопросами?.. Куда там жаловаться далеким друзьям,— даже на очередное освидетельствование в госпиталь Павлушин приходил столь молчаливым, с такими явными признаками нервного и физического истощения, что врач ни о чем его не расспрашивал, а просто вписывал в историю болезни: «Отсрочка»,— и рекомендовал лучше питаться...

В тот вечер он вернулся домой поздно. Засветив коптилку и подав ему мятую сухую картошку, жена истерически крикнула:

— И зачем только я на такую тягость согласилась!

— Хорошо,— глухо сказал Павлушин.— Пойдем завтра к попу. Забери паек за полмесяца, он ведь муки потребует. Устал я...

Через неделю их венчали в пустой, холодной церкви, где полумрак, воск, маленькие пламенные язычки свеч, ладан, парча на попе, золотая резьба и черные лики икон, суета, пение и скороговорка длинноволосых людей соединились в какое-то льдистое гудение, от которого у Павлушина стыли пальцы рук, немели ступни. Из косматых губ священника вместе с ветхими и великолепными словами — такими же преувеличенными и так же безошибочно рассчитанными, как глаза с голову младенца и пальцы длиннее его туловища на Раисиной иконе,— вырывались клубы кис-

лого пара, гуще чем из обедневшего кадила. Павлушин взглядывал на жену. Она мучительно зябла и крестилась только тогда, когда причт останавливал на них обоих удивленные, укоризненные взгляды. За спиной шептала молитвы мать Раисы Степановны и шелестели две-три старухи.

На паперти, когда они выходили из церкви, их обогнал какой-то высокий человек в синих бриджах и красном дубленом полушубке, нарочито распахнутом, чтобы видна была форменная гимнастерка.

«Следят!» — мелькнуло в голове у Павлушина.

Он довел до дома жену и тещу, сказал, что чай пить не будет, и, не заходя в дом, побежал в комитет партии.

Секретарь комитета, веселый, спокойный, всегда приветливый латыш, у которого рот не закрывался от улыбки, что не мешало ему быть грозой города, выслушал признание Павлушина.

— Да, у нас уже имеется заявление по этому поводу. И знаешь, кто написал? Первый муж твоей жены. Опутали тебя, брат Павлушин. Расстанешься с партийным билетом.

Так исключили его из партии.

Узнав об этом, Раиса Степановна заявила:

— Ноги матери не будет в моем доме!

И действительно, старуха скоро умерла, так и не повидавшись, не простившись с дочерью.

Через два месяца Павлушин был послан на фронт против Врангеля, бился под Каховкой, брал Перекоп, потом воевал с Пилсудским, ходил в Галицию. Его наконец восстановили в партии, он получил командование полком и прослужил в этой должности все время нэпа. Его демобилизовали только в двадцать восьмом году.

Павлушин усвоил военную выправку, научился и управлять и подчиняться в точных границах красноармейской дисциплины, устанавливая которую новый класс проявил гениальное чутье к личности и подчиненного и начальника, так как прошел все испытания социального гнета.

Павлушин, находясь в Красной Армии, рос, приобретая зрелость и не старясь, все полнее овладевал искусством организации, проходил в меру своих способностей ту же школу, которую в той же армии проходили величайшие умы революции.

И все же он был только службист. Его простой ум никогда не подымался в конкретных представлениях выше

полковых интересов, как организатор он творчески проявился, только работая с такими массами, которые физически мог охватить одним взглядом. Уже дивизия представлялась ему отвлеченностью, о которой он мог толково рассуждать. Начальство и сослуживцы находили, что Павлушин дельный, боевой командир, вполне на месте, хотя ему недостает уверенности в себе. А сам Павлушин смутно чувствовал, что никак не может подняться во мнении окружающих и, главное, в собственном мнении до той ободрительной оценки, которая подталкивает к успехам. Есть души трудно заживающие.

Павлушин не принадлежал к разряду вздорно-самолюбивых, мнительных, слабых, но добрых натур. В нем было слишком много мужественной деловитости, воли бороться и преодолевать, но во время своего душевного, вызванного болезнью упадка он несколько приближался к ним.

Военная среда точно определенным местом каждого, правильным и разграниченным соподчинением как бы освобождает участника военного строя от сложной жизненной игры за стенами казармы, за границами плаца, полигона. Правда, пролетариат внес в эти особенности старинной военной психологии свои поправки: у него не укроешься в полк, как в монастырь, и не расквитаешься с обществом одними доблестями. Пролетариат и от военного требует полного участия во всей сложности социальной жизни страны. Но простота казармы, плаца, полигона все же остается. Павлушин вполне оценил ее, но он не тешился ею, а лечился.

Павлушин был мнителен. Но мнительность делала его внимательным и прозорливым, а эти черты, соединившись с волей и умом, составляют важнейшее оружие крупного вожака, организатора людей. Тогда как у иных мнительная внимательность вырастает в тяжелую подозрительность, в средненормальных людях, к которым принадлежал и Павлушин, колебания характера не проявляются в столь чистом, обособленном виде. К тому же душевный состав его обладал счастливой пластичностью, помогавшей со здоровой прочностью приживаться в обстановке. Быть может, несколько замедленно, но в нем беспрестанно что-то перестраивалось, смещалось, меняло размеры, и вот, скажем, из скромного, замкнутого, ловящего каждое замечание железнодорожника он становится командиром части, отчетливым, требовательным, первое время излишне недоверчивым

к исполнительности подчиненных и потому растрачивающимся на мелочи, но потом путем опыта и труда преодолевающим эти изъяны.

Однако рану, нанесенную исключением из партии, он чувствовал всегда. Вернее, с годами, уже не рану, а шрам, некую суженность душевных волокон, которая мешала ему расправиться, взять надлежащий разгон,— именно потому, что исключение свое он считал правильным: ведь проявивший слабость в таком пункте может оказаться слабым и в другом, несравненно более серьезном.

И Павлушин боролся с собой, незаметно, ежечасно. Он воспитывал в себе непреклонность и дома, в семье, где тяготела его пристальная, жестокая требовательность. Ведь стоило ему выступить из четкого полкового строя, а позднее из закономерного производственного потока и оказаться в семье, как его охватывала паутинная путаница чего-то в высшей степени неустроенного, бесформенного, малочисленного, капризного, по праву притязательного и вместе с тем неопределенной ценности. Почему, собственно, взрослый, значительный человек, успешно где-нибудь на заводе руководивший сотнями людей, которые в один день создают для человечества многотысячные ценности, должен огорчаться дурными отметками или ошибками в диктанте сына — мальчика, из которого неизвестно что выйдет и чьи грамматические ошибки не идут ни в какое сравнение с колебаниями производственного ритма хотя бы даже небольшого цеха?.. Вот тут-то, при переходе от общего к частному, Павлушина и подстерегали недоумения. Он отгонял их главным образом строгостью, требовал послушания, беспорочной учебы и только старался об одном: не выходить из себя, что, впрочем, далеко не всегда ему удавалось.

Писательница застала Павлушина в том периоде, когда из заурядных работников на заводе он выдвигался в число тех немногих, которым можно поручать самые хлопотливые, прорывные участки. Ему поручили отдел кадров, когда оказались большие недостатки рабочей силы, заедала текучесть. Он справился. Послали его налаживать вновь организованный цех использования отходов — пошел на подъем в утильцех. Как это иногда бывает, обстоятельства совершенно ощутимо брали Павлушина в свой полет, и несли, и давали чувствовать, что несут к какой-то заманчивой цели. А в тот день, когда произошло все вышеописанное, Павлушин не

менее ощутимо почувствовал, что выпал из стремительного лёта, очутился на неприветливой, скучной, неподвижной почве неудач,— семья.

IX

Писательница возвратилась домой в час спада зноя. Ее поселили в гостинице, которая носила официальное название «Дом-коммуна» и по замыслу предназначалась для бездетных и холостяков. Архитектор задумал в этом квартале даже блок общежитий, и по этой причине угловой дом был назван «Дом блока». Все здания должны были соединяться крытым коридором, а Дом-коммуну предполагалось сделать центром этого муравейника. К счастью, архитектора скоро отправили проектировать коттеджи в новой столице автономной области на Аму-Дарье, великий план остался незавершенным; полтора десятка зданий глядели на главную улицу злыми торцами, растянувшись фасадом на изрытые пустыри, уставленные похожими на копилки мусорными ящиками. Около этих ящиков ежеквартально устраивались месячники санитарии; врачи трех заводов и пяти амбулаторий сходились сюда с лопатами каждый выходной день, поджидая добровольцев, подвод и грузовиков, чтобы вывозить мусор.

Дом-коммуна представлял собой длинное и узкое трехэтажное строение самого что ни на есть «индустриального» серого цвета, с бастионными полукруглыми выступами под плоской крышей, на которой намечалось развести целый парк. Вокруг третьего этажа проходил сплошной железный балкон. Все двери на него баррикадировались жильцами, а окна были наглухо забиты — дабы предотвратить воровство.

Внутри здания, по обе стороны бесконечно длинного коридора, располагались квартиры, в полторы комнаты каждая. От передней был отгорожен закоулок, полный каких-то заткнутых деревяшками труб, кранов, пучков проводов,— тут назначались уборная, душ, газовая кухня. Всего этого пока не было.

Писательница почти болезненно ощущала в стенах дома страдание невыраженной мысли, неуклюжий полет которой напоминал тех средневековых бедняков-умельцев, что лепи-

ли из смолы и перьев крылья и сбрасывали себя с колокольни. О, как знакома ей эта борьба с косным, немым материалом, манящим готовностью принять форму. Он ее и принимает, даже в неуверенных руках, но только по своим законам и нравам. А умелые, мудрые руки иного скульптора по дереву выбирают для воплощения своего замысла такой пень, который еще при жизни в природе как бы обладал своей человекообразной формой — и мудрецу пришлось лишь очистить его от коры. Между тем природа создала только мудрые руки скульптора, вовсе не заботясь о пнях,— материал лгал ему, притворяясь послушным.

Кирпичи соцгорода, воздвигнутого индустриалистом-архитектором, казалось, выполняли не его волю, а собственную, складываясь не в дома, а в штабели. Уже законченные дома производили впечатление фундаментов какой-то титанической постройки, превращенных в жилье, разрозненных кусков, где лишь иногда мелькал намек, скорбный и убогий, на то, что хотел создать автор. Обычно, возвращаясь домой, писательница лишь по вывешенному соседками для сушки белью узнавала с перекрестка в этом однообразном потоке свою гостиницу. И все же идея какого-то грандиозного, на всю планету, порядка веяла, вместе с пылью плохо замощенных улиц, во всех этих кубах и плоскостях. «Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо». А попросту говоря, архитектор подчинился более чем странному, на наш нынешний взгляд, убеждению, что на смену грязному и безвкусно-пышному строю капитализма грядет новый, чистый, *аскетический* уклад всеобщей равномерной бедности, главной радостью которой будет восхищение регулярностью и строгостью. «Наслаждения остались позади,— как будто хотел он сказать своим монументальным творением,— впереди гигиена воздержания, и умейте находить приятность в этой перспективе». Если бы кто-нибудь упрекнул его в непонимании того, что социализм — это богатство, архитектор ответил бы грустной улыбкой и напоминанием о режиме экономии. Он охотно верил, что социализм завоюет всю планету, но роскошные вещи, вроде, скажем, крученого коверкота или автомобилей Паккарда, будут тогда к нам приходить из тех миров, где еще сохранилось буржуазное безобразие.

Писательница обреталась в третьем этаже, отведенном для туристов. Там за каждым проходящим тянулись белые

следы пристающего к подошвам мела, вокруг стояли помосты штукатуров и по всему сырому, теплому пространству носились дети нижних, семейных этажей,— принцип бездетности и холостой жизни в Доме-коммуне провести так и не удалось.

Писательница одна занимала целую жилую ячейку: спала и работала в крохотной полукомнатке, а в большой стояли мирно пять кроватей под солдатскими одеялами, жесткие, как постель под асфальт, и два ломберных столика. Туристов ожидали в несметном количестве. В комнате было душно от испарений побелки; окна администрация просила не открывать, так как они выходили на общий балкон, дверь приходилось закрывать, поддевая ручку измазанной в мелу тесиной.

Когда писательница опускалась из мира чистых идей — так она называла завод и проявление завода в виде строгого однообразия жилых домов нового квартала — в быт семейных ячеек, трамвайных очередей, в магазины, где под разнообразными вывесками сохранялось лишь несколько одинаковых товаров, вроде зубного порошка и суррогатов кофе, ее угнетало всеобщее равнодушие друг к другу. Противоположные впечатления от завода и города, сталкиваясь в ней, вносили сумятицу в область, где ей больше всего нужны были ясность и уверенность: в творчество. Бодрый, напряженный, упорядоченный завод никак не вязался с упадком городской жизни, и эти две обычно согласные стихии вступили теперь в противоборство: стройность — и распад. По ее мнению, тут нельзя построить даже диалектическое единство, разрыв может быть постигнут лишь умозрительно, в историческом плане. Но она привыкла понимать историю прошлого и никак не могла научиться видеть историю будущего. Многие из ее знакомых решали вопрос просто: завод, по их мнению, грабит город и деревню, но на их собственный век хватит. И потому они описывали одну сторону жизни — процветающую. Произведение состояло из фигур умолчания,— писательница называла это заикающимся творчеством.

А лично ей и житейски не терпелось вывести своего Павлушина из цеховой конторки, где он распоряжался, администрировал, создавал свой, на ее взгляд — отвлеченный, ширпотреб, в лихорадящий город. Выходя за ворота завода, ее герой, в сущности, испарялся из ее представлений,

потому что — как мог строгий, стройный, организованный Павлушин существовать и действовать в суете, в жалкой свалке быта? Ей это было непонятно. И вот сегодня утром он плакал. Сегодня перед ней предстал его житейский облик, перед ее умственным взором протекло его бытование, не зря же она целый день расспрашивала о нем.

Перед писательницей вставала трагическая борьба Павлушина за стройность, вставали его поражения, признаваться в которых у него хватало хладнокровия и рассудительности, а вдумываться до их корня он не имел смелости. Именно смелости, решимости. Это заставляло его надевать какую-то слепую маску, глушить себя, давить свой крик. В этой внутренней борьбе были оттенки чего-то героического, перед чем она могла преклоняться, как преклонялась перед упорством рабочего класса, строившего в лишениях индустрию, дабы растить себя численно и качественно. Но она желала разобраться в павлушинском героизме.

«Не лицемерие ли это его спокойствие в конторе?— спрашивала она себя, сидя одиноко в гостиничной комнате.— Или тупость?.. Предполагая в нем лицемерие и тупость, я проявляю не только старческое недоверие, но и большое самообладание, бесстрашие, иначе меня может унести в эмпиреи. Прежде чем это случится, нужно осмотреться, нужно осмыслить его действительность».

Однако все эти размышления показались ей слишком далеко отстоящими от живого, одетого в плоть и кровь Павлушина. Она решила разложить по порядку собранный о нем материал.

Павлушин явно запустил болезнь в семейных отношениях. Прежде чем ему стало ясно, что он потерял душевную связь со старшими детьми, уже перетерлись и внешние связи. Все, что писательница получила из расспросов Досекина, технорука, мастера Головни, отличалось, на ее взгляд, чертами наблюдательной практичности, которая не столько хочет знать причины, сколько исправить последствия. Они чрезмерно распространялись о неожиданности катастрофы, потому что не считали себя вправе вникать в подоплеку. Они скрытничали — отчасти из деликатности, отчасти же потому, что приходилось слишком много записывать на счет характера Павлушина, так как одних фактов они не знали, другие не могли связать в причинную цепь. Получалось, что виноваты душевные особенности участников, в первую

очередь отца,— а уж его ли не уважали они и не ценили!

Досекин полагал, что разложение павлушинской семьи началось не с Петра, а с дочери Насти, старшей. Насте исполнилось девятнадцать лет, она работала на швейной фабрике, прилично зарабатывала — рублей сто десять. Но, как постановил Павлушин, вся их получка должна поступать в семью и каждый удовлетворяется из общего котла. Досекин повествовал, какую справу сделали Насте: и платья, и белье, и башмаки, и шубу с демисезонным пальто. Конечно, ко всему этому отец приложил свои,— жалованья дочери только-только хватало на еду, потому что Павлушины денег не жалели и питались очень хорошо. И вот однажды Настя пришла к отцу и заявила, что ей надоело смотреть из чужих рук, она уходит от родителей на квартиру. Павлушин вспылил. Ответил, что со своим хлебом, если он ей надоел, набиваться не намерен, пусть дочь попробует прокормить себя сама. Мачеха Раиса Степановна расплакалась. По мере того как старшие дети ее мужа входили в возраст, она теряла уверенность в себе, и теперь при всяких неладах ей казалось, что ее положение в доме ложно. Воспитала она Петю и Настю как бы между делом и не могла бы рассказать, как они стали взрослыми, тогда как память ее хранила все подробности возрастания Лели и младших, прижитых с Павлушиным. Что из того, что это естественно,— Раиса Степановна чувствовала порой странную вину перед теми двумя, будто отняла у них мать и не наполнила ни их, ни свое сердце той взаимной привязанностью, какую видела в своих собственных детях.

Вся эта тонкость чувств плелась в доме в отсутствие главы семьи. Павлушин нарочито и последовательно закрывал на нее глаза, не придавая ей цены и одновременно опасаясь ее.

Раиса Степановна расплакалась и раскричалась, попрекнула даже, что старшие дети внесли в дом разные гадости, причем свернула было разговор на Пашету, но Павлушин прервал ее.

Пашета действительно была злом их квартиры, где до последних лет она вела себя полной хозяйкой, особенно когда, будучи на военной службе, отсутствовал Павлушин. А это случалось тогда часто.

Во все продолжение нэпа Пашета устраивала какие-то кустарные артели: шляпную мастерскую, красильню, была,

как говорят, компаньонкой похоронного бюро, а уже в двадцать девятом году сидела с подругой у себя в комнате и макала обыкновенные стеклянные бусы в тяжелую жемчужную жидкость из растворенной рыбьей чешуи,— в их искусственном жемчуге ходили все модницы города.

Пашета все время жила в мире частников, спекулянтов, посредников, лжекустарей, но никогда не забывала, что явно обнаруживать этого не следует, что существует другая сила, для нее — воплощенная, быть может, в военной гимнастерке Павлушина.

Была она весела, приветлива, услужлива. Приди к ней с горем, она выслушает, насоветует, наобещает, уйдешь от нее словно с кучей подарков; а пришел к себе — и нет ничего, кроме воспоминаний о сладком голосе да о белых, пухлых, жестких с ладоней руках.

Бездетная, бесплодная, Пашета жила в свое удовольствие, но опять-таки прикрыв себя приличным, хотя и неоформленным браком с бравым и усатым немолодым мужчиной, который, будучи несомненным участником предприятий Пашеты, ни разу не расстался со скромной должностью в одном из отделов горисполкома, потому что больше всего на свете ценил профсоюзный билет и звание государственного служащего.

«Сама себе хозяюшка!» — говаривала Пашета, вкладывая в эти три слова такой, по-своему богатый, смысл, что его хватало на все ее поведение, на все чувствования, даже скрытые, на все поступки с людьми.

И она ни разу не изменила своей себялюбивой присяге, живя в жизни, как на дешевой распродаже, где у нее еще имеется своя скидка, значительно большая той, что объявлена для всех.

Одно время у нее начали собираться очень молодые женщины и очень молодые мужчины, но дело однажды кончилось скандалом, когда красивый пьяный мальчишка кричал ночью в коридоре, обзывая Пашету нехорошими словами. После этого вечеринки прекратились.

Настя была любимицей Пашеты. Впрочем, Раиса Степановна не обращала на это внимания; да и в самом деле — что тут было особенного, слишком уж велика разница в их летах и положении. Петя Пашету ненавидел и даже разбил раз рогаткой у нее окно.

В марте тысяча девятьсот тридцатого года Пашету не-

ожиданно описал фининспектор, потребовав с нее двенадцать тысяч рублей налога. Через несколько недель было вывезено на двух подводах все ее имущество, тем не менее принадлежавшая ей комната оставалась прилично убранной и уютной. А через год, месяцев за восемь до встречи писательницы с Павлушиным, Пашету арестовали за шинкарство и Павлушин добился, чтобы ее выселили из их дома. Он очень не любил, когда при нем говорили об этой женщине, ее судьба вызывала какой-то молчаливый спор между ним и его старшими детьми. Они считали, что Пашету покарали неправильно и слишком сурово, к чему приложил руку и их отец.

Пашета действительно опускалась со странной быстротой. Про нее ходили неприятные слухи, и каждый раз дела ее опережали сплетню. Когда о ней перестали говорить, она поселилась на новой Нахаловке, возникшей на восточной окраине города, у строительства гигантского химического завода. Пашета жила не то в землянке, не то в фанерной хижине, и как только она переступила этот порог, люди, в жизни которых она еще так недавно играла роль хотя бы в качестве предмета разговора, сразу забыли о ней, как о явлении неприятном уже по одному тому, что участь ее стала загадочной и замысловатой. Простодушная сущность Павлушина тоже возмущалась этим необъяснимым падением, тем более что ему казалось иногда, будто и он чем-то виноват в этой противной истории.

А Пашете еще было суждено вмешаться в ставшую столь от нее отдаленной семью Павлушина.

Вечером после вышеупомянутого разговора с родными Настя собрала вещи, взяла с собой шестьдесят рублей и ушла в общежитие к подруге. Подруга эта, Маруся Перк, из колонисток-меннониток, сама года полтора назад бежала из дому в богатой колонии Розенфельд. Жила она теперь так поспешно и жадно, словно ей грозила скоротечная чахотка.

Павлушина очень удивило, что дочь ушла именно к этой отчаянной немке. Между прочим, он знал, что Маруся ведет дневник. Это ему не нравилось и поражало: откуда такое неестественное внимание к своей особе со стороны девушки, тачающей на швейной машине воротники и лацканы? Но вообще-то Павлушин редко думал о ней, да и до сих пор находил, что его скудных мыслей вполне достаточно для понимания этой легкомысленной девицы. А между тем собери

он всю силу ума и опыта, и то едва ли бы ему удалось легко ответить, почему девица покинула богатый меннонитский дом. Но ведь в этом заключался главный вопрос, он определял судьбу и характер Маруси.

Во всей истории Насти писательница, как и Павлушин, как и Досекин, тоже изумилась появлению на сцене беглянки из меннонитской колонии. Те общие, ничего не объясняющие слова, которые произносились о Марусе, показывали, на ее взгляд, что ее собеседники мало понимают в женской молодежи своего времени. Ограниченность?.. Пожалуй. Но ее источником была существенная черта этих многоопытных мужчин: перед ними стояли задачи столь огромные, что самые размеры их пока предрешали необходимость собирать силы своего внимания на крупном и общем, не распылять его. В этом нежелании вникать в частности развития каждого отдельного человека сказывалась скорее не узость, а специализация мысли, и писательница ее не осуждала.

«Их поздно развившиеся умы,— рассуждала она про себя,— упражнялись и мужали на предметах, которые открыла революция. В сущности, Павлушин довольно плохо знает людей, вернее — знает их лишь с той стороны, которая нужна организатору в военном строю, на заводе и еще в той специальной деятельности, что разумеют они под массовой работой. Ошибался Павлушин лишь в той мере, в какой, сознательно или бессознательно, отрицал то, о чем не успел осведомиться. Ну, в этом грехе повинны и куда более сильные интеллекты. К слову сказать, люди, терпимые ко всякой мысли и ко всякому опыту, угасают, не оставив глубокого следа в культуре и истории. Интеллектуальной работе нужна воля и непримиримость не в меньшей степени, чем и в практической деятельности».

Размышляя так, писательница составляла план: завтра выходной день, с утра зайти к дочери Павлушина, в общежитие швейной фабрики... Писательница с предвзятостью думала, что дочь должна нести в себе большое количество черт отца. Петю ей удалось видеть утром, но беглый обзор ничем не порадовал, не хотелось ни вникать в его образ, ни раскрывать его. Она отказалась бы от дальнейшего знакомства с молодым человеком, не будь у нее убеждения, что именно на старшем сыне должны покоиться невысказанные надежды отца, вся жажда продолжать себя в потомстве, весьма здоровая и наиболее доступная область

честолюбивых стремлений! Писательница положила свидеться и с Петей, если Настя возьмется проводить к брату.

С тем она и приготовилась ко сну, но, уже умывшись и повязав голову платком, вышла на балкон. Сине-сиреневобархатная толща ночи просквозилась огнями. Огромный город словно взбирался по холмам к звездам и падал в низины. Над ним клубились дымно-розовые завесы зарев, и оттуда, из зарев и огней, обдавая слушавшую, тек непрерывный, ровный, как машинный труд, сыроватый гул — это переезжали в трамваях, в автобусах, на автомобилях, на извозчиках сотни людей, перекатывали грузы в вагонах и — работали.

Легкая сухая волна обожгла писательницу. Где-то в недрах ночи воздух сохранил струю дневного зноя и теперь дохнул ею. На краткий миг, как показалось писательнице, кто-то легко выключил ее мозг, и по головокружению она поняла, что прилила кровь к лицу, к голове. В самом деле, загорелись вдруг щеки, и вообще вся она загорелась от волнения. Стало не до сна,— глаз не сомкнуть, надо садиться писать.

Прежде чем так отчетливо объявилось желание писать, тяжестью и еле заметной щекоткой налились, как у курильщика перед желанием закурить, пальцы, а затем во всем существе наступила прохладная, ровная, как бы электрическая, сухость. Писательница без сожаления покинула балкон со всеми красотами ночи, вернулась в номер и села за стол.

Она, не вставая, писала до утра очерк. Ее охватило блаженство тяжелой умственной работы. Очерк изображал и сравнивал два характера, два производственных портрета — начальника цеха Павлушина и технического руководителя Сердюка. Сердюк понадобился лишь для того, чтобы опирать на него главную конструкцию — образ Павлушина, и нечаянно, как нередко случается в творчестве, вырисовывался лучше, выпуклее, полнее, со странностями, которые и были человеком, потому что всякая норма только примышлена к нему в виде общих и смутных представлений, в которых тонет всякая личность и личная особенность.

Но прежде всего пришлось столкнуться с главным затруднением. И Павлушин и Сердюк были живые люди. Она не могла воображаемо ощутить на ладони их руки, потому что завтра все равно должна была пожимать их и в

воспоминаниях не было пока нужды. Оба притягивали живые и разнообразные, противоположные эмоции автора: один — симпатию и восхищение, другой — некоторую жалость и опасение недооценить. В творческом воплощении победителем выходил второй. Персонажи гневно рвали тонкую паутину лжи, в которую их закутывало ее воображение в жажде сказать свое слово о мире. Живые, они могли возразить на каждое слово, считать себя оболганными или замолчанными. За их фигурами смутными и придирчивыми тенями толпились рабочие, мастера, профсоюзники. Они желали, чтобы их изобразили в художественном очерке, и не позаботились сказать для него хоть одно особо выразительное словцо, хоть выставить примету в наружности, не говоря уже о яркой биографии. А там кипела мощная неразбериха цехового дня: не успели привезти заказанные части для вышедшего из строя станка; директор завода снимает к себе единственного инженера цеха Байстрюкова; деревообделочное отделение не получает леса, а его заваливают заказами на деталь «917-бис», из-за которой недоукомплектовано сто четырнадцать комбайнов. Да и весь завод, который путем не осмотришь за две недели, взывал о своих нуждах. Наконец, в довершение всего, руки писательницы были опутаны заданиями главного управления в Москве, которое, посылая ее, хотело получить свое освещение использования отходов. А тут же, рядом, высится внутреннее требование правды, которую она наблюдала и взвешивала каждый день, но которая была лишь частным случаем ее близорукости, ограниченности, неосведомленности, столь обусловленной ее положением и пристрастием. Правда эта противоречила и директивам главного управления, и интересам завода, она смещала пропорции, уводила во тьму призраки многих неописанных героев, нарушала справедливость в отношении Сердюка. Этой правдой было сочувствие одному человеку. Он один — упорный и талантливый — старался поставить все использование отходов. Он один представал для писательницы центром всей маленькой цеховой вселенной, он один влагал смысл в разрозненное движение сотен людей и десятков машин, один объединял усилия, один служил связью и воодушевлением. И, увы, здесь торжествовал не принцип единоначалия, а игра ее пристрастия. Писательница сознавала это, и, прикидывая те искажения, которые ее симпатия должна вносить в очертания действительности,

она чувствовала, как ее писание теряло текучий напор и стремление к цели. Тут же, как обвал, падали в память толпившиеся во мгле детали и окончательно останавливали перо.

Больше всего писательница чувствовала это замедление, начиная новый абзац и новый поворот повествования. И написанное уже казалось отвратительным, лучше и не заглядывать в предыдущие страницы. Часто в житейских делах человек колеблется — предпринимать ему или не предпринимать новый шаг, и тогда дух рутины начинает твердить о покое, преподносит резоны в пользу утоптанной дороги, но решительный человек порывает с прошлым. Так и в творчестве. Писательнице приходилось резким усилием воли выводить свежую деталь, которая должна господствовать в новых строках и строить вокруг себя другие подробности отрывка. Но как тяготила в тот миг искусственность и условность самого выбора; перед скудной закономерностью личного воссоздания вольная прихоть творящего жизненного потока являлась божественной и безмерной,— как тот океан случайностей, теплый океан под одеялом пара, в тумане которого сквозило молодое солнце. Молодой океан на молодой земле. И в нем шевельнулся первый кусок белковой слизи, шевельнулся чуть-чуть, еле-еле, но не по воле течения, а по собственному стремлению. И этой слизи было дано впоследствии родить мозг Платона и Дарвина, обстроить скалу Манхеттена, пролететь в дирижабле над полюсом, создать и возвеличить собственность и — уничтожить собственность, расщепить атом... И, отзываясь на рефлекс «что такое?», столь же первозданный, как то еле заметное шевеление,— познавать, познавать, познавать.

Писательница рылась в заметках, приводила подлинные слова — как будто подлинные слова не срываются столь же случайно с языка, как и с пера,— приходила в отчаяние, забыв какой-нибудь производственный термин. Она стремилась схватить познанное хотя бы за наименование.

Писательница всю жизнь плохо знала практическую деятельность людей, но писала про нее, и у нее выходили, особенно до революции, очень неглупые, правдоподобные, талантливые книги, в которые читатель входил с любопытством и уходил обогащенный. Когда ей самой попадались ее старые повести, она удивлялась, как свободно обращалась с тогдашним составом действительности. Не налгала ли она?

Налгала, конечно, и притом в интересах господствовавших тогда классов. Но теперь все же было практически важно вспомнить — как же это получалось, что в каждом рассказе создавался мир заново? Она переводила красками сло́ва ландшафт своей души на белое поле бумаги, а это, оказывается, одно и было нужно читателю! Теперь же, сама того не сознавая, она делала основную ошибку: холодно прощалась с работой воображения, принося его в жертву действительности, а действительность хотела не отображения себя, а дополнения к себе, и потому ей, действительности, было легко притерпеться к существованию Робинзона, Чичикова, Эммы Бовари, семьи Карамазовых и многих других, уступая им места натурально живших в свое время и натурально умиравших, оставляя после себя лишь мертво звучащие имена — министров, купцов, преступников и толпу прочих их именитых и неименитых современников. Со своим теперешним очерком писательница пускалась наутек от незыблемости художественного вымысла, пускалась соперничать с медлительным многословием каждого дня, каждого очерченного солнцем часа и кропотливостью природы и быта. Вот почему, когда этот написанный холодевшими пальцами очерк попал в журнал, там удивились, как это «автор с именем» дал такую бледную, скучную вещь. Полный самых счастливых для старой, наивной писательницы находок текст показался банальным и холодным понаторелому комсомольцу-секретарю.

И никто не сумел ей разъяснить подсознательно известное еще с юношеских стихов простейшее правило творчества: надо разъять, осмотреть, взвесить, назвать все материальные части виденного, наблюденного, пережитого и заменить весь этот склад образами частей, то есть, пожалуй, их искажениями, которые отражаются в каждом мозгу посвоему, и лишь в степени правдоподобия заключено их родство с читательским воображением. Ведь правда заключена не только в писателе, но в не меньшей степени в читателе, к опыту которого обращено всякое художественное произведение. И чем больше отзывов рождает в читательской душе звук книги, тем полнее и глубже ее восприятие. Очерк писательницы о хозяйственниках был очень верен, точно соответствовал тому образцу протокольного описания, которое очень нужно для делового осведомления и лишено смысла в искусстве.

И все же следовало изумляться неувядаемости этой старухи, которая могла ринуться в чащу юношеских ошибок, забыв весь опыт, который заставил замолчать большинство ее сверстников, а затем, когда все ошибки были совершены в полной мере и очерк написан,— сомкнуться на рассвете под легким покрывалом сна. Ее потрясали еле уловимые судороги, от которых она несколько раз просыпалась и проснулась окончательно точно в заказанный себе срок: в девять часов утра. Пересчитала наличные деньги и на аккредитиве — всего тысяч восемь. Она была уверена, что деньги понадобятся.

В окно проглядывало серенькое небо, как будто за ночь глубокое море с головой покрыло город, предоставив населению любоваться видами подводного царства, где из тускло переливающегося света выращивают перламутровые зерна облаков. На первый взгляд серо-переливчатое небо обещало прохладу, что было бы очень желательно ввиду предстоящей беготни, которую дурная голова приготовила старым ногам. Но едва писательница выбралась из меловых коридоров на плитчатые тротуары, как ее обдало злым зноем без солнца и теней, дыханием равномерной теплицы, которую накалили где-то под Батумом, подсушили над кубанскими и азовскими степями и доставили сюда. С мостовой срывались маленькие пыльные вихорьки. Трамвай — с иголочки новый, но раздираемый уже вполне установившимися склоками — довез писательницу до центра города.

Город казался отлитым в той самой гончарной, где в прошлом веке отливали из серых глин такие губернские поселения десятками. Затем, не очень планируя и ровняя улицы, мостили их булыжником и брусчаткой, сажали рядами нежные липки, ставили по углам круглые афишные столбы, вставляли зеркальные стекла в окна магазинов, заливали панели асфальтом, расписывали черные с золотом вывески, решетили водосточные ямы,— глядь, и готов центр города. А в нем мясо-хлебо-сукно-железо-бакалее-торговцы ворочали миллионами, и выбивали искры из мостовой рысаки, и цвел тощий сад Тиволи или Трезвости, и гремели кабаки, и жирел купеческий клуб штрафами за затянувшуюся до белого дня железку, и город обрастал предприятиями, излучал дороги, а кольцо, каким его изображали на географической карте, становилось шире и мясистее.

Писательница начала свои поиски из центра. После го-

ристых переулков она очутилась в ущелье каменистой черной улицы со слепыми каменными заборами. Черная пухлая пыль покрывала траву между булыжниками, столбы, тумбы — словно в старинном шахтерском поселке.

Общежитие швейников раньше называлось Хлудовской казармой. Войдя через тоннель ворот во двор казармы, писательница остановилась, пораженная тюремным видом двора. Так и казалось, что по асфальтовому колодцу вот-вот, изгнав ползающих здесь детей, двинется в круговую прогулку партия арестантских бушлатов. Может быть, несколько месяцев назад она довольно равнодушно отнеслась бы к этому казарменному виду, во всяком случае, не охватило бы ее так остро воспоминание о ван-гоговской «Прогулке арестантов», и если сейчас она нуждалась еще в таких воспоминаниях со стороны искусства, то ведь это потому, что чувство социальной несправедливости проникало в нее когда-то исключительно через произведения Диккенса, Гюго. Несправедливости, наблюдавшиеся ею в тогдашней жизни, словно сужались в ее кругозоре до малых точек, а за всем тем жизнь казалась сносной, по крайней мере для других. Это революция поселила в ней тревожное недоверие к прошлому, и только после революции начала писательница понимать силу мыслей непримиримых сердец, как и тусклую способность большинства поверхностных протестантов приживаться к любой обстановке, ворча, сетуя и потихоньку жирея. И раньше и теперь ей, как всякому, приходилось совершать по слабости неблаговидные поступки, но думать она желала теперь как святая. И, конечно, ни один человек, просыпаясь каждое утро в годы революции, не выходил из постели без чувства необычности, в которую его поставила история. Все явления и предметы приобрели новый цвет и отблеск, главное — глубину, свое новое качество. В этом освеженном мире сгорело множество предвзятостей и выросло несколько истин, простых и незыблемых, из которых, как из камней, строили новое великолепное здание. Для оправдания себя писательница сравнивала людей ее поколения с человеком, который шел частым лесом, в полумраке, среди паутины и сохлой хвои, среди спертости и темной красоты. И вот он вышел в широкое пространство лугов. Простор ударил его по глазам, он должен привыкать к ослепительному размаху нового пути, а опутывавший его и казавшийся непроходимым лес — всего лишь темная стена,

на которую не хочется оглядываться. И вместе с тем широта кажется изнурительной, уж очень много требуется сил шагать с таким размахом, чтобы чувствовать свое перемещение в этом пространстве.

«Как же легко дышится такому Павлушину,— думала писательница,— который мог родиться в Хлудовской казарме и ползать в этом бессолнечном колодце!»

Несколько месяцев назад она никогда бы не связала живую участь человека с такой отвлеченностью, как эксплуатация трущоб, населенных пролетариатом.

— Эту казарму надо срыть,— произнесла она вполголоса и сама себе удивилась.

— Кого вам?— спросила писательницу толстая беловолосая девочка, видимо только что отплакавшая, так как все ее лицо было в разводах.

Когда писательница ответила, что ей нужна комната № 228-а, девочка отошла, испуганная сложной задачей.

А в это время из окна искомой комнаты смотрели на писательницу, сидя на подоконнике, Маруся Перк и молодой человек, Миша Клыков, который, не желая терять дорогое время выходного дня, уже хватил с утра.

— Видал старую барыню на вате?— смеясь, спрашивала Маруся.— Глянь, озирается. Уж не к нам ли?.. Хоть бы к нам, я над ней посмеялась бы. С тобой-то веселья не много, чертушка пьяный!

Миша переживал чудесное состояние хмеля не вовремя. Так дети переживают неурочное чаепитие с гостями, когда, уговорив родителей, им удается остаться со старшими и впивать блаженство беспорядка, который лишь один приобщает их к могуществу взрослых. Молодой человек к тому же мог похвалиться здоровьем, пока вино содержало для него единственно наслаждение, не грозя ни муками похмелья, ни скорбью о безобразно потраченном дне краткой жизни. Влюбленный в свое блаженство, он оторвался от мелочей существования, его разнеженный мозг вмещал, как ему казалось, глубокое и отвлеченное противоположение. Во-первых, ему представлялось важным, что его любимая девушка немка (что было совсем неверно); во-вторых, с Германией когда-то воевала Россия; и, в-третьих, эти противоречия надо примирить. Сейчас для него вся неразбериха вылилась в одном восклицании, которое он, должно быть, слышал в детстве.

— Позор Германии! — восклицал Миша, и Маруся не возражала, из чего он заключил, что она глубоко чувствует его любовь и необъятную думу.

В дверь постучали.

— К нам, — прошипела Маруся, — накликала.

— Позор Германии! — сказал Миша.

В смятении Маруся забыла расхохотаться, и встреча с неожиданной гостьей вышла в высокой степени вежливой, чего было трудно ожидать. Долю изумления при новых знакомствах писательница привыкла обращать на пользу своим предприятиям.

Узнав, что она к Насте, ей предложили подождать, — девушка вышла в кубовую за кипятком.

— Да вы садитесь на кровать, стульев не полагается, — пригласил Миша.

Садясь, писательница ушиблась. Ее опыт не допускал, что можно спать на прикрытых половиком досках. Видно, Насте жилось жестко.

Комнатка двух девушек была кривым отростком коридора, согнутым в середине подобно колену печной трубы. Обе узкие, как гладильная доска, кровати едва помещались по стенам и оставляли проход, по которому от двери до окна можно было добраться только боком. От Настиного половичка припахивало тонким и вовсе не отвратительным запахом не очень опрятной юности. Свою сторону недавно выбеленной стены Маруся Перк украсила круглым бумажным веером, открыткой с изображением сиреневых астр и фотографией плотного выпуклоглазого старца в сюртуке. По бокам, у ног старца, стояли два толстых младенца в соломенных шляпах. На Настиной стороне красовался повешенный без всякой усмешки выцветший плакат: «Кто куда, а я в сберкассу». Он изображал голенастого молодого спортсмена, который шагнул через всю улицу и одним махом устремился в дверь, куда едва пролез бы носок его ботинка. Писательница почувствовала в горле слезы: плакат показывал ей в этой еще неведомой Насте полное неумение представить себе, что такое жилище и как его украшают. Пока ее вело лишь подражание.

Писательница постаралась рассмотреть ту, кому подражала дочь Павлушина. На первый взгляд Марусины младенчески надутые щеки, карие, навыкате, как у фотографического предка, глаза, яркие губы, которые густо положен-

ная помада почти обесцвечивала и во всяком случае упрощала в очертаниях,— все это, казалось, соединилось для того, чтобы обогатить вселенную еще одной завидно здоровой девицей. Это ли не образец уравновешенности и золотой середины! От такой уж никак не произойдет ни беспорядка, ни беспокойства. Но тут же поражал блеск ее глаз. Глаза блестели напряженно, а всмотришься — и неестественно. Они бросали отсвет на все лицо. И вот уже слишком свежий рот, пухлость щек, крупные зубы показывают, что соки в этом теле подняли бурю, весь организм натянут и вспучен, все в этом существе преувеличено в весе и размерах за счет коротких ног, толстеньких рук, маленькой головы в рыжеватых гладких и блестящих мягких волосах, скромно причесанных на девический пробор.

Маруся и ее обожатель молча посиживали на окне, безмятежно давая себя оглядывать. Молодой человек словно плыл в море зноя, обратив к небу круглую спину. Капли соленого пота сияли на его широком, в багровых пятнах лике, пот склеивал космы желтых волос, пот темными пятнами выступал под мышками на его новой, в крупную зеленую полоску сорочке. Оба они походили друг на друга внутренним сходством страстного влечения друг к другу.

«Ты можешь думать, что тебе угодно, можешь завидовать или даже мешать нам, но все равно ты уйдешь, а мы останемся одни»,— читала писательница в озорных и сонных зенках парня и в ленивой посадке Маруси.

Мише надоело молчание, и он прервал его совершенно неожиданным изречением:

— Интеллигенцию мы должны уважать, как ученых людей.

— Молчи уж, чертушка,— зашипела на него Маруся, на что он сделал второе заявление:

— А вредителей расстреливать, верное слово. Но, конечно, мы должны уважать.

Он широко улыбнулся, писательница ответила тем же. Парень ей нравился. Так легко было понять его хмельное блаженное состояние и то ощущение, с каким эти два молодых животных жались друг к другу на узком подоконнике в знойное утро. Вот они вежливо, с любопытством встретили пожилую женщину. Больше того: видя в ней выходца из другого мира, выполняли сложный обряд учтивости, нечто лишнее, никому, кроме нее, старухи, не нужное, правда, и

необременительное. Они могут вступить в любой разговор, могут разгруститься или обидеться, но все же их не покинет радость взаимного слияния, которое вспыхнет от одного поцелуя и сожжет любую горесть.

— Может быть, Настя не так скоро вернется? Я могу погулять и прийти позднее. Без меня вам будет только веселее.

Девица Перк смутилась, спрыгнула с подоконника, прошлась к кровати, поправила накидку на подушке.

— Ну что вы, сидите, пожалуйста. Разрешите спросить — кто вы такая?

— Позор Германии! — произнес Миша.

Писательница объяснила, кто она, и осторожно, в самых общих чертах рассказала, почему узнала о Настиных похождениях.

Маруся снова вернулась на свой подоконник.

— Странно, чем люди интересуются. Чего любопытного в нашей жизни? Что может быть такого в простой девице, как Настя или как я? Ну, живем и живем. Я лучше интересовалась бы какими-нибудь происшествиями. Например, землетрясение или как в старину воевали.

— Когда-то все это было мне интересно, — сказала писательница.

— Ну вот... А про Настю что ж можно узнать? Ну, смирная. Вроде даже размазня немного. Я потому и позвала ее к себе жить. Моя соседка замуж вышла, вот за такого же чертушку. — Она улыбнулась в сторону Миши. — С мужем на вольную квартиру переселилась. А хромой дьявол комендант наш хотел ко мне злющую, как он, старуху вселить. Тут уж я забрыкалась. А потом вижу — девчонка, эта самая Настя, я с ней дружила, мечтает от своих сбежать. Я и сказала ей, что у меня койка рядом свободная. Верно, вам что-нибудь про нас наболтали...

— Нет, я про вас мало слыхала.

— А коменданта нашего не знаете? Вы ему не очень-то верьте.

— Первый раз слышу про коменданта.

— Ему совершенно нельзя верить... А вы, значит, газетная сотрудница? Я так сразу и заметила: зашли вы во двор, в какую-то книжечку посмотрели, а потом у девочки начали спрашивать. Я ему так и говорю — газетная сотрудница... Ты чего спишь?

— Интеллигенцию,— сказал Миша,— должны уважать.

— Заладил одно... А правда он у меня красивый?— спросила, смеясь, Маруся.— Неряха только. А как приоденется, вроде сегодняшнего...

— Он замечательный. Да и вы тоже.

Писательница говорила правду. Ей хотелось прочитать этим людям исследование их характеров. Она впала в прекрасное состояние проницательности, которая открывала ей чужую психику с такой ясностью, что она самой ей казалась предельной. Между тем писательница просто научилась определять то общее, что в сложном и неуловимом течении образовывало данную личность. Исходя из такого грубого приближения, в тот момент побуждения Маруси Перк состояли из обостренного любопытства к вторгшейся в комнату старухи, из любовного возбуждения и опасения, что посетительница имеет какие-то задние мысли, из нежелания потерять удобную сожительницу (писательница не сомневалась, что Настю выслали, чтобы остаться вдвоем), из той общей корыстности, которая зовется жадностью к жизни и которая ведет такую Марусю от наслаждения к наслаждению. Это не было замкнутое в себе самолюбование холодной красавицы, это была расчетливая податливость, доставляющая удовольствие себе и другим. Она брала с благодарностью все, ее существо отвечало на любой поцелуй той же мерой физического восторга, какую желал бы получить от нее мужчина. Она была полна любви, доверия, желания угодить как раз тому, кто в данный момент больше всего этого добивался. И она никогда не ошибалась, потому что не запрашивала, а только отвечала, и потому именно всегда ускользала, всегда уходила первая, оставляя приятное сожаление, которое никогда не давало понять покинутому, сколь холодна к счастливому прошлому его бывшая подруга. Для нее всякий разговор состоял преимущественно в том, что, даже разговаривая с женщиной, она рассчитывала на мужское восприятие и со всех сторон показывала себя, откровенная, смелая, влюбчивая и самовлюбленная, живущая с такой полной верой в свою удачу и с таким широким и полным ощущением каждой минуты, что весь горький опыт, иссушающий другие души, проходил для нее почти безвредно. Она, словно феникс, возрождалась каждую минуту живым, веселым, порочным ребенком.

— Мишка у меня хороший,— говорила она с такой го-

рячей откровенностью, будто была знакома с писательницей сто лет.— Он и пьет редко. Только вот нынче с утра так назюзюкался.— Маруся обожала русские выражения.— А я ему сказала: «Будешь пьянствовать, буду изменять...» А я и так буду.

— Позор Германии!— сказал, склоняя голову, Миша, далекий от неуютной трезвости обеих собеседниц.

Его распущенное в улыбку лицо выражало такое совершенное добродушие, незлобивость, что писательница не могла не подумать: «А ведь всепрощение в самом деле глупость».

И писательница сказала себе, что дочери Павлушина здесь не место, если она соответствует своему назначению быть дочерью Павлушина. И предпринятый сюда поход стал ей смешон и неприятен. Пришедшая незваной на этот пир молодой чувственности, писательница вдруг испугалась, что не только этим, но и всем, всему человечеству будут чужды и непонятны ее странные намерения кого-то сводить, кого-то мирить, кого-то устраивать — без ясной цели, без ясного сознания, зачем это нужно, без надежды на награду. Что за бескорыстие? Не есть ли это пустая трата времени? Не уходит ли она от трудной для нее сложности завода в павлушинскую семейную неразбериху в поисках какого-то ложного спасения? Писательница встала.

— Куда же вы?— спросила Маруся, впрочем даже не пошевельнувшись на своем подоконнике.— Ведь она правда должна скоро заявиться. Видно, ничего не нашли в нашей жизни, что можно описать? А я, если бы умела писать, сочинила бы про себя двадцать книг, ей-богу!— Она уже позабыла, что всего несколько минут назад утверждала совершенно обратное.— Но вы ищете разных ударников, вам все премированных подавай! Про нас что же писать, таких, как мы, много.

Писательница многое могла бы ответить Марусе, но в это мгновение вошла Настя. Если Маруся только что удивила писательницу порывом к такому отвлеченному счастью, как книжная слава, то вошедшая девушка больше всего поражала застенчивостью и явной готовностью примириться с самым малым. Она была невысока, босая, в сером ситцевом, старушечьем платье, вся какая-то сплющенная, раздавшаяся вширь. Нос, грудь, живот — все тело было у нее плоско, словно растянуто, как если б ее показывали в самоваре.

Застиранное до неопределенности ситцевое платье, босые ноги, усталый — в выходной день — вид говорили о том, что ей живется плохо и сил нет это скрывать.

X

— Так вот вы какая, Настя Павлушина! — произнесла дрожащим от волнения голосом писательница.

Девушка покраснела так стремительно и густо, что, казалось, было слышно, с каким шумом прилила к ее лицу кровь.

— Проводите меня, мы поговорим по дороге.

— Хорошо, — еле пискнула Настя, и они вышли.

Они медленно шли по двору. Писательница от волнения едва передвигала ноги и чувствовала у себя на затылке глаза из всех окон. Визги детей усилились до машинной пронзительности и сразу прервались за тоннелем ворот. Обе женщины выбрались, молча и искоса оглядывая друг друга, на пустынную, в чахлых палисадниках и заборах улицу. Писательница глубоко вздохнула под тяжестью навязанной себе задачи.

В разговоре с Марусей можно было отделываться кивком головы, незначащим словом, потому что той нужна была лишь слушательница. Здесь же надо было брать в руки беседу — тонкую и сложную, иначе девушка попросту убежит или будет отмалчиваться, сколько хватит терпения. А она терпелива, и это для нее не лишение!

Вопреки своему обыкновению говорить прямо, писательница начала несколько издалека:

— Я очень много занимаюсь вопросом, как живет наша молодежь. На молодежи виднее, как меняется человек под влиянием революции. Именно потому, что на молодежи груз старого меньше, сама среда души прозрачнее (Настя взглянула на нее испуганно), мне кажется — как раз тут удобнее наблюдать эти изменения. Кроме того, я очень хорошо помню себя молодой и совсем не помню в зрелом возрасте. Поэтому мне не с чем сравнивать; ведь что бы ни говорили, в психологии все применяешь к себе. Мы были страшно связаны обычаем, воспитанием, предрассудками, и это — при большой материальной свободе. Говоря по правде, я вполне понимаю, что такое буржуазный капиталистический

строй, и понимаю там каждую черту культуры или быта и ее обусловленность. Хоть нам и казалось, что мы живем в безграничном мире самых высоких, самых отвлеченных, самых сумасбродных идей,— мы попросту, как на экране, отражали сытый, застойный и эксплуататорский строй!

Писательница дала себе волю. Собеседница обязана ее слушать, сейчас время ее признаний. Кроме того, если хочешь, чтобы тебе отвечали серьезно, надо и самой говорить с полной ответственностью. Как ни возвышенны высказываемые ею мысли, писательница знала, что, хотя и неотчетливо, они пробороздили мозг Насти и она их понимает. А если не понимает, то чувствует. И во всяком случае, начинает ей доверять.

— Совершенно случайно,— продолжала писательница,— я услыхала вашу историю, как вы ушли из дому. И вот мне хотелось бы услыхать от вас самой — как и почему? Ведь там, дома, вам жилось спокойнее, вы были сыты и почти без забот о разных мелочах. Когда-нибудь, когда вы будете старой, вы поймете, что именно так называемое «праздное любопытство» есть святое проявление участия к людям. И поэтому, если даже сейчас и думаете о праздном любопытстве, потом оцените его иначе, чем вам захотелось с первого побуждения.

Произнося свои тирады, она скашивала глаза на девушку. Та, вероятно, и не подозревала, что на свете могут существовать такие многоречивые, обходительные, умные и путаные старухи, и потому — в силу несходства со своим обычным окружением — становилась спокойнее. Ей уже казалось, что старухе можно поверять мысли, как бумаге,— так далека речь писательницы от того круга жизни, в котором могут быть какие бы то ни было последствия. Настя проявила даже любопытство, исподлобья взглядывая на писательницу без первоначальной настороженности.

— Мне захотелось узнать — как это молодые девушки порывают с родителями? Разве вам плохо жилось в родительском доме?

Говоря это, писательница сразу заметила, что вопрос снова сбросил ее с завоеванных позиций, ее плосколицая спутница опять подозревает некий корыстный интерес.

— А что, жаловалась я кому?— грубо спросила Настя.

— Да я не про то... Как мне объяснить расположение к вам... Я уже заранее, не видя вас, относилась к вам хоро-

шо. Не жалела, нет, не подумайте так. А просто вы мне понравились своей... ну смелостью, что ли...

Писательница взяла девушку за руку. Рука была увесистая, холодная, влажная и дрожала.

«Нет, не могу сговориться... Ведь это некультурность — подозрительность, ожидание от другого человека вреда, потому что сам мало и плохо защищен».

Она поигрывала безвольно-тяжелой рукой, чуть-чуть подкидывая ее. Рука не пыталась освободиться. Обе молчали, сообщаясь движением и взаимным теплом.

Так они шли центром города с избитыми мостовыми, с памятниками героев и вождей, имена которых носили площади и улицы. Вывески оповещали население о товарах, которые могли бы быть в магазинах, если бы их не расхватывали в самый час появления. И все же по случаю выходного дня покупатели совершали обход темных, прохладных лавок. Но писательнице и Насте было не до толкотни на праздничных улицах. Они с радостью углубились в переулки, проходные дворы, и через короткий срок им предстали балки, косогоры, мазанки под черепичными крышами, похожие на разросшийся бурьян сады — неповторимый уют южной слободы, яблочно-вишенно-мальвовый рай со вкусом густой наливки и дынным ароматом. Героический степной горизонт то и дело прорывался сквозь строения и плетни, и тогда оттуда шибало такой веселой дичью, из которой и теперь можно наплести кучу былей и небылиц о том, как пляшет здесь вприсядку солнце, или ветер врет ребятишкам про три короба разных разностей, или месяц вплетается гребнем в волосы красавиц и серебрит мохнатые от камышей пруды, которые, на прозаический взгляд, напоминают натекшие от грязных тряпок лужи.

— Чем она привлекла вас, эта Маруся?

Настя ответила точно и подробно, словно много раз твердила сама себе ответ на этот вопрос. Она пыталась давать себе отчет в своих поступках, и если заблуждалась, то лишь оттого, что иная ясность — запутаннее и темнее, нежели самое безотчетное отдавание себя обстоятельствам.

— Маруся веселая и легкая,— сказала Настя.— Всегда как в теплой воде плавает. Я ведь знаю, что про нее говорят... развратная, мол. И верно, разве она кого стесняется! А меня так иной раз и за человека не считает, не то что за постороннего. Я и злюсь на нее, и любуюсь, как на рыбку.

И всем она мне прелестна. (Девушка употребила старинный оборот, и писательница сразу поняла, как глубоко сидит в ней чувство к сожительнице.) И все у нее чисто выходит, без грязи, как у других. Потому что она зла не знает и не ищет ни на ком. И вообще добра: попроси у нее в хороший час — рубашку отдаст, юбку снимет. Только попроси.

Писательница взглянула на Настины босые ноги и вспомнила, как обута Маруся.

— Ну, вы-то, видимо, у нее не просите!

— Разве придет ко мне думка у Маруси просить!

Настя рассмеялась удивленным, длинным смехом. Смеялась она долго, как те странные невеселые люди, которые хохочут в неожиданных и даже неудобных случаях, отталкивая от себя смехом сложное житейское положение или тяжелое чувство.

— Вы не думайте, что мне легко. Мне трудно живется,— сказала она резко.— Только я скуки боюсь. Как подумаю: вот явлюсь я в родительский дом, а там хмурые, строгие... Может, и не взыщут, только просто посмотрят... А мне легче, если бы взыскали.

— Вы себя верно понимаете, Настя.

— Так все во мне и сожмется... Лучше уж я брюхо подтяну, загоню что попало на базаре, коли уж очень пожрать захочется!

«Да, перетянул товарищ Павлушин!» — подумала писательница.

— Что вы на меня так жалостно смотрите? Нечего меня жалеть. Тихая я, да крепкая. Вот голая хожу... Так ведь это я Петьке все отдала. Проиграется в карты, растранжирит все где-нибудь с ребятами, ну и идет ко мне. Я ему и шубу, и туфли... и белья сколько поотдавала. А он их на барахолке загоняет, на одного себя. Что поделаешь, не могу отказывать! Отдавать — это просто радость моя. Ведь нам всегда во всем отказывают, а я воли хочу. И брат хочет. Ему-то еще нужней.

— Какая же это воля, Настя? Вы сейчас больше связаны, чем живя под опекой дома. На босу ногу, знаете ли, трудней идти по жизненной дороге, чем в хорошей обуви.

Настя промолчала. Но с такой злобой исподлобья посмотрела на старуху, какую трудно было даже подозревать в этой юной и, казалось бы, простой душе. Однако писательница уже успела в своей жизни хорошо подумать и над со-

бой, и над другими, чтобы хоть в самых начатках постигнуть науку озлобления.

— Иной раз отдам Петьке очень нужную вещь, знаю, что зря, на гибель, и сразу захочется вслед побежать, зубами назад вырвать. Ведь это Пашета ко мне его посылает. Только рассказать, какая зараза!.. Сижу, за кровать нарочно держусь, разговором себя развлекаю, не то сорвусь... побегу за ним.

«Да... вот, значит, ты какая»,— мысленно протянула писательница.

В порыве удивления ей даже почудилось, что она произнесла эту фразу вслух и сейчас последует какая-то реплика девушки. Но Настя по-прежнему уверенно и тупо шлепала рядом босыми ногами по пыли и камням мостовой.

— Куда же мы с вами идем? — спросила писательница.

— Вы ж меня гулять позвали, мы разговорились... Хотите, я брата вам покажу? Вы ничего про него не знаете?

— Я его видела.

Коротко, взвешивая каждое слово, писательница рассказала про встречу с Петей, а также про знакомство с Павлушиным — ровно в тех границах, чтобы Настя не испугалась и не замкнулась. Нельзя было понять, как относится Настя к рассказу. В общем она слушала не прерывая и в общем приняла все сказанное как нечто обычное и должное.

Вот они миновали и сердце слободы. В этих местах разраставшийся во все стороны город захватывал новые пространства — пока, правда, только свалками, большими садами, пустырями, среди которых неожиданно возникали и так же неожиданно кончались кварталы мазанок. Иногда попадались тут кирпичные тротуары, улицы были широки, углы правильны — видно, что здесь прошелся планировщик. Но порой отрывавшиеся от какой-нибудь кучи тонкие, ядовитые струи испарений примешивались к дыханию садов и степи, отчего воздух начинал казаться как бы слегка жаренным на кизяке в печах рачительных хозяек.

— Вон от той аптеки нам придется свернуть влево,— сказала Настя.

Аптека занимала угольную хату. Миновав ее, они вступили в более оживленный квартал.

— Эй, Настя! — крикнул кто-то сзади.

Обе вздрогнули.

— А, чтоб тебя! Ященко это,— бросила, не оглядываясь,

Настя, намереваясь пройти дальше. Но крик послышался снова.

У калитки, которую они только что миновали, стоял калькулятор утильцеха. Он стоял в какой-то изысканной позе, облокотившись на косяк и подперев голову, будто ждал здесь уже целый час. На нем были надеты аккуратный серый пиджачок и короткие белые брючки.

Ощущение манерности, которое вызывал в ней неизменно этот человек, с такой силой охватило писательницу, что она еле кивнула на его почтительный поклон. Он был изжелта-бледен, прилизан, улыбался беспричинно болезненной улыбкой, отчего еще жалобнее бросалось в глаза плаксивое, всегда ему свойственное выражение лица, постоянно, казалось, томившая его тоска. Маленькие черные глазки, мелкие на мелком лице, неподвижно и сосредоточенно были устремлены в пространство. Ященко был плохой работник, неуживчивый, тяжелый, скучный человек. От его несравнимой обидчивости и оттого, что он мгновенно прятал обиду далеко и, видимо, надолго, обидевшему также становилось не по себе. С ним старались не связываться, даже не разговаривали без нужды. Писательница не всегда замечала его в конторе. Кроме досады, что он мешает ее беседе то с Павлушиным, то с Сердюком, то с Досекиным, как, например, вчера, этот тусклый молодой человек не трогал в ней никаких струн. Писательница с неожиданной для себя досадой замечала, что калькулятор отличается противным безразличием к жизни и работе цеха использования отходов, и осуждала Павлушина, что тот слишком мягкосердечен и не уволил его при первом же сокращении штатов. К калькулятору было даже странно обратиться с каким-нибудь серьезным разговором о производстве, о заводе — так явно был он далек от всего. И тут не было каких-либо черт продуманного противоборства, несогласья, «классового сопротивления». Нет, над ним просто тяготело беспросветное уединение. Каждый с двух слов понимал, что это за человек, и отступал, предоставляя ему жевать те скудные клоки впечатлений, которые должны ж таки попадать даже в его затуманенное внимание. Но если бы про него стало известно, что он лунатик, по ночам разгуливает в одних трусах по коньку крыши, или что в нем развился пышный коллекционер марок, скопивший мировое собрание, или что он истязает престарелую тетку, с которой проживает в уединенном домике на Затин-

ной улице, знавшие калькулятора не только не удивились бы, но принялись бы по крохам, по еле заметным примесям к его обычному обращению составлять этот новый образ — лунатика, коллекционера, истязателя. Но молва покуда оставляла его в покое.

Калькулятор отвел Настю довольно далеко в сторону, к колодцу с журавлем. Он наступал на нее, но она неподвижно держалась на месте. Он многоречиво что-то объяснял ей, делая рукой жест, будто вколачивал гвоздь. Девушка отвечала лишь бурными знаками отрицания, всплескивала руками, мотала головой. Писательница с неудовольствием и появившейся в ней в связи со старостью и недавними литературными неприятностями подозрительностью, что ею пренебрегают, ждала окончания таинственных препирательств между Настей и калькулятором.

Калькулятор и Настя спорили все громче, забыв, что они на улице. У калькулятора оказался высокий, несколько визгливый голос, резкий и глухой одновременно,— металлический, мембранный.

— Ты покрываешь ее! Все ее шашни! — кричал он.— Сама не решаешься, а в душе такая же, потому и покрываешь. А я все равно все знаю. А чего не знаю, носом чую. Меня не проведешь.

— Ну, а коли знаешь, так чего пристаешь? Ты ведь около нас день и ночь мотаешься. Тебя, как таракана, раздавить не жалко. Никогда я таких людей не видывала. Какое у тебя право ее мучить, меня терзать? Надоел, так и сиди да помалкивай.

Настя теперь, не отставая от собеседника, тоже кричала, как бы призывая писательницу в свидетельницы.

«Ого, умеет ненавидеть!» — подумала та.

Ее всегда удивляли сильные движения души, такие, как ненависть, злоба до крови, стремление обогатиться хотя бы путем преступления — словом, все, что связывалось у ней в уме с печатной хроникой происшествий или художественным вымыслом, а не с окружавшей ее действительностью.

Калькулятор вновь возвысил свой мембранный голос:

— Ты уж и не знаю до чего подчинилась ей! Как прислуга, приказаний ждешь. А все подлость и любопытство. Живешь при ней, чуть шелестишь, чтобы не обеспокоить, чтобы поменьше обращали внимания...

— Молчи, черт! — крикнула Настя.

— Молчать? Я и так молчу. Слишком много молчу, может плохо кончиться. Да разве я тебя не понимаю? Сам бы рад смотреть в ее беспутные глаза... Горят они, словно их дьявол накалил...

У него от волнения путалась речь, он даже начал шепелявить.

— Прощаешь, как она тобой пренебрегает и за ничто считает, того гляди, толстые ноги ей начнешь целовать!.. Таких, как ты, презирать нужно!

— Это ты их целовал, про себя плетешь. На меня валить нечего,— холодно возразила Настя.

Давно приблизившаяся к ним и откровенно слушавшая их разговор писательница удивилась ледяному тону Насти не меньше, чем сам калькулятор. А тот вскинул руку, как бы готовясь нанести удар, да так и оцепенел. Потом рука упала, как плеть, он весь съежился.

— Недурно пущено в трактире Гущина!— сказал он и неожиданно издал короткий рев, тут же перешедший в два-три смешка.

С тем он и пошел домой. Таким манером он оберегал свой внутренний мир, наполненный, как ему казалось, тайниками и тайнами. Вся радость его жизни заключалась в том, чтобы набрасывать на это свое бытие глубокую загадочность. А разговор с девчонкой слишком много осветил для нее. К тому же он обнаружил, что около прохаживалась газетная сотрудница, про которую он совершенно забыл.

— Подслушиваете?— поравнявшись с писательницей, слабо и яростно прошипел калькулятор, словно в механизме, двигавшем мембрану его голоса, истощился завод, его хватило только на шипение последней досады.

Он как-то вприпрыжку побежал назад, к калитке, из которой так неожиданно появился.

Женщины быстро пошли дальше, будто опасаясь, что он может их догнать, и с недобрым намерением.

— Совсем чертов псих,— сказала Настя.— Считала его за нормального, а он, ей-богу, окончательно свихнулся. И всем надоел: Сердюк папаше на него жаловался, Марусю все в казарме за него засмеяли. И мне надоел. Я, когда он к Марусе приходил, сразу смывалась, видеть его не могу. Сидит, сопит... И ко всему: «Ты меня разлюбила». А как такого не разлюбить? Теперь вот грозится: «Либо себя, либо

ее порешу». Из-за Мишки, конечно. Он женщину по рукам-ногам готов связать, чтобы властвовать над ней. Слушай его, а он тебе всякие свои проповеди будет читать.

Трудно было понять, уклоняется ли Настя от объяснений или не в состоянии объяснить, что говорил ей калькулятор. Но она была подавлена, видимо, верила в его угрозы.

— Он уж бросался как-то на нее с ножом, да потом сам упал на колени, плакал. А я ей твержу, чтобы она с ним все прикончила.

— Неужели Маруся продолжает отношения с этим чудаком?

Настя не ответила. Спор с Ященко не то истощил ее, не то привел в состояние настороженности. Она еле-еле шевелила губами, и эти неясные звуки можно было с одинаковым правом истолковать и как утверждение и как отрицание. Несколько минут тому назад гневное и страстное, лицо ее снова превратилось в плоский лик.

Они миновали слободу и вышли в Нахаловку. По косогору огромной балки с естественной покорностью природе — уступами, как кавказские сакли,— расположились ящики самодельных домов. Здесь упорядоченность города прекратилась. Тут не разбивали участков. Среди бурьянов все эти террасы и ящики были воздвигнуты индивидуальными усилиями «царя мироздания». Царь за свой страх и риск собирал обломки досок, фанеры, бревен, осколки стекла, куски листового железа, ржавые гвозди и, прибавляя глину и солому, склеивал из всего этого логово, сверхчеловеческими усилиями сколачивал клетку, в которой едва-едва мог поместиться. У иных площадка перед домом была утоптана, на двух-трех колышках торчали горшки и чугунки. Некоторые отделили крохотные палисады, и там цвели поздние подсолнухи, и мальвы, и еще какие-то ярко-алые цветы. Но эти домохозяева, видимо, обладали силой и выносливостью полубогов. Таких было немного. Жители обычной человеческой слабосильности ограничивались четырьмя или даже тремя — если лачуга примыкала к косогору — стенками, слегка покатой плоской крышей, тесовой неструганой дверью. Какая-то хозяйка поставила перед дверью фикус в кадке — украшение, свидетельствовавшее об ожесточенной претензиями нищете. Писательница взглянула на фикус и решила: «Бывшие люди». Жирный фикус кричал о каких-

то чувствах, которые не желали истлеть. Писательница смотрела на него с ужасом.

Здесь, «в царстве свободной личности и вольного хозяйствования», можно было в любой час дня и ночи достать водку, тут играли в карты. В одной хибарке даже сохранялась рулетка, которую выносили в город и ближайшие села на базары. Тут укрывались воры, проститутки. Тут на одной квадратной сажени было больше преступных тайн и таинственности, чем в нескольких кварталах любой из наших столиц. Не знай всего этого писательница, ее сердце рвалось бы от жалости. А сейчас она разбирала с пригорка эту азбуку экономики, сложенную из кубиков. Ноги ей обнюхала шелудивая рыжая собака. Забыв страх, писательница пнула ее изо всех сил ногой, и та с визгом отбежала.

Настя заявила, что дальше спускаться не будет, и объяснила, как пройти к Пашете. Писательница сразу вспомнила, что в Нахаловке живут головорезы и хулиганы, и начала упрашивать Настю идти вместе. Она уговаривала девушку, однако Настя, как всегда в случаях, когда ей надо сопротивляться, замкнулась и вполне потеряла дар речи.

Равнодушная и молчаливая девица удалилась, раскидывая вправо и влево босые ноги. Писательница одна пошла по уклону, вдоль глиняной убитой стежки.

XI

Целью ее пути был уединенный ящик, стоявший в сторонке внизу. Перед ним висели на веревке рябая от пересушенности, сливочного цвета бязевая простыня и носильное белье загадочных форм и странных размеров, белье бедняков. Здесь гулял ветер, разнося запахи жилого и гнилья.

Писательница храбро рассекала эти тяжкие веяния, которые становились тошнотворными, едва ветер приносил и примешивал к ним свежий запах осенней степи — сухую пыль, увядание и медленное сгорание под солнцем трав, целительную лекарственность безграничного растительного пространства.

Пробираясь по косогорам, писательница прикидывала, а иногда даже шептала вступление, развитие и заключение диалога с молодым Павлушиным. Верная своей теории люб-

ви, она, говоря по правде, спешно взращивала и натягивала симпатию к нему. Сначала он являлся ей неким отвлеченным человеческим несчастьем, сочувствовать которому ее учили столько книг и размышлений и сочувствовать которому, не составляло труда. Дочь Павлушина возбудила пока лишь жалость пополам с оскоминой от усилий разжевать эту вязкую психику. Разговор с Настей напоминал искусственную беседу без внутренней в ней необходимости. Разговаривать с девицей было чрезвычайно тяжело. А тут предстояло столкнуться с молодым человеком. В противовес сестре, унаследовавшей от забитых предков подозрительную осторожность, болезненную осмотрительность, переходящую по малорослости ее души в несмелость, юный Павлушин, если судить по внешности, должен предъявить озорство, претензию, буйство. Писательница потрухивала и искала сил в некой отвлеченной выкладке. Она предположила, что характер Павлушина расщепился в детях — на дочь и сына. Смесь же, существовавшая в ее художественном умозрении, должна быть прекрасна. Конфликт разметал семью Павлушина, но не разложил его личность. Взрывчатой силой семейной вражды была, вероятно, Настя. Но, к сожалению, она так и не разоткровенничалась относительно различных влияний на нее. А без этих влияний — без настойчивого притягивания (Маруся?), без отталкивания (мачеха?), без некоего вольнодумного брожения (брат или еще кто?) — никогда плоская, несмелая девица не высунула бы носа на сквозняк самостоятельного существования. Что же это за странная семья, из которой могут выходить молодые люди вроде этого одутловатого жителя асфальтового котла, Петра Павлушина, представшего перед ней после чудесного спасения из-под паровоза и грузовика? Относись она к Павлушину-отцу равнодушно и незаинтересованно, все ее внимание было бы сосредоточено на том, какие причины породили распад. А теперь она искала способ взять за руку юношу и привести его в отчий дом, чтобы насладиться счастьем восторга от этого своего поступка и скрывать этот восторг. «Может быть, это старость — уметь тайно радоваться человеческому источнику своих поступков, испытывать безграничную приверженность бабки к милому драматизму молодости, которая не скоро поймет, как смешны ее печали и горести перед великой печалью угасания?..»

Переполненная до краев противоречивыми чувствами

писательница прохаживалась по жаре среди бурьянов и лачуг. Удаляясь от хижины Пашеты, она накалялась решимостью идти и разгадать загадку Петра, а возвращаясь, думала: «Притягательная, но вполне бесплодная идейка хотя бы со стороны пересечь путь Павлушина-отца». Писательница уже начинала внутренне бороться с этой идейкой, безотчетное подчинение ей испарялось. Столкновение с плотью павлушинских несчастий ничем ее не обогатило, принеся лишь новые узлы путаницы, усталости и недоумений.

Она вновь очутилась возле обрыва, где кончалась стежка и деревянная Нахаловка. В обрыве были вырыты пещеры, землянки с дерновыми крышами. Писательница повернула обратно, к Пашете. Итак, она скажет Петру:

«Я хочу понять — почему вы расстались с семьей? Почему нашли более приятным бросить приличную работу и валяться на полу в грязной конуре? Разбить свою жизнь и принести столько горя близким? Что вам надо, чтобы вернуться к прежней жизни? Что вас влечет сюда и что мешает там?»

Не глупо ли все, что она придумала?.. Но взвешивать уже было некогда. Дверь хибарки раскрылась, из нее вылез блудный сын в полосатой майке. Он прищурился на небо и натянул свой светло-голубой пиджак. Писательница остановилась.

— Новое дело! — сказал Петр.— Здравствуйте! Ко мне? Вижу, ко мне. Мне уж донесли, что вы меня тут с Насткой ищете. С утра посетители, прямо как к доктору. Наверно, желаете поговорить, на истинный путь наставить? Где желаете — здесь, на свежем воздухе, или заберетесь в наш шалаш? Секретно поговорить под крышей, конечно, лучше, но загляните: .темно, смрадно, мебели — одна сухая трава, письменного стола не имеется, а диван вывезли. А впрочем, пожалуйте.

Противная зрелость и самоуверенность молодого человека мгновенно разбили вступление, развитие и заключение задуманной беседы. Однако писательница не растерялась; придумывая встречу, она воображала ее страшнее.

— Неужели родитель смикитил послать ко мне такую интеллигентную старушку, чтобы она взяла меня под ручку и, даже на завод не заходя, повела домой? Кажется, это называется «надзирательница»?

— Надзирательницы бывают в тюрьме. Гувернантка — хотите вы сказать...

— Ну, до тюрьмы еще далеко... Значит, сами прибрели? Сговорились с этой босячкой Настей и пожаловали? Мерси. Наболтали, назвонили про меня, скоро за деньги стану себя показывать. Авось в день на пол-литра сколочу, у станка-то за него как руки намотаешь!

Во время всей этой болтовни он шел впереди писательницы, уводя ее от своей хижины поближе к землянкам и пещерам, за которыми, сразу с косогора балки, начиналась, как море, бурьянная дичь степи, вызывающая, как то же море, как белое шоссе, чувство отрывания от места, на котором стоишь, от уклада, который создал сам, и он приковал тебя. Словом, тебя влечет к уходу, к перемене, движению, к заселению нового пространства. Но покамест Петр привел писательницу на какие-то задворки.

— Вот тут, если хотите, можно на кочечку сесть, а я покурю. Вы меня, конечно, угостите?

— У меня нечем, я не курю.

Писательница сказала это с таким смущением, словно ее сию же минуту могут заподозрить в скряжничестве.

— Жалко. Раз идете в гости к такому человеку, надо обо всем позаботиться. А если я без папиросы и разговаривать не стану,— зря, значит, тащились в этакий конец? Не расчет. У нас здесь всегда так: то хоть завались всего, то ни фига. Когда «завались», мы между собой времечко проводим, развлекаемся, ну, а «недостаток» — можем выступать по требованию почтеннейшей публики. Платите и заказывайте.

— Я могу дать денег, достаньте себе папиросы... Или в город пойдемте.

— В город — это махом. Можно здесь, три рубля коробка «Пушки». В ларьке, конечно, дешевле, зато у нас вольная торговля круглые сутки. Хоть и без налогов, однако предприятие рискует, потому и подороже. Может, вам еще кого привести? У нас ребята ежики, гоп со смыком. Ну, ну... Вижу — никто, кроме меня... Я сейчас.

Он сбежал вниз, на следующий уступ, где торчали гончарные и самоварные трубы, увенчивающие кровли нижних ящиков для жилья.

Писательница собралась с мыслями. Все их разрозненное трепетание неожиданно для нее самой слилось в одно: это-

го ребенка надо пожалеть. Вот куда надо просовывать щупальца сочувствия, вот где живая толща живого. Этот смущенный и наглый юноша с наспех усвоенными повадками падшего и преступного, по местному наименованию — блатного,— человек. Он жалок, смятен. И готов хоть умереть за свою ложную свободу — но только сейчас, сию минуту, на глазах у тех, с кем он спорит, а не в тишине, не в темноте, не наедине с собой. Без твердого убеждения, но увлечен. Пошатнулся, а потому непреклонен. Вероятно, последнее упрямство.

Все это писательница прикидывала, пока его не было. Но лишь только через несколько минут он явился с толстой, едва закуренной, но уже изжеванной папиросой, словоохотливый, но взвешивающий каждую фразу,— уверенность в том, что его можно жалеть, любить, понимать, снова поколебалась в ней. Конечно, ей было давно известно, что любой юноша некоторое время переживает полосу скрытой и скрываемой неуверенности, которая лишь продолжает отроческое свержение авторитетов, начиная от таблицы умножения и кончая родным отцом. Неуверенность происходит, вероятно, оттого, что молодой человек, очутившись один на один со всей сложностью мира, стоит перед ним в сознании собственной беспомощности, прикрывая ее плохой хитростью и манерностью. Писательница не раз наблюдала такое щегольское смятение, знала ему цену и в данном случае с первого взгляда узнала его. И все же, вместо жалости, ее наполняла какая-то тревога. Кроме того, подобно отцу, когда тот не желал давать сведений, которые он придерживал в недрах цеха, Петр выбил у нее почин в ведении разговора. Но старший Павлушин делал это спокойно и с достоинством, не скрывая расчета, но и не подчеркивая его из вежливости, из деликатного отношения к самолюбию собеседника. Молодой же еще не справлялся со своими положительными качествами; его развязность слишком уж била в глаза. Она закурил, пышно дымя, вторую папиросу и, жуя толстый мундштук, признался:

— Не поверите... Кому ни рассказывал, все только зубы скалят, и вы вот не поверите... А как-то проснулся утром, когда еще дома жил,— надо вставать, а я штаны не могу надеть. То есть могу, конечно, я не калека... Только меня такая скука взяла, сказать нельзя. Руку поднять лень. «Как, думаю, это что же? Каждый день утром одеваться, вечером

раздеваться, и так одно и то же всю жизнь? Вот еще шарманка!» Скука в меня влилась как отрава. Не подумайте, что с похмелья. Я знаю — так тоже бывает... Но вообще-то я про водку, пожалуй, больше языком треплю, а пить ее вкуса не имею... Не с похмелья, а попросту вдруг надоело не говорю уж мыться, сапоги чистить, но даже на работу ходить. Туда придешь, обратно уйдешь... На работе я, конечно, про это забывал. А вот ходить туда-сюда не могу, рвет с тоски. Ну что это такое? Почему? Тогда я и сказать об этом кому-нибудь стыдился. Да и кому скажешь? Папаше? Если время у него свободное, он начнет рассуждать и больше себя слушать, а в самого меня особо не вникнет. Я ведь его хорошо знаю. У себя в цеху он каждого чуть не оближет да обнюхает, знает, кто чем дышит, а в семье, со мной, с Настей... так, походя. Ну, скажет пару слов, по плечу потреплет... и все наставления читает. Иной раз лучше бы ударил, в зубы дал хорошенько, так нет, ведь он добрый! Ну добротой и уходил нас всех. Я ведь его и сейчас уважаю. Что мне он,— не боюсь, не подсучиваюсь, правду говорю. Но наставления его слушать... Не-ет! Махом!.. Мне что-то другое каждый день нужно! Новое что-то, даже сам не пойму что, а только чтобы на вчерашнее не похоже. Что ли, солнце чтобы с запада встало или не смеркалось, день двое суток тянулся. Понятно?

— Понимаю... Отлично понимаю,— удивляясь себе, подтвердила писательница.

Петр тоже удивился.

— А не врете?.. Впрочем, все может быть. На свете, как я думаю, все бывает. Вон моя сестрица еще до меня из дому сбежала. А ведь тихоня, прямо масло постное — все выльется, а не услышишь. Только как же это вы смогли до таких лет дожить, если вроде этого скучаете?

— А почему, как вы говорите, сбежала Настя?

— Поди добейся у нее! Вы с ней из города небось часа полтора шли — а много она вам рассказала? Сопит и сопит... Я ее знаю. А что у нее в черепке — сам черт не разберет. Я-то, положим, могу докопаться. Я ведь, если мне надобно, могу все сделать, всего добьюсь. Коли захочу, ни в чем себе не перечу. Зачем? Я вот и Настю знаю, а кто другой, хоть ему и семьдесят лет (писательница поморщилась), в шарик к ней не залезет. А может, у моей сестрицы и нет ничего? Одна бессознательность?.. Скорей всего, бессознательность

и глупость, как у всякой девчонки. Несет ее и несет... А она даже не барахтается, потому что ни фига не сознает. Верно?

— Вы же только что сказали, что лучше всех в ней разобрались. В таком случае вам и книги в руки — решать, верно это или неверно. Но раз вы соблаговолили справиться у меня, могу ответить: нет, не верно.

Мальчишка ее раздражал. В его вольничанье все же веял тот же дух, который заставляет вглядываться в широкий кругозор и ждать таинственного всадника или тосковать при виде уходящего поезда. Мальчишка жил весь в движении, стремился по своей прихоти — хотя бы в том условном понимании, когда мы говорим о вольном полете птицы, которая гонится за мухой или меняет место зимовки, подчиняясь в сущности грубейшей необходимости. Писательница не сразу отделила какую-то тень зависти к осуществленным капризам этой пусть уродливой, но все-таки реальной молодости от справедливого негодования перед его почти покровительственным тоном и распущенной позой. В ней складывалось простое, как ей казалось, раздражение против своей собственной затеи.

А Петр лежал, распластавшись крестом на откосе, между майкой и поясом штанов белела яркая полоска живота. Он так поглядывал в небо, словно оно было его единственным собеседником, причем способом сообщения служил дым толстой папиросы с изжеванным мундштуком. Но писательница не могла остановиться.

— В том-то и дело, что вы не можете пожелать для себя ничего разумного. Вам приятно доказать отцу, что вы можете просуществовать не только без него, но и без работы, о которой он вам постоянно твердит. А кроме того: «Смотрите, мол, до чего все обо мне заботятся! Я удалился и стал издали центром внимания. Можно сказать, занял первый ряд!..» Но ведь все это потому, что на первый ряд у нас недостает ни силы, ни терпения. Мы, видите ли, имеем только необъяснимые неудовольствия, нам, например, надоело одеваться и раздеваться! Всем не надоедает, а нам надоело. Так вот мы взяли наш лучший костюм, брючонки загнали на рынке, а пиджак загваздали так, что на него страшно взглянуть. Особенно тому, кто дал на этот пиджак свои деньги, то есть труд и заботу. А нам приятно: лишнее внимание! Пусть помучатся за нас, пусть даже бранят, проклинают...

Зато неустанно думают: «Мы в первом ряду расселись».

Писательница сама несколько устыдилась грубой приблизительности своей тирады, которая так же далеко отстояла от действительного положения вещей и всей неразберихи, как диктанты из элементарной грамматики, которые мы писали, сидя на школьной скамье. Но они, при всей своей непритязательности на смысл, формировали нас больше, чем путь самого тонкого раскрытия юношеских тревог, на которое мы тогда претендовали, исповедуясь перед наиболее чуткими педагогами. Только опытный учитель мягкой рукой опытности отстраняя назойливую откровенность, умел растить юные умы упражнением в грамотности. Писательница же, привыкшая к погоне за сложностью, прибегла к своей благоразумной тираде непроизвольно; ей казалось, что произнес ее какой-то ее второсортный двойник. Каково же было ее изумление, когда она увидела действие своих слов! Еще во время этой речи Петя сдвинул руки и ноги, потом сел, потом выплюнул папиросу. По этим внешним знакам писательница могла бы отметить, как звук за звуком внедряется в открытое внимание юноши ее внушение. К слову сказать, она вообще-то хорошо умела говорить публично, с педагогической простотой. Ей только трудно было эту простоту обрести с глазу на глаз с молодым человеком, и лишь обстоятельства, вопреки ее намерениям, вызвали ее. Писательнице не раз выпадала короткая, обаятельная власть над толпой слушателей, когда тишина в зале как бы загустевает и наполняется токами взаимного понимания, причем она чувствовала эти токи с физической ощутимостью — как шелест дыханий, тихое шевеление тел. Не раз овладевала она непокорным собеседником и в деловом или личном разговоре, прекрасно распределяя запас самоуверенности, которым следовало орудовать, чтобы внушить собеседнику желаемое. Но в данном случае это был не расчет, а удача. И она уже торжествовала, мысленно ведя блудного сына к измученному отцу. Вот он идет позади нее, понурый, счастливый... На носу у него капли пота, он некрасив, но прекрасен на взгляд и тех, кто его ждет, и той, которая его привела.

— Коротка победа! — разглагольствовала она. — Сегодня вы центр внимания, а через два месяца — зажившая рана, шрам, о котором стараются поменьше думать.

Она описала юноше, как люди мирятся с утратами, как

благодетельная память мелким песком ежедневных впечатлений затягивает глубокую пропасть потери.

— Ну, завела!..— прервал ее Петр.— Что вы мне рассказываете, я лучше вас обдумал! Да это не важно, обдумал или не обдумал. Главное — мне так желательно! Поняли? Такой уж у меня характер: чего пожелал, то и исполнилось. Шкуру надо за это отдать? Отдам, не задумаюсь. Сам скулить не стану, да и других не послушаюсь. Вы вот, видать, умная, жарите как по книжке... А того не обмозговали: человек желает!

— Смотрите, какой небожитель!

Тут он встал.

— Небожитель!..— сердито возглашала писательница.— Всего неделю из дому — и уже босяк. Прямо из Горького. Или, как нынче поют, «с одесского кичмана»... Я хочу посмотреть, как вы живете в своей конуре.

— Пропуска не требуется. Топайте за мной.

Петя рванул утлую дверь, и они вошли. Зеленый полумрак залил глаза. Однако в такой маленькой кубатуре трудно было заблудиться, писательница сразу натолкнулась на табурет и села у врытого в землю стола. Петр повалился в угол, на покрытую половиком кучу соломы или тряпья. Свет, как в чулане, проникал лишь сквозь маленькое оконце. Чтобы рассмотреть и запомнить обстановку, писательница попросила разрешения и открыла дверь настежь. Нищета здесь, как, впрочем, и везде, не содержала никаких живописных подробностей. Грязные, неструганые доски стен лаконично утверждали это. Но над головой Петра висел небольшой дешевый коврик болотного цвета с неопределенным орнаментом, весь смысл которого заключался в простоте выработки, доступной даже для нехитрых российских фабрик довоенного времени, когда такими изделиями заваливали всю страну.

Хозяин понял удивление гостьи и сказал:

— Все, что у нее осталось... У женщины, которая сдает мне... ну, у которой я живу. Вам Настька небось натрепала про Пашету?— Впервые за все время разговора он по-настоящему смутился.— Ничего не осталось у нее от старого времени. Зато она скорее с голоду сдохнет, чем загонит ковер. Он дорогой?

— Нет, конечно. А как же вы будете тут жить зимой?

Петр промолчал. Этот вопрос поднял в нем куда больше

сомнений, нежели длинные рассуждения. Писательница чутьем поняла значительность его молчания. Она сидела на своем табурете, облокотившись на стол, составленный из двух тесовин, которые были наглухо прибиты к стене и опирались на довольно толстый, врытый в землю кол. Она напрягла все внимание и память, чтобы вести себя безошибочно, внутренне собрала себя для одного дела,— как костоправ, занятый выправлением тяжелого вывиха. Не обдуманные заранее слова, оказывается, достигали цели скорее. Так и простой вопрос о зиме сразу открыл юноше, что в опыте многих и многих людей уже давно нет допущения возможности жить в морозы в собачьем ящике. И Петя понял, как с каждым часом увеличивается расстояние между ним и теми людьми, от которых пришла эта странная старуха.

— Знаете,— сказала писательница,— я почти уверена, что самое большее через две недели забуду эту конуру. Мне даже хотелось бы ее запомнить, но она испарится из памяти, как дурной сон... Что за народ тут живет?

— А всякие. Больше, конечно, те, что удирают от коллективизации. Знаете, как сейчас в деревне... Раскулачивают. Так вот, много раскулаченных. Есть и такие, кому предприятие не дает квартиры, летуны. Словом — разный народ.

Перечислял он своих соседей довольно брезгливо. Писательница отнесла это за счет все того же юношеского высокомерия, а между тем в нем звучал более здоровый голос человека, спустившегося сюда добровольно из среды рабочего класса, наделившего его сознанием прав и преимуществ принадлежать к этому классу.

— Жулья тут много, шпаны. Но не беспокойтесь. Я все это презираю. Мне только свобода нравится, что я вот сам с собой... А вы спрашиваете — как зимой? Что ж я, работы зимой не найду? Какой-никакой, но я слесарь.

В прямоугольнике двери возникла дородная, даже могучая женщина, не очень высокая, но очень широкая, с лицом как бы в гагачьем пуху, в мягких, легких и не весьма упругих, посыпанных пудрой подушечках, в черном платье без рукавов. Ее грудь и плечи словно клубились под дешевой и легкой тканью. Руки и ноги без чулок были толстые, белые, еле тронутые розоватым ожогом,— она, вероятно, не часто выходила на солнцепек. Платье было к тому же чересчур коротко — всюду в это время уже носили длинные —

и производило впечатление рубашки. Сухие рыжеватые волосы уже начали выцветать и тускнеть от подернувшей их седины. Они довольно буйно курчавились и казались пережженными крутой завивкой. Женщина быстро и очень внимательно вгляделась в полумрак жилья.

— Приятные гостьи? — певуче, очень тонким голосом спросила она.— К тебе, Петенька? Разрешите в таком случае познакомиться. Полина Михайловна. Очень рада. Хоть и через порог, не поссоримся.

Она подала жесткую, сильную руку и, не отпуская руки писательницы, вошла внутрь.

— Уж извините, что такая теснота. Даже, можно сказать, полный недостаток площади. Лишней мебели не поставишь, нет самого необходимого, к чему я так привыкла. Но таковы уж у нас обстоятельства. Видите, даже сесть лишнему человеку некуда. Да не беспокойтесь, пожалуйста, вы не лишняя. Я тут постою, у двери. Бедность, как говорится, не порок, а большое свинство. Товарищи доведут и не до этого...

— Пашета! — строго оборвал Петр.

— Ну, ну, пожалуйста! Я воздержусь... Никак мы с ним не сходимся в политическом вопросе. Как женщина моего круга, вы можете понять, что лучше нам не начинать обсуждения об этом вопросе, чтобы не было шумных сцен. Впрочем, вы не думайте, шуму у нас не бывает. Живем душа в душу. Такая дружба, полное удовольствие друг от друга... Хотя я и не скрываю — подвержена слабости. Но он такой молодой, такой нежный...

— Пашета!

— Что «Пашета»? Не прерывай, я свое должна сказать. Не совсем понимаю их намерение, однако могу догадаться, что они посетили нас, желая поговорить о чем-то серьезном.

— Да, вы правы. У нас была беседа,— сказала писательница.

— Вот, вот... Мы не маленькие, понимаем. Полюбопытствую только: какая вам прибыль мешаться в чужую жизнь? И уж разрешите также спросить: а не его ли родитель, товарищ Павлушин, направил вас сюда? Как он и других посылает, мальчишек каких-то... Может, он теперь рассчитывает на вполне почтенных старушек?

Как бы ни была язвительна Пашета, ее многословие

давало время приготовиться с ответом. Перед такими-то спорами писательница никогда не отступала.

— Я не осведомлена относительно расчетов товарища Павлушина, да он и не знает, знакома ли я с обстоятельствами его семейной жизни. Я пришла сюда по собственной инициативе.

— Кто же вы такие будете?

— Я писательница из Москвы. О Петре Павлушине услыхала случайно.

— Очень, очень приятно! — воскликнула Пашета и с такой силой выдохнула воздух, что струя ее винного дыхания, оттолкнувшись от противоположной стены, достигла писательницы. — Стало быть, ищете замечательных типов для своих сочинений?.. Скажите какой случай! Всякому лестно показаться перед вами. И вы сейчас глядите на то, что в текущей жизни редко увидите, — действительно рай в шалаше. Я этого молодого человека полюбила. Он на моих глазах рос, а теперь... заполонил мое сердце. Если хотите знать, мы, может, и не живем постоянно совместной жизнью, так сказать, в одной постели...

— Пашета! — в третий раз воззвал Петя.

— Тсс!.. Вы, конечно, можете не верить своим глазам, потому что думаете: раз такая грязная обстановка — значит, и чувства грязные. Но нет. Душа моя совершенно чистая, белая, беспорочная. И какие в ней помыслы, никто никогда не узнает. А если узнает, удивится. Петя, миленький, выйди, погуляй по воздуху. Я хочу быть откровенной, а при тебе считаю неудобным. Нам, женщинам, удобней сговориться вдвоем. Выйди, прошу тебя. Красавчик мой...

Ласковых слов из уст Пашеты при посторонних Петя боялся пуще ругани. Он быстро встал и вышел. Свернув тряпье в углу в довольно высокую горку, Пашета села. Писательница только теперь разглядела, какие у нее глаза. Серые, с желтым ободком вокруг радужной оболочки, они смотрели с мужской наглостью, в резком противоречии с ее податливым, тягучим голосом.

— Я своего мальчика выпроводила не потому, что стесняюсь быть при нем откровенной. Какие же могут у нас быть между собой секреты? Я вам много кое-чего сказала, потому что не считаю нужным что-либо скрывать. Но теперь пришел ваш черед высказать, что имеете.

Как твердо сложилось мнение писательницы об этой

женщине, как разнообразны те аргументы, которые она могла бы привести против неестественного сожительства восемнадцатилетнего юноши с бабищей далеко за сорок, сколько сходных с Пашетой образов возникло в памяти!.. И тем не менее как все это далеко от того ограниченного словами содержания, которое ей предстояло изложить в ответ на длинные объяснения Пашеты. И писательница сказала:

— Долго и много высказываться мне не приходится — настолько, в сущности, просты и обычны ваши обстоятельства. Хотя они вам такими не кажутся. Да, они просты — и, несмотря на это, никак не заслуживают оправдания. И простите, если я выражусь без всяких экивоков: вы, я полагаю, не имеете никакого права увлекать мальчика в вашу страшную жизнь.

— А кто сделал ее страшной, вам известно?

— Во всяком случае, не Петя. Минуточку!.. Я уже много раз слыхала, как жалуются так называемые бывшие люди, вы мне нового ничего не скажете.

— Стало быть, в вас нет жалости?

— Жалость есть. Иначе зачем бы я пришла к Петру Павлушину? Нет уж, пожалуйста, меня не прерывайте!.. С моей точки зрения, жить такой, как вы, с подобным молодым человеком — это не только безжалостно, но хуже. Это бесчеловечно, это разврат.

— Развра-ат? — протянула Пашета. — Раз-врат. Страшное и вкусное слово! А вдруг что похуже? Любовь, например... Да, тогда похуже. Потому что разврат — это так: поиграла и бросила. Мы это тоже можем. Но здесь другое. Я его, своего мальчика, люблю и обожаю. У меня вон и сердце плохое, и почки, опухаю я, о нервах и говорить не приходится... А я его из последних сил лелею и холю, всю душу в него вкладываю. И знаю: раз *этот* со мной, *тот* по ночам глаз не смыкает. Может, плачет, думая о сыне. Как вспомню про это — подойду к Петеньке и поцелую.

Она поднялась с тряпья, подошла к двери, посмотрела на улицу.

— Вон он! Лежит на пригорочке, покуривает, ему и горя мало. А у того кровоточит! Ведь мы не век собираемся жить в таком логове, будь оно вместе с тем Павлушиным трижды и тридцать три раза проклято-распроклято! Нет, хоть и имею я слабости, но характер у меня тоже есть. И сама подымусь, и его подыму. Распрямлюсь. А уж у тех, кто

меня в бараний рог гнул, пусть сердце черной кровью обливается! Мы на их глазах с Петей в гною, в навозе валяемся, но когда наши дела поправятся, на свои ноги встанем, я свое довольство от них напрочь скрою. Уедем куда-нибудь. На Кавказ, к теплому морю. По тех пор нас и видели! Нет, нашим счастьем они не утешатся, как тешились несчастьем!

— Послушайте!— Писательница не нашла в себе сил назвать ее по имени.— Хотите денег? У меня с собой... То есть я могу сегодня же взять в сберкассе около полутора тысяч. Да через несколько дней столько же. Словом — хотите три тысячи?

Пашета молчала.

— Я отдам вам их с рук на руки. Ни одна душа не узнает. Что же вы молчите? Три тысячи помогут вам подняться, куда угодно уехать.

— За что же должна я получить с вас эти деньги?

— Я не знаю ваших отношений с отцом Петра. Но вижу: вы ему за что-то мстите, можно сказать — вредите. Тут уж нет никакой замысловатости. Берите деньги и немедленно уезжайте.

— Значит, одна?

— Одна. Мальчика оставьте в покое.

— Ах, большое, большое вам спасибо!

Пушистое лицо Пашеты побледнело, голос зазвенел.

— Очень вами благодарна! Особливо доверие ваше... Подумать только — босячке, пропитой и пронюханной Пашетке предлагают целое состояние! Да еще на честность, на слово. Как я, дура, в ноги не валюсь за одно обещание трех тысяч! Конечно, в мирное время, не теперешними советскими бумажками, я и повалилась бы, ботиночки ваши целовала бы.

— Бросьте кривляться. Я предлагаю серьезно.

— Ах, вам комедия не нравится? Как угодно. Тогда всерьез. Получайте обратно... Знаете, почтенная, сначала я вам поверила, что вы действительно из Москвы. А теперь вижу: вас ко мне подослали. Ступайте и скажите тому, кто подсылал: душу мою не купить ни за какие бумажки!

— Но, уверяю вас, деньги эти мои собственные. Откуда они могут быть у Павлушина?

— Ваши — все равно ихние. Да чего тут долго толковать! Идите-ка вы!.. Вон!— закричала Пашета.— Вон из моего дома!

Писательница встала и покинула конуру, больше всего опасаясь, как бы не пуститься бегом, словно Пашета в самом деле могла, как собака, вцепиться ей в икру. На визг разозленной бабы из многих дверей показались сонные мужчины и всклокоченные женщины. Сбежались дети, возившиеся где-то на задворках. Петя поднялся со своего излюбленного пригорка и размеренно, вразвалку зашагал к дому. Мельком оглядев все это, писательница спешила поскорей, но с достоинством убраться. Пашета стояла посреди улицы и орала:

— И показываться сюда больше не смей, разлучница!

Услышав ее крик, Петр Павлушин бросил свою балованную развалку и догнал писательницу. Как бы задирая, толкнул ее локтем, преградил дорогу; ей пришлось остановиться.

— Засмеют меня насмерть из-за вас, старых чертовок,— проворчал он в сторону.

Так с минуту стояли они друг против друга, устремив взгляд поверх головы и стараясь улучить момент незаметно заглянуть в лицо, чтобы определить, чего каждому ожидать от другого.

Петр Павлушин явно издевательски зевнул, взял писательницу за старчески мягкие, податливые плечи больше тридцати лет просидевшей за письменным столом женщины, повернул ее лицом к дороге вверх по Нахаловке, к ведущему в город шоссе и — писательница даже не сразу в толк взяла, что с ней,— толкнул ее под зад коленом. Она зашагала без мыслей, как ребенок, с одной лишь болью от оскорбления.

Сзади хохотали, что-то кричали вслед. Все сочувствие, жалость, вообще всякое представление о Петре как о живом существе, могущем думать, страдать, было выжжено в ней. Если бы у нее были силы или оружие, она бы задушила или застрелила его. Но ни сил, ни оружия не было. И она шла без мыслей, вся горя и в то же время не делая ни одного лишнего движения, чтобы не стать еще более смешной.

XII

Уже на подъеме к шоссе писательница встретила — хотя не желала видеть ни людей, ни знаков внимания от них — трех юношей. Они ей поклонились. Один был без рубашки, с блестящим от загара и пота телом, другой, курчавый и оч-

кастый, с тонкими безмускульными руками, в майке. Она несколько задержалась ответить на поклон, и молодой человек в очках сказал:

— Вы меня не узнаете? Я Файнштейн, член бюро заводской ячейки комсомола. Ведь у вас было к нам письмо из центра.

Писательница произнесла как бы чужим языком, чужими губами:

— Простите, конечно, я сразу вас вспомнила. Надо было бы к вам зайти, да в моем утильцехе мало молодежи, боюсь, придется надуть «Смену». Вряд ли смогу дать очерк о молодежи, слишком недостаточно материала... Всего хорошего.

— У старушки такое лицо, словно она паука проглотила,— заметил комсомолец без рубашки.

И все трое расхохотались. Файнштейн хохотал сначала не меньше остальных, но вдруг остановился, пораженный мыслью:

— Она, верно, в Нахаловке побывала. А ведь это позорная для нас яма. И ей, как общественнице, обидно. А мы ржем над каким-то дурацким пауком. И вообще не забывайте, ребята, что мы ходим сюда для серьезного дела. Если тот же Петька Павлушин услышит, как мы грохочем в три горла, он подумает, что над ним. А тогда уж все сорвется, полетит к чертям.

Когда писательнице некоторое время спустя рассказали о плане, осуществленном тремя комсомольцами, она расплакалась. Она и вообще была довольно плаксива, а тут ее охватило счастливое и в то же время завистливое, с легкой примесью горечи чувство. Она в этот момент напоминала знакомую ей пару — крупного художника и выдающуюся пианистку-любительницу, которые проливали слезы восторга на представлении веселой комедии, когда артист-комик доходил в своей лучшей сцене до полного подъема таланта, или над чтением детских стихов, где дарование поэта, ограниченное поставленной себе целью изобретать наиболее простые вещи, выражено почти с материальной силой — немногословно, в несложных размерах и ритмах, с житейским, почти как в пословицах, лукавством,— на что так отзывчив юный читатель. Но к этому чувству художественного восхищения перед действиями комсомольцев примешивались и зависть — впрочем, та благородная, о которой писал Бенве-

нуто Челлини,— и ощущение утраченной молодости, когда так полноголосо отзываются на жизненные призывы простые и крупные юношеские страсти. Мало ли от чего она расплакалась...

Трое комсомольцев медленно отправились дальше. Думая свое, каждый думал об одном и том же и смутно сознавал это. Они как бы внутренне репетировали то, что придется сказать и сделать.

— Ребята, все дело зависит только от нас,— сказал, волнуясь, обстоятельный Файнштейн, остановившись на самом краю обрыва.— Зависит от того, как мы его проведем.

Он взглянул через очки на крепкого, рослого Синицына и мысленно пожалел, что тот не одет. Такие мускулы и загар, подумалось ему, хороши на физкультурной площадке, а для затеянного ими тонкого предприятия надо бы поменьше яркости. Но Синицын тряхнул головой в красивых, светлых, отливающих выцветшим золотом волосах — он все лето ходил без шапки — и засмеялся так уверенно, что смутные мысли Файнштейна будто сдуло.

— Да, Сеня, мы такую психию развели, что должно выйти. Как ни прикидывай, все верно. Где-то я читал такое выражение: «ловец человеков»...

— Если получится, быть тебе у нас, Синицын, ловцом человеков,— отозвался Файнштейн.— Ты согласен? Чего молчишь?— обратился он к третьему.

— Это ты ко мне?— спросил тот, пробуждаясь от задумчивости.

У него было сильное, но уже несколько утомленное лицо и слегка воспаленные от ночной работы глаза.

— Что ж, мое дело маленькое, осодмильское,— медленно, как бы чуть с издевкой говорил он.— Посмотрим, как живут, каково расположение местности, а вечерком уже приедем за кралей. А не обратит он внимание на то, что я первый раз с вами?

— Это Петька-то?— удивился Синицын.— Да к нему можно целые делегации приводить, он только пыжиться будет. Отроду он тебя не видал, что ли? Не любишь ты его, Миша.

Миша сердито глянул на Синицына.

— А чего мне его любить! Мне с ним не жить. Знаю — рос парнишка с головой, а потом безобразником стал. Чем тут любоваться?

Говорил он сухо, отрывисто, но и в усталых глазах, и в опущенных уголках губ тенью скользнула усмешка. Было ясно, что говорит он далеко не все, что передумал и перечувствовал об этом самом Петре Павлушине.

— Черт с ним совсем! — прервал его Файнштейн.— Главное — надо, чтобы он об ней не пожалел. Если пожалеет, дело сорвется. А надо отрезать начисто.

— Куда там жалеть! После того-то, как я ему покажу всю ее былую красу и печальное состояние настоящего времени?..

Синицын достал из кармана завернутый в белую тряпицу плотный серый конверт, в какие обычно кладут светочувствительную бумагу, и вытащил три фотографии Пашеты.

— Вот как времечко бежит! — сказал он.

На добротной глянцевитой карточке старинного кабинетного размера, с золотым тиснением каких-то медалей и завитков на обратной стороне картона, было изображено молодое, сияющее силой жизни круглое лицо с изумленно уставленными в объектив глазами. На круглом и все же худощавом лице крупно выделялись глаза и рот. Высокий воротник кофточки почти подпирал уши; кофточка представляла собой густое переплетение бархоток, складок, прошивок, оборок, но и под всем этим чувствовались крепкая кость и свежее тело. Зато сооруженная из своих и чужих волос прическа была просто отвратительна: какой-то странный вал свисал надо лбом и мелкие жесткие кудряшки вились у висков.

— Недурна была девка. Просю следующую,— сказал Синицын и показал открытку военного времени.

Оригинал был взят крупно и сильно заретуширован. Пашета снялась в костюме сестры милосердия, который, как она полагала, приближал ее к интеллигенции и даже некоторым образом прикрывал ее грех с инженером. Однако из-под скромной косынки были выпущены прежние кудерьки, красный крест покоился на могучем бюсте под самым подбородком, глаза заметно подзаплыли, а рот замаслился. Прошло десять лет, и веселая, еще дивившаяся своей удаче горняшка превратилась в крупную, жиреющую женщину, много евшую, много спавшую, презиравшую мужскую страсть, которой искусно управляла, и суетливо заботившуюся о благополучии тела. Морщины были ретушью тщательно убра-

ны, но стереть складки у подбородка и наплывы отяжелевших щек фотограф был не в силах.

Третья карточка оказалась маленькой — видимо, для удостоверения.

— Вот какова она теперь, моя милая! — объявил Синицын.— Стриженая, пухлая, рыхлая... поганый гриб. Эх, времечко!

— Мы и сами ее такой знаем. Не гриб, а вроде мучного червя,— ответил Файнштейн.— Смотри, какие на ней отпечатки! — почти закричал он.— Ведь она же ведьма! Жирная ведьма!.. Эх, Петька, это же смешно!

— Смешно,— подтвердил Синицын.— Знаешь, как я свою Лельку люблю, но если бы увидал ее столь противной и всю в складках...

— Лельку нечего трогать,— оборвал его Файнштейн.— Вот пусть он тебе с твоей Лелей и позавидует!.. Пошли. Покажем счастливому любовнику радости, которыми он наслаждается. Нечем ему крыть, Миша.

— Совершенно нечем.

И они отправились к дому Пашеты. Оттуда, словно приметив их еще издали, вышел Петр Павлушин. Он покуривал папиросу и поглядывал прищуренными глазами вдоль пыльной улочки.

XIII

Всю вторую половину дня писательница пролежала в постели совершенно разбитая, как это было зимой, после несправедливой критики литературных врагов, которым она не могла ответить. Но тогда ее наполняли разнообразных оттенков обиды, а сейчас ее сковало огромной силы чувство, над которым, как наклейка на банке с ядом, была прочно прикреплена мысль: «Пусть его спасает кто хочет».

Надо было одолевать унизительное бессилие, накапливать бодрость, но на этой трясине не сразу вырастают крепкие опоры. И произошло то, что не случалось с ней от самых дней юности: от здорового истощения тревогами и злобой писательница заснула. По правилам старой сказки — «сном любое горе забывается». Она проспала до вечера, потом наскоро забежала в конструктивный ресторан, где в белом свете электричества, под гром развеселой музыки подавали

запеканку из вермишели. Покончив с вермишельным бруском, писательница пустилась в город. Было девять часов, она опаздывала.

Павлушины обитали на центральной улице, в трехэтажном доме стиля мавританских замков, то есть с похожими на отверстие ключа окнами и облицовкой из выветрившегося ракушника. Однако дом обладал таким запасом прочности, что над ним возводили еще два этажа, уже без всяких мавританских затей, и проникать через палисадник к входу приходилось сквозь дощатый коридор, спасавший обитателей и посетителей от случайного кирпича в темя.

На звонок — два продолжительных, один короткий — открыла истощенная женщина, видимо прямо от корыта.

— Вы к Павлушиным? А мне послышалось три продолжительных... Идите по коридору, последняя дверь направо.

Из всех комнат выглянули любопытные соседи. Та, куда прошествовала истощенная женщина, предъявила дьяконскую физиономию: борода, длинные волосы, одутлые щеки. Там же свежий голос подростка весело распевал «Гоп со смыком» — для некоторых областей нашей страны песенку нэпа, песенку целого исторического этапа.

Писательница постучала в массивную, сплошь в разнузданной резьбе — грифоны, амуры, трилистники, розы — дверь и, услыхав слабый ответ, вошла.

Лампа лила из-под золотистой юбки свет на квадратный, крытый белой скатертью стол с клеенчатой дорожкой посередине. По одной этой дорожке нетрудно добежать воображением до бытового идеала хозяев. Все должно быть беленько, чистенько, снабжено покрывалами, подзорами, гардинами, оклеено веселыми обоями, выметено, вычищено, натерто. Порядок и опрятность властвовали здесь, в этих смежных комнатах, отделенных разнузданной дверью от мира надстроек и жилищных склок.

За столом сидела на первый взгляд очень молодая женщина, темноволосая, гладко, по-старинному — с пучком на затылке — причесанная. Перед ней, как сугроб, высился ворох белья, которое она чинила.

Женщина спокойно отложила иголку, встала. Только тут, всмотревшись в ее обтянутые скулы, в запавшие глаза, которые придавали всему лицу выражение невеселой строгости, а при смущении, как сейчас, даже виноватости, писательница увидала, что она просто моложава и до того

скрытна, что как бы не позволяет морщинам и сединам выдавать свой настоящий возраст и нелегкий жизненный путь.

Писательница поздоровалась. Раиса Степановна подала руку и сказала, что муж ее предупредил о гостье.

— Мама! — позвал из соседней комнаты детский голос.

Жена Павлушина, неслышно и легко ступая тапочками по натертому паркету, скользнула в дверь, за которой сияли белые тканьевые одеяла, белые кроватки детей.

Писательнице показалось, что она проникла в самое сердце павлушинского семейного уюта. Тот мрачный замок в тридцать семь метров жилплощади, который она построила в своем воображении, собирая сведения о семье начальника утильцеха и знакомясь с ее блудными представителями, растаял, сменился неожиданной действительностью. Беленькие обои, разрушившие все ее представления об этом надстраивающемся, мрачно-бурого цвета доме, показались ей не менее странными, чем однажды виденная ею в литых стенах Зимнего дворца лубяная баня. В момент крушения умозрительно созданного надо было искать путеводных вех в этой уютной действительности, из которой не захотелось бы вылезать не только в Нахаловку и казарму, но и в палисадник с дощатым коридором. Здесь украинский идеал белизны жилища торжествовал вполне. По стенам выстроились креслица в белоснежных чехлах с красной каемкой по швам, напоминая «неродившиеся души» Метерлинка в приютских балахонах. Зеркало отражало только белое, ибо все остальные цвета — юбки абажура, двери, коричневых венских стульев — были введены сюда лишь для того, чтобы подчеркнуть силу белизны как материальной опрятности. Писательница век прожила в случайных комнатах, среди чужой мебели, ее словно возили из дома в дом, как мыслящую машину. Но именно поэтому она сразу почувствовала себя глубоко чуждой миру Павлушина и его жены. Здесь, в этой скромности и непритязательности, сосредоточилась такая активность, такое желание добиться и умение добиться своего, что эта белизна начинала казаться почти бездушным проявлением деспотизма.

— Спи, мальчик, спи. Папа приказал спать, — сказала мать, возвращаясь к гостье, и неслышно, но крепко притворила дверь в спальню.

— Раиса Степановна, вскипел! — послышалось из кори-

дора, и чья-то пухлая белая рука протянула алюминиевый чайник.

Раиса Степановна взяла его и неуловимо быстро накрыла стол. Ее несколько тягучая речь странно не соответствовала проворству движений.

— Товарища Павлушина вызвали,— сообщила она почти официально.— Приехал на автомобиле директор, нынче назначено испытывать на опытном поле какой-то электрический плуг. В выходной день дома не посидишь. А у него еще жар и голова болит. От второй прививки... Хотел вернуться в восемь, а сейчас десятый час и его все нет. Забелить вам чаек?

Писательница улыбнулась, утвердительно кивнув, и Раиса Степановна протянула ей чашку чая с молоком. Они пили его с конфетками, знакомыми писательнице по ресторану и замечательными тем, что на них даже мухи не садились,— до такой степени их отдушка была далека от естества. Беседа порхала по общеобязательным в таких случаях темам: трудно с картошкой и сахаром, в закрытом распределителе продают по коммерческой цене туфли, на детях все горит, переуплотнена квартира... Под влиянием испытаний Раиса Степановна выработала защитную бессодержательность речей вроде: «Нынче на базар возами навезли арбузов» (хотела прибавить, «неважных», да с незнакомой женщиной воздержалась); или просто сообщала, что у них на углу сидит безногий нищий. Писательница не знала, куда девать этот вздор, а приходилось самой толкать разговор в дорогую картошку или перебои с постным маслом, чтобы придать обмену звуками хоть видимость общения, видимость мнений, оценок. Все это напоминало существовавший когда-то, и вовсе не так давно, и вовсе не во всем мире истребленный, обычай нанесения визитов, когда люди, тараторя, старались высказать как можно меньше и как можно в более общепринятых формах. Раиса Степановна ловко управлялась с чаем и нисколько не смущалась угощать и занимать беседой приезжую из Москвы писательницу, причем в ее уверенности не было ни грана тупости или непонимания, с кем ей приходится иметь дело.

«Себе на уме»,— решила писательница и сердито прервала пустяки:

— А я сегодня познакомилась с вашими падчерицей и пасынком.

— У них были?

Раиса Степановна побледнела, кровь отлила от щек, почернели глаза.

— Да, была,— жестко ответила писательница.

Обе на короткое мгновение замолчали, чтобы бессознательно перестроить весь план защиты и нападения, тогда как обеим думалось, что одна просто поражена сообщением, а другая — тем, как оно принято.

— Зачем же?— неожиданно спросила Раиса Степановна.

Ее медленный и тихий голос прозвучал сурово и подозрительно. Она почуяла врага, так как не верила в бескорыстные интересы. Ей даже захотелось иметь свидетеля дальнейших объяснений. Писательница молчала, простой вопрос захватил ее врасплох. «И в самом деле — зачем?» И она неуверенно ответила:

— Я сделала это из самых лучших побуждений. Видела, что товарищ Павлушин очень огорчен их уходом из дому, и если бы их удалось вернуть...

— Вер-нуть...— протянула Раиса Степановна.— Вернуть? Это как снег с горы скатился, обратно не подымешь. Может, даже можно это сделать, да снег-то будет другой, а то и вовсе растает, станет вода. А вот к чему люди-то мешаются?

На глазах у нее выступили слезы, лицо исказилось гримасой, словно у зевающей кошки,— неожиданное подобие для этого почти иконописного лика. Неожиданная игра лицевых мускулов показала писательнице, что она еще не рассмотрела даже внешности Раисы Степановны, а строить догадки о внутреннем и вовсе рано. Надо вверяться инстинкту, вкусовая разведка его так редко обманывает, а тяжелые сводки разума зачастую приходят слишком поздно. Писательница твердила себе это много раз и все же оставалась житейски рассудочной. Зато творчески возникавший образ вмещал иногда и всю наивность ее рассудительности, и все чутье бессознательного проникновения. Потому-то в разговоре она часто откладывала характеристику: «Написать этого человека я могла бы, а вот на словах рассказать трудно». Но тут, в случае с Раисой Степановной, характеристики добивался не назойливый слушатель, а настоятельная необходимость, в тиски которой невольно попала писательница, когда увидела в окно цеховой конторки плачущего Павлушина.

«Говори, говори, тебе будет легче»,— мысленно внушала собеседнице писательница.

— Я из них вшей вычесывала, раны их залечивала, языком бы зализала, если бы лекарства не помогли. Ведь любила я их, а сама все время мучилась, словно это я мать у них расстреляла, чтобы отца на себе женить. Только одна досада и брала: мамой они меня не зовут, все «тетя» да «тетя» Муж иной раз Насте даже подзатыльник даст: «Называй мамой!»

— Может, эти подзатыльники и сыграли свою роль?— тихо молвила писательница.

Лицо Раисы Степановны, время от времени принимавшее кошачьи черты, разгладилось при этих словах в такую истинно человеческую муку! Поток слез, текущий по напухшим до детского блеска щекам, смывал остатки всякого искажения, скорбь до того явственно трепетала в опущенных, трясущихся губах, что писательница, обойдя стол, наклонилась над плачущей и поцеловала ее в волосы.

— Ну,— возразила наконец Раиса Степановна, улыбнувшись сквозь слезы,— нас ведь тоже без нежностей воспитывали, все забывается. Да он и не колотил по-настоящему, так, походя. А Настя всегда отца любила, хоть и побаивалась. Я уж это знаю. Вы про Пашету слышали? Она девочку каждым словом бередила. Ты, мол, Настя, сама зарабатываешь, а все из чужих рук смотришь. Точит и точит изо дня в день. Я, конечно, не замечаю, мне некогда, а они все гулять вместе ходят, на бульвар, на реку. И еще предлог Пашетке: «У мачехи-то свои дети, вот она и готова вас обобрать». Настя, может, и скажет, что никогда этого не замечала... Ведь я их не меньше своих любила; не столько муки со своими приняла, а нам, по-бабьему, от муки и человек становится дороже. И Настя это знала... Но тут довольно только подозрение вонзить, и будет оно сидеть как заноза. Бывало, Настя получку домой принесет... Ну что это — на прокорм не хватит! А мы ей, как невесте, все норовим. Муж-то мой гордый, нельзя, чтобы его дочь была хуже других. Он этого не потерпит. Она же того не понимает, не рассчитывает. Ей ее карбованцы — пот и труд, а они смолоду ой как дороги. Вот и отравили девчонку...

— А Маруся?— спросила писательница.

Она сидела теперь рядом с Раисой Степановной, обнимала ее за плечи и воображала, что следует защищать эту

слабую, чувствительную женщину, так глубоко уязвляемую и такую глубоко скрытную, невзирая на проявленную сейчас откровенность.

— Маруська? Кому же было сразу ее разобрать! Да, может, и она тоже от доброты. Они из одной компании, наша ей жаловалась, она пожалела. Я ее не виню. А так, кто знает...

Писательница хотела рассказать об истинных побуждениях Маруси, но за дверью раздались тяжелые шаги, она раскрылась, и вошел Павлушин. Он был в пыли и явно температурил: лихорадочно блестели запавшие глаза, запеклись губы. Окинув взглядом обеих собеседниц, Павлушин подумал: «Ну вот, и жена после мужа изливалась».

Потом тяжело опустился на стул, сказал:

— Полюбуйся, Раиса! Дочка нам уже отношения стала писать. Только что в коридоре соседка вручила. Прямо парламент!

И он положил перед собой смятую записку.

Слово «парламент» обозначало для него не только главнейший признак издыхающей буржуазной демократии, победить и обесславить который стоило больших усилий, но и еще что-то, столь же гнилое, буржуазное, манерное.

— Или думает обдурить нас письмом? Прощенья просит, домой хочет...

Он поглядывал на беспорядочные, будто их начертал окунутый в чернила паук, каракули.

— Так если желаешь вернуться домой, приди и скажи. Просто скажи, не морочь мне башку: узнала, мол, я, почем фунт лиха, и потому прошу, дорогие родители, простить меня, так как я и себе и вам сделала много зла и неприятностей... Что же мы, не приняли бы? А тут через улицу письма пишет. Только телеграммы не хватает... А того гляди, и это станется!

В нем жили свои идеалы форм. В этих формах имелся образ взаимоотношений раскаивающихся детей и прощающих родителей. У всякого человека есть такие выдуманные наметки, только один легко расстается с ними, убедившись, что действительность не вливается в нарисованные границы, другой же готов отринуть действительность, если она не покоряется его измышлениям. Этот подлинный формализм — когда форма не изобретается, а навязывается — вырос сте-

ной между Павлушиным и дочерью, не сумевшей проникнуть в отцовские сокровенные чаяния.

— Дай-ка мне, Раиса...

Он не договорил, подошел к буфету и сам достал оттуда литровку водки. Налил стакан.

Раиса Степановна изумленно уставилась на него.

— Что вы делаете, товарищ Павлушин! — вмешалась за нее писательница.

Но он, как редко пьющий человек, спокойно поднес стакан к губам и, словно лекарство, принял внутрь жидкость. Может быть, это тоже входило в вымышленный ритуал разочарований?

— Уж извините нас, пожалуйста,— сказал Павлушин.— Меня, конечно. Навалились мы на вас с нашими неурядицами.

Писательница почувствовала себя неловко. С мыслью: «Надо сейчас же уйти» — она поднялась со стула. Но в этот момент без стука открылась дверь, и вошла Настя. Она ворвалась в комнату как луч недоброго света и, как бы желая умерить действие своего появления, стояла, не закрывая за собой дверь, наполняя пространство рвавшимся за ней неблагополучным потоком, из которого так старательно выгребал утлую лодку своего семейного быта Павлушин.

Настя была в новом, с иголочки, белом батистовом платье, в блестящих вискозных чулках и лаковых туфлях,— их писательница видела сегодня на ногах Маруси Перк.

— Настя...— прошептала Раиса Степановна.

— Дочь пришла...— так же тихо сказал Павлушин.— Да, пришла,— повторил он громко и твердо, обычным голосом.

Настя сделала два шага в комнату и остановилась.

— Садись... Не хочешь? Тогда стой. Узнала теперь, почем фунт лиха? — повторил Павлушин понравившуюся фразу.— А за что же нас-то, позволь спросить, заставляла ты испытывать то же лихо? Нам его и без того хватало, только прошлое чуть-чуть копнуть.

Павлушин говорил — и гневался от своей речи. Как для себя, так и для поступков детей он не находил объяснений в общих основаниях бытия, а был с глазу на глаз с чистым действием, таковому же никогда нельзя найти полного оправдания.

— Вы капризничаете, а нам сердце рвете...

— Будет тебе! — неожиданно смело прервала его Раиса Степановна.— Смотри, девка сейчас слезу пустит. Садись, Настя, домой пришла.

Настя села. Раиса Степановна начала быстро перебирать вслух все, что приходило в голову: надо Насте поужинать, надо застелить ей пустовавшую ее кровать, и как она пойдет завтра за вещами — не лучше ли сходить вместе да поскорей, как бы не растащили. Она тараторила, наливала чай, производила как можно больше движений и шума — вещь ей совершенно несвойственная,— и все это она делала, как бы желая заглушить мужа.

Настя взяла из рук Раисы Степановны чашку и только тут заметила, что в комнате находится писательница. Она встала и пробормотала извинение, что не поздоровалась.

— Да уж извинят тебя,— снова вмешалась Раиса Степановна, сердитая от счастья и готовности грудью защищать девушку.— Пей, сейчас пойду яичницу тебе поджарю. Сердце-то и вправду вещун, как раз яйца на базаре купила. Дороговато, да для дорогой гостьи...

Павлушин сидел на свету с потемневшим лицом — вероятно, кровь прилила к щекам. Он что-то шептал, выбирая из обычного семейного запаса наиболее подходящие слова, но не находил нужных. Писательница спасла его.

— Я должна идти, товарищ Павлушин,— сказала она.

Он вышел за ней в коридор.

— Я так рада, так рада,— прошептала писательница.

Он хотел поблагодарить, но не нашелся и только схватил и потряс изо всей силы ей руку.

«Как же ты не подготовлен к прохождению курса личных радостей!» — подумала писательница.

И — как на свежую воду вывела все смутное, все скрытое — вышла на холод предосенней южной ночи.

Но встречам не суждено было кончиться в этот вечер. Под ярким фонарем у входа в конструктивный ресторан, откуда еще доносились стоны струнного оркестра и выводившей «мучительный романс» первой скрипки, расхаживал в ожидании писательницы калькулятор Ященко.

— Верный аккомпанемент моей душе,— произнес он.— «Грусть и тоска безысходная». Разрешите вас остановить.

В последний раз навязываюсь вам. Если это не нахальная просьба, уделите мне десять минут.

— Пожалуйста,— устало отозвалась писательница.— Можно зайти ко мне.

Калькулятор молча последовал за ней. Пока, отперев дверь, она искала в темноте выключатель, Ященко обратился к ней с обычной для него высокопарностью:

— Почему я зову вас присоединиться к моей участи? На это никто не даст ответа. И я не могу разъяснить. Ни себе, ни вам.

Свет вспыхнул. Калькулятор вошел и сел на стул посреди комнаты.

— Я не буду назойлив, хотя уже самим фактом, что сижу у вас в двенадцатом часу ночи, опровергаю свое благое намерение. Я все не решался, а теперь вот решился... изложить серьезное... Вам, знаете, всё лакируют, а вы наверняка во все верите.

— Ну, почему же так огульно...

— Извиняюсь, конечно, я не хотел вас обидеть. Но когда я говорю про лакировку, меня интересует не общественность, или как она там называется... И, само собой, не производство, тут пускай себе лакируют. Что такое производство? Работа для наполнения желудка всего населения. Очень хорошо! Но это не все! А вот пусть расскажут, что мы и как мы!.. Это я о себе. О своей душе. Я один, хотя и член профсоюза. И моя душа не устроена производством. Я не Павлушин, не Досекин, не больше всех презираемый мной Сердюк, хотя таковых большинство, и пускай они устроены со всех сторон и точек зрения. А неустроенные, вроде меня? Тут я беру слово. Потому, что имею задачу. Я страдал и никому о своем страдании не трепался. Да я и не жаловаться собрался.

Писательница поглядела на его петушиное лицо. Оно в самом деле выражало некую гордость, даже больше — полное довольство собой.

— Видимо, это так.

— Благодарю вас... Вы меня понимаете, берете на себя труд... А между тем меня никто не понимает, и даже не хотят понять. Мне надо на многое решиться. Потому что я хозяин своей жизни и надо мной никто не хозяин. Это великое слово — хозяин. Кроме себя другое меня не интересует, я уже упоминал. Там хоть трава не расти, не только что

колхозные посевы. Почему должен я заботиться о посевах, если я калькулятор? Свое дело я делаю, а с другим не приставайте. Верно?

— Нет, не верно.

— Как угодно. По-моему, точно так. Я даже с голоду спокойно подохну, если решу, что мне не нужно быть и калькулятором. Но в старое время никто не допекал бы меня посторонними делами, которые не входят в виды моей жизни. И вот тут начинается мое главное. К чему я все это говорю и занимаю ваше внимание, имею решимость? Да потому, что виды моей жизни, именно моей, а не мировой там, не всемирной, не удаются. И теперь уж я первый раз буду с другим человеком на полную откровенность... Та, о ком будет речь, вам знакома. Маруся, гражданка Перк. Настя сказала мне, что вы там были. Друзей-приятелей у меня нет, и никогда бы я с ними на такие темы беседовать не стал. Вот уж с вами только... Больше года прошло, как она мне подарила первый поцелуй. До сих пор он на губах, весь его вкус,— вот как я его помню. И она должна помнить. Настолько-то современность мне понятна,— я простил, что был у нее не первый... Но если она не помнит, значит, тот ее поцелуй — ложь и мое унижение. А если, как теперь известно, она, целуясь со мной, и даже больше, с другими... Тогда что? Значит, она попросту топтала меня в свою грязь? Топтала?!— восклицал Ященко.

Обессиленная сегодняшними приключениями, писательница не находила в себе сил что-нибудь ответить. Ей было не до практического вмешательства в чужую судьбу, и она слушала чужие признания не с большим участием, чем слушают чтение вслух. Она знала, конечно, что может двумя-тремя аргументами разбить всю его жалкую философию, но поднять сейчас против него голос ей казалось столь же странным, как вступить в пререкания с актером, произносящим со сцены монолог старинной драмы.

— Топтала?— кричал калькулятор.— Но ведь, соединив свои губы с моими, она стала частью меня, как я частью ее! Я не верю в брак, в разные таинства и все такое... Но я верю в любовь! Она, как святыня, должна сближать и соединять нерушимо. Я в это не играю. Считаю, что всякого, кто посягает на такие убеждения близкого, можно казнить. Должно казнить.

Калькулятор замолчал. Писательница улыбнулась, же-

лая разжижить страстность, с которой он выкрикивал свои тирады.

— Я думаю,— заметила она,— что все эти ваши крайние мнения все-таки на деле не так страшны.

— Не так страшны?.. Пугать я действительно никого не намерен. Я человек тихий, но всегда думал про себя именно так. И дума моя страшна. Она по всей крови разлилась. Задаю вам вопрос: прав ли я? Имею ли право казнить?

Но не успела писательница открыть рот, как он сделал рукой предостерегающий жест.

— Воздержитесь. Я уже знаю, что вы скажете. Но кровь из меня не выпустили, а в ней весь мой ответ.

«Этот человек покончит с собой!» — подумала писательница.

— Я до последних дней был слабый и бессильный, с одними мечтами. Хотел быть добрее всех на свете. Но я человек убежденный и за свою правду пойду на все. Наверное, и вы такая же. Иначе разве были бы вы знаменитой писательницей. Вот вы и не нашли ничего против моих слов.

— Вы просто не дали мне возразить. К тому же я безумно устала... Надеюсь, мы с вами еще поговорим...

— Да нет, едва ли. Каждому человеку больше до себя. Да и не брали вы на себя такую должность — выслушивать всякого, кому придет в голову с вами поделиться... И у меня уже не найдется столько для разговора. Что ж вечно разговаривать... Разрешите откланяться. Еще раз прошу извинения, что отнял дорогое время. Ночь, я считаю, дана нам для сна.

Против последнего писательница действительно не могла выставить серьезного возражения, и калькулятор, пожав ей холодными пальцами руку — пальцы его заметно дрожали,— удалился.

«Бесприютный резонер»,— устало подумала писательница.

XIV

Следующие два-три дня писательница решила устроить для себя свободными. Надо было разобрать, что куда — что в литературу, что в личную жизнь. Разумеется, ей и в голову не приходило так вот наделять каждый факт наклейкой с

адресом: «В литературу», «В личную жизнь». Да и фактов от предшествующих дней память сохранила — раз-два, и обчелся, потому что поток жизни еще как бы несся перед ней, мутный, в обломках, из которого не много выловишь. И все же в ней присутствовали силы, которые справлялись обычно и с потоком, и с недостатком отчетливой памятливости, и с обломками, и с мутью. По постоянной оживленности она узнавала присутствие этих сил. Решить, что отражалось в искусстве, она пока не смогла бы, но для личной жизни кое-что оставалось — старость, неустройство, одиночество. Для самоутешения она называла это состояние наукообразно — реакция. А означало это, что художественной натуре трудно возиться с практическими делами и состав всей организации мстит за небрежное и неправильное употребление своих способностей. Она не раз убеждалась, что простейшее действие, вроде уплаты квартального взноса за телефон, вызывает в ней непомерную усталость, болезненное раздражение, после которых собственная профессия вдруг начинает вызывать стыд: «Совестно за странное занятие, когда люди занимаются делом».

Писательница привыкла к таким реакциям. Ждала ее и сегодня, принимая следы самого обыкновенного непривычного ей мускульного утомления за предвестие мук совести. Поэтому, уже лежа в постели, она не могла обнаружить в себе бодрости; но глубокий сон — она спала, как наплакавшийся с вечера младенец,— не только восстановил прежнюю крепость, но и вернул кое-что из утраченного значительно раньше — может быть, в пассивной борьбе с литературными обидчиками. Шаблон ощущений и привычность эмоций едва не погубили ей день, но добрая планета Земля повернула в свой час окно ее номера к солнцу (а было еще утро), и быстро утолщавшаяся доска света рассекла серенькую жижицу, наполнявшую комнату. Наблюдать узоры теней и света, прыжки пылинок в толще солнечной доски было некогда. Писательница мгновенно оделась и, оттолкнув забаррикадированную дверь, вышла на балкон.

Пустырь, на котором выстроили поселок, все-таки был частью степи. Безграничная равнина за кубами домов принимала новый день, до того пышный, радостный и грозный, словно его трубили в фанфары, били в медные литавры. Казалось, там, где бурьян переходит в ковыли, начинается сейчас сражение, с бунчуками, пращами, булавами, само-

стрелами и — к черту анахронизмы! — с аркебузами, каронадами. Веселая половецкая кровь легко мешалась с кровью драчливых героев Гоголя, Сенкевича. Память подсовывала Изяслава Игоревича на белом коне и его двоюродного брата Игоря Святославича, и зигзицу, и пана Володыевского, и узкие прорези монгольских очей, и шишаки, и перья на шлемах, и крылья гусар. День готов принять на себя всю путаницу, которую, в одышке восторга, старая писательница валила на его сияющее течение.

Писательница все еще никак не могла освоить степь, привыкнуть к этому безграничному пространству, с черноземной почвой и недостатком воды как условиям земледелия. Степь представляла для нее некую отвлеченную, пейзажно-историческую красоту, и она могла всерьез грустить, что только в заповедниках сохранились куски непаханой почвы с высоким серебристым ковылем. Вот и сейчас субстанциональность степи, огромность горизонта, казалась ей непреодолимой: невозможно заселить ее, заставить домами, заводами, фермами, силосными башнями, мазанками, скирдами, всем беспокойным, человеческим, рабочим, практическим. Вот шагает путник под куполом неба, по бескрайней сфере земли, из неизвестности в неизвестность... Как успокоительно помечтать об этом, отождествиться с легким на ходьбу, неутомимым странником, в сущности, только с тенью человека, существом без потребностей, без желаний, без боли, но «живым», то есть двигающимся. Каждому, как Гоголю, хочется обратиться в одни сплошные ноздри, в одни сплошные глаза, ноги, руки, кожу, чтобы всем этим ощущать запахи, видеть цвета, овеваться ветром, наслаждаться теплом и прохладой, сменой мест — и в то же время не думать, не страдать, не ведать старости и мыслей о старости, мыслей о конце этой лишь дитяти кажущейся бескрайней степи...

Однако с пейзажной мифологией пришлось скоро покончить. Воины и аркебузы снова убрались в даль веков, а степь все-таки заставилась конструктивным поселком, за которым гремел город, дымили фабричные трубы, катились поезда. И там, в потном, требовательном мире труда, угнездились дело и чувство писательницы. Она спохватилась, будто запаздывала повесить номерок на табельную доску, и побежала на завод.

Осторожно проникла она через ворота на черную землю

завода — опаска имела оправдание в недавнем приключении — и на потеху встречным, если те обращали на нее внимание, брела, цепляясь за стены. Так добралась она до конторки утильцеха. Ее сразу обдало сумраком и шумом цеха, словно за стеной сверлили бормашиной огромный зуб. С этого момента сверлящий гул навсегда связался для нее с сумраком конторы, с немытыми, будто специально предназначенными фильтровать дневной свет стеклами, потому что естественный дневной свет здесь не годился, и с особой натянутостью нервов. Писательница понимала, что наделала невероятных глупостей, вламываясь в семейные дела Павлушина, и пухлый орган самолюбия неопределенно ныл, ожидая каких-то вполне заслуженных неприятностей.

Она поздоровалась с Павлушиным и Досекиным, кивнула в ответ на церемонный поклон калькулятора и села в сторонке на табурет, как бы давая понять, что зашла всего лишь передохнуть. Взяла даже газету, спряталась за нее.

Досекин что-то слишком часто отрывался от своих ведомостей, вынимал часы, поглядывал на дверь, словно вот-вот кто-то войдет и разрешит напряжение. А напряжение чувствовала не только одна писательница.

Лицо этой молча восседавшей посетительницы выражало такую величественную задумчивость и важную горечь, что доходивший в дружеских отношениях до болезненной деликатности Досекин старался обходить ее взглядом, как бы опасаясь, что даже взгляд может обеспокоить сосредоточившуюся в себе гостью цеха. Но когда главный герой и начальник цеха, как всегда непроницаемо, на мгновение воззрился на нее, она вдруг поняла, что Павлушин не меньше ее смущен вчерашним. И это ее сразу успокоило.

Основным в то утро тоном внутреннего состояния Павлушина была телесная радость, оттого что он победил малую болезнь от прививки против брюшного тифа и может не бояться большой. Однако вчерашние происшествия, ворвавшись в его кое-как налаженное после столкновения с дочерью и сыном душевное хозяйство, произвели там новые перестановки. Эти перестановки все время напоминали о себе и этим мешали существенным и в сущности радостным заботам о цеховых делах. Не доведя свою мысль до полной отчетливости, он хаосу и мутному психологизму семейной жизни противопоставлял ясность, твердость, изученность массовой и производственной жизни цеха и завода. Любое

недоразумение, любая неполадка в мастерской имели название, предусмотрены учеными, инженерами и в великих книгах марксизма. Вопрос заключался только в том, чтобы правильно применить к данному случаю книги и опыт. Иное дело даже небольшие семейные свары, которые вырастают порой до того, что люди не могут видеть друг друга. Такие мелкие личные случаи ускользают от ячеек великих научных сетей, охватывающих общее и не занимающихся час - ным, даже не дающих себе труда назвать эти частности. Да и у самого Павлушина никогда не возникало особого интереса к этим частностям, пахнущим юбками и пеленками. Его призвали, и он пошел решать судьбы человеческой жизни на больших полях труда и социального переустройства. Идея о том, что разумное социальное построение общества сразу и начисто устранит все личные, частные неурядицы, относилась к самому основному, самому важному инвентарю непоколебимых истин. Если бы эту истину изъять из сознания Павлушина, он вышел бы из строя живых, обездоленный и нищий. Впрочем, это было бы так же странно, бесчеловечно и ненужно, как вырвать у агитатора язык или выколоть художнику глаза. В этом простом уме порядок и наличность основных идей — и идея о том, что его судьбу, как и судьбу его сына Петра и дочери Анастасии, перестроит и устроит, исправив все изъяны личности, социализм,— равнялись психическому здоровью. Вмешательство писательницы произвело расстройство совсем не в тех, вернее — не совсем в тех пунктах, которые смущали самоё писательницу. Павлушин относил свою биографию и личную судьбу к разряду особенно мелких фактов и, как таковые, считал их своей неотъемлемой собственностью. Это первое. Второе: в бытовую муть, откуда выходят эти факты, науке и общественному разуму стыдно заглядывать. Если бы ему растолковали, что таким аргументом он защищает мелкобуржуазную уединенность своей семьи от пролетарского коллективного содействия, а только одно оно способно развязать его узел, если бы за дело взялась, скажем, цеховая ячейка, он подумал бы и согласился. С радостью победил бы внутренний протест против вмешательства.

Сегодня Павлушин, до конца одолев болезнь прививки, пришел работать. Работа всегда укрепляла его в реальности того дела, общего дела, за которое он был готов отдать свою кровь.

«Раз я, Павлушин, заворачиваю цехом, а не ругаюсь с паровозным кочегаром, который лениво шурует уголек, стало быть — живем! Стало быть — мы строим!»

За право сказать себе эту бесспорную истину он убил бы любого врага, как убивал беляков на фронте. При таком отношении обыкновенное выполнение обязанностей превращается во всецелое отдавание всех своих умственных сил и способностей и тем самым оборачивается в нечто равнозначное творческому процессу.

На писательницу Павлушин взглянул с недоумением и легкой морщинкой сомнения. Находит же, в самом деле, толк эта умная, образованная женщина (как быстро она пишет, любо посмотреть!) в том, чтобы бегать то к Петьке, то к Настьке, то к нему и говорить обо всей этой бузе, ерунде, вздоре так, как мало кто разговаривает и о судьбах мировой революции. И, самое главное, она открывает смысл и глубину там, где он со стыдом видел только унизительную бессмыслицу.

Вот этот застенчиво-недоуменный взгляд и перехватила писательница.

Павлушин вдруг почувствовал, что не может заниматься разработкой доклада дирекции о развертывании цеха. Дело должно дать ему более реальные проявления своей живости, требовательности, сложности. Главное — не сидеть наедине с бумагой и не следить, как в голову пробивается нечто жгучее, но постороннее работе.

Павлушин бросил взгляд на свое запястье с дарственными часами Реввоенсовета армии и встал.

— Пойду в штамповальную. Досекин, если кто будет спрашивать, через двадцать минут вернусь.

И обратился к писательнице:

— Хотите посмотреть штамповальное отделение? Там новые станки.

— Спасибо, мне здесь нужны кое-какие цифры.

— Тогда к товарищу Досекину...

Он вышел, хлопнув дверью,— точность движений покинула его. Впрочем, это заметила только писательница.

Досекин поманил писательницу к себе. Борода его шевелилась, как от сильного ветра, глаза наполнялись влажным блеском и лукавством, все большое лицо изображало желание рассказать нечто весьма занимательное, нечто, несмотря на смешную оболочку, в которую оно заключено, серьезное,

несмотря на ветер в бороде, значительное, к тому же секретное, хотя о нем и предупреждает весьма явная игра. Писательница подсела к нему, и он тотчас закипел гулким клохтаньем, которое считал шепотом, но которое заглушало вой цеха:

— Спектакль нынче у нас. Вы не уходите. Я ведь знаю, как вы к Насте в казарму ходили, агенты у меня...— Он захохотал, но тут же оборвал себя и поглядел на все окружающее свирепыми глазами.— Как член семьи... Вчера ночью дочка к Павлушину вернулась, та, у которой вы побывали. Поздно, в первом часу. Вкатилась — и прямо в ноги. Разливается в три ручья: «Прими, папаша, больше не буду».

— Дело было не совсем так. В ноги не падала и почти не плакала.

— Значит, сами видели? — довольно безучастно спросил Досекин. Любитель круглых описаний, он не хотел уступать никакому очевидцу.— Полгода девчонка дома не жила. Холод надвигается, осень, ночью не очень-то босиком побежишь, а она босиком явилась. Тапочки на работу бережет, туда босой тоже неудобно... Отец, конечно, не каменный, Раиса Степановна тоже в слезы... Под родной кровлей нынче Настюшка ночевала. Все это мне сам Павлушин рассказал. А я про свое молчу... Вчера, видите ли, забежал ко мне мастер Головня,— знаете, маленький такой? А с ним еще один парнишка, из деревообделочной мастерской. Говорят — можно было все-таки Петьку Павлушина в оборот взять, на дело направить... Вот и жду сейчас ребят.

Он вдруг резко откинулся от стола и замолчал,— вернулся начальник цеха. За ним следовали двое рабочих. Один — высокий, широкоплечий парень с маленькими, странно широко, почти над скулами посаженными глазками, насмешливо посматривающими из-под большого козырька кепки. Когда он улыбался, в лице его проявлялась особенно неприятная черта: открывалась узкая полоска мелких, точно спиленных зубов и широкая кайма розовой десны. Другой рабочий был очень молод и очень белокур. Держался он за спиной первого, как-то сбоку, будто уступал ему место не только по молодости, но и от смущения, хотя вообще подобные невысокие, худощавые, белокурые и голубоглазые, на первый взгляд незаметные, люди в работе сильны и выносливы, а в поступках редко действуют без расчета, что-нибудь начав, добиваются своего.

Вид у широкоплечего парня был решительный и возбужденный, он словно еще за дверью усиленно настраивал себя на спор.

Писательница струхнула за Павлушина. Ей припомнились различные случаи насилия, которому подвергались строгие и справедливые администраторы. А этот, со спиленными зубами, может и голову камнем проломить.

Однако Павлушин спокойно сел на свое место и сразу взял какую-то бумагу с таким видом, что всякие посетители отнимают у него дорогое время. Он давал, таким образом, вошедшим возможность одуматься. Но парня со спиленными зубами трудно было взять подобной пантомимой.

— Нет, ты мне отпуск вынь да положь, товарищ Павлушин! Мне полагается.

— Я же сказал: отработаешь, тогда пойдешь.

— Какой я специалист... Я переквалификант,— тянул свое парень, все шире показывая в кривой улыбке розовые десны.

Белокурый молчал, только пытливо переводил взгляд с затылка высокого на лоб Павлушина.

— Сделает ваша бригада три тысячи задвижек, вот тогда пущу. У вас прорыв. Вы мне весь цех обгадили. Да что там цех — весь завод! Строим комбайны, строим электроплуги, выполняем программу по сложным машинам, а с задвижками справиться не можем!

Эти задвижки были, видимо, больным местом цеха, и Павлушин мог к ним возвращаться не раз и не два.

Выдвинув на середину конторы короткую лавку, высокий парень уселся на нее, приготовившись с терпеливым упорством выслушать все, но поставить на своем.

Павлушин горячился, но сдерживал себя. Должно быть, как всегда, он находил в борьбе с собой и в широких обобщениях убежище от напряжения и тревоги, вызываемых в нем столкновением с личным, хаотическим и, несмотря на мелкость, непреклонным. Этот парень имел какую-то родственную связь с его воспоминаниями, он, как и эти воспоминания, явился непрошеным.

— Уйти сейчас, товарищи, значит дезорганизовать, драпануть с поля сражения!

Хаос отступал, Павлушин снова находил себя, свое равновесие и волю.

— Тут вам не деревня: как вздумал, так и пошел с поля

в клуню. Да и деревня нынче не такая. Задвижка сейчас — фронтовое задание. Каждой задвижкой мы убеждаем колеблющегося, укрепляем союзника.

Белокурый отступил в тень, к выходной двери, давая понять, что снимает с очереди свою просьбу и не выкладывает этого во всеуслышание лишь потому, что вполне согласен: вылез сейчас с отпуском зря.

Но Павлушину нужно было подтверждение, что его слова побеждают чужой хаос, и он спросил у белокурого:

— Что, товарищ Полетаев, отказываешься от своего заявления?

— Вижу, своего надо добиваться по-иному,— отозвался голос у двери.

Дверь скрипнула, открыв свой прямоугольник. Красная кирпичная стена, столб, груда лома и над всем этим видимое, как воздух ощутимое небо. Парень, очевидно, подержал дверь, а потом плотно ее затворил.

Высокий даже не оглянулся. Заметно заскучав, он промямлил еще настойчивее:

— А ты все же пусти меня в отпуск, товарищ Павлушин. Я от своего не отступлюсь.

Павлушин побагровел, стукнул по столу обоими кулаками.

— Ты кто? Военный? — крикнул он.— В Красной Армии служил? На недавнем сборе был? Отвечай, Бубликов: зачем был на сборе?

Бубликов разом вскочил с лавки. Но, тут же оправившись от окрика, плечи развернул уже помедленней и стоял вразвалку. Павлушин коротко взглянул на него, и он вытянулся, сдвинул ноги пятки вместе.

— Был, как полагается... Чтобы во всякий момент оборонять от врагов пролетарскую республику, СССР то есть.

Писательница с любопытством созерцала происходящее. По-прежнему сжимая кулаки, Павлушин вопрошал:

— Значит, тебе втолковали, что надо делать на фронте? А завод сейчас тот же фронт. Забыл?

Парень, видимо, оробел. Надвинул кепку на глаза.

— Разговор кончен,— холодно прибавил Павлушин. Слишком сильные средства пришлось, по его мнению, применять к Бубликову, настоящий рабочий должен с полуслова понимать такие вещи.— Ступай на работу. Через декаду получишь отпуск. А сейчас гоните вовсю задание.

Мое слово твердо: сказал — «через декаду», так и будет.

Парень сделал поворот кругом и, крепко ступая на пятки, вышел. Досекин расправил бороду, сказал что-то о командирах, которые ходили на Сиваш, и при этом так победоносно глянул на писательницу, словно она и была разрушенным неприятельским укреплением.

— Сиваш Сивашем,— сухо заметил Павлушин,— а Полетаев мне крепко не нравится. На бузу эту с отпусками он подбивает ребят из штамповального отделения... Бубликов у него на поводу.

— Полетаев — сын раскулаченного. Последний год, правда, был мало связан...

— Там разберутся, как он был связан, много или мало.

Оба углубились в бумаги. Для них и бумаги были самой действительностью, тем же, что и разговор с Бубликовым и Полетаевым. А вот книга может быть и более значительной, чем отдельные явления действительности, но она никогда не будет самой этой действительностью,— если исключить отношение самого автора. И писательница вдруг почувствовала себя осиротелой, будто ее отставили в сторонку ради более серьезных и насущных занятий. Это ее рассердило и придало смелости. Она придвинула табурет к столу начальника цеха и попросила разрешения оторвать его от работы, чтобы задать вопрос.

— Пожалуйста. Что такое?

Она наклонилась к самому его уху:

— Я понимаю: если затеять против него дело, его происхождение явится для него отягощающим моментом... Однако я не вижу связи между отпуском и происхождением.

Павлушин окинул ее быстрым и очень зорким взглядом, как бы ища в ее внешности какое-то дополнение к ее полушепоту. И ответил громко, во всеуслышание:

— У нас тяжело с производством. Рабочие всё молодые, непроверенные, без дисциплины. А текущий момент нашего строительства требует, чтобы мы крепко взялись за дисциплину. И мы за нее возьмемся.

— Все это понятно. Не знаю, большой ли интерес имеет мой вопрос, но я все-таки повторю его. Тут для меня не практическое, а, честно говоря, вопрос морали... Ведь производство не бог, которому надо приносить жертвы.

— Эк загнули! Прямо как из древней истории!

— Вы не смейтесь, я серьезно.

— А мне и не до смеха,— ответил Павлушин.— Какой может быть смех, если приходится отвечать на философские вопросы, а я простой начальник цеха. Для вас — это вопрос *нашего права*, «морали», как вы выразились, вы это дело поставили, так сказать, над жизнью. Мы же должны подходить практически. А правилен ли такой наш подход, я вам покажу. Думаю — правилен. Почему Бубликову и Полетаеву отпуска удобны именно сейчас? А не через месяц?.. Бубликов не крестьянин. Отец его сапожник, живут они в городе, даже огорода не имеют. Полетаев и вовсе обитает в нашем заводском доме, в деревню никогда не ездит, кричит, что порвал с ней, так как у него там отец кулак. Следовательно, на полевые работы идти ни тому ни другому не нужно. Да по нашим местам и поздновато. И в таком случае их требование — блажь. Они же на своей блажи настаивают, хотя видят, что производству их требование прямо гроб. Хотя знают, что отпусти я их двоих — запросятся и другие. А этим другим, как мне известно, еще и много нужней. Например, рабочим, у которых семьи в деревне, женщины с молотьбой запоздали и так далее...

— Все это неоспоримо с фактической стороны.

— А стало быть, и с политической. Тут вот и есть наша сердцевина. Политика-то чья? Рабочего класса. Производство какое? Социалистическое. Каждый наш успех — маленькая победа на фронте освобождения всех трудящихся. И кто же позволит мешать этакому делу!

— Тем не менее вы отвечаете, как мне кажется, себе, а не мне, товарищ Павлушин.

— Я отвечаю так, как ответил бы на рабочем собрании. Там такую речь легко понимают.

— А я, если искренне признаться,— с трудом. Суть ведь не в том, чтобы понять формально. Я говорю о существе понимания. В понимании всегда заключено сочувствие.

Досекин, обожавший умственные беседы, внимательно слушал, зарывшись бородой в широколиственные планы. Он поглядел на писательницу своими младенчески ясными глазами и заявил:

— Хорошо сказано, именно сочувствие!

— Я понял, в чем плохо разбираются интеллигенты,— сказал Павлушин.— В простом счете, в арифметике. У какого-то вашего писателя рассказывается: если, чтобы спасти

людей, прольется хоть одна детская слеза, делать этого нельзя.

— Да, у Достоевского. Не совсем так, но, впрочем, очень похоже.

— Похоже, похоже. Даже именно так. И вот такие сердобольные положат на войне миллионы солдат, а ради того чтобы не было войн, принести в жертву одного зловредного, самого кровавого старика пожалеют. Особливо если он полный генерал. Пусть дохнут с голода миллионы детей, лишь бы у нашего дитяти не навернулась слезинка... У рабочего счет куда проще. Он у нас земной, а не небесный. Удовлетворю я Бубликова с Полетаевым, а миллионы людей, ждущих освобождения от того, насколько хорошо будет работать советская промышленность, потому что она ведь не на себя работает, а на освобождение трудящихся всего мира,— эти люди потерпят от моей мягкотелости ущерб. Неужели это так трудно понять? Почему?

Если недоумевающий взгляд, которым смотрел на писательницу Досекин, как бы выражал ужас: неужели эта образованная пожилая женщина не знает даже такой житейской основы, как таблица умножения?— то в недоумении Павлушина сверкнул жесткий огонек подозрения. Он ждал ответа, равнозначного по глубине тем вопросам, которые возбудила писательница,— и не ради же подвоха!

Писательница увидела, что теряет у него с таким трудом завоеванное доверие, а оно для нее бесценно. Ей дорог не сам Павлушин, а его убеждения, она лишь проясняла их и углубляла для себя. Если бы ее в этот момент спросили, а так ли уж целенаправлен ее вопрос, не содержит ли он некоторой доли сочувствия неудачным просителям, она с искренней яростью отвергла бы такое предположение. «В самом деле,— ответила бы она,— разве можно сравнивать какие-то шкурные поползновения Бубликова и Полетаева с бесстрашной выдержкой и неподкупной суровостью людей из ряда Павлушиных!» Больше того, ведь суровы не только они, сурово и время. Проповедовать здесь, в дни прорыва, сердобольную отзывчивость... Нет, правы будут заводские руководящие организации, если попросят ее отсюда убраться!.. И трезвый голос саморазоблачения подсказал ей ответ. Она постаралась сформулировать его в точных, не поддающихся ни кривотолкованию, ни излишним углублениям фразах.

— Почему?.. Я это знаю. Потому, что я никогда не была в числе угнетенных. Потому, что мне подслащивали мой гнет подачками. Потому, что меня не ссылали на каторгу. Потому, что моих близких не убивали в тюрьме. Потому, что я, плохо или хорошо, прижилась к тем старым классам. И как же, товарищи, завидую я вашей цельности!

— Отлично говорите,— одобрил Досекин.

Павлушин промолчал. Он, вероятно, считал, что им всем стоит обдумать разговор.

В это время прекратился вой моторов за стеной, наступил обеденный перерыв.

Тишина ударила писательницу по слуху. Это показало ей, что нервы у нее достаточно перенапряжены.

Однако что-то забеспокоился и Досекин. Встал, подошел к окну, поглядел в тусклый просвет кучи шлака, на стену склада и уселся снова, хотя должен был идти обедать. Калькулятор вытащил какую-то непроницаемую, завернутую в бумагу снедь и, отвернувшись от всех, начал совершенно секретно есть. Павлушин поднял трубку телефона, вызвал заводоуправление. Впрочем, того, кого он спрашивал, не оказалось. Писательница любовалась блеском его чистоплотной кожи, литыми волосами, внимательными, как бы прицеливающимися глазами и краткими, точными, как военная речь, движениями.

Писательница спросила — почему все сидят и не уходят, не предполагается ли срочное совещание? Досекин сердито сверкнул на нее своими кроткими глазами.

И вдруг дверь цеховой конторы шумно открылась. Вошло сразу много людей, быстро, как команда в игре, ставших полукругом по стенам. А из дверей кто-то вытолкнул на середину комнаты, как на сцену, Петю Павлушина. Он вспотел и был бледен.

— Что это такое?— крикнула писательница, но ее, казалось, никто не слышал.

По стенам с ожиданием на лицах стояли Сердюк, сменный мастер Головня, очкастый слабогрудый комсомолец Файнштейн, которого писательница встретила около Нахаловки, когда возвращалась от Петра, несколько молодых рабочих и еще один старый, в фартуке кузнеца, с могучими, в надутых венах руками. Чуть позади Пети стоял беловолосый молодой парень в широких холстинковых брюках и свежей кремовой рубашке. У него было курносое лицо,

одновременно детское и жестокое. Он, видимо, сознавал, что должен соблюдать скромность в торжественную минуту, — его появление здесь было не менее неожиданно, чем появление Пети. Пережив первую минуту удивления, он на цыпочках прошел к столу и сел рядом с Павлушиным, как в президиуме. Рядом с Петей встал вместо него Файнштейн.

Покуда происходили все эти безмолвные перемещения, Павлушин смотрел на все с незнакомо для писательницы исказившимся лицом. Его твердые, неподкупные глаза обегали фигуру сына.

Сколько раз бывал он в переплетах, в мучительно сложных, казалось — безвыходных положениях и сколько раз спасали его такие пустяки, как умение держать в улыбке лицевые мускулы, в подтянутом спокойствии все тело. Телесная, если можно так выразиться, приветливость не только облекала его внутреннее самообладание, не только питала инстинктивную беззаботность, которая одна и находит выход в безвыходном положении, но и вокруг разливала ту же лукавую самоуверенность: «Все благополучно». Благодаря ей однажды в разведке они впятером взяли заставу белых из семи человек без единого выстрела или ушли целой ротой из деревни, окруженной дроздовской дивизией. А сколько раз, бывало, укрощал он начинавшие волноваться части или крестьян во время хлебозаготовок, да и на производстве всякое случалось. И всегда требовалось укладывать себя в облик веселой, дорого для нервов стоящей непоколебимости. Но и в боевой обстановке, и на работе в деревне, и в цеху все его существо было приготовлено к случайностям определенного качества. И подобно тому, как прекрасный революционер и бесстрашный конспиратор Камо, не терявшийся ни в каких затруднениях, погиб, просто упав с велосипеда под колеса трамвая (а даже самое случайное падение тоже ведь обусловлено степенью бдительности едущего, его зоркостью и находчивостью в критический момент), — так и Павлушин растерялся перед сыном.

Не этот ли его сын был когда-то плаксивым и болезненно обидчивым мальчуганом, который так медленно поправлялся после страшной смерти матери и старшего брата, после голодовки. И вот он стоит сейчас, как на лобном месте, посреди комнаты в шутовском наряде, с толстыми ногами в ластиковых штанах и в лазоревом пиджаке, который он лишь недавно сшил на свой заработок и теперь изорвал и загваз-

дал. Черты уже сложившегося человека проступают сквозь еще детскую округлость лица, он коренаст, здоровяк. И стоит ему, как только что, смущенно улыбнуться — он становится юношески миловиден. Но откуда у него эта нахальная развязность, с какой стоит он, подбоченясь, глядя поверх всех? Не сознает ли он, что в дорогой для отца распорядок служебного дня ворвался осколком хаоса?

И отец растерялся. Даже губы распустились в почти плаксивой гримасе, пальцы забегали по столу, глаза воровато старались миновать предмет, на который им хотелось уставиться.

— Вот я и явился, нигде не запылился! А ты, папаша, не робей,— произнес Петр в тишине, которая, если можно градуировать отсутствие звуков, была в предпоследнем градусе.

Дружный хохот разорвал чрезмерное напряжение неловкости и необычности. Первым захохотал не то Павлушин — широко и отчетливо, будто в хохоте овладевая собой, не то Досекин — тонко и раскатисто. Их голоса мгновенно подхватили другие. Засмеялась и сама писательница, прежде чем даже поняла здоровую основу этого веселья, прервавшего горечь странных минут.

— Не робей!— крикнул кто-то у стены.

Хохочущие двинулись на середину комнаты и теснили Петра к столу отца.

— Папаша, не робей!

Выкрикивая эти слова, люди вкладывали в них самый разнообразный смысл, и, едва затихнув, смех приобретал прежний размах. Окружающие как бы старались дать время для главных действующих лиц собраться с силами и одновременно смягчали смехом и необычность зрелища, и свое бесцеремонное любопытство, заставлявшее их досмотреть это зрелище.

Но постепенно смех сделался качественно иным. Слова «не робей» начали приобретать для многих особенное значение, и разгадка их заключалась в том, что сын, в своей развязности, не признает авторитета отца, тогда как этот его авторитет, как товарища и начальника, безусловно признают все.

Павлушин первый почувствовал, что постепенно разорвалась связь с первоначальным благотворным взрывом и дело уже касается таких устоев, которые он воздвигал всем тру-

дом своей жизни. Довольно и того, что его семейные дела стали достоянием всего завода. Павлушин теперь уже вполне овладел собой и наблюдал обстановку.

Сам виновник смеха, Петр, смеялся меньше других. Он стоял, переступая с ноги на ногу, гордый от сознания себя средоточием минуты. Он наслаждался, как артист после удачного выступления.

Писательница тоже лишь наблюдала, позабыв, чему только что смеялась. Ей показалось, что Павлушин чем-то недоволен.

Затихли и все остальные. На лице Павлушина проступило новое выражение, мало похожее на ту растерянность, которой он встретил первый взгляд сына. Он сделался, как всегда, серьезен, всем своим видом знаменуя скорее желание выслушать, нежели что-либо высказать самому. Около Пети вновь образовался полукруг ожидающих, что воспоследует дальше, людей. Самым незаинтересованным и благодушным оставалось одно лишь его нагловато ухмылявшееся лицо.

Тогда встал беловолосый молодой человек, и Досекин объявил:

— Слово имеет товарищ Карл Эних, секретарь нашего заводского комсомольского комитета.

— Ты не осудишь нас, дорогой товарищ Павлушин, за наш смех и радость. Мы нашли Петра и поговорили с ним. Наши комсомольцы, в первую очередь товарищ Файнштейн, поставили вопрос о том, что ему надо вернуться в здоровую рабочую среду. Это был длинный разговор, пока Петр наконец не заявил, что действительно хочет вернуться, потому что он с нами, с рабочим классом. Несомненно, он находился до этого в плохой среде, в этих полукустарных ремонтных мастерских. Сейчас там возбуждено дело против нескольких человек, которые расхищали запасные части автомобилей и тракторов, государственное достояние. А это — последнее дело и настоящее вредительство. Только в такой среде и могут вырастать нездоровые настроения, овладевшие Петром. Но, как мы считаем, это у него наносное. Сердцевина его, пролетарская, павлушинская сердцевина, мы верим, здорова. Он теперь будет жить среди нас как товарищ, мы окружим его нашим товарищеским вниманием и дадим ему ту среду, в которой он так нуждается.

Эних был белокур, благообразен, крепко и хорошо сло-

жен. Свежий его голос звучал ровно и уверенно. И он радовался. И эти свои чувства ему удавалось высказать в формулировках наиболее близких к тому, что можно обрести в речах, в письмах, в газетных заметках. Именно поэтому его заявление прозвучало как несокрушимое волевое изъявление всех находившихся в этой комнате. Только писательница, всю жизнь искавшая собственного выражения и не понимавшая находок общеобязательных формул, не поняла и этой могучей резолютивности.

Павлушин оставался настороженным. Вероятно, он считал, что проявляет слишком много чувства в деле обращения сына, а комсомольцы подняли это обращение как общественное событие.

— Где же вы думаете назначить ему работать? С заводоуправлением согласовали? У меня в цеху слесаря нужны.

— Нет,— ответил Эних,— Петр пойдет в главный сборочный цех. Пусть встанет к высокой технике. Вопрос согласован.

— А жить он будет,— сказал очкастый Файнштейн,— в образцовом комсомольском общежитии. Не можете вы, товарищ Павлушин, сработаться с сыном, поэтому надо ему первое время пожить в нашей комсомольской среде.

— А не в моей,— тихо, как бы про себя, сказал Павлушин.

Его замечание услыхала и вполне поняла одна писательница.

— Мы возбудили перед городским советом и комитетом партии вопрос о том, чтобы до основания снести самочинный поселок Нахаловку, а тех в ней, кто достоин имени и звания рабочего, расселить в городе.

— Это правильно,— горячо присоединился Павлушин.— Надо приветствовать инициативу нашей молодежи и всячески поддержать. Нахаловка — скопище всяких безобразий и даже преступлений.

— Тут я должен признать, что товарищ Павлушин прав,— продолжал Файнштейн.— Наш уголовный розыск плохо смотрит за тем, что там делается. И по нашему настоянию торговка барахлом, пьяница и шинкарка, у которой проживал Петр, сейчас арестована.

— Пашета?..— вскрикнул Петя и как-то сразу притих.

— Да,— жестко ответил Файнштейн.— Надо сжигать все

мосты. Ну, об этом, Петя, еще успеем поделиться в своей среде.

— Что, крепко мы взялись за твоего сына, товарищ Павлушин? — спросил Эних. — В надежные руки отдаем его.

— В крепко надежные, — ответил за Павлушина Головня, сменный мастер цеха.

— Одним словом, не робей, папаша! — ввернул Досекин, желая вызвать беззаботного бога смеха. Но никто даже не улыбнулся.

— Что ж, товарищи, и из этой истории надо делать политические выводы.

Павлушин встал с места, обретая ораторскую уверенность.

— Много бы можно сказать, да не стоит, все ясно. Однако родителям надо о детях подумать. Потому что мой урок — дорогой урок. И не к чему другим его повторять на своей шкуре. Что скрывать, большая обида, когда нельзя родного сына взять в свою семью. Но я понимаю — нельзя. И если наш комсомол справится за меня с этим парнем, спасибо ему.

Павлушин махнул рукой и сел.

Сколько бы зубоскальства возбудило среди московских знакомых писательницы развернувшееся в цеховой конторе действие! Какие извивы приспособленчества обнаружили бы они в поведении Павлушина, который отдал личное горе «на растерзание кривотолков», да еще называет это политическими выводами! И что за вкус к заседаниям, в какое обратилась беседа о младшем Павлушине! Или эти люди не знают, что такое «интимная» жизнь? Или только жизнь в шумном улье кажется им единственно возможной и они готовы совершать все ее отправления на людях?..

Но сама писательница добросовестно вникала в простейшие побуждения, самые естественные и распространенные здесь. Да, люди здесь простые, и говорят они то, что думают. А главное, говорят то, что намерены выполнить на деле. И эти их слова и дела возможны только в СССР, в стране с новыми и для любого иностранца мало понятными отношениями и обычаями.

Эта ее мысль показалась писательнице жгучей до физической ощутимости. Она встала, отошла к двери, снова вернулась на свое место, обуреваемая страстным желанием додумать то, что рождалось сейчас в ее голове.

— Мне завтра становиться на работу? — напряженным басом спросил младший Павлушин.

Он все еще был распален токами внимания, которое, сосредоточившись на нем, обещало его не покидать. У него горели уши, щеки, как от зноя и ветра. Казалось, в нем теперь столько силы, что вот стоит захотеть, пяткой ударить, и он взлетит.

— Да, да, уже завтра. С гудком приходи,— ответили ему.

И еще что-то.

— Ну, по рукам, Петрушка!

Кто-то пожал ему руку. «Это отец»,— вспоминал он впоследствии. И всегда впоследствии вспоминал он эти несколько минут как минуты внутреннего вихря, а произносимые им слова звучали для него самого как трубный глас. Эти ощущения ему суждено было, разумеется, скрывать, и по мере того как он обретал свое место в цеху, в доме, в мире, они забывались, чтобы окончательно отложиться пониманием себя, цеха, дома, мира.

И вот с юношеской беззаботностью — ему все же было лишь восемнадцать лет — Петр Павлушин пошел в толпе новых друзей устраиваться и оформляться, забыв и Нахаловку, и Пашету, и фанаберию, возбуждаясь новым и жгучим любопытством в ожидании каждой минуты, несшей ему столь желанную в молодости перемену.

Писательница тихонько поднялась с табурета и вышла. Она была уверена, что ее ухода никто не заметит. И не заметили.

XV

Остаток дня она провела в смутных и тем не менее поучительных чувствах и мыслях. Перед ней за эти дни прошел столь полновесный житейский материал, что он рвал всякую схему. Пытаясь его обработать, она покорялась его течению. Трудно объективировать свою особу в общем потоке. Иногда она просто защищалась от действительности, раз взята обязанность ее осмыслить. Но действительность неизменно, без всякой деликатности давала ей уроки вроде павлушинской истории. Сколько знала писательница слов для определения склонности человека жить скопом — от «собор-

ности» до «социальности»,— но только сегодня так чувствовала она бессмертие и молодость вида.

«Вечная молодость»,— повторяла она про себя, слушая внутренним слухом речи Павлушина и других, все, что недавно происходило.

Поздно вечером в коридоре прозвучали голоса. Шлепающие шаги остановились у ее двери, потом кто-то постучал, и вошла Настя Павлушина.

— Что случилось, Настя? Почему вы так поздно?

Вопрос прозвучал скорее для объяснения собственного испуганного голоса, потому что писательница не сомневалась, что что-то произошло.

— С папашей ничего не случилось,— сухо сказала Настя.— И дома все благополучно. На Петьку радуются. Только в чай не макают, чтобы сладко было. Всегда вот так...

Тяжело, в новых тяжелых туфлях, подступила она к стулу и буквально шлепнулась на него, закрыв лицо руками.

— В одном доме счастье и радость, а рядом кровь!

— Кровь? Какая кровь? Что вы рассказываете?

Писательница резко встала. Девушка отняла руки от лица и отшатнулась от нее на спинку стула. Писательница инстинктивно осталась стоять у стола.

— Пошла я давеча к Марусе... Немного барахла у нее оставалось, хотелось забрать. Прихожу... А там во дворе народ, бабы. Сейчас только Федьку Ященко увели... Он Маруську зарезал! Горло ей полоснул. И никто не слыхал... Да у них в казарме такой шум и визг — стрелять можно в коридоре, и никто не обратит внимания. Сплошной галдеж. Я только что ее видела... Лежит на моей голой койке, как он ее туда положил. Ножки свесила. Всегда такая аккуратная, а тут чулок скатался. Голову запрокинула. И кровь, кровь... Я курицу зарезанную видеть не могу, а теперь стою у двери, смотрю... Ведь я ее любила. Она, знаете, вспыльчатая была (Настя так и произнесла — «вспыльчатая»), как что поперек — и добрых слов нет, ругается на чем свет стоит. Мне же и по морде часто попадало. Ну, зато как отойдет, и целует и милует, все прощения просит. Никогда я на ней зла не держала. А вот не было меня около... В такой момент ушла от нее! Ушла... Все у нас этому радуются. И сама я тоже. Ведь мне ой-ой как плохо приходилось, прямо гроб...

— Вы, Настя, правильно поступили. Я, как только вас увидела, знала, что вы уйдете.

— Да ведь оттого, что правильно, не легче. Она-то на меня зло имела. Имела...

Девушка опять закрыла лицо руками и тупо завыла:

— О-о-о...

Тихо подвывая, она раскачивалась на стуле, будто убаюкивая свою совесть. Писательница не утешала ее.

«Маруся и ты — частность,— думала она.— За частоколом случайностей, даже самых жестоких, необходимо видеть общее решение, которое необходимо принять, чтобы весь поток получил осмысленность и можно было им управлять. Это не значит, что мне вас обеих не жаль. Но жалость должна быть суровой и действенной».

Конечно, писательница вполне могла бы расплакаться вслед за Настей, но широко открывшееся вдруг понимание окружающего останавливало бесцельные слезы. А как недавно еще порицала она это понимание.

— Я не могла сразу поехать домой,— объяснила Настя.— Ведь никогда у нас в доме раньше не бывало, чтобы кто на крик плакал, очень ругался или хохотал до слез. Папаша в доме — как в шубе, не доберешься. А сейчас будто разделся. Да и Петька в гостях, комсомольцы его привели. Одного-то особенно не пускают, не больно доверяют. Ему доверие еще заслужить надо... А у меня вот Маруси нет! И сказать некому, потому что никто не поймет. Ведь я же только-только от нее ушла! Понимаете вы это!

— Понимаю!— ответила писательница.— Очень хорошо, что вы ко мне приехали.

— К вам-то я направилась лишь потому, что далеко. Сижу в трамвае, реву. Спрашивают: «Об чем?» — «Корзинку,— говорю,— украли». Это и верно. Барахла моего — немного его там оставалось — мне из Марусиной комнаты не выдали, все там опечатали. Ну, пусть не дали... Я ведь не об этом. Я пришла к вам, потому что считаю: для вас важно все узнать. Вы-то не скажете: «Ах, как Марусю жалко» да «Сама виновата»... Это другие про нее станут...

Писательница подумала: «Самое печальное здесь в том, что так неправильно оборвалась эта столь сильно себя проявившая жизнедеятельность, никем не направленная в нужную сторону».

— Такая отчаянная, такая смелая личность, как Маруся, могла и должна была быть готова к столкновениям,— сказа-

ла писательница. И сразу почувствовала, что бесспорность этого замечания мертвее убитой.

Настя поглядела на нее, мигая мокрыми опухшими веками.

— Вот вы книжки пишете... И все книги читают... Прошу вас, напишите роман про Марусю. Я вам все расскажу, а вы только запомните. Кто прочтет, всяк ужаснется. И все бы ее помнили.

Сколько раз услужливо несли люди писательнице сюжеты, биографии, разоблачения и восхваления. Они бесхитростно относятся к художнику, как к фотографу. Впрочем, им нельзя отказать в правильности одного соображения: любая жизнь может быть материалом великого романа, лишь бы изобразить ее во всей полноте и художественной правде.

Настя начала рассказывать. Ященко ходил иногда к Павлушиным и там познакомился с Марусей. Они сближались, «а я-то, дура, ничего не понимала». Наконец он надоел Марусе, сам же все ревновал и грозил убить. Только никто этому не верил...

Писательница плохо слушала, замкнувшись в собственные размышления. Настя это заметила и замолчала.

— Мне страшно ехать одной,— жалобно прошептала она.— Насмотрелась я...

— Я вас провожу. Вас надо попросту сдать с рук на руки.

Они сели в пустой в эту пору трамвай — был одиннадцатый час вечера,— и под его грохот на стыках и быстрое качание в писательнице возникло и укреплялось с каждым поворотом вагона решение — уехать.

«Я изжила здесь все».

Она чувствовала тяжесть, переполненность впечатлениями и думами. А для искусства это самое важное.

Они дошли с Настей до дому. Леса для его надстройки были ярко освещены, работа производилась в ночную смену.

— Я было хотела зайти к вам... Надо было сказать товарищу Павлушину, что я послезавтра уезжаю. Получила телеграмму,— сказала писательница. Она не любила проявлять прихотей и необъяснимых движений души.— Однако уже поздно... И знаете что? Давайте скроем, что вы были у меня. Просто встретились на улице.

Зачем ей это понадобилось? Она и сама не могла бы ответить. Как не могла бы ответить, почему крепко поцеловала в мокрые глаза девушку, в общем некрасивую, малопривлекательную, утомившую ее до переполнения, за которым уже начинается изжитие.

Писательница вышла на главную улицу, где в голом белом свете леденели входы в кино и в кофейню, и встретила Павлушина.

Он держался правой стороны, самой кромки плитчатого тротуара, отмеряя ровным шагом разделявшее их пространство. Он был озабочен и увидал писательницу лишь тогда, когда они столкнулись нос к носу. В это время кончился сеанс в кино. В широкой нише, под лампами над плакатами и фотографиями артистов, стало черно от людей. Но улица быстро погрузилась во тьму, фонари у кино погасли.

— Я только что проводила домой Настю. Мы встретились на улице.

— Вы, значит, знаете, что произошло? Во мне все это прямо гвоздем сидит. Ведь среди нас жил человечишка, а мы его не расчухали! Жил, и никто его не видел, в нутро не заглянул — чем он дышит. Нет, вижу одно, не первый уже раз убеждаюсь: слаба у нас массовая работа. Особенно в загоне служащие.

Если бы старым знакомым писательницы кто-нибудь рассказал, как начальник цеха хочет бороться с преступлениями, это вызвало бы у них улыбку,— материал для юмористического журнала!

Но действительность вкладывает свой смысл в кажущиеся этим людям странными умозаключения. Павлушин искал новые формы человеческого общения. Вечно бесящуюся индивидуальность он опутывал нитями общественных связей. Он не верил в патологию душевной жизни, если только она не проявлялась как уродство, вроде идиотизма. И уж конечно всякого субъекта со странностями считал вменяемым. Поэтому он определил поступок Ященко как «убийство из низменных побуждений» и, думая о массовой работе, имел в виду тех, кто мог услышать предупреждающие голоса коллектива о пагубности самовольства.

Разговаривая, они дошли до остановки.

— Я послезавтра уезжаю в Москву,— сказала писательница.

Он посмотрел на нее с грустью и уважением. Для него

поездка в Москву была возможна лишь по служебной командировке или на какое-либо всесоюзное совещание утильцехов.

— Вы еще мало видели у нас,— возразил Павлушин.— Надо бы лучше влезть в нашу гущу.

— О, много! Я много видела! Но еще больше думала и чувствовала. Для моего искусства это чрезвычайно важно.

Издали гремел трамвай. Под шум его приближения, вглядываясь в освещающееся огнями вагона лицо Павлушина, писательница успела выкрикнуть странные с его точки зрения слова:

— Я зачерпнула молодости! Для меня это равносильно началу творческой жизни. И тут надо благодарить вас.

Он смутился.

— Раз вы решили... надо сговориться с заводоуправлением, чтобы вам подали ночью машину. А молодость... Вы же не видели заводской общественности!

Она уже ступила на площадку вагона. Над головой резко ударил звонок с прицепа.

— Разве не общественность история с Петей, как его привели? Ведь для меня... это больше, чем выполнение промфинплана!

Павлушин замахал на нее руками.

— Скажете тоже...

Вагон тронулся.

В этот вечер писательница решила привести в порядок накопившиеся заметки, начатые очерки, сложить к отъезду бумаги. Она очень любила возиться в этом сырье и прямо захварывала, если терялась хоть одна бумажка. Она с досадой думала, что надо укладывать вещи, белье, и хотя долголетним опытом знала, что нет ничего обременительней беспорядка, очень редко находила в себе решимость навести аккуратность в багаже.

Писательница уважала практические хлопоты. Но сама действовала в этой области порывами: схватится — отдаст прачке белье, вспомнит — разберется в папках, надо ехать — кое-как уложит чемодан, придет в ужас от истрепанных носовых платков — обежит магазины и купит... шляпку.

Да и в самом деле она работала такими же взрывами и разрядами, часто дотягивая работу до последнего срока, теряя много времени на выпрашивание отсрочки и сходя

с ума от забот, связанных в таком случае с безденежьем. А между тем она была трудолюбива. Ей нередко думалось, что она вполне могла бы даже редактировать большой журнал, возглавлять отдел народного образования или — еще больше — вести хозяйственное предприятие,— так тяготила ее порой скапливающаяся в ней и не растраченная целиком энергия. Вообще говоря, в писательстве есть для самого писателя что-то малоубедительное. В самом деле — обыкновенная резолюция «выдать» вырастает на живой земле практики и родит целую стаю последствий, которые именно в результате нее и должны возникнуть. Здесь усилие мысли непосредственно двигает колесо жизни. А куда и как растет в жизни, например, описание обыкновенной лунной ночи или чьих-то страданий? Каждый раз, перед тем как сесть за письменный стол, писательница вступала в мысленные препирательства с неким человеком, который упорным, благодарным, регулярным трудом строит мосты и дома, прокатывает металл или ставит и наблюдает физиологический эксперимент.

«Тебе хорошо,— мысленно взывала к нему писательница.— Ты приходишь в свое учреждение, и не успеет закрыться дверь, как тебя охватывает привычная, вся пронизанная условными рефлексами атмосфера труда. Идут сотрудники, посетители. Каждый их вопрос нельзя оставить без ответа, но каждый ответ взят от тебя, в сущности, усилием со стороны. Тебе лишь не надо сопротивляться, и деловой день так и понесет тебя на своем упругом крыле. Но вот зашел активист из месткома. Просит написать статью к женскому дню. Сколько же резонов приведешь ты, деловой человек, чтобы отказаться от этой статейки, которая на три четверти состоит из цитат и вся-то на полторы машинописных странички! А ведь эта твоя будущая статья — та же резолюция, никто не станет искать в ней ошибок против языка, да и сам ты больше всего бываешь доволен, когда твоя статья бывает похожа на такие же другие. Между тем, оставшись с белым полем бумаги, ты чувствуешь гнет «невыразимости». Мысли, которые еще так недавно стройным полетом проносились перед тобой при словах «Международный женский день», путаются, едва их нужно позвать к кончику пера. Они толпятся, нет даже самой первой фразы — начала. Хорошо, если заглавие предложено газетой заранее. Иначе встанет проблема выбора между «8 Марта,

женский день», или «День счастливой женщины», или еще что-нибудь. А ведь все эти оттенки — разные ключи настройки, они требуют согласования с текстом и спугивают становящиеся в порядок фразы первого абзаца. И все же у тебя не мелькнет даже тени подозрения — нужна ли, черт возьми, хоть одной женщине эта твоя статья? Всем могучим примером великой страны тебе дана уверенность, что твое высказывание нужно и сотрудницам, работающим в твоем учреждении, и их мужьям, и детям, что оно каплей социального добра падает в общий поток. Разве приоткроешь ты в этой статье хоть один уголок своей души, который хотелось бы скрыть от посторонних,— ну, хотя бы в отношении той же женской жизни? Разве тебе нужно идти на риск изобретать новые свойства слов и выискивать такие стороны бытия, которые в состоянии разбудить воображение читателя ослепительным зрелищем новых — вновь увиденных — качеств? Покинув тебя в кабинете, месткомовский активист не оставил тебя с глазу на глаз с гложущим душу сомнением: да полно, способен ли ты вообще написать что-нибудь нужное и полезное людям? Никто не подозревает, что, по существу, ты бездельничаешь, собирая цитаты и наиболее общеобязательные слова, сам же ты с первой минуты полагаешь, что погружен в занятие, которое и труднее, и полезнее многих и многих дневных твоих дел. У тебя, наконец, есть с чем сравнивать труд написания статьи. Ну, хотя бы с трудом приема посетителей или осмотра вновь строящихся цехов. Ты всем существом, с ногами и руками, всеми потрохами участвуешь в делании жизни. А я участвую в нем только частью, да еще такой, что называется дарованием. Но ведь в наличии этого дарования я могу сомневаться, и его существование не решает еще вопроса, что без него, быть может, все будет обстоять благополучнее и для меня и для других...»

Но в ту ночь писательнице было не до таких воображаемых монологов. Внезапно забрезжил замысел. В потоке пустяковых мыслей выделилась одна. Она как бы зацепилась за берега души и была очень проста: отец и сын. Различные убеждения. Отец революционер, сын весь переобременен собой, своей молодостью, своими безотчетными желаниями, бороться с которыми у него нет охоты...

— Довольно,— прошептала писательница и уселась за письменный стол, намереваясь набросать план.

Противопоставление поразило ее простотой. Тут возможна борьба, коллизии, каждое слово зуб за зуб, вражда... Это же пьеса!

И весь поток пустяков и посторонних соображений остановился, пропуская струю связанных между собой мыслей.

Однако в процессе обдумывания замысла персонаж отца коренным образом изменился. Путем сильных, но еще недоосмысленных ею внутренних настояний он из революционера превратился в крупного капиталиста, старого, по-своему умного стервятника, который провел всю жизнь в жестокой и суетливой погоне за состоянием и увидел себя у края могилы с толстым кошельком, но опустошенным и усталым, ненавистным всем, вплоть до собственного сына, мота, распутника, выродженца, которому всей мощью своего богатства не мог он дать ни здоровья, ни счастья.

И вдруг писательница отдала себе твердый отчет, почему возник у нее именно этот сюжет. Революционеров она знала мало и поверхностно, скорей умозрительно, а вот таких людей своего прошлого помнила хорошо. В свете всего недавно пережитого она целиком поняла и их, и это прошлое — и яростно, действенно возненавидела их.

Писательница лихорадочно набросала пролог, план четырех действий, после чего кинулась в постель и мгновенно заснула. Проснулась она с тяжело бьющимся сердцем.

«Что это со мной?.. Пьеса! Я же никогда не писала пьес. А оказывается — выходит! Но, быть может, я смогла набросать только первые диалоги?..»

Вспомнив, какая у нее глубокомысленная и тяжелая проза, писательница торопливо вскочила с постели и босая, дрожа от утреннего холода, стала легко, будто какую-нибудь пустяковую открытку набрасывать страницы первого действия. Действие развивалось точно по плану. Персонажи приходили, произносили и делали то, что им положено, и уходили. И хотя каждому она могла дать лишь строго ограниченное количество фраз, хотя в данной форме не могла снабдить их описанием наружности или психологическими экскурсами в их душевную жизнь, хотя знала, что написанное будет иметь настоящий смысл только тогда, когда оно будет произнесено со сцены,— тем не менее она слышала и видела воображенных ею людей с гораздо большей ясностью, чем даже тогда, когда писала самый подробный роман.

Несколько дней и ночей просидела она в комнате, выходя лишь в ресторан попитаться, а там боялась разговаривать даже с официантами, чтобы не нарушить гул голосов, которые явственно слышала в себе, и выбирала из него, запоминала, записывала на клочках все, что относилось к прямому развитию драмы.

— Я пишу пьесу... Я пишу пьесу...— шептала она иногда, радуясь, как ребенок, новому дару, так неожиданно приобретенному в каком-то южном городе, далеком от оживленной и культурной Москвы, где она умела писать только медленную прозу.

И вот на второй или третий день писания она оставила ход мыслей о пьесе и подумала о жизни.

«Что случилось? Откуда появилось у нее такое глубокое понимание старой жизни?.. Это математическое понимание».

Окружавший ее всю жизнь мир, замгленный всякими туманами, лживыми словами, глупыми домыслами, обветшалыми верованиями, повернулся, как на оси. Опираясь на ее переполненный счастьем понимания мозг, он встал перед ней — теперь уже правдой Павлушина, правдой других сегодняшних людей!

— Да, прав Павлушин, правы его товарищи, рабочие!— громко восклицала она, возбужденно бегая по номеру.— Родился новый строй! Как просто — и как непонятно... Он безгрешен, этот строй, как дитя, только что омытое от родовых вод. Он неутомим, как отрок, пылок и честен, как юноша. Он прекрасен! И мне дано видеть его. Он умен, он научил меня по-настоящему рассмотреть себя и прошлое. Он мудр — сколько суеверий победил во мне, даже тогда, когда я по мещанской глупости сопротивлялась ему. Он жесток — но его заставляют быть жестоким. Он щедр — он подарит мне душевное бессмертие, если я напишу пьесу, которая будет нужна зрителю и, главное, будет полна его умом и мудростью.

Будущее, будущее! Она держала его теперь в руках. Ведь то, что сейчас не больше глазка зародыша, обещает живое развитие. Самое главное — увидеть зародыш и понять его.

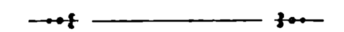
«И как это Павлушин, Досекин, Головня — он тоже партиец — теряли на меня время, когда я, в своем косном непонимании, была им совершенно неинтересна? А они всё мне объясняли, причем без раздражения, потому что им дорого

их дело и они готовы тратить все свое время, все свое здоровье, чтобы открывать суть этого дела каждому, кто искренне хочет им содействовать. Как много сил тратила я на сопротивление этому новому миру, на пустые допросы. И как я свободна теперь».

И она снова кинулась писать.

И то, что она писала, представлялось ей жерлом наведенного в старый мир орудия, которое должно стрелять и разрушать твердыни того мира — ее прошлого и для многих и многих населяющих планету людей — настоящего.

Январь 1933 г.— август 1935 г.— октябрь 1936 г.



РАССКАЗЫ

Форпост Индии

I

Демонстрация не удалась. Тяжелее всех это сознавал сам Изатулла Ахметов, по настоянию которого демонстрация состоялась. Вчера ночью было решено снять с работы амбалов, сгружавших на Пира-Базаре товары с керджимов энзелийских купцов для купцов рештских. Вчера выдалась горячая ночь. Комитет был накануне провала. Все догадывались, а Изатулла Ахметов знал наверное, что Кеворк Мирзаянц предал партию.

Назначенное собрание пришлось перенести с квартиры Изатуллы, председателя комитета, на квартиру другого товарища, простого амбала, занимавшего под жилье хлевок для лучших ишаков хана. Но хан обеднел, лучшие ишаки у него повывелись, а хлевок он сдал амбалу. Хлевок тесен — собрались во дворике.

Изатулла Ахметов недавно приехал из Баку, где работал на промыслах.

Проехав из Баку триста верст на пароходе, он почувствовал здесь, в родном городе, что любит это темное небо с огромными звездами. Ахметов — большевик. Ахметов три года не видел прекрасного Гиляна. Он научился смотреть на небо и видеть низкие звезды. Ахметов говорил:

— Товарищи! Это Первое мая мы должны провести вместе с пролетариями всего мира. Товарищи, теперь нет разных стран, разных народов. Теперь есть только богачи — ханы, беки, агалары, купцы, и есть всемирные амбалы — рабочие и рабы — крестьяне. Рабочие и бедняки — все родня. Это наш праздник. Мы должны показать купцам, ханам — поработителям наше родство с мировым рабочим классом.

Так говорил Ахметов. Что еще он должен говорить? Ахметов любит персидское небо и звезды над соломенными двориками. Ахметова перебивают звонкие лягушки; он их слышал двадцать три весны тому назад, когда впервые стал слышать, они так же захлебывались и звенели в ушах. Он слушал их на рисовых болотах, где работала его мать.

Ахметов знает немного слов чужих, их он произносит неумело. Но у Ахметова есть сердце, оно любит бедняков, рабов и амбалов, оно ненавидит купцов. Оно даже не боится англичан.

Его товарищи по комитету не знают ни одного европейского слова, которыми, коверкая их, ворочает Ахмет, но понимают его. Они знают, как трудно поднять запуганных рабочих на их хозяев. Они боятся англичан. Они качают высокими котлообразными шапками. Они чувствуют слова Ахметова и жар этих трудных слов и боятся англичан. Англичане, как желто-зеленые мухи — таков их военный наряд,— засидели лучшие особняки в городе, они ходят по городу злые, гордые, голоколенные.

Но не за себя боятся комитетчики голоколенных, их браунингов и палок, а за тех, кого завтра будут подымать с работы впервые за тысячелетнее существование Персии. Молчат. Ахметов предлагает голосовать; руки воздвигаются «за». Их шестеро. Завтра они пойдут снимать с работы амбалов Пира-Базара.

Редкий день.

За городом видны все окрестные хребты; они кажутся фиолетовыми и синими облаками, окаменевшими на далекой земле. Эти хребты обычно не бывают видны. В Гиляне из недели — четыре дня дождливые, остальные туманные. Гилян — огромное блюдо, наполненное паром. До гор верст шестьдесят.

Чудесный день.

Таких в году выдается несколько, да и то не ежегодно. Небо синевы почти черноватой, а солнце, сползая с зенита, резко стелет опережающие Ахметова черные, короткие, уродливые тени.

Демонстрация не удалась.

Ахметов с болью и со стыдом припоминает, что они, весь комитет, вшестером бегали от кержима к кержиму, от пристани к пристани, от лавки к лавке и, горячо произнося трудные, русские по преимуществу слова, уговаривали

бестолковых, пугливых, мускулистых людей, ноги которых похожи на толстые бутылки коричневого стекла — так они тверды и блестящи,— идти в город, собраться там на площади, спеть несколько песен и разойтись. Нельзя работать в день, когда все рабочие во всем мире не работают. Но люди, которые питаются отбросами из помойных ям,— беден стал персидский народ, истощенный чужой войной на его земле: русских, англичан, турок, немцев,— эти люди не умеют разговаривать европейскими словами, не научились понимать их. Они боятся купцов: кто заставит хозяев заплатить поденные краны и шаи не пожелавшим работать амбалам? Еще больше они боятся англичан.

Впереди Ахметова идет обрубленная, кривляющаяся тень. Сзади Ахметова — позор и ужас. Тело Ахметова горит от быстрого бега и нагаечного рубца. Он убегал, когда на их толпочку, у которой даже не было красного лоскутка, на толпочку человек в семь — десять (из тысячи амбалов подобрались эти храбрецы) налетел взвод персидских казаков под командой белого русского офицера и порол визжащих людей. С казаками — Ахметов заметил — был Кеворк Мирзаянц, предатель. По его наущению и указанию арестовали двух членов комитета.

Ахметов случайно спасся: через незапертую калитку он пробежал пустынный дворик, весь благоухающий розами, наполненный болтовней фонтанчика и испуганным клохтанием женщин за стеклянной стеной, перемахнул в сад, а из сада — в перелесок из уродливых, как тени, узловатых деревьев, за которыми начинались рисовые поля.

Здесь душно, здесь в арыках почти закипает вода. Пот на теле липнет, а не испаряется.

Полдень миновал; горы, что были видны, истончаются и готовы взлететь в туманящееся по овиди небо, став легким паром. Но ужасное утро близко: оно даже не вспоминается, а готово продолжаться.

Впереди Ахметова — черная тень-обрубок.

II

Мак-Дэрри, великобританской королевской службы капитан, комендант города, принимает доклад:

— Персидская полиция ничего не делает: она наполови-

ну джунгели и кучукхановцы. Мирзаянц сначала обратился в полицию, и когда с него потребовали по обыкновению взятку за то, что он предлагает арестовать местных большевиков и врагов порядка, он явился ко мне и сообщил, как вам известно, о готовящейся демонстрации.

Все это докладывал лейтенант Раленсон, адъютант Мак-Дэрри, капитана.

— Теперь ликвидирован весь комитет. Двое пойманы во время демонстрации Первого мая, двое убиты при аресте на конспиративной квартире, когда был пойман Ахметов, главарь шайки. Один из убитых — хозяин квартиры, тоже большевик и член комитета, как я докладывал.

Мак-Дэрри лениво поводил зеленым глазом, как потухшим прожектором, по лицу бритого адъютанта и заговорил медленно и повелительно, будто диктуя:

— Мирзаянца наградить — выдать из сумм контрразведки двести туманов.

— Он желает вас видеть, сэр. Лично заявить преданность.

— Кто? — спросил Мак-Дэрри, капитан. — Мирзаянц? Нет. Он сделал свое дело, а мне с ним разговаривать не о чем.

Мак-Дэрри бреется каждый день перед обедом, каждый день принимает ванну; Мак-Дэрри для своих подгнивающих зубов употребляет самое патентованное полосканье: Мак-Дэрри чистоплотный человек. Он еще раз подтверждает свою мысль:

— Пожалуйста, Раленсон, не пускайте ко мне на глаза этого мерзавца.

Раленсон сам через пять лет, когда будет капитаном, не будет разговаривать с непорядочными туземцами и предателями. Раленсон с удовольствием передаст Мирзаянцу решительный отказ джентльмена и капитана.

— Разрешите еще доложить, сэр, — продолжает понятливый Раленсон, — что этот Ахметов, председатель, сильно европеизировавшись, очевидно в большевистском подполье, в Баку, объявил голодовку.

Потухшие было глаза Мак-Дэрри загорелись снова.

— Что?

— Представьте себе. Сегодня начальник тюрьмы Мирза-Мамед-хан испуганно явился ко мне и донес, что Ахметов требует допроса со стороны английского командования, ко-

торое, по его словам, его арестовало, хотя и с помощью персидских полицейских. Он, оказывается, голодает четыре дня.

Мак-Дэрри решительно заинтересовался.

— Ну и что же?

— Случая такого еще не было в практике персидских тюрем. Мирза-Мамед распорядился было побить его по пяткам палками, но я отменил своею властью... У нас есть более культурные способы.

— Вы совершенно правильно поступили, Раленсон,— одобрил Мак-Дэрри,— мы должны искоренять варварство в этой стране.

— Прикажете допросить?— заторопился Раленсон.

Мак-Дэрри простодушно изумился:

— О чем мы его будем допрашивать? Да и почему мы? Какое мы имели право вступаться в это официально, как британские власти? И, наконец, вина его нам известна, как и ему самому, и все ясно.

Сердце капитана преисполнилось лаской к молодому неопытному подчиненному. Он что-то соображал.

Молчание.

— Милый Раленсон, вы — молоды. В Европе везде, не говоря уже о королевстве, в любом захолустье рабочий имеет право демонстрации. Но здесь иное дело. Здесь амбалы, и здесь все трещит по швам. Здесь мы не должны нарушать местные законы и ставить страну под угрозу революции. Ведь и в варварской России началось с таких демонстраций. Некультурные люди демонстрациями не удовлетворяются. А мы — форпост Индии. Но все же я чувствую уважение к этому европеизированному большевику. Допрашивать его не о чем. Но мне пришла в голову одна идея. В лондонском Скотленд-Ярде принимают одну меру...

Он помолчал снова.

— Арест этого... Ахметова,— продолжал капитан, наводя взор на внимательного подчиненного,— есть, главным образом, мера изоляции, пресечения, а не наказания. Да, я полагаю, что идея Скотленд-Ярда здесь вполне применима...

Мак-Дэрри беспрепятственно развивает мысль.

— Я повторяю, что нашего арестованного следует держать без допроса.

Раленсон не утерпел.

— Чтобы он...

— Вы хотите сказать — умер от голодовки,— перебил Мак-Дэрри.— Неужели вы думаете, что в лондонском Скотленд-Ярде гнездятся такие мысли, простите? Это у нас не пройдет безнаказанно для тех, кто допустил смерть от голодовки. Много шуму подымется. Это слишком долго. Это к тому же неверно, потому что арестант может смириться и начнет кушать с новым аппетитом. Это, наконец, варварский способ. Наоборот, я предлагаю устроить большевику искусственное питание. Распорядитесь пригласить ко мне врача из гарнизонного госпиталя.

Раленсон вышел в переднюю. Ему жутко.

III

Мак-Дэрри хохочет.

— Европейцы, европейцы совершенные, доктор.

Он считает доктора равным себе и позволяет себе смеяться при нем.

Все двери в кабинет плотно закрыты, и только солнце просачивается в разноцветные стекла во всю стену, играя на смеющемся лице капитана и даже на его скучном костюме хаки орденской разноцветной ленточкой.

— Голодовка. Требует допроса. Азия цивилизуется. Но я считаю такой быстрый прогресс гибельным. Полагаю, что надо сломить упорство этого арестанта и сделать его навсегда безвредным.

Доктор, как все военные, тоже в скучном открытом френче хаки. Он к тому же желт от малярии и хронического поноса. Он желт потому еще, что употребляет териак, то есть опиум. За этот порок его не принимает вся английская колония в городе, хотя как врачом и пользуется.

Но все же он глубоко, бессознательно, нутром, больным телом ненавидит Персию, ненавидит и персов, как порождение этой гиблой, недужной страны, с горячностью изнуренного и сосредоточенного териачника. В Персии он давно и потому речам капитана удивляется, как удивлялся им Раленсон.

— Кормить персюка искусственно?

— Ну да, доктор,— ответил Мак-Дэрри.— Я, видите, не верю в твердость его решения голодать, что могло бы, при его твердости, нас от него избавить. А у нас применяется

один способ. Обычно преступники страшно любят порисоваться и насильственному питанию противятся. Персы же рисуются больше всех.

Доктор слушает равнодушно, вяло думая о хлопотах с сопротивляющимся пациентом,— он навсегда погружен в безразличную синюю теплоту, которую дает ему курение опиума.

— Так вот,— слышит он далекий будто голос Мак-Дэрри,— благодаря этому сопротивлению случается, что пища входит не в глотку, а в дыхательные каналы. Это очень, очень опасно. Это часто смертельно. Только надо кормить через зонд, а не питательной клизмой.

Капитан Мак-Дэрри специально перелистал в консульской библиотеке «Искусственное питание» по «Британской энциклопедии».

Доктор встает.

— Понимаю,— говорит он.— Разумеется, зонд. Сегодня вечером я к вашим услугам.

По лицу Мак-Дэрри бегут быстрые, брезгливые морщины.

— Нет, нет.

Он отмахивается.

— Нет, я не буду. Будет мой адъютант, лейтенант Раленсон. Вас не затруднит поехать с ним в персидскую тюрьму?

— Отчего же?— возражает доктор.— Я никогда не посещал тюрьму, хотя двенадцать лет здесь. Должно быть, любопытно. Положим, мне уж ничто здесь нелюбопытно,— спохватывается он, видя, что капитан встает из-за стола.— Понимаю,— отвечает он на какой-то свой внутренний вопрос.— Понимаю,— повторяет он, уходя, и забывает пожать руку Мак-Дэрри, которую тот почему-то и не протягивает.

IV

Мак-Дэрри, капитан королевской службы, обычно неразговорчив.

Приходя в ресторан к обеду, в восемь вечера, он с девяти сидит один с полбутылкой коньяку на террасе и, глядя на круглую площадь, всю залитую, как черной тенью, нежней-

шим бархатом персидской ночи, пьет медленными глотками горячий, сушащий горло напиток. Он выпивает полбутылку, спрашивает вторую, чтобы провести время до двенадцати. Смотря на этого невысокого, бледного человека, равнодушно опорожняющего огненные бутылочки, удивляются про себя искушенные лакеи-персы.

Ночь бархатная, знойная, сырая, не расстающаяся с дневной жарой. Вокруг отдаленных желтых огней у фруктовых лавочек и лотков, что на другом конце площади, видны радужные огромные круги. Такие же круги, только поменьше, как спасательные пояса, висят у спиртовых шипучих рожков, плавающих в белом ледяном море здесь, на веранде.

Персидская ночь даже в городе раздираема какими-то странными вскриками. Собачий лай на окраинах превращается в шакалий вой и жужжание насекомых — в таинственный звон, а крикливый, страстный, озлобленный говор персов враждебен слуху завоевателей. Таким его слышит и Мак-Дэрри.

Мак-Дэрри начинает вторую полбутылку. Он уже с трудом различает радужные круги вокруг фонарей; фонари сливаются в пятна, напоминающие луну на восходе в росистый вечер. На веранде безлюдно и тихо. Компания офицеров у входа в зал пьет виски с содой. Пьет с достоинством и без лишних разговоров: компания стесняется Марк-Дэрри, капитана и коменданта города.

Бутылка капитана маленькими рюмочками истощается до половины; время к одиннадцати. Мак-Дэрри чувствует горячее окоченение и полную свою уединенность. Вдруг с треском лопается дверь. Этого здесь никогда не бывает, чтобы так резко звенели дверью вместе с захрипевшими в зале часами. Быстро вошедший офицер оглядывается, ища кого-то. Он бледен. Он вышел из темноты и щурится от радужных кругов. Это лейтенант Раленсон.

«Это ко мне»,— думает Мак-Дэрри и сердится: он не любит, когда его беспокоят по делам вечером, после пяти часов.

— Алло, Раленсон! — зовет он бледного офицера.— Вы ко мне? Я здесь.

Раленсон поворачивает голову на зов и, заметив, что голос того, кого он ищет, прошел из-за угла, расталкивает на пути стоящие столы, звенит, толкая, посудой на неубранных

столах; он идет как лунатик, только на зов, плохо различая обстановку.

Мак-Дэрри все это видит и негодует. Его уединение прерывается самым бесцеремонным и невнимательным в мире человеком, он остается наедине с этим нахалом, чувствуя, однако, откуда-то любопытные взгляды.

— В чем дело? — спрашивает Мак-Дэрри.

Он слегка шепелявит, но трудно понять отчего — от неудовольствия или от коньяка. Кроме того, он все позабыл и видит этого — хотя и знакомого — офицера впервые. Он пьян.

Раленсон стал перед столом Мак-Дэрри как на докладе.

«Это неприлично», — медленно перелистывает мысли капитан.

— Садитесь, — говорит он. — Вы в ресторане.

Но Раленсон не садится. Раленсон непозволительно бледен. Он теребит ремни, означающие, что он — дежурный.

— Сэр! — начинает он, все еще стоя и не собираясь сесть, чем обращает на себя внимание. — Сэр! Арестованный Ахметов, которому сейчас вводили искусственное питание, умер, потому что...

Видно, эта фраза не кончится — так медленно опрастывает рот Раленсон от своих тяжелых слов, произносимых деревянным голосом, слышным на всех концах террасы.

Мак-Дэрри узнает офицера. Мак-Дэрри все припоминает. Это наконец взорвало Мак-Дэрри.

— ...потому что он сопротивлялся и пища попала в легкие. Это бывает, когда сопротивляются... Врач здесь не виноват... Но... сознательно...

Мак-Дэрри ловит мысль Раленсона.

— Сядьте же, Раленсон, — приказывает он ему. — Сядьте, это неприлично. Что «сознательно»? Как вы молоды!

Апрель 1922 г., Серебряный Бор

Лунный месяц рамазан

I

Прекрасный вид! В особенности когда вырвешься к вам из этого ужасного города, раскаленного, как камин.

Тот, кто бывал на веранде мистера Эдвардса, директора Керманшахского отделения Imperial Bank of Persia, не раз, вероятно, излагал эту мысль о загородных красотах директорской резиденции.

Но слова Чарльза Эддингтона, ротмистра персидской казачьей бригады, заключавшие, как и слова его многочисленных предшественников, лишь тень настоящих чувств, вызывали сочувствие. Широкое движение руки, которым он осенил приятный ему пейзаж благоволением преуспевающего офицера, понравилось дамам.

— Вы правы! Прекрасный!

— Трудно представить себе что-либо более эффектное!

— Круглые сутки такая красота!

— А у меня не хватает таланта написать все это красками,— заметила уже задумчиво сестра миссис Эдвардс, хозяйки дома.

— Я уверен — это оттого, Дженни, что ты лишена возможности посмотреть горы вблизи. Без глубоких и близких впечатлений нет искусства. Когда ты почувствуешь всю грандиозность и массивность этого желто-бурого хребта — лишь сейчас и отсюда он кажется лиловым,— ты найдешь путь к настоящим краскам. Для полного отображения мира нужно проникновение в него. Я понял Персию, когда погладил каменного Хамаданского льва. Безногий, он пробился сквозь чащу времен из Экбатаны в наши дни. А здесь эти горы, этот Тагибустан!.. Это в них врезаны знаменитые барельефы времен Сессанидов, хотя их и приписывают Александру Македонскому, как все древние могилы во всех горо-

дах называются могилами Эсфири и Мардохая. Изумляешься древности этой страны, ее тысячелетней красоте!

Лонгшез поскрипывал под звуки плавной речи. Мистер Эдвардс отдыхал от живых движений тенниса, слегка жестикулируя; работа памяти и языка углубляла чувство покоя.

«...Прекрасный вид!» — тень тени того, что совершалось в мире перед пятичасовым чаем в тот августовский день.

За тяжелыми клубами зелени сада, за необъятной его влажностью, насыщенной мощными запахами роста и плодоношения, под расточительным солнцем лежали — нет, летели — эти горы, похожие на брошенную сиреневую гроздь. Они истончались, становились воздушнее, словно исходя вечерним теплом, они переливались, как шелк changent, цветами правой границы спектра, они, казалось, были напоены досягавшим сюда ладанным благоуханием. Их горение зажигало горизонт. Они отражались в фиолетовых глазах мисс Дженни.

— Рой мистических размышлений окружит тебя, как суфия... «Господи, это великолепно»,— невольно скажешь. И тогда искусство, твоя беседа с божеством победит бедность палитры, то есть сопротивление мертвого материала, косность неорганизованной материи...

Он разводил все это с безразличием хорошо цивилизованного человека, и во многовместительной его голове кипело: «Возьми ее замуж! Ты по крайней мере породнишься с культурной семьей, которая вытравит из тебя казарму, даст тебе уют». И он продолжал:

— Мне очень жалко, что ты попала в Персию в такое неблагоприятное время. Туземцы обнаглели, за город подальше нельзя показаться. Для нас они накупили у русских пятизарядные винтовки казенного образца. Раньше были просто разбойники, теперь — какие-то партизаны. Чтобы доказать, что моя командировка полезна моим соотечественникам, я предлагаю организовать поездку верхом на этот ваш доисторический Тагибустан. Я так рад услужить мисс.

— Правда?

Миловидное порождение туманного острова, нежное, как клен в цвету, оставляющее в этом ужасном климате вкус мяты, мисс Дженни жеманно поиграла голубыми глазами.

«Стоит жениться»,— подумал ротмистр и подошел к балюстраде.

Готовясь нежно побеседовать, он кашлянул. Набрел на подходящий предмет разговора и начал:

— Я ненавижу эту страну, презираю этот народ, злой, бессильный и продажный. Мы теперь переживаем постные дни рамазана. Сумасшествие! Весь город ходит с безумными глазами, шатаясь от голода. Какая бессмыслица — не есть целый день и нажираться ночью овощами и зеленью при здешней санитарии. Религия вполне выражает нацию. Как это далеко от разумного христианского поста, ну, скажем, греков.

Мисс Дженни внимала с терпением тридцатилетней девственницы.

— Уедемте отсюда,— прошептал он.

Но их прервали.

— А вот и Мак-Мерри! — сказала миссис Эдвардс, щурясь в лорнет.

Ее красненький носик заиграл между черепаховыми кругами, как кролик. Незаметными мановениями она нагнетала гостеприимство во все окружающее. Быстрее задвигались два дюжих, как гладиаторы, афганца, предупредительные, как вавилонские рабы, ловкие и преданные, как борзые. Чай зарумянился в широких чашках.

Скрипя по песку, приближалась консульская чета.

— Поздравляю вас с наступлением рамазана,— крикнул, подходя к лестнице, консул.

— Знаете, мы едем послезавтра на Тагибустан,— сказала мисс Дженни.

— Ротмистр предоставляет охрану,— догадался консул и улыбнулся вольтеровской улыбкой с преувеличенно загадочным видом.— Мы поедем?

Жена его растерянно поглядела на сиявшую свояченицу банкира и утвердительно кивнула головой. Она была приглуховата.

Ротмистр чувствовал себя помолвленным.

— Вы знаете,— сказал консул, отхлебывая чай,— я сегодня получил из собственных источников замечательное сообщение. Оно касается больше всего вас, ротмистр. Губернатор очень сердится...

— На кого?

— На вас же.

— Что я сделал этому жирному дураку?

Мак-Мерри рассмеялся кашляющим смехом.

— Вы не повторили ему... ему... ви-зи-та!

— Ну и что ж из этого?

— О-о!..— И консул зашелся плачущим смехом.

— Я не знаю ваших военных дел,— заметил Эдвардс, давая понять жене, что дам следует увести,— но в общественных отношениях я несколько разбираюсь и думаю, вы совершили большую ошибку.

— Я предлагаю, mesdames, пройтись по саду!— пропела хозяйка недовольным голосом.

— Это ошибка, повторяю. Что за беда, что он не принял вас в первый раз! В его возрасте, при его знатности можно и поважничать. Оставьте им эту мелкую восточную слабость. Помните, что писали о персах путешественники еще прошлого века: Эван Смит, Мак-Грегор, де Гобино?

— Да, времена изменились,— сказал консул, морщась.— Еще так недавно, после ухода русских, нам казалось, что в короне Британии сияет новая жемчужина — Иран. Теперь все пошло иначе. Надо менять отношение к туземным верхам.

Эддингтон рассердился и промямлил с ужимками столичной косточки:

— В Тегеране и представления не имеют, что у вас здесь делается. Я, как военный...

— Вот то-то и беда, вам не дали инструкций!

— То, что я получил, едва ли можно назвать так... Меня, как усмирителя Исфаганского округа, позвали к самому премьеру Сепехдару и предложили поехать сюда.

— Против Сулеймана?

— Разумеется! Он почитается там за демократа, революционера.

— И правильно: он бесстрашный партизан, несомненный русофил... Мятежник!

— Может быть. Я не успел, к сожалению, в этом убедиться. Я очень люблю усмирять мятежи!.. Но, помилуйте, что за неразбериха! Меня послали подавлять восстание, открытый бунт курдских племен под предводительством этого самого Сулейман-хана. Что же я здесь застаю? Невозмутимое спокойствие! Министр внутренних дел рекомендовал больше всего доверяться губернатору и избегать военных властей,— все наоборот! Правительству предан эмир, а губернатор какой-то крамольник и родственник Сулеймана.

— Ну, это вы напрасно! Правда, он возражал против

вашего карательного рейда в Биситун. Однако он, а не вы, оказался прав.

— Он не изволил даже пригласить меня на совещание. А я упустил из виду, что большая часть казаков моего эскадрона оказалась здешнего происхождения. Было три случая дезертирства.

— Они перешли на сторону Сулеймана, а ведь у вас не было ни одной стычки... Что было бы, если бы разбойник принял бой?

— Я, как офицер, еще раз утверждаю, что нельзя вводить даже признака территориальной системы в персидской казачьей бригаде.

Сиреневая гроздь Тагибустана пылала, и, вероятно, весь день, весь зной, вся духота пламенного лета уходили на поджог дальних гор. Откуда-то из недр сада, вместе с женскими голосами, вместе с поднимающимся от корней кряжистых стволов сумраком, в котором деревья готовились распуститься, как порошинки туши в воде, вместе с шелестом платьев и дыханием разбуженных цветов, проструилась первая прохлада.

II

Путешественники сравнивают Керманшах с североафриканскими городами по климату, по виду, по внутренней планировке,— похоже, что так. На большей части протяжения этих широт разбросаны такие мусульманские города, каждый словно несколько куч щебня, близко сваленных и ссыпавшихся вместе,— город на холмах. Как раз на среднем из холмов, облепленном мазанками, которые, как будто их подталкивают снизу, разъяренно лезут на самую вершину, раздаваясь от тесноты, непомерный жары трещинами улочек,— на самой вершине стоит реквизированный еще войсками генерала Баратова караван-сарай.

В его белоглиняных, толстостенных закоулках и расположен эскадрон ротмистра Чарльза Эддингтона.

— Кто раз был укушен змеей, тот и веревки боится,— сказал, сваливая принесенное седло на нары, казак из первого взвода Ибрагим-Заде.— Невзлюбил меня ротмистр, а я и от Асад-Али-хана, поручика, бегаю. Тяжело служить. Один наш векиль-баши все радостью не исходит.

Векиль-баши, то есть вахмистр, Гулям-Гуссейн, маленький, докрасна затянутый в бешмет, желтолицый человек, ответил веселым, наигранным и сорванным постоянными криками команды голосом:

— Что ты все брюзжишь? Какой ты казак! Чем ты недоволен?

— Да всем. Вот, например, стоим здесь без всякого дела. Занимаем вон какое помещение, сидим взаперти... А с какой стати, когда это моя родина? И у меня, и у тебя, и у Мамеда, и еще человек у сорока тут семья, дети, дом. Приехали, думали — бои будут. А тут пошло то же, что и в Тегеране: учение да лошадей чистим.

Кто-то, видно потешник, запел тонко, как ученик в медресе: «Молчи, чтобы язык не довел тебя до геенны. Из житейских зол язык наш — самое ядовитое зло».

Вахмистр, не понимая шуток, грозно поглядел в темный угол, оттуда неслось это поучение Саади.

— Эй, смотри, Багир! — крикнул он. Обратясь к Ибрагиму-Заде, заявил: — Я домой не рвусь. У меня детей нет.

К ним подошел Мамед, старый казак с бурыми усами, склонный к важным спорам, с памятью, засоренной изречениями.

— Э, не прикидывайся, векиль-баши! — заметил он. — Сам же говорил, что первенца ждешь. И не о том речь...

Ибрагим-Заде обрадовался поддержке:

— И не о том. Я говорю — командир такую строгость завел! Я нынче у него просился — дома большое дело одно, — не отпустил.

— Порядок! На то он и англичанин...

— Да что ты в них, как в пророка, веришь!

— На то он и англичанин, говорю, чтобы нас к порядку приучать. Без этого с персидскими казаками разве сладишь? А тебе когда нужно-то?

— Завтра, Гулям-Гуссейн, завтра. Будешь братом родным, если отпустишь.

— Сам не могу.

— Командира попроси, он тебя любит.

— А командира и просить нечего: завтра он назначил весь первый взвод сопровождать его в прогулку. На Тагибустан едем. — Он поднял голос. — На Тагибустан едем! Наш командир, консул и начальник банка, с женами.

На скулах у Ибрагима-Заде заиграли желваки, он

отошел к своему седлу и принялся возиться с подпругой.

— Я слышал, будто женится командир на дочери консула? — сказал Мамед.

— Не твоего ума дело, на ком командир женится! — Вахмистр стоял руки в боки и притопывал ноговицей. — На свояченице банкира он, может быть, и женится, а у консула и дочери нет.

Он вышел из казармы.

Мамед сердито посмотрел на плотно захлопнувшуюся дверь.

— Что-то уж очень важен стал наш векиль-баши! Восемь лет его знаю — никогда он не был так горд и беспечен. Ты, как овца, не думаешь об опасности, веришь судьбе, как пастуху, она же — волк в овчарне.

— Смотри, как уверовал в англичан, до жестокости!.. А, Мамед? Ведь знает, что я вправду по делу прошусь, — нет, уперся на своем.

— Солдат домашних дел не ценит! Прилепился к нашей бродячей жизни. А должен бы знать, что не строят караван на месте стоянки крепкого жилища.

— Верно! Родной дом — великое дело! Вот мы пустили к себе в дом чужих распоряжаться, да и не знаем, как разделаться.

— Тише ты, Ибрагим-Заде! Услышит такие речи, голову снимет. Горяч наш векиль-баши! Помнишь, в Исфагани сам веревку по приказу командира на шею набрасывал.

— Ну, я ему так не дамся! За меня тут и заступник найдется.

— Тсс! Тише!

III

Не восхищались только лошади. Лошади были утомлены жарой и ожиданием. Гнедая длинная кобыла Эддингтона вырывала повод из рук старика Мамеда и клала голову на холку соседки, Эдвардсовой полукровки. Не восхищались, впрочем, и солдаты конвоя. Они, как и лошади, с тоской смотрели на пруд, полный родниковых вод, серебрившийся, словно кусок льда, в травяной желтой раме. Над прудом навис отвесный хребет, гладкий и тяжкий, прикрытый бурой травой. Бурая трава, за десять верст игравшая шелками,

пробивалась сквозь крепкую породу с сухим ожесточением. Трава, непобедимая, как преступление, раздавалась, однако, перед тремя выбитыми в подножии хребта огромными нишами, похожими на складень. Три каменные комнаты — ровесницы пирамидам — безразлично раскрывали свое серо-аспидное лоно взорам зевак.

— Вот отсюда пошли формы мавританского свода. (Все подымали голову к потолку.) А в свою очередь эти формы древнеперсидское искусство заимствовало из Ассиро-Вавилонии. Самая крупная ниша средняя. Она на задней стене, как вы видите, содержит изображение царя, которому приводят пленных. Сюжет этот взят со знаменитого Биситунского барельефа, созданного по приказу царя Дария, с тем самым клинописным манифестом, который был разобран Шамполионом. Как все великие вещи, эти барельефы созданы капризом и завистью и, как все ґениальное, не были окончены.

Разглагольствования Эдвардса питались явно не столько тем, что он видел, сколько — как и у всякого гида — воспоминаниями о том, что он когда-то слышал или читал.

Консул вежливо позевывал, закрываясь мокрым от пота платком. Его жена уныло водила глазами по страшным мускулам истукана и по грозным завиткам его бороды.

Миссис Эдвардс восхищенно щупала древние камни, с которыми так запросто обращался ее муж.

Ротмистр увел Дженни в правую нишу, всю испещренную изображением охоты воинственного Сессанида, и, прижав ее голову к задираемому сворой медведю, целовал ее холодом освежающие зубы.

— Эдвардс говорит, что здесь четыреста фигур,— как жаль, что я не могу поцеловать тебя четыреста раз!

Она смеялась прямо в пасть оперененного стрелами льва.

— Алло, Эддингтон!

— Дженни, поди сюда!

— Как они надоедливы!

Они все же немедленно вышли из своего древнего убежища на послеполуденное солнце, упавшее в слепой от света пруд.

Четыре головы — две в пробковых шлемах и две в белых шляпках — были связаны с каким-то движением наверху

невидимой цепью приводов, повертывавших запрокинутые лица куда угодно.

Перс ловко взбирался по отвесной горе.

— Он достанет душистую траву, душицу l'origan! Так, кажется?

Казаки столпились у коновязи, вокруг Ибрагима-Заде и вахмистра Гуссейна. Он распространялся:

— Вот они, англичане! Образование, ум! Всё они знают, все понимают. Банкир говорит о нашей стране, как о своем доме. Тагибустан объясняет, как картину у себя на стене.

— Велика хитрость! И я не заблужусь в своем кошельке.

— Молчи, Ибрагим-Заде! Как он рассказывает: этому столько лет, этому столько...

Перед собой бахвалится: «Вот над какой страной мы владыки!»

Лицо векиль-баши подернуло кровью.

— Ну! — крикнул он. — Начал! Что за речи для казака персидской бригады! Тут тебе не Сулейманова шайка!

— Ты подумай о Сулеймане, а потом бранись.

Лошади, услышав голоса ссоры, запрядали ушами.

Но размолвка не успела разгореться. Мальчишка лет двенадцати, ангел с лицом недолговечной красоты детства, подбежал к Ибрагиму-Заде.

— Он дает туман!

— Кто?

— Ваш командир.

— За что? Что ты толком сказать ничего не можешь? Запыхался.

— С ним стоит молодая ханум и говорит: «А ты, мальчик, умеешь так высоко лазить и доставать англичанам душистую траву с гор?» Так мне передал ее слова старик. Я сказал: «Я умею, я здешний». — «Ну, так ты получишь туман, если влезешь выше того мужчины, что сейчас там, наверху, и сорвешь душицу!»

— Ну?

— Я сказал: «Выше — трудно». Ахмет мужчина, он лазит лучше всех у нас. Скажи, брат: лезть мне или нет?

Ибрагим-Заде посмотрел на него и затрясся от возмущения.

— Тебе дают туман, щенок, а ты еще спрашиваешь! Что, у вас с матерью амбары полны, вода в арыках не просыхает? На старшего брата надеетесь, на казенное жалованье! Лезь!

Что англичанка мерить будет — выше ты поднялся Ахмета или нет! — И ласково: — Беги, Али, не заставляй ждать.

— Пойдем посмотрим, как братишка зарабатывает туман!

Голос Ибрагима-Заде был горек и злобен. Когда они вышли за выступ скалы, отделявшей их от забавного зрелища и англичан, то увидали, что мальчишка забрался довольно высоко. Он легко и уверенно цеплялся босыми ногами за невидимые уже уступы и трещины. Казалось, он прилипает, как муха, к отвесной стене. Потом развевающиеся лохмотья понесли его, как крылья. Еще мгновение он парил неподвижно. Англичане подняли бинокли. Наконец он повис в воздухе. Он плавал, как плавает ястребенок в рыжих облаках заката.

— Хорошо! Я сам лазил в его годы. Хорошо!

Клекот английского восклицания донесся до них.

Это кричала мисс Дженни:

— Выше, мальчик, выше!

Ибрагим-Заде позеленел.

— Она не понимает, а выше нельзя!

Бинокль дрожал в руке мисс. Пот засиял у нее на висках.

— Крикните ему, Чарли, чтобы выше!

Ротмистр сложил руки рупором, и, как на плацу, раздалось:

— Наддай!

— Он не слышит!

Она топнула ногой.

— Выше! Меня это занимает! Я не хочу, чтобы нас дурачил мальчишка! Это меня возбуждает, Чарли.

«Чарли... возбуждает...» Эддингтон выхватил кольт и выстрелил вверх.

Ястребенок слегка шевельнулся.

Ибрагим-Заде хрипло кашлянул.

— Что они делают! Щенок выбивается из сил.

Еще выстрел.

В рыжей высоте произошло что-то неладное.

Мальчик, казавшийся птицей, в один миг превратился в комок, медленно, по прямой опускаясь к земле. Кто-то нашел время ахнуть. Время остановилось, пропуская мальчишку. Он летел, как камень. Уже стало видно, как лохмотья отставали от тела. Он падал далеко влево, куда его

увела, еще живого, трещина. Раздался глухой и влажный шлепок. Ибрагим-Заде побежал в другую сторону. Никто в суматохе не заметил, как он вскочил на лошадь.

IV

— А где Ибрагим-Заде?

Не успел вахмистр повернуться в седле для почтительного ответа, как нагайка ротмистра свистнула над плечом. В этом свисте вахмистр услышал прошлое, когда не был он вахмистром. Но бить его теперь, перед подчиненными! В свисте он услыхал и отголоски протяжной кавалерийской команды, походный рожок тегеранского лагеря, вопли усмиряемой Исфагани. Он услыхал подавленное волнение командира. Плеть провизжала мимо.

Эддингтон спросил:

— Куда он мог удрать?

Выдвинулся Мамед и приложил руку к шапке:

— Дозволь ответить?

— Говори,— сказал Эддингтон по-персидски.

— Я думаю — он вернется.

— Почему ты уверен?

— Я не уверен. Но он здешний... Вот из этого селения. (Они проезжали мимо крайних лачуг, прилепившихся у подножия гор.) Его родственники здесь живут. Они торгуют зеленью в городе, как вся деревня. Он сообщит им о несчастье...

Офицер не дослушал словоохотливого старика. Раньше чем кто-либо успел сообразить, в чем дело, лошадь переднего казака шарахнулась в сторону. Тонко провыла пуля. Бухнул выстрел откуда-то сзади.

— Проезжайте вперед,— скомандовал Эддингтон Эдвардсу и хлестнул его кобылу.

Провизжало несколько раз. Лошадь Дженни мотнула головой.

— Кровь!— не своим голосом закричала Дженни.

— Вперед!— яростно вырвалось у Эддингтона.

Штатские наконец сообразили, в чем дело, и пустили лошадей в галоп.

Казаки поворачивали коней. В пыли, поднятой маневром взвода, неслись англичане. В глазах Гулям-Гуссейна

мелькнула белая шляпка миссис Эдвардс, которую они должны были защищать. Затем все превратилось в щелканье затворов, пронизываемое пулями из деревни, крик ротмистра, подхватываемый и передаваемый по рядам, ответные залпы и частую стрельбу, как будто невидимый дух перелетал со ствола на ствол, зажигая гремучий порох.

Со стороны деревни отвечали уже непрерывным гулом и воем, но стреляли плохо и безвредно для казаков. Тогда в неровный звук ружейной перестрелки вошла, как нянька к плачущим детям, трескотня механической скорой стрельбы. Крайний казак вскинул руки и упал с коня. Кто-то тонким и плачущим стоном назвал усиление стрельбы:

— Пулемет!

Векиль-баши увидал себя как-то со стороны — на середине улицы одного.

Взвода не было. Одиночные всадники жались к стенам домов. Гулям-Гуссейн выпустил обойму вдоль деревни и медленно стал отъезжать вправо.

Прямо навстречу из-за стены полуразрушенной какой-то мазанки выбежала, задирая сумасшедшую голову, лошадь и поскакала дальше, нахлестывая пустыми стременами.

— Сулейман!..

Векиль-баши повернулся на этот вопль и увидал, что его первый взвод уже мчится по дороге к городу. Далеко опережая черные спины и мелкорослых лошадей, шла карьером гнедая кобыла, унося огромный пробковый шлем и широкий френч хаки — командира.

V

Эдвардс подписал синий листок ордера, приказал что-то по-французски клерку в черном костюме и черной шапочке — образец туземной нечувствительности к зною — и обратился к Эддингтону:

— Вам придется посидеть здесь, пока отсчитают деньги.

Клерк вышел.

— Мне не нравится все это,— сказал директор встревоженно и рассеянно.

Ротмистр оглядел спокойный, деловой, циклопический кабинет — так громоздка и тяжела была немногочисленная

мебель коричневого дуба, так увесисты были чернильницы и пресс-папье, толсты стены с окнами, затененными влажными занавесками (здесь знали физику!) — и спросил:

— Что?

— Город, дорогой мой, город. Вы, военные, глухи и слепы, когда дело касается настроений гражданского населения. Не то мы, сидящие у денег... Мои агенты на рынке мне передают разные преувеличенные слухи. Их распространяют вонючие менялы, местные жиды. А я слушаю... Говорят, будто вы пристрелили мальчишку, а после на вас напал Сулейман.

— Совершенный вздор! У меня тоже есть разведка. Он не участвовал в перестрелке.

— Тем хуже. Значит, вооружены окрестные жители.

— Тем хуже...

— Говорят, что казаки ваши не показали достаточного упорства. Острят, что вы после нескольких перестрелок останетесь полководцем без войск! Казаки перебегают к Сулейману.

Эддингтон нахмурился.

— Кто это говорит?

— Увы, не знаю. По городу расклеивают и развешивают какие-то прокламации, а затем, знаете, дервиши!

— Ох уж мне эти дервиши!

— Каково настроение ваших войск?

— Угрюмое несколько.

— Плохо.

Эдвардс подошел к окну.

— Посмотрите, Эддингтон!

Внизу, во дворе, представлявшем прямоугольник, замкнутый стенами банка, толпилось множество туземцев — торгашей, менял, маклеров, спекулянтов, в коричневых халатах-абу, в сюртуках тридцатилетней давности, в визитках немыслимого покроя, в сорочках без воротничков и без галстуков, в кафтанах, подпоясанных широким поясом, в плоских шапочках, в шапках котлообразных, в шапках в виде усеченного конуса вершиной вниз.

— Галдят, размахивают руками, перебегают с места на место, вообще ведут себя так, как, вероятно, вели себя всегда,— проговорил медленно Эдвардс.— Ведут себя, в сущности, несравненно более чинно, чем принято хотя бы на парижской бирже. А мне все кажется, что что-то неладно.

Я вспоминаю рассказы моего деда о восстании индусов в Динапуре в пятидесятых годах. Там тоже началось со двора банка.

— Ну, до этого далеко. В Брюсселе революция началась в оперном театре, но это не основание бояться граммофона.

— Неудачная острота. Ах, эти колониальные тревоги! И сейчас. Мне вот кажется, что и работать «они» стали медленней: в четверть часа не могут отсчитать шестьсот туманов!

— И мне надоело здесь,— поддержал ротмистр.— Уеду в Англию. Посылают в захолустье, терпимое лишь при возможности копить экономические суммы. А отсюда и не выберешься!..

— Кстати, об экономических суммах. Среди прокламаций была и такая... Вы знаете?

— Нет.

Ротмистр покраснел.

— Я переведу,— любезно сказал директор.— «Обращение к казакам». Тут много восточного красноречия, но вот самое главное: «Английский офицер Эддингтон хочет зарабатывать деньги своими карательными экспедициями. Давая вам, казаки, подачку из добычи, себе он берет львиную долю так называемых экономических сумм. Разгромил селение, отобрал провиант и фураж, по справочным ценам выписал деньги якобы на продовольствие эскадрона, деньги присвоил себе — вот нехитрое и выгодное предприятие! И это в то время, когда вы месяцами не получаете жалованья, наемники чужеземцев!» Ну, дальше идут разные подробности о цейхгаузе и ламентации о гибнущем Иране.

— Это писал или научил писать Ибрагим-Заде!

— Кто это такой?

— Дезертир, брат того, который свалился тогда... Он был некоторое время каптенармусом.

Вошел клерк.

— Все готово, Эддингтон. Идите вниз и там получите. Где вы завтракаете, у нас?

— С вашего позволения. Мисс Дженни...

— Ага!

Внизу, в кладовой, похожей на камеру равелина, прохладной, как подвал, два пожилых служащих перса заканчивали подсчет серебра. Каждый из них с непостижимой быстротой бросал с ладони на ладонь по пяти двукратников

и скидывал их в общую кучу для последнего мешка. В комнате стоял звон, как в часовом магазине. Эддингтон попробовал поднять один из мешков в двести туманов.

— Он весит двенадцать кило,— любезно сказал служащий.— У нас очень неудобная валюта. Валюта для бедняков.

Эддингтон вышел во двор позвать вахмистра. Тот стоял в углу и жадно читал какую-то как будто знакомую бумажку.

— Поди возьми деньги!— резко приказал ротмистр.

Гулям-Гуссейн оторвал глаза от чтения, глаза, тронутые розовым и темные от рассеянности.

VI

Банкирский дом стоял за городом, в сочной глубине садов. Дорога в город шла гротом из зеленой прохлады, принесенной с гор журчанием арыков. Ротмистр ехал шагом. За завтраком его постигло особое опьянение, которое знакомо лишь тем, кто жил на юге, опьянение — когда голова остается как будто совершенно ясной и лишь приливы доверчивой откровенности, все выше вздымающейся по мере того, как преобладание виски в стакане с содовой водой становится ощутительней, показывают, что выпивший выпил здорово! Ротмистр обличал персов в недостатке семейственной любви (мисс Дженни получила ряд косвенных заверений в обратном), бранил рамазан (тем самым хвалил директорского повара), жаловался на неблагоприятные отношения с местными властями и своей казармой (оттеняя ласку и уют за столом).

Миновав сады, он выехал на каменистое плато перед городом, которое показалось адом. Солнце лилось потоком тяжкой плавленой материи, оно кидалось на землю, как в обмороке, как в злобе, оно слепило глаза, душило зноем, осыпало пылью. Впереди залитыми светом крышами засияли холмы Керманшаха. У ротмистра помутилось в голове.

Город встретил ядовитыми запахами трупного гниения и неистребимых нечистот. Ротмистр оглянулся назад. Ординарец, несколько отставший, подгонял переходившего в крупную рысь коня. По бокам выросли глиняные домишки и стены. Всадники поднимались в гору, припадая к гриве лошади, сползали по крутым спускам, откидываясь на круп. Узкие извилины улиц, по которым едва могли разминуться два мула без поклажи, были безлюдны и беззвучны. Встре-

тился только один прохожий, истощенный не то рамазаном, не то нищетой. Он плелся, припадая к стене.

Но едва они въехали в трубу крытого коридора (пассаж!), темнота, теснота, грохот, крики, понуканья, ослиный рев, смешанное зловоние кож, тухлой провизии, пота, купеческого пищеварения, вечно стоялый, отвратительно прохладный дух базара ошеломили ротмистра. Крепчайшими духами раздушенным платком он насилу удержал рвоту. Ишаки и катера не слушались погонщиков, застревая поперек движения. Как хлеб-соль неся нижнюю губу, теснились верблюды. Било ухо ковкой медной посуды, шипением горнов, все пронзалось невидимым скрежетом точки. Орали покупатели. Мычали продавцы. Ремесла и торговля жили и действовали. Пыль, осязаемая, как пух, стояла, как колоннада, освещаемая небом, падавшим из круглых отверстий свода. Пыль садилась на снеди, на фрукты, на лаваш, вынимаемый чертом-пекарем из адского пламени печной ямы. Ковры, серебро, знаменитое чеканное керманшахское серебро, каракулевые шкурки, шелка — все восточное богатство базара не радовало офицера. Его стек, скипетр колониального могущества великой Британии, вяло прокладывал путь. Тронутый за плечо туземец нагло оглядывался и шел невозмутимо дальше. Лица встречных — по преимуществу курдов, с глазами Тамерлана, косыми и безжалостными,— диковолосатые, неотвратимым потоком лились мимо. Кобыла Дэзи воротила морду. Краги ротмистра были плотно притерты к ее бокам.

Прошел дервиш. Резким гортанным голосом он выводил не то пророчества, не то невероятной замысловатости проклятия. Он корчился, как в столбняке, выбрасывал слепые, сломанные руки вперед, пробивая путь своей страшной прозе. В лохмотьях просвечивало тусклое, грязное тело, не сулившее ничего доброго. Белыми, отравленными гашишем глазами он облил ротмистра и остановился. Он закричал, как сова. Эддингтон ничего не понял, кроме слов: «Гяур! Инглизи! Гетты эз Ирани!»[1] Кадык святого метался, как обезумевшее животное.

Неподвижные купцы, отваживающие презрительным чмоканьем покупателя, который мешает переживать воспоминания о трубке опиума, вынимали изо рта чубук кальяна

[1] Неверные англичане, уходите из Персии!

и высовывались из своих растворов. Стек потерял всякое действие. Дэзи пробивала дорогу грудью.

Пробились. Молитвословия оборвались за плечами. Коридор становился свободнее. Лавки зеленного ряда были покинуты владельцами, открытые со всем товаром. Их охранял, прохаживаясь, одинокий зеленщик, очевидно оставленный за сторожа.

Выехали на круглую площадь — майдан. Это был пуп базара. Лавочки, выкрашенные зеленым, похожие на скворечни, аптека, две парикмахерские, убогие витрины, посредине — виселица. Площадь гудела народом. Ротмистр видел всплескивавшие руки, искаженные лица, сосредоточенную суету массового скандала. Прокатилось совершенно явственно: «Инглизи! Командир!»

Он дал шпоры Дэзи и круто повернул направо, в ближайшую галерею мануфактуристов. Их солидный товар сиял клеймами Манчестера. Ординарец угадал направление и галопировал впереди, расчищая нагайкой дорогу.

— Что-то произошло,— бормотал ротмистр.

VII

Случилось вот что.

Жена векиль-баши Гулям-Гуссейна пошла на рынок купить к ночной трапезе разной зелени на три шая[1].

С ног до головы закутанная в чаршаф[2], Фатма-ханум двигалась как черный сноп. Она шла тихо и важно, как немолодая женщина — ей было за двадцать,— и будущая мать: она восьмой месяц носила первого ребенка вахмистра.

Выйдя к зеленному ряду, она заметила, что ее сабзи-фуруша[3] нет. Она подошла к первопопавшемуся и, передав деньги, попросила несколько сортов зелени. Купец отобрал два пучка шпината и, не глядя, бросил их покупательнице.

И зеленщик Изатулла, и Фатма-ханум одинаково усердно постились во время рамазана. Жара и голод отзывались в них не обычной слабостью и вялым безразличием, а, как у многих, едким зудом кожи, дикой раздражительностью.

— Что? — визгливо закричала женщина.— На что мне нужен один шпинат, когда я просила еще луку, моркови

[1] Шай — мелкая персидская монета.
[2] Чаршаф — род паранджи.
[3] Сабзи-фуруш — торговец зеленью.

и чесноку. И разве, продажная душа, два пучка шпината, да еще такого паршивого, стоят три шая?

— Валла! — ответил зеленщик. — Уходи от меня, злая сука, падаль и бесчестье мужа. Ты кричишь, как бешеная ослица.

— Не позорь моего мужа! Он разотрет тебя, как плевок. Начальник казаков — и какой-то мерзавец торгаш!

— А! Он из тех, что с англичанами стреляют по деревням мальчишек!

Фатма-ханум не слушала.

— Верни мне деньги, вор! — заголосила она.

Прохожие начали приостанавливаться. Соседние сабзи-фуруши прислушивались, готовые к участию в криках Фатмы-ханум.

Изатулла потерял свет в глазах.

— Получай, что тебе следует, грязная стерва! — прохрипел он с пеной у губ и ударил женщину в подбородок кулаком, в котором были зажаты ее деньги. Он кинул их на землю.

Она взвизгнула и вцепилась ему в рыжую бороду костистыми пальцами так, что он только мотал головой.

В толпе засмеялись.

Кто-то перебил смех возмущенным окриком.

Торговец вырвался, оставив несколько клоков бороды в руках женщины, и схватил какую-то скалку.

Удар пришелся ей по животу.

Она присела на корточки и закатилась длительным воплем.

В толпе сообразили, что произошло что-то неладное.

Сабзи-фуруш Изатулла бросился бежать.

За ним погнались. Его стеной окружили товарищи зеленщики и однодеревенцы, засинели ножи.

— Как женщину ударил!

— Разве так можно! Убил!

Со стороны Изатуллы кричали:

— Она, сука, сама начала.

— За нее казаки заступятся.

Изатуллы среди них уже не было. Толпа прибывала, текла из всех галерей. Ее выносило собственным возбуждением на площадь. Крик становился все упорядоченнее и общее. Из гула росли голоса:

— На этой площади три года тому назад, когда англи-

чане после русских занимали нашу родину, они вешали ни в чем не повинных людей — для острастки. Теперь они убивают детей для забавы. Зеленщик — мститель. Он из Тагибустана. Он мстит за Тагибустан.

Неизвестный скрылся. Его любовно поглотила площадь. Пронеслось совершенно явственно:

— Инглизи! Командир!

VIII

В тот день первым взводом под командой Гулям-Гуссейна была совершена обычная небольшая проездка лошадей. Утро было мягко и звонко. Огромное пышное солнце играло на боках хорошо вычищенных коней, сияло на оружии, и Гулям-Гуссейн особенно четко и точно менял аллюры. Лошади шли прекрасно, один Багир отстал на своем захромавшем коне, с полдороги поехал в караван-сарай.

Когда взвод вернулся, Багир сидел на корточках в затененном углу и во все горло распевал грустные четверостишия Джеляледдина, причем расчет был на то, что мрачные стенания песни никак не будут соответствовать веселой роже бездельника-певца:

Бешено гоняясь за любимою,
Я дожил до тех лет, когда близок конец.
Быть может, теперь овладею я милою,
Но кто вернет мне ушедшую жизнь?!

Он блестел, как маслина. По камням процокали копыта. Могучий хохот увенчал потешное старание. Вокруг Багира собрался вскоре почти весь взвод.

Гулям-Гуссейн рассыпал милостивые слова:

— Что ты надрываешься, Багир, как пташка над мертвым птенцом? И скажи — чем ты обезвредил Асад-Али-хана? Он сегодня дежурный и допускает такой беспорядок, как твое душераздирающее пение!

— Ну, Асад-Али-хану не до меня,— ответил Багир.— Вчера по всему городу висели бумажки, позорившие нашего командира. Нынче нашли их целую кучу в конюшне второго взвода. Асад-Али-хан тут полчаса орал, а виновных нет! Да и какая же вина может быть, когда их даже городская полиция вчера весь день не срывала!

— А народ вчера к ним лип, как мухи к меду,— сказал старик Мамед.

Гулям-Гуссейн стоял в кружке и все еще беззаботно поигрывал носком сапога и помахивал плетью, но лицо его уже потеряло блеск оживления, и он отводил глаза от вскинутых на него в упор взглядов. Требовалось его мнение. И он произнес:

— Читал я эту бумагу. Сулейман-ханом она напечатана, да и писал-то ее кто-нибудь из наших.

Кто-то, прячась за спины, спросил измененным голосом:

— Ты скажи — правда ли в ней написана, векиль-баши?

И другой — опять не узнал его голоса Гулям-Гуссейн и не видел лица — добавил:

— А мальчишки, когда мы возвращались с проездки, в нас камни швыряли и свистали вслед. И кричали: «Стреляйте нас!» Не слыхал, Гулям-Гуссейн?

Мамед сказал:

— Много нас, казаков из Керманшаха, а лучше было бы не приезжать нам в родной город. Сказано: пусть тот, кто не боится расправы, лежит, развалясь на ложе, когда народ стоит кругом.

Гулям-Гуссейн стоял и не говорил ни слова. Все молчали.

Тишину прервал неожиданный шум суматохи у ворот. Часовой тревожно закричал:

— Гулям-Гуссейн!

IX

Поручик Асад-Али-хан, дежурный по эскадрону, весь в ремнях, как лошадь в станке, стоял перед ротмистром Эддингтоном и докладывал:

— Гулям-Гуссейн — местный житель. Фатма-ханум — его единственная жена.

— Что с ней?

— Она скинула первенца нашего векиль-баши. Ее едва донесли до дому.

— Преступник найден?

— Зеленщик бежал.

Ротмистр с ненавистью посмотрел на прыщавое лицо, вертевшееся среди ремней.

— Позвольте, а полиция?

— Хе! Что полиция! Полиция на стороне местных властей. А они — не за нас.

— Значит, против?

Поручик помедлил ровно столько, чтобы оглядеть кабинет.

— Мне только что сказали, что Изатулла находится во дворце губернатора. Ему удалось скрыться благодаря помощи других торговцев и сочувствию населения. Осмелюсь доложить?

— Говорите.

Асад-Али-хан всеми морщинами лица изобразил разнороднейшие чувства. Он не наполнял свою речь полной верой. Он решился предостеречь начальника. Он сознает щекотливость положения.

— Казаки придают всему происшествию политическое значение.

— Что это значит? Да не тяните же, черт вас возьми!

— Я продолжаю. Им нашептали, что зеленщики — они все из Тагибустана — мстят векиль-баши за... э-э... ответственное участие в злополучной перестрелке и в прискорбном событии.

— Знаю. Дальше.

— Что же дальше? Нижние чины распространяют на себя раздражение жителей. Толпа родственников и казаков, во главе с Гулям-Гуссейном, воет у ворот запертого дворца, требуя выдачи Изатуллы. Зеваки и всякая чернь настроены недоброжелательно. Казаки возмущены и хотят во что бы то ни стало добиться наказания преступника.

Эддингтон вообразил вахмистра — лицо малярика и аскета. Фанатик европейской культуры, фанатик чести знамени — вахмистр воет. Он жесток и безудержен. «Дьявол его знает, что он натворит».

— Чего требует пострадавший?

— Крови за кровь, господин ротмистр. Таков обычай Ирана.

— Обычай идиотский! Однако, если мы не добьемся именно этого удовлетворения, бригада понесет большой нравственный урон. После этого лучше не показываться в Тегеран. Идиотский обычай!

Асад-Али-хан угодливо осклабился. Ротмистр брезгливо отвел глаза.

— Однако надо добиться наказания! Смешно: человек, оскорбивший казачью бригаду, гостит с комфортом в губернаторском доме. Предвижу — губернатор всячески будет укрывать преступника...

— Осмелюсь доложить?

— Да.

— Предпочтительней в таких случаях искать какого-нибудь соглашения... Можно сговариваться не с потерпевшим — в данном случае с Гулям-Гуссейном,— а с его родными или родственниками его жены. Они, как бы сказать... податливее. Тот же обычай позволяет требовать с обидчика денежную пеню.

Ротмистр налился кровью до того, что, казалось,— она брызнет в концы его белокурых волос. Он стукнул кулаком по столу.

— Какие там деньги! Вы мне подсовываете разные гнусности! Я не могу допустить, чтобы я, офицер его величества короля Великобритании, торговался, когда нужно требовать полного удовлетворения! Продажные скоты!

Он в три-четыре шага пересекал по диагонали кабинет, задыхаясь концами слов и фраз, раздраженный и высокомерный, гремя шпорами и играя нашивками и лентами формы.

— Черт его знает, что он натворит! Пошлите урядника эскадрона с полувзводом и казенной лошадью для вахмистра. Привезите его сюда, и никуда без моего разрешения не выпускать. Почетный арест. Изоляция. Запальчив очень, забияка...

X

На улицах томились от зноя и голодного поста усиленные наряды персидских полицейских: ледащих людей в шведской — память инструкторов — светло-коричневой форме из толстенного северного сукна.

Ротмистр желал им Сахары.

Город насторожился.

Пройдоха чиновник, крепкий старик с почтительной речью, рассиропленной льстивыми любезностями, сообщил ротмистру, что губернатор униженно извиняется перед ним и, несмотря на его, чиновника, заверения о серьезности раз-

говора, принять офицера он может только послезавтра, так как пост проводит за городом и не считает возможным затруднять столь почетных посетителей поездками к нему на дачу. Но ради неотложных дел он приедет послезавтра в шесть часов вечера.

Ротмистр прискакал в назначенный час.

Обезжаленное вечером солнце мирно покоилось на стенах улиц, на куполах мечетей, на жестяном льве, грозившем своим мечом с коричневой бараньей шапочки полицейского, который встретил Эддингтона у ворот дворца. Полицейский отдал честь и принял верную кобылу Дэзи.

Эддингтон вошел в ворота и направился по аллее к подъезду. Сад наполнялся сумраком. На чистом, вот уже добрых полгода, небе четко, как транспарант, рисовалась мелкая листва олеандровых деревьев, вырезные листья платанов без дрожи каменели в вышине, за ними, и к ним подступая, царила утихомиренная неразбериха вечернего сада. Перед фасадом дома — с тонкоколонными галереями и балконами, с мавританскими вырезами и завитушками, но достаточно запущенного,— на просторе расчищенной площадки было светло. Приходивших сюда посетителей удивляли апельсиновыми и лимонными деревьями, которые были врыты в грунт с зимними кадками и зеленели ярко, как печати на белом конверте. Пальмы разусатили кроны. Кактусы сидели так, как будто готовились сейчас прыгнуть в лицо. Бесплодно разлопушились два банана.

Зал, в который ввел ротмистра заспанный слуга, удручал роскошью и безвкусием. На старинных, прекрасно подобранных коврах росла колченогая сборная мебель восьмидесятых годов, расцветали розовые и голубые «тюльпаны» русских мещанских ламп, которых было десятка два. Зажгли, однако, одну.

В ее желтом свете Эддингтон разглядел часы.

— Уже половина седьмого!— сказал он на весь зал.— Не едет старый мерзавец!

Он почувствовал скуку, едкую, как лазаретная пыль, приступившую к самому горлу. Она была безысходна. Он завыл зевая. Она была бездеятельна. Он опустился на диван в темном углу и задремал, как должник в приемной заимодавца.

Сановник явился с толпой духовенства, выкрашенного хной. При виде Эддингтона неприлично удивился и, пере-

ждав почтительный поклон, сказал на отвратительном французском языке:

— Прошу прощения, я еще голоден, господин офицер. Наши религиозные обряды тяжелы, и только благочестие и вера помогают переносить такой пост, как рамазан, неукоснительно. Я стар, мне надо готовиться к переходу в другой мир, но долго терпеть по вечерам с ожиданием пищи я не могу.

Англичанин смотрел на тучного старика — ханжу и лицемера — и жалел, что мысленная брань не имеет материальной силы... ну, хоть бы плевка!

Припоминая слова, которые произносил в штабе французской дивизии и произношением которых смешил веселого генерала, впоследствии участника Вердена, Эддингтон ответил:

— Отдохните, ваше превосходительство. Не стесняйтесь. Я подожду, потому что не могу не уважать такого подвига...

Старик не дослушал, и вся толпа, распространяя запах пота от тяжких одежд и перегорелого чеснока из голодных ртов, удалилась, шлепая туфлями.

Ротмистр остался ждать. Он успел припомнить, по связи с трудностями французского языка, многочисленные и разнообразные удовольствия, которые доставила ему любовница в Кале, где он служил, прикомандированный к управлению французского коменданта города. Мысли легко перепорхнули к женитьбе на мисс Дженни. Так хорошо все складывалось. Усмирение Исфагани дало ему возможность мечтать об отъезде в Англию после второй, столь же выгодной карательной экспедиции. Даже с молодой женой. И вот Керманшах!

Его попросили во внутренние комнаты.

Кабинет губернатора оказался низенькой, истинно азиатской комнатенкой, в хаосе паласов, ковров, подушек, с дамским письменным столом, на котором стояли две зажженные свечи. Они едва горели в этом никогда не проветриваемом закоулке дома, с воздухом густым и тяжелым, как прогорклое масло.

— Я приблизительно догадываюсь, могу догадываться о вашей просьбе,— начал, сыто отдуваясь и шаря языком в зубах, губернатор.— Вы хотите ходатайствовать о выдаче Изатуллы-зеленщика, подравшегося с женой вашего казака.

Грубиян дерзнул скрыться в моем доме. Я был на даче, как известно. Зная, как вам он нужен, я распорядился его задержать...

Молчание.

— Но он бежал...

Эддингтон вскочил с подушек:

— Точнее следует сказать: вы выпустили его!

Хитрый старик притворился глухим и, словно подьячий, прогнусавил:

— Он бежал... Но я отдам распоряжение полицмейстеру поймать его. В моем доме я не позволил бы скрываться преступнику так долго.

Он улыбался, хитрый и непроницаемый. Он, казалось, любовался бешенством англичанина. Он посапывал и наконец рыгнул.

Ротмистр в исступлении вышел.

XI

Асад-Али-хан стал доверенным лицом Чарльза Эддингтона, который принимал его как границу уровня, ниже которого нельзя спускаться в поисках компромисса.

— Ну, все по-прежнему?

— Увы!

— Без лирики! Нашли?

— Ни следа.

— Где Гулям-Гуссейн?

— Сидит по вашему приказанию.

— К нему никого не допускают?

— Все три дня, как вы приказали.

— Как здоровье его жены?

— Очень плохо.

— Тем хуже. Надо кончать дело, поручик.

— Но как, господин ротмистр?

— Как? Вы же знаете все обычаи Персии. Я, к счастью, англичанин.

— Пеня?

— Ну, хотя бы пеня. Удовлетворение. Черт с ним, с выкидышем, с настроениями вахмистра — и его мне жалко, подчиненных надо жалеть,— но престиж, престиж!.. Понимаете?

— Смею думать — понимаю. Рад повиноваться. Правильное решение в таком деле.

— Вас не спрашивают.

XII

Старик Мамед стоял на карауле в одном из отдаленных коридоров караван-сарая, у двери, за которой был заключен вахмистр Гулям-Гуссейн. Старик держал в дрожащих руках шапку и прислушивался к злой возне в пустой сводчатой комнате.

Он переминался, и легкие эти движения отражались за стеной беготней и какими-то тяжелыми прыжками. Он вздыхал неслышным старческим вздохом, «оттуда» отзывалось стонами и кашлем, влажным от слез. Даже самые мысли Мамеда возвращались к нему горькой болтовней и ропотом. «Тот», за стеной, скреб голову. Мычал. Стучал в наружную (никогда не в дверь!) стену. Глухой звук ударов о капитальную глину напоминал стук заблудившейся птицы об оконное стекло.

Проходивший мимо по коридору молодец и потешник Багир подошел, оглядываясь, к Мамеду и спросил шепотом:

— Беспокоится? Я ночью стоял, так, поверишь ли, он глаз не сомкнул.

— Сердце он мне рвет. За что сидит как вор?

Багир махнул рукой:

— Э-э, нашел о ком печалиться! Нам новый пост прибавился — караульная служба замучила — это горе. А то весь эскадрон должен радоваться. Жить не давал службой. Пусть отдохнет и другим покой даст. Ему англичане награду придумали.

Он подмигивал глазом, веселый и наглый. Старик рассердился.

— Пошел отсюда! — засипел он. — Щенок! Горя не видал. А мы с Гулям-Гуссейном служим восьмой год.

Казак не пошевельнулся. Он улыбался все хитрее. И, не спуская глаз с желтых белков Мамеда, прошептал совсем тихо:

— Не огорчайся.

Он сделал особый знак рукой.

Старик также таинственно ответил:

— Ага, письмо с тобой?

Багир ушел, лениво волоча ноги в белых тряпичных туфлях — гиве. Он скрылся в рассеянном, разведенном мелом стен свете. Старик опять застыл в прежнем положении. Шашка беспрепятственно дрожала в руках. Он приметил половицу, на которой покоился луч света из высокого окна, и принялся, как бы ожидая смены, следить за медленным его путешествием.

— Мамед! — прохрипела дверь голосом, похожим на голос векиль-баши.

Шашка дрогнула и замерла.

— Мамед!

— Я, вахмистр.

— Пусти, нужно мне.

В окошке двери возник белый глаз, опухшая, расцарапанная щека, растрепанный ус над искривленной губой.

Мамед не узнал лица векиль-баши.

— Идем, что ли, — проворчал он ласково, пропуская его вперед.

Векиль-баши остановился у дверей уборной.

— За что он меня так?

— Кто ж его ведает? Боится, я слышал. Знает твой нрав и опасается выпустить тебя на волю.

Гулям-Гуссейн схватил Мамеда за плечи острыми, как когти, пальцами. Его лицо, обычно повторявшее благообразие многих сотен тысяч солдатских лиц, служащих под знаменами Великобритании, — чисто бритое, с аккуратно подстриженными усами, — теперь глядело на Мамеда как бы из разбитого желтого зеркала. Черты были искажены, тронуты пеплом.

— Опасается? — сказал он хрипло. — Опасается? А мучить он не опасается? Арестовал для своего спокойствия. Ох!

Он застонал и показал синий, опухший в рубцах палец.

— Смотри! Укусил ночью. Извелся от злобы. Домой хочу. А просить его... нет! Просить не буду.

— Да и не пустит. Разве англичанин твоему уму поверит? Он, наверное, лучше тебя знает, что тебе нужно.

— Раньше и я так думал! — Вахмистр выдавил из себя два-три смешка. — Думал, что они для нас счастье принесли. Дурак был. Сколько врагов нажил! Сколько муки за них

причинил! Теперь никому я не нужен, никто меня не жалеет. На тебя надеялся, на старую дружбу.

Он сказал это с льстивой мольбой и надеждой в голосе.

— Что дома делается?

Мамед ужаснулся:

— Да разве они тебе ничего не говорят?

Вахмистру свело судорогой губы.

— Да приходил этот... собака... каждый день ходит... Асад-Али-хан... Сообщает, что дома все благополучно.

Мамед отвернулся от его вопросительного взгляда, произнес, глядя в пол, гнусаво и жалостливо:

— Прибегал сегодня мальчик от твоей матери. Плоха, кажется, Фатма-ханум. Зовет тебя.

Векиль-баши привалился к стене.

— Дьяволу душу продам, будь они прокляты...

Мгновенным движением старик вынул записку, сунул ее Гулям-Гуссейну и, припав губами к его щеке, зашептал что-то, захлебываясь и плюя в ухо.

За поворотом коридора зашуршало, застучало и понесло звоном шпор.

— Где арестованный?

— Асад-Али-хан!

Поручик на рысях вылетел из-за стены. Он был налит до переносицы служебным негодованием.

— Куда вас шайтан унес? В нужник! А разговаривать?.. Кто вам разрешил? Я разрешил? Ротмистр? Тебе приказ был дан? Дан, я спрашиваю?

Мамед молчал.

— Арестую! Замурую в карцере!

Он теребил ремни, и уже кулак его готовился к зуботычине. Вахмистр бросился между ними и закричал потерянным голосом:

— Ну, не расходись, поручик!

Тот оторопел и через несколько недоуменных, испуганных мгновений завизжал:

— Бунт!..

Услышав чьи-то поспешные шаги, сказал лживо и холодно:

— Арестованного требует к себе господин ротмистр.

Векиль-баши замер. Это прощение. Он не знал своей вины, проступка, но это прощение. Что он наделал! Он готов был броситься к Асад-Али-хану с извинениями.

Чванный денщик ротмистра подошел к ним и, воротя румяное, нахальное лицо холуя и педераста, сообщил брезгливо:

— Ротмистр раздумал, господин поручик. Пусть Гулям-Гуссейн сидит спокойно. Не нужен.

Асад-Али-хан оскалил зубы и молча ушел с денщиком.

XIII

На другой день вечером Асад-Али-хан принес известие:

— Родственники согласны на сто пятьдесят туманов. Гулям-Гуссейн... Он вообще, считаю долгом заметить, дерзко отзывается...

— Об этом потом. Сто пятьдесят туманов... Это тридцать фунтов стерлингов. Послушайте, вы спятили? Откуда нищий зеленщик возьмет тридцать фунтов?

Поручик молчал.

Ротмистр вспылил:

— Откуда он возьмет тридцать фунтов, я вас спрашиваю?

— Не могу знать. Раскинем мозгами...

Эддингтон раскричался:

— Прошу без фамильярностей! У нас с вами не дружеская беседа, а служебное совещание.

Поручик обиженно отвернулся.

Ротмистр пошел на уступки.

— Если вахмистр наговорил вам дерзостей, переведите его в карцер.

— Слушаю. Разрешите идти?

— Можете.

Но через час поручика снова вызвали к Эддингтону.

— Кажется, мы говорили сегодня об одном и том же,— сказал ротмистр.

— Мне тоже кажется.

XIV

Целый день Эддингтон скакал по сожженным закоулкам и искал справедливости. Последний день. Губернатора не было в городе. Полицмейстер не получил никаких сведений о местопребывании преступника.

— Наложите арест на его имущество, пусть он заплатит пеню.

Полицмейстер пожал плечами.

— Не могу. Я должен получить распоряжение от хозяина губернии. Дело очень щекотливое и тонкое. Не хочу брать на себя ответственности. До конца рамазана вряд ли возможно чего добиться...

Совещание у Эдвардса не дало ничего нового.

Мак-Мерри шамкал с преувеличенно загадочным видом:

— Я пятнадцать лет здесь. И поверьте мне, ротмистр: вы теперь от них не получите удовлетворения. С этими скотами бывает так, словно их укусила бешеная собака. На слишком резкий конфликт при теперешней политической ситуации идти немыслимо. Им воспользовался бы только Сулейман. Что такое персидский губернатор? Сатрап! Сатрап есть сатрап. Сепехдар шлет ему грозные телеграммы из Тегерана. А он плюет на них. Заплатил за право управлять областью двести тысяч туманов в свое время и стал наместником шаха. Когда ему грозят смертной казнью в совете министров, он только икает. Средневековье!

Эдвардс заявил:

— Я пробовал стороной нажать на губернатора — у меня есть кое-какие частные его бумаги: парочка закладных,— не помогло, как видите.

— Здесь поможет только пешкеш. Взятка,— перевел консул всем известное слово.— Пешкеш кому надо. Следует пойти на компромисс.

XV

— Ты грубил мне, тебя переводят в карцер.

Векиль-баши ответил:

— На сердце моем так много ран! Я не чувствую твоих уколов, Асад-Али-хан. Ты сам раб другого.

Его вывели во двор, чтобы провести в другой корпус. На дворе он мгновенно ослеп от света и оглох от криков, неожиданно приветливых:

— Эй, векиль-баши, не убивайся!

— Хуже бывает!

Гулям-Гуссейн дивился не столько сочувствию, сколько тому, как распустился эскадрон. Но он не испытывал сожа-

ления, что здание службы, возводимое и украшаемое с таким трудом, явно осыпалось.

Весельчак Багир, казак, которого вахмистр так ценил в тяжелых походах,— а в Персии они все тяжелые,— кричал:

— Крепись, Гулям-Гуссейн! Ты сидишь в покое и прохладе. А «он» ездит по жаре по твоим делам. Тень только под брюхом лошади.

Вахмистр с улыбкой вошел в черную тьму карцера.

Голоса двора гудели в ухо необъяснимо и чудесно, как шумы морской раковины.

XVI

Ночью поручик привел к Эддингтону хилого, истощенного териаком человека, пристава того участка, где, по некоторым сведениям, укрывался сабзи-фуруш.

Не говоря ни слова, Эддингтон вынул из стола приготовленные двадцать пять туманов и передал через руки Асад-Али-хана полицейскому.

— Я дам вам вдвое, если вы сделаете все дело по нашему указанию. А требуется вот что. Вы, несомненно, знаете или можете узнать, где скрывается этот негодяй. (Пристав двусмысленно покачал головой.) Да, да! Дальше — требуется строжайшее соблюдение тайны. Строжайшее. Обещайте ему от моего имени безопасность и передайте, что я — сам я, командир эскадрона,— согласен заплатить за него пеню вахмистру Гулям-Гуссейну. Пусть он завтра придет ко мне.

— Английский командир очень хороший человек и умеет ценить услуги. Спокойной ночи!— сказал полицейский, настойчиво суя жесткую руку.— Завтра Изатулла будет у командира.

XVII

Тени были еще длинны, они лежали у стен, как будто ночь не просохла, солнце медлило подняться и осушить политую раствором тьмы землю.

Все незанятые люди эскадрона высыпали во двор и, об-

мениваясь напряженными словами, наблюдали медленное шествие от ворот.

Шел огромный, до глаз заросший крашеной бородой человек, в огромной шапке, под которой мог поместиться трехлетний ребенок. Он был статен, широкоплеч, легок в походке. Лохмотья свои, подпоясанные цветным шелковым поясом, нес весело и важно. Он выкидывал в стороны босые ступни, но шел, ни на кого не глядя.

Багир радостно воскликнул:

— Изатулла!

За зеленщиком уныло шествовали два полицейских ажана в белых гиве, в обмотках, тонконогие и почему-то испуганные.

Изатулла помахивал увесистым мешком.

— Выкуп,— сказал Мамед.— Да не согласится Гулям-Гуссейн на выкуп.

Кто-то спросил с завистью и удивлением:

— Откуда он такой мешок серебра достал? Чесноком наторговал?

Багир, весельчак и балагур, выступил вперед. Его встретили улыбками. Ему, как избалованному и доброму артисту, не хотелось обмануть ожидание потехи, но он сказал горячо и строго:

— В складчину собрали. Они, зеленщики, дружно живут — все за одного, один за всех. Нам бы, друзья, поучиться такому согласию. Нам гнут шею только потому, что мы всегда в розни и в разброде. А на выкуп Гулям-Гуссейн не согласится. Без хозяина решили.

Он прервал речь и подошел к Мамеду.

— Дело есть. Пойдем туда.

Они отошли к конюшням. Кое-кто переглянулся.

Туземный великан па́хнул землей и луком. Эддингтон с минуту оглядывал посетителя, спокойно стоявшего и показывавшего подробности своего страшного тела, и искренне изумлялся, что это чудовище может заниматься столь мирным промыслом, как торговля овощами.

Изатулла проворчал что-то в свалявшуюся бороду, передал пеню и удалился легкой поступью.

Тогда позвали векиль-баши Гулям-Гуссейна.

Тот вышел из темной ямы и сделал движение, как бы ощупывая воздух. Конвойный толкнул его. Гулям-Гуссейн пошел, не разбирая пути, споткнулся о еле заметный ка-

мень, потеряв, казалось, управление самыми простыми движениями тела. Его встретили неразборчивым гулом. Толпа сочувственно ворчала,— он не отвечал. Он даже двигался, казалось, потому, что подчинялся указаниям конвоира.

Мамед, спокойно отстраняя конвойного,— тот и не противился,— прошел с вахмистром несколько шагов и оживленно говорил что-то.

Векиль-баши кивал головой с видом человека, все это слыхавшего, раз навсегда согласившегося и очень усталого.

Таким он вошел и в канцелярию эскадрона.

— Ты потерпел оскорбление,— заявил ротмистр.— Я добился удовлетворения, которого ты требовал.

Векиль-баши взглянул на него беглым взглядом. Англичанин поправился:

— Которого требовали твои родственники и родственники твоей жены.

Векиль-баши задрожал. Эддингтон протянул ему через стол мешок. Гулям-Гуссейн не двинулся с места. Мешок повис в воздухе, упал на стол, заворчал глухим металлом. Ротмистр привстал, стиснул зубы, и его ломаная персидская речь пошла как поток английских проклятий.

— Вот сто пятьдесят туманов. Тридцать фунтов. Их принес тебе твой обидчик. Этим следует покончить распрю.

Асад-Али-хан вилял задом в беззаветной преданности начальству. Он боялся быть неподвижным и неслышным, все время фыркал, отдувался и наконец тонко вмешался:

— Ну, векиль-баши, наверное, захочет, чтобы ему почаще давали по полтораста туманов. Он в первый раз расплатится со всеми долгами. А потом начнет трудиться над новым сыном. Можно согласиться — пусть жена каждый год делает такие богатые выкидыши.

Гулям-Гуссейн стоял, мелкорослый и щуплый, дрожал и подергивался. На оскорбительные для мусульманина остроты он только поднял лицо, оскалив зубы, и стал неуловимо похож на волка.

Ротмистр рванулся из-за стола и бешено закричал:

— Держись солдатом! Не знаешь, как вести себя, собака, когда тебе делают добро! Надо благодарить!

Молниеносным и влажным ударом — силача и боксера — в подбородок Эддингтон поднял на себя глаза вахмистра. Они были налиты кровью, как слезами.

XVIII

Гулям-Гуссейн возвращался домой. Шел и не узнавал знакомых улиц и не заботился о том, что их надо узнавать. Рот был полон сухой боли, похожей на ожог крутым кипятком.

Кто-то крикнул:

— Эй, ты! Красноверхая шапка, английский наемник!

Гулям-Гуссейн оглянулся и увидал себя на базаре. Правильно. Так и надо было идти. Кричавший обращался все-таки к нему:

— Тяжело тащить туманы за свое семя? Почем получаешь?

Вокруг Гулям-Гуссейна встала тишина. Прекратилась суета. Он смотрел через плотно обступавшую его толпу, и под его взглядом останавливались люди и замолкали. Молчание, овладевшее людьми, вело его глаза куда надо.

Огромная котлообразная шапка, под ней — крашеная борода и чудовищное туловище. Торговец сидит в своем растворе среди приятелей, мужчин разбойничьего вида, среди салатов, моркови, всякой зелени, увядшей за несколько дней, когда хозяин был в бегах. Он манит рукой казака.

Гулям-Гуссейн никогда его не видал и узнал мгновенно.

— Да-да! Это зову я, сабзи-фуруш Изатулла. Поди сюда, послушай!

Подошел. Зеленщик продолжал:

— Пристав сказал мне: «Изатулла, пойди, я тебе говорю, к английскому командиру. Он не сделает тебе никакого вреда. Он велел сказать тебе, что ему надоела паскуда, скинувшая щенка. Наши власти не помогают англичанину. Он бахвалился, что найдет тебя и накажет смертью, но теперь стыдится показать глаза своим казакам. Вот полтораста туманов, он прислал их тебе, ты их завтра отдашь как выкуп векиль-баши Гулям-Гуссейну. Вот ему! Персидская собака за деньги простит все. Сейчас, говорит, самое лучшее покончить дело миром. После будет хуже». Я не стал артачиться. Иначе откуда бы я достал такой мешок, что у Гулям-Гуссейна, заплатить за его недоноска?

Векиль-баши пришел домой не помня себя.

Войдя во двор, он отшвырнул мешок и упал на землю. Старуха мать вышла к нему.

— Фатма умирает,— сказала она, наклоняясь над сыном.— Что с тобой? Встань и иди к ней.

XIX

Фатма-ханум лежала в белом саване на полу — нечеловечески прямая. При жизни она была меньше ростом и тяжелее. Мать сидела у нее в головах. Она качалась и что-то тихо причитала о покинутом муже.

Комната, едва освещенная свечой, полная запахов смерти, колебалась за сгорбленной тенью, повторявшей заученные движения горя.

Гулям-Гуссейн часа полтора простоял неподвижно над усопшей. Он караулил конец их супружеской жизни. Он оглох и ослеп. Чувство какой-то непобедимой неловкости заняло голову, как сон, как полк на постое... деревню. Постель, страшный помощник агонии, еще не убранная, белела в углу. Ее платья валялись скомканными. Ее любимый коврик на полу,— она на нем останавливала одинокий, покинутый взгляд. Все — ее. Она умирала в забросе. Не было ее мужа.

С такими мыслями он вернулся к жизни.

Переступил с ноги на ногу. Кашлянул. Сказал застывшим, хриплым голосом:

— Не плачь, мать, слезами не поможешь.

Из неисчерпаемого запаса слов, безмерных залежей мыслей, чувств, ощущений, дремавших в нем, он выбрал самые сухие и черствые слова и мысли. Он намеренно отстранял — волей к мести и к жизни — все, что могло его вернуть к той полусмерти, из которой он только что вышел. Так обессиленный пловец, проплутавши в ледяном море своим утлым суденышком несколько суток, потеряв последнюю надежду, вдруг обнаруживает, что родной берег близко. Ему кричат, бросают веревки; вновь налитый силой, он хватает спасательную бечеву и подтягивается, не думая об опасностях прибоя, к прибрежным камням. И волна нежно, словно материнская ладонь, выносит спасенного. Гулям-Гуссейн схватился за причал. Собрав все силы, он подтягивался к берегам существования. От них его было отбросило страшным порывом несчастья.

— Почему нет женщин, мать?! Почему она лежит одиноко и ее никто не провожает?

— Не знаю, сынок, я тоже удивляюсь.

Озаренная прозрением любви, понимая, как здоровы раздражения бытия для сына, она поправилась:

— Утром я слыхала, как верещали соседки в саду. Так бранили твою службу, так бранили. Показывают на наш дом и говорят: «От них надо беречься, как от зараженных. Продажные души». Не любят казаков, сынок, не любят. И тебя не любят, скрывать нечего.

Он не дослушал и вышел во двор. Четырехугольник неба над замкнутым двориком сиял, как бред скряги, всей роскошью звезд. Они висели низко, как яблоки, и трепетали, словно на ветру. Ночь только начиналась. С гор дуло холодом и концом лета. Месяц, вышедший из-за Тагибустана, лежал над плоской крышей одутловатой рожей забулдыги. Было тихо. Было прохладно и тихо. Было сине и тихо. И только откуда-то издали, словно зевок чей-то, донесся собачий вой. Но город неслышно мучился. Он беззвучно вздыхал, почесывался, приглушенно стонал, начинавшееся его забытье было нелегко и жутко.

Гулям-Гуссейн, возвращенный к житейским размышлениям, думал о том, что он родился в несчастной стране, которую ненавидит. Сколько злобы, скуки, преступлений гнездится за глинобитными укреплениями мусульманского дома! И сам он, Гулям-Гуссейн, был привязан до последнего часа к этому тесному двору любовью к жене и ожиданием сына. Путы разорвались, но рубцы заныли сильней. Он шепотом позвал жену. Вне двора, вне стен зашелестели листья, ударил ледяной ветер высот. Просторы оказались холодными. Он вздохнул.

В калитку постучали условным стуком.

Гулям-Гуссейн вздрогнул и впустил двух неурочных гостей.

XX

— Что это? Зарево? Зарево, Чарли, да?

Они стояли у балюстрады каменной террасы Эдвардсова дома и смотрели в сторону Тагибустана, шершавый хребет которого виднелся за черными массивами сада. Над ним колебался зловещий свет.

— Это горит то противное селение, откуда нас обстреляли, да, Чарли?

Эддингтон улыбнулся святой наивности.

— Увы, нет, Дженни. Зарево, к сожелению, за горами. Это всходит месяц.

И, как бы в подтверждение, накалив до последней степени темный горизонт, показалась часть багрового диска.

Они вышли украдкой перед самым началом обеда обняться и поворковать. Гости — сливки европейской колонии — и хозяева сделали вид, что не замечают вольности,— помолвленные!..

Окна обрызгали зелень кустарников неживым светом. Взглянув на этот свет и на колеблющиеся занавески, которые выкидывало негромким ропотом говора наружу, ротмистр рассмеялся:

— Как хорошо, Дженни! Мы скоро уедем в Лондон.

Слышно было, как заливался Эдвардс и хихикал Мак-Мерри. Ему вторил непристойным фальцетом секретарь консульства, приглашаемый лишь в случаях исключительных торжеств. В стороне и молча сидел дряхлый старик, барон с русской фамилией, охранявший когда-то интересы подданных Российской империи на самой границе «сферы влияния». Не так давно его сын сбежал к какой-то разновидности дервишей, познававших истину, наедаясь тугавахтет — кислого молока с гашишным маслом. Разумеется, он принял магометанство, его объявили святым, но его мать — сидевшая сейчас рядом с мужем — почти потеряла зрение от слез. На бывшего российского консула и его жену почти не смотрели, боясь испортить настроение.

Именно вспомнив о них, Дженни сказала:

— Как глупо, что их пригласили. Какие-то призраки из Эдгара По. Ты и так грустен сегодня.

— Я? Ты ошибаешься. Я привез из эскадрона остаток раздражения, это верно, но приехал с ощущением человека, сделавшего все, что мог. Я сделал все, что мог. Правда, девочка? Ну, идем, нас ждут.

XXI

И старик Мамед и другой, в бурке, человек из обрушившегося в прошлое — а как недавно оно было,— Ибрагим-Заде вошли крадучись, быстро. Но во дворе их селям[1] был спокоен и важен. Они сделали рукою таинственный знак древних заговорщиков.

---

[1] Селям — мусульманское приветствие.

— Мы знаем о твоем несчастье, Гулям-Гуссейн,— сказал Ибрагим-Заде,— и тот, кто послал нас, знает...

— Сулейман-хан здесь, в городе?

— Осторожней, Гулям-Гуссейн. Он знает. Он велик своим знанием человеческого горя и всегда отзывается, иногда раньше, чем ты сам о нем проведаешь. Так случилось со мной... Так вышло с тобой, Гулям-Гуссейн. В тот день, как командир арестовал тебя, он призвал меня и спросил, кто такой векиль-баши Гулям-Гуссейн, которого оскорбил ротмистр Эддингтон.

— Что же ты ответил?— спросил Гулям-Гуссейн.

— Ты прав, что любопытствуешь... Да, Гулям-Гуссейн, я дал волю своей вражде к тебе.

— А он?

— Он поступил, как мудрец. Он остановил меня и сказал: «Ты, Ибрагим-Заде, говоришь о том, что уже было. Это прошло. Теперь векиль-баши твоего эскадрона готов стать нашим товарищем и братом. Англичане сами отгоняют от себя верных и преданных людей. Тем хуже для них. Нам же нужны такие люди, как векиль-баши,— храбрецы, знакомые с военным делом. Нужно найти связь с ним». Не прошло и дня, а нам уже рассказывали о том, как над тобой издеваются. И тогда он послал тебе письмо.

— Да, да, оно пришло вовремя.

— Нам рассказывали, как ты его принял...

— Я сидел оторванный от семьи, от больной Фатмы, и мне казалось, что я не то в тюрьме, не то в плену, среди врагов, которые без всякого милосердия приговорили меня к пожизненному заключению. Меня забыли. Я готов был отчаяться. И вдруг письмо...

— Когда он узнал, что сделал с тобой Асад-Али-хан, он заметил: «Гулям-Гуссейн наш».

— Я верно передал твои проклятия,— вмешался Мамед.— Тогда ты стенал, теперь, после страшного горя, ты скрепился и молчишь. Из ярко вздутого огня не идет и дым.

— Когда меня вызывали из темной, чтобы отдать деньги, я шел убить его. Но тут торчал Асад-Али-хан и пустыми гневными речами мешал моей ненависти. Я пошел домой, и по дороге мой случайный враг разоблачил окончательно всю гнусность англичанина. Сабзи-фуруш сделался в моих глазах меньше мошки, когда я узнал об отвратительном под-

логе и издевательстве над моим горем. Пусть сады зарастут бесполезной колючкой, пусть разразятся тучи каменным дождем. Теперь я найду его, моего командира. Он кончил свою жизнь.

— Погоди, Гулям-Гуссейн, нас послали за тобой. Если горе не привязывает тебя к дому...

— Я и пойду с вами. Но раньше дайте мне сделать то, что я задумал, когда я решил идти к вам. Я ненадолго заверну в эскадрон. Меня, векиль-баши, всюду пропустят. Придется побеспокоить ротмистра Эддингтона. Я никогда не вернусь в эскадрон персидских казаков после этого. Так крепче будет. Верно, Ибрагим-Заде?

Тот взглянул на Мамеда и, уловив незаметный его кивок, ответил:

— Верно, Гулям-Гуссейн. Иди.

Но старик задержал его:

— Постой! Нас ждут лошади. Командира нет в эскадроне, он уехал на весь вечер к банкиру.

XXII

Гулям-Гуссейн припал к окну. Под фестонами занавески пылал пир. Его нестройные голоса пробивались сквозь плотно закрытое окно. Под огромным абажуром, за круглым столом, уставленным льдистым хрусталем, бесчисленными бутылями, из которых можно напоить два взвода, украшенным пышными букетами, открывались рты, пожирая нежное мясо фруктов, глотая драгоценные вина. Они изрыгали какие-то звуки, потрясавшие хохотом плечи и спины. Пластроны фрачных костюмов, как белая пена, подступали к упитанным подбородкам. Голоплечие дамы дощебетывали застольные любезности. Три афганца, молодые и сильные — полубоги по сравнению с пожилыми пьяными хозяевами, — носились от стакана к стакану, управляемые близорукими глазами и красным носиком миссис Эдвардс. От ее выцветших ресниц шли токи, заставлявшие прислугу мгновенно откупоривать шипучее горло бутылок, менять тарелки, убегать куда-то и вновь возвращаться.

Все это вошло в глаза Гулям-Гуссейна, чтобы к злобе прибавить горечи. Он не сводил взора со знакомой спины в обычном френче хаки среди черного сукна вечерних костюмов. Гулям-Гуссейн жег спину, Эддингтон два раза огля-

нулся, что-то сказал своей соседке. Та двинула обнаженными лопатками и тоже поглядела назад.

Гулям-Гуссейн присел.

Слышно было, как, гремя стульями, гости встали. Говор уходил влево, в гостиную. Взглянув в окно, Гулям-Гуссейн увидел важно очищающих стол от посуды афганцев.

В гостиной тем временем приготовились усваивать поглощенное.

— Из «Пер Гюнта» что-нибудь!

— Бог с ним, с Григом! Вальс Штрауса!

— Он — «бош»!..

Миссис Эдвардс, не открывая нот, ждала. Ее муж развлекал русского барона воспоминаниями.

— Давно ли, кажется, мы с вами познакомились... А ведь этому пятнадцать лет. Какое первобытное было время. Вот это пианино мы привезли на мулах из Багдада. Ведь это ваши войска открыли Персию для автомобильного движения: помню, генерал Баратов на «Бенце»...

Преодолевая дремоту, барон молча кивнул головой. Вошел афганец и наклонился к уху мистера Эдвардса.

— Что там такое? — недовольно сказал он и поманил к себе Эддингтона.— Вас ждет у ворот казак. Что-то случилось в эскадроне.

— Ни минуты покоя.

Он вышел на террасу. Мир показался ему сделанным из гипса и угля. Белая луна, белые листья, белые колонны; черная земля, черные стволы, каменноугольные тени.

Ротмистр рассерженно кинулся в черную расселину аллеи и, блестя пробором, удалялся от дома.

Раздался резкий шорох. Пробор остановился. Кто-то мягко прыгнул. Глухой удар. Хрипение. Пробор пропал. Кто-то, рассекая кусты, бежал напролом по саду.

В ту же ночь векиль-баши был уже у Сулейман-хана. У него впоследствии он командовал отрядом, и знаменитое ограбление каравана шахиншахского английского банка со зверским истреблением всего конвоя — дело его рук.

1924—1925 гг.

Жена

I

В селении Кизыл-Даг жил некто Гассан Нажмутдинов. Обремененный больной и сварливой женой и четырьмя дочерьми, из которых старшая, Сакина, была на выданье,— сколько ни ковырял он каменистую ложбинку, перерезанную грязным арыком,— его поле,— все же ему приходилось искать заработков на стороне. То протянет он зиму тем, что собирает и продает соседям саксаул, то уйдет в город дворником, то наймется на хлопкоочистительный завод. Но год от году, с надвигающейся старостью становилось все труднее.

В ту весну ему посчастливилось найти работу по вывозу балласта на железной дороге. Впрочем, едва ли посчастливилось,— дома весеннее хозяйство приходило в упадок, старик разрывался на части, надоедал десятнику просьбами отпустить на день, на два домой, а до дому было восемнадцать верст.

Однажды пришла к нему старшая дочь, Сакина. Мать послала ее за деньгами.

Отец показал желтую бумажку — рубль.

— Это на всю неделю!.. Что же, мать не знает, что я забрал все жалованье? Тратит без расчета глупая баба!

Старик отворчал положенное, отвел душу и уже мягче добавил:

— Ну, ладно! Пришла, так пришла. Что же делать, оставайся,— ешь хоть около меня. До четверга перебьемся, в четверг опять попрошу вперед, живы будем — заживем.

Он засмеялся с беззаботностью отчаяния и отвел дочь к стрелочнику, у которого занимал угол.

II

В фанерном бараке полыхало и гасло перегруженное электричество. Жидкое строение, как заигравшийся конь, дрожало от топота и толчков, гудело праздной болтовней, шуршало щелканьем дынных семечек. За серой мешковиной занавеса стучали так, как будто строили вагон, и конца этому не было. Серые худощавые рабочие сидели на скамьях с терпеливой выдержкой, и все они,— и русские и узбеки,— походили друг на друга, вот только тюбетейки были не на всех головах. Разноплеменная толпа парней, окруженная валом шелухи, не отходила от стойки с лимонадом, пивом, закусками и грудами сушеных плодов. Из этой толпы и шел тот грохот, который сотрясал барак, там все время поругивались и толкались.

— Время!— пронзительно крикнул один из парней, невысокий, очень подвижный, в тюбетейке, с лицом как будто русским. Сидевшие, словно с них сняли запрет зрелости и важности, разом рванулись с мест, но остались сидеть, и весь барак наполнился необыкновенно дружным и мощным топотанием.

— Это Ягор!— пискнул кто-то сзади Сакины.

Она сидела среди двух-трех узбечек, молодых и нездешних, робко теснившихся в углу, за спинами русских баб. Черные, плотно закутанные, они, притираясь друг к другу, как овцы, шумно дышали в волнении, со скрытой дрожью.

Сакина невольно взглянула на того, кого называли Егором, и волна горячего восхищения ударила ее. Он повернулся таким непринужденно-сильным, таким точным движением, словно укрощал дикую лошадь и всю жизнь только и делал, что боролся с их норовом. Сакина глядела на него, он, оттолкнув соседей, забился в толпу. Сакина смотрела на то место, где он стоял только что, и вдруг испугалась. Испугалась, подумала о позоре, но мертвым детским словом, как учили думать. Предупреждающая судорога испуга затянулась и растворилась в кипении радости, что можно вновь увидать Егора, вот только более высокие отодвинутся. И она уже не отводила глаз от разноцветной горки стекла, волшебной башни из лимонадных бутылок, сверкавших, как крылья райских стрекоз. Парни больше посматривали на угощения и изредка прицениваюсь, не покупая, но ей они

казались богачами, хотя бы потому, что могли стоять, не стесняясь, около такой роскоши.

Ее резко толкнули.

На занавесе делались морщины и складки, за ними выпукло обрисовывался суетящийся мужчина в борьбе с непокорной тканью. Наконец подалось. Открылось.

В жидкой дощатой коробке сидело несколько молодых узбечек с открытыми лицами, потом пришел толстый человек,— их муж. Они произносили на узбекском языке женотдельские лозунги и двигались на сцене неуклюже и смущенно, но говорили необыкновенно внятно. После некоторой заминки начались подготовки к преступлениям и убийствам. Женщины на подмостках выли, как буря, мужчины гнусно издевались. Зрители хлопали в ладоши, свистели, одобряя. Соседки Сакины вытирали глаза. Когда главное действующее лицо, толстый злодей, продал с молотка в кабаке собственную жену, Сакина вдруг закипела слезами и вырвалась к выходу.

Весенняя ночь прилипла к земле черно и плотно, как пластырь. Сакина остановилась, как бы не в силах пробить эту толщу тьмы. В здании раздалось грохотанье рукоплесканий, и оттуда, из этого дружного взрыва, стали вырываться, словно спасавшиеся от него, люди, бросаясь в ночь как в омут.

— Лови их! Лови!.. Тансы, тансы!..

— Вы к нам не приставайте, к своим приставайте!

Ветер вскриков, визгов, узнаваний налетел на Сакину и промчался дальше, в пропасть, куда она не осмелилась ступить. Сзади наползла толпа рассуждавших зрителей, кто-то взял Сакину за плечи.

— Ты чья?— спросили по-русски.

Она узнала голос, задрожала, не отняла руки и, не сопротивляясь, вышла из смешавшейся толпы, как в другую комнату или в другую жизнь. Рука вела ее. Его улыбка сияла в темноте.

— Ты чья,— спрашивал он, смеясь и увлекая во тьму, как в глубь новой жизни.— Верно, тоже предрассудки разрушать хочешь? Хочешь?— повторял он уж хрипло по-узбекски, отодвигая рукой покрывало.

— Не рви,— прошелестела в ответ, казалось, сама ткань,— не рви, Егор.

То, что он делал, было опасно для них обоих, она счита-

ла, что для него опаснее. Как отказать такой беззаветной смелости? Поцелуи загорались и жгли ее, как ожоги. Он уводил ее подальше от барака, к чуть мерцавшему полотну железной дороги, не замечая, что она, как свинцовая, виснет на руке и топит его, их обоих, в этой густой, удушливой ночи.

Она с ужасом увидала над собой седое небо. «Что ты делаешь?» — хотела крикнуть, но ее рот, шею, грудь обдавало мужским дыханием, как жаром пустыни, ее душило бессвязным лепетом, пригвождавшим к земле. Горячая навалившаяся темнота почти заволокла, почти облекла ее тело в путы, в пелену, сухое дыханье, нагнетаемое поцелуями, проникало в нее, отравляя бдительную кровь сладко-снотворным дымом, и тогда какая-то боль, даже не боль, а неудобство ворвалось в размягченное бредом существо ее, она вдруг обрела руки и, отталкивая Егора, начала подыматься. Он остался лежать на земле,— ей показалось, что она стряхнула его легко, как сухой лист,— и она кинулась бежать от этой странной слабости, гонимая гулом раззуженных жил и болью в суставах, как у спасенной утопленницы.

III

С прихода своего на станцию Сакина жила в неясном ошеломлении, как бы видя жизнь вполглаза, не в силах открыть ресниц на ее ослепительный блеск. Встречи, разговоры, впечатления запоминались, не получая названия. Понимание их откладывалось. Разве не видела она хохочущих русских работниц, сияющих обнаженными смуглыми щеками? Не слыхала тревожных свистков жалких захолустных паровозов, все же бывших ручательством железных чудес человечества?.. Московский скорый поезд привозил на себе грохот, блеск электричества, сказочных красавиц в пышности спальных вагонов. Он приходил вечером, и после его десятиминутного пыхтенья и пожара, сразу за пустой платформой, по всему краю начиналась лиловая ночь. Но бесконечные рельсы ныли, пели провода, все это соединяло миры.

В эту ночь, чаще чем в другие, просыпаясь от непривычного шума,— это расходились с танцев,— от заглядывавших в окна фонарей, свет которых плавал в прозрачных сумер-

ках комнатенки, как золотые осетры, Сакина со страхом чувствовала себя участницей новой вселенной, от которой Кизыл-Даг,— она чувствовала и это,— отрывался и падал в бездну ночного неба: между Кизыл-Дагом и его уроженкой вставали необозримые пространства, непроходимые как вечность. Эти ощущения, страхи, мысли имели итог,— неуклюжими речами со сцены и всем этим вечером был произнесен над Сакиной суровый приговор зрелости. Она удивилась его простоте, громадности и желанности.

Проснувшись на другой день, Сакина почти ужаснулась тому, что совершенно не изменилась,— то же лицо, плечи, все тело. Желание переделать мир переполняло ее. Сидеть сложа руки,— но это жгло настолько нестерпимо, что она обрадовалась, когда отец, не пробыв и полдня на работе, прибежав к ней, приказал:

— Собирайся, Сакина, домой. Приехал Саметдин на хозяйской арбе. «Довезу»,— предлагает. Я отпросился на два дня.

IV

— Хозяин мой мечется, как затравленный. В этом году землю будут обмерять и делить непременно. А у него восемнадцать десятин орошенного поля, два виноградника, огород и сад. Нынче, чуть свет, он послал меня на станцию и сказал: «Купи газет, Саметдин, русских и узбекских. Там в пятницу на прошлой неделе было написано одно важное для меня известие». Ну что ж, хозяйская воля, я купил газеты...

Так рассказывал Саметдин, одолевая скрип арбы и дорожную усталость, повернув к Гассану старое, коричнево-красное лицо, отороченное белой бороденкой,— уголь в пепле.

Седоков третий час мотало каменистой дорогой под крепчавшим весенним солнцем. Арба скрипела так, словно сотни волынок визжали в ее снастях. Дорогу обступали невысокие голые горы, за день надышавшиеся зноя и суши, они шли на проезжих непрестанным скрипом и томительной известковой пылью. Все это забивало слух и дыхание.

Гассан пожевал губами, покачал головой, произнес что-то про себя, начерно, и наконец, усилив голос, сказал:

— Восемнадцать орошенных десятин, да виноградники,

да сад, а сад такой, что у бухарского эмира меньше,— вот это жизнь! А тут горбишь спину, разбиваешь руки, уминая песок между рельсами, и в кои-то веки видишь семью, которая перебивается неизвестно как без хозяйского и отцовского глаза. Живем!

Стихии извести и скрипа победили: собеседники начали дремать. Сакина из-под покрывала сухими горячими глазами озирала холмистый кругозор, золотившийся под покосившимся с зенита солнцем. Она прослушала речи безразлично, удивляясь, как чужды ей Кизыл-Дагские были. Ее первый взрослый день переломился; казалось, что заснувшие спутники оставили ее одну в пустыне, но пустыня эта невелика, сквозь нее можно наблюдать всю жизнь, развертывающуюся как книга, жизнь запутанную и яркую, как душераздирающее представление на станции.

Она не замечала, как в резкие и сильные мысли проклевывалась неясная и слабая действительность знакомыми видами. В бурых холмах все чаще пробивались красные прожилки гранита, зачернелись трещины, размывы, а вот и чудесный камень,— Голова муллы в чалме,— тоже красный: начинается Кизыл-Даг, Красные горы, родные места. Арба со скрипом вталкивала ее в окрестности детства. Она все еще волновалась внушениями и впечатлениями вчерашнего, задумывалась о калыме и жирном муже на сцене, руки напрягались и сжимались в кулаки... Егор,— он налетал как ветер и перебивал дыхание.

Слева из-за поворота пошел тонкий, как невидимая роса, запах воды и зелени: близилось жилье. Лошадь задрала голову, заржала, и вдруг над арбой застыло время и скрипы: лошадь остановилась, приготовилась мочиться. Старики проснулись в оторопи.

И не успели продрать глаза, как появился тот, кому свежесть арыков и садов предшествовала как своему владельцу: из-за поворота слева на рыжем иноходце выехал всадник, Ахмет Гали-Узбеков.

Сакина хотела толкнуть отца, но в этом уже не было нужды: старик торопливо выскочил из повозки. Саметдин глазами испуганной козы неподвижно следил за приближением хозяина.

— Селям алейкюм!— сказал Гассан.

Ахмет кивнул головой и брюзгливо спросил у работника:

— Достал, что я тебе заказывал? Давай!

Газеты за пазухой Саметдина сплющились и пропотели. Ахмет взял пачку и на миг, на короткое мгновенье, замеченное только девушкой, задумался. Неожиданно по его сердито-сосредоточенным чертам, стянутым в маску важности и богатства, проступило выражение не то лукавства, не то припоминания, затем добродушия, наконец, ласковости. Взор скользнул с отца на дочь, которая стояла в запыленной черной одежде, не подымая закутанной головы.

— Ах, это ты, Гассан! Я не узнал тебя сразу и, признаюсь, хотел даже попенять Саметдину за то, что он подсаживает чужих. Но Гассан... это другое. Как твое здоровье? Как дела? Надо бы заехать к тебе, ты был другом моего отца. Заеду, заеду как-нибудь.

Он улыбнулся так, словно вот эта улыбка и то, что ее предваряло, и есть самое главное.

— И вообще, жди от меня вестей, Гассан,— закончил он и, не дав ответить на льстивые хитросплетения, тронул иноходца.

Сакина украдкой посмотрела вслед.

Полное надменное лицо в упор обратилось к ней. В узких быстрых глазах, в жесткой и незначительной поросли бороды, в желтоватом отливе кожи на скулах Сакина узнала черты настоящего узбека, туранца, родную монгольскую породу. Но, привыкшая угадывать племенные различия, она отметила и правильность овала, и резкую тонкость носа, и хорошо очерченный рот,— настоящий иранец. Изящная смесь. Он сидел на лошади, как потомок кочевников. Но в его повадках чувствовался горожанин, был виден щеголь и хитрый купец,— из персов, что ли.

— Спасибо тебе, Саметдин,— сказал Гассан.— Ты сохранил мои старые силы, не пришлось шагать по жаре. Зря твоего хозяина зовут злым и жадным. Какая ему нужда, а он отнесся ко мне как к родному, а?

Саметдин засмеялся, старчески клохча, морщины его сложились в замысловатый лукавый узор. Он смотрел Гассану за спину, и тот невольно повернулся. Сзади, на обочине дороги, стояла высокая женщина, его дочь, взрослая, невеста.

V

Они шли, и в знойной тишине, тяжелой, как будто из камня, Сакина прислушивалась к себе, к шороху платья, к необъяснимому, странному шуму в н у т р и, который существовал всегда, конечно, и только теперь она услыхала его полузадушенное пение.

— Важный бай!— пробормотал отец.

— Весь разный, меняется — то один, то другой. Верно, упрямый и жадный, все ему давай: и землю, и виноградники, и свое, и чужое, хоть небо подавай.

Старик резко оглянулся:

— Что ты несешь, девчонка!

И откуда она знает такие слова! У него и в крови не было таких слов.

Они взошли на взгорье, перерезанное белой стежкой. Внизу, справа от них, клубилась буйная зелень, широко расползаясь к низине. Тонкие нити ручьев и арыков бежали с коричневого хребта, и по ним, как по жилам, сообщались холодные соки горного таяния с чудовищной растительностью пышного сада. Он пил их неустанно, непрерывно, дышал неслышно и благоуханно, увлажняя воздух незримым, прохладным потом. Все это было Ахметово. Гассан постоял, почмокал, двинулся дальше. Едва они спустились с пригорка, как прямо перед ними, под солнцем, без защиты, брызжа бесплодным отраженным зноем в глаза без тени, в беспорядке встали жалкие мазанки, пыля, дымясь в ненужной скученности смрадом. Это был родной кишлак, бестолковое селение, брошенное на юру, не на месте, потому что в старое время других мест не давали.

Жена встретила Гассана криками. Ему показалось, что он вовсе не расставался со своей Гыз-ханум, и месяц, проведенный в одиночестве на станции, видел во сне. Дочь холодно удивилась худой костлявой женщине без покрывала, скалившей злые зубы и закрывавшей измученные глаза.

— Хорош, старый кобель! Опять ничего не принес. Какого же дьявола ты ковырялся там в песке, ишак?

Вся деревня изумлялась вольности ее обращения с мужем.

— Ты знаешь,— угодливо сообщил Гассан, переводя разговор,— мы сейчас видели богача Ахмета. Он обещал заехать, или, говорит, пришлет вести о себе.

Жена неожиданно озлобилась сверх меры:

— А пусть шайтан заберет этого пузана! Заедет в гости или пришлет весть!.. Может, еще сватов собирается заслать!

Она присела на корточки в припадке дикого хохота.

— Богач Ахмет захочет посвататься за Сакину! — визжала она.— Красивая девушка и дочь такого умного, почтенного старца, Гассана Нажмутдинова!

— Что ты дерешь глотку? — сухо спросил Гассан.— Пусть сватается. Большой калым можно взять за Сакину, невесты нынче дороги.

Мать потеряла даже дар речи. С ней это бывало. В самом деле, невесты теперь дороги. Она заплакала, всхлипывая глубоко, до костей проникаясь жалостью к себе, что вот она как-то не догадывалась, что, растя дочерей, она растит спокойную старость, довольство. Как поздно приходит утешение.

Три дня прожила Сакина в родном доме, молчаливо трудясь то на огороде, то в коровнике, не вмешиваясь ни в возню и писк младших сестер, ни в длинные прения матери с соседками, словно переросла все это, как зарубку на притолке двери. А на четвертый день из соседнего кишлака Шехри-Себс приехала сваха Ахмета, по имени Сарья, рослая, крепкая, похожая на облупленную корягу старуха, с живым взглядом исподлобья. Она принесла с собою дикий запах каких-то пряностей и чесноку, она приседала и кланялась в дверях, произнося темные, ведьмовские приветствия. Гыз-ханум едва успела шепнуть дочери: «Беги за Фатмой!»

Подходы и предварительные речи Сарьи были сложны. Простоватая, крикливая баба Гыз-ханум легко расходилась при муже, но запутанных столкновений с внешним миром не выносила. И когда прибежала ее младшая сестра Фатма, проворная, лукавая толстуха, ждущая такого дела, как пчела меду, и увидала, что Гыз-ханум не умеет хранить и подавлять свои чувства: она сидела перед посланницей Гали-Узбекова ошеломленная, с вылезшими глазами,— Фатма ужаснулась. Сарья превзошла всякий мыслимый образец свахи. Ее рот,— прожорливая пасть беззубой лисицы,— превратился в лавку отменных лакомств. Он благоухал, как ширазская долина, розами и миндальным цветом, язык источал речи, текшие как шербет, ее вздохи таяли, словно нежный инжир, перерывы в речах были длинны и вязки, напоминая рахат-лукум. Фатма сообразила: опустоши приезжая

все свои прилавки перед Гыз-ханум,— та отдала бы Ахмету Гали-Узбекову свою дочь — аллах акбер!— даром! И их беседа превратилась в сражение сластями, часто облитыми желчью.

— Уж я-то знаю, пророк наградил семью Гассана всяким благополучием, честную, трудовую семью,— говорила Сарья, и так сглатывала слюну, и так причмокивала языком, словно он был у нее засахаренный.— Дочери его красивы и нежны, почтительны и трудолюбивы, пошли в родителей...

— А верно ли,— вежливо скользнула в заминку тетка Фатма,— что теперешние мужья, даже богатые, прикидываются победнее и заставляют жен работать как наемных?

Сарья оглядела толстуху и подавила вздох.

— Никто не может запретить злому языку плести свою сеть. Иные выдумывают на месте свою сплетню и выдают за слышанное. Да разве найдешь теперь таких богачей, жены которых могли бы только нежиться! И что хорошего потеть от безделья в андеруне? Теперь все должны работать, закон стал такой. Но я знаю мужей, которые ограждают жен от труда, и думаю, Гыз-ханум, тебе хотелось бы отдать дочь именно такому человеку?

Жена Гассана затрепыхалась подстреленной куропаткой. Она ловила раскрытым ртом воздух, убегавший от нее.

— Да, такому человеку,— сипло произнесла она.

В первый раз,— спаси аллах,— попала в такое положение. Со следующей дочерью, может быть, пойдет глаже.

— А у Сарьи есть именно такой человек!— торжественно провозгласила сваха.— Есть... Ахмет Гали-Узбеков.

Этого, раскрытого, произнесенного, не вынесла Гыз-ханум. Она, ей казалось, с достоинством встала и медленно вышла, а на самом деле вскочила и опрометью выбежала во дворик. Подслушивавшие у окна девочки дружно отшатнулись и рассеялись. Перед матерью одиноко стояла — как на необозримой равнине засохшее дерево — старшая дочь.

— Не пойду, не пойду! Я не хочу за него!..

Гыз-ханум словно ударило в горло этими словами. И дворик, и лицо дочери, и зеленая трава под ногами,— все это на бесконечно малую долю времени замельтешилось и слилось в глазах, как бы схваченное огнем. И она мгновенно выхватила из этого пламени то, что давно решила сказать дочери:

— Где же ты шлялась, доченька моя? Откуда же такого наслушалась? Чему же ты будешь учить мать?

По своей привычке присела, завела невероятно длинным рыдающим воем:

— Отец твой, старый мерин, разрешил таскаться по сборищам, и ты слушала, как издеваются над исламом. Ты стоишь как каменная.— Она захлебнулась.

Сарья, чтобы услышать перебранку, подскочила к двери. Фатма рванулась наперерез, оттесняя ее в глубь комнаты, тараторила:

— Она сообщает... любит дочь... слабая душа.

Сморщенное лицо свахи рассеклось довольной улыбкой, хитро подмигнуло, Фатма отшатнулась. Сарья важно повела выцветшим взором, сказала:

— Теперь можно потолковать с невестой.

Фатма, сопя, удалилась. Слышно было, как она, тяжело понижая голос, увещевала:

— Нашли время. Идите скорее. Сарья ждет, смеется над вами. Ну, чего ты, Сакина, всем надо выходить замуж. Да и ты хороша, не могла обойтись с дочерью помягче.

Они вошли втроем, натянутые, принужденные, неровным шагом и толкая друг дружку. Сарья с испытующей неподвижностью глядела на Сакину. Это была высокая, худощавая девушка, поджарая и сухая, с движениями угловатыми и порывистыми, словно она все время пыталась оборвать налипшую на нее нитку. На щеках горел смуглый, как бы заветренный румянец, по которому еще не высохли потоки слез. Губы были сжаты и сухи, глаза сияли живо, в них еще не остыли обида и гнев.

— Как молода, совсем еще девочка. Ах ты, красавица моя!— запела Сарья, когда все уселись.— Слыхала я, что ты ласкова очень, что ты хорошая дочь, безответная.

Сваха шуршала обольстительной змеей. Щеки Сакины подернулись белым, как известковой пылью, и снова побагровели, почернели почти.

— Мало ли что говорят! В глаза хвалят, а за глаза...

— А за глаза что?

— А за глаза ругают от всего сердца да замечают все.

Сакина вышла. Сарья закатила глаза:

— Как знает людей! И откуда? Совсем ведь дитя.

— Что ж тут удивительного?— отрезала тетка.— Бед-

ным людям трудно девушку держать взаперти. А она не слепая, не глухая.

Сарья принялась прощаться.

— Прощайте! Я надеюсь, все делает аллах к нашему счастью и благополучию. Я рада,— у меня в родстве будет такое почтенное семейство!..

Она села верхом на пряничного ослика в серой пушистой шерсти. Ослик засеменил, взбивая копытцами невысоко поднимающуюся белую, как сахар, пыль.

— До чего сладка!— сказала тетка Фатма.

VI

Вернувшись в дом, они застали Сакину, стоявшую в углу с измученным лицом. Она поглядела на них блестящими глазами и отрывисто, пословно, произнесла:

— Вы решили дело без хозяев. Отца нет, а я не дала согласия.

— Послушайте, что она говорит!— насмешливо закричала Гыз-ханум, подбоченясь и заиграв плечами.— Отца нет!.. Да что он понимает, старый мерин! А с каких это пор нужно спрашивать согласия у девчонок?

Она покрикивала с решимостью грубиянить до тех пор, покуда не утомит всякое сопротивление. Она загоралась от своего голошения, словно ей кто перечил. Тетка Фатма подбежала к сестре, стала толкать ее к выходу, что-то шепча. Гыз-ханум тряхнула головой так, словно голова должна была зазвенеть, как грозный бубен, и ушла вихляющейся, раздраженной походкой. Сакина подумала, что сестренкам на огороде попадет.

— Сакина, девочка моя, доченька,— ласково начала Фатма, увлекая ее к груде лохмотьев в углу. Девушка села, посмотрела на тетку. Красный круглый лик сверкал бисерным узором пота, глаза мерцали, как вымытые вишни, даже губы лоснились,— хоть клади на сковороду. Она улыбалась, пылая, как лавашная печь, от нее исходил дух бабьей усталости,— запах подмышек и сытого рта. Горячо уверенная, что все, что она делает, хорошо, лучше нельзя, Фатма действительно переполнялась родственной любовью, неподдельной, искренней, всеобъемлющей. «Я желаю добра тебе»,— надувались щеки. «Дай обниму тебя»,— тянулись

жирные руки. Колени приглашали сесть на них, и Сакина, уронив на них голову, расплакалась.

И тихо, тонким голосом тетешканья, колыбельных напевов, и поглаживая вздрагивающую спину, и целуя волосы, начала Фатма уговоры. Она не прерывала речь, переводя дух, она всасывала ее, как вздох, так делают ребята, увлекаясь рассказом, и это, детское, больше всего трогало Сакину.

— Успокойся, не плачь, моя золотая, к чему? Жизнь идет, точит дряхлых, растит молодых. Посмотри кругом, глянь на свою семью. Отец твой стар и неудачлив, а мать... Что о ней говорить, сестра моя хлеба досыта не поела. Может, она в молодости Гассана, как султана, любила, да сгорела эта любовь, одни головешки остались глаза дымом выедать. Посмотри, как вы живете, ведь спите на голом полу, ни паласа, ни кошмы, ни коврика. А как «он» живет? Дом его персидской стройки, большой, как дворец, прохладен, как колодец, и тих, и тих, полон всякой утвари, живности и довольства. От сытости кожа твоя будет гладка и ясна, ты округлишься, набухнешь, нальешься соками красоты, Сакина, и будешь первой среди его жен. Они уже увяли сами и утолили его пыл, а он, красавец с грозным взглядом, знает все тайны наслаждений. Что хорошего выйти за бедняка, который видел только женщин на городском базаре за несколько копеек, что он знает, такой голяк, кроме нескольких ласк по-собачьи! Ощупью дойти до ребенка, как мы, а ведь на свете есть такое...

Она припала к уху девушки горячим ртом, зашептала что-то, голос был влажен, булькотал, шипел, как бродящее вино, как горячее вино проникал в самый мозг, губы ползали по щеке и уху Сакины, словно разомлевшие на солнце гусеницы. Девушка не шевелилась, но жаркое дыхание расходилось по телу.

— Неужто ты не веришь мне, доченька моя? — опять вслух начала тетка со взглядом в пелене. — Той, которая заменяет тебе мать и подругу? Я говорю, ты будешь жить как райская дева, которую любит воин, без преград реке твоего счастья. Соглашайся, Сакина!.. Вот закром, полный пшеницы, тебе предложили одной пригоршней зачерпнуть брошенное сюда жемчужное зерно. И так же трудно, — говорю я, старуха, — найти счастье в сыпучей, бесплодной, как барханы, участи бедняка. Куда бы ты ни метнулась, ни ки-

нулась,— везде настигнет тебя нищета. И ты хочешь отказаться от счастья, развешанного перед тобой, как кашанский ковер! Я не лгу, родная кровь не лжет.

Таинственно и бурно пробивалось пророческое увещевание. Племянница давно перестала рыдать, купаясь в речах тетки, кипучих, освежающих, неправдоподобных. И она ответила тетке белыми, как бумага, шуршащими словами, что любит другого, которого видела на станции.

— Я забыла его имя! — жалобно призналась она.— Я помню его,— сказала она еще нежнее,— и боюсь назвать. Ты говоришь со мной как со взрослой, я сгибаюсь, мне тяжело. Вся семья ждет от меня решения... как я могу вспомнить его имя?..

Фатму обдало таким светом молодости, что она зажмурилась, такой легкостью самопожертвования, что она мгновенно воспользовалась этой нерасчетливостью возраста.

— Да, да, успокой старость отца и матери, надо поддержать сестер. Я тоже выходила с гордостью, что вот мой шаг нужен. Он нужен, и ты созрела для него.

Не прошло и двух недель,— Сакина стала женой Ахмета Гали-Узбекова.

VII

Она поселилась в его доме. В долине, меж двух невысоких хребтов, по склону которых ползли Ахметовы виноградники и стремительно текли арыки, густо сбились заросли плодового сада. И, защищая персики, гранаты, абрикосы со стороны дороги, кругом всего поместья, как складка почвы, обегала глинобитная стена; внутрь себя обращенный дом с узкими дверями, с маленькими толстостеклыми окнами походил на древнюю крепостцу. Сакина смутно вспомнила детство в кибитке, вскрикнула, увидав, как среди внутреннего дворика сиял бассейн. Дворик был звонок, зноен, горел, с утра вспыхивая. Зато в покоях переливалась тишина и прохлада. Молодая никогда не видела таких ковров, кошем, хурджимов, циновок, такой утвари, оружия, стекла, шитых чепраков, седел.

Несколько ночей круглое тонкое лицо наклонялось над ней грозно и сыто. Сакина, еще недавно голодавшая, ужасалась довольству и его таинственному воздействию на чело-

веческое тело, так чудно округлявшееся и светлевшее от хорошей пищи. Новоприобретенная жена, неприветливая и угловатая, наивно обученная неискусной покорности, недолго занимала мужа, а потом должна была одна находить себе место в доме, в плотных семейных отношениях. «У тебя твердые губы, как у крота»,— заметил как-то Ахмет. Две старших жены, вначале опасливо отодвинувшиеся от молодой, теперь раздались, как два слежавшиеся слоя, чтобы принять ту, которой не довелось занять, хотя бы на время, первое место. Сакина бродила по дому в полусне, не спала по ночам, не отдыхала после непонятных и утомительных телодвижений, нужных Ахмету. Однажды ей бросился в глаза ковер, висевший, как у русских, на стене. Блеклый, старинный рисунок изображал царевича на коне. Прижавшись щекой к нежному ворсу, она неожиданно для себя сказала вслух: «Егор!» — долго плакала и с этого времени запальчиво взялась варить, мести, чистить,— все летало в молниеносных руках. Так проявилась ее изворотливость, необходимая для того, чтобы подружиться со старшими женами. Из них вторая, Гюльджамал, кроткая и сонная, носила непомерную беременность, лицо ее блестело бледностью, от которой хотелось застонать. «Тебе будет легко рожать, у тебя крепко сбитое тело! Видно, что выросла на поле. А я из Андижана». Сакина не расслышала зависти и преданно оскалилась на откровенность. Старшая, Вязифэ, покрикивала всегда сварливым голосом, даже когда угощала орехами, и чем-то напоминала Гыз-ханум.

Неделю подряд Ахмет воровски исчезал куда-то; наконец привез несколько больших тюков в персидской упаковке, распорядился сложить в подвал. Пахло терпкой сыростью подполья, пахло беззаконием. Но это было, видимо, опасно и потому весело. А затем женщинам пришлось почти целые сутки таскать на выпряженные арбы, стоявшие за садом, мешки с мукой. Гюльджамал едва волочила ноги, пришлось работать и за нее. У Сакины ныла спина, как исколотая. Вязифэ хрипло кляла непосильную ношу. Ночью нагруженные повозки уехали, но дух преступления не выветривался.

Ахмет вернулся утром в дорожной пыли, даже брови его походили на двух желтых мохнатых жуков. Он уединился со старшей, Вязифэ, и заявил ей, что все, что он делает, не их ума дело, а в доме есть работа, и чем проводить время в болтовне, не пора ли приняться за абрикосы в саду. Вязифэ

покорно согласилась: «Хорошо, с завтрашнего утра» — и весь день провела с отдыхавшим мужем. Сакина отнесла приказание на свой счет, слюна показалась ей горькой.

— Он меня считает за служанку, и я не жена ему. Хорошо, пусть...

Гюльджамал ответила козьим плачущим взглядом.

В ту ночь Сакина долго не могла заснуть. В комнате было душно, как под стеганым одеялом, беременная,— слышно было,— спала тяжело, храпела и стонала. Сакина лёжала с открытыми глазами. В темноте вспыхивали звезды: это проступали сухие слезы. И она гасила звезды, тогда вставали жидкие, переливающиеся образы, милые призраки, равно любимые: лицо отца; Голова муллы в чалме; родной дом вырастал, светлый и воздушный, там не было ни этих стонов, ни спертости; редкий садик сквозил вольностью, там жили правдой и свежим воздухом. Дом потемнел, и вспыхнули звезды.

Звуки, похожие на далекие прерывистые визги точильного камня, возникли и усилились,— рядом рыдали. Что-то ударило в сердце Сакину: с кем это так согласно звенит ее душа?

— Гюльджамал! — окликнула она.

— Да! Ты не спишь, Сакина? — спросил влажный, захлебывающийся голос.

В густой, осязаемой, как перина, тьме Сакина пробралась к подруге, обняла ее, с ужасом и лаской ощущая круглый, полный плодом живот. Слушала шепот:

— Мне страшно... Ах как страшно рожать в первый раз! А мужчина пошлет на тебя эту муку и заставляет таскать тяжести. Он не признает ничего, ни шариата, ни любви. Разве так жили наши отцы и матери!

Она тыкалась мокрым лицом в лицо Сакины. Сакина заплакала тоже и тоже ткнулась в грудь Гюльджамал. Груди Гюльджамал, налитые молоком, тяжело перекатывались от толчков, от судорожных вздохов. И так, в сладкой муке невыразимого сочувствия, обе плакали полчаса, может быть, час,— тьма не знает времени,— утихнув, лежали в обнимку, бредя каким-то обоюдным, слитным бредом. И каждой казалось, что подруга провела такое же счастливое детство и юность, хотя выросли они в разных местах, одна в городе, другая в кишлаке, но в мечте они безмолвно и великодушно делились родиной. У них не было тайн, как у сверстниц с

пеленок, не было ничего неизвестного друг про друга, и, голосом продолжая звучавшую в ней сокровенную музыку прошлого, сказала Сакина:

— Он строен и тонок, он силен и, когда я падала на землю, одной рукой удержал меня. Я вырвалась, убежала, он не останавливал меня, потому что хотел моего согласия. Он, конечно, спасет нас, поможет. Ахмет запутался в темных делах, а он знает по-русски и знает все законы.

— Кто?

Вопрос Гюльджамал упал как дребезжащий удар, прерывающий дремоту. Голоса, певшие в Сакине, мгновенно смолкли, она снова увидела тьму комнаты, и тьма эта залила ее разноцветные мысли, и бедными человеческими словами она начала объяснять о Егоре. Этот лепет казался ей самой душным и невыразительным, как шелест тряпья, и тогда, чтобы освободиться из плена этих косных звуков, она, уже трезво, наяву, налгала, что знает такого русского парня, важного комиссара, который все может, да и с отцом ее знаком. Говорила и с досадой сознавала,— слышала на слух, что Гюльджамал не верит, вот лежит и не верит! И все же продолжала:

— Он среди всех парней — как кукурузное зерно в пригоршне пшеницы. Он крикнул кому-то и повернулся так красиво и так сильно, что я едва не закричала тоже, а он отошел к буфету и стал пить лимонад.

Гюльджамал до боли сжала ее плечи, потребовала:

— Найди его, Сакина.

VIII

На другой день женщины работали в саду. Абрикосы заготавливали впрок и на продажу. Их обрывали, разрезали, уносили на солнцепек сушиться.

День был тяжко зноен. Белое солнце горело на листьях, на сучьях, растапливало сокровенные запахи, от которых самый воздух становился как бы неусвояемым, отстраняя тени, бросалось на людей. Желтые плоды, как тяжелые капли теплого золота, свисали с ветвей. Вязифэ, черная под обличающим солнцем, яростно хватала каждый плод, угождая отсутствующему мужу. Сакина не отставала от нее, как не отставала бы от матери, избегала смотреть на Гюльджа-

мал. Лицо беременной на дневном свету казалось уродливо-старым, шафранно-желтым. Когда она подымала руки к сучьям, лицо выцветало, белело, и женщина корчилась от пронзающей низ живота рези. Таскать корзины она отказалась вовсе, и, посидев с ножом на земле, едва могла разогнуть спину. Даже суровая Вязифэ пожалела ее:

— Пойди отдохни, Гюльджамал.

И прошла в глубь сада.

Беременная осталась сидеть у корзин, поманила Сакину, попросила:

— Помоги мне уйти в дом.

Сакина делала все с какой-то радостной ожесточенностью и легкостью. Даже жалость к заболевшей больше походила на любовную нежность. Она не могла сдержать молчаливой улыбки и улыбалась в сторону. Ее гордое благоволенье не померкло и от брюзгливого замечания Гюльджамал: «Ну, чему ты обрадовалась?» Тонкое презренье кольнуло Сакину в сердце, она подавила его и ответила как могла ласковее:

— Я придумала, как дать знать отцу. Решилась...

Сакина не сказала, на что она решилась, ждала вопроса. То, на что она решилась, было так необычно, так страшно и вместе с тем необходимо! Мусульманский мир хранил предания о нескольких таких своевольствах, женщин всегда в подобных случаях убивали. Сакина не находила к этому житейского ключа.

К вечеру Гюльджамал расхворалась, стонала, металась по постели и почти с первого слова, не то от испуга, не то от жары,— а горяча она была так, что Сакине показалось, что больная светится в темноте,— начала бредить. Сакина думала о том, как не вовремя постигла лихорадка подругу. В бодром раздражении, которое проистекало из решимости бороться с Ахметом, она не заметила сначала необычных признаков заболевания. По судорожным движениям рук можно было догадаться, что огненная боль терзает беременный живот, и совершенно неожиданно, как бы заменяя родовые воды, хлынула темная кровь со сгустками и кусками чего-то спекшегося. Гюльджамал сама заметила это, придя в себя. Вскоре понизился жар, острая, колющая, непрерывно возраставшая боль, не смягчаемая даже беспамятством, перешла в частые удары внутренних корч; Гюльджамал кричала в голос, было ясно,— выкидывает. «Позвать

Вязифэ!..» Сакина выбежала в темный коридор и во тьме пустого, овеваемого ночными сквозняками закоулка на один краткий миг застыла в странном ясновидении: сзади, прямо за спиной, стоял их ичкари, который она только что покинула, но там, вместо жидкого разлива желтого света от керосиновой коптилки, строившего и колебавшего по углам пухлые тени, на кошмах, на коврах, на подушках заиграло нестерпимое блистание, как будто с дома срезали крышу и опустившееся солнце бросилось в незащищенные стены.

Вслед за Вязифэ пришел Ахмет.

— В чем дело?

Старшая пошептала ему что-то на ухо. Он потоптался у постели больной, не наклоняя головы, глядел прямо перед собой, рассеянно и недовольно, вышел, не сказав ни слова. Сакина неуместно усмехнулась: он так же ничего не понимает, так же беспомощен, как и его жены. И с радостью испытывала,— сила не покидает ее плеч.

Отстранив ее, Вязифэ умело и хозяйственно возилась с окровавленными тряпками. Гюльджамал все спрашивала, что с ней происходит? Вязифэ скучным, озабоченным голосом утешала, успокаивала, уклоняясь от ответа. Сакину никто не трогал, она забилась в угол. Утомление, истома, измождение, все, что вытачивает кровь из жил, сушит рот, стискивает мысли, завладело ею на неопределенный срок, на час, на два, на мгновенье. Быть может, дрема коснулась ее, но она очнулась от какого-то воровского движения воздуха,— Вязифэ, крадучись, прошла мимо со своими тряпками.

Больная пошевелилась. Подойдя к ней, Сакина едва не отшатнулась, увидав истомленное прекрасное лицо в блеске широко открытых глаз и оскаленных зубов,— в застывшей улыбке. Но Гюльджамал не улыбалась: то, что Сакина приняла за оживление, на самом деле было страшным усилием, шелестящий шепот накипал на сухих черных губах, не в силах подняться. Сакина наклонилась, ей послышалось: «Егор»,— и, чуть не разрыдавшись, она часто-часто закивала головой, бормоча:

— Ты легко отделалась... у тебя уже нет жара. Ты встань... мы уйдем отсюда. Здесь уморят, не пожалеют.

И еще что-то в этом роде лепетала она. Больная даже повернула к ней лицо с тонким заострившимся носом, темное и обольстительное.

IX

Приглуховат был Саметдин, но, оберегая сад, спал чутко. И когда сквозь стариковский сон услыхал нежный женский окрик, вздрогнул: не покойница ли жена это? — и бесстрашно выставил голову из шалаша.

— Это я, Саметдин,— шелестело в серебряном воздухе,— я — Сакина, дочь Гассана, твоего старого друга.

Уродливой тенью вышла говорившая, пригнувшись из-за персикового дерева. Старика передернуло,— сыроваты стали ночи.

— Не дрожи, Саметдин,— ободрила она, дрожа сама так, что даже глухому было слышно трепетанье ее платья. Не приближаясь, заговорила быстро и часто,— Саметдину показалось, что он видит скачку ее мыслей, и он ничего не понимал.

Ей больно и страшно... их изнуряют работой... тяжело захворала Гюльджамал... Землю будут обмерять и делить непременно... Ахмет посылает его зачем-то на станцию... теперь закон мягче к женщинам...

— Я выйду к Голове муллы, утром никто не увидит. Не возьмешь в арбу, пешком уйду к отцу.

В лунном свете красное от загара лицо Саметдина чернело, как уголь, а белая бороденка бедственно блестела, словно роса. Он мигал, напряженно вникая.

— Как ты пешком пойдешь? Нет, уж лучше возьму тебя на арбу.

Женщина бесшумно скрылась за деревьями.

X

Она вернулась домой как в могилу. За стеной сиял лунный, свежий, как весенний дождь, мир с меловым блеском листвы, с непроглядными тенями. Он лился в душу необыкновенной, целомудренной чистотой. Как далек от него затхлый полумрак, в котором едва могло дышать желтое керосиновое пламя! Больной как будто полегчало.

Сакина села в углу и, не позволив себе задуматься о здешнем, толкала мысли к завтрашним встречам с отцом, с властями. «Мой муж,— скажет она всем,— Ахмет Гали-Узбеков, богач и беззаконник. Он женился на мне, чтобы

иметь лишнюю землю и даровую работницу, накажите его за это! А кроме того, он ездит куда-то по ночам и привозит товары с персидскими клеймами. И по ночам же, тайком, неизвестно куда отправляет муку». Сакина шептала это так, как бы записывала,— не хотелось сбиться. Собьется, расплачется. Отец, мужчина, не поверит сбивчивой речи со слезами.

По потолку летали, как черные хлопья сажи, две-три огромные тени. Ровный желтый язычок керосинового пламени непоколебимо бодро подрагивал в пузыре, к обманчивым стенкам которого припадали ошалевшие насекомые. Одно из них,— крупная ночная бабочка,— билось у скользкого, горячего стекла, приникало к нему страстным, обезумевшим рыльцем, непрерывно судорожно мотало крылышками. Цель — свет-пламя-счастье-смерть — были близки и недосягаемы. Осужденная биться у прозрачной ограды бабочка, однако, не отступала. Тени скакали по потолку.

«Я хочу уйти от непосильной работы. Я не могу укрывать темные дела: кто его знает, может быть, Ахмет водится с басмачами».— «А кто свидетель? Кто подтвердит твои слова?» — спросят Сакину. «А другая жена, Гюльджамал! Она не только подтвердит, а, наверное, расскажет больше, чем я, потому что дольше прожила в доме».

Ей воочию представлялась светлая, слепящая белой штукатуркой комната, стол, черная клеенка, бумаги,— учреждение. Они придут туда с отцом, за столом будет сидеть кто-то, важный и безликий (Сакина могла вообразить лишь шапку светлых курчавых волос); он запишет ее слова.

Так рассуждала, бодрствуя, Сакина. Больная чуть-чуть завозилась, сразу стало слышно ее дыхание. Сакина вся встрепенулась, как от холодного ветра, занесшего запах миндального цветенья, или — еще точнее — так же взбадривало ее с детства первое клохтанье первой наседки, открывавшее весну.

— Что тебе?

— Пить! — степенно попросила больная.— Пить!

Сакина с чашкой подошла к ней. Вырванная из своей воображаемой беседы, молодая женщина чуть замешкалась, поднося к губам больной питье. Та глядела спокойными, чуждыми глазами, неуклонно прямо перед собой и шарила слепыми руками в воздухе. И неудовлетворенно лизнула губы, не замечая готовой пролиться в ее рот воды.

— Скорее, Вязифэ!

Голос Гюльджамал прозвучал странно-громко, обжегши Сакину, словно ледяная струя. Больная не узнавала подруги, не узнавала сообщницы, доверенной, и звала женщину, которую не любила, которой боялась, но которая хозяйничала даже над ее беспамятством. Коснувшись края чашки непослушными губами, она отстранила Сакину и, не успела та сесть, позвала:

— Пить, Вязифэ!

— Вязифэ у Ахмета, ее не нужно звать сюда,— беспокоясь, увещевала Сакина.— Она помешает...

Больная сучила руками, шарила пустой воздух, не слышала, не отвечала. Пугаясь этого странного приступа, Сакина догадалась подать ей чашку в руку, помогала сама, но вода расплескивалась, стекала по щекам, и опять возникал утомительный, настойчивый зов:

— Пить, Вязифэ!

Так начиналось утро. Легкие звуки пробуждения послышались снаружи. Там деревья, должно быть, встряхивались, птицы пробовали голос, вполглаза заглянула заря. Вековой, древний позыв к работе заставил было Сакину прибраться. Но, взявшись за кошму, она вспомнила, что надо собраться в дорогу. И тут только почувствовала, как устала, как меркнет ее бодрость. Едва она бралась за свои вещи,— то же настойчивое стенание: «Пить! Подай пить, Вязифэ!» — отрывало ее. И бедная женщина бросалась к чашке, наклонялась над лицом больной, темным, как бы оставшимся в ночи, каменным в строгой бессмысленности, и снова убегала к прерванным сборам. Захватив пыльный палас, Сакина вышла за дверь встряхнуть, в комнате послышался громкий стон и падение чего-то мягкого и тяжелого. Метнулась обратно. Гюльджамал сползла с постели, валялась распластанная ничком на полу, царапала пальцами циновку, пыталась подняться и словно прилипла к полу безмерно набухшими, выбившимися из рубашки белыми грудями.

— Что ты делаешь? — хотела закричать Сакина и вместо этого услыхала странное клокотанье в горле, рванулась помочь — и ни шагу, как будто по бедра засосана в холодной тине.

Больная привстала на колени, вскинула руки, повела приветливым и страшным лицом и от слабости со всего размаха плюхнулась на пол. «Пить! Пить!» — хрипела она. Это

было так непонятно, так страшно, что Сакина завизжала, закатилась долгим, самой себе незнакомым воплем. Вопила и сама глохла от этого крика, не в силах смотреть — смотрела, как бы измеряя силы, на Гюльджамал, которая в глухой, бесчувственной безмятежности ерзала грудью по циновке.

— Молчи, собака!

Вязифэ толкнула Сакину и, оттолкнув и тем заставив замолчать, схватила больную в цепкие объятия, укладывая на кошмы. Она что-то бормотала, прибирала волосы больной, упихивала пухлые бесполезные груди под рубашку.

— Садись, держи ее!

Сакина подошла, села, трепетными неверными пальцами взяла руку Гюльджамал. Послышалось шлепанье босых ног и, резко распахнув дверь, быстро вошел Ахмет. Заспанный и всклокоченный, в старом халате, полы которого развевались, открывая хилые ноги, он остановился посреди комнаты. Эти кривые, бледные ноги, скрюченные от мусульманского свертывания калачиком, на мгновение подняли в Сакине волну отвращения, стыда и безвыходной тоски.

— Что? Помирает?

Он прокаркал это сырым, сонным еще голосом.

— Да,— ответила Вязифэ,— у некоторых бывает перед смертью: подымаются, скачут.

Какое-то смертоносное, влажное, багровое ослепление наплыло на Сакину, и эта горячая тьма пролилась слезами, жгучими каплями падала на руки, и она могла бы иметь название обиды — что смерти несчастной Гюльджамал не стесняются, говорят вслух; горя — что умирающая не слышит, не услышит никого, а может быть, и просто страха. Вязифэ ворчала что-то, сидя с другой стороны и удерживая порывавшуюся иногда подняться Гюльджамал. Та уже начинала терять живую меру дыхания и хрипеть. Сакина положила ей руку на плечо, чувствуя, как все реже, все реже проходят под ладонью легкие судороги, словно даже эти последние проявления жизни удаляются от Гюльджамал.

— Кончается!— тихо произнесла Вязифэ.

На ее лице вспыхивали и меркли трезвые заботы и тревоги. Она ухитрилась даже зевнуть. Ахмет все стоял и все тер глаза, но он не плакал,— глаза у него гноились по утрам. Это наблюдение вернуло Сакине внимание и слух. Где-то далеко, словно под землею, придушенно и нежно

скрипела арба. Она зарывалась, тонула, нестерпимо долго,— конца этому не будет,— не удалялась, не молкла. Сакина не могла поднять руку с застывшего уже плеча подруги, не могла поднять глаз, взглянуть на Ахмета, словно боясь, что он прочитает по ним ее невыполненные намерения и как-нибудь, не стесняясь смерти, выругается, плюнет, оскорбит. Среди живых она остается одна, без защиты и сообщничества, без помощи, без надежды. Вязифэ встала и облегченно кашлянула.

XI

Саметдин, получив поручение с вечера, утром запряг лошадь и тихо, никого не беспокоя, выехал со двора. Всегда приятно убраться с хозяйского взора под зеленовато-аметистовое, утренне-бледное небо, такое бескрайное, с таким могучим изгибом кругозора, что, поглядывая на него, забываешь заботы, словно дух твой слетает со скрипучей, тряской арбы и парит где-то рядом, сопровождая старческое тело, огорченное памятью о приказаниях и сговорах. С каждой проскрипевшей под колесами верстой блаженное ощущение свободы постепенно покидало старика. Бессмертный дух вернулся в бренное тело к тому времени, когда замаячил холм красным камнем — Головой муллы. Небо посинело, и кругом стало как будто жарче. Не пристало работнику вмешиваться в хозяйские распри с женой, только старая дружба с Гассаном, жалость к его дочери... С тех пор как Саметдин потерял легкость в костях, он ко всем близким чувствует сожаление, боязнь за них. И, собираясь сделать что-нибудь решительное и значительное, всегда для самого себя ссылается на полную безнаказанность: не очень-то его возьмешь, чуть что — юркнет в могилу.

— Эй, Сакина!— закричал он, остановив лошадь.

На хриплый старческий зов не ответило даже эхо.

Постоял, подождал. Ясно,— не пришла. Ему сделалось так скучно, как бывает в ветреные предзимние дни, когда вдруг разыгрывается по всей округе ураган, сначала грозный, но потом, так как не утихает дня три, начинает наводить неизбывную тоску: никуда не выйдешь, в доме сумрачно от мельчайшей пыли, наполняющей воздух, сугробами набивающейся у самой маленькой, незаметной щелки. Ста-

рик тронул лошадь и, продремав часа три, приехал к Гассану прямо на работу.

Гассан ковырялся около песчаного обрыва, накладывая песок в вагонетку. За спиной его расстилался такой тусклый и такой пыльный вид, что от него свербило веки. Желтая, выжженная, в вихрастой траве степь с песчаными плешами и буграми, барачный поселок, красное кирпичное здание станции, тяжелое и — отсюда было видно — с затхлыми залами. И только семафор, неправдоподобно изящный, простирал над бесконечными путями свою короткую руку. К нему шли хлипкие тонкие рельсы временной узкоколейки.

— У дочери твоей нелады с мужем...

Саметдин готовился рассказать, как поразил его ночной разговор, но взглянул на худое безучастное лицо приятеля и замолчал. Гассан стоял опираясь на лопату, должно быть, боялся не выполнить урока, все взглядывал на вагонетку с песком, беспокойно жмурился.

— Девкой была — моя была, кто же их, баб-то, разберет? Утрясется.

Саметдин сел на арбу и уехал. Только вечером Гассан вспомнил о нем. «Зачем это он приезжал?» Некоторое смутное беспокойство пошевелилось в нем. Пошел поискать работника зятя, узнать, в чем дело, но его уже не было ни на станции, ни в чай-ханэ.

Москва 1926



Японская дуэль

I

Григорий Нилыч вставал рано, в восьмом часу утра. Полтора часа, выпадавшие свободными до завтрака, он неизменно употреблял на составление труда своей жизни: Библиографического свода переводов западноевропейских поэтов на русский язык.

Десятилетними усилиями составил он картотеку, поименные каталоги, разного рода указатели. Так же как письменный стол его был усеян бумажками, карточками, вырезками, желтыми томиками изданий Меркюр де-Франс, белыми — Аббатства, разноцветными — Инзель-ферлаг, Реклам, Оксфорд-Пресс и Таухниц, словарями и антологиями в издательских коленкорах,— так и память наполнялась многообразными перечнями имен, стихотворений, переложений и подражаний; память часто оказывалась даже лучше картотеки.

На полу, на стульях, на подоконниках сложены журналы, тетради, альманахи, альбомы, тлевшие много лет на полках букинистов и в шкафах старинных родовых книгохранилищ; «Отечественные записки», «Живописное обозрение», «Пантеон», «Северные цветы», «Полярная звезда», «Русская мысль», «Весы», «Артист»; они тонким налетом пыльного усыхания покрывают все вещи в кабинете. Они отживают долгий век, стареют и костенеют, как люди; твердые страницы раскрываются с трудом, с каким-то подагрическим потрескиванием.

Зато, разговорившись при случае, он сообщит:

— Вот, я прочитал статью Луначарского о Петефи. В ней утверждается, что этот поэт мало переводился на русский язык. Не скажите. Мне удалось насчитать по старым журналам,— газеты я не мог просмотреть, за исключением

некоторых,— около шестидесяти стихотворений этого автора...

Ценя разнообразие в занятиях,— оздоровляет утомленный мозг,— Григорий Нилыч по вечерам и в праздники еще увлекался биобиблиографией Лескова, земляка и дальнего родственника. Писателя он этого очень жаловал и почитал исторически обиженным.

— Так называемое полное собрание сочинений Николая Семеновича, приложение к «Ниве», а тем более первое марксовское никак нельзя считать даже приблизительно полным: оно не дает нам и двух третей того, что напечатано этим писателем в повременной прессе,— говаривал он.

Болтать на ветер не в его правилах. Он раскроет вам псевдонимы, укажет источники, приведет в свидетели заметку из литературной хроники провинциального листка,— все, что не скрылось от его уличающего внимания.

А первый рассказ Леонида Андреева, не повторенный в сборниках сочинений, а забытая полемика русских якобинцев с народниками, тиснутая эзоповскими подвалами в выцветшем «Губернском вестнике»! Он выслеживает и регистрирует все,— так, на всякий случай,— безудержная натура.

Дать бы волю, сидел бы Григорий Нилыч целыми днями со своими карточками, но пить-есть надо, и вот с восемнадцатого года пришлось ему заведовать библиотекой дворянского собрания, которая революцией была передана губсоюзу кооперативов, потом перешла к уоно и, наконец, ее взял губполитпросвет, снабдив названием Общедоступной губернской.

Не нужно представлять себе Григория Нилыча господином Сариетом, полуссохшимся хранителем библиотеки Эспарвье из «Восстания ангелов». Григорий Нилыч не стар,— около тридцати, но моложав и для этого возраста,— худощав, тонок в теле, снизу полнее, белокур, розоворумян, выбрит не выбрит — мало заметно, рыжие усики чистоплотно подстрижены. Движения его чуть-чуть угловаты, но точны.

Он вежлив такой безукоризненной учтивостью, которая теперь, вероятно, даже в заграничных дипломатических салонах признается старомодной.

Для удобства рассказчика и для цельности характера остаться бы Григорию Нилычу холостым и, во всяком слу-

чае, бездетным. Но пять лет тому назад дочка квартирохозяев Алевтиночка нашла силы женить на себе тихого жильца. И странно,— после нескольких месяцев брака, времени темного и отяжелевшего от усталости, раззуженных губ, синяков под глазами, Алевтина Семеновна потеряла звонкую охоту беспричинно смеяться, привычку бегать по дорожкам их запущенного садика, стала полнеть, заплывать, беседовать тихо и плавно, смотреть на мужа во время обеда преданным и испуганным взглядом. Пушистые пепельные волосы легли плотнее, голубые глаза посерели, даже рот слегка распустился, обмяк,— в девичестве раскрывался он только для торжествующих улыбок... Брак оказался ладным, в спальне запищал маленький Нилик.

II

За окном играла золотая губернская осень, пахучая, как лимонная цедра, прозрачная, как спирт. Оранжевый клен неподвижно стыл у самой рамы, и с него изредка спадали багровые листья; вяло плещась в воздухе, они тихо опускались на землю. В кабинете плавала прохладная тишина, она просочилась сюда из заречных садов и огородов, сентябрьски пустых, томных, холодных, как яблоко, сорванное в заморозок.

Григорий Нилыч вышел в кабинет озабоченный, усталый с утра. Его всю ночь мучили мысли о служебных неприятностях.

Басов, ах этот Басов!.. Его политика совершенно непонятна.

Однако дурные мысли в кабинете не имели той суровой власти, что в темной спальне. Могучее постоянство работы возобладало, и Григорий Нилыч занялся Ронсаром, тихо гнусавя понравившийся сонет в переводе К. Большакова, футуриста.

Кто объяснит действие тех тонких и могущественных ядов, которые мутят нашу кровь, поражают мозг, въедаются как ржавчина в наши привычки? Их таинственным повелениям беспрекословно повинуется ум, они нашептывают решения, ставят какие-то недосягаемые цели. Страсти, страсти! Они вселяются и живут в вас вопреки вашей воле, воспитанию, в ущерб интересам,— неуловимые, необъяснимые, невыделяемые.

В самом деле, что заставляло Григория Нилыча, наперекор обычаям захолустного, щедрого на время существования, коротать прелестные, нежные утренние часы за скучной возней со старыми книгами? Любовь к стихам? Но читать размеренные строки приятнее в оригинале. Желание выдвинуться? Но он понимает: его работа не обещает ему никаких благ. Даже суетное удовольствие поразить ученостью и то выпадало так редко, что ради него он не снял бы с полки ни одной книги. И все же каждый день вставало с постели вместе с самим Григорием Нилычем навязчивое, повелительное чувство, заставляло торопиться, гнало от умывальника к пыльным волюмам. У него иногда бывали приступы злого похмелья, разочарованье в работе. Он понимал тогда всю ее мелкость, незначительность, бесплодность, стыдился, даже называл «научной торговлей воздухом». Он готов был считать часы, проведенные в кабинетном напыщенном уединении, погибшими для жизни и — плакать... Но после таких черных дней он еще ожесточеннее рвался к бесконечному перелистыванию слипшихся страниц. И это же чувство обязанности создавало призрачный мир со своим запасом огорчений и наград. Что за наслаждение найти на желтой странице увядшего еженедельника стишок из Ленау, Ламартина, Лонгфелло, нарубленный скверными ямбами, и эту находку занести на карточку! О белые аудитории Московского университета! Покойный профессор де-ла-Барт внушил белокурому, румяному юноше, в тесно застегнутой зеленой куртке, эту странную любовь к улавливанию и учету неестественной поэзии бесчисленных стихотворцев-переводчиков, жадно клюющих великих чужестранцев.

В описываемое утро занимался он тем, что приводил в порядок накопленные записи,— работа, не требующая внимания. Злые наплывы тревог изредка пробивались сквозь ограждения стихов и карточек, и тогда он бормотал какие-то строчки, словно заклинания.

Вышел к чаю, жена спросила:

— Что ты такой зеленый? Плохо спал?

Он огляделся. Засиженные стулья с продавленными плетеными сиденьями! облезлая клеенка, сухарница, чем-то похожая на труп черепахи,— куски булки в ней разложены так, словно нарезаны две булки, а не одна,— он сглотнул слюну, как будто в рот ввели ком гигроскопической ваты.

— Я плохо спал и плохо работал сейчас, все думал о

Басове. Он приготовился подложить мне свинью. Но мы будем бороться. Я не позволю ему разорить библиотеку.

Бесконечный тягучий испуг проступил на ее лице.

— Ты прости, Гриша, что я вмешиваюсь не в свои дела!— Алевтина Семеновна не сомневалась, что ее вмешательство необходимо.— Может, лучше не ссориться с ним? Нельзя тебе уходить со службы, у нас не такое положение.

Она произнесла слова чуть слышным, сдавленным голосом,— верный признак упорства,— как бы из-под гнета почтения, кротости и страха пробился этот непререкаемый писк житейской правоты и самосохранения.

Он высокомерно подумал:

«Уходить?.. Добиваться своих прав и своей правды!»

Жена показалась ему вдруг маленькой, остренькой, точно он смотрел на нее через объектив бинокля. Это странное зрелище вызвало в нем ощущение непереносной духоты, и он отодвинул стакан.

III

Вокруг товарища Басова смерч. Едва он появляется на службе в библиотечном подотделе губполитпросвета (появляется всегда к одиннадцати, весь в поту, как бы уже переделав десятки дел, облепленный встречами, с руками, влажными от десятка рукопожатий), в служебных комнатах начинается шевеление всего неодушевленного, рьяный бег всего живого, волшебное движение это имеет направление на кабинет товарища Басова.

— Ну, как? Что?

— А вы исполнили, что я говорил?

— Анкету, анкету, которую я предлагал для опроса читателей, составили? Как мы оформляем читателя? На это надо упирать. Это требуется т а м... Все отчеты в таком же духе.

— Больше плакатов! Знаете, чтобы вид был в библиотеке... Провентилируйте этот вопрос. Надо активнее подходить к читателю! Читатель — это глина,— лепи! Воспитывайте действенность интересов!..

Он знает все слова, самое последнее слово. Это он на съезде политпросветов процитировал сентенцию Петра I так: «Пролонгация времени — смерти подобна». Его хрип-

лый, утомленный голос звучит и вопросом и приказанием. Он — маг распоряжения. Он дает лишь эдакое: мычание, щелканье пальцами,— общую идею,— и, глянув вопросительно исподлобья, ждет.

Подчиненный и рад выложить свои соображения, а Басов:

— Именно, именно! Исполните так, как я предлагаю. Идите!— замыкает разговор, прикашлянув глухо и емко.

В то золотое утро Басову доложили о приходе заведующего губернской библиотекой.

— Хорошо, пусть обождет.

И углубился в «Книгоношу».

Через полчаса он принял Григория Нилыча с таким многозначительно-мрачным видом, что вошедший должен был почувствовать себя одновременно и загнанной лошадью, и потатчиком преступления.

Он сидел наклонившись, видны были одни выдающиеся небритые скулы, резко отличавшиеся от блестящей, гладко выбритой, может быть, лысой головы. Широкий торс, большие цепкие руки на столе, неподвижность затаенной телесной силы,— на кой черт этому парню торчать в хилой обстановке канцелярского убежища? Такая или приблизительно такая смутная мысль скользнула во взгляде библиотекаря. А за пыльными окнами раскрывался изнурительный вид на разрушенный и грязный двор с зияющими пустыми сараями, с циклопической помойной ямой. Начальственная пауза при начале приема была так надуманно-неестественна, что Григорий Нилыч едва не замычал, как от удара в сердце.

— Вам известно о моем проекте?

— Да, я осведомлен,— ответил Григорий Нилыч словами, ни тоном, ни звуковым составом не соответствовавшими вопросу. Он сделал это от ненависти, он даже ощутил ее противный зуд в суставах и, прогоняя это чувство, передернул плечами.

— К какому типу вы относите вашу библиотеку в общей сети в городе? На какого читателя она рассчитана? Насколько удовлетворяет книжный инвентарь?..

На эти вопросы библиотекарь отвечал ежемесячно письменно. А устно мог бы добавить, что его библиотека единственная общедоступная с достаточным количеством книг. Районные бедны, в них нет даже классиков.

Он язвительно хмыкнул:

— Вся сеть состоит только из трех узлов...

И сам струхнул.

На него накатывала обычная робость, сухое похолодание,— как будто из невидимых щелей из-под рваных, темных обоев забили ледяные струи сквозняка.

— Я решил провести спецификацию.

Басов взглянул медным, победоносным взором.

— У нас в городе имеются две большие библиотеки: ваша губернская и Сельскохозяйственного института. У вас сколько книг?..

— Около ста двадцати тысяч томов.

— Но много старья. Половина лежит на полках без всякого употребления: иностранщина, ветхозаветные журналы. Ни к чему для широкого пользования. Я решил, по согласованию с высшими органами, изъять у вас заваль. Это загромождает аппарат.

Щеки Григория Нилыча побелели.

— Но ведь мы не требуем прибавления штатов!

Он пролепетал это так тихо и беспомощно, что сам удивился. Как из целого арсенала аргументов, которые он заготовил, ночей не спал,— подвернулось только это слабое лепетание? А через его бедную голову катился грохот слов:

— Вижу, мало можете вы возразить против моего предложения. И я считаю все эти возражения,— торжественно закончил Басов,— не-су-щес-твен-ными.

Григорий Нилыч вышел. Мир показался ему померкшим. Как будто навсегда въелись в глаза мгла и сумрак комнат подотдела. Красные липы на бульваре горели холодным пламенем смерти. Самое ужасное во всем этом было то, что он ничего не понимал в намерениях начальства, не видел в них здравого смысла. Эта темнота была удручающая, она как бы знаменовала бескрылость разума. Почему не больной рассудком мужчина,— будь он тысячу раз чиновником,— ринулся совершать бессмысленные поступки? К чиновникам Григорий Нилыч относился с брезгливым опасением ученого.

— А что, если это просто так? Без всякой цели, беспредметно?— прошептал он, и знакомый темный вестибюль принял его со всеми страхами в гулкую полутьму.

В этом старинном здании с чугунными, скользкими, холодными и звонкими лестницами он всегда чувствовал себя

как бы под чьей-то защитой и покровительством. Стены, от древности крепкие, словно литые, ампирные колонны, тишина, трудовой покой. И вот разрушается твердыня непостижимо, как библейский Иерихон, от одного звука.

Он прошел в комнату, населенную его библиографией. Здесь было мило все. И красные шкафы вдоль стен, тесно забитые книгами, и длиннейшие полки поперек комнаты, и белые, восхитительные необъятностью, словно заряженные самостоятельным светом, окна со старомодным переплетом рам. Небо близко подступает к стеклам, успокоительное, бесстрастное.

Комсомолец Макушин, помощник, засверкав белозубой улыбкой, сказал выдавальщице Нине Ивановне:

— Нилыч не в себе. Пойду посмотрю. Выскажется,— только бы заметил! А то в последнее время стоит у полки, перебирает книги,— стреляй около, не услышит.

Задумчивость Григория Нилыча оказалась хрупкой.

— А, Макуша!— Он, видимо, обрадовался.— Как уразуметь? Категорически решено передать все,— он показал кругом,— в институт... Театральные еженедельники, французские символисты... В восемнадцатом году все это собиралось по усадьбам, спасалось. Здесь есть доля и моего участия.

Он заговорил задумчиво, поминутно замолкая... Шкафы сочувственно отзывались ему легким дребезгом, возникавшим от неслышной езды по улице. Это тонкое пение, печальное и грозное, словно предвестье разрушения, показалось ему, на одно страшное мгновение, воем вьюги в промерзших усадебных дворцах, куда приезжал он, искатель книг, иззябший, истерзанный морской болезнью, истинной мукой мягких ухабов и поворотов на снежных путях. Он вспомнил ропот крестьян,— что это, все в город да в город? Книги и в деревне нужны. А тогда в каждом дворе была винтовка. Григорий Нилыч вздохнул.

— Ему все равно. А я надеялся, с помощью этих книг, составить к концу жизни полный свод, хотя бы за весь дореволюционный период.

Макушин не без скуки внимал этим жалостным предположениям, в которых самым трогательным для молодого человека были сроки.

— Мне незнаком их язык, Макуша. Утром, дома я готов

был бороться. Но он перелистывал бумаги, взглядывал в упор, говорил металлическим голосом,— я отступил. Я гнилой интеллигент, да, Макуша?

— Ох и сука этот Басов!..

IV

Заведующий губоно едва успел утвердиться за письменным столом, огромным, словно фрегат, и предупредить, что все утро будет занят, как был потревожен курьером Акимом, презиравшим начальника за маленький рост, тихий голос и кротость. Его голова походила на кляксу на зеленом сукне стола.

— К вам просится этот... как его...

— Кто?

— Ну, этот... как его... Книжник... Товарищ Басов...

— Ну, не тяни же...

— А я не тяну. Очень, говорит, нужно по важному делу.

Басов ворвался скорее, чем зав успел произнести: «Попроси», и, влетев тучей упреков в бюрократизме и чванстве, поднял обычную заверть речей и увещаний, зарождение которых начиналось в растрепанных внутренностях портфеля, что, казалось, самопроизвольно извергал блокноты, тетрадки, листки, карандаши,— весь писчий инвентарь,— и даже порождал бурную жестикуляцию хозяина. Басов возился с бумагами, роптал, пришептывая и плюясь, на косность и рутину заведующего губернской библиотекой, который препятствует и саботирует. От крикливых восклицаний зав морщился, отодвигался, влипая в кресло, тяжелел и терял подвижность. Он почти боялся этих двух своих подчиненных: курьера и Басова. От них даже пахло одинаково: потной конской сбруей.

Наконец Басов вытащил лист, подсунул его заву, перебежал за спинку завова кресла и через его плечо прикрыл рукою бумагу на столе. Неустанно тараторя, он сдвинул руку и приоткрыл начало текста. Затем он отпускал чтение по своему расчету. Фиолетовые строчки вылезали из-под пальцев с крепкими, плоскими ногтями и как бы голосили необыкновенно громко. В бумаге сообщалось, что в бибфонде скопились большие запасы книг от происходивших год тому назад по губернии изъятий. Губернская библиотека тоже

загружена излишним инвентарем. Библиотдел полагал, «что было бы правильней сосредоточить все упомянутые книжные запасы в научном книгохранилище при Сельскохозяйственном институте, являющемся детищем революции и центром научно-исследовательских кружков, которым необходимо идти навстречу. Нельзя не указать, что с приобретением вышеупомянутого огромного количества книг эта библиотека будет иметь всесоюзное значение первоклассного книгохранилища».

— Здорово? — спросил Басов и остановил поступательное движение пальцев. Ведь всесоюзный масштаб!

— Ну и что?

— Как «что»? Да ведь в библиотеке будет больше пятисот тысяч томов! Полмиллиона!.. Таких по всей РСФСР пятка не наберешь! И вдруг в нашей земледельческой губернии!.. Шутка ли, на столицу равняемся.

Он перешел на свое место, напротив, поднял голубые глаза; по святому их, нестеровскому, колеру проплыла какая-то еле заметная поволока, — наверное, Шемяка так влажно взглядывал на тяжебников, — и вкрадчиво вымолвил:

— А меня ты отпустишь заведовать библиотекой. Знаешь, мне, как студенту института, удобнее там работать. Сам смекаешь, — грызу гранит...

Зав утомленно откинулся от стола и еще глубже осел в кресло. Он отводил голову, словно кто тяжелым дыханием дышал ему в упор. Темное утлое лицо его посерело, брезгливое опасение мелькнуло в глазах.

— Мастер ты устраивать свои дела.

— Вона! — про себя огрызнулся Басов, выйдя в коридор, и присвистнул.

V

— Намерения Басова раскрыты, но мне не стало легче, Макуша. Нет, мне стало тяжелей.

Григорий Нилыч возвышался на стремянке и снимал с полки томы, закованные в кожаные переплеты с экслибрисами: Воронцовых-Дашковых, Голицыных, Тизенгаузенов, окрестных помещиков, книжные знаки которых он сохранял со вниманием настоящего любителя.

— Шатобриан кончился. Полкой ниже пойдет Гюго, за которого в прошлом веке брались все поэты, от Плещеева до Лихачева. Я точил эти книги, как мышь, сравнивал переводы, хоть это и не входило в мою задачу. Я любил их, Макуша, так, как никто не будет любить. Положите осторожно вот этот томик, — это Готье. Над ним работал Гумилев... «Эмали и Камеи»... Его библиография несложна, с ним имели дело только крупные мастера. Мне кажется, что эти живые, одухотворенные книги, когда их снимают с полки, умирают. Они уже оглушены ужасным шумом в наших залах, топаньем и руганью ломовиков, им противно смотреть, как наследили по полу. Я не могу спасти почти ни одной из них. У нас царил такой порядок, что нельзя утаить ни листа. А там будут пропадать даже редчайшие...

Макушин, несмотря на зиму, одетый во все хлопчатобумажное, складывал, стоя на корточках, книги в ящик. Но даже заросший густым, толстым волосом затылок его показывал сочувствие и сердечность. Григорий Нилыч посматривал вниз с тоской, сладкой и почти утешительной.

— Ящиков скоро не хватит, и тогда возчики повезут наши комплекты журналов прямо на санях. Будут терять, сваливать куда попало.

— Какими путями добиваются некоторые, чтобы им в институте работать! Разве такие студенты красного вуза должны быть, Григорий Нилыч? А он, как же!.. Ученый хранитель!.. На весь город трубит: «Всесоюзное значение!» — благо уши развесили.

Макушину представлялось, что их губернию постигла всеобщая утрата меры справедливости. Население ходит с затуманенным сознанием, дурман басовской саморекламы душит всех. Хитрый юноша выражался немногословно и загадочно, утоляя страдания Григория Нилыча, никогда не произносил даже имени Басова. И, как ни странно, Григорий Нилыч несколько отходил от гложущей тоски за опустошительной работой. Но, когда на улице он встречал подводы, свозившие книги Басову, мрачнел. Подводы шли медленно, как льдины по воде. Григорий Нилыч кричал под косматые ноги комхозовских битюгов:

— Откуда?

И, коли возчику не было лень, слышал высокомерный ответ:

— Из фонда! В институт везем.

Григорий Нилыч видел на возах изъятый хлам, демократические папки, брошюры, листовки, едва сфальцованные куски оберточной бумаги, без обложек и титулов, целые десятки какого-нибудь кадетского «учредительного собрания», жалкие молитвенники в коленкоре... все это бросается кучами на его слитки веленевой бумаги, бумаги верже, на уники в золототисненных латах. Река уцелевшей макулатуры течет к Басову, становясь в колонки шестизначных инвентарных цифр.

Дрожа от злобы, кривясь, он приходил домой. Жене он обратил другую, отличную от той, которую видел Макушин, ипостась. Дома он сосредоточенно-гневно готовился к борьбе и ходил, сотрясая пятками пол. Жена безмолвно умоляла смириться. Нилик пускал душераздирающие пузыри. Отец уединялся в кабинет, там сидел неподвижно, кис от безделья. Книги увезли к Басову, в комнату светло и тоскливо глядела белесая зима.

VI

От скуки Григорий Нилыч начал читать современные газеты.

И вот однажды он обнаружил на четвертой странице заметку под заглавием: «Библиотека всесоюзного значения».

В ней говорилось, что «энергией тов. Басова создано еще одно книгохранилище, пятое по размеру во всем СССР».

У книжника Григория Нилыча сложилось трудно колеблемое отношение ко всему печатному. Он знал, как иногда пожелтевший томик, раскрытый наугад, вдруг обдавал тем же самым жаром, восторг которого горел сто лет тому назад. Перелистывая какую-нибудь «Орлеанскую девственницу», не ощущал ли он, как беззубая улыбка Вольтера садится на его рот! Из века в век, покуда можно различить буквы, на миллиарды людей будет продолжаться это волшебное воздействие. Книгопечатание совершенствуется, грамотность увеличивается. А газеты? Их он знал плохо и боялся, как чудовищ. Он и теперь вообразил, как работой ротационок поскрипыванье лукавого пера усилилось до визгливого рева, оглушившего миллионы читателей этой ложью о Басове, потому что был уверен, что никак не менее миллиона про-

читало эту заметку. Не раз собирался он написать в местные «Известия», что считает неправильными действия библиотечного подотдела, но мысль, что он сам заинтересован и что эта примесь пристрастия отравит его жалобу общественному мнению, останавливала, и он рвал начатое.

Но вот напечатано же, что Басов прав, а он ошибается. Не может же этот серый лист, повторенный шестьсот тысяч раз, вводить в заблуждение!

Григорий Нилыч оделся и пошел в Сельскохозяйственный институт.

Ошеломленный шумом мыслей, он не замечал улиц, на которых угасал день, словно кто-то бросал порошинки сини, растворявшиеся в воздухе, взмучивал небо.

Над жалкими домишками переулка Сельскохозяйственный институт возвышался трехэтажной кирпичной глыбой с мудреными крышами, с наличниками — стиль рюсс.

Окна наливались яркой желчью электрического света. В зеленоватых сумерках у ворот мялось несколько подвод, оттуда глухо падало похрапыванье лошадей и деловое переругиванье. Натруженный хриплый голос выбился из этой возни звуков,— Григорий Нилыч узнал Басова.

— Что? Не знаете, куда едете? К шитиковскому особняку надо подавать!

Мужики ворчали, что на ночь глядя далеко не уедешь, что навалили книг незнамо где; брали под уздцы лошадей, отводили от ворот. Григорий Нилыч отправился за ними и через два дома вошел в открытое парадное. Из шитиковского особняка Басов выселил четыре семьи, десятка полтора разновозрастных пухлых девиц, множество старушек и усатых апоплексических мужчин. Григорий Нилыч беспрепятственно погулял по мелким комнатенкам, кривым коридорам, по скрипучим лестницам добрался до мезонина. Он никого не встретил, но на холодном полу медленно таял нанесенный снег, валялись мятые стружки, по стенам торчали стояки для будущих полок, и всюду — ящики, пачки, связки, горы и груды печатной бумаги. Это было похоже на бедствие. Григорий Нилыч посматривал и усмехался. Справиться с таким количеством материала в небольшом помещении немыслимо. Книги пробивались в каретный и дровяной сараи, затопляли подвалы, проходы, подступали к чердакам, внося холод, сырость, запах векового тления. Григорий Нилыч неотступно видел обожравшегося человека, кото-

рый может умереть смертью Ария-еретика, лопнувшего в отхожем месте, но не переварить принятую пищу. Разумеется, захлебнувшаяся в потопе повседневная работа прервалась. Профессора, поди, возмущаются, студенты тоже, но менее искренне.

Григорий Нилыч услыхал за перегородкой разговор, тяжкий грохот бросаемых тюков и тихо побрел домой.

Алевтина Семеновна встретила его в передней, и у нее, показалось ему, был тревожный и какой-то коптящий взгляд. Не раздеваясь, Григорий Нилыч прошел в кабинет, вернулся с газетой и заговорил вдохновенно:

— Я уже вижу, как этот баловень власти ходатайствует о повышении всем сотрудникам жалованья на два разряда ввиду научного значения книгохранилища...

Он покраснел, принялся снимать шубу и обличал, оборотясь к вешалке:

— Я вижу, как он расписывается впереди всех своим гнусным росчерком в ведомостях. И те, кто расписываются ниже его залихватских закорючек, вздыхают.

У Алевтины Семеновны задрожали губы и подбородок, кривая молния жалости и боли ударила ей по лицу.

— Ну, не надо так волноваться. Что ты обращаешь внимание?

Она обхватила его за шею, приникла к нему, душила поцелуями, пугаясь того, что делает, и зная, что не в состоянии переносить возбужденные, непривычные, бредовые речи мужа. Она сухими, горячими щеками, сбившимися волосами припадала к его рту, сдавливала его в объятиях, прижималась всем телом, оттесняя от двери, за которой расстилался враждебный непроходимый лабиринт интриг, козней против мужа,— вот уж он и несет невесть что... Григорий Нилыч сгибался под мягкой тяжестью, волосы жены лезли в нос, в зубы, мешали перевести дух, но он всей своей кровью ведал, что нельзя пошевельнуться без того, чтобы это сопротивляющееся движение, даже самое капельное, не оскорбило ее, не обидело, не унизило. Он тонул в вязком звоне тишины квартиры, и некуда было деться от этого теплого, родственного дыхания из легких в легкие, от которого можно обессилеть, обеспамятеть.

Она, видимо, угадывала, что муж собирается сделать что-то непоправимое. Это скрытое неосознанное решение, как иголка в перине, нацелившаяся вот-вот впиться в тело.

И Алевтина Семеновна шарила по спине мужа, бормоча: «Плюнь, плюнь на них! Шваль, дрянь... а ты с ними будешь связываться... ты — ученый. Они съедят, не становись поперек...» Он и сам еще не замыслил того, от чего его оттягивали, и уже слышал, как решимость, темная, точно преступление, схватить кого-то, прижать, вырвать свое, испаряется, высачивается из него.

Она за шею потянула его как в омут. Григорий Нилыч двинулся, не сопротивляясь, покорно угадывая ее шаги и намерения. В спальне, едва освещенной косяком света из полуоткрытой двери в столовую, тягуче пахло сном, береженым теплом и еще чем-то неуловимым, детским...

— Подойди к постельке... Как ровно дышит Нилик.

«Все как было, только странная воцарилась тишина»,— едва-едва отозвался муж и сам содрогнулся перед книжной ложностью этого не дошедшего до нее ответа. И, тихо разведя ее руки, он отер лоб и попросил:

— Открой в кабинете трубу. Я хочу сжечь кое-какие бумаги, разные пустяки, которые раньше считал серьезным...

— Смотри, выстудишь еще! — ворчливо и победно сказала жена.

Разбитый в супружеском единоборстве, Григорий Нилыч остался один. Резко, порывисто, как никогда с ним не бывало, выхватывая ящики письменного стола до конца, он принялся вываливать пачки карточек, аккуратно сложенные и связанные по авторам. Некоторые развязывал и разглядывал, по почерку, менявшемуся с возрастом, по цвету чернил узнавая эпоху составления. Больше всего он увлекался французами, самые ранние прослеживания относились к Верлену, Мореасу, Вьеле-Гриффену. Начало революции отметилось карточками: Шенье, Кернера, Томаса Мура, Конопницкой, Беранже. Очевидно, он бросился искать объяснений происходящего. Впрочем, это была, может быть, просто случайность: исчерпав декадентские издания, исследователь перешел к «Русскому богатству» и «Миру божьему».

Далее — провал, перерыв. Точно судорога спросонья, острая мука клюнула его в самое сердце. Он застонал. Да, это было так же тяжело, как и теперь, и так похоже...

В конце семнадцатого года Григорий Нилыч не мог возвратиться в Москву. Рабочие отцовского кожевенного за-

вода выгнали в ноябре директора, наследникам заявили, что завод принадлежит государству. Это была чуть ли не первая национализация в стране. Григорий Нилыч испытал такое чувство, словно огромная невидимая птица пролетела мимо и задела перьями крыла. Он скоро, очень скоро забыл о разорении.

Но одного он не мог забыть никогда. Это лишь затягивалось, вскрываясь изредка, но всегда болезненно.

Его личная библиотека,— чудесное собрание стихотворных книг,— оставалась в Москве, на попечении брата, блажного, неряшливого человека, вообразившего себя художником. Он отрастил длинные волосы, менял редко белье, умеренно нюхал кокаин и называл себя богемой.

Стояло воспаленное голодное лето. Деникин подступал к родному городу Григория Нилыча. И тогда получилось странное письмо от брата, который сообщал, что он, кажется, бросает живопись и увлекается философией. Он почти каждый день бывает в книжной лавке писателей в Леонтьевском, познакомился с Бердяевым и считает Ходасевича «самым глубоким поэтом современья». Григорий Нилыч с голода просветлел до того, что подвергался пророческим предчувствиям.

«Ты бываешь в книжной лавке в Леонтьевском, а что с моими книгами?» — запрашивал он.

Длинное и путаное послание пришло в ответ. Поминал часто какого-то Шварца, приват-доцента, «апологета благотворного мещанского уюта, отрицателя зловредной и мятежной культуры Запада», брат только в конце прибавлял, что он всю зиму существовал, продавая книги и отапливаясь полками. Писатели обратили внимание на подбор книг, он познакомился,— теперь свой человек,— и наслаждается, «греясь у этого единственного очага истины в Москве».

Григорий Нилыч три дня не выходил из комнаты, солнце казалось ему черным. Говорили, что Мамонтов совершил набег на город. Григорий Нилыч не приметил. Как и все в то время, он не ощущал в себе возраста и сто сорок четыре часа своей молодости проскорбел о потере. Несколько раз хозяйская дочка Алевтиночка, пробегая по саду, взглядывала на закрытые окна с удивлением семнадцатилетней мудрости. «Как можно убиваться о каких-то книжках?» — думала она, и обжигающая жалость заливала ей грудь. В одно воскресное утро она вошла к нему заплаканная, в розовых

пятнах, и протянула на тарелочке ржаной пирожок с капустой. Осенью Григорий Нилыч признался:

— Я неспособен к систематическим занятиям, часто теряю голову. Работа над периодикой, с ее разнообразием материалов, уводит меня в сторону...

Это было днем, у изгороди, на границе черных опустошенных огородных гряд, от которых потягивало гниловатой сыростью, холодало. Но слова прозвучали как томная соловьиная трель.

— Дайте мне кончить вторую ступень,— ответила, покраснев, Алевтиночка.

...Жена на цыпочках принесла дров, зажгла. Они не разгорались, пришлось разжечь их второй раз. Муж сидел у растерзанного стола, с опущенной головой, не видел, не слышал. У нее не хватило смелости сказать что-нибудь, она вышла, плотно и неслышно затворив дверь. Где-то затрещало. Григорий Нилыч вскинул голову. Припахивало дымом. В темном жерле печки холодным и еще не видным огнем занималось несколько поленьев.

— Когда я сказал положить дров?— вслух подумал он.— Судьба. Однообразное гонение со всех сторон. Со всех сторон.

С подоконника в беспорядке свисала газета с заметкой о Басове. Григорий Нилыч пихнул ее в печь. Пламя, вспыхнув, выбилось наружу. За спиной Григория Нилыча заколебались какие-то странные тени. Раздражающее чувство одиночества и потерянности навалилось еще сильнее и неотступнее. Он взял со стола пачку карточек,— это был Мицкевич,— и целиком сунул в тухнувший пепел газеты. Картон не разгорался, и следующие пачки Григорий Нилыч развязывал, карточки тщательно разрывал пополам, они затлевались обычно со стороны обрыва. Эта кропотливая работа потребовала почти целой ночи...

VII

На другой день к Басову явился посыльный, которого знал весь город, потому что он целыми днями торчал в своей замечательной фуражке с позументами около дверей советской гостиницы, и вручил изящно завязанный пакет. В несколько листов писчей бумаги была завернута старинная двухфунтовая из-под шоколада коробка.

— От кого? — спросил Басов.

И, услыхав: «От Григория Нилыча. Ответа не надо!» — выпятил губу.

Посыльный удалился. Басов в некотором волнении неловко начал открывать коробку. Крышка так плотно была пригнана, что он услыхал нечто вроде вздоха, поднимая ее. И вдруг черные хлопья пепла вылетели из раскрывшегося картонного зева. Басов от неожиданности бросил посылку. Пепельные хлопья мгновенно усеяли стол, от резкого движения часть их поднялась и медленно опускалась на пол.

— Черт знает что такое!

Он решительно открыл коробку. С внутренней стороны оказалась приколотая к крышке записка, всего несколько слов:

«Это сожженный труп моих десятилетних трудов: картотека по библиографии переводов на русский язык западноевропейских поэтов. Вы разрушили все, отняв у меня книги, по которым я работал. Пусть будет вам стыдно».

— Вот буржуй и дурак! — сказал Басов, комкая записку.

1926

Рассказ о труде

I

Ричард Черчилль выбежал на улицу из дома иностранцев и закричал:

— Мачта на острове Хортице падает! Я сам видел в окно.

Дети рылись в песке. Брат Ричарда, Фрици, такой же рыжий и в веснушках, про которые американский юморист сказал, что они гремят, как горох на тарелке,— Фрици рассыпал пирожок.

— Что ты орешь, как псих? Какая мачта?— спросил он.

Ответил толстый повар. Он стоял у крыльца, бледный и в поту, обсыхал от кухонной испарины, поглядывая на черные тени от кубических домов поселка.

— Вот видишь, Ричард,— сказал укоризненно повар,— хоть ты и не русский мальчик, а все путаешь. Это ставят вторую мачту. Рядом с первой,— ты не разглядел.

Дети его не слушали и рылись в песке цвета чухонского масла. Ниночка Пикельман нежно погладила синюю пижамку Ричарда. Она была поношена, но восхитительна. У нее были красные отвороты. Брюкам был придан ковбойский раструб красными клиньями внизу.

— Твой папа иностранный инженер?— спросила девочка.— Немец? А мой папа на сверхурочной работе,— старательно произнесла она.

Мачты стоят друг против друга. Между мачтами, над быстриной желтой реки в бляшках пены, висят провода. Пена свергается с плотины. По проводам идет ток страшного напряжения. Мачты возвышаются как радиобашни, увенчанные перекладинами, каждая похожа на тонко и подробно вычерченную букву Т. Одна упирается легкими железными лапами на бетонное основание в каменном грунте Хортицы,

основание другой лежит в лёссовой земле левого берега. Мачт будет по четыре с каждой стороны. Они ростом с пятнадцатиэтажный дом, семьдесят пять метров. Здесь, на Днепровском строительстве, трудно удивить размерами и рекордами. Но после плотины и гидростанции непременно показывают мачты и рассказывают о знаменитых такелажниках и монтажниках с Краматорского завода во главе с мастером Масловым. Маслов ставит мачты целиком, так, как втыкают вешки в рыхлый снег. Когда проект по постановке мачт проник в тихие кабинеты иностранных консультантов при главном инженере Днепростроя, они стали возражать. Нет, так в Америке не делают. Нет, собирают, возводят венец за венцом, как возводят фабричную трубу, башню, дом. Один из них свои расчеты подкрепил язвительным сравнением:

— Перекиньте над пропастью обыкновенную доску. Я не перейду по ней, однако я был на Сомме и защищал подступы к Парижу. А моя четырехлетняя дочка Виолетт пробежит по доске неуверенными, колеблющимися ножками и будет улыбаться. В ее опыте нет еще понятия губительной высоты.

Далеко закинул американский спец. Так далеко, что скромные, бесстрашные такелажники передают его слова посмеиваясь. Они не могут прочитать аллегорию, потому что она, подобно сновидению, состоит из нескольких пластов и каждый пласт — многослоен. Краматорский мастер Маслов, конечно, не четырехлетняя Виолетт, он стоит твердо не только на земле, но и на траверсе мачты, куда ветер не в силах поднять земную пыль. «На молодость мы согласны,— могут ответить такелажники, не расслаивая аллегорию,— мы согласны отказаться от иссушающей волю старческой опытности. Той опытности, которая примыкает к трусости. Мы согласны на риск, когда он подкреплен точным расчетом, искусным мастерством и смелостью. Мачты стоят».

Над рекой висят толстые канаты стале-бронзовых проводов. Страшный ток ста шестидесяти тысяч вольт струится по ним с правого на левый берег, на площадку «А», к строящимся заводам: к «Запорожстали», к Алюминиевому, Коксохимическому, к трамваям, к Запорожью, к соцгороду. В Европе нет места, где на таком небольшом пространстве распределялось бы и осваивалось столь огромное количество энергии: половина всей днепровской мощности.

II

Босой парень подымает горячую пыль. Он смело и рассеянно шагает среди кусков арматуры, проволоки, застывших бетонных капель. Кучер оправляет сбрую на паре разномастных коней в тачанке. Инженер в бирюзовой спецовке выписывает ему поездку. Откуда-то идет густой, как бы примусный, шум. Его время от времени прорезывают удары, словно по ведру. Землекопы на гребешке канавы едят арбуз с хлебом. Розовые корки вокруг них лежат как затухающие угли.

Несколько женщин продолжают рыть эту канаву. Одна из них, молодая и широкая в кости, разула по крестьянской бережливости правую ногу,— тапочка и серый чулок сложены аккуратно в сторонке. Она яростно нажимает босой ногой на лопату.

— Что на обед нынче в столовой? — кричит она землекопам.

Черный «форд-лимузин», умытенький среди пыли, собранный и строгий среди разбросанности, осторожный и внимательный, опасаясь каждого осколка и гвоздя, въезжает по избитой дороге, которую указательные доски зовут Пожарной,— карету качает из стороны в сторону. Человек в машине пытается занести что-то в записную книжку. У барака глиняного цвета очередь. Столовая. Туда бежит пожилая женщина с пачкой только что вышедших листков — номера многотиражки и листовки. Мне суют газету «Сталинец» — «орган партосередку й робіткому ціс Запоріжсталі». Тексты врываются в пейзаж.

«ОБНЕСТИ ЦІС ОГОРОЖЕЮ»

ЦИС — это цеха инструментальной стали.

На дорогу выезжает дом на гусеницах. Это траншеекопатель Остина. Гремя цепями, он проходит медленно и неуклонно, подобно туче.

«ЗАМІСТЬ РОБОТИ — ПРОСТОЙ«

Далеко, сотрясая земные недра, раздается раз за разом разбитый на отрывки раскат грома. Это рвут камень на Днепре.

Я читаю листовку:

«Самоотверженность бригады Кошевого — яркий пример большевистской борьбы за высококачественную инструментальную сталь».

Раскат грома. Пауза. Раскат. Пауза. Две бурые коровы и гнедая лошадь с толстым вислым животом пасутся на пыльном, чудом уцелевшем бурьяне за штабелями бревен и досок. Животные даже и ухом не ведут на ползущий со скрежетом дом. От котлована выезжают гуськом подводы грабарей. В повозках, похожих на гроба, покоится желтое тело лёссовой земли. Пасущаяся лошадь поднимает голову и ржет.

Трос шевелится под ногой. Он тянется от далекой лебедки к красно-ржавой конструкции, которая ползет на катках. Когда ее внесут под крышу, она будет казаться тонким черным плетением.

Бежит вприпрыжку мальчишка, баранья шапка налезает ему на глаза.

— Кавуны привезли прямо в вагонах до доменного цеху!— сообщает он мне.— Мамка!— кричит он, подбегая к дощатому строению.— Кавуны привезли!

В окне шевелится и раздирается газетный занавес. В нем появляется бородатый отцовский лик. Толстый грозящий палец.

Тонко свищет паровозик. Он где-то рядом всхлипывает и дышит, и от дыхания его становится даже жарче. Шествуют две группы рабочих с инструментами — это перебрасывают бригады с прокатного на сталеплавильный: первоочередной. В раскрытом окне прораба почтенный старец в гимнастерке вертит ручку арифмометра. Опять тачанка — двое инженеров. Один в костюме брусничного цвета с искрой и в сливочной шляпе с черной лентой — иностранный специалист.

Стоящий неподвижно над котлованом грейферный кран пустил белую струю пара. Раздалось шипение, и кран повернулся, шевеля стрелой. Ковш опустился, разъялся надвое, оскалив зубы, упал на землю и отхватил огромную глыбу. Будка крана снова повернулась, ковш поднялся к вершине стрелы, разъялся и высыпал кубометр ржавого порошка.

Из конторы выходят двое.

— Сколько сегодня из города добровольцев?

— Да тысячи полторы будет. В самую чо́сточку людей.

— А как рассыпались — их и не видно. Успеете убраться к пуску?

— Ну, к пуску!.. Площадочка — хоть сейчас в футбол играй.

III

Требуется большое душевное усилие, чтобы из этих частностей — а в действительности их неизмеримо, в миллионы раз больше, они дробнее, различнее между собой, текучее, неуловимее, они — звуки, запахи, цвета, температуры, мысли, движения, эмоции — создать то целое, что уже создано самым их появлением в этом месте, на этой изрытой, выбитой, утоптанной, загаженной, обмерянной и ставшей драгоценной земле, именно в этот октябрьский южный день, с паутинками, с горячим солнцем и холодными тенями.

Воссоздаваемое целое есть строительная площадка, а она есть не только место, но и процесс, я понял его, ознакомился с ним, вошел в него (опять-таки частью себя и сам сделался частью целого) лишь после длительного пребывания, ежедневных посещений, множества разговоров, я сам пробудил в людях интерес к тому, что будет написано об этой площадке, и начал овладевать тем, что будет написано, лишь после чтения книг и статей об электрометаллургии, о строительстве, и заранее чувствовал стыд за то, что знания мои тощи и лоскутны. Я разбираю иероглифы этого целого хоть довольно бегло, но весь смысл для меня еще не раскрыт. Он содержится в каждом отдельном человеке, выполняющем задания,— от полубосой девушки до старика с арифмометром. Этапы этого смысла содержатся в краткой рапортичке десятника, в длиннейших формулах технических расчетов, в распорядительности старшего производителя работ по группе ЦИС инженера Ястребилова и в верном топоре бригадира Кравца. Плодом и результатом, осязаемым, видимым, слышимым, осмысливаемым,— встает огромное строение, широкое, длинное, с крышей в виде плоского шатра, с торцовой стеной, почему-то напоминающей умный крутой лоб. Строение освобождается от лесов. Серый бетон его стен вспыхивает, как блестками, стеклами, на крыше стекла зеленые, армированные, от зеленой полосы отдает морской далью. В его широкие ворота может въехать паровоз, да и

на этот паровоз можно положить такой же второй. С каждым днем, с каждой сменой цех приглаживается, очищается, вырисовывается, как будто каждые восемь часов протираешь глаза и начинаешь яснее видеть это здание, сияющее столь ярко выраженной индустриальной целесообразностью, словно его строили для красоты.

Внутри прохладной остывшей оранжереи — свет. И пахнет сырой древесиной, которую начинают побеждать испарения красок, минеральных смол, вонь сварочных газов. Между колоннами возвышается помост рабочей (эксплуатационной) площадки, железный звонкий помост, с которого будут нагружать устья печей. Некоторые из них уже утверждены на своих местах, похожие на черные чайники с коротким носком. В эксплуатацию входят две печи, первенцы из десяти. Их чрево выложено магнезитовым кирпичом, самым крепким огнеупором, который знает промышленность. Кирпич уложен толсто, в несколько рядов, и внутренность печи напоминает нутро башни старого кремля с бойницами. На площадке, в нишах и шкафах вокруг печей возятся иностранные и русские монтеры, собирая с точностью часовщиков могущественные и чуткие электроприборы. Четыре раза в сутки каждая печь будет принимать по десять тонн скрапа (железного лома), ферромарганца, ферросицилия, полевого шпата,— вольтова дуга внутри печи четыре раза в сутки переплавит лом в ценнейшую сталь. Четыре раза печь наклонится и выльет в ковш белую ослепительную струю. Печь не должна ни останавливаться, ни остывать. Напильники и фрезы, шарошки и резцы нужны социалистическим заводам. Мы возим для них сталь из Германии, из Скандинавских стран и не можем и не хотим ввозить ее впредь.

В пусковые дни гидростанции, в суматохе перед официальным открытием, все же внимание партийной и советской общественности Большого Запорожья тревожилось за пуск сталеплавильного цеха. Там больше месяца сидела выездная редакция газеты «Пролетар днепробуду», и ежедневно пять-семь листовок штурмовали отстающие участки, вызывали бригады на соревнование, выкликали конкретных виновников простоев и зевков, сообщали о победах.

Но стальной слиток — только сырье. Чтобы он стал полуфабрикатом, его нужно прокатать, дать профиль. Против электросталеплавильного сбрасывает леса прокатный цех,

здание еще большее по размерам, чем первое. Там сложен монтаж оборудования всех этих прокатных и обжимных станов, моторов, передач, валков. Там роют землю, бетонируют ее, ибо добрая половина машин будет сидеть в подземной части. Чтобы привести сталь к стандарту, ее нужно обработать термически. Далее следует термический цех, легкий по очертаниям и по оборудованию: печи, нагревательные и охлаждающие колодцы. Бок о бок со сталеплавильным, первоочередным, возвышаются колонны кузнечного цеха, последнего в очереди всей группы ЦИС.

Но и вся группа цехов инструментальной стали — это едва ли не шестая часть металлургического гиганта, который будет работать на днепровской энергии. Две домны, подобно двум шахматным турам, заняли свои места в ряду круглошапых кауперов, их будет четыре. Стационарные, качающиеся, электрические мартены превратят чугун в стальную болванку. Блюминг и слябинг обожмут ее в блюмсы и слябы, в игрушки по две с половиной и по семь тонн. Тонколистовый непрерывный стан — подобно слябингу, он будет один из первых в мире — будет выбрасывать рулоны стали, которые превратятся в кузова тракторов и автомобилей, в одежду подавляющей доли автотракторной промышленности Союза.

Цех конструкционного проката даст стали специальных профилей для тех же тракторов и авто, для самолетов и дирижаблей, для сложных и дорогих машин. Здание прокатного цеха будет длиной в километр, шириной с пятьсот метров. Гектары под крышей, квадратные километры, окруженные стенами, железобетоном, целая подземная столица труб, газопроводов, коллекторов, стоков, десятки километров железнодорожных и шоссейных путей, бронзовые электропечи Мигэ для ферросплавов, эстакады, виадуки, миллионы тонн грузооборота.

Я так и несу читателю сырье этих цифр, живое воображение бессильно представить себе плоть этих построек, память — удержать виденное, способность соразмерять и сравнивать — соразмерить и сравнить. Как их одеть в тело образа? Домна на тысячу тонн ежедневной производительности — читатель ее не видит,— как ее показать? Вокруг ее стройного башенного стана обвивается труба воздухопровода. Внутри трубы я прошел слегка согнувшись. А она кажется на боку домны не толще руки у кисти. Но вот вы освоили представле-

ние о размере. А ведь он ничто без этого грохота клепки, который за версту похож на примусный шум, без понятия об опасности приближаться к строящейся домне и вообще слоняться и наблюдать на стройке,— каждую секунду может наехать паровоз с гружеными платформами, грузовик, упасть кирпич, доска, молоток, можно провалиться в яму, заблудиться в тупиках. Море, ад, ураган, полярные торосы, пропасти, бездны, хаос — милые слова прошлого века для описания строящихся торговых рядов или железнодорожных мастерских! Что нам с ними делать? Ведь масштабы есть воплощение темпов, и надо усиливать волю их постигать.

IV

А теперь надо рассказать один заурядный случай.

Утром в цеху стоял тонкий непрерывный звон. Как всю последнюю пятидневку. Огнеупорщики тесали магнезитовый кирпич. Неестественно тонкая пыль. Кирпич был весок, как чугун, и крепок и звонок, как сталь. Огнеупорщики тесали, меняли, поругивая, ежеминутно тупившиеся кирочки. Кирпичи надо обтесать так, чтобы они без всякого связующего состава стояли в круглой печи вплотную друг к другу: там будет вариться сталь, и если она прорвется в щель между кирпичами, «будет серьезная драма»,— говорит инженер Гаухман, прораб по огнеупорным работам. Вчера вышла листовка, всеми шрифтами кричала, что бригады Калугина и Григорьева превысили норму в два с половиной раза.

Старший прораб строителей сделал обход. Маленький, красный, он шел, окруженный своими командирами и помощниками, и, чуть-чуть наигрывая раздражение и горечь — потому что в целом он был доволен и горд,— «крыл». Он любил и умел обставлять эти обходы, их видел и слышал весь цех, к ним готовились, они были знаками препинания в работе, в ее общем непрерывном течении. Ему еще вчера вечером сказали, что монтажники пробили отверстие в крыше, но теперь, увидав эту дыру, непредусмотренную проектом, инженер вскинул руки и тонко закричал:

— Зияющая рана на теле сооружения! Безобразие, которому нет имени!

Монтажники были посрамлены. Работающие люди боятся веса слов. Сцена показалась настолько любопытной, что заведующий электротехнической мастерской Пикельман то-

же вмешался в свиту обхода. Он был на стороне монтажников и посматривал на их работу со скромной гордостью. Для них, как и для него, здание — только коробка. Это ими принесены, поставлены, слажены, приведены в готовность к действию печи, площадки, мостовые краны, сильные, как десяток слонов, умные и послушные, как человеческие руки. Спектакль обхода все же нравился Пикельману. «Ишь, холера, раздирается»,— сказал он старшему такелажнику Никитину, кивая на прораба. Обход лазал на крышу, откуда открылись дымные дали, степи, уже иззубренные начатыми сооружениями, домами и бараками поселков. Сияло озеро, поднятое плотиной, узкое, длинное, как меч. Тут был воздух, родственный небосводу, чистый, разреженный и прохладный. Старший прораб воспевал бригаду Галузина за толковую и скорую настилку рубероида.

— Вот, товарищи, человек сумел сколотить чернорабочих, оказались действительно на все руки. Вывозят, если надо, мусор, вставляют, если скажут, армированное стекло, кроют крышу. Для них нет высокого и низкого, всё социалистический труд.

Пикельман вернулся в цех. Он хотел присутствовать на испытании маслопроводов. Он прошел на площадку, заваленную кирпичом. Рабочие тесали и покуривали. Девушки носили кирпич в печь. Звон был непрерывен. Здесь превышали норму.

Внизу, под площадкой, мастер Карл Иванович Озоль проверял маслопроводы. Мастер Озоль — специалист по монтажу трансформаторов и масляных выключателей. Озоль — пожилой человек, ворчливый и придирчивый,— но ведь электрический ток привередлив и придирчив, причем он свое недовольство проявляет грозными молниями короткого замыкания, пробивает изоляции, выводит из строя драгоценные валютные машины. Мастер волновался и под ворчливостью скрывал волнение,— все следили за ним в молчании. К испытанию прибывал народ, электрики управления строительством, инженеры ВЭО, даже кое-кто с правого берега, с ГЭС.

Мастер осматривал маслопроводы, поджимал тонкие губы, обрамленные седой щетиной. Группа инженеров и техников в сторонке ждала испытания. Собственно, они приехали сейчас зря. Без них бы управились в первый раз: это не приемка, а испытание.

Но с этими чертовыми маслопроводами наматывалась длинная история, и все, начиная от главного электрика «Запорожстали» Бабицкого и кончая прорабом печных установок Циперовичем, принимали в ней длительное и деятельное участие. Маслопровод — это трубы. А труб, именно пятидюймовых труб, и не оказывалось на стройке. На десятке гектаров, заваленных всяким добром. Это те простые толстые трубы, которые проступают в стене неких необходимых уголков в любой московской квартире. О трубах твердили требования и служебные записки, о них поминали доклады и рапорты. О них имели разговор с главным инженером Днепростроя и со всеми его кладовщиками в городе, на ГЭС, на заводах. Ездили в Харьков, в Днепропетровск, запрашивали Свердловск, Москву. Трубы превзошли по дефицитности мелкую арматуру, катанку, гвозди и даже болтики. Инженер Бабицкий, как рассказывали, «получил разрыв сердца», когда однажды обнаружил две такие трубы в строительном мусоре около нового дома, в который только что переехал. Их торжественно везли в сталеплавильный цех. Так, по штуке, и свозили отовсюду. Трубам придавали нужный изгиб. К трубам прилаживали фланцы — кольца, которыми обтягивают места соединения. Для этих колец резали толстые железные листы. Затем фланцы приваривали друг к другу автогеном. И о фланцах много говорили. О них знали: начальник «Запорожстали», главный инженер завода, ячейка, коммерческий директор, агенты по оборудованию в Москве, в Керчи, на Краматорском заводе. Мастер Озоль мог бы скорее удивляться, что слишком мало народу присутствует на испытании маслопроводов.

— Пускайте насос,— распорядился Озоль.

Пустили. К Озолю подбежал помощник, молодой техник с одутловатым лицом и круглыми глазами.

— Фланцы текут,— сказал он.

Карл Иванович пробормотал что-то вроде того, что если парень такой идиот теперь, после того как он проработал у него полтора года, то каков же он был раньше!

— Фланцы текут,— сказал старый мастер и побледнел. Он поискал кого-то глазами.

— Как же ты варил, Лаптев? — спросил он, помолчав.

Группа людей немного отступила, и Лаптев, с понурой головой, стоял один. В это время пришел Пикельман. Ему

сказали, в чем дело. Он посмотрел сварку. Она была сделана аккуратно и плохо.

— Масло хуже воды,— сказал Пикельман,— оно ход найдет.

Он осмотрел все кольца. Их было шестьдесят. Масло слезилось в микроскопические поры. Работа добрых двух пятидневок срывалась.

Покуда Озоль и Пикельман лазали по трансформаторам, сварщик Лаптев выслушал многое. Порицания были высказаны даже подчас в форме высокопоэтической и рифмованной.

— Я варил хорошо,— говорил Лаптев.— В сварку не залезешь... Вот проверили...

— Вот проверили — и придется переваривать,— заявил Озоль.

Весь конклав инженеров и техников согласился: переваривать. Автогенщика не было. На Лаптева никто даже не смотрел. Тогда выступил Пикельман, заведующий электромеханическими мастерскими, взял у Лаптева автогенный аппарат, похожий на кофейник, подержал, отдал обратно и сказал:

— Придется попробовать, раз такое дело.

Пикельмана знали только как заведующего. Он испугался, что ему не дадут работу, не дадут спасти положение, и суетливо начал уверять Карла Ивановича и Циперовича, что работал автогенщиком еще на Франко-русском заводе в мирное время. Он волновался и понимал, что суетой и клятвами сбивает цену своим уверениям. И не мог остановиться.

Но и все были в таком же убитом и смятенном состоянии. Циперович, молодой инженер, который хотел провести монтаж и остаться на эксплуатации печных установок (он в свое время принимал участие в их проектировании), иссох на работе, и теперь все это увидали — так жалко у него кривились губы, когда он хотел по своему обыкновению что-то сострить. Задержка на четыре-пять дней грозила сорвать весь план пуска печей.

Пикельман наконец замолчал. Озоль подошел к Циперовичу и, плюя в ухо, зашептал, что все равно других нет, а Пикельман старый рабочий и хороший рационализатор, а для этого надо иметь опыт. Циперович и сам знал все это, но теперь полным зрением взглянул на Пикельмана и увидал, что перед ним немолодой, серьезный, озабоченный мужчина, который учитывает, что на нем сосредоточена

вся надежда. «Не человек, а фирма»,— подумал инженер.

— Ну, товарищ Пикельман, на вас смотрят сорок веков с высоты пирамид!— сказал Циперович, и все засмеялись, потому что он имел репутацию испытанного остряка.

Пикельман не вполне понял, почему смеются,— может быть, думают, что он не справится?

— А я разве не понимаю,— сказал он, оглядывая лица,— какая это задержка с фланцами? Я отлично понимаю и потому хочу помочь. Маленькое дело, а если я в трое суток сварю — выйдет помощь большому! Всему нашему строительству.

V

Аппарат стал невероятно тяжел. От газов болела голова, она сделалась полой, огромной и гудела. Отдельно утомилась носоглотка — горячей вонью, уши — шипеньем, переносица — от предохранительных очков. Утомление или боль вдруг сосредоточивались на одной точке, на той же переносице, и тогда она становилась главным пунктом телесной тоски. Пикельман резко отставлял аппарат, вскидывал руки, потягивался, встряхивал головой — и забывал переносицу. Надвигался мгновенно и мягко сон, облаком, теплым дыханием,— и откуда? Цех казался пустым, по углам сидели мохнатые тени, их валили сверху прожектора. Пикельман варил с утра, а сейчас уже пятый час ночи, близилось следующее утро. Каждое кольцо отнимало час. Он просидел без малого сутки и переварил двадцать три кольца. Опротивело курение. Пикельман вытаскивал папироску, закуривал и тут же пальцами гасил ее. Аппарат прибывал в весе с каждым часом, с каждым новым фланцем. Сварщик несколько раз обошел за трубами квадратные тела трансформаторов. Он вглядывался в их поверхность. Он изучил все погнутости и царапины. Ему казалось, что он запомнит их на всю жизнь и больше уж ничего не полезет в память.

В цехе было тихо. Поздно вечером прекратился звон кирок и топот на площадке, ушли огнеупорщики. Еще позже перестали сбрасывать доски и бревна из-под крыши, которую освобождали от лесов и остатков опалубки. Часу в одиннадцатом по цеху прошла толпа женщин и мужчин с лопатами, каждая группа пела свою песню, только для себя. Это несколько отделов управления строительством выхо-

дили на штурм отстающего участка: рыли траншею для силового кабеля с подстанции «М». Они кончили работу и уходили. Пикельман живо представил себе, как платформы рабочего поезда везут их по ночному холоду на Шестой поселок и они пойдут по широким проспектам, мимо домов, полных света. Пойдут спать. Дома большие, четырехэтажные, окна то синие, то красные от абажуров, и улицы напоминают игрушечный поселок кукольных домиков, освещенных изнутри уютной свечкой. Улицы большие, уют маленький...

Дольше всех, до полуночи, возились две бригады такелажников, перетаскивали и устанавливали какие-то станины. Веселый, лихой народ. Иногда к Пикельману подходил их десятник, посмеивался:

— Что, надоело администратором гулять! В книжечку пописывать да указывать и распоряжаться. Так-то, по-старому, по-рабочему, с аппаратом — лучше. Закурим, Михаил Осипович.

Вот тогда-то и опротивело курить. Десятник был старый знакомый, подымить, поговорить приятно, но Пикельман в двенадцать ночи обычно не курил, а спал, и каждая лишняя затяжка была действительно лишней. Он чувствовал это всем дыханием.

Часу в первом такелажный мастер пришел к нему с одним из бригадиров, оба смеялись, но как-то очень смущенно, как после пережитого испуга. На широком лице бригадира черная бородка выделялась очень уж резко — вероятно, он побледнел.

— Ты тут ничего не слыхал, Михаил Осипович, зарылся в свои закоулки.

Пикельман только развел руками. Он был весь в мелу — спецовка, фуражка,— за изгибами труб приходилось лазать по стенам и обтирать свежую побелку. Он был так углублен в работу, что не сразу обрадовался развлечению. Мастер рассказывал:

— Сейчас мы какую штуку... через запрещенные пути кран с грузом провели. Вот бы зашились с делом! Нынче со второй смены уходит инженер Катков, отдает распоряжение: чтобы был этот кожух завтра к утру на месте, в сталеплавильном. Вот Кащенко и поехал с краном за кожухом. Взял, везет обратно...

— Взял, везу обратно,— сказал Кащенко, чуть-чуть ше-

пелявя.— Едем с краном обратно, а кожух — знаешь, сколько в нем весу!— висит на стреле. Ну вот завалим кран. Едем обратно потихоньку. Крановщик отчаянный, а говорит — завалим кран...

— Едут они,— перебил мастер,— поперек пути колышек...

Бригадир даже не взглянул на него.

— Прегражден путь объявлением: путейцы путь закрыли. Черт их знает — ремонт, переносить пути хотят от водопроводной магистрали, а может, и разрушение...

— Ночь, спросить не у кого,— перебил мастер.

— Да и чего спрашивать? Все равно не разрешат. Крановщик говорит: «Беги, звони по телефону Каткову».

— Вы хоть бы мне, черти, сказали! С вами под суд попадешь. А вы ничего не скажете. Десятник за все отвечает.

— Всех не обегаешь. Звоню по телефону: «Везть или нет? Кран можно завалить, товарищ Катков. Тогда всем нам под суд. Скрыть нельзя, что мы через запрещение проехали». А он, черт курчавый, со сна гундосым голосом: «Не обратно же, говорит, кожух тащить! Везите на сталеплавильный».— «А под суд?» — спрашиваю. «Завалите, так пойдем вместе под суд!»

— И провезли?— спросил Пикельман.

— Провезли,— ответил бригадир. И засмеялся короткими, раздельными, тревожными смешками.— Эх, крановщик! Ухобака! Обратно повел кран. Ковтюх его фамилия.

Они посидели, побеседовали. Пикельману передалось их волнение, и он стал рассказывать про свою работу. Он немного бахвалился и работой, и предстоящим заработком за нее, что вообще не принято. Но тут мастер и бригадир видели, что человек устал и собственные слова его бодрят, и терпеливо слушали. Они простились. Пикельман позволил себе еще посидеть, снять очки, осмотреться. К его удовольствию оказалось, что цех не пуст. В будках наверху и на площадке оставалась бригада Шейко, молодые ребята, большинство слушатели техникума, штурмовали, как и Пикельман, отставание: разделывали импортный кабель,— кропотливая и сложная возня. Толстые гибкие палки, обмотанные, окованные стальной лентой, залитые смолами неописуемой липкости, забинтованные слоями изоляций и прокладок, надо освободить по концам от всего этого обмундирования, разобрать на отдельные жилы, каждую из них укре-

пить тонким нитяным бандажом и в таком отпрепарированном виде — концы походят на венчики — подвести к контрольно-измерительным приборам, к силовым установкам электропечей.

Пикельман отставил аппарат и сходил к ребятам наверх. Те сидели, разматывали, раздирали концы. Пикельман знал эту работу, она не из легких, от нее болят и привычные руки, в особенности ногти, под которые забиваются липкие и едкие смолы. Ребята сидели тихо, в ослепительном свете двухсотсвечовых ламп, висящих прямо на проводах где попало. Высокий белокурый парень читал книгу, остальные слушали.

«Во всяком случае, хозяйственная коммуна распоряжается своими орудиями труда в целях производства. Как же идет это производство? Если судить по словам г. Дюринга, оно идет совсем по-старому, с тою разницей, что капиталиста заменяет коммуна и что каждому члену ее предоставлен свободный выбор профессии и устанавливается равная для всех трудовая повинность».

— Кончай,— сказал бригадир.— Теперь очередь читать Кравчуновскому.

— И тут учитесь,— с уважением заметил Пикельман.— Что ж это вы читаете?

— «Анти-Дюринг» Фридриха Энгельса,— ответил Кравчуновский, берясь за книгу.

Пикельман посидел, послушал минуты три трудные слова книги. Ему хотелось прервать чтение и произнести речь, что ему, старому рабочему Франко-русского завода, завидно и приятно, что молодежь так работает: дружно, тихо, с книжкой, и что ему, как старому рабочему, понятно все величие этого факта. Он набрался сил и произнес вполголоса:

— Ну, читайте себе.

Сошел вниз. Сел. Взял аппарат. И в то же мгновение погрузился в черную, теплую, бархатную волну, счастливую, как воспоминание о молодости.

Пикельман как будто задремал. Ему почудилось, что сейчас в гудящий туман полусновидения ворвется его жена, красивая, рослая, полная, горячая женщина, и крикнет — невоздержанная на язык: «Что ты, черт паршивый, идем домой!» Пикельман встряхнулся, засмеялся. Он бы отказался и сам бы так пустил жену... Он еще раз засмеялся. Какие глупости — а придает силы. Надел очки, взял аппарат. Живо представилась дочь Ниночка — бежит толстыми ножками по

ıыли мышиного цвета. Аппарат зашипел. Пахнуло газами. Сразу обозначилась носоглотка. Налились тяжестью локти. Нет, он не отдохнул.

Он вспомнил о Лаптеве. Тому было хорошо. Работал исподволь, да и то сумел обгадиться и другим задать такую тяготу. На вид все сделано чисто. «Как напоказ, для заседания»,— подумал Пикельман. Лаптев одно время работал в бюро комсомольской ячейки. Он не умел регулировать пламени и чувствовать свойства металла. Может быть, наука и дошла до того, что может разобраться в этих свойствах с помощью формул, да только сварщику надо чувствовать. Лаптев не чувствовал, молод. А так чистенько, старательно.

Аппарат прибывал в весе, ручка неприятно прирастала к ладони. К обычным газам сварки присоединялась удушливая гарь масла в порах и щелях плохо приваренного металла. Швы имели такой вид, словно их замазали черной замазкой, они даже как будто хранили следы пальцев. Вторая приварка портила их. Это очень раздражало Пикельмана, и ему казалось, что он теряет понимание пламени, струи газа, температуры и от этого едва ли у него выйдет лучше, чем у Лаптева. «Тогда не жить»,— сиротливо пробормотал он. Жалоба, в сущности, не имела грозного смысла, она говорила, как в детстве, о беспомощности. Он терял силы не только телесные. Но этот упадок прошел быстро от испытанной меры, какой он часто боролся с малодушием. Он начинал размышлять о дочери.

Девочка должна вырасти красивой, здоровой, образованной. Она и сейчас среди интеллигентных детей. Вот только эти американские ребята — оторви да брось. Одевают хорошо, а воспитание своевольное. Он нарочно размышлял обстоятельно, словами, дабы не дать мыслям обессилеть и не остаться в темной гуще тревог, досады, усталости, телесных неприятных ощущений. «И завод наш как малое дитя,— величественно соорудил образ Пикельман,— растет с каждым часом». Но эти художества быстро покинули голову, их сменили мечты о похвалах, которые он заслужит, о вязаной кофточке, которую требовала жена и которую он купит на заработок. Сам купит и принесет. «И Нинке берет красный!»

Наступила самая тяжелая часть суток. Этот час перед рассветом знают все ночные смены. Пикельман чувствовал усталость как отраву. Во рту скапливалась слюна, поташни-

вало. Болели ключицы. Каждое движение отзывалось в спине. В такой час хорошо просыпаться после крепкого сна после здоровой ночи; в это время поют петухи, весело лают собаки, бодрые дворники шуршат метлами. Под кран, к чаю! И тогда усталость, головная боль, шум в ушах, ноющие суставы, першенье в горле соединились в одно общее обременение досады. За каким дьяволом понадобилось ему вызываться на эту адову работу и заявить такой срок — трое суток! Первые два дня он сидел по пятнадцати часов,— у него хватало времени сбегать посмотреть, что делается в мастерской, которою он заведует. Но с налету хорошо ли разберешься? Пикельман стал укорять себя в том, в чем его заподозрило его собственное малодушие. Хорош администратор и общественник, который хватается за первый длинный сверхурочный рубль и вынужден на трое суток забыть порученное ему предприятие! «Вешать таких надо»,— бормотал он, и глаза у него слезились.

Он не сразу справился с этим потоком отвратительных и лживых самообвинений. Он не понимал — откуда они? И когда справился, наступило утро. Погасли фонари, и жидкий оранжерейный свет разлился по цеху. Ребята, которые разделывали кабель, собирались уходить. Явилась первая смена. Она явилась подобно взмывшей волне,— новый, незапятнанный трудовой день. Двинулись в ход механизмы, заскрежетали цепи на тракторах, взвыли дисковые пилы, дробь клепки потрясла незаконченный котел, зазвенел топор, крикнул первый выдернутый могучими клещами гвоздь. И все это, разрозненное на огромном пространстве строительства, повторенное много раз, превратилось в непрерывный, широкий, ровный шум. На один слой выросла кирпичная кладка, бадья бетономешалки поднялась и вылила смесь. Из гаража выехали машины. На легковых лошадей для начальства надели хомуты и шлеи. Раздался первый грохот взрыва, и обвалилась скала. Все двинулось и пошло, набирая скорость. По шоссе протанцевали утренние смерчи, две воронки, соединенные вершинами. Солнце приобрело естественный цвет.

На площадке над Пикельманом снова затопали ноги и запели кирочки. Оттуда посыпалась тонкая пыль. Он тоже почувствовал движение волны, и, хотя аппарат сделался еще тяжелее, тоска в суставах ослабела. Цех наполнился гулом. Опять полетели сверху доски: ткнется концом в землю, по-

качается секунду в нерешимости и плюхнется плашмя навзничь. Проехал по рельсам кран. Уголки и ниши, где провел одинокую ночь Пикельман, заселились электромонтерами, они рылись в ящиках, возились с проводами, перекликались, материли полудюймовые болтики.

— Драма с этими болтиками,— сказал Пикельману сосед в брезентовой спецовке, худой парень лет семнадцати.— Хоть бы вы, Михаил Осипович, в вашей мастерской чего-нибудь придумали.

Пикельман не знал парня, ему понравилось, что тот назвал его по имени-отчеству, и он объяснил, что в мастерской нет станка.

Следующий фланец был в темном, неудобном закоулке. Стоять нужно было изогнувшись, Пикельман себя почувствовал дурно, как ночью.

Часов в семь забежал одутловатый молодой человек, техник, помощник Озоля.

— Ну как?— спросил он испуганно и, как показалось Пикельману, совершенно без всякой нужды и смысла.— Идет? Карл Иванович поехал на правый берег, на ГЭС, вызвали. Сейчас звонил, беспокоится.

Аппарат сделался легче,— Пикельман почувствовал прилив зависти и злости к технику, толстому малому, который наспал такую рожу; небось до пяти часов утра нежился в постели, а теперь будет целый день бегать из цеха в конторку, суетиться, рыться в чертежах и к вечеру поедет как миленький обедать, набегав аппетит.

Техник скрылся, и аппарат снова прибыл в весе. Пикельман вспомнил, что надо поесть. Снял очки, мучительный железный свет ударил в глаза. Он сходил в столовую, выпил чаю и съел два успевших в кармане зачерстветь бутерброда. Обычная суета на площадке развлекла его. В ушах шумело, и он два раза оступился, кривой кусок арматуры подвернулся под ногу и больно ударил по щиколотке.

Надо было зайти в мастерскую. Под нее отвели часть недостроенного термического цеха, все ее оборудование и обстановку достал и расставил сам Пикельман, и он любил это первое, созданное самостоятельно дело. Тут ждали распоряжений — раздать работу, расставить людей. Мастера встретили его шуточками: каково, мол, начальству у станка? Пикельман бледно улыбался, усталость не покидала его. Развлечения не пробивали ее оболочки. Ему показали глав-

ную работу, за которой он всегда так следил,— полировку тралей. Раньше трали делались из угольных длинных отрезков меди, за границей заменили их угольным железом, трудность заключалась в полировке сторон. Пикельман придумал полировать железо наждачными кругами, этим рационализаторским предложением трали были сняты с импорта. Работа заканчивалась. Ему обещали сообщить немедленно, как только кончат.

Пикельман вернулся в сталеплавильный цех, надел очки, синяя ночь опустилась на глаза, которые уже радовались этому рабству, и короткая комета пламени снова начала лизать металл. Приходили инженеры Циперович и Френкель, заезжал из управления помощник главного электрика Телишевский — все задавали вопросы, интересовались. Пикельман отвечал, улыбался, продолжал варить. Ему предлагали закурить. Пикельман закуривал, прощался. Он говорил, но говорил откуда-то из глубины шума и шипения, которые перешли из аппарата во всю его кровь. Спрашивали — сколько осталось? Отвечал, продолжал варить. Аппарат перестал прибывать в весе, он сделался весом его свинцовых рук.

В цехе случилось несчастье: девушку ударило доской. Она хотела пробежать огражденное место, ей кричали, не послушалась. Приезжала «скорая помощь». Пикельман варил. Кровь шумела в нем шипением аппарата. Приходили из мастерской, докладывали, что полировка тралей закончена.

— Штук пятьсот напильничков-то сберегли,— сказал мастер.

Заведующий мастерской оживился, отдал распоряжение еще раз промазать полировку маслом, опасался ржавчины. Он посидел минутку и принудил себя похвастаться, что на Франко-русском заводе, и в Херсоне, и в Киеве, и в Николаеве считался приличным сварщиком — по старым-то временам,— да и токарем, да и слесарем.

— Я работы не боюсь,— сказал он хрипло.— Работа меня боится. Нет такой работы по металлу, от которой наш брат, старый металлист, может отказаться. Он должен уметь все делать.

— Знаешь, Михаил Осипович,— ответил мастер,— твоим геройским поступком вся мастерская гордится. Мы можем понять, что такое день и ночь не вылезая варить.

Пикельман приосанился и ответил, что работает для

строительства, и еще что-то об индустриализации и рабочем классе, все большие и внушительные слова, которым в обычное время сам бы удивился. Но в тот час ему не хватало и этих слов, и когда он смолк, мастер удалился от него на цыпочках.

К обеду явился Озоль. Старик облазал все трубы, ощупал все извивы, ковырял ногтем фланцы и нюхал,— Пикельман варил. Он доваривал последний фланец. Карл Иванович посмотрел на его желтые впавшие щеки — темные очки сидели на лице как провалы — и ласково сказал со своим латышским акцентом:

— Хорошо. Надо посмотреть. Завтра проверим.

Он по производственному обыкновению не умел говорить много и хвалебно. К тому же, вероятно, старый мастер полагал, что нет ничего выдающегося в тридцатичасовой непрерывной работе, если это нужно для безукоризненного монтажа трансформаторов, ведущегося «под фирмой Озоль». Когда дело приблизилось к приемке, Пикельман даже сквозь усталость обрел самолюбивое смущение.

— Конечно, Карл Иванович, прими во внимание — спешка. И красоты тут не может быть в сварке, если по чужому сваренному варишь.

Больше он не мог произнести ни слова. Он кончил работу и рвался вон. Существуют же воздух, свет, солнце; можно раскинуть руки, разжать пальцы, уткнуть нос в подушку; тишина, забытье, брезентовый ворот не трет шею. Он вышел. День показался ему ледяным. Дул северный ветер. Отдых был не такой уютный, как мечталось — с жарой. Но без жары еще лучше. Пять шагов — и словно вымыт. Он прибавил шагу и глубоко вздыхал. Что-то еще шумело в нем от истекших тридцати часов, но это было ощущение связи шума работы с шумом облегчения и радости, и если бы какая-нибудь сила сейчас втиснула в него ночную досаду, Пикельман не признал бы это чувство своим. Ему казалось, что почва, по которой он шагал, слегка вздрагивала и вибрировала от усилий механизмов и живых существ, которые трудились на ней. Вероятно, у него просто подкашивались ноги, но ему не хотелось так думать. Ему хотелось бы вообразить себя на упругом крыле этого веселого, яркого, ветреного дня, награждавшего за труд свежестью и светом. Грабарь свалил кучу желтого, цвета чухонского масла, песка. Пикельман внимательно поглядел на него.

— Вот бы Нинке! — сказал он и как бы погрузил истомленные пальцы в утешительную сырость песка. — Лихо будет жить девка!

VI

В Германии есть завод инструментальных сталей Белера. Он имеет датой основания тысяча четыреста какой-то год. Пятнадцатое столетие с вашего разрешения! Это — тигельная плавка, дамасские клинки, индустрия кирас, наколенников, шлемов, стилетов, рапир, копий. В Германии есть завод Круппа. Он имеет мировое имя. Он славен конструкционными сталями — станины, шатуны, цилиндры моторов, крылья самолетов, карданные валы, дизелестроение. Белер тоже хочет, кроме инструментальных сталей, делать конструкционные, узкая специальность не дает возможности конкурировать. Круппу для обработки конструкционных сталей выгодно иметь инструмент из своих печей. И вот десятилетиями Крупп не может добиться белеровских достоинств в выделке инструментальной стали, не хватает могущества. Но и Белер, обладая таинственнейшими секретами своих плавок, не может добиться секрета более простых крупповских рецептов и способов. Их соревнование бесплодно.

Мы будем на заводе «Запорожсталь» — год основания 1930 — плавить стали и для конструкций и для инструмента. Мы ставим десять печей Мигэ для ферросплавов невиданной во всем мире производительности. Мы сделаем напильники и бритвенные лезвия отечественными. Шарикоподшипник из советского металла повезет нас подальше от иностранной зависимости.

Вот это и есть течение того смысла, который объединяет, ведет строителей, монтажников, грабарей, электриков, который утверждает рейсфедер в руке конструктора, который создает и воспитывает руководителя и организатора, который проникает во все частности и связует общее, который ставит, как вешку в снег, десятиметровую мачту, который простую сверхурочную работу наполняет содержанием подвига.

Днепрострой — Москва. Сентябрь — декабрь 1932 г.

Половодье

Виктор Стрельцов, юноша лет девятнадцати, ехал за счастьем в Москву. Счастье последовательно складывалось из маленьких удач: в Ртищеве достал билет, попал в довольно просторный вагон,— маленькие удачи предсказывали победы в столице: прежде всего на экзаменах и при приеме в университет.

Среднего роста, полный, бледный, с тяжелыми глазами и легкими, неверно-отрывистыми движениями, он как будто прикидывался хрупким, зябко поводил плечами. Бедно одет,— а словно кичился гимнастеркой и обмотками. Производил на первый взгляд впечатление неприятное, чувствовал сам это и, как сам определял, «представлялся». Представляться значило: сесть в вагон и ни с кем не заговорить, отстраняться от соседей, надуваться,— а на языке — кипят расспросы, желание похвастать, в горле — спазмы любви и любопытства ко всем людям.

В насыщенности проявлялась внутренняя радость. Тешило все. Юноша прохаживался по вагону, смотрел до тоски в глазах сквозь рябые от дождя стекла на бескрайные поля, до того однообразные, что казались прилипшими к окну, и поезд волочил их за собой. Зыбнулось. Но самая неуютность поездки мнилась испытанием богатырских сил и куда каким легким. Можно было нарочно осложнять и отягощать дорогу обетом молчания.

В Тамбове в вагон подсел некто Яша Шафир, рыжеватый молодой человек, по виду года на два старше Стрельцова. Он небрежно бросил крохотный новенький чемодан на полку, сел, оправив поношенные и выутюженные брюки, подтянул клетчатые носки. Живые зеленые глазки играли

на его лице со странно приплюснутым носом. Нос этот, небольшой, плотный, неподвижный, как будто был запущен кем-то на другое лицо и случайно, с размаху влип между этих зыблющихся энергичных щек в рыжей поросли, над веселыми губами. Он сразу заговорил важно, насмешливо, обильно и неглупо, разговор почитал, видно, делом существенным. Соседи узнали, что он из Ростова-на-Дону, театральный рецензент, в Москве прожил все лето, в Тамбов его вызывала тетка, что у него есть письма к редакторам московских газет и журналов, что он устроился служить по литературной части в издательстве и поступает в университет. Виктор не выдержал блеска этого непринужденного самохвальства, и через два-три перегона молодые пассажиры стали друзьями.

В Козлов прибыли в десять часов вечера. Осенняя ночь клубилась над городом. Гудел залитый белым светом перрон, пассажиры с чайниками прыгали еще на ходу. Стрельцов припал к окну.

— Вон брат мечется,— сказал он и постучал в стекло.

В вагон вкатился плотный мужчина на коротких ножках, очень похожий на Виктора, но каким-то унизительным сходством карикатуры. Он задел Шафира широкой полой клетчатого пальто. У воротника вельветовой блузы плясал большой белый батистовый галстук. Братья поздоровались сухо, за руку.

— Оч-чень хорошо!— произнес старший чванно.— Здесь мама. Надеюсь, ты одумался?

— Не одумался, а хотел проститься. И не с тобой, а с матерью и сестрой. Где Маня?

Они вышли. Шафир сразу понял,— происходила серьезная родственная размолвка, и не мог укротить любопытство. Пробежал в тамбур, наблюдал в полуспущенное окно. Мать Стрельцова, тихая, сгорбленная старушка, в пуховом платке и плюшевом вытертом пальто, скорбно сжимала запавший беззубый рот, испуганно моргала на сыновей. Старший показался Шафиру под хмельком. Он прерывал назидательные речи мычанием.

— Ты делаешь глупости, Виктор (Хмыкнул.) Я устроил тебе место, жалованья семьдесят рублей. Потруби еще год. (Хмыкнул). Накопишь...

— Много накопишь в семье!.. Тут дыра, там ползет,— и деньги уходят и время.

Мать кивала головой, порывалась прервать. Старший погрозил пальцем.

— Имей в виду, что я не могу помогать тебе в Москве!

— А раньше ты помогал? Помоги хоть Мане содержать мать эту зиму! Через год встану на ноги, тебе не поклонюсь, в Москву ее перевезу.

— Ты у нас ухо от лоханки!

Два удара звонка, как звуковые клинки, рассекли нудный спор. Старший Стрельцов бессмысленно усмехнулся, обнажив десны, и крутым поворотом пошел к двери первого класса. Фонари вспыхнули ожесточеннее и мертвее. Гулко шаркая, трусили из буфета пассажиры мягкого вагона, жуя на ходу. Мать вскинула руки на плечи сына. Тот наклонился и замер в неудобной позе. Поезд скользнул. «Витя, что же ты!» — крикнула мать. Сын догонял ступеньки, она поспешала за ним, а он вскочил на ходу под ее ужаснувшимся взглядом. Шафир заметил, что спутник слегка прихрамывает, и почувствовал себя соучастником в жизни Стрельцова.

В пристальных глазах роились последние фонари козловского узла. С пчелиным шумом забилась о стекла темнота.

— Кончилась семья! — сказал Виктор.

Между Козловом и Раненбургом, сидя в мрачном логове, образованном поднятыми лавками, Яша раскрыл свое сердце и умысел жениться на знаменитой провинциальной актрисе. Это он только что придумал, сам уверовал и утешал рассказом угрюмого соседа с тем юношеским лукавством, которое во взрослом называется деликатностью и добротой.

Вагон спал. С лавок, как порочные плоды, свисали ноги в неопрятных носках. Храпенье пахло свежей масляной краской и пóтом, стук колес — прелью дождливой ночи, полями. Поздно ночью поезд остановился на полустанке. Павелец не принимал, впереди на разъезде произошло крушение. Слово это, произнесенное вскользь сонным кондуктором, взбудоражило пассажиров. Особенно огорчалась молодящаяся дамочка из Раненбурга. Она куталась в вязаную кофточку, заламывала сухие пальцы, причитала:

— Нельзя же так! Я опоздаю в клинику к профессору. Нельзя ли обратно? Нельзя же так!..

На жалобы отзывался с ухмылкой, понижая голос, бородатый козловский прасол:

— Нет тут обратного пути, мадам, тут одна колея.

Дамочка обижалась и на колею («Нельзя же строить одну колею!»). Твердила, что самое вредное для ее нервной системы — неожиданности.

— Как есть моя Карарская!— признался Яша.— Нет, не женюсь на актрисенке, сырой товар.

Вокруг раскисшей дамочки глухо ворковали чувствительный прасол и еще два пожилых гражданина, обещая донести ее до Москвы на руках. Виктор предложил Шафиру пройтись. Словно подчеркивая темноту уездной ночи, мигали желтые огоньки станции.

— Мохнатая тьма!— пробормотал Стрельцов.

Паровоз намечался тяжелым дыханием и душным теплом невидимых топок. Около него прекращался как будто и ветер. Дождь давно остался позади. Подымаясь на север, они как будто выбирались из-под теплого одеяла туч в сухой и ветреный край. Новые знакомые прохаживались по сыпучему песку, спотыкались о шпалы. И с внезапной горячностью Стрельцов заявил:

— Вы кажетесь мне, Яша,— можно вас так называть?— очень смелым и организованным. Вы не побоитесь сказать в лицо правду. А у меня все не так... Каких усилий мне стоила сухость с братом! Я порвал с ним. И вот теперь вижу, вижу всю семью со стороны, всю свою жизнь вижу как будто издали. Отец умер в прошлом году...

Шафир ожидал услышать в его голосе грусть. Но Стрельцов произносил слова раздраженно, жестко:

— Я боюсь его крови в своих жилах. Это был растяпа и бездельный человек. Он обижал нас упрямством и несправедливостью. Нам, маленьким, все запрещали, отцу подражала и мать. Того нельзя, это грех, да что люди скажут. Той нюне в вязаной кофточке тоже, наверное, пришлось туго от родительских наставлений. И она мне противна... Не мог оставаться в вагоне и слушать, как она скулит, ненавижу слабых, особенно слабых женщин, и дом напомнило... Никто не говорил нам, что надо сделать, как приступить к делу: зато постоянно учили отступать от препятствий: плетью обуха не перешибешь! Никто не ободрял, не подзадоривал, но смиряли и окорачивали. Вот только что брат Дмитрий удерживал меня от поездки: я хочу поступить в вуз, а он соблазняет службой. Никто ничего не делал; отец

проживал деньги, которые сами шли — иной раз густо, но чаще пусто...

Юноша повествовал неровно, бессвязно, часто прерывая; иные выражения не сразу приходили, тогда говоривший запинался надолго. Что-то похожее на страх перед такой откровенностью набегало на Яшу. Человек, так открывающийся, может убежать в эту непроглядную тьму, чтобы никогда не встречаться с собеседником.

— Жили мы в селе, большом, как город, и знаменитом: там портные-кустари обшивали всю Москву. Село это расположено на Оке. У нас был дом, отец имел паи,— я только его дел не знаю,— в крупном магазине готового платья. Но мы всегда нуждались, неизвестно почему. Только перед самой революцией выправились. И как странно: хороший портной, непьющий (таких, правда, очень мало), немногосемейный,— ну как мы: нас было два брата и сестра,— жил, пожалуй, лучше нас. У него тверже был заработок, ровнее, обеспеченнее, а все же перед отцом моим он шапку ломал. Очень уж безделье казалось величественным и завидным.

Он засмеялся сухим невеселым смехом и отошел в сторону, очевидно минуя какое-то препятствие. Дальнейшее звучало издали, за каждым словом его зияло молчание, полное безмолвие ночи, и казалось, он страшился этих перерывов и забрасывал фразами бездонную пропасть тьмы и беззвучья, непрерывного, как небытие.

— Это уж теперь, взрослым, я возненавидел мещанскую жизнь. В детстве я считал — до одного случая — что так и должно быть. Маленькому семья кажется вечной. У вас не бывает такого ощущения, что все прошлое не с тобой случилось, не тобой прожито, а словно прочитано? У меня постоянно так... Я какую-нибудь Анну Каренину лучше своей родной тетки представляю, и ближе она мне. Отец тоже только в театре плакал. И он как-то не понимал, не чувствовал жизни, чужого горя не замечал... Мы это с пеленок знали и редко к нему обращались за помощью, сочувствием.

Они опять очутились бок о бок, и Шафир понимающе взял в темноте локоть нового друга, пожал и нежно поддерживал, вел не отпуская, ощущал теплоту тела, дыхания, взволнованного и прерывистого.

— Так вот я и жил больше всего своими фантазиями и все в театре хотел играть. А в самом раннем детстве, когда

и театра не знал, попа представлял. Облачался в материну шаль, как в ризы, и тянул «аллилуйя». Сначала все смеялись, а потом мать сказала, что это грех. Я бегал в сад, который круто спускался к самой Оке, и там в укромном уголке, в крапиве и бурьяне, один изображал богослужение. Церковь очень любил, потому что красиво и не похоже на дом. И вообще мне всегда хотелось, чтобы моя жизнь не походила на ту, которую видел кругом. Я был уверен, что буду жить не так, как все. Я гордо ходил, откидывая голову, ни с кем из ребят не водился, много читал. И часто очень скучал, ужасно скучал. Обычно это так бывало: проснешься утром, лежишь в постели расслабленный, встать нет сил. Может быть, это от духоты в комнате случалось,— знаете жару в мещанской спальне? Мать пристанет, настоит, поднимет. Оденешься, попьешь чаю — и опять с книжкой повалишься. Мать радовалась, что я много читал и мало баловался, больше всего боялась детских шалостей. Так и осталось у меня воспоминание, что я валяюсь на двуспальной родительской кровати и от нее запах, пропитанный телесными испарениями ваты от одеяла,— и запах этот делает мое томление страшно прочным и каким-то взрослым. Я считал себя умнее взрослых тогда и тосковал как старик. Обычно только большая еда, обед например, прогоняла эту тоску.

— Мне тоже знакомы подобные ощущения. Только у меня таких размеров не принимало. Это, должно быть, несчастье.

— Ну нет, вы не думайте! Я не был несчастен тогда. В детстве по-настоящему несчастными бывают редко. Редко случается такое горе, которое гнетет долго. Оно потом только сказывается на характере. Да я и теперь уверен в себе и свою силу знаю, как знал и тогда. Я, может быть, в первый раз так откровенен, но всегда смотрел прямо. И я — свободный человек. Но мне совсем недавно стало понятно, как и когда я получил эту важную свободу перед самим собой, ведь мы с ней не рождаемся. Хотите расскажу?

— Да, конечно хочу!

Безлунная ночь питала их тревогу. Озираясь, вероятно, по сторонам, потому голос его относило куда-то в поля, где за границей жалкого мигания станционных огней слоилась первозданная чернота, Стрельцов начал рассказ:

— Мне было тогда лет восемь или девять... да, конечно, девять, это случилось в первый год революции. Вы видели моего брата — он старше меня на семь лет, на вид же гораздо больше. Я с ним не близок, холоден,— можно не считать сегодняшней ссоры, она произошла от безразличия и взаимного непонимания. А тогда я и вовсе не любил его, как мне казалось. Меня, как младшего, воспитывали все, даже работник наш Никита Дюдя, мужик вовсе шалый и придурковатый. Каждый приставал с запретами и внушениями, и особенно обидно было слушать их от брата. Я знал, что старшие многое позволяют себе из того, что запрещают друг другу. И Митя, брат, тоже лицемерил со мною, как старший, отравлен был тем же. Кроме того, он любил щипаться и иногда бил меня с каким-то удовольствием. Это упоение испытывал я сам, когда дрался и побеждал сопливую Марфутку, дочь нашей кухарки. Меня любила и баловала сестра, но она жила у тетки в Коломне, и ее редко привозили. Ну вот, произошла Февральская революция. У нас село кустарное, зажиточное, помещиков близко не было, фабрикантов тоже. Убрали тихо волостного старшину и станового, тем дело и кончилось. А у отца к концу войны оказалось некоторое улучшение в делах, его компаньон в Москве стал вырабатывать искусственную мерлушку. Самая работа на оборону! Брат Митька так обрадовался революции, что бросил гимназию, заявил, что хочет отдохнуть дома, останется на второй год, ему трудно. Страшно у нас этого слова боялись. Отец почти сразу согласился, что верно — учиться трудно и что можно, раз дела идут хорошо, отдохнуть. Митька царствовал дома. Он гонял днем голубей и пропадал ночами по шинкам, напивался с парнями самогонкой. Я прекрасно знал его проделки, но никогда не фискалил. Впрочем, в то время я был поглощен своим: жил, дышал, бредил Сенкевичем. Теперь так много говорят о влиянии на человека окружающей его действительности, но кто пробовал учитывать воздействие книг, в особенности на детскую голову? Я до сих пор часто в затруднительных случаях спрашиваю себя, как поступил бы в подобном положении один из моих любимых героев? Тогда же все окружающее временами как будто переставало существовать для меня. Я называл себя паном Скшетусским или Володыевским, фехтовал на палках с той же мученицей Марфуткой. Сила моей фантазии была так велика, жизнь дома удручала такой ску-

кой, что даже братец мой иногда принимал участие в наших играх и изображал пана Заглобу или пана Радзивилла какого-нибудь, вообще отрицательных типов. Но мне не нравилось, когда он сводил игру на смех, кривлялся, выдумывал разную чепуху. Тогда ему удержу не было, и он начинал драться и щипаться. Я же любил представлять точно по книжке, от чего игра приобретала большое правдоподобие, и наш двор превращался в Дикое Поле, Збараж, Запорожье. И теперь не могу читать Сенкевича без слез.

Он вздохнул и продолжал:

— То, что я хочу рассказать, произошло в середине или конце марта. Снег сходил, мы пускали кораблики и ждали, когда вскроется Ока, которую пучило за нашим садом. Митя нашел меня в саду и спросил: «Можешь ты достать у мамы свои деньги? Дашь мне в долг?» Еще бы, раз у меня хотят взять взаймы, и кто же — старший брат! У меня было накоплено разными экономиями и от подарков рублей пять, и они хранились в запертой копилке в виде домика. А копилка, в свою очередь, была заперта в сундуке. Я спросил, зачем ему деньги? Оказалось, продавали фотографический аппарат, а он давно о нем мечтает. Просят за него тридцать рублей, есть уже одиннадцать. Если я одолжу свои, остальные можно попросить у отца. Фотографический аппарат привлекал и меня, дело это прямо пало мне на сердце. В тот же день Митя за обедом заговорил об аппарате. Отец хмуро молчал, понимая, к чему речь, и с каждым Митиным намеком все больше супился. Митя как ослеп, ничего не замечал, сообщил, что не хватает четырнадцати рублей. Неизвестно почему, отец рассвирепел: «Ты только и умеешь деньгами сорить, лоботряс!» Ну, обычная семейная сцена. Слово за слово, сын ушел из-за стола, у матери на глазах слезы, у меня котлета поперек горла встала. Я ведь знал, что такое бедность, и понимал, что наш дом не бедный. И даже пользу для Мити фотографического аппарата сознавал. И так мне сделалось обидно за брата. Весь день я проторчал дома, скучая, тоска, как тошнота, давила. А за окнами, за редкими ветвями нашего садика была видна суматоха, которая творилась на реке. Лед поддавался, а у всех были дела на том берегу. Собрались толпы, мужики гадали, когда тронется. И солнце играло весь день. И только к вечеру, как всегда к теплу,— замглело, затуманилось. Вы можете представить, каким полновластным хозяином нашего села является Ока.

Каждый портной у нас, кроме того, и рыбак, и скот у нас чудный, сено-то с заливных лугов. Ночь была шумная, бурная, ломало лед. Я часто просыпался и все-таки не слыхал, когда вернулся брат. Утром он разбудил меня, сказал, что Ока тронулась, и только тогда уши у меня открылись шуму, к которому я привык за ночь. Грохотало, шипело, сотрясало весь дом. С улицы неслись крики. Митька убежал из дома, отказавшись от чая, проклиная отцовский хлеб. Мать забеспокоилась, у нее покраснели глаза. Отец сидел черный от гнева, даже на меня не смотрел. Я обжигался чаем. Я еще не допил кружки, в окно постучал Никита Дюдя и закричал, что Дмитрий Иванович тонет. Отец вскочил со стула и затрясся, стоя на месте. Тут я впервые увидел, что у него седые волосы, редкие, жалкие. Что-то бормоча, он без шапки, без шубы выбежал из комнаты прямо на улицу. Я за ним. Мы спустились к берегу. Огромная толпа стояла на задах села, все что-то кричали, размахивали руками, сизая вода неслась у ног. И по ней шли поредевшие льдины. «Вон! Вон — кричали нам.— Вправо глядите-ка вниз по течению!» Почти посредине реки на небольшой льдине стоял Митька, размахивая палкой, к которой была привязана тряпка,— это чтобы его заметили. Он, должно быть, кричал. После нам говорил, что ругал отца, чтобы не было страшно. И его уносило. Кто-то набросил мне на плечи холодную как лед куртку, я не надел ее в рукава. Мать кутала отца. Он стоял, отвернувшись в сторону наших риг, и, кажется, плакал. Я ненавидел его. И тогда я закричал, негромко закричал, про себя, и бросился вдоль берега догонять Митьку. Кажется, собирался перепрыгнуть на льдины и идти к нему. Впереди меня бежали парни, приятели Митьки, и кто-то орал, что вот там, у затора, где река заворачивает,— он остановится. А по мне хоть бы потонул, лишь бы отцу стало страшно, и от этой мысли и от желания смерти и брату и отцу я бежал еще сильнее, что есть духу. И думал, что брату спасения нет, как нет и мне спасения и отцу. И бежал, увязая в грязи, в мокром снегу, сразу промок до пояса, и ветер сек мое заплаканное лицо. Я не глядел на воду, на льдины, мне казалось, что они обгоняют меня. Думая, что брата не спасти, я только убегал от тупости и несправедливости старших, которые заставили его совершить этот поступок. Он был мне близок, как существо, которое так же угнетали, как и меня. Впрочем, до этих мыслей, может быть, я только

после додумался, а тогда боролся со снегом, с ветром, пробивался, должно быть, версты две по сугробам, по канавам, не замечал холода, сырости,— так до самой Барской лощины. Она была полна водой, которая бушевала как в реке. Я оглянулся назад, издали догоняли меня взрослые. У лощины река делает тот крутой поворот, у которого сбился затор. Гора из огромных белых льдин стояла вышиной до берега. И по гребню, опираясь на шест, пробирался в мою сторону, к берегу, брат. И вот тут — дальше я ничего не помню, темнота какая-то нахлынула. Может быть, я потерял сознание, но не упал,— меня нашли стоящим неподвижно. Все остальное знаю только по рассказам. Дюдя подошел ко мне, одел в подобранную по дороге куртку, взял за руку и повел домой. Я не плакал, но дрожмя дрожал и не отвечал на вопросы. Как вы думаете, что это было? До сих пор не уясню.

Яша пробормотал что-то невнятное. У черной громады паровоза послышались голоса. Фонари в невидимых руках скакали по рельсам. Из Ранненбурга, из обитаемой тьмы, прошел вспомогательный поезд. Огни и грохот рассекли волнение Стрельцова, и он мысленно спросил себя, зачем все это рассказывал.

— Ну, а конец?

— Конец? Победа слабых. Брат получил фотографический аппарат. Я жестоко простудился, пролежал в постели и встал тем самым человеком, каким вы видите меня сейчас. Я бы не мог сказать тогда этого, но отчетливо чувствовал,— младенчество кончилось. Все свои силы потом я употреблял на то, чтобы вытравлять из себя все стрельцовское. Отец, говорят, пил две недели. Он потерял власть в семье. Впрочем, тут совпало с революцией... Он стал както мрачно сторониться и брата, и даже меня, клопа. Я тоже его в грош не ставил и иногда,— теперь стыдно вспоминать,— издевался над ним, кулак в спину показывал. Он увидит, подожмет губы под седыми усами и уйдет, ни слова. Даже мать слегка распрямилась.

— А что же сделалось с вашим братом?

— Ничего. Так, фотограф-любитель. Но с претензиями. Бездельник и обыватель. Всю революцию прожил сытно, бегал из голодных мест, из Москвы на Волгу, с Волги в Козлов, разорил мать и сестру. Пуще всего боится голода. Продавал отцовские вещи, а теперь продает барахло жены, кото-

рая к тому же служит. Не всем нужна свобода. После этого знаменитого плавания на льдине я молился на него, потом раскусил: ничтожный человек. Разве что только упрямый. Нет, не всем нужна свобода. О, я умею ненавидеть! Я воспитал в себе ненависть. Только бы не жить как все, без чувств,— одной сытостью!

Суета на станции росла. Пробежал служащий, тяжело дыша. Он тащил на бегу всю тяжесть ночи, которая медленно, еле заметно сползала с вещей, грохотала цепями, вздыхала, холодела.

— Должно быть, скоро поедем,— сказал Яша.— Я в Москве всего три месяца прожил, а уж так привык. За два дня в Тамбове до смерти надоело, провинция!

Стрельцов смутно почувствовал, что дальнейшее Яшу не интересовало. И мгновенно поток мыслей, пробивавшийся из стоящего моря прошлого в эту живую и тревожную ночь, остановился. И как у плотины скапливается пена, из которой выбиваются обломки досок, щепки, ветви, все, что успела захватить река,— так на границе воплощения в слово закипели воспоминания, невыполненные намерения, разрушенные мечтания. Он хотел быть инженером, писателем, путешественником,— но не жить с семьей, прославиться с ранних лет, как Киплинг. И Яша, практический Яша Шафир, с четырнадцати лет толкавшийся по редакциям и расписывавшийся в гонорарных ведомостях, душевно глуховатый от самоуверенности, почуял в перерыве беседы то, что волновало собеседника, и, по склонности выражаться укороченно и точно, сказал:

— «Уже девятнадцать лет, и ничего не сделано для бессмертия!»

Виктор растроганно заметил:

— С вами не раскаешься в откровенности.

Они погуляли еще. Ночная усталость зудом разъедала их кости — тем зудом, который гонит сон от изнемогшего тела. Полоска водянистой зелени возникла на горизонте и растекалась ввысь. Ночь легчала, прозрачнела, тьма, как осадок насыщенного раствора, сгущалась на земле черными вещами: паровозом, вагонами, столбами. Предвосхищая время и помня успех предыдущей реплики, Яша Шафир продекламировал:

— «Я белое утро в лицо узнаю».

— Это Пастернак!

— Начинаю вас уважать! — сказал Яша. И, помолчав, спросил: — А кто ваш любимый поэт из старых?

— Лермонтов, — быстро ответил Стрельцов. — Лермонтов был очень некрасив и, кроме того, прихрамывал. У меня тоже больные ноги, я их тогда простудил. Вообще, жизнь не снабдила меня крыльями.

Такими юношескими разговорами они встретили рассвет.

1928

Боевая подруга

Это случилось под Ленкоранью осенью восемнадцатого года. В Баку сидели мусаватисты. Азербайджан пылал восстаниями, партизаны сражались с карательными отрядами.

Некоторые районы края были «ничьей землей», дичавшей под могучим закавказским солнцем. Арыки засолоняли плодородные степные земли, а горные дороги зарастали кустарником, заваливались каменьями, осыпались. Белые отряды, избегая далеких передвижений, сидели по городам, в селениях, хуторах, если там были крепкие каменные дома, иной раз обнесенные стенами.

Восемнадцатый год, моя молодость! Ты выращивал в несколько месяцев героев и богатырей, покрывавших себя великой славой на столетия. Подвиг становился привычным делом, и люди, пережившие это время, вышли из него с уверенностью: человек велик, безграничен. Не было святее злобы, чем наша, когда мы уходили из Баку, занятого англичанами, бессильные защитить его от германо-турецких банд, от грядущей резни. Мы знали это. Тяжко видеть, когда рвут тело твоей родины. Но они не прошли, и мы вернулись!

Итак, в глухих азербайджанских степях между Сальянами и Ленкоранью действовал отряд Илико Санадзе, командира батальона Красной Армии, защищавшего летом Кюрдамир, а потом ушедшего партизанить. В рядах бойцов сражались русские, армяне, тюрки, грузины, два венгерца, латыш — отряд и называл себя Интернациональным отрядом Бакинской коммуны. Тогда любили такие величественные наименования. Отряд двигался по глухим дорогам, среди заброшенных полей, среди канав, в которые превратились арыки оросительной системы, среди бурьянов на месте хлопковых плантаций.

Население сочувствовало красным. Изредка отряд встречал сторожевые посты мусаватистских войск — расправа с ними была короткая. Илико обладал каким-то особым даром узнавать расположение неприятеля и нападать на него врасплох. Офицеров он расстреливал, солдат разоружал и объявлял демобилизованными. Так эта сотня людей верхом и в повозках передвигалась по пустынным местам и уже привыкла сама себя считать как бы явлением этой щедрой и суровой природы. Дожди еще не начались, цвела затяжная тихая осень, согретая южным солнцем, овеянная теплым морем.

Настя Скворцова, фельдшерица отряда, единственная женщина и главная медицинская помощь, ехала в рессорном шарабане с кучером Ашотом. За ней следовали две подводы: на одной разместился инвентарь и лекарства, главное — большой запас хинина, на другой — больные или раненые. Раненых обычно было мало, и они не любили тряского Настиного фургона,— тяжелых оставляли на попечение верным людям в хуторах и селах. У Насти хватало времени, чтобы много думать и много чувствовать.

Это была темноволосая девушка с белой тонкой кожей, которую она унаследовала от матери-эстонки. Серые глаза обычно кажутся маленькими и узкими, у нее они были большие и широко раскрытые и неторопливо, но жадно впитывали мир. Ее молодой муж, студент-медик, погиб под Елизаветполем от шального снаряда, попавшего в мазанку, где расположился перевязочный пункт.

Казалось, вся сила Настиного существа, раньше проявлявшаяся шумом, смехом,— она как будто не жила, а плескалась в жизни,— теперь копилась в ней печалью и сосредоточенностью. Она была молода и миловидна, но в этом длительном и безлюдном походе мужчины побаивались ее. Командир даже сказал ей как-то:

— Не будь вас, у нас дисциплина была бы слабее.

Он звал ее Настасьей Никифоровной, и это тоже укрепляло дисциплину.

Илико же и любил ее. Она догадывалась об этом по тому почету и восхищению, какими он окружал свою фельдшерицу, ее шарабан, ее фургоны, ее лекарства и марлевые повязки, которые она, когда требовалось, искусно и красиво накладывала на его обуглившихся на солнце и ветрах бойцов. Илико отгонял прямые мысли о ней; и тут Настя неведомо для себя укрепляла дисциплину. Но иногда он с тоской

смотрел на свои прекрасные, необыкновенные мускулистые руки, на свои широкие плечи, на длинные крепкие ноги, со стороны любовался своей посадкой на коне,— все это, казалось ему, должно пропасть, зачахнуть, увянуть. Но если взять эти переживания в соотношении со всей его жизнью, то молодой командир был деятелен, здоров, весел, всегда подтянут и берег слова, особенно — чувствительные. Немудрено, что его отряд приобретал славу грозной силы, а самое имя Илико становилось известным всему Закавказью.

Однажды командиру донесли, что начальник Ленкоранского уезда послал карательный отряд в большое молоканское село Черноречье, жители которого выгнали управляющего из усадьбы наследников нефтяника Зейналова и отказались вернуть снятый с его земли урожай.

Каратели произвели аресты и теперь стояли в имении Зейналовых. Заманчиво было их оттуда выбить, да не в сторону Ленкорани, а прогнать в безлюдную солончаковую степь, к далеким Сальянам.

Так Интернациональный отряд имени Бакинской коммуны и прибыл в чудесную местность, где было расположено Черноречье и поместье Зейналовых. Из-за поворота, от проселочной дороги, по которой тихо пробирался Санадзе, открылось шоссе, которое вело к большому каменному мосту через реку Карасу. Шоссе шло по насыпи, под ним переливалось горячим и тусклым блеском глубокое опреснившееся озеро — остаток отступившего Каспия, по-здешнему «Морцо». Черноречье виднелось за рекой, в низине,— белые мазанки, сады, черепичные крыши, словно в Виннице. На высоком берегу, прямо перед каменным мостом, возвышался мрачный дом, весь в выступах, башенках и узких окнах. Крепкая каменная стена окружала его, и могучие деревья разрослись за ней и около нее. Дом господствовал над всей местностью и был построен как замок, крепость. Последние годы он пустовал.

Его возвел старый нефтепромышленник Зейналов, чудак, не то страдавший бредом преследования, не то в самом деле опасавшийся кровной мести. Старик прожил здесь почти до самого пятого года в добровольном заточении, опасаясь не только гостей, но и проезжих. Он никогда не выходил без телохранителей за ограду; незнакомых стража не пускала ни во двор, ни в парк. И все же, говорили, он умер не своей смертью: его отравили наследники. И, как будто опро-

вергая эту последнюю сплетню вокруг мрачного зейналовского имени, наследники приказали поляку-управляющему посыпать, как при старике, садовые дорожки песком и гравием, разводить клумбы, подстригать деревья, содержать сторожей и садовников. Но никто из них ни разу не был здесь: им переводили деньги за границу — то в Остенде, то в Уайтнор, то в Сан-Себастьян — самые дорогие международные курорты.

Илико подошел к зейналовской усадьбе утром, и сразу завязалась перестрелка.

Позиция белых была много лучше. Дом стоял на возвышенности. Все шоссе, единственный подступ к усадьбе, легко обстреливалось.

Коноводы стояли с лошадьми в бурьянах за проселочной дорогой, Настя невдалеке от них готовилась к перевязкам. Перестрелка то усиливалась, то затихала,— Настя знала, что начальник бережет патроны. Она любила эти тревожные минуты: тогда вдруг душа ее, замкнутая в печальные мысли о себе, отдохновенно раскрывалась заботой о других.

Привели раненого. Это был приятель Ашота — Арташес Вартанян, веселый парень, всеобщий развлекатель, без каких не обходится ни одна воинская часть. Он казался фисташково-серым, шел, обняв небольшого крепкого парня Егора Рязанова. «Ай-яй-яй!» — стонал Арташес, покачивая головой. Пуля пробила ему только мякоть лодыжки, но рана была очень болезненна, да к тому же ему пришлось идти. Он лег в тени фургона на носилки и тихо жаловался: «Ай-яй-яй, Арташес, Арташес». До обеда никаких других происшествий не было. После обеда появился Илико. Он пришел с самым старым бойцом отряда Петровичем, бывшим вахмистром Нижегородского полка, и с Чумаковым, артиллеристом.

В отряде была пушка, отбитая у белогвардейской конногорной батареи. Орудие в сражениях отряда не употреблялось, потому что в отряде не было, кроме Чумакова, опытных артиллеристов, и еще потому, что берегли снаряды: их было всего шесть, на самый крайний случай. Чумаков и состоял при пушке и тоже привык считать себя человеком на крайний случай. Это сообщало его разговору большое

достоинство и важность. Он любил слова «я так располагаю», «по моему сомнению», «случай — прямо оказия» и даже «камень соприкосновения».

Илико, видно, горячился.

— Я прошу мне ясно сказать, товарищ Чумаков: можно ли с двух точных выстрелов вверенного вам орудия разбить мост?

— Я так располагаю — нужна пристрелка,— начал Чумаков,— что не будь мост за пригорком, а на виду...

— Какой пригорок?

— Я моста не вижу, а потом — при навесном огне, по моему сомнению, нужно правильное расстояние. Но два попадания мост разрушат.

— А дом можно разрушить?

— Опять же при навесном огне... Надо бить в крышу. Нужна пристрелка.

— Понимаю,— сказал командир.

— Вот в чем камень соприкосновения,— добавил Чумаков.

Настя слыхала весь этот разговор и прекрасно его поняла. Она была на фронтах с шестнадцатого года и позабыла время, когда не воевала.

— Может быть, просто попугать,— предложил Петрович.— Ведь там всё прапоры, нервные.

— Так они и уйдут! — сказала неожиданно для себя Настя.

Илико хмуро посмотрел на нее.

— В партизанской войне нельзя, чтобы противник отступал в порядке,— заметил он.

— У меня есть план, товарищ командир,— сказала Настя.— Разрешите доложить вам одному.

— Слушай — прямо оказия,— проворчал Чумаков, отходя с Петровичем к коням, на которых было навьючено оружие и снаряды.

Вот что случилось через час.

Горнист сыграл отбой, и на шоссе вышли Илико, Петрович, кучер Ашот и Настя. Ашот держал на высоком древке белую простыню.

— Ты махай,— учил его Петрович.

Отряд имени Бакинской коммуны предлагал переговоры. С какой-то башенки зейналовского дома хлопнул выстрел, другой, пропела пуля, потом все стихло.

— Поняли,— заметил Петрович.

— Ну, давайте письмо, товарищ командир,— сказала Настя.

Но тут Ашот сунул древко Петровичу и подбежал к начальнику. Он как будто только теперь сообразил, в чем дело.

— Дай письмо!— сказал он хрипло и медленно, с трудом подбирая русские слова.— Дай, это нельзя делать. Куда полезет красивая девка! Пускай меня, я пойду.

И все растерялись. Илико побледнел так же иззелена, как давеча раненый Арташес.

— Ашот прав, Настасья Никифоровна,— пробормотал он.

Петрович стоял, опустив знамя. Опять хлопнул далекий выстрел, пропела пуля.

— Нечего ждать, пойду я. Он и считать, поди, до ста не умеет, а там разговаривать придется.

— Как можина, красивая девка!— хрипел Ашот, разъяренный оттого, что его не понимают.

А его прекрасно понимали, прежде всего сам командир.

— Настя!— почти крикнул он.— Не ходите. Это же... черт знает какие люди!

Но она посмотрела на него холодно и нетерпеливо.

— Я вам докладывала, товарищ командир. С таким пакетом они любого мужчину убьют, а меня — постесняются; остальное — мое дело. Ну...— голос у нее пресекся.

Она подняла маленький белый флажок и пошла по избитому, блестевшему на полуденном солнце шоссе к зейналовскому дому.

Войсковой старшина Деканозов, поручик Зиверт, корнет Миронов, хорунжий князь Эристов с полусотней Горско-Моздокского полка настоящих бичераховцев, которые сделали поход от Керманшаха до Багдада и обратно до Энзели, показали в стычке с отрядом Илико Санадзе, что мнение Петровича о прапорщиках к ним, пожалуй, не относится. Они хорошо расположили казаков в башнях дома, самую высокую угловую вооружили пулеметом и в окнах второго этажа посадили наблюдателей, выставили у моста прикрытие со вторым пулеметом и послали телеграмму в Ленкорань о том, что вступили в соприкосновение с знаменитым

отрядом неуловимого Санадзе. Теперь весь вопрос был в том, чтобы задержаться до прибытия из города солидной помощи, а затем, втянув партизан за реку, окружить их и уничтожить. Деканозов приказал вести самую ленивую перестрелку, только не подпускать близко, следить за красными. Через несколько часов стрельба показалась сидящим в доме столь безвредной, что даже управляющий Зейналовых пан Казимир Рох-Томашевич, изрядно перетрухнувший с утра, теперь осмелел настолько, что собственноручно изготовил дивный салат к завтраку, сервировал в нижней столовой стол с закусками. Офицеры заканчивали завтрак, возясь у спиртового кофейника.

— Оставьте Миронову целого фазана,— распорядился Деканозов.— Прошу курить, господа. Однако что-то там затихло вовсе. Так нельзя.

Но в этот момент дверь распахнулась — пан Казимир сильно вздрогнул,— и вбежал белобрысый Миронов.

— Господа! Нам предлагают переговоры.

— Вы опупели, корнет,— сказал поручик Зиверт, как всегда деланно вялым тоном.

— Никак нет, извольте посмотреть сами. Они выставили белый флаг, я приказал прекратить стрельбу.

Офицеры пошли наверх, к слуховому окну на чердаке. Пан Казимир выпил полстакана коньяку, обжегся кофе и пошел за ними. Когда ему досталась очередь взглянуть в бинокль, он увидел в жидком пространстве ослепительную полосу шоссе, по которому шла молодая женщина в сером платье, в белой косынке, с белым флажком в руке.

— Вот так фунт! — сказал Деканозов.— Это какая-нибудь комедия.

— Бабец невредный, однако,— сказал долговязый Эристов.

— Вам, князь,— сухо приказал Деканозов,— надо ее встретить на шоссе, завязать глаза и привести сюда. Предлагаю соблюдать полную осмотрительность и порядок.

Настя шла твердым, размеренно-точным шагом и считала про себя шаги. Это ее успокаивало. Иногда она запрятывала счет куда-то далеко, однако не оставляя его, и тогда шептала: «Ты только не бледней, дуреха. Только не бледней. Ты лучше покрасней, когда придешь. А то подумают, что ты боишься». И она, не увеличивая и не уменьшая

шага, только ускоряла его, дабы устать и покраснеть от жары. Но тогда сердце шумно и больно колотилось, как будто о самые ребра и где-то слева от ключицы, и дыхание свистело. Опять не годилось. Она ведь должна предстать парламентером, и нужно явиться не запаренной, а спокойной и самоуверенной. И она нашла такой подходящий ритм шагов, шагала, считала, счетом гнала посторонние мысли.

Слепило солнце, отражавшееся под насыпью в озере и прямо перед глазами, от известковых крупинок дороги, веял чуть прохладный ветер откуда-то — не то с персидских гор, не то с моря, пролетали редкие птицы,— но все было грозно-беззвучно и как бы предупреждало: не лучше ли вернуться. Но ее поддерживало другое чувство — совсем не стыд, что вот она трусит и готова дать стрекача, а чувство все увеличивающегося с каждым шагом освобождения от какой-то тяжести. Со времени смерти мужа она жила как будто в сером тумане, который окутывал ее, мешал дышать, говорить, пить, есть, двигаться... Правда, последнее время ее иногда как будто что-то освещало изнутри — это бывало тогда, когда надо было делать тяжелую перевязку, вставать ночью давать лекарство больному. Но едва она возвращалась к себе в шарабан — она возвращалась в себя, в тот же все обесцвечивающий туман. Она даже стала привыкать к нему,— краски, шумы, блеск мира перестали казаться реальными, а всё, даже самые большие переживания людей, она измеряла глубиной своей печали, и естественно, все казалось мелко. И вот на пустынном шоссе, под угрозой наведенных на нее винтовок, она, сама дивясь и еще не смея радоваться, дышала все вольнее, и щурилась от блеска, и заботилась о впечатлении, которое ей нужно произвести,— и как это все выросло, сделалось важно и уж, наверное, не съежится ни в каком тумане.

Она поднялась на гору, теперь спускалась. Перед ней широкими извивами лежала Карасу — пересохшее русло с тощим ручейком, но, судя по мосту, сердитая во время дождей, да и мост был близок, но, не доходя до него, был поворот к усадьбе, куда к воротам вела аллея разросшихся пирамидальных тополей. На шоссе стояли долговязый казачий офицер и два казака в щегольских черкесках, с погонами. Она не смотрела на них, а смотрела на мост; до него от поворота было шагов сто, не больше.

— Стойте,— приказал офицер.— Вы к кому?

— К вашему командиру.

— От кого?

— От командира Интернационального отряда Бакинской коммуны, у меня письмо.

— И коммуны вашей нет, и отряда, надеюсь, не будет... Письмо давайте.

— Разрешите ей завязать глаза, ваше сиятельство? — спросил пожилой казак и подошел к Насте.

Он замотал ей почти всю голову не очень чистым полотенцем; было трудно дышать и жарко, тут уж не побледнеешь. Казак держал ее руку в большой, жесткой, как рукавица, ладони и вел, изредка говоря: «Направо, тут камень, тут ступенька». По ступенькам ее ввели в какую-то прохладную комнату и сняли повязку. И хотя это была только передняя, к тому же с закрытыми ставнями, зеленый свет в щели ставен ударил ее по глазам. Она огляделась. Дубовая вешалка, деревянные стулья с высокими спинками, особенно большое зеркало с подзеркальником — все это поразило ее роскошью, так она привыкла к болотистым и песчаным проселкам, горным тропам, к рваному бешмету Ашота и к виду двух тощих крупов лошадей, тащивших ее шарабан. Она села на непривычно жесткое сиденье тяжелого стула, казаки стояли у входных дверей. Откуда-то резко били развязно взятые аккорды рояля и деланно сочный голос — две-три ноты баритона, а остальное мычание — пел:

Как глупы те, воображаю,
Кто верит женщинам всегда!
Поверьте мне, я женщин знаю,
Они не любят никогда.

Присоединился другой голос, и оба запели припев:

А-а-ах, зачем
Увлека-аться всем,
Если можно
Осторожно
Поиграть и перестать.

«Представляются», — подумала Настя.

Но ее что-то долго держали. Знакомая ей по детству тоска ожидания в передней богатого дома охватила ее. Мать часто посылала ее получать деньги за постирушки, за мытье полов, за уборку квартиры или с готовыми вещами — отца Настя не помнила, и ни разу не было случая, чтобы

деньги выдали сразу, а вещь приняли без брани. Вероятно, иногда бывало иначе, конечно, бывало иначе, но запомнилось именно так: ожидание, бранчливое объяснение, обсчет.

Дверь открылась, обдало запахом кушаний, табачного дыма.

— Введите! — крикнул властный голос.— Корнет, прекратите шум. Лучше пойдите сюда, посмотрите живую комиссаршу.

Настя тяжело, как в детстве, подавила вздох и вошла в столовую зейналовского дома.

Звуки рояля прекратились, и в столовую, звеня шпорами, вошел очень тонконогий белобрысый офицер. На его худом напудренном лице было явное желание выкинуть что-нибудь. Но главный — это был Деканозов — поглядел на него так, что он остановился на полпути и встал с наигранно беззаботным видом у двери в гостиную.

— Садитесь, сударыня,— сказал главный.

Настя села. Она уже давно внутренне окостенела от желания противиться всему, что ей будут предлагать, и в этом напряжении особенно жгуче и ярко выделялась одна мечта, один помысел, одно стремление: выбраться отсюда, выбраться как можно скорее.

— Вот что,— говорит Деканозов.— Благодарите вашего бога, что вы принадлежите к прекрасному полу. Если бы не это, отправились бы в штаб Духонина.

— Бабец недурен,— сказал Зиверт Миронову, тот захохотал.

Деканозов как будто ничего не заметил, и офицеры осеклись.

— Так скажите вашим негодяям — белая гвардия благородная. А вашего главаря мы повесим на том заборе, и, надеюсь, очень скоро.— Войсковой старшина распалялся и начинал покрикивать.— Вы знаете, что он осмелился написать?

— Я не читала письма, я исполнила, что мне поручено,— сказала Настя, как ей было приказано.

— Этот прохвост обнаглел до того, что нам, дравшимся на всех фронтах великой войны, пишет, чтобы сдались, и в том случае он, может быть, пощадит и отпустит офицеров.

— Мерзавец! — крикнул Зиверт.

И этот-то крик как будто отрезвил Деканозова.

— Но мы с бабами не воюем, однако. Драпайте домой тем же порядком. Корнет, проводите.

Насте опять завязали глаза и вывели на шоссе. Она думала, что пробыла в доме несколько минут, но было уже прохладно, от реки и озера тянуло сыростью, и впереди нее, когда она шла, бежала длинная тень. Она шла тем же широким, ровным, солдатским, как она называла про себя, шагом. Иногда она чувствовала как бы наведенные в спину винтовки, и ее пробирала судорога; ей хотелось съежиться, уменьшиться и — побежать. Но она шла и считала шаги.

— Две тысячи восемьсот пятьдесят,— сказала она первое, когда на шоссе ее встретили Санадзе и Петрович.— А когда туда — две тысячи восемьсот пятьдесят шесть насчитала.

— Сейчас проверим и высчитаем диагональ,— ответил Илико таким тоном, как будто в этой цифре и был весь смысл его жизни, а не в том ужасе, который он переживал всего несколько мгновений тому назад, когда ждал Настю.— Сделайте, Настасья Никифоровна, пятьдесят, восемьдесят, сто двадцать шагов так же, как вы шли по шоссе. А мы вымерим аршином.

Вечером горная пушка выстрелила три раза по мосту и три раза по дому. Вопреки всем правилам военной науки, отряд в конном строю пошел на укрепленный дом, но он уже горел — и был взят почти без выстрела. Шаг Насти оказался точен, как вымеренный.

Эту повесть мне рассказал сам комдив Илья Ираклиевич Санадзе, мой старый товарищ, с которым мы не виделись восемнадцать лет и встретились прошлым летом на палубе черноморского теплохода «Крым». Всю теплую весеннюю ночь пути от Гагр до Батуми, куда он ехал из отпуска, проведенного в Сочи, мы вспоминали незабвенное лето 1918 года, нашу молодость.

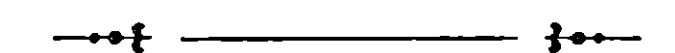
В Батуми нас встретила худощавая улыбающаяся женщина, очень молодая, если бы в ее темных пушистых волосах не была заметна седина, и комдив, обняв ее и поцеловав, сказал:

— А вот познакомься и с той, о которой я тебе рассказывал. Настасья Никифоровна, моя жена.

Она подала сухую и тоже не юную руку с тонкими крепкими пальцами и, покраснев так, что было заметно, как кровь снизу залила ей лицо, сказала:

— Ну, что он вам там нашел про меня рассказывать! — А глаза блеснули влажным блеском.

Москва, 1937



Содержание

Рассказы

Сергей Федорович Буданцев

ПИСАТЕЛЬНИЦА

Романы, рассказы

Редактор
В. ДОЛЬНИКОВ

Художник
Б. ЛАВРОВ

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
В. ТУШЕВА

Корректоры
Г. ГОЛУБКОВА, В. ЛЫКОВА

ИБ № 4978

Сдано в набор 07.12.87. Подписано к печати 16.08.88. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 26,88+вкл.0,11. Усл. кр.-отт. 27,04. Уч.-изд. л. 29,41. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1967. Цена 2 р. 70 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР
170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

